СБОРНИКЪ

ОТДѢЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

ТОМЪ ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ.

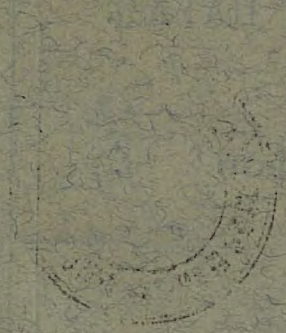
92

БИБЛІОТЕКА ОТДѢЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ
27.33
Пров. 50

ПЕТРОГРАДЪ, 1914.

ПРОДАЕТСЯ У КОМИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ:
И. И. Глазунова и К. Л. Риккера въ Петроградѣ; Н. П. Карбасникова въ Петроградѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; Н. Я. Оглоблина въ Петроградѣ и Кіевѣ; Н. Киммеля въ Ригѣ; у Фоссъ (Г. Зоргенфрей) въ Лейпцигѣ; у Г. Люзакъ и Комп. въ Лондонѣ, равно какъ и въ Книжномъ складѣ Императорской Академіи Наукъ.

Цѣна этого тома Сборника *3 руб.*



СБОРНИКЪ

ОТДѢЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Пров. 50
Библиотека Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук
27/033

ТОМЪ ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ.

ПЕТРОГРАДЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лин., № 12.
1914.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
Ноябрь 1914 г.

За Непремѣннаго Секретаря, Академикъ *К. Залеманъ*.

СБОРНИКЪ
ОТДѢЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Томъ XCII.

СТАТЬИ
ПО НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

АКАДЕМИКА
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ДАШКЕВИЧА.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

ПЕТРОГРАДЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лин., № 12.
1914.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
Ноябрь 1914 года.
За Непремѣннаго Секретаря, Академикъ *К. Залеманъ*.

H. Danilevsky

Отдѣленіе русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ постановило издать сборникъ статей своего покойнаго сочлена, заслуженнаго профессора университета св. Владиміра Николая Павловича Дашкевича († 20-го января 1908 года), включивъ въ него, изъ длиннаго ряда написанныхъ имъ произведеній, только тѣ статьи, которыя относятся къ новой русской литературѣ и посвящены, за однимъ исключеніемъ, крупнѣйшимъ ея представителямъ.

Одна изъ этихъ статей печатается впервые. Это — статья о В. И. Красовѣ. Она извлечена изъ черноваго наброска покойнаго, оставшагося въ его бумагахъ.

Всѣ остальныя статьи перепечатываются въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ увидѣли свѣтъ при жизни автора, между прочимъ статья о И. С. Тургеневѣ, не написанная имъ, а записанная съ его словъ, и потому страдающая нѣкоторою небрежностью изложенія и неточностью выраженій.

Прилагаемый портретъ Н. П. Дашкевича заимствованъ изъ изданнаго въ его честь его учениками и почитателями сборника «Eranos», Кіевъ, 1906.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Литературныя изображенія имп. Екатерины II и ея царствованія	1
Романтика на Западѣ и въ поэзіи В. А. Жуковскаго.	71
Пушкинъ поэтъ общеевропейскій	92
А. С. Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени	130
Отголоски увлеченія Байрономъ: разочарованіе, грезы о свободѣ внѣ цивилизованнаго общества и сомнѣнія въ поэзіи Пушкина	330
«Полтава» Пушкина	398
Мотивы міровой поэзіи въ творчествѣ Лермонтова	411
Значеніе мысли и творчества Гоголя	515
Романтическій міръ Гоголя	536
Отзывъ объ изданіи В. И. Шенрока: Письма Н. В. Гоголя. Т. I—IV. Спб. Изданіе А. Ф. Маркса.	564
В. П. Красовъ, полузабытый лирикъ и словесникъ 30-хъ и 40-хъ годовъ.	623
На могилу И. С. Тургенева	655
Памяти А. Н. Майкова	682
Указатель важнѣйшихъ личныхъ собственныхъ именъ.	689

Литературныя изображенія имп. Екатерины II и ея царствованія [1]).

Въ мѣсяцы, послѣдовавшіе за окончаніемъ столѣтія со дня смерти Екатерины II, въ русской, а также и въ иностранной литературѣ, явился цѣлый рядъ обзоровъ дѣятельности и заслугъ этой императрицы. Въ большинствѣ очерковъ не было дано всеобъемлющей, цѣльной картины славнаго царствованія. Были представлены, правда, болѣе или менѣе объективныя, научныя и осмотрительныя общія оцѣнки этого правленія какъ въ академическихъ рѣчахъ В. С. Иконникова [2]) и Перетятковича [3]), такъ и на страницахъ ежемѣсячной русской прессы, въ статьяхъ В. А. Бильбасова [4]), В. О. Ключевскаго [5]) и Д. А. Корсакова [6]), но о Екатеринѣ все еще не произнесено, кажется, даже самаго общаго сужденія, въ которомъ могло бы сойтись большинство историковъ; все еще какъ-бы подвергается пересмотру вопросъ, дѣйствительно ли можно признать эту государыню великою согласно

---

1) Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора-Лѣтописца, кн. XII (1898 г.), и отдѣльно, Кіевъ, 1898.

2) Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора-Лѣтописца, кн. XII.

3) Записки Имп. Новороссійскаго университета, т. LXX (1897): «О значеніи царствованія императрицы Екатерины II въ русской исторіи», стр. 19—42.

4) Русская Старина, 1896, № 11: «Памяти императрицы Екатерины II», стр. 241—280.

5) Русская Мысль, 1896, № 11.

6) Историческій Вѣстникъ 1897, № 1.

съ голосомъ ея современниковъ, и передъ историкомъ возникаетъ въ этомъ случаѣ одна изъ весьма трудныхъ проблемъ.

Въ виду непорѣшенности послѣдней достойно сожалѣнія, что остались въ моментъ помпнокъ внѣ надлежащаго вниманія, пересмотра и объясненія съ точки зрѣнія вѣковой перспективы памятники наиболѣе важные и интересные для всесторонней оцѣнки личности и дѣятельности Екатерины II — литературныя произведенія, во многомъ объясняющія тайну популярности этой царицы въ ея время, популярности, не исчезнувшей и теперь, не взирая на омраченіе памяти о ней обвиненіями, не перестающими раздаваться какъ въ серьезной, такъ и въ легкой литературѣ, а также и въ устной молвѣ, основанной на живомъ преданіи. Литературныя произведенія о Екатеринѣ являются теперь весьма важными историческими документами суда надъ нею ея современниковъ. И объ одномъ изъ этихъ документовъ вполнѣ вѣрно сказанное кн. Вяземскимъ почти четверть вѣка назадъ въ «Отмѣткахъ при чтеніи историческаго похвальнаго слова Екатеринѣ II, написаннаго Карамзинымъ», этого «честнаго и скромнаго памятника, воздвигнутаго литературнымъ ваятелемъ, художникомъ мысли и слова»[1]): «чувство пресыщается и окончательно притупляется, когда оно исключительно обращено на однообразіе текущаго и на господствующіе пріемы и краски того или другого дня. Въ отношеніи къ литературѣ особенно полезно и отрадно возвращаться безъ пристрастія и приговора, заранѣе замышленнаго, къ источникамъ, которые нѣкогда утоляли и прохлаждали нашу нравственную и умственную жажду. Твореніе Карамзина, о которомъ идетъ рѣчь, не просто образцовое произведеніе искусства: оно, сверхъ того, можетъ удовлетворить троякимъ требованіямъ, въ отношеніи историческомъ, гражданскомъ и общежитейскомъ». Повторяемъ, это Слово Карамзина, наряду съ нѣкоторыми дру-

---

1) Складчина. Литературный сборникъ, Спб. 1874, стр. 625—626.—Полное собраніе сочиненій *кн. П. А. Вяземскаго*, изд. гр. С. Д. Шереметева, т. VII, Спб. 1880, стр. 345—373.

гими литературными произведеніями, о которыхъ мы сейчасъ скажемъ, объяснитъ намъ, почему Екатерина II остается великой не на словахъ только, въ традиціонномъ титулѣ, но и въ искреннемъ признаніи со стороны многихъ людей послѣдующаго времени, несмотря на непріязнь цѣлаго ряда критикъ ея личности и дѣлъ, доходящую даже до озлобленія.

Подвергаясь ожесточеннымъ нападкамъ, Екатерина II раздѣляла нерѣдко судьбу общества, во главѣ котораго стояла, и народа, которымъ правила. Какъ въ изображеніяхъ ея самой, такъ и въ изображеніяхъ Россіи ея времени въ публицистической, поэтической и исторической литературѣ уже съ прошлаго вѣка за границею и у насъ постоянно замѣчалось два теченія: съ одной стороны раздавались сочувственные либо восторженные отзывы, а съ другой выставлялись картины, нарисованныя весьма темными красками.

Остановимся нѣсколько на этомъ двоякомъ отношеніи къ Россіи времени Екатерины II и къ самой этой императрицѣ, начиная съ прошлаго вѣка.

Несомнѣнно, что Екатерина II въ огромной степени оправдала то, что́ обѣщала уже въ своихъ первыхъ манифестахъ и что́ сказала затѣмъ о себѣ въ своемъ Наказѣ: «Мы думаемъ и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что Мы живемъ для нашего народа»[1]). Она вполнѣ сроднилась съ народомъ, которымъ правила, старалась усвоить даже русскій языкъ, къ которому не относилась такъ пренебрежительно, какъ Фридрихъ II — къ своему родному. Лелѣя честолюбивыя мечты и стараясь поражать міръ грандіозными затѣями, она имѣла въ виду «славу гражданъ, государства и государя» и думала о величіи Россіи въ ея цѣломъ. Оттуда ея общерусская идея и великое дѣло возсоединенія русскихъ земель, жившихъ уже въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ отторженною жизнію, участіе въ раздѣлѣ Польши (хотя первая мысль о послѣднемъ не принадлежала Екатеринѣ); оттуда же

1) Гл. XX, ст. 520.

движеніе къ Черному морю, завершавшее въ этомъ отношеніи дѣло Петра. При Екатеринѣ II Россія, уже со временъ Петра В. занявшая видное политическое мѣсто въ системѣ европейскихъ государствъ, возвысилась еще болѣе и увеличилась территоріально такъ, какъ никогда еще не расширялась со времени Іоанна III. Громкія побѣды, блескъ двора, а болѣе всего высокія умственныя качества и правительственныя способности самой императрицы подняли Россію въ собственномъ ея самосознаніи и во мнѣніи остальной Европы и доставили ей весьма значительный авторитетъ извнѣ. Екатерина выказала значительную силу практическаго ума и проницательности, а также неустанное попеченіе о благѣ страны, ставшей ея отечествомъ. Заботясь о внутреннемъ процвѣтаніи своего государства не менѣе, чѣмъ и о внѣшнемъ его величіи, и предпринимая разнаго рода реформы, Екатерина много сдѣлала, а еще болѣе трудилась для народнаго преуспѣянія въ духѣ «философіи просвѣщенія». Вообще мало царствованій въ исторіи, которыя ознаменовались бы такимъ богатствомъ результатовъ.

Этимъ объясняется нѣкоторое измѣненіе къ лучшему въ мнѣніи Запада о Россіи въ правленіе Екатерины и преклоненіе предъ самой Екатериной, преимущественно со стороны философовъ «просвѣщенія» и нѣкоторыхъ поборниковъ послѣдняго внѣ Россіи, и также со стороны приверженцевъ переворота 1762 г. и мѣръ Екатерины внутри русскаго государства и чтителей ея государственной дѣятельности.

Съ вступленіемъ на престолъ Екатерины II, французскіе литераторы передоваго направленія, встрѣтившіе въ ней ревностную почитательницу, предлагавшую имъ поддержку уже съ самаго начала царствованія [1]), начинаютъ распространять молву по Европѣ о великихъ преобразованіяхъ, затѣянныхъ въ странѣ, слывшей дотолѣ варварскою, о водвореніи въ ней цивилизаціи

---

1) Екатерина предлагала уже въ 1762 г. философамъ закончить въ Россіи изданіе Энциклопедіи.

гигантскими и колоссальными предпріятіями и о томъ, что скиѳы, проспувшіеся отъ вѣковаго сна, уже оказывались какъ-бы призванными продолжать цивилизаторское дѣло Запада, въ частности — Франціи.

Въ «Вавилонской принцессѣ» (1768) Вольтера говорилось о Германіи, Россіи, Скандинавіи: «Въ этихъ обширныхъ государствахъ люди осмѣлились сдѣлаться разумными, между тѣмъ какъ вездѣ еще думали, что только до тѣхъ поръ можно управлять народомъ, пока онъ глупъ».

C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière,

возгласилъ Вольтеръ въ «Epître à l'Impératrice de Russie, Catherine II» (1771)[1]), повторяя сказанное имъ раньше въ одномъ изъ писемъ къ той же императрицѣ: «Наступитъ время, я постоянно это говорю, когда весь свѣтъ къ намъ будетъ приходить съ сѣвера»[2]).

Не только императрица, но и другіе русскіе образованные люди старались поддерживать такое доброе мнѣніе о Россіи: они выказывали наравнѣ съ другими просвѣщенными лицами горячій интересъ къ писаніямъ, мнѣніямъ и судьбѣ «философовъ». Такъ, князь Г. Г. Орловъ въ письмѣ къ Руссо 1766 г. предлагалъ послѣднему убѣжище въ своей деревнѣ подъ Петербургомъ. Руссо отклонилъ это приглашеніе[3]), какъ отказались жить въ Россіи Дидро и Даламберъ и какъ не пожелалъ побывать тамъ и Вольтеръ. Но на сѣверъ потянулись французскіе добровольцы, Richelieu, Damas, Langeron, ставшіе служить подъ знаменами Потемкина и Суворова, какъ Ляфайеттъ сражался подъ сѣверо-американскими знаменами. Въ турецкихъ походахъ Потемкина участвовалъ и принцъ De Ligne, назвавшій Екатерину «Catherine le Grand». Король польскій и Іосифъ II, императоръ

---

1) Въ послѣднемъ полномъ изданіи «Oeuvres complètes de *Voltaire*», Par., Garnier Frères, это посланіе помѣщено въ t. X, p. 435—438.

2) См. письмо отъ 27 февраля 1767 г.

3) Эта переписка давно уже имѣется въ русскомъ переводѣ (съ 20-хъ годовъ нашего вѣка).

австрійскій, знаменитый поборникъ «просвѣщенія», не долюбливавшій первоначально Екатерины, сопутствовали русской императрицѣ въ новоприобрѣтенныхъ ея южныхъ владѣніяхъ до самаго Крыма, гдѣ красовалась тріумфальная арка со словами: «отсюда путь въ Константинополь». Іосифъ заявилъ, что онъ былъ бы счастливъ служить генераломъ при безсмертной Екатеринѣ[1]). Справедливо говорятъ, что дотолѣ еще не видали такого путешествія, скорѣе походившаго на тріумфальное шествіе и въ существѣ бывшаго дорого стоившей фееріей.

Но на ряду со всѣмъ этимъ не легко было Западу покончить съ печальнымъ наслѣдіемъ прошлаго и съ вѣковыми предразсудками противъ Россіи. Это было тѣмъ труднѣе, что было немало мрачныхъ явленій во внутренней ея жизни, распространялись разсказы обо всемъ томъ, начиная съ разсказа Рюльера о катастрофѣ 1762 г., и ходили многіе темные слухи о томъ, что̀ творилось внутри Россіи; русскій дворъ слылъ однимъ изъ самыхъ распущенныхъ въ Европѣ; русская внѣшняя политика наступательнаго и завоевательнаго характера возбуждала опасенія, а въ тѣхъ, противъ кого была прямо направлена,—ненависть. Оттуда неблагосклонное и непріязненное отношеніе къ Екатерининской Россіи многихъ современниковъ на Западѣ.

Уже сами главы философскаго движенія и просвѣщенія XVIII в. могли подпадать иногда сомнѣніямъ касательно русскихъ порядковъ. Тѣмъ болѣе впадали въ сомнѣнія относительно русскаго народа и правительства другіе иностранцы.

При дворѣ Людовика XV не жаловали Екатерины. Французскій министръ маркизъ de Choiseul, французскій посолъ въ Константинополѣ de Vergennes относились съ недовѣріемъ къ замысламъ русской политики; французскій посолъ Corberon писалъ въ 1778 г. о Россіи: «меня спросятъ, какъ управляется эта страна и на чемъ она держится. Она управляется случаемъ и держится

---

1) Ср. въ предсмертномъ его посланіи къ Екатеринѣ выраженіе о себѣ, какъ о «le plus loyal de ses amis et le plus juste de ses admirateurs».

естественнымъ равновѣсіемъ подобно огромнымъ глыбамъ, которыя сплочаетъ собственный вѣсъ».

Путешественники и другіе иностранцы, бывавшіе въ Россіи въ царствованіе Екатерины [1]) и имѣвшіе возможность присматриваться поближе, совсѣмъ не раздѣляли благосклоннаго мнѣнія Вольтера и энциклопедистовъ о Россіи. Напротивъ, они отзывались о ней скептически, обращая вниманіе преимущественно на темныя стороны придворныхъ круговъ и на угнетенное положеніе крестьянства, не замѣчая здоровыхъ началъ, таившихся въ тиши русской жизни и обѣщавшихъ болѣе свѣтлое будущее, и оставляя безъ вниманія средніе круги русскаго общества, давшіе Россіи столь многихъ славныхъ дѣятелей.

Иностранные путешественники признавали, что по внѣшности нѣкоторые русскіе измѣнились къ лучшему, но и эти сравнительно немногіе русскіе не усвоили качествъ европейца, требующихъ труда и личнаго усилія, и подражаютъ только худшимъ сторонамъ образованнаго европейца. Вообще русскій народный геній, по мнѣнію этихъ путешественниковъ, лишенъ оригинальности и склоненъ къ подражательности, при чемъ европейская культура не внѣдряется глубоко въ русскую натуру, и послѣдняя остается бездѣятельною и непроизводительною, пассивною. Этотъ недостатокъ генія—результатъ воздѣйствія почвы и климата. Въ теченіе 60 лѣтъ, протекшихъ съ той поры, какъ Петръ указалъ своему народу способныхъ учителей, русскіе не могутъ выставить, по словамъ Chappe d'Auterocheа [2]), побывавшаго въ Россіи передъ вступленіемъ на престолъ Екатерины, имени, которое можно было бы привести въ исторіи наукъ и искусствъ; исключеніе представляетъ лишь одинъ Ломоносовъ, который и всюду въ иномъ мѣстѣ былъ бы выдающимся академикомъ. Всякое хо-

---

1) Въ числѣ ихъ былъ знаменитый итальянскій поэтъ Альфьери, заѣзжавшій въ Петербургъ, о чемъ онъ кратко упоминаетъ въ своей автобіографіи.

2) См. объ его книгѣ и о возраженіи, приписываемомъ Екатеринѣ и гр. Шувалову, въ статьѣ *Щебальскаго:* «Екатерина II, какъ писательница. V. Antidote». Заря, 1869, № 6.

рошее начинаніе у русскихъ остается не доведеннымъ до конца. Нравы русскихъ — татарскіе. Дружба, добродѣтель, нравственность, честность здѣсь — слова, лишенныя смысла. Ожидать созданія великаго государства такимъ народомъ, подавляемымъ деспотизмомъ и страхомъ, нечего, и ошибочно думать, что оно когда-нибудь станетъ страшно Европѣ. Шапинъ указывалъ на нашихъ оборванныхъ и голодныхъ солдатъ, на неспособность или продажность нашихъ петербургскихъ министровъ, на слабость нашего кронштадтскаго флота, на пустынность русской имперіи, на уменьшеніе ея населенія подъ вліяніемъ бѣдности отъ чрезмѣрныхъ налоговъ, голода, рабства, войнъ, возстаній, выселенія въ Сибирь, эпидеміи. — Эти иноземные наблюдатели, не чуждые недоброжелательства и мало понимавшіе Россію, преподавали русскому народу еще съ XVII в. и почти до нашихъ дней совѣты хранить миръ, сосредоточиваться въ наименѣе безплодныхъ частяхъ своей территоріи, благодаря чему онъ могъ бы ускользнуть отъ неизбѣжныхъ переворотовъ и распаденій[1]).

Въ противовѣсъ такимъ пессимистическимъ толкамъ и взглядамъ, Екатерина въ «Антидотѣ» и перепискѣ съ иностранными литераторами выдвигала на видъ и добрыя стороны русскаго народа, напр., легкость управленія имъ посредствомъ кротости; но внутри самой Россіи Екатерининскаго времени слышалось много рѣчей о цѣломъ рядѣ безотрадныхъ явленій въ ея жизни. Параллельно хвалебнымъ возгласамъ въ честь Екатерины и ея сподвижниковъ достигла расцвѣта и сатира. Пользуясь ею для характеристики изображаемаго ею общества, не слѣдуетъ однако забывать, что сатира, уже въ силу своей основной особенности, склонна впадать въ карикатурность и улавливать лишь темныя стороны жизни. Но, конечно, реформы Екатерины, столь про-

---

1) Эти и подобные толки иностранныхъ путешественниковъ представляютъ не разъ удивительное совпаденіе съ нѣкоторыми мѣстами политическихъ памфлетовъ, о которыхъ см. въ статьяхъ *А. В. Розова:* «Кто былъ виновникомъ перваго раздѣла Польши (Голосъ поляковъ — современниковъ событія)». — Бесѣда, 1872, №№ 8—10.

славленныя въ журналистикѣ первой половины ея правленія, уже не удовлетворяли въ годы Революціи болѣе молодое поколѣніе, скорбѣвшее о томъ, что у насъ не было доведено до конца практическое осуществленіе просвѣтительныхъ идей, напр., освобожденіе крестьянъ. Итакъ, явилось къ концу царствованія Екатерины «Путешествіе» Радищева, повторявшее во многомъ рѣчи болѣе ранней сатиры Екатерининскаго времени, но въ конечной цѣли шедшее далѣе правительственныхъ взглядовъ[1]). Русская передовая литература послѣдующаго времени также не удовлетворялась порядками и правами временъ Екатерины. Вспомнимъ изображеніе людей «временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма» въ комедіи Грибоѣдова и отзывъ Чаадаева.

Столь основательные наши новѣйшіе историки, какъ гг. Дубровинъ, Семевскій, ярко изобразили грубость и невѣжество, господствовавшія даже въ средѣ сословія, которое, казалось бы, долженствовало быть наиболѣе образованнымъ, — дворянскаго. Г. Гольцевъ, не отрицая значительнаго смягченія нравовъ къ концу прошлаго вѣка, утверждаетъ, что русское законодательство XVIII в. не всегда имѣло благотворное значеніе, поворачивало иногда какъ-бы назадъ и было ослабляемо въ своемъ воздѣйствіи деморализующимъ вліяніемъ двора и высшаго общества[2]).

---

1) Въ 1790 г., по поводу «Путешествія» Радищева, Екатерина во взглядѣ на положеніе крестьянъ проявляетъ оптимизмъ, какого была чужда въ началѣ своего правленія: «Лучше судьбы нашихъ крестьянъ у хорошаго помѣщика нѣтъ во всей вселенной». Ср. ниже идиллическую картину у Карамзина и подобныя фразы даже въ «Планѣ исторіи... Екатерины II-й» кн. Щербатова, и наоборотъ, цѣлый рядъ порицаній Екатерининскихъ порядковъ и дѣлъ въ «Оправданіи моихъ мыслей и часто съ излишнею смѣлостью изглаголанныхъ словъ» (1789 г.) того же Щербатова.

2) Законодательство и нравы въ Россіи XVIII вѣка, изд. 2-е, Спб. 1896. Ср. передовую статью въ газетѣ Русь, 1880, № 1: «Что сохранилось отъ величаваго, умнаго и стройнаго законодательства Екатерины, которое, дѣйствительно, казалось, завершало собою зданіе? Въ итогѣ окажется немного и притомъ важности далеко не крупной. Что осталось къ нынѣшнему дню отъ ея великолѣпныхъ грамотъ городамъ и сословіямъ? отъ дарованныхъ ею такихъ широкихъ, такихъ, повидимому, либеральныхъ формъ самоуправленія, особенно же дворянству, которому былъ ввѣренъ въ губерніяхъ и высшій судъ, и полиція, и право

Историки литературы на основаніи чисто литературныхъ данныхъ также рисуютъ безотрадныя картины невѣжества, грубости и низкаго нравственнаго уровня русскаго общества временъ Екатерины, въ которомъ мишура замѣняла истинныя достоинства просвѣщенія; средства для поддержанія фальшиваго блеска, который такъ любили въ XVIII в., были доставляемы угнетеніемъ народа. Французскій славистъ Л. Леже считаетъ Екатерининское время эпохой чрезвычайнаго невѣжества и грубости, при чемъ видимо увлекается въ крайность типами, встрѣченными имъ въ сатирической литературѣ Екатерининскаго времени и въ особенности въ комедіи.

Словомъ, въ изображеніи Россіи Екатерининскаго времени находимъ разногласіе, хотя и не очень значительное, потому что преобладаніе темныхъ красокъ въ изображеніяхъ Екатерининской Россіи въ цѣломъ опирается съ перваго взгляда на болѣе или менѣе сходныя и прочныя фактическія основанія.

Еще болѣе рѣзкихъ противорѣчій находимъ въ сужденіяхъ о самой Екатеринѣ II. По отзывамъ однихъ, она выдѣлялась надъ общимъ фономъ невысокаго уровня, какъ ярко свѣтящая звѣзда, а по представленію другихъ, далеко не была такимъ путеводнымъ свѣточемъ. И опять такая двойственность сужденій ведетъ свое начало изстари, еще со временъ Екатерининскаго царствованія, и повторялась какъ въ иностранной литературѣ, такъ и въ нашей.

Въ особенности славу Екатерины II распространили по свѣту французскіе писатели просвѣщенія, Вольтеръ и энциклопедисты.

выбора отъ предсѣдателей палатъ до послѣдняго становаго? Ничего почти, кромѣ опыта столѣтней неудачи. Мало того. Оказалось, что почти и корней ничто не пустило; ничего не пришлось вырывать съ болью: довольно было отставить..... У насъ... обыкновенно думаютъ, что XVIII вѣкъ, разрѣзавъ русскую исторію на двое, далъ отвѣтъ на всѣ задачи, поставленныя древнею Русью, и явился самостоятельнымъ творцомъ Россіи новой. Именно самостоятельнаго творчества ему и недостаетъ, и не ему было суждено рѣшить вопросы, заданные старою жизнью», и т. д. Можно бы предложить по этому поводу вопросъ автору касательно губернскихъ учрежденій Екатерины, мѣстнаго дворянскаго самоуправленія и т. п.

Русская императрица занимала одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ числѣ государственныхъ дѣятелей XVIII в., являвшихся чтителями модной философіи просвѣщенія того вѣка и стремившихся къ реформамъ сверху по предвзятымъ идеямъ. Врядъ ли она руководилась при этомъ только вѣяніемъ моды. Она не уступала Фридриху II въ искренней любви къ французской литературѣ и философіи XVIII вѣка [1]). Она уже въ молодые годы много и усердно читала, хотя и безпорядочно, «отъ скуки», и оцѣнила Монтескье, Бэйля и первые томы Энциклопедіи. Но по преимуществу она была ученицею Вольтера, къ которому относилась съ постояннымъ энтузіазмомъ; она слѣдовала идеалу монархіи, какой былъ провозглашаемъ и отчасти указываемъ Вольтеромъ и другими философами въ царствованіи Генриха IV. Она увлекалась грандіозными затѣями не только въ области внѣшней политики, но и внутреннихъ реформъ, желала быть великой монархиней Сѣвера, достоинства которой признавали бы и передовые люди Запада, и была очень чувствительна къ мнѣнію послѣднихъ. Ее манила перспектива творчества, преобразованія и упорядоченія ея громадной имперіи путемъ мудрыхъ законовъ, согласныхъ съ общимъ благомъ. «C'est presque un monde à créer, à unir, à conserver», писала она однажды Вольтеру, который былъ главнымъ ея наставникомъ въ теоретическомъ осмысленіи этой задачи ея.

Какъ о томъ заявила Екатерина въ письмѣ къ Вольтеру 1763 г., она была почитательницею его произведеній уже съ 1746 г., читая съ той поры по преимуществу ихъ [2]), и была весьма много обязана ему своимъ развитіемъ. Въ своей перепискѣ

---

1) Объ отношеніи Екатерины къ философіи XVIII в. см. въ статьѣ проф. *Виппера:* «Екатерина II и просвѣтительныя идеи Запада», Міръ Божій, 1896, № 12.

2) Ср. у *Бильбасова,* Исторія Екатерины Второй, т. I, Спб. 1890, стр. 298 и слѣд. Въ этомъ сочиненіи сообщены данныя о самообразованіи Екатерины посредствомъ чтенія. Въ письмѣ къ Гримму читаемъ: ...«pendant fort longtemps nous lisions, relisions et étudions tout ce qui sortait de sa plume, et j'ose dire que par lui j'ai acquis un tact si fin, que je ne me suis jamais trompée sur ce qui était de lui ou n'en était pas».

съ Вольтеромъ Екатерина выказывала неоднократно искреннее и глубокое уваженіе къ тому, кто «plaida, avec toute l'étendue de son génie, la cause de l'humanité». Въ мартѣ 1771 г. она писала: «Я не хочу потерять ни одной строки изъ того, что вы пишете. Судите по этому объ удовольствіи, которое я нахожу въ чтеніи вашихъ произведеній, объ уваженіи, которое я къ нимъ питаю, и о дружбѣ, которую внушаетъ мнѣ святой Фернейскій отшельникъ, называющій меня своей любимицей». Переписка Екатерины съ Вольтеромъ началась годъ спустя послѣ восшествія ея на престолъ и продолжалась до смерти Фернейскаго отшельника. Въ теченіе всего этого времени Екатерина постоянно знакомила вождя общественнаго мнѣнія XVIII в. со своими замыслами и дѣлами управленія, при чемъ, конечно, придавала желательное освѣщеніе сообщаемымъ свѣдѣніямъ и старалась распространить доброе мнѣніе о русскомъ народѣ, что̀ замѣчается и въ перепискѣ ея съ другими литераторами.

Вольтеръ съ своей стороны относился въ высшей степени дружественно и даже утонченно-льстиво къ Екатеринѣ, которую называлъ звѣздою и Семирамидой Сѣвера, радуясь видѣть въ ней не только продолжательницу Петра, но и государыню безъ предразсудковъ, безъ суевѣрія, искавшую блага и осуществлявшую его по мѣрѣ возможности, единомышленницу, содѣйствовавшую тріумфу разума, толерантности и свободы совѣсти. За все это Вольтеръ называлъ Екатерину «благодѣтельницею рода человѣческаго (bienfaitrice du genre humain)». Въ «Epître à Catherine» Вольтеръ писалъ:

Elève d'Apollon, de Thémis et de Mars,
Qui sur ton trône assis, fais fleurir les beaux arts,
Qui penses en grand homme, et qui permets qu'on pense,
Toi qu'on voit triompher des tyrans de Byzance,
Et des sots préjugés, tyrans plus odients....[1])

1) О времени и мѣстахъ напечатанія этого посланія см. *Bengesco*, Voltaire, Bibliographie de ses oeuvres, t. I, Par. 1882, p. 246.

Въ письмѣ отъ 27 мая 1769 г. Вольтеръ говорилъ, что смотрѣлъ на дѣла ея царствованія какъ на событія, которыя становились для него нѣкоторымъ образомъ лично его касающимися. «Колоніи, всякаго рода искусства, хорошіе законы, терпимость— мои страстишки». Какъ Вольтеръ говорилъ комплименты своей почитательницѣ, подобно Дидро, усвоявшему ей «прелести Клеопатры» наряду съ «душею Цезаря» либо Брута, видно хотя бы изъ слѣдующаго письма 76-ти-лѣтняго философа въ августѣ 1770 г. по поводу успѣховъ русскихъ въ войнѣ съ турками: «я хотѣлъ бы, по крайней мѣрѣ, помочь вамъ убить нѣсколькихъ турокъ; говорятъ, что христіанину такое дѣло кажется весьма угоднымъ Богу. Это не подходитъ къ моимъ правиламъ толерантности; но люди полны противорѣчій, и, сверхъ того, Ваше Величество кружитъ мнѣ голову». Въ мартѣ 1774 г. Вольтеръ писалъ о Дидро, находившемся въ то время въ Петербургѣ: «я никогда не имѣлъ утѣшенія видѣть этого единственнаго человѣка; онъ—второе лицо въ этомъ мірѣ, съ которымъ я хотѣлъ бы бесѣдовать. Онъ говорилъ бы мнѣ о Вашемъ Величествѣ, — нѣтъ, не о Величествѣ: это не то, что́ я хочу сказать, а о вашемъ превосходствѣ надъ мыслящими существами, потому что другія существа я считаю ничѣмъ. Мое сердце, какъ влюбленное, обращается къ сѣверу». Если во всемъ этомъ была доля лести, то во всякомъ случаѣ лести весьма разумной и исходившей изъ благороднаго источника. За комплиментами у Вольтера скрывалась серьезная сущность, и Вольтеръ восхвалялъ Екатерину не за лестное только вниманіе, какое она выказывала, и не въ надеждѣ только на матеріальныя выгоды.

Съ своей стороны и Екатерина не ради только доброй славы выказывала особое вниманіе къ философамъ просвѣщенія и щедро одаряла ихъ. Культъ Вольтера, перваго человѣка французской націи, какъ выразилась Екатерина въ письмѣ къ Гримму, она продолжала и трогательно выразила и послѣ его смерти[1]). Оче-

---

1) См. о покупкѣ Екатериною библіотеки Вольтера статью *P. Bonnefon:*

видно; существовало вполнѣ искреннее отношеніе съ ея стороны къ вождямъ просвѣщенія, за что они платили ей тѣмъ же. «Мы трое, Дидро, Даламберъ и я, воздвигаемъ вамъ алтари, писалъ Вольтеръ Екатеринѣ; вы сдѣлаете меня язычникомъ. Я вѣрнѣе съ обожаніемъ у ногъ Вашего Величества, чѣмъ съ глубокимъ почтеніемъ жрецъ вашего храма». И этотъ жрецъ примѣнялъ къ Екатеринѣ слова церковной пѣсни: «Te Catharinam laudamus, te Dominam confitemur». Вожди просвѣщенія, парижскіе и вообще французскіе друзья Екатерины II, говорили предъ всей Европой о мудрыхъ законахъ Екатерины, о ея славныхъ реформахъ, которыя въ глазахъ ревнителей просвѣщенія на Западѣ какъ-бы еще ярче оттѣняли медлительность и боязливость западныхъ правительствъ. Переписка Вольтера съ Екатериной стала какъ-бы общеевропейскимъ событіемъ благодаря обнародованію ея [1]). Поддержка со стороны Вольтера много содѣйствовала прославленію Екатерины и поднятію ея авторитета внѣ и внутри Россіи. Русское читающее общество могло знакомиться съ этимъ западнымъ панегиризмомъ чрезъ посредство переводовъ, читать оду Вольтера къ Екатеринѣ, напечатанную въ «Вечерахъ» въ переводѣ Богдановича, и переписку Вольтера съ императрицей [2]).

Наряду съ Вольтеромъ и Дидро, и многіе другіе изъ французскихъ писателей пользовались благосклоннымъ вниманіемъ и щедротами русской императрицы и были ея хвалителями. Лишь немногіе, какъ Даламберъ, Ж. Ж. Руссо, отнесшійся недовѣрчиво къ дѣятельности Екатерины и отказавшійся отъ гатчинскаго гостепріимства, и Рейналь, стояли въ сторонѣ отъ хвалебнаго хора.

«Une correspondance inédite de Grimm avec Wagnière», Revue d'Histoire littéraire de la France 1896, № 4.

1) Обнародованіе это началось довольно скоро. См., напр., *Bengesco*, IV, 77.

2) Еще въ началѣ XIX-го вѣка было повторено изданіе русскаго перевода этой переписки: «Философическая и политическая переписка императрицы Екатерины II съ г. Вольтеромъ съ 1763 по 1778 годъ. Перев. съ франц. Ч. I—II. Спб. 1802». Теперь имѣется популярное изданіе г. *Чуйко*.

Въ послѣдній, кромѣ поборниковъ просвѣщенія, вошли и многіе другіе. Неравнодушіе славолюбивой императрицы къ лести и тщеславіе были хорошо подмѣчены[1]) современниками; и тѣмъ и другимъ пытались воспользоваться иногда риѳмоплеты въ хвалебномъ тонѣ, какихъ было немало въ прошломъ вѣкѣ. Оттуда громкія прославленія Екатерины въ одахъ иностранныхъ поэтовъ, напр., въ стихотвореніяхъ знаменитаго поэта бури и натиска (Sturm und Drang) Ленца и итальянца Дж. Касти, а также въ привѣтствіяхъ, которыя были подносимы Екатеринѣ при посѣщеніи ею присоединенныхъ отъ Польши областей[2]).

Должно однако сказать, что и наиболѣе искренніе и усердные хвалители Екатерины не сошлись съ нею всею душею.

Вольтеръ, быть можетъ, потому что зналъ по опыту съ Фридрихомъ, чѣмъ можетъ окончиться ближайшая дружба съ коронованными особами, не поѣхалъ въ Россію, чтобы видѣть «Семирамиду Сѣвера», и долго отлагалъ свое посѣщеніе, до перенесенія столицы ея поюжнѣе, въ «Кіовію», либо въ Константинополь.

Когда Дидро и Гриммъ прибыли въ 1773 г. въ Петербургъ, Екатерина писала Вольтеру: «Я не знаю, очень ли они скучаютъ въ Петербургѣ; что до меня, то я разговаривала бы съ ними, не утомляясь, всю жизнь». И Дидро былъ сначала щедръ въ потокахъ рѣчей и обильныхъ гордымъ краснорѣчіемъ декламацій, длившихся по нѣсколько часовъ, и забывалъ въ пылу увлеченія даже этикетъ. Но императрица охладила этотъ пылъ замѣчаніемъ, что его великіе принципы могутъ составить очень интересное сочиненіе, но для дѣла не годятся. «Вы имѣете дѣло съ бумагой, которая все терпитъ; между тѣмъ какъ я, бѣдная императрица, имѣю дѣло съ людьми, которые чувствительнѣе и щекотливѣе»; послѣ цѣлаго ряда бесѣдъ съ Екатериной Дидро увидѣлъ, что она не нашла возможнымъ принять предлагаемыя имъ нововведенія, на которыя смотрѣла, какъ на могшія перевернуть все

---

1) См. напр., Древняя и Новая Россія, 1879, октябрь, «Русскій дворъ въ 1780 году», стр. 83, приводимое ниже свидѣтельство Щербатова и др.

2) См. о нихъ у *Бильбасова:* Ист. Ек. II, т. XII.

вверхъ дномъ въ ея имперіи, остался не совсѣмъ доволенъ императрицей и прекратилъ съ той поры разговоры съ нею о политикѣ. И съ другой стороны императрица не мало забавлялась его энтузіазмомъ. «Удивительный человѣкъ, говорила она потомъ, но нѣсколько слишкомъ старый и нѣсколько слишкомъ юный»[1]). Тѣмъ не менѣе, отношенія ихъ оставались дружественными и въ послѣдующее время.

Оставляемъ въ сторонѣ переписку Екатерины съ Гриммомъ, которая длилась въ непринужденномъ тонѣ до кончины императрицы: Гриммъ былъ не только самымъ искреннимъ почитателемъ ея, но и ея парижскимъ повѣреннымъ и исполнителемъ порученій, и обмѣнъ мыслями съ нимъ не имѣетъ для насъ того значенія, что, напр., переписка съ Вольтеромъ.

Изъ хвалителей Екатерины, не принадлежавшихъ къ вождямъ просвѣщенія, иные круто потомъ поворачивали въ противоположную сторону. Такъ, Кастеръ, выѣхавъ изъ Россіи и будучи, быть можетъ, недоволенъ неуспѣхомъ своей оды въ денежномъ отношеніи, написалъ «Il poema Tartaro», гдѣ, какъ-бы по образцу рамки «Сказки о царевичѣ Хлорѣ», въ исторіи будто-бы татарскихъ дѣятелей XIII-го в., представилъ въ самомъ непригляднomъ видѣ дворъ Екатерины и разыгрывавшіяся тамъ любовныя исторіи[2]), — совершенно въ томъ же духѣ, что и Байронъ въ «Донъ-Жуанѣ»[3]), оттѣняя преимущественно темныя стороны и забывая преобладавшія свѣтлыя. Другіе иностранные писатели, современные Екатеринѣ, стѣснялись еще менѣе Кастеръ и выпускали иногда весьма грязные памфлеты.

---

1) О пріѣздѣ Дидро въ Петербургъ и вообще о сношеніяхъ съ нимъ Екатерины имѣется уже обстоятельная литература. Она указана у *Waliszewski*, Autour d'un trône, cinqu. éd., Par. 1894, p. 171. Тамъ же указанія и относительно другихъ философовъ. См. еще статью: «Дидро въ Петербургѣ», Древняя и Новая Россія, 1880, іюнь; *Ducros*, Diderot l'homme et l'écrivain, Par. 1894, pp. 84—130: «Diderot et Catherine II».

2) См. о поэмѣ Кастеръ у *Бильбасова*, Ист. Екат. Второй, т. XII, ч. I, стр. 560 — 561, и рефератъ *И. П. Гливенка* въ XII-й кн. Чт. въ Ист. Общ. Нест.-Лѣт.

3) Canto VI, XCII и др.

Въ годы Революціи популярность Екатерины во Франціи должна была совершенно упасть, тѣмъ болѣе, что и русская императрица, подобно другимъ государямъ, отнеслась враждебно къ революціоннымъ взрывамъ, начиная съ разрушенія Бастиліи; въ культѣ просвѣтительныхъ идей XVIII в. она не шла далѣе ученій Вольтера и монархическаго идеала XVII в. и не раздѣляла ученія о народовластіи, выведеннаго изъ писаній Руссо: она не желала разстаться съ прерогативами самодержавія. Тогда даже бюстъ Вольтера былъ снятъ Екатериной съ пьедестала. Въ свою очередь, тогдашніе парижскіе послѣдователи ученій философовъ съ одобреніемъ смотрѣли на балаганную пьесу Sylvain-а Maréchal-я «Послѣдній судъ королей», въ которой Екатерина представала въ низменно-комическомъ видѣ на ряду съ другими монархами Европы: въ пьесѣ изображалась сцена на отдаленномъ вулканическомъ островѣ, будучи отвезена на который, Екатерина отличается дикими подпрыгиваніями и затѣмъ вступаетъ въ споръ съ папою изъ-за куска морскаго сухаря; возникаетъ большая драка, во время ея разверзается вулканъ и поглощаетъ всѣхъ ея участниковъ. Революціонный «Moniteur» выставилъ Екатерину своего рода Мессалиной, но она сочла ниже своего достоинства принимать мѣры противъ распространенія этого памфлета. «Cela ne regarde que moi», надменно сказала она, и листокъ свободно обращался въ имперіи.

Такимъ образомъ, за предѣлами Россіи наиболѣе восхваляли Екатерину Вольтеръ и энциклопедисты. Она была дорога имъ, какъ союзница и послѣдовательница ихъ идей, и это были не только самые видные, но вмѣстѣ и самые почтенные изъ панегиристовъ Екатерины на Западѣ. И нельзя сказать, чтобы они совсѣмъ плохо ее знали; Вольтеру, напр., были извѣстны слухи, ходившіе касательно отношеній Екатерины къ Петру III, о томъ, что ее попрекали за нѣкоторыя bagatelles à propos этого ея супруга, но, по словамъ письма къ m-me du Deffand, Вольтеръ считалъ неумѣстнымъ вмѣшательство постороннихъ въ семейныя дѣла и споры. Многіе же другіе современники Екатерины за

предѣлами Россіи относились къ ней враждебно. Нападкамъ Екатерина подвергалась какъ за личныя качества, такъ и за политическія дѣянія. Должно имѣть въ виду, впрочемъ, что политическіе памфлеты, вызванные раздѣлами Польши, авторомъ проекта этихъ раздѣловъ, повидимому, признавали не Екатерину и къ ней относились на первыхъ порахъ не такъ враждебно, какъ къ другимъ виновникамъ паденія Польши.

Въ нашей литературѣ замѣчается та же двойственность въ изображеніяхъ Екатерины II, что̀ и въ иностранной.

Съ одной стороны читаемъ рядъ хвалебныхъ отзывовъ и одъ, которыми наполнена литература Екатерининскаго времени.

Люди просвѣщенные, въ особенности литераторы, болѣе другихъ чтили Екатерину, какъ покровительницу науки и литературы, получившей болѣе или менѣе широкое общественное значеніе впервые при этой государынѣ и благодаря ея личному участію «въ похвальномъ подвигѣ исправлять нравы своихъ единоземцевъ», какъ выразился Новиковъ. Литература наполнилась выраженіями благодарнаго чувства, между прочимъ и признательности за свободу, которой сподобилась (о послѣдней см. ниже). Вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней стали нерѣдки порывы энтузіазма, характеризовавшаго вообще послѣдователей просвѣщенія XVIII в., и въ частности проявленія восторга, какимъ прониклось русское образованное общество въ правленіе Екатерины подъ вліяніемъ ея идей, реформъ и политическихъ успѣховъ. Трудно найти другое время, когда были бы такъ довольны своей дѣятельностью, собой и верховною властью. Въ благоговѣйныхъ обращеніяхъ образованныхъ и благонамѣренныхъ людей къ императрицѣ чуялось искреннее чувство, а не лесть. Лучшіе, образованнѣйшіе умы того времени составляли хотя малый, но тѣсный кружокъ, съ одинаковымъ благоговѣніемъ относившійся къ великимъ дѣламъ славнаго царствованія [1]). Большинство литераторовъ соеди-

---

1) *А. Аванасьевъ*, Русскіе сатирическіе журналы 1769—1774 годовъ, М. 1859, стр. 105—106.

няли съ волею императрицы все благое. Отсюда несогласное съ ея установленіями и мнѣніями, представлявшее противоположность послѣднимъ, подвергалось осмѣянію и сатирическому изображенію, получившему тогда сильное развитіе. Сатира Екатерининскаго времени отличалась самымъ искреннимъ уваженіемъ къ правительственному направленію и преслѣдовала лишь злоупотребленія. Сознавая свою связь съ правительственными преобразованіями, сатирики того времени не отдѣляли своего дѣла отъ дѣла Екатерины и, подобно поборникамъ «философскаго» просвѣщенія на Западѣ, твердо уповали на скорое наступленіе въ Россіи золотого вѣка вслѣдствіе совокупныхъ усилій правительства и литературы. Безъ этой приправы не обходились обличенія и порицанія; и къ послѣднимъ непремѣнно присоединялось прославленіе Екатерины, и наоборотъ. Она одна стояла выше порицаній и была поставляема всѣмъ въ образецъ. «Нынѣ премудрость, сидящая на престолѣ, истинну покровительствуетъ во всѣхъ дѣяніяхъ», выразился благородный Новиковъ.

Помимо такого вполнѣ искренняго отношенія къ Екатеринѣ, цѣлый рядъ хвалебныхъ произведеній явился, какъ одно изъ выраженій литературныхъ нравовъ XVIII в. и послѣдствій тогдашняго меценатства. Ода, утвержденная въ нашей литературѣ Ломоносовымъ и достигшая затѣмъ широкаго господства[1]), стала однимъ изъ самыхъ распространенныхъ пріемовъ панегиризма. Она имѣла немало серьезнаго значенія и достоинствъ, но часто доходила до пошлости и вырожденія[2]). Потому Новиковъ воздержался совсѣмъ отъ похвалъ одамъ Петрова, котораго иные называли «уже вторымъ Ломоносовымъ», а Сумароковъ нападалъ на оды, называя ихъ «вздорными». Съ послѣдняго начинается

1) Объ условіяхъ, содѣйствовавшихъ распространенію и развитію оды въ нашей литературѣ XVIII-го в., см. въ ст. *Грыцька* (Елисеева): «Очерки исторіи русской литературы» и проч. Современникъ 1865, № 10, стр. 248 и слѣд. Объ отсутствіи критики въ русской литературѣ XVIII в. см. у *Тихонравова:* Сочиненія, т. III, ч. I, М. 1898, стр. 138 и слѣд.

2) См. о томъ въ ст. *Галахова:* «Сочиненія Кострова и Аблесимова», Отеч. Зап. 1851, № 11.

рядъ писателей, возставшихъ противъ высокопарности, отсутствія правды и чувства, противъ безсмысленности и пространности въ тогдашнихъ одахъ. Ко времени появленія «Фелицы» это недовольство овладѣло уже многими. Княжнинъ напечаталъ въ «Собесѣдникѣ» слѣдующее стихотвореніе, выражавшее это недовольство опошлѣвшею литературною формою, но не ея содержаніемъ:

Я вѣдаю, что дерзки оды,
Которы вышли ужъ изъ моды,
Весьма способны докучать.
Онѣ всегда Екатерину,
За рѣкой безъ ума гонясь,
Уподобляли райску крину,
И въ чинъ пророковъ становясь,
Вѣщая съ Богомъ будто съ братомъ,
Безъ опасенія перомъ,
Въ своемъ восторгѣ, взаймы взятомъ,
Вселенну становя вверхъ дномъ,
Отсель въ страны богаты златомъ
Пускали свой бумажный громъ;
Насъ по уши обогащали;
И Индъ, и Гангъ порабощали.
Но сколь ни щедры въ чудесахъ,
Они которы предвѣщали,
Все, сказанное въ ихъ стихахъ,
Ничто предъ громкими дѣлами
Царицы правящія нами.

Въ «Одѣ къ премудрой киргизкайсацкой царевнѣ Фелицѣ, писанной нѣкоторымъ татарскимъ мурзою», т. е. Державинымъ, свернувшимъ съ проторенной дороги и облекшимъ похвалы покровомъ остроумнаго вымысла[1]), явилось, наконецъ, лирическое

1) Указанія на эстетическія достоинства этой оды см. въ характеристикахъ поэзіи Державина, собранныхъ въ изданіи *Венгерова:* Русская поэзія, вып. V, Спб. 1895, стр. 84 и слѣд. «Примѣчаній и дополненій».

произведеніе, свободное отъ надоѣвшихъ уже многимъ тривіальностей и вмѣстѣ доставившее полное удовлетвореніе общему подъему гуманнаго чувства и ликованію упоенія, характеризовавшему время Екатерины.

Эта ода, напечатанная въ 1-й книжкѣ журнала «Собесѣдникъ любителей Россійскаго Слова», вышедшей въ свѣтъ 20-го мая 1783 г., была однимъ изъ самыхъ крупныхъ литературныхъ событій Екатерининскаго времени. Послѣ нея продолжали являться оды, восхвалявшія «безсмертную славу героевъ», «цвѣтущее состояніе Россіи», словомъ — продолжалось виршеплетство въ торжественномъ топѣ, преобладавшее въ большинствѣ одъ Державина [1]). Но оно уже не достигало успѣха, какой достался на долю знаменитѣйшей изъ одъ Державина.

Въ слѣдовавшее за Екатерининскимъ время тѣ самыя литературныя произведенія, которыя изображали въ печальномъ видѣ порядки и общество того времени приблизительно такъ же, какъ въ «Фелицѣ», отмѣчали, наряду съ хорошими сторонами народнаго русскаго характера, доступность, доброту и справедливость государыни въ противоположность недостоинству ея дворянства. Это видимъ въ «Капитанской дочкѣ» Пушкина, въ «Словесной крохѣ хлѣба» Кохановской. Общій взглядъ на Екатерину II въ такихъ произведеніяхъ тотъ же, что и въ анекдотахъ о ней, вошедшихъ теперь даже въ христоматіи [2]). Эти анекдоты принадлежали къ преданіямъ, которыя долго жили въ русскомъ обществѣ и народѣ [3]). Рядъ русскихъ хвалебныхъ поэтическихъ произведе-

---

1) Объ одахъ 1786 г. см. у *Тихонравова*, l. c., 205 и слѣд. Оды Капниста, въ томъ числѣ и «Ода на истребленіе въ Россіи званія раба», не составляютъ исключенія.

2) См. рядъ анекдотовъ въ Русскомъ Архивѣ 1870 г., стр. 2076—2126, подъ заглавіемъ: «Черты Екатерины Великой», гдѣ они перепечатаны изъ книжки 1819 г.

3) См. интересныя данныя о томъ у *E. Dupré de Saint-Maure*, L'hermite en Russie, Par. 1829, p. 98 suiv.: «L'mpératrice Catherine règne encore ici; le grand seigneur, le marchand, le gentilhomme campagnard, le paysan, le vieux soldat, le manoeuvre, tous parlent de cette souveraine avec enthousiasme, tous la bénissent» etc.

ній въ честь Екатерины заканчиваетъ стихотвореніе А. Н. Апухтина, послѣднія слова котораго:

Живи, живи, Екатерина,
Въ безсмертной памяти народа твоего.

Совсѣмъ на другой сторонѣ стоятъ отрицательныя сужденія объ этой императрицѣ.

Они исходили иногда отъ лицъ, весьма близкихъ къ Екатеринѣ. Такъ, кн. Е. Р. Дашкова писала однажды князю А. Б. Куракину: «остается желать, чтобы упражненія и все то, что вы заслуживаете, награждая ваши желанія, могло отвлечь васъ отъ досадъ и скуки, которой, оставаясь въ Россіи, человѣкъ вашего духа мыслей подверженъ. — Я со своей стороны сносной жизни здѣсь не вкушаю, какъ только въ деревнѣ. И вы изъ села ко мнѣ пишете, но то село не Троицкое, а Царское. О хозяйкѣ онаго я нѣкогда сказала: «Quel dommage qu'elle aie une Cour»; но важныя ея упражненія и все, что ее окружаетъ, препятствуютъ, чтобы великими ея дарованіями можно было пользоваться, почему вы остаетесь въ томъ положеніи, что друзьямъ вашимъ жалѣть, что вы при дворѣ» [1]).

Даже главный пѣвецъ Екатерины, Державинъ, какъ-бы провидѣлъ возможность развѣнчиванія этой государыни въ будущемъ. «Сія мудрая и сильная государыня, читаемъ въ его запискахъ, ежели въ сужденіи строгаго потомства не удержитъ по вѣчность имя великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но угождала своимъ окружающимъ, а паче своимъ любимцамъ, какъ-бы боясь раздражить ихъ; и потому добродѣтель не могла, такъ сказать, сквозь сей закоулокъ пробиться и вознестись до падлежащаго величія; но если разсуждать, что она была человѣкъ, что первый шагъ ея восшествія на

1) Архивъ князя Ѳ. А. Куракина, кн. VII, изд. подъ ред. Смольянинова, Саратовъ, 1898.

престолъ былъ не непороченъ, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ея страстей, противъ которыхъ явно возставать, можетъ быть, и опасалась; ибо ее поддержпвали. Когда же привыкла къ изгибамъ по своимъ прихотямъ со своими любимцами, а особливо въ послѣдніе года съ нихъ Потемкинымъ упоена была славою своихъ побѣдъ, то уже ни о чемъ другомъ и не думала, какъ только о покореніи скипгру своему новыхъ царствъ».

Въ напечатанномъ лишь въ настоящемъ столѣтіи сужденіи кн. Щербатова въ его сочиненіи «О повреждепіи нравовъ» читаемъ такую характеристику Екатерины: «Не можно сказать, чтобы она не была качествами достойна править толь великой имперіей, естли женщина возможетъ поднять сіе иго, и естли однихъ качествъ довольно для сего вышняго сану. Одарена довольной красотою, умна, обходительна, великодушна и сострадательна по системѣ, славолюбива, трудолюбива по славолюбію, бережлива, предъ-пріятельна и нѣкое чтеніе имѣющая. Впрочемъ мораль ея состоитъ на основаніи новыхъ философовъ, то есть не утвержденная на твердомъ камени закона Божія, а потому какъ на колеблющихся свѣтскихъ главностяхъ есть основана, съ ними обще колебанію подвержена. Напротивъ же того ея пороки суть: любострастна и совсѣмъ ввѣряющаяся своимъ любимцамъ; исполнена пышности во всѣхъ вещахъ, самолюбива до безконечности и не могущая себя принудить къ такимъ дѣламъ, которыя ей могутъ скуку наводить; принимая все на себя, не имѣетъ попеченія о исполненіи, а наконецъ толь перемчива, что рѣдко и одинъ мѣсяцъ одинакая у ней система въ разсужденіи правленія бываетъ[1])... Сама Императрица, яко самолюбивая женщина, не только примѣрами своими, но и самымъ одобреніемъ пороковъ является — желаетъ ихъ силу умножить; она славолюбива и пышна, то любитъ лесть и подобострастіе; изъ окружающихъ ее

1) Сочиненія князя *М. М. Щербатова*, т. II. Подъ ред. И. П. Хрущова и А. Г. Воронова, Спб. 1898, стр. 226.

Бецкой, человѣкъ малаго разума, но довольно пронырливъ, чтобъ ее обмануть»[1]). И т. д.

Скажемъ сразу, что многія изъ этихъ сужденій кн. Щербатова подлежатъ самой тщательной критической провѣркѣ, разъ авторъ отводитъ въ своей характеристикѣ такое видное мѣсто низменнымъ побужденіямъ и какъ-бы не вполнѣ согласенъ съ этимъ въ другомъ сочиненіи[2]). Изъ этой характеристики можно принять безъ особыхъ оговорокъ далеко не все — указаніе на вліяніе философовъ и легкой морали XVIII в., а также на честолюбіе Екатерины и любовь къ лести[3]). Въ своихъ мемуарахъ она сама не разъ даетъ понять, что мечта о русской коронѣ непрерывно увлекала ее съ раннихъ лѣтъ. Эти же мемуары Екатерины II содержатъ наилучшее объясненіе того пути, по которому въ концѣ концовъ направилась эта высокодаровитая и духовно-дѣятельная личность, бывшая «философомъ» уже въ 15 лѣтъ, прошедшая тяжелую и не могшую благотворно воздѣйствовать житейскую школу при Елисаветинскомъ дворѣ и не нашедшая въ своемъ супругѣ даже обыкновеннаго здраваго смысла, не говоря уже о полномъ отсутствіи любви съ его стороны. Вообще записки Екатерины II — весьма важный памятникъ въ силу чистосердечія признаній и хорошаго анализа собственнаго характера писательницы[4]). Прочитавъ ихъ, можно многое понять въ ея характерѣ и поступкахъ и въ силу того вынести прощеніе и симпатію къ этой, хотя и подвергшейся тлетворному воздѣйствію легкой и шаткой морали XVIII в., но все-таки во многихъ отношеніяхъ въ высшей степени привлекательной лич-

---

1) Тамъ же, стр. 230—231.

2) См. въ томъ же томѣ Сочиненій князя *М. М. Щербатова* «Планъ исторіи Ея Императорскаго Величества славно царствующей надъ нами Императрицы Екатерины II», стр. 68: «я тщусь безъ лести описать дѣла такого государя, который всю жизнь свою употребляетъ дѣлать счастливыми подверженные подъ власть его народы» и т. д.

3) Ср. еще стр. 259: «...охуляю я ея удовольствіе, показуемое во всякомъ случаѣ, когда ей льстятъ и возвеличиваютъ».

4) См. объ этихъ мемуарахъ у *Sainte-Beuve:* Nouveaux lundis, t. II: «Memoires de l'impératrice Catherine II».

ности. Екатерина не давала полной и губительной силы даже своей слабости[1]), не покидавшей ея до самой кончины, и, что ни говорить, главной страстію ея была забота о величіи Россіи и своемъ собственномъ въ качествѣ русской императрицы.

Наряду со Щербатовымъ долженъ быть поставленъ авторъ знаменитаго «Путешествія изъ Петербурга въ Москву» (1790)[2]), А. Н. Радищевъ. Уже въ его «Житіи Ѳ. В. Ушакова» (1789 г.) можно было читать выраженія въ родѣ слѣдующаго: «дивиться не должно, что противорѣчіе въ подчиненномъ, справедливое, хотя противорѣчіе, или, лучше сказать, единое напоминовеніе справедливости произвело здѣсь со стороны сильнаго негодованіе и прещеніе. Сіе въ самодержавныхъ правленіяхъ почти повсемѣстно. Примѣръ самовластія Государя, не имѣющаго закона на послѣдованіе, ниже въ расположеніяхъ своихъ другихъ правилъ, кромѣ своей воли или прихотей, побуждаетъ каждаго начальника мыслить, что, пользуяся удѣломъ власти безпредѣльной, онъ такой же властитель частно, какъ тотъ въ общемъ».

Новѣйшіе русскіе историки склоняются неоднократно къ отрицательнымъ сужденіямъ въ родѣ тѣхъ, которыя находимъ уже въ приведенныхъ словахъ Державина и у исторіографа прошлаго вѣка кн. Щербатова. Еще у всѣхъ, вѣроятно, въ памяти то порицаніе, которому подвергся недавно со стороны нѣкоторыхъ критиковъ г. Чечулинъ, между прочимъ—и за панегиризмъ внѣшней политикѣ Екатерины въ духѣ Державина, на тему: «Громъ побѣды, раздавайся», повторенную потомъ Жуковскимъ въ царствованіе Александра I. Не разъ высказывались мнѣнія,

---

1) Ср. замѣчанія о «moral descent» Екатерины въ The Fortnightly Review, 1896, Novemb., 678—679. По справедливому замѣчанію г. *Бильбасова* (Ист. Екат. II, т. II, Лонд. 1895, стр. 98), въ Екатеринѣ «сердце сердцемъ, а разумъ разумомъ. Екатерина не дозволяла своимъ сердечнымъ привязанностямъ вліять на рѣшеніе вопросовъ, зависящихъ отъ разсудочныхъ соображеній». Замѣтимъ, что Екатерина исканіемъ сердечныхъ привязанностей, обуревавшимъ ее во всю ея жизнь, нѣсколько напоминаетъ другія даровитыя и знаменитыя личности, какъ, напр., M-me de Staël и осудившаго нашу императрицу Байрона.

2) См. объ этой книгѣ *А. Бурцевъ*, Описаніе рѣдкихъ россійскихъ книгъ, ч. IV, Спб. 1897, стр. 156—195.

что блескъ личности Екатерины и ея подвиговъ—блескъ мишурный, дорого обходившійся и намъ, и другимъ; указывалось на несоотвѣтствіе дѣлъ Екатерины ея словамъ, производилось сопоставленіе конца ея царствованія съ первой его половиной, указывалось на печальную участь крестьянства въ царствованіе Екатерины, въ особенности малороссійскаго, и т. п.

Итакъ, уже съ прошлаго столѣтія въ изображеніи Екатерины II и Россіи ея времени какъ въ иностранной литературѣ, такъ и въ русской, замѣчается двойственность, и послѣдующее время, въ томъ числѣ и наше, далеко не всегда избѣгало преобладанія подобной же односторонности. При этомъ постепенно усиливалось болѣе темное освѣщеніе: чѣмъ ближе подходимъ къ концу нашего вѣка, тѣмъ менѣе становится панегирическимъ тонъ рѣчей о знаменитой императрицѣ, и прежній панегиризмъ подвергается уже рѣзкому осужденію.

Но возникаетъ вопросъ: дѣйствительно ли такъ предосудительно съ точки зрѣнія исторической правды преобладаніе похвалы въ сужденіяхъ о Екатеринѣ, и неужели льстецами или поверхностными наблюдателями были ея панегиристы?

Для правильнаго отвѣта на этотъ вопросъ необходимо выяснить происхожденіе панегиризма въ отзывахъ о Екатеринѣ, обратившись къ уясненію источниковъ его въ ея же время.

Для полной и правильной оцѣнки историческихъ дѣятелей не лишено глубокаго интереса вниканіе въ сужденія о нихъ, высказанныя выдающимися современниками ихъ. При этомъ въ иныхъ случаяхъ похвалы современниковъ могутъ имѣть рѣшающее значеніе, такъ какъ бываютъ дѣятели и явленія, къ которымъ важно примѣнять не столько критику недостатковъ, сколько критику достоинствъ.

Намъ кажется, что, произнося приговоръ о такихъ личностяхъ, какъ Екатерина II, въ особенности важно уяснить, *за что* и какъ прославляли ихъ просвѣщенные и даровитѣйшіе современники въ литературѣ. Къ такимъ литературнымъ отзывамъ стоитъ прислушаться повнимательнѣе, если только они исходили

отъ людей, стоявшихъ болѣе или менѣе высоко въ умственномъ и моральномъ отношеніи и внимавшихъ болѣе или менѣе горячо велѣніямъ правды и совѣсти.

Русская литература времени Екатерины II имѣла такихъ дѣятелей. Обаятельная личность Екатерины II, идеи, реформы и блескъ ея царствованія и ея слава вдохновили талантливаго поэта, какого не было до того времени въ новой Россіи, и снискали сочувственную и остающуюся доселѣ классической оцѣнку со стороны просвѣщеннѣйшаго и благороднѣйшаго литератора младшаго поколѣнія времени Екатерины II. Мы говоримъ о Державинѣ, пріобрѣвшемъ себѣ громкую извѣстность, между прочимъ, своею одою «Фелица», которая оставила далеко за собою всѣ предшествовавшія и послѣдовавшія стихотворенія въ честь Екатерины, и о Карамзинѣ, написавшемъ ей «Похвальное Слово», заслуживающее особаго вниманія въ ряду публицистическихъ разсужденій, посвященныхъ прославленію этой государыни. Оба эти произведенія явились въ историческіе моменты, когда общее направленіе и значеніе царствованія Екатерины II достаточно или вполнѣ уже выяснились: «Фелица»—въ 1782 г., когда была составлена и коммиссія объ учрежденіи народныхъ училищъ и когда былъ поднесенъ уже Екатеринѣ инвентарь ея царствованія; «Похвальное Слово» Карамзина—20 лѣтъ спустя, послѣ царствованія Павла, въ началѣ царствованія Александра I, возвратившаго Россію на путь, по которому она слѣдовала при Екатеринѣ II.

Было бы совсѣмъ несправедливо ставить эти произведенія въ одинъ рядъ съ другими и повторять избитыя фразы о лести. Для опроверженія такого обвиненія достаточно, кромѣ тѣхъ данныхъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже, сравнить хвалы Карамзина и Державина съ соотвѣтственными прославленіями у другихъ писателей, напр., «Слово» Карамзина — съ «Похвалою Екатеринѣ Великой» сенатора Захарова [1]), а оду Державина съ соотвѣтствен-

1) Спб. 1802. Въ этой «Похвалѣ», написанной, по словамъ автора (стр. 102), «прежде изданія Историческаго Похвальнаго Слова Екатеринѣ Великой Сочи-

нымъ стихотвореніемъ Ленца, написаннымъ весною 1781 г. и, быть можетъ, не оставшимся въ неизвѣстности для нашего поэта, вообще склонявшагося болѣе всякаго другого къ нѣмецкому вліянію.

Стихотвореніе знаменитаго поэта «бури и натиска» носитъ заглавіе: «Empfindungen eines jungen Russen der in der Fremde erzogen seine allerhöchste Landesherrschaft wieder erblickte»[1]). Отдѣльныя мысли этого произведенія, начиная съ уподобленія Екатерины божеству (wie eine Gottheit), повторяются и у Державина. Ср., напр., тяжеловатые стихи, которыми начинаетъ похвалы Екатеринѣ Ленцъ и въ которыхъ онъ прославляетъ созданіе Екатериною единой націи изъ сотни народовъ и ихъ счастіе:

So ward ich denn noch dazu aufgehoben
Das Angesicht zu sehn, das unter Still und Nacht

неннаго Г-мъ Карамзинымъ», но напечатанной по выходѣ послѣдняго въ свѣтъ, расточаются въ изобиліи льстивые эпитеты и Александру I. Перечень другихъ печатныхъ произведеній Захарова см. у *Геннади*, Справ. словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ, т. I, Берл. 1876, стр. 25—26. Извѣстно немало похвальныхъ словъ, явившихся въ правленіе Екатерины. Сюда относится «Похвала истинной любви, сочин. на день восшествія на престолъ имп. Екатерины II, *Ивана Владыкина*», Спб. 1770. Назовемъ, далѣе, «Слово, произнесенное великой Самодержицѣ всея Россіи, Екатеринѣ II, мудрѣйшимъ *Евгеніемъ (Булгарисомъ)* въ день нареченія въ епископы, 1-го октября 1775 г., въ Москвѣ, въ Греческомъ монастырѣ»; см. *Д. Шестакова* .Рукописныя собранія Аѳона, Ученыя Записки Имп. Казанскаго университета 1897, № 12, стр. 17. Упомянемъ еще о восхваленіи Екатерины и описаніи Петербурга на персидскомъ и русскомъ языкахъ, вышедшемъ въ Петербургѣ въ 1793 г. и начинающемся словами: «Сіе сочин. въ похвалу Е. И. В. Государыни Екатерины Вторыя, написалъ стихами рабъ Божій посланникъ Магометъ, сынъ Магомета Мохсина, по прозв. Атрефи». — Слова по случаю открытія намѣстничествъ, выборовъ дворянскихъ и другихъ и вообще на разные торжественные случаи были довольно многочисленны. См. еще о брошюрѣ *Палладоклиса* у *Бурцева*, Описаніе, II, 358—359, и т. п. За сообщеніе нѣкоторыхъ изъ этихъ свѣдѣній приносимъ благодарность В. С. Иконникову.

1) Gedichte von *J. M. R. Lenz.* Herausgeg. von K. Weinhold, Berl. 1891, № 103, S. 240—242. См. еще далѣе, № 102, S. 244: «Auf des Grafen Peter Borisowitsch Scheremetieff vorgeschlagene Monument», гдѣ также есть хвалебныя строки въ честь Екатерины.

Und Sturm und Sonnenschein wie eine Gottheit oben
So manches Tagewerk ausbildend schon vollbracht
Und Völker, welche sie in hundert Sprachen loben,
Zu einer Nation gemacht.
Da stehn sie um sie her, mit Flammen in den Blicken,
Die Glücklichen, den Segen auszudrücken,
Der ihr seit der Vereinigung
Von einer halben Welt gelung....,

и соотвѣтственную картину, которою *также начинается описаніе* дѣлъ Екатерины у Державина:

Тебѣ единой лишь пристойно,
Царевна, свѣтъ изъ тьмы творить;
Дѣля хаосъ на сферы стройно,
Союзомъ цѣлость ихъ крѣпить;
Изъ разногласія согласье
И изъ страстей свирѣпыхъ счастье
Ты можешь только созидать.
Такъ кормщикъ, черезъ понтъ плывущій,
Ловя подъ парусъ вѣтръ ревущій,
Умѣетъ судномъ управлять.

Какъ блѣдно восхваляетъ Лещъ человѣчность той, которая

.....so menschlich herrscht, dass jeglichem Talente
Die Fessel von den Händen sinkt,
Sie die selbst da, wo Titus zwingen könnte,
Nie anders als durch Freiheit zwingt,
Die selbst die Schmeichelei durch unbesungne Schritte,
Womit sie nach der Wahrheit rang,
Offt durch das Gegentheil, offt durch die weisre Mitte
Zu heilsamer Beschämung zwang.

Сравн. у Державина:

Пророкомъ ты того не числишь,
Кто только рѳмы можетъ плесть...
Еще же говорятъ не ложно,
Что будто завсегда возможно
Тебѣ и правду говорить. И т. д.[1])

Словомъ, изліяніе чувствъ у Ленца лишено поэтической образности и уступаетъ русской одѣ въ художественности изложенія[2]), а также въ полнотѣ задушевности, а по мѣстамъ прямо переходитъ въ лесть.

То же должно сказать и о пусто-реторичной одѣ Касти, явившейся въ свѣтъ около того года, въ которомъ была написана «Фелица»[3]), и о другихъ одахъ на иностранныхъ языкахъ, и о многихъ изъ нашихъ отечественныхъ хвалебныхъ гимновъ.

---

1) Интересно, что и въ стихотвореніи Державина «На новый годъ» (см. ниже) упоминаются «Титы», какъ о Титѣ говоритъ и Ленцъ въ разсматриваемомъ стихотвореніи.

2) Должно, впрочемъ, сказать, что и у Державина справедливо отмѣчали по мѣстамъ какофонію и недостатокъ литературнаго вкуса, какъ, напр., въ стихахъ оды къ Фелицѣ:

Поэзія тебѣ любезна,
Пріятна, сладостна, полезна,
Какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ.

Ср. (25-е) примѣч. Грота къ этому стиху и хотя бы у Waliszewski, Autour d'un trône, p. 249.

3) Брошюра in-4⁰, въ которой помѣщено стихотвореніе Касти, не вошедшее въ собранія сочиненій послѣдняго, носитъ заглавіе на первомъ листкѣ: «A Caterina II Imperatrice di tutte le Russie canzoni, di Gio: Batista Casti». Годъ изданія не обозначенъ. За этимъ заглавнымъ листомъ слѣдуетъ на двухъ страницахъ обращеніе въ прозѣ къ «Imperial Maestá», въ которомъ говорится, что въ признаніи славы Екатерины одинаково согласны ея подданные и иноземцы: первые чувствуютъ благодѣтельныя послѣдствія мудраго и кроткаго правленія императрицы (savio e dolce governo), вторые изумлены шумомъ ея славныхъ дѣяній; первые искренно выражаютъ благодарность и любовь, вторые воздаютъ безкорыстно дань уваженія самой возвышенной доблести и самой лучезарной заслугѣ (alla virtù più sublime e al merito più luminoso). Авторъ обращается къ «Incomparabil Principessa» съ просьбою о позволеніи ему, созерцателю ея «возвышенныхъ качествъ», присоединить къ общему голосу и свой, «per manifestare al Mondo l'alta impressione, che fa nel suo core, e nel suo spirito il maestoso spettacolo d'una Grande, e Perfetta Sovrana adorata da' suoi popoli, ammirata dall' Uni-

Выдающіяся русскія хвалы Екатеринѣ, на которыхъ мы остановимся теперь по преимуществу, — произведенія, вылившіяся изъ глубины искренно тронутаго сердца и содержащія вмѣстѣ съ тѣмъ цѣнныя историческія данныя. «Фелица» — одно изъ литературныхъ произведеній, наиболѣе ярко охарактеризовавшихъ высшій кругъ общества того времени и вмѣстѣ оттѣнявшихъ почти одинокое положеніе просвѣщенной и дальновидной государыни среди ея сподвижниковъ, стоявшихъ гораздо ниже ея по характеру, уму и политическому образованію; въ «Похвальномъ же Словѣ» Карамзина интересны тѣ, нашедшія въ немъ полный отзвукъ, стремленія и чувства, которыя были пробуждаемы и явились добрымъ результатомъ правленія Екатерины,

---

verso, e benemerita dell' Umanita». Самыя «canzoni» помѣщены на стр. 5—12, а за ними на стр. 15—22 находимъ въ той же брошюрѣ «Per la felice nascita di Alessandro Principe Imperiale di tutte le Russie canzone». Канцоны полны напыщенныхъ похвалъ съ классическими прикрасами. Земля уже тѣсна для славы Екатерины. Поэтъ слышалъ громкіе возгласы изъ тысячи устъ на берегахъ Тибра и Арно, сначала онѣмѣлъ, а потомъ сказалъ: и я еще молчу? И онъ принимается за прославленіе Екатерины:

Tu Magnanima sei, Tu Saggia, e Grande,
A Te sol di quei pregi il Ciel fe dono,
Che fra ben mille Eroi divide, e spande.

Поэтъ справедливо указываетъ на «idee grandi e sublimi», которыми природа надѣлила Екатерину, на то, что она выполняла и превосходила предначертанія Петра В., но врядъ ли можно согласиться съ похвалою въ стихахъ:

Tu in cor di virtù gl'innati semi
Risvegli, e nutri...

Большая половина стиховъ посвящена риторическому изображенію побѣдъ русскаго оружія, а истинныя заслуги внутренняго правленія Екатерины отмѣчены кратко, блѣдно и невыразительно, именно развитіе богатства въ странѣ, благодаря поощренію промышленности, облагороженіе нравовъ юношества, которое

Gentil costume, e uman dover apprende,
E la via dell' onor sicura, e certa,

открытіе школъ, благосклонность къ искусствамъ и иноземнымъ дарованіямъ и стремленіе доставить утѣшеніе удрученнымъ и счастіе. Въ канцонѣ на рожденіе Александра I восхваляется на ряду съ Екатериною и Павелъ,

Che nel saggio parlar, nelle chiare opre
L'anima grande ognor viepiù discopre.

и любопытенъ тотъ идеалъ монарха, какой сложился и на Руси подъ вліяніемъ этого правленія у людей, раздѣлявшихъ идеи философовъ XVIII в. до-революціонной поры. Екатерина II пыталась осуществить этотъ идеалъ, подпавъ, конечно, и всѣмъ ошибкамъ, которыя вообще влекли за собою космополитизмъ и универсализмъ XVIII в. и отъ которыхъ остался болѣе или менѣе свободенъ Монтескье, въ этомъ отношеніи плохо понятый Екатериной. Въ названныхъ произведеніяхъ Державинъ и Карамзинъ являются выразителями подъема духа и энтузіазма, характеризовавшаго Екатерининское время, благоговѣнія и уваженія къ Екатеринѣ и духу ея царствованія (не говоримъ — ко всѣмъ ея дѣламъ) большинства современнаго ей образованнаго свѣтскаго русскаго общества. «Фелица» и «Похвальное Слово» взаимно поясняютъ и дополняютъ другъ друга. Карамзинъ посвятилъ большую часть «Слова» обозрѣнію дѣлъ Екатерины. Въ «Фелицѣ» же обращено на нихъ сравнительно не такъ много вниманія и подвигамъ Екатерины удѣлено почти столько же мѣста, какъ и изображенію ея, такъ сказать, домашняго быта и личныхъ качествъ.

Послѣднее обстоятельство зависѣло *отчасти* отъ самой формы, данной Державинымъ одѣ.

Какъ извѣстно, мысль о построеніи послѣдней и о наименованіи Екатерины Фелицею явилась у Державина при чтеніи «Сказки о царевичѣ Хлорѣ» (1781), написанной императрицею для ея малолѣтнихъ внуковъ[1]). Въ этой сказкѣ Екатерина предостерегала ихъ отъ вліянія льстивой и развратной толпы[2]). Смыслъ аллегоріи тотъ, что только терпѣніемъ при руководствѣ просвѣщеннаго ума можно достигнуть добродѣтели, а слѣдовательно — и счастія. Аллегорія сказки о царевичѣ Хлорѣ являлась,

---

1) На такое назначеніе своей сказки указала сама Екатерина въ инструкціи Салтыкову при назначеніи его воспитателемъ великихъ князей. См. Соч. *имп. Екатерины II*, изд. Смирдина, 1849, т. I, 225.

2) См. въ статьѣ *Пятковскаго*, прилож. къ соч. Фонъ-Визина, изд. Глазунова, 1866, стр. XLV.

такимъ образомъ, воплощеніемъ одной изъ излюбленнѣйшихъ идей просвѣщенія XVIII-го в., удѣлявшаго такое значеніе путеводству разума[1]).

Сочинивъ эту сказку, Екатерина выказала въ себѣ заботливую и умную воспитательницу своихъ внуковъ, какъ-бы вторую Фелицу. Державинъ, и прежде уже искренно благоговѣвшій къ Екатеринѣ и выражавшій это какъ въ стихахъ[2]), такъ и въ письмѣ отъ имени Казанскаго дворянства, вновь былъ сердечно тронутъ «идеею и цѣлью высокой писательницы; русскій умъ его, который ему самому недавно указалъ новый путь въ творчествѣ, былъ увлеченъ оригинальными подробностями и красками разсказа. Голосъ Екатерины пробудилъ новую струну въ душѣ Державина — онъ написалъ Фелицу»[3]).—Благодаря сказкѣ о царе-

1) Сравн. начало «Фелицы» и сказку о царевичѣ Хлорѣ съ концепціею холма въ 1-й пѣснѣ Дантова «Ада» въ его аллегорическомъ значеніи.

2) Перечень стихотвореній въ честь Екатерины II, написанныхъ Державинымъ съ 1767 г. до «Фелицы», см. въ Соч. *Державина*, 2-е изданіе Академіи Наукъ, т. I, Спб. 1868, стр. 102—103.

3) Слова *Грота:* Современникъ 1845, № 11, «Фелица и Собесѣдникъ Любителей Россійскаго Слова», стр. 120.—Въ стихотвореніи Державина «На новый годъ» (1781) читаемъ:

Отъ должностей въ часы свободны
Пою моихъ я радость дней;
Пою Творцу хвалы духовны
И добрыхъ я пою царей.
Пріятнѣй гласы становятся
И слезы нѣжности катятся,
Какъ Россовъ матерь я пою.
Петры и Генрихи и Титы *)
Въ народныхъ вѣкъ живутъ сердцахъ,
Екатерины не забыты
Пребудутъ въ тысящѣ вѣкахъ.
Уже я вижу монументы,
Которыхъ свергнуть элементы
И время не имѣютъ силъ.

Слова эти показываютъ, что личность Екатерины сильно вдохновляла поэта уже задолго до выхода въ свѣтъ «Фелицы» и что онъ ставилъ ее рядомъ съ

*) Разумѣются столь популярные въ XVIII стол. французскій король Генрихъ IV и римскій императоръ Титъ.

вичѣ Хлорѣ, Державинъ возымѣлъ въ своей одѣ счастливую мысль избѣжать оффиціальнаго тона и представить государыню въ образѣ Фелицы, Киргизъ-Кайсацкой царевны (—богини блаженства, по его объясненію этого имени[1]), а себя ея мурзою[2]), и вслѣдствіе того чрезвычайно тонко восхвалилъ Екатерину подъ покровомъ остроумнаго вымысла. Исповѣдываясь въ своихъ недостаткахъ, къ которымъ присоединяетъ недостатки всего высшаго круга, Державинъ обращается къ Фелицѣ будто за совѣтомъ, какъ жить «пышно»[3]) и въ то же время «правдиво». Ставя ее своимъ идеаломъ, поэтъ, естественно, долженъ былъ говорить въ особенности только о тѣхъ ея добродѣтеляхъ, которыя представляли возможность служить *ему* примѣромъ. А эти послѣднія принадлежали преимущественно Екатеринѣ, какъ личности. Только при случаѣ Державинъ могъ сказать частнѣе о заслугахъ императрицы на пользу государства, что́, дѣйствительно, мы и видимъ. *Этого* требовалъ принятый имъ скромный планъ оды.

У Державина Фелица предстаетъ, какъ «кроткій мирный ангелъ», который «правитъ проступки снисхожденіемъ, не давитъ людей, какъ волкъ — овецъ», и «всегда склоняется прощать»; Екатерина «любезна и въ дѣлахъ и въ шуткахъ, тверда, пріятна

самыми знаменитыми въ XVIII в. государями Европы. Повидимому, уже въ январѣ 1781 г. Державинъ прославлялъ въ какомъ-то стихотвореніи Екатерину, и такъ какъ первая Державинская ода въ честь ея, появившаяся послѣ 1780 г., была «Фелица», то съ достовѣрностію можно полагать на основаніи приведенной выдержки, что эта ода была въ умѣ поэта уже въ 1781 г., т. е. въ томъ самомъ, въ которомъ появилась и сказка о царевичѣ Хлорѣ. Такъ думалъ и г. Бартеневъ. См. Записки *Гавр. Ром. Державина* съ литер. и историч. примѣч. П. И. Бартенева, изд. Русск. Бесѣды, М. 1860, стр. 237. Гротъ, основываясь на показаніи Собесѣдника (XVI, 6), что ода сочинена «въ исходѣ 1782 г.», отнесъ ее къ послѣднему. Мы принимаемъ свидѣтельство Собесѣдника въ томъ смыслѣ, что ода получила лишь окончательную отдѣлку въ концѣ 1782 г.

1) Имя Фелица не имѣетъ ли отношенія къ франц. «Félicité»?

2) О мурзахъ есть упоминанія и въ сказкѣ Екатерины. Державинъ подъ вліяніемъ послѣднихъ могъ вспомнить при этомъ удобномъ случаѣ и о своемъ восточномъ происхожденіи, о которомъ впервые заговорилъ въ «Фелицѣ». Ср. у *Грота*, Соч. *Державина*, изд. Ак. Н., т. I, стр. 716.

3) Въ первомъ изданіи оды читаемъ вмѣсто этого слова другое: «честно».

въ дружбѣ, не горда, здраво о заслугахъ мыслитъ, воздаетъ достойнымъ честь, не дорожитъ своимъ покоемъ». За такія свои достоинства и благодѣянія для народа, пропстекшія изъ нихъ, «благостью великая, какъ Богъ», она названа «премудрою, богоподобною, ниспосланною съ небесъ»; «Фелицы слава—слава Бога».

Равнымъ образомъ и Карамзинъ отдаетъ императрицѣ справедливую дань уваженія за ея «кротость, человѣколюбіе» и «скромную любезность», за ея «пріятность ума, проницательность взора» и «знаніе человѣческаго сердца». Но при этомъ онъ расширяетъ кругъ оцѣнки и ставитъ еще въ особую заслугу Екатеринѣ «ревностное желаніе довершить начатое Петромъ[1]), просвѣтить народъ, образовать Россію, утвердить ея счастіе на столпахъ незыблемыхъ и согласить всѣ части правленія». И въ Словѣ Карамзина Екатерина прославляется за «дѣятельную мудрость правленія», представляется лучезарнымъ свѣтиломъ и божествомъ.

Такимъ образомъ въ общемъ мнѣніи о Екатеринѣ и характеристикѣ ея у обоихъ выдающихся ея современниковъ въ русской литературѣ усматривается значительное сходство. Старшій и младшій литературные корифеи сошлись во многомъ, существенно касавшемся ея личности, несмотря на то, что Карамзинъ писалъ двадцатью годами позднѣе Державина, а главное — когда предмета восхваленій уже не было въ живыхъ[2]).

Такое сходство во взглядахъ литераторовъ различныхъ поколѣній объясняется тѣмъ, что Екатерина казалась равно великой большинству своихъ современниковъ въ средѣ русскихъ просвѣщенныхъ людей[3]), и въ этомъ отношеніи установилась извѣстная традиція.

---

1) Ср. извѣстный, столь часто варьировавшійся возгласъ въ русской литературѣ Екатерининскаго времени: «Петръ далъ намъ бытіе, Екатерина душу».

2) Карамзинъ, повидимому, съ гордостію причислялъ себя къ современникамъ Екатерины: «И я жилъ подъ ея скипетромъ! и я былъ щастливъ ея правленіемъ!» восклицаетъ онъ.

3) По словамъ Хомякова, она была предметомъ любви и восторга во всѣхъ краяхъ Россіи. Соч. *Хомякова*, I, 682. Конечно, было немало и недовольныхъ ея

Послѣдняя внутри Россіи исходила и распространялась изъ круговъ лицъ, подпадавшихъ обаянію личности императрицы при сопоставленіи ея съ людьми, ее окружавшими, съ ея предшественниками и предшественницами на престолѣ и съ ея преемникомъ.

Подобное сопоставленіе съ примѣсью сатиризма, столь развившагося въ царствованіе Екатерины, находимъ, между прочимъ, и въ одѣ Державина. Поэтъ отъ своего лица исповѣдывается въ недостаткахъ и порокахъ, свойственныхъ всему тогдашнему высшему русскому обществу. Это одна изъ интереснѣйшихъ частей оды, придающая ей немало цѣны. Державинъ пренаглядно обрисовываетъ тогдашняго царедворца, и передъ читателемъ весь день послѣдняго какъ на ладони. Чтобы судить о вѣрности портрета съ оригиналами [1]), достаточно вспомнить, какъ принята была ода или, лучше сказать, ея сатира императрицею и придворною аристократіею. Государыня разослала экземпляры «Фелицы» многимъ изъ своихъ приближенныхъ, собственноручно подчеркнувъ тѣ мѣста, которыя относились къ лицу, получавшему оттискъ. Эти намеки вызвали неудовольствіе, и многіе замѣчали императрицѣ, что ода полна указаній на личности; нѣкоторые же явно озлобились на сочинителя, какъ, напр., прежній его покровитель кн. Вяземскій. Дѣйствительно, въ одѣ нельзя было не узнать многихъ высоко стоявшихъ въ то время людей, каковы, напр., Потемкинъ, Орловъ, Вяземскій, Нарышкинъ. Державинъ собралъ всѣ слабости, ярче бросавшіяся въ глаза въ каждомъ изъ первостепенныхъ вельможъ, свелъ эти подробности

идеями и началами, напр., въ пору изданія Наказа, но въ общемъ «было какое-то очарованіе, которымъ жилъ тогда Русскій народъ; было восторженное настроеніе, безмѣрно далеко отстоящее отъ нынѣшняго уныніи и, очевидно, слишкомъ высокое и напряженное, чтобы удержаться на этой высотѣ».

1) Изображеніе пира въ «Фелицѣ» напоминаетъ 6-ю строфу въ одѣ «Къ первому сосѣду». «Ясно видно, говоритъ Гротъ, что поэтъ въ обоихъ случаяхъ рисовалъ тѣ же картины дѣйствительности, глубоко запечатлѣвшіяся въ его воображеніи. Такъ въ его поэзіи вездѣ отражается современная жизнь съ ея рѣзкими особенностями». Современникъ 1840, т. XL, стр. 142.

и отдѣльныя черты во-едино, — и вышелъ образъ, подходящій къ типу. Русская сатира 1769—1774 годовъ также нападала на чрезмѣрную любовь къ пустымъ удовольствіямъ и громила праздность и пустоту жизни въ высшихъ слояхъ русскаго общества. Сатирическія картины въ одѣ Державина, по сжатости и вмѣстѣ наглядности изображаемаго, могутъ быть поставлены довольно высоко, хотя нельзя сказать, чтобы характеристика въ нихъ отличалась при этомъ глубиною. При восхваленіи императрицы Державинъ видимо увлекся ея превосходствомъ надъ всѣми ее окружавшими, къ которымъ принадлежалъ и самъ. И вотъ, возводя императрицу на ступени идеала, поэтъ повергается передъ нею въ прахъ въ сознаніи своего моральнаго и умственнаго ничтожества и вмѣстѣ ничтожества всѣхъ другихъ:

Таковъ, Фелица, я развратенъ!
Но на меня весь свѣтъ похожъ....
Не ходимъ свѣта мы путями,
Бѣжимъ разврата за мечтами.
Между лѣнтяемъ и брюзгой,
Между тщеславья и порокомъ
Нашелъ кто развѣ ненарокомъ
Путь добродѣтели святой.

Вельможа такъ говоритъ у Державина:

Мятясь житейской суетою,
Сегодня властвую собою,
А завтра прихотямъ я рабъ.

Слѣдуетъ перечисленіе этихъ прихотей. Данное Державинымъ изображеніе знатнаго общества Екатерининскаго времени должно быть признано вполнѣ вѣрнымъ, въ томъ числѣ и оттѣненіе разврата, составлявшаго почти общее явленіе. Не была вполнѣ свободна отъ послѣдней вины и Екатерина, но при этомъ на первыхъ порахъ она была, дѣйствительно, выше даже лучшихъ людей своей среды и справедливо заявляла Вольтеру, что на За-

падѣ лица, стоявшія во главѣ правительства, могли пользоваться совѣтами, шедшими изъ самого общества, въ Россіи же было наоборотъ.

Контрастомъ, выставленнымъ въ одѣ, Державинъ хотѣлъ и преподать урокъ испорченному свѣту, и еще болѣе возвысить императрицу, и, дѣйствительно, производитъ сильный эффектъ. Вельможи выѣзжали въ открытыхъ экипажахъ,—Екатерина ходила пѣшкомъ[1]). У аристократовъ былъ роскошный столъ,—Екатерина отличалась умѣренностію и довольствовалась простою пищею. Знать проводила время въ праздности, — Екатерина, напротивъ, не теряла его и постоянно употребляла на пользу государству. Она сама говоритъ, что иногда работала по 14 часовъ. Все это изображеніе, конечно, производитъ впечатлѣніе; но послѣднее было бы разительнѣе и Екатерина была бы вознесена еще выше, если бы Державинъ показалъ глубже противоположности въ духѣ и дѣятельности вельможъ, съ одной стороны, и Екатерины, съ другой. Въ одѣ не находимъ того[2]), и тогдашняя аристократія изображена по преимуществу внѣшнимъ образомъ—со стороны ея эпикурейской жизни. Приверженность ея къ праздной жизни, званымъ обѣдамъ, нѣгѣ и увеселеніямъ — вотъ что обратило на себя особое вниманіе Державина. Въ этомъ отношеніи послѣдній былъ правъ, но не сталъ выше другихъ сатириковъ своего времени и не далъ новаго смысла изображаемому[3]).

---

1) Надлежитъ при этомъ вспомнить указъ, изданный Екатериною въ 1775 г. въ обузданіе роскоши. Послѣдняя наряду съ расточительностію отличала все время Екатерининскаго царствованія.

2) Правда, въ одномъ мѣстѣ (строфа 24) Державинъ даетъ нѣсколько указаній на дѣятельность вельможъ съ хорошей стороны, но онъ говоритъ тамъ какъ-бы нехотя, не съ полнымъ убѣжденіемъ, и это мѣсто оды какъ-то не ясно.

3) Впрочемъ, отъ него и нельзя было ожидать особо глубокаго взгляда на жизнь. Это былъ человѣкъ съ поэтическимъ талантомъ, но безъ основательнаго образованія. Его не занималъ такъ смыслъ явленій, какъ Фонъ-Визина. Ср. объ отношеніи Державина къ современной дѣйствительности замѣчаніе *Галахова:* Исторія р. слов., т. I, отд. 2. *Кн. Волконскій*, Очерки Русской Исторіи и Русской Литературы, Спб. 1896, стр. 179—180: «умы были на ходуляхъ, интересы были возбуждаемы не стремленіемъ проникнуть въ суть вопросовъ, а желаніемъ до-

Недостатокъ глубины въ изображеніи русскаго общества въ «Фелицѣ» объясняется отчасти непреднамѣренностію сатиры въ разсматриваемой одѣ, употребленіемъ сатиризма мимоходомъ, а не для воздѣйствія на кого-нибудь обличеніями. Самъ Державинъ называлъ «шуткою» свои намеки на жизнь вельможъ. Если онъ и затронулъ кого-нибудь такъ, что многіе узнавали себя въ одѣ, то это не имѣлось непремѣнно въ виду [1]). Поэтъ, не мѣтя ни въ кого въ особенности, хотѣлъ написать оду во вкусѣ императрицы, которая подала ему примѣръ такой сатиры все тою же своею сказкой о царевичѣ Хлорѣ [2]). Многіе грѣшки, изобличаемые поэтомъ въ одѣ, водились и за нимъ самимъ [3]). Такимъ образомъ,

---

рости до утвержденнаго образца; образуется какъ-бы пустое пространство между умственными интересами и интересами жизни. Державинъ пытается заполнить эту пустоту... однако картины эти (современнаго общества — въ «Фелицѣ») не заполняютъ этого пробѣла: не сообщая никакой реальности его поэзіи, онѣ остаются просто образцами дурнаго литературнаго вкуса».

1) Когда еще задолго до напечатанія оды Потемкинъ потребовалъ ее у Державина, и когда посланный за нею Шуваловъ посовѣтовалъ поэту выбросить изъ стихотворенія намеки на временщика, Державинъ отвѣтилъ: «извольте отослать, какъ они (стихи) есть; если что выкинемъ, то покажемъ умыселъ на личное оскорбленіе князя, чего у меня и въ умѣ никогда не было; а писаны стихи забавно, насчетъ всѣхъ слабостей человѣческихъ, и больше ничего». То-же замѣтила и императрица: «если авторъ и коснулся страстей нѣкоторыхъ особъ, къ императрицѣ приближенныхъ, то не по злорѣчію, а единственно въ общемъ видѣ человѣчества».

2) Въ послѣдней описаны Брюзга и Лентягъ, лица, играющія роль въ сказкѣ, и эти же имена встрѣчаемъ и въ первомъ изданіи оды (въ Собесѣдникѣ), гдѣ было сказано:

«Между Лентягомъ и Брюзгой».

Въ собраніи же стихотвореній Державина не находимъ уже собственныхъ именъ Лентяга и Брюзги; тамъ читаемъ ихъ въ формѣ нарицательныхъ:

Между лѣнтяемъ и брюзгой,
Между тщеславья и порокомъ,
Нашелъ кто развѣ ненарокомъ
Путь добродѣтели прямой.

3) См. примѣч. *Грота* къ стихамъ:

Подобно въ карты не играешь,
Какъ я, отъ утра до утра,

которые можно принять въ буквальномъ смыслѣ, а также къ стиху:

За библіей, зѣвая, сплю.

въ основаніи сатиры въ «Фелицѣ» лежитъ шутка, конечно, — поучительная, да и шутка эта не вполнѣ рѣшительна[1]).

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ оды поэтъ относится даже съ сочувствіемъ къ описываемому; такъ, напр., проникнуто одушевленіемъ изображеніе пира. Державинъ хотѣлъ какъ-бы оправдать нѣкоторымъ образомъ вельможество въ своемъ лицѣ тѣмъ, что

.....льзя ль не заблуждаться
Намъ слабымъ смертнымъ въ семъ пути,
Гдѣ самъ разсудокъ спотыкаться
И долженъ въ слѣдъ страстямъ идти?
Гдѣ намъ ученые невѣжды,
Какъ мгла у путниковъ, тмятъ вѣжды?

Въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ:

Кто сколько мудростью ни знатенъ,
Но всякій человѣкъ есть ложь.

Подобная же мысль проводится въ «Признаніи»:

Падалъ я, вставалъ въ мой вѣкъ.
Брось, мудрецъ, на гробъ мой камень,
Если ты не человѣкъ.

Приведемъ по поводу этихъ словъ замѣчаніе *Грота*, которое можно повторить и о нѣкоторыхъ другихъ великихъ поэтахъ, начиная съ Гёте (ср. Фауста послѣдняго): «насъ не должно поражать, что Державинъ въ дѣйствительной жизни самъ не всегда удовлетворялъ требованіямъ высшаго нравственнаго закона. Въ немъ живутъ какъ-бы два человѣка: одинъ въ минуты творчества съ величавымъ, недосягаемымъ идеаломъ человѣческаго достоинства, другой въ треволненіяхъ житейской суеты, со всѣми страстями и слабостями человѣческой природы... Довольно, что въ минуты вдохновенія онъ служилъ великимъ идеямъ человѣчества съ такимъ жаромъ, какого мы не замѣчаемъ ни у кого изъ другихъ поэтовъ». Русскій Вѣстникъ 1866, № 2, «Характеристика Державина, какъ поэта».

1) Обращаясь къ Фелицѣ, Державинъ задаетъ вопросъ:

Вездѣ соблазнъ и лесть живетъ:
Пашей всѣхъ роскошь угнетаетъ.
Гдѣ-жь добродѣтель обитаетъ?
Гдѣ роза безъ шиповъ растетъ?
. . . . . .
Гдѣ отличенъ отъ честныхъ плутъ?
Гдѣ старость по міру не бродитъ?
Заслуга хлѣбъ себѣ находитъ?
Гдѣ месть не гонитъ никого?
Гдѣ совѣсть съ правдой обитаетъ?
Гдѣ добродѣтели сіяютъ?

Отвѣтъ таковъ:

У трона развѣ Твоего.

Но, какъ бы то ни было, насъ интересуетъ здѣсь по преимуществу та часть оды, которая прямо посвящена Фелицѣ и ея дѣламъ, и мы разсмотримъ теперь, какія заслуги императрицы были отмѣчены обоими выдающимися русскими панегиристами ея, которые кажутся намъ заслуживающими вниманія болѣе другихъ.

Прочитавъ внимательно оду и Слово, можно сказать, что послѣднее во многомъ можетъ служить комментаріемъ первой и представляетъ какъ-бы развитіе стиховъ Державина, при чемъ у поэта изложеніе дѣлъ Екатерины оказывается довольно безпорядочнымъ и болѣе поверхностнымъ, у Карамзина же оно строго систематично и возводится къ лучшимъ принципамъ «просвѣщенія» XVIII-го вѣка, послѣдовательницею которыхъ была Екатерина.

Что до личнаго характера Екатерины, то нѣкоторыя мѣста Похвальнаго Слова вполнѣ напоминаютъ намеки Оды: оба писателя прославляютъ императрицу за твердость и мужественность ея характера и умѣніе ловко направлять корабль государства среди бурь и невзгодъ[1]). Оба упоминаютъ о привлекательности

Послѣдній стихъ какъ будто ослабляетъ и ограничиваетъ предыдущія замѣчанія касательно вельможъ тѣмъ, что не всѣ окружавшіе тронъ Екатерины подходили подъ данную поэтомъ характеристику. Но это замѣчаніе сдѣлано вскользь, и прибавка «развѣ» не выражаетъ полной увѣренности.

1) «Ты въ напастяхъ равнодушна»,

замѣчаетъ Державинъ. «Душа Екатерины была тверда, мужественна, истинно геройская», говоритъ Карамзинъ. Замѣтимъ, что сама Екатерина отмѣчала въ себѣ постоянную бодрость: «Пойдемъ бодро впередъ! — поговорка, съ которою я провела одинаково и хорошіе и худые годы», говорится въ одномъ изъ ея писемъ.

...изъ страстей свирѣпыхъ счастье
Ты можешь только созидать.
Такъ кормщикъ, черезъ понтъ плывущій,
Ловя подъ парусъ вѣтръ ревущій,
Умѣетъ судномъ управлять,

читаемъ у Державина. «Небо, говоритъ Карамзинъ, какъ-бы для славы Ея, нѣсколько разъ помрачало тучами горизонтъ Россіи въ царствованіе великой Монархини, чтобы Она, презирая бури и громы, могла доказать народамъ крѣпость

обращенія императрицы [1]), ея кротости, снисходительности и мягкости [2]), но лишь Карамзинъ попытался психологически «Феноменъ Монархини, которой всѣ войны были завоеваніями и всѣ уставы щастіемъ Имперіи», изъяснить «только соединеніемъ великихъ свойствъ ума и души», и отмѣтилъ ея «мудрость».

Изъ дѣлъ правленія вниманіе обоихъ писателей привлекли заботы императрицы объ упорядоченіи имперіи [3]), о правдѣ и

души Своей: такъ искусный мореходецъ еще болѣе славенъ опасностями, чрезъ которыя провелъ онъ корабль свой въ мирное пристанище».

1) Державинъ въ четырехъ стихахъ:

Слухъ идетъ о Твоихъ поступкахъ,
Что Ты ни мало не горда,
Любезна и въ дѣлахъ и въ шуткахъ,
Пріятна въ дружбѣ ....

сказалъ то, что Карамзинъ выразилъ въ нѣсколькихъ десяткахъ строкъ, именно о любезности, простотѣ, искренней веселости и ласковыхъ словахъ Екатерины на дворцовыхъ вечеринкахъ, гдѣ въ ней забывали государыню.

2) Едина Ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого,
Дурачества сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденьемъ правишь,
Какъ волкъ овецъ, людей не давишь,
. . . . . .
Стыдишься слыть Ты тѣмъ великой,
Чтобъ страшной, нелюбимой быть,

возглашаетъ Державинъ Фелицѣ. «Не могу я умолчать при семъ въ похвалу царствованія Екатерины II, что милосердіе ея и старанія *исправлять нравы наши* заслуживаютъ, какъ наше благодареніе, такъ и признаніе потомства», говоритъ даже Щербатовъ: II, 123. У Карамзина находимъ соотпѣтственныя строки въ упоминаніи о Тайной канцеляріи: «Хотя и оставалась еще нѣкоторая тѣнь мрачнаго Тайнаго судилища; но подъ Ея собственнымъ мудрымъ надзираніемъ оно было забыто добрыми и спокойными гражданами... въ царствованіе Екатерины одни преступники, или явные враги Ея, слѣдственно враги общаго благоденствія, страшились пустынь Сибирскихъ»... «Великая въ Герояхъ сохраняла на тронѣ нѣжную чувствительность Своего пола, которая вступалась за нещастныхъ, за самыхъ виныхъ; искала всегда возможности простить, миловать; смягчала всѣ приговоры суда». См. выше отзывъ Касти.

3) Похвала дѣламъ Фелицы начинается такою картиною упорядоченія имперіи:

Тебѣ единой лишь пристойно,
Царевна! свѣтъ изъ тмы творить;

правосудіи [1]) и о процвѣтаніи литературы [2]), гуманизующее воздѣйствіе которой Екатерина высоко цѣнила, какъ послѣдовательница философовъ XVIII в. [3]).

Дѣля хаосъ на сферы стройно,
Союзомъ цѣлость ихъ крѣпить.
Изъ разногласія согласье
. . . . . .
Ты можешь только созидать.

Этими словами изображается новое раздѣленіе имперіи и устройство областнаго управленія, бывшія слѣдствіемъ Учрежденія о губерніяхъ. Карамзинъ весьма подробно останавливается на этомъ учрежденіи и разносторонихъ пользахъ, изъ него проистекшихъ и могущихъ произойти.

1) У Державина:

Ты здраво о заслугахъ мыслишь,
Достойнымъ воздаешь Ты честь.
. . . . . .
Фелицы слава — слава Бога,
Котораго законъ, десница
Даютъ и милости и судъ.

«Монархиня, замѣчаетъ авторъ Слова, самымъ первымъ Манифестомъ открывъ подданнымъ дальніе виды Своей мудрости и государственнаго блага, спѣшила утвердить правосудіе, защиту собственности въ гражданскомъ обществѣ»: подразумѣвается указъ о лихоимствѣ, изданный въ 1762 г.

2) У Державина, говорящаго преимущественно о благосклонномъ отношеніи Екатерины къ поэзіи, употреблены выраженія, свидѣтельствующія о сравнительно узкомъ взглядѣ его на литературу (см. слѣд. примѣчаніе); Карамзинъ говоритъ: «Словесность была предметомъ особеннаго благоволенія и покровительства Екатерины». «Всякое истинное дарованіе было правомъ на лестное отличіе».

3) Державинъ не пояснилъ, почему Екатерина заботилась такъ о развитіи у насъ словесности; у Карамзина же находимъ мысль, отсутствующую въ «Фелицѣ»: «Она знала ея (т. е. словесности) сильное вліяніе на образованіе народа и щастіе жизни». Карамзинъ разсматриваетъ съ большимъ воодушевленіемъ литературную дѣятельность, которой императрица посвящала свободные часы, и покровительство Екатерины литературѣ. Державинъ не восторгается такъ этимъ благодѣяніемъ, какъ Карамзинъ. Въ то время какъ первый говоритъ не безъ тривіальности:

Поэзія Тебѣ любезна,
Пріятна, сладостна, полезна,
Какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ,

и, такимъ образомъ, ставитъ очень невысоко поэзію, «ума забаву», какъ онъ характерно выражается, согласно со взглядомъ на поэзію, долго бывшимъ въ ходу въ XVIII стол., между прочимъ и въ нѣмецкой поэзіи до Клопштока; Карамзинъ называетъ словесность «посланницею Неба».

Особенное вниманіе и восторгъ возбуждали и въ Державинѣ, и въ другихъ поэтахъ дарованная Екатериной свобода слова и вообще свобода:

Еще же говорятъ не ложно,
Что будто завсегда возможно
Тебѣ и правду говорить.

—

Неслыханное также дѣло,
Достойное Тебя одной,
Что будто Ты народу смѣло
О всемъ, и въявь и подъ рукой,
И знать и мыслить позволяешь [1])
И о Себѣ не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самымъ крокодиламъ,
Твоихъ всѣхъ милостей зоплямъ,
Всегда склоняешься простить.

—

Фелицы слава — слава Бога,
Который,
Развязывая умъ и руки,
Велитъ любить торги, науки.

Вотъ сколькими стихами справедливо почтилъ поэтъ это великое благодѣяніе императрицы [2])! Карамзинъ также говоритъ о заве-

---

1) Ср. выше въ «Epître» Вольтера: «permets qu'on pense».

2) Онъ справедливо назвалъ нѣкоторые поступки Екатерины неслыханными. См. примѣры ея великодушія: *Бантышъ-Каменскій*, Словарь достопам. людей русской земли, I, М. 1836, стр. 73. Въ особенности обращаетъ на себя вниманіе стихъ:

И знать и мыслить позволяешь.

Ср. въ «Изображеніи Фелицы» (1789 г.). (Соч. *Державина* I, 276):

Я вамъ даю свободу мыслить
И разумѣть себя, цѣнить.

денін вольныхъ типографій и о томъ, что учрежденная при этомъ цензура была не только благоразумна, но и снисходительна [1]). Должно, впрочемъ, сказать, что Екатерина не во всемъ дозволяла свободоязычіе. Если долго въ ту пору правительство мало обращало вниманія на печать, то — потому, что книга, по словамъ лица, близкаго къ тому времени, была «нѣчто пустое, неважное, и еще не думали, что она можетъ быть вредна». Но, какъ бы то ни было, въ печати и въ общежитіи правительство Екатерины, дѣйствительно, предоставляло гораздо болѣе свободы, чѣмъ прежде. Теперь можно было

. . . . . пошептать въ бесѣдахъ
И, казни не боясь, въ обѣдахъ
За здравіе царей не пить.
Гдѣ правила Екатерина,
Тамъ съ именемъ Фелицы можно
Въ строкѣ описку поскоблить,
Или портретъ неосторожно
Ея на землю уронить, и т. д.

Карамзинъ выражается гораздо отчетливѣе объ этомъ замѣчательнѣйшемъ явленіи государственнаго правленія и внутренней жизни русскаго общества въ царствованіе Екатерины: «Екатерина преломила обвитый молніями жезлъ страха, взяла маслич-

---

Даже въ одѣ на кончину Екатерины («Память 6-го ноября 1796 г.»), сочиненной Капнистомъ, находимъ упоминаніе, что при ней

Мы крылья мыслей расширяли,
Дерзая правду ей вѣщать.

1) Карамзинъ признавалъ цензуру «необходимою въ гражданскихъ обществахъ: ибо разумъ можетъ уклоняться отъ истины, подобно какъ сердце отъ добродѣтели, и неограниченная свобода писать столь же безразсудна, какъ неограниченная свобода дѣйствовать». Екатерина въ области цензуры поступала, «какъ мудрый законодатель»; «Монархиня презирала и самыя дерзкія осужденія, когда оныя происходили единственно отъ легкомыслія и не могли имѣть вредныхъ послѣдствій для государства». Замѣчанія о свободѣ прессы при Екатеринѣ см. въ названной статьѣ *Грыцька*, стр. 251 и слѣд.

ную вѣтвь любви и не только объявила торжественно, что владыки земли должны властвовать для блага народнаго, но всѣмъ своимъ долголѣтнимъ царствованіемъ утвердила сію вѣчную истину: Екатерина научила насъ разсуждать и любить въ порфирѣ добродѣтель.... Съ нею воцарились миръ въ семействахъ и веселіе въ обществахъ; всѣ души успокоились, всѣ лица оживились».

Дѣйствительно, если оставимъ въ сторонѣ дѣла Арсенія Мацѣевича, Новикова и Радищева, изъ всѣхъ русскихъ государей XVIII-го вѣка, не исключая и Петра В., Екатерина II-я одна выказала кротость въ правленіи, и замѣчаніе Карамзина, что въ ея царствованіе «лица оживились», вполнѣ вѣрно.

Изъ чего произошла такая благодѣтельная особенность правленія Екатерины, неслыханное дотолѣ отношеніе власти къ народу, оба разсматриваемые писатели выясняютъ сходно, но при этомъ Карамзинъ выражается болѣе отчетливо: Екатерина «уважала въ подданномъ человѣка, нравственнаго существа, созданнаго для щастія въ гражданской жизни... Екатерина хотѣла обходиться съ нами, какъ съ людьми просвѣщенными»[1]). Еще яснѣе Карамзинъ указалъ причину перемѣны въ системѣ правленія, упомянувъ въ другомъ мѣстѣ Слова, что вмѣстѣ съ Екатериной воцарилась «Философія» XVIII в.[2]).

---

1) У Державина читаемъ:

Ты вѣдаешь, Фелица, правы
И человѣковъ и царей.

—

Какъ волкъ овецъ, людей не давишь;
Ты знаешь прямо цѣну ихъ.
Царей они подвластны волѣ,
Но Богу правосудну болѣ,
Живущему въ законахъ ихъ.

Итакъ, по мнѣнію Державина, Екатерина понимала взаимныя обязанности и права подданныхъ и государей и не считала себя вправѣ быть тиранкой.

2) Въ запискѣ *Карамзина* «О древней и новой Россіи», написанной въ 1811 г., заслуга Екатерины охарактеризована такъ: «Главное дѣло сей незабвенной Монархини состоитъ въ томъ, что ею смягчилось самодержавіе, не утра-

Карамзинъ приходитъ въ восторгъ при описаніи дѣятельности Екатерины на пользу просвѣщенія, соотвѣтствовавшаго этой философіи. Державинъ также вскользь отмѣтилъ, что Екатерина

Равно всѣхъ смертныхъ просвѣщаетъ.

Карамзинъ развиваетъ эту мысль въ своемъ «Похвальномъ Словѣ» и краснорѣчиво восхваляетъ Екатерину за основаніе Воспитательнаго и Спротскаго домовъ, упоминаетъ о женскомъ училищѣ для мѣщанъ, о «дарованіи истиннаго бытія Академіи художествъ», о поднятіи Кадетскаго корпуса, о Корпусахъ Морскомъ и Артиллерійскомъ, объ училищахъ Греческомъ, Горномъ, Лекарскомъ и Судоходномъ и, наконецъ, о народныхъ училищахъ, учрежденныхъ «вездѣ — въ малѣйшихъ городахъ, и въ глубинѣ Сибири, чтобы разлить, такъ сказать, богатство свѣта по всему государству», и предназначенныхъ дѣйствовать «на первые элементы народа» [1]). Карамзинъ какъ-бы подтверждаетъ, что правъ былъ Державинъ, когда сказалъ, что Фелица

. . . . . окомъ лучезарнымъ
Шутамъ, трусамъ неблагодарнымъ
И праведнымъ свой свѣтъ даритъ.

тивъ силы своей.... Екатерина очистила самодержавіе отъ примѣсовъ тиранства. Слѣдствіемъ были спокойствіе сердецъ, успѣхи пріятностей свѣтскихъ, знаній разума».

1) При оцѣнкѣ заслугъ Екатерины нерѣдко отмѣчаютъ во второй половинѣ нашего вѣка, главнымъ образомъ, эту сторону дѣятельности Екатерины. См. статьи: *Я. К. Грота*, Заботы Екатерины II о народномъ образованіи по ея письмамъ къ Гримму (Зап. Имп. Ак. Н., т. XXXVI, кн. I, 1881); *гр. Д. А. Толстого* Академическая гимназія въ XVIII столѣтіи, по рукописнымъ документамъ Архива Академіи Наукъ; Академическій университетъ въ XVIII столѣтіи (Приложенія къ т. LI Зап. Ак. Н., №№ 2 и 3, 1885); Городскія училища въ царствованіе имп. Екатерины II (Приложеніе № 1 къ LIV-му т. Зап. Ак. Н., 1887); *В. Мочульскаго* Просвѣщеніе на югѣ Россіи въ царствованіе императрицы Екатерины II (Рѣчь), Одесса, 1897, и другія рѣчи, относящіяся къ юбилейной литературѣ (напр. *А. П. Дьяконенка* «Заботы императрицы Екатерины II о народномъ образованіи», К. 1897); *Е. А. Кивлицкаго* «Учебныя заведенія въ Западной Россіи въ 1783—1803 гг.» (содержаніе этого реферата см. въ Чтеніяхъ въ

Карамзинъ по обыкновенію ставитъ еще болѣе широкое опредѣленіе просвѣтительной дѣятельности Екатерины. «Не довольствуясь тѣмъ, чтобы покровительствовать науки и таланты въ Россіи, Она на всѣ страны міра, на всю область ума распространила свои благодѣянія, и славу Свою возвышала, такъ сказать, славою всѣхъ отмѣнныхъ дарованій, Ею ободряемыхъ. Философы гордились благосклоннымъ воззрѣніемъ Екатерины и горѣли ревностію величать ту, которая воцарила съ собою Философію, и тайныя желанія мудраго человѣколюбія обратила въ государственные уставы.... Европа съ удивленіемъ читаетъ Ея переписку съ ними — и не имъ, но Ей удивляется».

Оставляемъ въ сторонѣ остальные перечни славныхъ дѣлъ Екатерины [1]). Мы думаемъ, что и приведенныхъ выдержекъ достаточно, чтобы составить заключеніе о характерѣ и смыслѣ похвалъ, въ изобиліи наполняющихъ оба сравниваемыя произведенія.

Въ «Фелицѣ» дано простое и даже не систематическое перечисленіе доблестей императрицы. Державинъ не объяснилъ государственнаго значенія *всѣхъ* ея уставовъ и дѣлъ, что́ по преимуществу имѣлъ въ виду Карамзинъ. Во многихъ мѣстахъ поэтъ ограничился только намеками на благодѣянія Екатерины и вообще

Ист. Общ. Нест.-Лѣт., кн. IX, отд. I, стр. 38—42); *В. Каллаша*, Что сдѣлала Екатерина II для русскаго народнаго просвѣщенія? М. 1896; *П. Адамова*, Заслуги императрицы Екатерины Великой въ исторіи женскаго образованія (Филологич. Записки 1896, вып. V—VI); *А. Воронова*, Ноябрьскіе юбилейные дни женскаго образованія въ Россіи (Новое Время 1896, № 7434).

1) У Державина послѣднія перечислены сжато въ двухъ строфахъ, не вполнѣ удачныхъ по выраженію мысли:

Фелицы слава — слава Бога,
Который брани усмирилъ, и т. д.
Который даровалъ свободу
Въ чужія области скакать, и т. д.

У Карамзина находимъ соотвѣтственныя замѣчанія о попеченіяхъ Екатерины касательно торговли и указаніе на благодѣянія, дарованныя Грамотою дворянству. — Мы совсѣмъ проходимъ молчаніемъ первую часть Слова Карамзина, посвященную побѣдамъ Екатерины, хотя современники ея были въ особенности поражаемы удачами и блескомъ ея внѣшней политики.

говорилъ обо всемъ этомъ весьма кратко. Нѣкоторые подвиги императрицы, напр., ея внѣшняя политика, совсѣмъ не нашли мѣста въ одѣ. Все это обусловливалось, какъ мы видѣли, отчасти самою формою и задачею «Фелицы», въ которой вдобавокъ Державинъ не могъ распространяться, какъ лирикъ. Съ другой стороны, онъ могъ опустить многое, не вполнѣ понимая его пользу и цѣну [1]).

Но, признавая послѣднее, нельзя все таки обвинять такъ безусловно Державина, какъ осуждаютъ нѣкоторые, говоря, что въ «Фелицѣ» не видно глубокаго взгляда на дѣла Екатерины, и представлено только *внѣшнее* перечисленіе ихъ и доблестей императрицы, безъ истиннаго пониманія ихъ внутренняго значенія [2]). Замѣчаніе это приложимо далеко не ко всѣмъ стихамъ оды. Державинъ, повторяемъ, могъ не понимать нѣкоторыхъ дѣлъ императрицы, но пусть намъ укажутъ, кто изъ тогдашнихъ поэтовъ лучше его очертилъ самое Екатерину и ея нравственный образъ, кто лучше понялъ ея духъ? Конечно, нѣкоторыя похвалы Екатеринѣ, какъ похвалы современника, не могутъ имѣть такой не подлежащей заподазриванію достовѣрности, какъ голосъ потомства. Но несмотря на то, Фелица Державина чрезвычайно походила на настоящую, на живую. Поэтъ не оцѣнилъ, какъ слѣдуетъ, ея Наказа, но въ своей Фелицѣ воплотилъ тѣ качества, какія требо-

---

1) Справедливо замѣтилъ г. *Елисеевъ:* «Политическое развитіе даже въ лучшихъ людяхъ было очень слабое, ничтожное. Какія дѣти въ сравненіи съ императрицею были наши образованнѣйшіе люди XVIII столѣтія!» Отечеств. Зап. 1868, № 1, отд. 1, стр. 95 и 104. Не удивительно послѣ этого, что Державина увлекали побѣды императрицы, умъ ея, наружность, блескъ ея царствованія. Не удивительно, если ея знаменитый Наказъ, заслуги ея относительно народнаго просвѣщенія не внушали ему оды, если о нихъ не сказано почти ни слова, или сказано очень мало въ «Фелицѣ». Да и вся-то «какъ отнеслась литература къ Наказу? Поняла ли она, что разработка вопросовъ, данныхъ Наказомъ, и есть ея настоящее дѣло, какъ истинно полезное для общественнаго развитія, а не плетеніе виршей? Ничего подобнаго, никакого слѣда подобной попытки мы не встрѣчаемъ въ нашей литературѣ XVIII столѣтія. Напротивъ, литература отнеслась къ Наказу такъ, какъ только и могла отнестись по своему младенческому состоянію, чисто поребячески». Ibid., 108.

2) *Караулов*ъ, Очерки исторіи русской литературы, т. I, 1865, стр. 468.

вались послѣднимъ отъ государей [1]). И изъ дѣлъ Екатерины Державинъ ставилъ многія очень высоко, обнаруживъ въ то же время ихъ пониманіе. Онъ «питалъ самое глубокое сочувствіе къ гражданской доблести правительства, къ духу царствованія Екатерины, къ возникшимъ съ нею либеральнымъ и гуманнымъ идеямъ, которыхъ изъяснителемъ явился онъ, какъ одинъ изъ передовыхъ людей того времени» [2]). Возьмемъ хотя бы одинъ стихъ:

Проступки снисхожденьемъ правишь.

Въ снисхожденіи Екатерины къ мелкимъ проступкамъ Державинъ видѣлъ средство исправленія («правленія») виновниковъ ихъ. Онъ угадалъ въ этомъ случаѣ истинное побужденіе Екатерины. А понимать факты не значитъ ли постигать ихъ источникъ, цѣль, пользу или вредъ? — Мы могли бы представить и болѣе примѣровъ того, что Державинъ сумѣлъ проникнуть въ душу Фелицы, но это отвлекло бы насъ далеко отъ цѣли настоящаго очерка; мы ограничимся замѣчаніемъ, что Державинъ въ «Фелицѣ» удачно

---

1) Обращаясь къ Екатеринѣ, Державинъ говоритъ:

Неслыханное также дѣло,
Достойное тебя одной,

и проч. (см. выше). Въ Наказѣ (гл. XX, ст. 482) читаемъ: «Слова не составляютъ вещи, подлежащей преступленію; часто они не значатъ ничего сами по себѣ, но по голосу, какимъ оныя выговариваютъ: часто, пересказывая тѣ же самыя слова, не даютъ имъ того же смысла; сей смыслъ зависитъ отъ связи, соединяющей оныя съ другими вещьми. Иногда молчаніе выражаетъ больше, нежели всѣ разговоры. Нѣтъ ничего, что бы въ себѣ столь двойнаго смысла заключало, какъ все сіе; такъ какъ же изъ сего дѣлать преступленіе толь великое, каково оскорбленіе Величества, и наказывать за слова такъ, какъ за самое дѣйствіе?»

2) *Гротъ*, Характеристика Державина какъ поэта, Р. Вѣстн. 1866, № 2, стр. 463. Ср. замѣчаніе Бѣлинскаго о торжественныхъ одахъ Державина и одахъ къ Фелицѣ: «Въ первыхъ онъ является болѣе оффиціальнымъ, чѣмъ истинно вдохновеннымъ поэтомъ. Въ этомъ отношеніи онѣ рѣзко отдѣляются отъ одъ, посвященныхъ Фелицѣ. И не мудрено: послѣднія имѣли корень свой въ дѣйствительности, а первыя были плодомъ похвальнаго обычая согласовать лирный звонъ съ громомъ пушекъ и блескомъ плошекъ и шкаликовъ. Притомъ же легче было *чувствовать и понимать мудрость и благость монархини*, чѣмъ провидѣть значеніе войнъ и побѣдъ ея, объясняющихся причинами чисто политическими». Сочиненія *Бѣлинскаго*, т. VII, М. 1861, стр. 136.

выполнилъ свою задачу, какъ лирикъ[1]), а не какъ политикъ и публицистъ. Онъ задался обрисовкой и прославленіемъ *личности* Екатерины, не ставя себя въ то же время въ положеніе оффиціальнаго хвалителя. Самая маскировка, избранная имъ, помогла ему представить государыню прежде всего, какъ человѣка. Соотвѣтственно тому мы видимъ въ «Фелицѣ» болѣе характеристику самой Екатерины, чѣмъ ея царствованія; изображеніе же послѣдняго не полно, да и врядъ ли имѣлось въ виду авторомъ.

Необходимо войти, при обсужденіи и оцѣнкѣ разсматриваемой оды, въ побужденія, изъ которыхъ она проистекла. Державинъ написалъ оду къ Фелицѣ, не думая о напечатаніи ея, и она случайно дошла до свѣдѣнія императрицы[2]). Къ этой одѣ вполнѣ примѣнимы слова Державина въ его обращеніи къ Екатеринѣ: «когда я тебя вижу съ благороднымъ жаромъ трудящуюся въ исполненіи твоей должности, приводящую въ стыдъ государей, труда трепещущихъ и которыхъ тягость короны увлекаетъ; когда я тебя вижу разумными распоряженіями обогащающую твоихъ подданныхъ; гордость непріятелей ногами поппрающую, намъ море отверзающую, и твоихъ храбрыхъ воиновъ — споспѣшествующихъ твоимъ намѣреніямъ и твоему великому сердцу, все подъ власть Орла покоряющихъ; Россію подъ твоей державой счастіемъ управляющую, и наши корабли — Нептуна презирающихъ и досягающихъ мѣстъ, откуда солнце бѣгъ свой простираетъ: тогда, не спрашивая, — нравится ль то Аполлону, моя Муза въ жару меня предупреждаетъ и тебя хвалитъ»[3]). Такимъ образомъ ода къ Фелицѣ вылилась изъ глубоко благоговѣвшей и благодарной души, какъ проявленіе ея чувствъ. Можно повѣрить словамъ оды:

---

1) По мнѣнію Державина, «гимнъ и ода изображаютъ только чувства сердца въ разсужденіи какого предмета, а не дѣйствіе его» (предмета) (Разсужденіе о лирической поэзіи).

2) Сочин. *Державина*, изд. И. Ак. Наукъ, т. VIII, Спб. 1880, «Жизнь Державина», стр. 295 и слѣд.

3) Тамъ же, т. I, стр. 151.

Почувствовать добра пріятство,
Такое есть души богатство,
Какого Крезъ не собиралъ;

и можно признать, что Державинъ писалъ, только побуждаемый влеченіемъ души, чувствовавшей при этомъ «пріятство». Онъ, выразившійся о добродѣтели:

Она мой духъ и умъ плѣняетъ,

могъ искренно восторгаться издали личностію Екатерины и, не думая о лести, называть императрицу «богоподобною» и «небесною вѣтвью». Насъ не должно удивлять, что потомъ Державинъ отзывался о Екатеринѣ не съ такимъ благоговѣніемъ, какъ въ «Фелицѣ»[1]). Важно, что въ самомъ этомъ отзывѣ поэтъ отличалъ себя отъ прочихъ стихотворцевъ, *цеховыхъ* по его выраженію. Онъ сознавалъ свое преимущество передъ ними, состоявшее въ томъ, что онъ не могъ хвалить, если не былъ вдохновляемъ *высокимъ* идеаломъ. То же сознавалъ онъ и высказалъ и раньше. Въ его бумагахъ найденъ Гротомъ «Эскизъ первоначально задуманнной оды къ Екатеринѣ», въ которомъ читаемъ: «Я не могу богамъ, не имѣющимъ добродѣтели, приносить жертвы и никогда и для твоей хвалы не скрою моихъ мыслей: и сколь твоя власть ни велика, но если бы въ семъ мое сердце не согласовалось съ моими устами, то бъ никакое награжденіе и никакія причины не вырвали бъ у меня ни слова къ твоей похвалѣ»[2]).

---

1) Кромѣ приведеннаго выше, мы находимъ въ его Запискахъ такое мѣсто: «По желанію императрицы, чтобы Державинъ продолжалъ писать въ честь ея — болѣе въ родѣ Фелицы, хотя далъ онъ ей въ томъ свое слово, но не могъ онаго сдержать по причинѣ разныхъ каверзъ, коими его безпрестанно раздражали; не могъ онъ воспламенить такъ своего духа, чтобы поддерживать свой высокій прежній идеалъ, когда *вблизи увидѣлъ подлинникъ человѣческій* съ великими слабостями; сколько разъ ни принимался, сидя по недѣлѣ, для того запершись въ своемъ кабинетѣ, но ничего не въ состояніи былъ такого сдѣлать, чѣмъ бы онъ былъ доволенъ. Все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, какъ у прочихъ цеховыхъ стихотворцевъ, у коихъ только слышны слова, а не мысли и чувства».

2) Соч. *Державина*, I, 151.

Итакъ, принимаясь за сочиненіе оды къ Фелицѣ, Державинъ послѣдовалъ влеченію души, и искренни были его слова:

Послушай, гдѣ Ты ни живешь:
Хвалы мои Тебѣ примѣтя,
Не мни, чтобъ шапки иль бешметя
За нихъ я отъ Тебя просплъ,

какъ искрення была и вся ода.

Конечно, на нашъ взглядъ Державинъ впадалъ въ преувеличеніе, говоря:

И *всьмъ* изъ Твоего пера
Блаженство смертнымъ проливаешь,

или восклицая:

О коль счастливы человѣки
Тамъ должны быть судьбой своей,
Гдѣ ангелъ кроткій, ангелъ мирный,
Сокрытый въ свѣтлости порфирной,
Съ небесъ ниспосланъ скиптръ носить;

но мы можемъ извинить поэта Екатерины: у него передъ глазами было прежнее время, и, сравнивая его со своимъ, Державинъ справедливо признавалъ послѣднее блаженнѣйшимъ. Кого не поразитъ представленная въ одѣ разница между временами Екатерины II и Анны Іоанновны? Необходимо, сверхъ того, стать на точку зрѣнія того круга лицъ, къ которому принадлежалъ Державинъ, т. е. дворянскаго. Какъ извѣстно, Екатерина еще расширила дворянскія вольности, дарованныя манифестомъ Петра III, и поставила дворянство въ исключительно привилегированное положеніе благодаря предоставленнымъ ему правамъ и преимуществамъ. Замѣтимъ, что и потомъ Державина не покидала мысль, что Россія процвѣтала въ царствованіе Екате-

рины [1]), — мысль, встрѣчающаяся и у Карамзина [2]). Въ словахъ послѣдняго можно усматривать не столько риторизмъ, сколько идиллизмъ и близорукость городскаго жителя и дворянина — не больше. Ту же ошибку умиленнаго сердца, отдыхавшаго отъ ужасовъ прошлаго, допустилъ раньше Ломоносовъ, и послѣ него повторяли очень часто другіе, и въ томъ числѣ Державинъ. Послѣднему было естественно толковать о народномъ счастіи. Онъ справедливо называлъ «неслыханною» снисходительность императрицы. Неслыханными казались ему и многія другія качества Екатерины. На нихъ онъ обращалъ особое вниманіе, тогда какъ не сдѣлалъ почти ни одного намека на ея побѣды: онъ зналъ, что прославленіемъ успѣховъ Екатерины на военномъ поприщѣ онъ не возвеличилъ бы ее такъ, какъ изображеніемъ тѣхъ ея достоинствъ, которыя были «неслыханны». Вотъ стихи, изображающіе одно изъ послѣднихъ:

Стыдишься слыть Ты тѣмъ великой,
Чтобъ страшной нелюбимой быть;
Медвѣдицѣ прилично дикой
Животныхъ рвать и кровь ихъ пить.
Безъ крайняго въ горячкѣ средства
Тому ланцетовъ нужны ль средства,
Безъ нихъ кто обойтися могъ?
И славно ль быть тому тираномъ,
Великимъ въ звѣрствѣ Тамерланомъ,
Кто благостью великъ, какъ Богъ?

---

1) Въ своихъ Запискахъ онъ говоритъ: «да благословенна будетъ память такой государыни, *при которой Россія благоденствовала* и которую долго не забудетъ».

2) Въ самомъ началѣ Слова читаемъ: «Всѣ обожали Великую. И тѣ, которые, скрываясь во мракѣ отдаленія — подъ тѣнію снѣжнаго Кавказа или за вѣчными льдами пустынной Сибири, — никогда не зрѣли образа Безсмертныя, и тѣ чувствовали спасительное дѣйствіе Ея правленія; и для тѣхъ была Она Божествомъ, невидимымъ, но благотворнымъ. Гдѣ только сіяло солнце въ областяхъ Россійскихъ, вездѣ сіяла Ея премудрость».

Эти слова, могшія явиться въ торжественной одѣ только въ царствованіе Екатерины, говорятъ и за нее и за искренность автора «Фелицы». Вообще въ этомъ стихотвореніи поражаетъ смѣлость и непринужденность тона какъ въ изображеніи сильныхъ вельможъ, такъ и въ правоученіяхъ, которыя можно прочесть между строкъ. Можетъ быть, эти уроки были встрѣчены благосклонно потому, что были приправлены благоговѣніемъ, и «истина» говорилась «съ улыбкою».

Совершенно другой способъ прославленія Екатерины и описанія ея дѣяній избралъ Карамзинъ. Его интересовала не только личность Екатерины, но еще болѣе — начала, которыми она руководилась въ своемъ правленіи. Послѣднее, когда писалъ Карамзинъ, было отдѣлено отъ настоящаго цѣлымъ царствованіемъ, хотя и кратковременнымъ. Потому Карамзинъ перечисляетъ всѣ мѣропріятія Екатерины и уставы, останавливаясь почти на каждомъ изъ нихъ и стараясь выяснить его пользу. Вообще онъ понималъ дѣятельность Екатерины гораздо лучше Державина, хотя и онъ не обошелся безъ промаховъ: близкое прошедшее нерѣдко яснѣе и понятнѣе настоящаго.

Для правильнаго пониманія Похвальнаго Слова Екатеринѣ необходимо принять во вниманіе и цѣль его.

Недаромъ оно явилось на зарѣ новаго царствованія, въ то время, когда только еще начинались преобразованія, задуманныя Александромъ I, и недаромъ было посвящено имени этого государя. Карамзинъ, много интересовавшійся тогда политикой и занимавшійся публицистикой, понялъ, что въ началѣ реформъ представлялось самое удобное время для выраженія мыслей о желательномъ правленіи. Ободренный принятіемъ двухъ своихъ одъ, Карамзинъ рѣшился наглядно изложить свои идеи, соединивъ ихъ съ примѣромъ Екатерины [1]), которую поставилъ въ образецъ

---

1) См. Вѣстн. Евр. 1866, т. IV, ст. *Погодина:* «Идеи Н. М. Карамзина, какъ публициста».

государямъ [1]). Онъ прибѣгъ подъ покровъ славы покойной государыни при раскрытіи своихъ собственныхъ идей потому, что, по его словамъ, Александръ I, «восходя на престолъ Россіи и желая объявить волю свою царствовать мудро и добродѣтельно, сказалъ только: Я буду царствовать по сердцу и законамъ Екатерины Великой». Но вмѣстѣ съ тѣмъ Карамзину казалось, что Екатерина стремилась привести въ исполненіе большинство политическихъ идей, которыя были и для него завѣтными. «Воинская слава Героини затмѣвается въ ней славою образовательницы государства». Карамзинъ восторгался духомъ царствованія Екатерины, хотѣвшей управлять не рабами, а людьми, и знавшей права послѣднихъ. По мнѣнію оратора, «самое высшее искусство монарха состоитъ въ томъ, чтобы знать, въ какихъ случаяхъ должно употреблять власть свою: ибо благополучіе самодержавія есть отчасти кроткое и снисходительное правленіе... Несчастливо то государство, въ которомъ никто не дерзаетъ представить своего опасенія въ разсужденіи будущаго, не дерзаетъ свободно объявить своего мнѣнія». Екатерина дозволяла это. Она была кротка, зная въ то же время надлежащія границы кротости. Можно было бы привести и другія требованія, какія Карамзинъ предъявлялъ идеальному монарху и которымъ, по его взгляду, удовлетворяла Екатерина [2]), но и приведенныхъ выдержекъ достаточно,

---

1) «О Монархи міра! Екатерина и жизнію и смертію Своею служила вамъ примѣромъ: такъ царствуйте, чтобъ смертные обожали васъ!» Въ заключеніи Слова, въ рѣчи, вложенной въ уста Екатерины, читаемъ: «...Я указала вамъ великую цѣль: теките къ ней осѣненные Моими лаврами, путеводимые Моими законами!»

2) Возможно, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Карамзинъ не одобрялъ правленія Екатерины уже тогда, когда писалъ ей Похвальное Слово, какъ усматривалъ недостатки ея царствованія 9 лѣтъ спустя,—во время составленія записки «о древней и новой Россіи», но то были частности. Восхваливъ Екатерину и тамъ, Карамзинъ продолжаетъ: «Но согласимся, что блестящее царствованіе Екатерины представляетъ взору наблюдателя и нѣкоторыя пятна. Нравы болѣе развратились въ палатахъ и хижинахъ... Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходныя качества души, невольно вспоминаемъ ея слабости и краснѣемъ за человѣчество. Замѣтимъ еще, что правосудіе не цвѣло въ сіе время... Въ самыхъ Государственныхъ учрежденіяхъ

чтобы видѣть причины высокаго мнѣнія Карамзина о Екатеринѣ. Онъ признавалъ за нею рѣшительныя преимущества передъ другими славными монархами. «Она успѣла затмить самыя дѣятельнѣйшія царствованія, извѣстныя намъ по Исторіи; дѣла единой Государыни могли бы прославить многихъ Государей.—И слава Екатерины принадлежитъ Ей самой. Генрихъ IV былъ царь мудрый и благодѣтельный; но Сюлли стоитъ подлѣ него: Исторія освѣщаетъ ихъ однимъ лучемъ славы. Людовикъ XIV гремѣлъ въ Европѣ, возвеличилъ Францію; но Кольберъ, первый министръ въ мірѣ, былъ его министромъ! Екатерина, Законодательница и Монархиня, подобно Петру, образовала людей — но сіи люди жили и дѣйствовали Ея душею, Ея вдохновеніемъ; сіяли заимствованнымъ отъ Нея свѣтомъ, какъ планеты сіяютъ отъ солнца; Она отличала нѣкоторыхъ, и сіе отличіе было мѣрою ихъ важности.... политика, внутреннее образованіе и законодательство Россіи... были единственно твореніемъ ума Екатерины. Ея министры исполняли только волю Ея — и Россія имѣла щастіе быть управляемою однимъ великимъ Геніемъ во все долговременное царствованіе Екатерины».

Во взглядѣ Карамзина на Екатерину нельзя не признать идеализаціи. Таковая была отчасти свойственна его характеру, а отчасти связывалась съ его общими воззрѣніями и философско-историческою теоріею.

Карамзинъ принадлежалъ къ лучшимъ людямъ, воспитаннымъ культурою времени Екатерины, и совмѣщалъ въ себѣ благороднѣйшія стремленія XVIII-го в., въ томъ числѣ и пресловутую «чувствительность» послѣдняго въ смыслѣ сочувствія ко всему доброму,

---

Екатерины видимъ болѣе блеска, нежели основательности... Многія вредныя слѣдствія Петровой системы также открылись при сей Государынѣ... Екатерина—великій мужъ въ главныхъ соображеніяхъ Государственныхъ—являлась преступною въ подробностяхъ Монаршей дѣятельности, дремала на розахъ, была обманываема...». Общее заключеніе Карамзина однако таково: «сравнивая всѣ извѣстныя намъ времена Россіи, едва ли не всякій изъ насъ скажетъ, что время Екатерины было счастливѣйшее для гражданина Россійскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ бы жить тогда, а не въ иное время».

прекрасному и великому. Карамзинъ уже отъ природы былъ надѣленъ благодушіемъ. Чувствительность XVIII-го в. усилила это настроеніе. «Направляемый имп, онъ смотрѣлъ на людей и природу съ доброй, свѣтлой точки зрѣнія, глазами расположенія и любви»[1]), и можетъ быть причисленъ къ выдающимся оптимистамъ XVIII-го в., начиная съ Шефтсбери. Справедливо замѣтили, что въ его личности «надъ всѣми способностями преобладала способность любить. Карамзинъ любилъ людей не въ отвлеченныхъ образахъ»..., но «въ плоти и крови. Ко всѣмъ героямъ своихъ повѣстей онъ относился съ глубокимъ сочувствіемъ и уклонялся отъ изображенія людей порочныхъ, а живыхъ людей онъ даже идеализировалъ»[2]). Избѣжать идеализаціи не могъ онъ и въ Похвальномъ Словѣ.

Отчасти изъ такого кроткаго, мягкаго и любящаго характера Карамзина, склонявшагося и способнаго къ идеализаціи личностей, вытекало усвоеніе имъ ученія о громадномъ въ исторіи значеніи великихъ людей, — «ученія, столь важнаго для нравственнаго воспитанія и столь удобнаго для исторической живописи, хотя и не вполнѣ вѣрнаго исторически»[3]). Великіе люди, по мнѣнію Карамзина, «полубоги человѣчества», «любимцы неба», «рѣшатъ судьбу человѣчества», подавая другъ другу руки[4]). Такъ и наши

---

1) *Галаховъ*, Карамзинъ, какъ оптимистъ. Отеч. Записки 1858, № 1, стр. 140.

2) *Щебальскій*, Николай Михайловичъ Карамзинъ. Русскій Вѣстникъ 1866, № 11.

3) Выраженіе *Бестужева-Рюмина:* «Карамзинъ, какъ историкъ». Журн. Мин. Нар. Просв. 1867, № 1, стр. 9, и въ отдѣльной книгѣ «Воспоминаній и характеристикъ».

4) Вотъ ученіе Карамзина о великихъ людяхъ: «Зерцало вѣковъ, Исторія, представляетъ намъ чудесную игру таинственнаго Рока: зрѣлище многообразное, величественное! Какія удивительныя перемѣны! Какія чрезвычайныя происшествія! Но что болѣе всего плѣняетъ вниманіе мудраго зрителя? Явленіе великихъ душъ, полубоговъ человѣчества, которыхъ непостижимое Божество употребляетъ въ орудіе Своихъ важныхъ дѣйствій. Сіи любимцы неба, разсѣянные въ пространствахъ временъ, подобны солнцамъ, влекущимъ за собою планетныя системы: они рѣшатъ судьбу человѣчества, опредѣляютъ путь его; непзъяснимою силою влекутъ милліоны людей къ нѣкоторой угодной Провидѣнію цѣли; творятъ

великіе люди XVIII-го в., Петръ I и Екатерина II, находятся въ тѣснѣйшей связи между собою: «они другъ другу, на величественномъ Θеатрѣ ихъ дѣйствій, подаютъ руку!»... Въ оправданіе Карамзина нельзя не признать, что примѣненіе къ Екатеринѣ его ученія о роли великихъ людей было довольно удачно: *личность* Екатерины имѣла огромное значеніе въ средѣ ея дѣятельности, являясь издали почти единымъ свѣточемъ, какъ то показываетъ и Державинская «Фелица»; недаромъ сама Екатерина вѣрила въ значеніе великихъ людей и героевъ.

Напередъ понятно, какъ, послѣ причисленія Екатерины къ великимъ людямъ, станетъ смотрѣть на нее въ общемъ Карамзинъ. Вѣрный своей теоріи о такихъ людяхъ, Карамзинъ будетъ видѣть въ великой императрицѣ «полубога человѣчества», который указалъ «великую цѣль»[1]). Вѣрный своему нравственному складу, восторгаясь величіемъ Екатерины, ораторъ проститъ ей тѣ слабости, какія замѣтитъ въ ней.

Похвальное Слово подтверждаетъ эти соображенія. Изъ многихъ мѣстъ его, идеализующихъ Екатерину, какъ великую личность и избранницу Судебъ, приведемъ слѣдующее: «Она безпрерывными шагами текла къ Своему великому предмету;

и разрушаютъ царства; образуютъ эпохи, которыхъ всѣ другія бываютъ только слѣдствіемъ; они, такъ сказать, составляютъ цѣпь въ необозримости вѣковъ, подаютъ руку одинъ другому, и жизнь ихъ есть Исторія народовъ».—Въ нашемъ вѣкѣ роль личности въ исторіи подвергалась неоднократному обсужденію. Особый интересъ представляетъ мнѣніе Карлейля, по которому истинно-великій человѣкъ—«всегда труженикъ», и неизмѣнное его призваніе—служить людямъ. «Онъ первый рабочій на поденномъ трудѣ своихъ ближнихъ, первый мститель за неправду, первый восторженный цѣнитель всего благого. Если онъ — государь, то ему нѣтъ покоя, пока хотя одинъ изъ его подданныхъ обойденъ въ своихъ насущныхъ нуждахъ; если онъ—мыслитель, ему нѣтъ отдыха, пока хотя одна ложь считается неложью. Дѣятельность его не терпитъ остановокъ, и онъ вѣчно стремится къ идеалу, хотя бы и недостижимому. Если онъ разъ уклонился отъ своего пути, онъ уже согрѣшилъ; если онъ разъ поставилъ свое я выше общихъ интересовъ, онъ уже не герой». Теорія о великихъ людяхъ была отрицаема Маколеемъ и подвергнута безпощадной критикѣ Спенсеромъ, но, тѣмъ не менѣе, не можетъ быть признана вполнѣ опровергнутой.

1) Ср. выше выдержку, приведенную въ примѣч. 1-мъ на стр. 56.

писала уставы на мраморѣ, неизгладимыми буквами; творила вовремя, и потому для вѣчности, и потому дѣлъ Своихъ не передѣлывала, и потому народъ Россійскій вѣрилъ необходимости Ея законовъ, непремѣнныхъ, подобно законамъ міра. Европа удивлялась щастію Екатерины: Европа справедлива, ибо мудрость есть рѣдкое щастіе». Иной разъ ораторъ впадаетъ въ ясный риторизмъ: «Екатерина преломила бы скипетръ Царскій, восклицаетъ Карамзинъ, свергла бы вѣнецъ съ главы Своей, возненавидѣла бы власть Свою, естьлибы они не служили Ей средствомъ ощастливить Россіянъ».

Въ силу такого воззрѣнія на Екатерину и своего природнаго благодушія, а также оптимизма XVIII в. и чувства искренней благодарности гражданина, Карамзинъ отнесся снисходительно къ погрѣшностямъ и слабостямъ своей героини. Какъ настоящій патріотъ, онъ забылъ даже несправедливость покойной государыни въ отношеніи къ нему самому, и рѣдко въ комъ можно встрѣтить такое безпристрастіе! Но при всемъ томъ его нельзя обвинять въ умышленномъ искаженіи и скрашиваніи неприглядныхъ фактовъ, хотя бы и ради патріотическихъ цѣлей[1]).

Если Карамзинъ невѣрно истолковывалъ факты, это дѣлалось имъ неумышленно: вездѣ онъ старался быть правдивымъ. Прежде чѣмъ восхвалять Екатерину, онъ принялъ рѣшеніе говорить только правду[2]).

---

1) Такое скрашиваніе предполагалъ Погодинъ, по мнѣнію котораго Карамзинъ «умѣлъ возвыситься надъ личностями, частностями и мелочами и хотѣлъ только почтить благодѣянія, разлитыя императрицею Екатериною въ отечествѣ, чтобы ея преемникъ выразумѣлъ основательно ея достоинства и вмѣнилъ себѣ въ обязанность идти по слѣдамъ ея».

2) Въ началѣ Слова Карамзинъ восклицаетъ: «Горе тому, кто, представляя себѣ Екатерину, можетъ думать о пользѣ своего ничтожнаго самолюбія! Благодарность, усердіе есть моя слава». Онъ не имѣлъ въ виду льстить Александру, хваля великую бабку его. Онъ зналъ, что лесть «не ужалитъ орла, подъ небесами парящаго», и отвращается отъ нея, называя ее «гнуснымъ гадомъ, пресмыкающимся въ прахѣ». Свою похвалу Екатеринѣ Карамзинъ ставилъ выше похвалъ, расточавшихся ей при жизни ея: «И самаго недостойнаго Государя хвалятъ, когда онъ держитъ въ рукѣ скипетръ: ибо его боятся, или гнусные

Это рѣшеніе выполнено, на нашъ взглядъ, не вполнѣ удовлетворительно. Наряду съ вѣрной исторіи оцѣнкою дѣяній Екатерины [1]) по мѣстамъ можно встрѣтить преувеличенія [2]). Но для насъ важно, что Карамзинъ восхвалялъ Екатерину преимущественно за ея идеи. Этимъ объясняется, что онъ отвелъ такъ много мѣста Наказу. Онъ сознавалъ, что многое и не сдѣлано Екатериною, но, по его мнѣнію, въ томъ не ея вина; важно было начало, полагавшее основаніе болѣе свѣтлому будущему [3]). Если есть невѣрности въ частностяхъ, то общій взглядъ на царствованіе Екатерины не представляетъ крупныхъ ошибокъ.

Такимъ образомъ, Державинъ оказывается въ «Фелицѣ»

льстецы хотятъ награды; но когда сей скипетръ изъ руки выпадетъ, когда Монархъ платитъ дань общему року смертныхъ: тогда, тогда внимайте гласу Истины, которая, повелѣвая умолкнуть страстямъ, надеждѣ и страху, опершись рукою на гробъ царя, произноситъ свое рѣшеніе: и вѣки повторяютъ его».

1) По поводу Коммиссіи для составленія проекта новаго уложенія Карамзинъ замѣчаетъ: «Сограждане! принесемъ жертву искренности и правдѣ; скажемъ— что Великая не нашла, можетъ быть, въ умахъ той зрѣлости, тѣхъ различныхъ свѣдѣній, которыя нужны для законодательства». Карамзинъ хорошо понялъ причину того, что и Наказъ, и Коммиссія не имѣли полнаго вліянія на государственный строй Россіи, и этотъ выводъ, какъ и нѣкоторые другіе, можетъ быть принятъ историческою наукою.

2) Карамзинъ, подобно Державину (то же и у Ленца—см. выше—и у Кастн), постоянно толкуетъ о народномъ счастіи въ правленіе Екатерины. Напримѣръ, по поводу введенія въ дѣйствіе Учрежденія о губерніяхъ, Карамзинъ пишетъ: «Уже земледѣлецъ не принужденъ на долго разставаться съ мирными Пенатами, чтобы въ отдаленіи искать защиты отъ притѣснителя, суда на хищнаго сосѣда или потребностей для жизни своей. Уже каждое селеніе означаетъ близость города, гдѣ правосудіе беретъ подъ свою эгиду пастыря и оратая». Что это было за правосудіе, извѣстно.

3) Карамзинъ такъ заключаетъ первую часть Слова: ..... «пожалѣемъ о краткомъ вѣкѣ смертнаго! Когда бъ Монархи были только Законодателями, то Екатерина, безъ сомнѣнія, успѣла бы образовать Россію совершенно; но труды ихъ столь безчисленны, столь разнообразны, что умъ обыкновенный теряется въ сей необозримости. Внѣшняя политика, внутреннее правленіе, трудное и на многіе предметы обращенное правосудіе, занимая всю душу, истощаютъ ея дѣятельность, которая, укрываясь въ частяхъ своихъ отъ глазъ историка, не менѣе нужна и спасительна для государствъ; и которая, подобно тонкимъ, едва замѣтнымъ нитямъ ручейка, мало по малу образующимъ свѣтлую рѣку, обращаетъ на себя вниманіе наблюдателя только чрезъ большее пространство времени, представляя картину народнаго щастія, удовольствія и порядка».

поэтомъ-сердцевѣдцемъ, исполненнымъ благороднаго одушевленія. Въ Карамзинѣ же, какъ въ авторѣ «Похвальнаго Слова» Екатеринѣ, можно признать благороднаго, весьма образованнаго и умнаго патріота и вмѣстѣ писателя, не только хорошо владѣвшаго перомъ, но и выказавшаго крупный историческій талантъ въ справедливой оцѣнкѣ царствованія Екатерины.

Какъ Державинъ считалъ Фелицу достойною удивленія и подражанія со стороны ея подданныхъ въ ея умѣньѣ «пышно и правдиво жить, укрощать страстей волненье и счастливымъ на свѣтѣ быть», такъ Карамзинъ ставилъ ее въ идеалъ государямъ. Оба, равно преклоняясь передъ нею и признавая ее достойною безсмертія, были равно безкорыстны въ похвалахъ ей [1]). Они совершали при этомъ не только гражданскій подвигъ [2]), но и дѣло

---

1) Если Державинъ получилъ за свою оду 500 червонцевъ, то изъ того еще не слѣдуетъ, что онъ писалъ для награды. Екатерина не за похвалы наградила его. По справедливому замѣчанію Грота (Современникъ 1846, № 12, стр. 232), «Она отличила въ немъ не столько поэта, сколько подданнаго, который въ произведеніи своемъ обнаружилъ, вмѣстѣ съ талантомъ, доблесть души, драгоцѣнную для общества». Замѣтимъ, что Державинъ, какъ поэтъ, почиталъ своею обязанностью «говорить царямъ истину и правду». Не желая льстить Екатеринѣ, онъ написалъ «Фелицу» въ формѣ иносказательной. Въ своихъ Запискахъ онъ говоритъ о Екатеринѣ: «хотя я и писалъ стихи въ похвалу ея торжествъ, всегда однако обращался съ аллегоріями, или какимъ другимъ тонкимъ образомъ къ истинѣ, а потому и не могъ быть въ сердцѣ ея вовсе пріятнымъ».

2) «Старыхъ литераторовъ, говоритъ Погодинъ (Вѣстн. Евр. 1866, IV, стр. XIII), упрекаютъ въ лести. Никакая лесть не опасна, сопровождаемая подобными уроками. Нѣтъ, Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ не льстили, а учили царей между строками кажущейся лести». «Державинъ не льстецъ», говоритъ также Хомяковъ. Напомнимъ еще взглядъ Рылѣева въ стихотвореніи «Державинъ»:

Онъ выше всѣхъ на свѣтѣ благъ
Общественное благо ставилъ...
Повсюду чести неизмѣнный,
Царямъ ли правду говорилъ,
Иль поражалъ порокъ надменный.

Иначе судитъ о характерѣ Державина Грыцько (Елисеевъ; цит. ст., стр. 270 и слѣд.), различающій, впрочемъ, при оцѣнкѣ людей XVIII в., «патріархальныя понятія того времени и современныя понятія». Ср. приведенныя нами слова Грота о раздвоеніи Державина. Послѣдняго нельзя вполнѣ освободить отъ обвиненія въ лести временщикамъ (Ср. *Waliszewski*, Autour d'un trône, p. 166),

болѣе или менѣе справедливой и возвышавшей душу оцѣнки, которой не можетъ не принять во вниманіе и безпристрастный историкъ, и чувства обоихъ благородныхъ и великихъ нашихъ писателей не могутъ хотя бы отчасти не передаваться и намъ — позднѣйшему потомству.

Итакъ, выдававшіеся широтою взгляда либо способностію глубокосердечно воспринимать благородныя начинанія дѣятели литературы Екатерининскаго времени, какъ за границей, такъ и у насъ, Вольтеръ, Державинъ, Карамзинъ высоко поставили Екатерину въ своей общей оцѣнкѣ ея личности. За свѣтлыя черты характера, просвѣтительную дѣятельность и провозглашеніе и также слѣдованіе гуманнымъ началамъ, составлявшимъ лучшую часть прогрессивнаго движенія прошлаго вѣка, названные писатели прощали Екатеринѣ ея недостатки и промахи, которыхъ не могли забыть ей порицатели ея правленія начиная съ «персоначальнаго хулителя» ея, Петра Ивановича Панина, въ томъ числѣ писатели столь же честные и просвѣщенные, но оказавшіеся болѣе нетерпимыми въ отношеніи къ Екатеринѣ и болѣе односторонними, каковы въ душѣ своей заклятый врагъ Екатерининскаго двора кн. М. М. Щербатовъ, А. Н. Радищевъ и вмѣстѣ съ послѣднимъ всѣ тѣ люди младшаго поколѣнія времени Екатерины, которые, не удовлетворяясь сдѣланнымъ ею, желали

но во всякомъ случаѣ «Фелицу» нельзя причислить къ продуктамъ лести. При чтеніи ея, Екатерина заплакала и спросила кн. Дашкову, кто бы могъ такъ коротко знать ее, что такъ хорошо описалъ ее? Не значитъ ли это, что, по выраженію Грота (Р. Вѣстн. 1866, № 2, стр. 468), «поэтъ уяснилъ ей самой идеалъ, который она стремилась осуществить собою»? Ср. въ Запискахъ Храповицкаго подъ 27 іюня и 11 іюля 1789 г. о докладахъ по дѣлу Державина, когда императрица прочла изъ «Фелицы»:

Еще же говорятъ неложно, *и проч.*

Въ этой одѣ, какъ и во многихъ другихъ, по словамъ Гоголя, «многое такъ сказано сильно, что еслибы даже нашелся такой Государь, который позабылъ бы на время долгъ свой, то, прочитавши сіи строки, вспомнитъ онъ вновь его и умилится самъ предъ святостью званія своего».

еще большаго[1]). Послѣдніе, быть можетъ, забывали, что въ исторіи не можетъ быть быстрыхъ скачковъ и что для успѣха извѣстныхъ идей въ обществѣ нужна постепенная подготовка хотя лучшей части послѣдняго къ воспріятію ихъ, подготовка, которая и составляетъ одну изъ крупнѣйшихъ заслугъ Екатерины. А первые, какъ Державинъ и Карамзинъ, напрасно толковали о всенародномъ счастіи въ правленіе Екатерины, забывая то, что̀ приводило въ такое негодованіе благородныхъ печальниковъ угнетеннаго народа, напр. Радищева въ прошломъ вѣкѣ, негодовавшихъ на усиленіе закрѣпощенія крестьянъ въ царствованіе Екатерины[2]).

Нельзя признать совсѣмъ правыми ни хвалителей[3]), ни порицателей Екатерины, но если производить сравнительную оцѣнку сужденій тѣхъ и другихъ, то нельзя не сказать, что первые ближе вторыхъ подошли къ справедливости, какая должна быть соблюдаема при обсужденіи столь всегда несовершенныхъ личностей и дѣлъ человѣческихъ. Конечно, абстрактныя похвалы со стороны вождей французскаго просвѣтительнаго движенія, далекія отъ полнаго знакомства со страною «варваровъ», какъ все еще именовали русскихъ, основанныя лишь на общихъ соображеніяхъ по обычаю XVIII-го в., не представляютъ для насъ особой цѣны. Онѣ свидѣтельствуютъ лишь наглядно о томъ фактѣ, который

---

1) Интересное въ этомъ отношеніи свидѣтельство находимъ въ Карамзинской запискѣ «о древней и новой Россіи»: «...особенно въ послѣдніе годы ея жизни, дѣйствительно слабѣйшіе въ правилахъ и исполненіи, мы болѣе осуждали, нежели хвалили Екатерину, отъ привычки къ добру уже не чувствуя всей цѣны онаго и тѣмъ сильнѣе чувствуя противное; доброе казалось намъ естественнымъ, необходимымъ слѣдствіемъ порядка вещей, а не личной Екатерининой мудрости, худое же ея собственною виною». Ср. въ статьѣ г. Ключевскаго.

2) Замѣтимъ, что народъ не соединялъ съ именемъ Екатерины представленія объ утѣсненіи. Кромѣ памяти народа о «матушкѣ царицѣ» народныхъ пѣсенъ, отзывы которыхъ приведены въ концѣ статьи г. Бильбасова, укажемъ еще на малороссійскую пословицу: «За царыци ілн паляныци, а за цара нема й сухара».

3) Къ перечисленнымъ прежде прибавимъ И. Е. Срезневскаго, о похвалѣ котораго Екатеринѣ II см. въ Ж. М. Н. Пр. 1898, № 6.

составляетъ одну изъ несомнѣнныхъ заслугъ Екатерины, о полномъ пріобщеніи ею Россіи къ союзу чисто европейскихъ государствъ и о признаніи того Западомъ; то было первое вполнѣ сочувственное отношеніе къ Россіи послѣ цѣлаго ряда вѣковъ пренебрежительнаго отношенія къ ней Запада, начиная со времени средневѣковой католической теократіи. Невозможно также присоединиться къ хору тѣхъ неразумныхъ русскихъ хвалителей, которые уже въ свое время вызывали справедливое негодованіе неумѣренностію и льстивостію своихъ хвалебныхъ гимновъ и панегириковъ [1]). Но, съ другой стороны, нельзя не признать счастливой царственную личность, умѣвшую создавать почтеніе къ себѣ даже въ средѣ враговъ [2]), внушать неподдѣльный восторгъ, пріобрѣтать уваженіе людей, подобныхъ Новикову и Карамзину, и ставшую предметомъ такой оды, какъ «Фелица». Въ ряду одъ XVIII в. мы не найдемъ другой, которая была бы такимъ сліяніемъ искренней, восторженной похвалы и правды безъ лести, а также истолкованіемъ и осмысленіемъ благородной и просвѣтительной государственной дѣятельности, являвшимися какъ бы и своего рода дальнѣйшей программой ея. Историкъ, который будетъ описывать въ послѣдующее время дѣянія Екатерины, не представитъ ея, конечно, съ такой сердечной теплотою и одуше-

---

1) Кромѣ приведенной выше выдержки изъ стихотворенія Княжнина, можно бы указать и другія подобныя порицанія; такъ, въ «Сатирѣ первой и послѣдней» В. Капниста (см. его «Сочиненія», Во градѣ св. Петра, 1796 г., стр. 53) читаемъ:

Иные, чтобъ себя предъ свѣтомъ отличить,
Усердіемъ своимъ стремятся помрачить
Дѣла Монархини, воспѣвъ ихъ недостойно,
Нелѣпымъ голосомъ и низко и нестройно.

Ср. еще на стр. 55—56 того же произведенія.

2) См. напр., въ «Głos JW. Seweryna Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego, na Sessyi Konfederackiej dnia 31 Stycznia 1793 Roku miany» (печатный листокъ): «Wie cały świat, iż Wielka owa Katarzyna, która Nam w zamian zaufania Naszego w Niey bez granic, podała swą Przyiacielską Rękę, była iedna, która ustawnie o nowy rozbor Kraiu nalegana, ustawnie go wrodzoną Wielkością duszy swoiey odrzucała; bardziey sławy Imienia Zaszczycielki sprzymierzeńcow swoich, niż korzyści nowonabytego Kraiu chciwa» и т. д.

вленіемъ, съ какими изображали ее Карамзинъ и Державинъ, но эти писатели заставляютъ забыть многія изъ предубѣжденій противъ Екатерины.

И мы не можемъ не признать, что Екатерина, не бывшая ревностною искательницею истины и любившая показной блескъ, не была устойчива въ своихъ начинаніяхъ; но въ объясненіе послѣдняго мы не должны забывать, что она, по своимъ идеямъ, долго была почти одинока въ Россіи, не имѣла надлежащаго количества сподвижниковъ, соотвѣтствовавшихъ ея стремленіямъ, да и сверхъ того, по ея собственнымъ словамъ, не довѣряла «людямъ системы»; оттуда ея невниманіе къ проектамъ Дидро. Обладая практическимъ умомъ наряду съ любовью къ наукѣ и литературѣ, Екатерина, по вступленіи на престолъ, увидѣла довольно скоро, какъ трудно было примѣнять на практикѣ во всей полнотѣ идеи просвѣтительной философіи, увлекавшія ее въ годы молодости. Въ силу того она не улучшила даже положенія казенныхъ крестьянъ, раздавала ихъ своимъ любимцамъ, и въ общемъ положеніе крестьянъ ухудшилось. Послѣ того отмѣна званія раба, характеризующая систему Екатерины, имѣла мало практическаго значенія. Несомнѣнно, такимъ образомъ, что эта императрица была не всегда послѣдовательна въ осуществленіи своихъ болѣе раннихъ идей, иногда шла даже въ разрѣзъ съ ними, усиливъ крѣпостничество и сословную рознь, а въ годы Революціи значительно отстала отъ нихъ и подпала преувеличеннымъ, иной разъ совсѣмъ неосновательнымъ, опасеніямъ, какъ то показала, кромѣ дѣла Новикова, еще катастрофа, постигшая «Вадима Новгородскаго»[1]). Но вспомнимъ при этомъ, что ужасы революціи отшатнули отъ французскихъ идей даже такихъ людей свободной мысли и мечтателей, какъ Шиллеръ и англійскіе поэты Уордсуортъ и Кольриджъ, бывшіе первоначально приверженцами этихъ идей, а главное — годы поворота и реакціи (1785—1796) не

---

1) Трагедія «Вадимъ Новгородскій» и указъ о сожженіи ея перепечатаны у *Бурцева:* Описаніе рѣдкихъ Россійскихъ книгъ, ч. I, Спб. 1897, стр. 106—175.

искоренили результатовъ лучшихъ лѣтъ правленія Екатерины; ихъ не уничтожили ни неурядицы въ финансовомъ управленіи и нестроенія, характеризовавшія послѣднее время этого царствованія[1]), ни мелочавшій фаворитизмъ, ни попытки развитія корпоративной организаціи дворянства и городскаго населенія, порожденныя слѣдованіемъ идеямъ Монтескье.

Для правильности общей оцѣнки царствованія мы должны принимать во вниманіе всю совокупность фактовъ и рѣшать въ ту или другую сторону по большинству и важности ихъ. Въ данномъ случаѣ такими важнѣйшими фактами являются не только великій государственный смыслъ Екатерины и ея благія общія стремленія, духъ ея царствованія, много содѣйствовавшій укорененію новыхъ, лучшихъ началъ государственной, общественной и личной жизни, но также и множество несомнѣнно добрыхъ дѣлъ ея, начиная съ государственной благотворительности. Эти дѣла Екатерины, каковы: заботы о воспитаніи и образованіи, поднятіе значенія литературы, уничтоженіе званія раба и т. п., были вызваны отчасти тою «философіею», которой слѣдовала императрица. Благодаря уваженію Екатерины къ Вольтеру и энциклопедистамъ, на Руси разлилось широкой волной легкое, непродуманное вольнодумство, не имѣвшее прочныхъ устоевъ[2]), а вмѣстѣ съ нимъ и развращеніе. Но не надо забывать, что просвѣтительное умственное и литературное движеніе прошлаго вѣка содержало въ себѣ немало и благотворныхъ началъ. И послѣднія, помимо нѣкоторыхъ несомнѣнно печальныхъ воздѣйствій, указанныхъ уже Щербатовымъ и также Карамзинымъ въ запискѣ «о

---

1) См. въ «Сочиненіяхъ князя *М. М. Щербатова*», т. I, Спб. 1896, стр. 629—682: «Разсужденіе о нынѣшнемъ въ 1778 году почти повсемѣстномъ голодѣ въ Россіи, о способахъ оному помочь и впредь предупредить подобное же нещастіе», и тамъ же, стр. 682—720: «Состояніе Россіи въ разсужденіи денегъ и хлѣба въ началѣ 1788 года, при началѣ турецкой войны». О русскомъ войскѣ въ концѣ царствованія Екатерины см. замѣчанія Ланжерона, приведенныя въ статьѣ *Брикнера:* Русская Мысль 1896, № 11.

2) См. ст. *Ф. А. Терновскаго:* «Русское вольнодумство въ вѣкъ Екатерины», Труды Кіевской Духовной Академіи 1869 г.

древней и новой Россіи», повліяли въ общемъ весьма благотворно на созданіе новой Россіи. Екатеринѣ II принадлежитъ весьма видная доля въ этомъ созданіи, и потому мы можемъ съ полнымъ правомъ примкнуть къ одушевленію лучшихъ писателей времени Екатерины, прославившихъ обаяніе ея личности, ея основныхъ идей и ея добрыхъ дѣлъ. Мы можемъ раздѣлять ихъ сочувствіе общему духу царствованія Екатерины, ея дѣламъ и словамъ, также имѣвшимъ немало значенія. Справедливо замѣтилъ кн. Вяземскій, что «слова, падающія въ народъ съ высоты престола, имѣютъ всегда отголосокъ въ народѣ, не только въ настоящемъ, но часто, кажется, до новаго дня въ будущемъ»[1]). Гуманныя начала, одушевлявшія Екатерину, не были всецѣло водворены ею въ русскомъ государственномъ и общественномъ строѣ и проведены во всѣхъ мѣрахъ, но въ широкомъ признаніи ихъ оффиціальная Россія стала впервые въ уровень съ вѣкомъ[2]). Императрица была авторитетнѣйшею и главною распространительницею просвѣтительныхъ и либеральныхъ идей, которыя были какъ бы откровеніемъ для Россіи Екатерининскаго времени. Съ той поры началось истинное сліяніе общеевропейскихъ началъ культуры съ народностію въ Россіи, что́ было тѣмъ легче, что въ существѣ эти начала не были чѣмъ-нибудь новымъ по сравненію съ завѣтами истиннаго христіанства. Та новая порода людей, о созданіи которой воспитаніемъ мечтала Екатерина и ея сподвижники, начала появляться къ концу ея царствованія и въ непосредственно слѣдовавшее за нимъ время. Гуманныя начала стали проникать болѣе или менѣе глубоко въ русскую жизнь, развилась «чувствительность» въ широкомъ смыслѣ этого слова и у насъ[3]), и подъ вліяніемъ всего этого выдвигались такіе благо-

---

1) Стр. 635 «Отмѣтокъ».

2) Справедливо говоритъ *Knox Johnson* въ Fortnightly Rev. 1896, Novemb., p. 672: «She is here, in spite of all that has been said, exactly where we invariably find her, neither a day in front of her age nor a day behind».

3) О «чувствительности» конца прошлаго вѣка и переходѣ ея въ общественныя стремленія, между прочимъ и въ дѣйствительной жизни, напр., въ личности

родные, отдававшіе себя общему благу, дѣятели, какъ Новиковъ. А на ряду съ ними сколько явилось менѣе замѣтныхъ и извѣстныхъ поборниковъ и исповѣдниковъ новыхъ идей [1])! Послѣднія несомнѣнно входили въ русскую жизнь, и тѣмъ открывалась дорога дальнѣйшему преуспѣянію. Всѣмъ этимъ русское самодержавіе вступало на новый путь со времени Екатерины. «Нѣкоторыя изъ предполагаемыхъ преобразованій и государственныхъ попытокъ ея, какъ, напр., созваніе депутатовъ со всей Россіи [2]), не вполнѣ развились и осуществились; но и сами положенныя, набросанныя начала, хотя не дозрѣли до событія, не менѣе того оставили слѣды по себѣ [3]), сами собою были они уже благотворительны. Они внесли въ общество новыя понятія и новыя стремленія. Они, такъ сказать, перевоспитали общество, или, по крайней мѣрѣ, значительную часть его... Эти силы (неочевидныя, неосязательныя), которыми располагала Екатерина, послѣ временнаго молчанія, сочувственно и ободрительно отозвались въ первыхъ годахъ царствованія любимаго ею внука; онѣ отзываются и нынѣ» [4]).

Радищева, см. въ ст. *Алексѣя Н. Веселовскаго:* «Чувствительный и холодный», Русскія Вѣдомости 1897, № 119; тамъ же говорится и о продолженіи этихъ Карамзинскихъ типовъ въ послѣдующія времена русской жизни.

1) Назовемъ хотя бы Друковцева, о которомъ см. замѣчанія *А. А. Котляревскаго* въ Чтеніяхъ въ Истор. Общ. Нестора-Лѣтописца», II, 1888, стр. 108—111. Нѣсколько свѣдѣній о Друковцевѣ см. у *Бурцева* I, 55 (о «Бабушкиныхъ сказкахъ» его). — Ср. *Архангельскій*, Императрица Екатерина II въ исторіи русской литературы и образованія, Каз. 1897, стр. 56—57; *В. С. Икоников*, Значеніе царствованія Екатерины II, стр. 93 и слѣд.

2) По мысли Екатерины, депутаты вызывались въ качествѣ свѣдущихъ людей, могшихъ сообщить правительству необходимыя справки и заявить желанія, которыя могли быть приняты имъ во вниманіе. Правительство не думало при этомъ поступаться самодержавіемъ, при которомъ возможна, по мнѣнію Екатерины, слѣдовавшей въ этомъ за Монтескье, и свобода, «разумъ вольности, который въ сихъ державахъ можетъ произвести столько же великихъ дѣлъ и столько споспѣшествовати благополучію, какъ и самая вольность».

3) Это можно сказать, напр., о Наказѣ, который не остался безъ вліянія на жизнь.

4) Слова кн. Вяземскаго. Ср. у *Виппера* l. c., 10: «Екатерина заимствовала у Монтескье мысль, осуществленіе которой такъ занимало потомъ людей Алексан-

Такимъ образомъ, царствованіе Екатерины ознаменовалось крупнымъ ростомъ и значительными успѣхами нашего самопознанія и самосознанія и подготовило лучшія начинанія царствованія Александра I[1]) и дальнѣйшія лучшія теченія русской жизни. Оно было важною и весьма видною ступенью въ подъемѣ и движеніи новой Россіи къ преуспѣянію въ духѣ новоевропейской гражданственности, ограждающей свободу и достоинство личности.

Могучее споспѣшествованіе этому движенію, непзбѣжно сопряженному съ поднятіемъ чувства личнаго достоинства, ростомъ народнаго самосознанія и дѣйствительнымъ проникновеніемъ лучшими началами культуры, и составляетъ главную заслугу Екатерины II. Заслуга эта, какъ мы видѣли, была хорошо понята и отмѣчена уже лучшими русскими литераторами — современниками Екатерины, сужденія и чувствованія которыхъ мы изложили, и они много помогаютъ намъ въ уразумѣніи великаго значенія царствованія этой императрицы въ исторіи русскаго народа.

дровскаго времени; именно: она желала найти въ неограниченной монархіи своего рода конституціонную норму, сообразовать функціонированіе ея учрежденій съ извѣстной твердой основой, съ фундаментальнымъ закономъ». Ср. еще у *Архангельскаго*, стр. 59—60 и *В. С. Иконникова*, стр. 104.

1) Какъ извѣстно, Александръ I даже своимъ воспитателемъ имѣлъ человѣка, который былъ первоначально приверженцемъ и распространителемъ тѣхъ самыхъ философскихъ идей, которыми вдохновлялась и Екатерина въ лучшіе годы своего царствованія. Само собою разумѣется, что Александръ I подпадалъ и позднѣйшимъ воздѣйствіямъ, напр., ново-французскимъ государственнымъ идеямъ либерально-централистическаго пошиба.

Романтика на Западѣ и въ поэзіи В. А. Жуковскаго [1]).

Рѣчь, читанная въ торжественномъ собраніи Историческаго Общества Нестора-Лѣтописца, 30 января 1883 г. [2]).

(Посвящ. **Т. Д. Флоринскому**).

Сейчасъ мы слышали [3]) характеристику творчества В. А. Жуковскаго въ связи съ обстоятельствами личной жизни поэта и ходомъ развитія русской литературы. Я буду имѣть честь занять ваше просвѣщенное вниманіе разсмотрѣніемъ поэзіи Жуковскаго съ болѣе общей точки зрѣнія; я попытаюсь ввести ее въ болѣе широкую историческую обстановку, поставивъ ее въ связь съ общеевропейскимъ культурнымъ движеніемъ первыхъ десятилѣтій нашего вѣка.

Я желалъ бы охарактеризовать въ немногихъ словахъ то крупное умственное и преимущественно литературное движеніе, которое въ концѣ прошлаго и въ началѣ настоящаго столѣтія охватило весь Западъ, оказало вліяніе и на нашу жизнь и литературу и отразилось въ творчествѣ В. А. Жуковскаго. Не легко это сдѣлать, такъ какъ предъ нами явленіе весьма сложное. Оно заслуживаетъ глубокаго и продолжительнаго изученія; я позволю

---

1) Кіевлянинъ 1883 года, №№ 31, 32.

2) Печатаемъ ее *въ томъ сокращеніи*, въ какомъ она была предложена собранію.

3) Отъ В. Н. Малинина.

себѣ высказать здѣсь лишь нѣсколько сомнѣній, какія явились во мнѣ при легкой провѣркѣ нѣкоторыхъ довольно распространенныхъ теперь мнѣній о романтизмѣ. При всякой оцѣнкѣ недалекаго прошлаго возникаетъ не мало подобныхъ вопросовъ; не мало возбуждаетъ ихъ и настоящее празднованіе. Оно побуждаетъ насъ вдуматься поглубже и критически отнестись къ сложившимся взглядамъ на минувшій не такъ давно періодъ нашей литературы, однимъ изъ видныхъ представителей котораго былъ чествуемый нынѣ поэтъ.

Перенесемся мысленно въ двадцатые и тридцатые годы. То было время особое, рѣзко рознящееся отъ нашего, знавшее много молодыхъ поэтическихъ грезъ, склонное къ мечтательности... Движеніе Запада вызвало отзвуки и въ нашей литературѣ и жизни. Романтизмъ былъ у всѣхъ на устахъ, для многихъ онъ сталъ модой. Никогда еще до того времени мы не сживались такъ тѣсно съ Западомъ, никогда еще мы не увлекались *въ такой мѣрѣ* его идеалами и не проникались ими такъ сердечно. Тогда-то, какъ говоритъ Пушкинъ, стало моднымъ слово идеалъ: писали «темно и вяло»,

Что романтизмомъ мы зовемъ,
Хоть романтизма тутъ нимало.

Вольтерьянство и сантиментальность вѣка Екатерины не могли сообщить послѣдователямъ этихъ направленій той душевной теплоты, того пыла, какой былъ порожденъ романтикой.

Въ чемъ же заключалась таинственная сила новаго вѣянія, что̀ принесло оно съ собою и что̀ доставило ему побѣду повсюду? Когда романтикамъ пришлось сказать сущность своего девиза, они спутались. Появились различныя опредѣленія романтизма; было потрачено много изворотливости, остроумія и учености, и все-таки отвѣта, который удовлетворилъ бы всѣхъ или, по крайней мѣрѣ, большинство, не было. Въ одномъ сходились сторонники новаго движенія и враги его — въ томъ, что классицизмъ и романтизмъ были направленія враждебныя.

Боясь утомить ваше вниманіе, мм. гг., я не стану приводить всѣ опредѣленія романтизма, которыя были представлены поборниками его и классиками въ моменты борьбы этихъ партій. По всей вѣроятности, сами романтики не вполнѣ ясно понимали сущность переворота, къ которому стремились, и Фридрихъ Шлегель, теоретикъ нѣмецкой романтики и одинъ изъ главныхъ ея представителей, писалъ въ 1797 году къ своему брату Вильгельму: «я не могу прислать тебѣ моего опредѣленія слова *романтическій*, потому что оно на 125 листахъ». Гаймъ, которому принадлежитъ книга о нѣмецкой романтикѣ въ 900 страницъ, старался прослѣдить постепенное развитіе воззрѣній Шлегеля и выяснить его понятіе о романтикѣ, но не могъ прійти къ опредѣленному результату.

Такимъ образомъ вожди движенія не сумѣли обозначить въ свое время точно и ясно, что́ должно было быть начертано на ихъ знамени. Такъ было на Западѣ, то же повторилось и у насъ.

Это понятно: движеніе развивалось постепенно, и только время могло выяснить смыслъ его и значеніе.

Мы находимся въ иномъ положеніи, повидимому—болѣе благопріятномъ. Еще живъ славный представитель французской романтики, Гюго, видѣвшій и зарю родного романтизма, и моменты его заката. Еще спорятъ по временамъ во Франціи, хотя уже не съ прежнимъ жаромъ, о романтизмѣ и классицизмѣ, и этотъ вопросъ былъ поднятъ не такъ давно Зола. Но въ другихъ странахъ вопросъ этотъ обсуждается уже не съ точки зрѣнія литературныхъ партій, живо заинтересованныхъ въ его рѣшеніи, а болѣе спокойно — научно: романтика уступила мѣсто инымъ литературнымъ направленіямъ, и только отголоски ея кроются, быть можетъ, въ литературѣ нашего времени.

Намъ какъ будто легче, чѣмъ современникамъ романтизма, понять сущность произведеннаго имъ переворота, его размѣры и результаты: мы не участники его, мы можемъ окинуть однимъ взоромъ все поле сраженія, видѣть его отъ начала до конца, знаемъ все, что было сдѣлано обѣими сторонами, замѣтили ихъ

достоинства, не упустили изъ виду и ихъ недостатковъ. Нашъ кругозоръ, трудами отчасти самихъ романтиковъ, расширился. Современный историкъ принимаетъ во вниманіе аналогію во всѣхъ литературахъ.

Но предъ нами трудность иная: слишкомъ широка область романтизма. Онъ охватывалъ всѣ сферы жизни, всю совокупность цивилизаціи, церковь и государство, науку и искусство; слишкомъ пестры и разнообразны литературныя произведенія романтизма—въ нихъ нѣтъ классической правильности, единства и строгаго направленія, нѣтъ гармоніи, устойчивости и въ содержаніи.

Чтобы понять смыслъ новой романтики, необходимо выяснить ходъ развитія и значеніе всей новѣйшей исторіи Европы, должно всесторонне разсмотрѣть постепенную подготовку и развитіе того переворота, который совершился въ жизни и въ литературѣ Запада въ концѣ прошлаго и въ началѣ настоящаго столѣтія, нужно, далѣе, изучить сродныя явленія въ болѣе отдаленномъ прошломъ, романтику среднихъ вѣковъ, которая связана съ новой не однимъ только почитаніемъ со стороны романтиковъ, но, кажется намъ, стоитъ и въ непосредственномъ отношеніи къ ней.

Выполнить все это едва ли возможно и въ настоящее время, и оттого и теперь мы остаемся безъ надлежащаго отвѣта на вопросъ о сущности романтики: нельзя же останавливаться спокойно на одномъ изъ опредѣленій, когда ихъ такъ много. Романтическіе мгла и сумракъ окружатъ насъ, какъ только мы попытаемся войти вглубь этого «сада розъ» романтики; мы заблудимся... Поищемъ однако выхода. Намъ слышатся и чужіе, и свои голоса, пытающіеся указать путь къ нему, но ихъ такъ много, что не знаешь, куда направиться.

Вотъ, напр., слова А. Н. Пыпина, повторившаго опредѣленіе, ставшее ходячимъ на Западѣ: «то движеніе въ европейской литературѣ, которое стали впослѣдствіи разумѣть подъ *сборнымъ* именемъ романтизма, было явленіе очень *сложное*, въ разныхъ литературахъ вызванное различными потребностями и сложив-

шееся въ разныя формы. Начало его кроется въ томъ особенномъ возбужденіи умовъ, которое наполняетъ вторую половину XVIII вѣка». Это опредѣленіе не сообщаетъ намъ отчетливаго представленія о романтикѣ; въ немъ невѣрно обозначена самая дата броженія; сверхъ того, романтическая литература отличалась на первыхъ порахъ одинаковымъ направленіемъ и въ Германіи, и во Франціи. Я не стану приводить другихъ мнѣній, у авторовъ которыхъ въ головѣ романтическій мракъ. Послѣдніе дни принесли намъ изъ Франціи еще новыя рѣшенія. Въ книгѣ недавно скончавшагося профессора Collège de France, Поля Альбера, «Les origines du romantisme» (Par. 1882) встрѣчаемъ жалобу на то, что нѣмцы затемнили искомое понятіе своими разысканіями; по мнѣнію Альбера, романтизмъ — взрывъ молодости, законное проявленіе духа свободы, отличающаго XIX столѣтіе, и т. д. Нынѣшній профессоръ Collège de France, Дешанель, выдвинулъ болѣе широкое толкованіе романтизма, примкнувъ ко взгляду Стендаля: романтикъ — поэтъ, который въ будущемъ станетъ классикомъ, а классикъ—не болѣе, какъ романтикъ, достигшій общаго признанія (Le romantisme des classiques, Par. 1883). Съ этимъ не согласился въ послѣдней книжкѣ *Revue des Deux Mondes* (15 Janvier 1883) извѣстный критикъ этого журнала Brunetière; онъ полагаетъ, что романтикъ діаметрально противоположенъ классику, а послѣдній — представитель высшей правильности формы. — Всѣ упомянутыя и не упомянутыя нами мнѣнія идутъ, повидимому, къ дѣлу, и читатель долженъ стать въ тупикъ, не зная, которому изъ нихъ отдать предпочтеніе. Старый споръ, слѣдовательно, все еще не оконченъ; понятіе о романтикѣ до крайности неопредѣленно и растяжимо, и чего только не подводили и не подводятъ подъ него?

Единственный способъ выбраться изъ этихъ дебрей — строго ограничить внѣшніе предѣлы новѣйшей романтики временемъ полнаго ея расцвѣта въ каждой литературѣ и лучшихъ ея созданій и затѣмъ найти то общее, которое сообщало внутреннее единство всему внѣшнему разнообразію романтики. Не будемъ

успокоиваться на принятіи массы противорѣчій романтизма, на которыя такъ часто указываютъ. Если не видно внѣшняго единства, то надобно поискать внутренняго: долженствовало же оно существовать. Только послѣ того можно будетъ приступить къ выясненію постепеннаго развитія романтики, къ отысканію ея началъ въ прошломъ, болѣе близкомъ и болѣе отдаленномъ.

Итакъ, въ чемъ же состояла сущность романтическаго движенія? — Я возвращаюсь отчасти къ старому взгляду: вижу въ романтикѣ прежде всего литературно-моральное движеніе, но только понимаю его въ самомъ широкомъ смыслѣ.

То не былъ только протестъ противъ формы классицизма: то было стремленіе дать въ литературѣ полный просторъ всѣмъ началамъ новаго времени, томительное желаніе поставить широкій идеалъ, который не былъ бы прикованъ къ ближайшей дѣйствительности, былъ бы чуждъ узкости и сухости, заключалъ бы въ себѣ болѣе простоты, свѣжести и полноты, охватывалъ бы всѣ стороны человѣческой жизни: чувство религіозное, любовь къ природѣ, наклонности эстетическія, — который, наконецъ, возстановилъ бы порванную связь съ прошлымъ, отвергнутымъ отрицателями XVIII вѣка. Литература, которая задалась выраженіемъ этого идеала, должна была избѣгать, односторонности въ изображеніи жизни, должна была совмѣщать контрасты, конечное съ безконечнымъ. На ряду съ возвышеннымъ романтики ставили иронію (Шлегель) и гротескъ (Гюго), и въ одной картинѣ сливались свѣтъ и тѣни. Образы, созданные народною фантазіею и наивною вѣрою, также получали мѣсто въ романтической поэзіи. Одна изъ отличительныхъ чертъ ея — особое вниманіе ко внутреннему индивидуальному чувству (нѣм. Gemüth), въ которомъ сходятся, по мнѣнію Гете, всѣ доброправные люди. Такая поэзія личнаго чувства была вызвана, какъ нерѣдко бываетъ, внѣшними общественными потрясеніями и недовольствомъ дѣйствительностью. Конечно, всѣмъ этимъ не устранялась односторонность, и реальность была понимаема съ особой точки зрѣнія.

Широта порывовъ романтики видна изъ разнообразія ея созданій, изъ множества стихій, сплавленныхъ въ ней. Не легко было примирить эти элементы, весьма трудно было выработать новый идеалъ изъ такой массы матеріала, и оттого-то романтика оказывалась столь часто безсильной предъ тяжелой задачей и бросалась въ крайности, не находя естественнаго выхода.

Тѣмъ не менѣе, сама по себѣ она не заслуживаетъ порицанія и къ толкамъ о туманности романтизма и объ его ретроградности слѣдуетъ относиться съ большою осторожностью.

Что изъ того, что романтизмъ принималъ кой-гдѣ характеръ болѣзненной фантастики, кой-гдѣ становился знаменемъ обскурантизма? То и другое не было непремѣнною принадлежностію его. Не вездѣ онъ впадалъ въ туманность и чрезмѣрно-идеализировалъ прошлое. Романтики увлекались не всѣмъ средневѣковымъ, а только *художественнымъ* воззданіемъ средневѣковья. Они находили отраду въ томъ подобно человѣку, оставляющему мѣста, съ которыми связаны горькія воспоминанія, и ищущему иной обстановки. Художественное воззданіе жизни другихъ временъ и другихъ народовъ никогда не теряетъ привлекательности, а въ то время должно было заключать особую прелесть. При недовольствѣ настоящимъ естественно было обратиться къ прошлому или къ будущему. Въ христіанствѣ и средневѣковой поэзіи надѣялись встрѣтить свѣжесть и простоту, какихъ лишилась поэзія въ XVIII в. Говорятъ, романтизмъ удалялся отъ жизни. Но можно ли обвинять въ томъ Байрона и многихъ французскихъ романтиковъ?

Романтика, бывшая *въ области мысли и искусства* противодѣйствіемъ направленію прошлаго вѣка, совпала съ эпохой «Реставраціи», возвращенія Бурбоновъ во Францію, установленія Священнаго Союза и вообще со временемъ возстановленія въ политикѣ старыхъ, вѣками освященныхъ принциповъ и возрожденія старой вѣры. Воззрѣнія партіи, выдвигающей извѣстную постороннюю идею, еще не говорятъ противъ этой послѣдней. Литература иной разъ всецѣло проникается политическими идеями,

какъ было, напр., въ вѣкъ Людовика XIV, и сохраняетъ въ то же время полную художественность. Все это требуетъ болѣе безпристрастнаго отношенія къ романтизму. При томъ говорящіе о реакціонности романтики, объ обскурантизмѣ ея, отмѣчаютъ въ другихъ случаяхъ «мечты о народной свободѣ, демократическій энтузіазмъ и озлобленіе противъ настоящаго». Романтика представляла оригинальное сліяніе неудовлетворенности настоящимъ и ближайшимъ прошлымъ со стремленіемъ къ бо̀льшей свѣжести и естественности, къ отысканію болѣе удовлетворительныхъ началъ жизни. Оттуда-то крайности ея и возможность для различныхъ политическихъ партій пользоваться ею, какъ орудіемъ.

Ограничивая романтику областью литературы въ строгомъ смыслѣ этого слова, можно назвать ее самобытностью новой поэзіи. Въ сущности романтика не должна была отрицать древней классической поэзіи. Шиллеръ былъ чтителемъ послѣдней, а Гете не находилъ существеннаго различія между романтической поэзіей и классической, потому что послѣдняя также изображала собственно человѣчное, остающееся въ концѣ концовъ сердечнымъ (das Gemüthliche).

Если предложенное опредѣленіе новѣйшей романтики вѣрно, то дѣйствительно, можно будетъ найти аналогію ей въ средневѣковой литературѣ, которая также отличалась самобытностью и поэтичностью содержанія, полной свободой творчества, и въ то же время достигала классически-прекрасной формы, напр., въ пѣсняхъ трубадуровъ, въ «Парцивалѣ» Вольфрама фонъ-Эшенбахъ и т. д. Только средневѣковая литература не заключала въ себѣ надлежащей переработки добытковъ античнаго генія. Почему признавать классицизмъ формъ только за узкимъ кругомъ произведеній, навѣваемыхъ античнымъ духомъ? Классична всякая форма, вполнѣ и лучше другихъ соотвѣтствующая потребностямъ извѣстнаго времени. Шекспиръ—величайшій классикъ новой литературы въ этомъ послѣднемъ формальномъ смыслѣ и въ то же время величайшій романтикъ, какъ высшій представитель самобытной новой поэзіи. Недаромъ онъ былъ повсюду такой могучей опорой ро-

мантиковъ, признававшихъ его однимъ изъ главныхъ поэтовъ христіанскаго времени.

Романтика выступала замѣтно въ поэзіи новой Европы всякій разъ, когда поэтическое развитіе народа достигало самобытности. Узкій классицизмъ торжествовалъ въ моменты упадка народнаго духа, напр., въ XVII в. во Франціи, въ эпоху реставраціи въ Англіи. Но противъ него боролись даже въ періоды высшаго его преобладанія: вспомнимъ знаменитый споръ *древнихъ и новыхъ* въ концѣ XVII стол. и въ началѣ XVIII-го во Франціи и въ Англіи, — споръ, который французскіе романтики считали исходнымъ пунктомъ своего движенія. Романтика повторялась, такимъ образомъ, нѣсколько разъ въ исторіи новой Европы.

Насъ интересуетъ здѣсь послѣдняя фаза ея, самая близкая намъ.

Началъ этой новѣйшей романтики Дешанель пишетъ въ XVII столѣтіи, другіе — въ XVIII. Говорятъ, что вторая половина вѣка просвѣщенія ознаменовалась, одновременно съ крайнимъ развитіемъ основныхъ его идей, настроенія и поэтическаго выраженія, реакціей всему этому, которая принимала разнообразныя формы: сантиментальности, клича о возвратѣ къ природѣ, любви къ далекой, средневѣковой старинѣ. Если разлагать романтику на отдѣльныя стихіи: религіозный мистицизмъ, сантиментальность, любовь къ природѣ, интересъ въ старинѣ и народной поэзіи и проч., то можно зайти слишкомъ далеко. Гораздо важнѣе принимать во вниманіе цѣльный сплавъ всѣхъ этихъ отдѣльныхъ теченій, характеризующій сущность романтики. Этотъ сплавъ началъ обнаруживаться ранѣе всего въ Англіи и въ Германіи, при чемъ обѣ эти страны оказывали взаимное вліяніе одна на другую. Въ Англіи романтика возникла, впрочемъ, болѣе самостоятельно. О полной самобытности не можетъ быть и рѣчи: на всемъ Западѣ замѣчалось въ большей или въ меньшей степени исканіе чего-то новаго, потому что вездѣ царили безжизненный догматизмъ, эмпиризмъ, вольнодумство, холодное резонерство, формализмъ классицизма. Самымъ яркимъ изъ болѣе раннихъ

проявленій новѣйшей романтики въ Англіи можно признать, кажется, Оссіана съ его меланхоліей, смѣшеніемъ дѣйствительности съ вымысломъ... Въ началѣ настоящаго столѣтія англійская романтика распалась на нѣсколько теченій. Срединное положеніе занялъ Байронъ, выдающійся представитель пессимистической поэзіи.

Итакъ, романтика сначала являлась особымъ личнымъ настроеніемъ, поэтическимъ и моральнымъ, находившимся по временамъ въ тѣсной связи съ учеными занятіями. На нѣмецкую литературу во второй четверти прошлаго вѣка освѣжительно подѣйствовало вліяніе англійской поэзіи, преимущественно Шекспира. Лессингъ нанесъ жестокіе удары французскому классицизму своей безпощадною и мѣткою, хотя, прибавимъ, не совсѣмъ справедливою критикой. Обращеніе къ старинѣ замѣчается въ нѣмецкой литературѣ уже въ половинѣ XVIII вѣка. Нѣмецкая романтика начала съ ироніи, отличалась въ началѣ полемическимъ характеромъ и выступала противъ эстетическаго направленія. Съ цѣлью большаго углубленія поэзіи, романтика выдвинула идею взаимнаго оживленія философіи и поэзіи. Философія должна была стать поэтичной и поэзія философской. Романтики увлеклись Naturphilosophie, примкнули къ умозрѣнію Фихте и Шеллинга, впали въ мистическое созерцаніе природы и въ мечтательность, восторгались средневѣковьемъ и католичествомъ. Море нѣмецкой романтики помутилось; наклонность нѣмецкой мысли къ отвлеченности сказалась во всей своей крайности. Тогда отвернулся отъ романтики Гете, заплативъ ей дань въ молодости: онъ былъ слишкомъ универсаленъ.

Позднѣе обнаружилось романтическое движеніе во Франціи. Начало XIX-го столѣтія было временемъ рѣшительнаго перелома во французской литературѣ. Литература-эмиграція, какъ назвалъ ее Брандесъ, отрѣшенная и удаленная отъ родной почвы, должна была съ возвратомъ на родину принести и романтическія грезы, въ которыхъ витала на чужбинѣ. Шатобріанъ старался возвратить поэзію къ христіанскому католическому содержанію и

выдвинуть поэтическія стороны христіанства и жизни. Французская романтика сразу выступила противъ революціи и стала въ связь съ прямыми интересами времени. Влеченіе къ старинѣ, отличавшее нѣмецкую романтику, не было столь сильно во французской, которая постепенно склонялась къ реализму. Сами нѣмцы отдаютъ предпочтеніе французской романтикѣ предъ своею собственною, признавая въ первой болѣе свѣжести и производительности.

Пора намъ ознакомиться съ результатами романтическаго движенія на Западѣ.

Какъ высокая реформа, оно имѣло свои хорошія и дурныя стороны. Въ *наукѣ* романтика подняла на подобающую высоту изученіе всеобщей исторіи и литературы, выдвинула художественную школу въ исторіографіи. Историческая наука двинулась значительно впередъ. Изученіе родной и чужой старины получило огромную поддержку въ романтизмѣ, и сравнительная мивологія обязана ему въ значительной степени. Я не касаюсь вліянія романтики на языкознаніе и естествовѣдѣніе. Старая *эстетика* была подорвана, понятіе объ искусствѣ расширилось, такъ какъ явилось не мало такихъ произведеній, которыя не могли быть подведены подъ подраздѣленія старыхъ піитовъ. Правда, вмѣстѣ съ тѣмъ была отдѣлена высшая, идеальная сторона жизни отъ низшей и былъ провозглашенъ культъ генія; выдвинулась идея поэта, какъ избраннаго созерцателя жизни, стоящаго на вершинѣ идеи, удаляющагося въ поэзіи отъ злобы дня. Но одновременно въ *литературу* была введена живительная стихія, освѣжившая ее, устранившая сухость, въ которую впала было поэзія, и сообщившая болѣе теплоты. Наиболѣе плодотворной оказалась романтика во французской литературѣ, много освѣжительныхъ струй влила она въ англійскую, менѣе принесла она добра литературѣ нѣмецкой. Новое направленіе получила и музыка.

Недостатки романтики извѣстны. У нея были свои крайности, хотя, можетъ быть, не столь крупныя, какъ въ предшествовавшемъ ей переворотѣ. Составныя части романтики не были

приведены въ здоровое равновѣсіе, и она впадала въ преувеличеніе. Не было необходимаго разграниченія жизни и поэзіи; жизнь признавалась поэзіей, поэзія не отличалась отъ дѣйствительности. Послѣдняя лишилась своихъ правъ въ поэзіи, переполнявшейся грезами, не соблюдавшей должнаго отношенія ко внѣшнему міру и не заботившейся о трезвомъ пониманіи его. Одновременно происходила идеализація старины. Фантазія доходила до распущенности. По временамъ романтики пренебрегали отдѣлкою и правильностью формы литературныхъ произведеній.

Таковы были причины, создавшія романтику на Западѣ, и таковъ былъ характеръ ея тамъ.

Наша романтика была вызвана въ значительной степени тѣми же условіями. Мы испытали въ XVIII в. и энтузіазмъ Запада, его увлеченіе модною философіей, и разочарованія, постигавшія нѣкоторыхъ послѣдователей ея. Различныя теченія западно-европейской мысли уживались у насъ одновременно и параллельно, не смѣняясь строго послѣдовательно, какъ то было на Западѣ, не вызываясь неизбѣжно условіями нашей жизни. Въ особенности разитъ такая пестрота въ вѣкъ Екатерины. Въ области религіозной мысли у насъ царили деизмъ и крайнее вольнодумство, матеріализмъ. Политическія теоріи XVII вѣка въ ихъ крайнихъ противоположностяхъ — французской и англійской — слились съ мечтаніями французскихъ философовъ XVIII в. Художественная литература находилась подъ вліяніемъ классицизма, сантиментальности, мистицизма, реализма. Наше образованное общество сроднилось со всѣмъ этимъ, и потому западный романтизмъ долженъ былъ встрѣтить и у насъ воспріимчивую почву. Мы пережили, хотя въ болѣе слабой степени, потрясенія, испытанныя Западомъ. До насъ донеслось эхо французской революціи. Имперія, поднявшаяся на ея плечахъ, хотѣла сломить и насъ. И у насъ ощущалось стремленіе къ большей самобытности и народности въ жизни и въ литературѣ, къ освѣженію ихъ. Наконецъ, къ романтизму предрасполагала наша собственная ста-

рина, которую мы впитывали въ себя съ дѣтства. Вспомнимъ Татьяну въ «Евгеніи Онѣгинѣ»:

Татьяна вѣрила преданьямъ,
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примѣты;
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь.

И помимо Жуковскаго, романтика несомнѣнно водворилась бы въ нашей литературѣ; но едва ли бы нашелся въ комъ-нибудь другомъ поэтъ, столь согласовавшійся съ ея характеромъ. Я говорю объ *одной сторонѣ* романтики — объ элегическомъ, сантиментальномъ и мечтательномъ направленіи ея. Какъ извѣстно, романтика раздвоялась на Западѣ: она вдавалась въ противоположности отчаянія и вѣры. Жуковскій не сочувствовалъ крайнему отрицательному отношенію романтизма къ жизни, онъ глядѣлъ на нее безъ злобы и отчаянія. Онъ былъ далекъ отъ байронизма: Байронъ, по его словамъ, «духъ высокій, могучій, но духъ отрицанія, гордости и сомнѣнія». Потому Жуковскій перевелъ немного изъ этого поэта. Еще враждебнѣе относился онъ къ Гейне. Жуковскому суждено было быть нашимъ талантливымъ поэтомъ «мечтательнаго міра», «видѣній въ волшебной мглѣ».

Я попытаюсь представить самую общую характеристику романтики Жуковскаго, не касаясь подробностей всѣмъ извѣстныхъ произведеній его.

Жуковскій былъ романтикъ отъ природы. Западная поэзія, предлагая богатый выборъ образцовъ, къ которымъ подходило личное настроеніе поэта, доставила ему возможность развить талантъ въ этомъ направленіи. Жуковскому оставалось только черпать изъ романтическаго клада и переносить его сокровища въ русскую литературу, въ которой было мало еще подобныхъ про-

изведеній. Поэзія Жуковскаго слагалась, такимъ образомъ, изъ собственныхъ пѣсенъ поэта и изъ переработокъ иностранныхъ мотивовъ, которые претворялись въ наше достояніе.

Фактическія частности романтики Жуковскаго были усвоены имъ изъ всѣхъ трехъ главнѣйшихъ литературъ Запада, преимущественно изъ литературъ англійской и нѣмецкой.

Въ началѣ своей дѣятельности Жуковскій обнаруживалъ вліяніе религіозной и элегической поэзіи XVIII вѣка, романтики англійской и нѣмецкой болѣе ранняго періода. Въ англійской литературѣ съ первыхъ десятилѣтій XVIII вѣка проявлялось религіозное созерцаніе природы съ примѣсью меланхоліи; настоящій міръ былъ изображаемъ въ мрачномъ видѣ, чтобы тѣмъ свѣтлѣе рисовался будущій. Жуковскому нравились, повидимому, Томпсонъ, Оссіанъ, Грей. Быть можетъ, подъ вліяніемъ англійскихъ стихотвореній Жуковскій началъ вводить въ свои произведенія отвлеченныя существа, геніевъ прошедшаго, настоящаго и будущаго, Мечту, Вчера, Нынѣ, Завтра и т. д. Англійскія баллады увлекали его наряду съ нѣмецкими. До переселенія въ Дерптъ въ 1815 г. Жуковскій не былъ знакомъ со всѣми выдававшимися произведеніями нѣмецкой литературы. Баллады Бергера онъ предпочиталъ балладамъ Шиллера. Нѣмецкая романтика открылась воспѣваніемъ воинскихъ подвиговъ предковъ (Францъ Штольбергъ). Жуковскій также началъ прославлять побѣды и подвиги на полѣ брани. Во второй половинѣ XVIII вѣка въ нѣмецкой литературѣ вошли въ моду барды, которыхъ воображали существовавшими и у древнихъ германцевъ; подобно тому и Жуковскій облекъ пѣвцовъ въ костюмы бардовъ. Пребываніе въ Дерптѣ доставило ему возможность ознакомиться со всѣми выдававшимися произведеніями нѣмецкой романтики. Ему пришлось вращаться тамъ въ кругу людей, увлекавшихся ею; они обратили вниманіе нашего поэта на Жанъ-Поля, Гофмана, Тика, Уланда и другихъ. Изъ нѣмецкихъ поэтовъ Жуковскій былъ почитателемъ въ особенности Шиллера съ его возвышенностью и идеализмомъ. Поздно замѣтилъ Жуковскій, что онъ

оставилъ безъ должнаго вниманія первостепенныя созданія нѣмецкой поэзіи—Гётевскія; тогда уже не время было мѣнять направленіе литературной дѣятельности.

Мы знаемъ теперь внѣшнюю исторію западнаго вліянія на творчество Жуковскаго: онъ былъ у насъ воспроизводителемъ англійской романтики, преимущественно лирической, и эпическо-лирической нѣмецкой; французская отразилась у него слабо, хотя Жуковскій со вниманіемъ читалъ въ молодые годы выдававшіяся произведенія французской литературы. Взглянемъ теперь на содержаніе и характеръ романтики нашего поэта.

Жуковскій примкнулъ къ мнѣніямъ нѣмецкихъ романтиковъ о томъ, что поэзія—для поэтовъ, искусство—для художниковъ. Эстетическое направленіе его не охватывало всего содержанія романтики, да онъ тѣмъ и не задавался. Онъ творилъ не столько подъ вліяніемъ теоріи, сколько руководясь голосомъ сердца и влеченіемъ къ идеальному міру.

Отличительной чертой романтизма на Западѣ являлось вниманіе къ творчеству среднихъ вѣковъ и Востока. Нѣмецкая литература обогатилась въ періодъ романтики множествомъ переводовъ и обработокъ иноземныхъ произведеній. Тотъ же интересъ къ литературѣ всѣхъ странъ встрѣчаемъ и у Жуковскаго. Онъ подарилъ нашу поэзію цѣлымъ рядомъ переводовъ. Въ этой наклонности романтики сказывалась ея поэтичность. Жуковскій, не отличаясь въ томъ отъ другихъ романтиковъ, также выдвигалъ во всемъ эстетическую сторону: «все въ жизни къ прекрасному средство», неоднократно повторялъ онъ. Глубоко-поэтическое чутье внушало Жуковскому сочувствіе ко всѣмъ истинно поэтическимъ дарованіямъ и созданіямъ. Востокъ и преимущественно средневѣковый міръ привлекали его своей таинственностью и чудесностью. Имѣя въ виду эти занесенныя извнѣ произведенія нашего поэта, его обвиняютъ въ отсутствіи оригинальности. Но переводная дѣятельность Жуковскаго была весьма благодѣтельна. Подобныя переработки цѣнны не менѣе оригинальныхъ созданій, если вносятъ въ достояніе литературы классическія произведе-

нія, переданныя въ совершенствѣ, равняющемъ передѣлки подлиннику. Это не вредитъ самобытности родной литературы и составляетъ необходимую стихію ея, безъ которой не обошлась и не обходится ни одна изъ великихъ литературъ. Если станемъ провѣрять даже содержаніе чисто-народной словесности, то и въ ней откроемъ множество бродячихъ мотивовъ, получившихъ только народную окраску.

Жуковскій приближался къ средневѣковому міру не только фантастикой, но и мечтательной любовью. Подобно средневѣковому трубадуру, онъ пѣлъ о природѣ и чистой любви, которой онъ отводилъ чрезвычайно почетное мѣсто въ жизни:

Любовь есть неба даръ,
Въ ней жизни цвѣтъ хранится;
Кто любитъ, тотъ душой,
Какъ день весенній, ясенъ.

Этотъ индивидуализмъ и лиризмъ заслуживаютъ особеннаго вниманія въ романтикѣ Жуковскаго. Въ пѣсняхъ, выражавшихъ «души страданье», нашъ поэтъ самостоятельнѣе, чѣмъ въ другихъ.

Мнѣ кажется, слишкомъ преувеличиваютъ туманность поэзіи Жуковскаго и равнодушіе его къ интересамъ общественной жизни, ссылаясь на пѣсни поэта, выстраданныя имъ и выражавшія его личное настроеніе.

Здѣсь мы подходимъ къ вопросу объ отношеніи романтики Жуковскаго къ нашей дѣйствительности. Полувѣковая литературная и общественная дѣятельность поэта, блистающая безукоризненной чистотой, представляетъ немало любопытныхъ данныхъ для характеристики нашихъ общественныхъ и литературныхъ мнѣній первой половины настоящаго вѣка. Мы встрѣчаемся съ цѣлымъ рядомъ весьма важныхъ, интересныхъ и въ то же время весьма трудныхъ вопросовъ нашего недавняго прошлаго, быть можетъ, еще не совсѣмъ отжитаго, и многое можетъ болѣзненно отозваться въ нашей душѣ. Но въ нашемъ строго

научномъ *историческомъ* обществѣ не мѣсто обсужденію подобныхъ вопросовъ. Они не относятся къ занимающему насъ литературному направленію, и въ этомъ отношеніи во многомъ можно бы не согласиться съ А. Н. Пыпинымъ. Мнѣ кажется, что въ интересующемъ насъ вопросѣ о романтикѣ слѣдуетъ отличать политическія воззрѣнія партій отъ чисто-литературныхъ направленій. Мнѣ припоминается взглядъ Пушкина, который видѣлъ въ романтизмѣ прежде всего такое направленіе. Не романтизмъ принесъ къ намъ реакцію; она коренилась во внутреннихъ основаніяхъ нашей жизни. Основныя воззрѣнія Жуковскаго сложились уже при началѣ его литературной дѣятельности и потомъ мало двигались впередъ и измѣнялись; на образованіе ихъ не могла повліять какая-нибудь реакція. Они создавались ближайшею обстановкою, въ какой пришлось вращаться поэту, обстоятельствами личной его жизни и изученіемъ западно-европейской литературы XVII и преимущественно XVIII-го столѣтія.

Несмотря на такое происхожденіе взглядовъ Жуковскаго, поэзія его не отличалась личною узкостію и въ томъ направленіи, какимъ была проникнута, обнаруживала полное участіе къ дѣйствительности. «Жизнь зоветъ на битву», говоритъ Камоэнсъ Жуковскаго. Нашъ поэтъ стремился доставить себѣ и другимъ поэтическое и религіозное успокоеніе, которое давало бы возможность стойко держаться въ жизни. Намъ не кажется поэтому, чтобы поэзія Жуковскаго оказывала преимущественно изнѣживающее вліяніе. Идеалъ Жуковскаго можно признать опредѣленнымъ, ставъ на болѣе широкую точку зрѣнія. Взгляды его на потребности русской земли не были занесены извнѣ и вырабатывались самостоятельно условіями русской жизни. Въ поэзіи Жуковскаго они выражались согласно съ характеромъ его таланта въ формѣ лиризма. Недостатокъ времени не позволяетъ мнѣ прослѣдить въ поэзіи Жуковскаго интересный процессъ сліянія западной романтики съ основами русскаго консерватизма и отмѣтить собственно русскія черты въ романтикѣ нашего поэта.

Очень жаль, конечно, что увлеченіе «народностью», отличавшее романтику, слабо отразилось въ содержаніи эпики Жуковскаго и ограничилось немногими произведеніями.

Въ Жуковскомъ не видимъ кипучихъ порывовъ многихъ романтиковъ, но онъ, по роду своего таланта, не могъ совмѣстить всего разнообразія романтики, хотя душа его была открыта для всѣхъ другихъ сторонъ поэзіи. Не относясь враждебно къ другимъ литературнымъ стремленіямъ, онъ шелъ знакомою ему дорогой, по тропинкѣ, утоптанной съ ранней юности.

Мы не назовемъ его за то первостепеннымъ поэтомъ, не усвоимъ ему особенной широты таланта, но не можемъ не признать, что въ области, избранной имъ, онъ остается не превзойденнымъ.

Я не буду касаться другихъ проявленій романтики въ нашей литературѣ и другихъ представителей ея; пройду мимо знаменитой борьбы, разгорѣвшейся въ нашей журналистикѣ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ, чѣмъ наша литература уподобилась французской; не буду говорить и о томъ, какъ замолкъ у насъ споръ классиковъ съ романтиками, какъ прошли и у насъ дни романтизма и выдвинулся реализмъ...

Къ Жуковскому охладѣли, и какъ-бы осуществилось предсказаніе Бѣлинскаго: «Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всѣхъ и каждаго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душѣ и сердцу въ извѣстный возрастъ жизни, или въ извѣстномъ расположеніи духа». Жуковскаго читаемъ мы

> ..... во дни... весны
> Дни чистые, когда все въ жизни такъ прекрасно,
> Такъ живо близкое, далекое такъ ясно,
> Когда лелѣютъ насъ магическіе сны.

Не слишкомъ ли скептически и насмѣшливо относимся мы къ романтикѣ? Не слишкомъ ли строго отзываемся о ней, подпавъ вліянію ближайшихъ противниковъ ея, крайность которыхъ была понятна? Не слишкомъ ли мы охладѣли къ «глубоко вдохно-

вленному пѣвцу всего прекраснаго», какъ назвалъ Жуковскаго Пушкинъ (Вѣстн. Европы 1883, № 1, стр. 8)? Нѣкоторые, быть можетъ, готовы даже повторить другой отзывъ Пушкина, мало извѣстный и вылившійся изъ-подъ его пера въ моментъ игривой шаловливости и рѣзвости вдохновенія, именно—что Жуковскій — «Парнасскій чудотворецъ».

Но станемъ на объективную точку зрѣнія и отнесемся къ Жуковскому и къ романтикѣ прежде всего, какъ къ особому направленію поэзіи, вызванному условіями времени и имѣвшему право на существованіе.

Романтика была лишена исключительности и представляла гармоническое сліяніе универсальнаго съ роднымъ. Цѣнны заслуги ея въ нашей *наукѣ:* романтика вдохновляла при изученіи «старины и народности». Въ нашей *литературѣ* романтика оказалась не столь производительной, какъ во Франціи, но и не столь болѣзненной и односторонней, какъ въ Германіи. Вполнѣ и надолго утвердиться въ нашей литературѣ она не могла, и весьма интересно наблюдать въ эпоху романтизма борьбу нашей самобытности съ пришлымъ элементомъ. Романтизмъ въ нашей литературѣ также былъ девизомъ освобожденія. Навсегда погибли скучныя, казенныя оды, сухо-величественныя и безжизненныя драмы. Къ намъ проникли новыя литературныя формы, и поэтическій стиль сдѣлался разнообразнѣе. Хотя Пушкинъ назвалъ однажды романтизмъ «Парнасскимъ аѳеизмомъ», но наша литература настолько прониклась правильностію классицизма въ предшествовавшее время, что избѣжала безпорядочности и распущенности французской и нѣмецкой романтики. Содержаніе также стало разнообразнѣе и оживленнѣе. Романтика сблизила насъ тѣснѣе съ Западомъ и ввела въ общенародное сознаніе средневѣковые элементы его культуры, которые нашли мѣсто въ нашей средневѣковой литературѣ не во всей ихъ широтѣ и полнотѣ. Мы обогатились призмомъ внутренняго содержанія, и поэзія наша восприняла въ себя широкой струей изображеніе душевнаго міра, содержаніе всего нашего внутренняго существа.

Во Франціи романтика въ 20-хъ и 30-хъ годахъ была самымъ дорогимъ дѣломъ молодого поколѣнія. Тѣмъ же юношескимъ энтузіазмомъ отличались и наши романтики 20-хъ годовъ. Вспомнимъ Ленскаго:

Съ душою прямо геттингенской,
Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,
Поклонникъ Канта и поэтъ.
Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ.

Романтика въ широкомъ смыслѣ этого слова, какъ литературная реформа, какъ принципъ свободы поэтическаго творчества, при которой оно могло бы всякій разъ отливаться въ формы, наилучше соотвѣтствующія духу и потребностямъ извѣстнаго народа, никогда не потеряетъ своего значенія и будетъ время отъ времени возрождаться. Исторія литературъ подчиняется общему закону исторической жизни.

Въ самомъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ мы встрѣтили романтику у Жуковскаго, она также заслуживаетъ симпатіи. Міръ фантазіи и сосредоточеннаго чувства долженъ имѣть свои права въ нашей жизни; это — потребность нашей организаціи. Міръ внѣшней, ближайшей дѣйствительности не долженъ всецѣло поглощать наше вниманіе, иначе опять наступитъ романтическая реакція. Не слѣдуетъ увлекаться однимъ изъ нихъ до пренебреженія другимъ, и примѣромъ въ этомъ случаѣ да послужитъ намъ величайшій поэтъ-романтикъ Шекспиръ.

Не всѣмъ поэтамъ выпадаетъ на долю разносторонность таланта. Не проявилъ ея и Жуковскій. Ни у кого другого поэзія не становилась въ такой мѣрѣ «небесной религіи сестрой земной». Это былъ поэтъ піэтизма, поэтъ *святой Руси*, и въ этомъ, мнѣ

кажется, заключается широкое народное значеніе, какое имѣла въ свое время и будетъ имѣть его поэзія. Несмотря на переводную преимущественно дѣятельность Жуковскаго, онъ былъ выразителемъ, самъ того не подозрѣвая, нашихъ среднихъ вѣковъ, нашей древней Руси, цѣльности ея міровоззрѣнія въ новѣйшее время. Вмѣстѣ съ тѣмъ Жуковскій былъ пѣвцомъ любви въ высшей степени идеальной и мистической, тоски о минувшемъ, меланхоліи, «очарованнаго *тамъ*».

Не для житейскаго волненья,
Онъ былъ рожденъ..... для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Есть нѣкоторыя крайности во всемъ этомъ, но романтика не заслуживаетъ осужденія, и міръ ея кроткой, задушевной поэзіи навсегда останется привлекательнымъ для всякой истинно поэтической души. Отнесемся съ должнымъ уваженіемъ къ возвышенному, нравственному облику чествуемаго поэта, признаемъ достоинства его поэзіи. «Сколькихъ она согрѣла и утѣшила!» «При блескѣ» ея,

. . . . . что бъ труженикъ земной
Ни испыталъ, — душой онъ не падетъ,
И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.

Примѣнимъ къ Жуковскому то, что говоритъ у него Васко Камоэнсу:

И пусть разрушено земное счастье,
Обмануты ласкавшія надежды
И чистыя обруганы мечты....
Объ нихъ ли сѣтовать? Таковъ удѣлъ
Всего, всего прекраснаго земного!
Но не умретъ живая пѣснь твоя;
Во всѣхъ вѣкахъ и поколѣньяхъ будутъ
Ей отвѣчать возвышенныя души.

Много говоритъ сердцу и уму поэзія В. А. Жуковскаго, и скажемъ ему вмѣстѣ съ Пушкинымъ:

Блаженъ . . . . . .
Кто наслажденіе прекраснымъ
Въ прекрасный получилъ удѣлъ,
И твой восторгъ уразумѣлъ
Восторгомъ пламеннымъ и яснымъ.

Пушкинъ поэтъ общеевропейскій [1]).

Рѣчь въ день чествованія 50-лѣтней годовщины смерти Пушкина въ Университетѣ св. Владимира.

Величайшій изъ германскихъ поэтовъ, Гёте сказалъ однажды: «Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen» (пріобрѣтай то, что ты унаслѣдовалъ отъ отцовъ, — дабы обладать имъ). Эти слова имѣютъ значеніе въ отношеніи ко всей области человѣческаго знанія и въ равной степени примѣнимы къ дорогому наслѣдію, какое оставляютъ человѣчеству великіе поэты. Для того, чтобы надлежаще обладать сокровищами высочайшей цѣнности, достающимися намъ отъ геніевъ творчества, всякое поколѣніе должно усваивать ихъ себѣ собственнымъ трудомъ, усиліями собственной мысли и чувства. Стремленіемъ къ такому усвоенію одушевляется народъ, когда чествуетъ своихъ великихъ поэтовъ, торжественно воспоминая ихъ заслуги, и такого же стремленія исполнены нынѣ и мы, принимая участіе во всенародномъ чествованіи памяти одного изъ величайшихъ поэтовъ, какихъ когда-либо выдвинула наша родная земля. Оживляя въ нашемъ сердцѣ горесть утраты, понесенной полвѣка назадъ нашею литературою, мы вмѣстѣ съ тѣмъ желаемъ воскресить въ нашемъ сознаніи со всею яспостью образъ поэта, который невозвратно унесенъ смертью, но котораго

. . . . . Душа въ завѣтной лирѣ
И прахъ переживетъ, и тлѣнья убѣжитъ —
И славенъ будетъ онъ, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ піитъ.

---

1) Кіевлянинъ 1887 года, №№ 25—27, и отдѣльно, Кіевъ, 1887.

Мы хотѣли бы постигнуть, сколько возможно, смыслъ поэзіи того, кто такъ гордо отозвался о себѣ, и найти твердый опорный пунктъ для ея оцѣнки.

Въ отношеніи къ поэзіи Пушкина это послѣднее желаніе имѣетъ особый смыслъ: хотя прошло полвѣка со дня его смерти, но оцѣнка достоинствъ его произведеній еще не вполнѣ установилась. Теоретическое оправданіе того творчества, которое преобладало въ поэзіи Пушкина, въ особенности въ послѣдній періодъ его дѣятельности, для многихъ кажется несостоятельнымъ, и вопросъ о такъ называемомъ «искусствѣ для искусства» возникаетъ съ новою силою, въ виду культа такихъ великихъ созданій поэзіи, какъ произведенія Шекспира, Мольера, Гёте, Шиллера съ одной стороны и крайностей современнаго натурализма съ другой (этотъ натурализмъ отожествляетъ, какъ извѣстно, дѣло поэта съ дѣломъ физіолога и требуетъ отъ поэта какъ-бы веденія точныхъ протоколовъ дѣйствительности). Въ частности много смѣшилось сужденій о поэзіи Пушкина въ нашемъ обществѣ и печати, и противорѣчіе въ отзывахъ о ней не сгладилось и до настоящаго времени. Многимъ былъ и остается непонятенъ высокій подъемъ поэзіи Пушкина, который опережалъ свое поколѣніе. Не говоря объ охлажденіи къ Пушкину, которое замѣчается въ части русской интеллигенціи съ конца 20-хъ годовъ, и о болѣе старыхъ нападкахъ, укажу только на позднѣйшіе отголоски этихъ нападковъ, на тѣ не совсѣмъ отдаленные по времени отъ настоящаго момента суровые приговоры, которымъ подвергся Пушкинъ, какъ поэтъ искусства для искусства, со стороны нашихъ молодыхъ критиковъ, писавшихъ въ пылу полнаго увлеченія движеніемъ новѣйшаго времени. Я позволю себѣ сопоставить эти пренебрежительные отзывы о Пушкинѣ со взглядами на Гёте, какіе были выдвинуты въ Германіи нѣкоторыми политиками. Они характеризовали Гёте какъ индифферентнаго олимпійца или эпикурейца - эллина. Представителями такого отрицательнаго отношенія къ Гёте въ Германіи были корифеи «молодой Германіи», отчасти Бёрне, отчасти Гейне. Такъ думала о Гёте юная Гер-

манія, пока не начался поворотъ къ прежнему почитанію поэта, признаннаго теперь величайшимъ нѣмецкимъ геніемъ. Теперь, какъ извѣстно, этотъ олимпіецъ гордо покоится на своей высотѣ, и его тѣнь нынѣ утѣшена: въ честь его основано общество, занимающееся спеціальнымъ изученіемъ его твореній (Англія также имѣетъ свое Гётевское общество), воздвигнутъ музей, хранящій, какъ драгоцѣнныя реликвіи, рукописи поэта, а также различныя изданія его произведеній, и издается ежегодникъ, посвященный исключительно самому обстоятельному изученію жизни и твореній Гёте. Подобное случилось и у насъ съ поэзіею Пушкина. Рѣзкіе и односторонніе приговоры о ней не уничтожили въ конецъ здравой и безпристрастной оцѣнки ея. Начинаютъ вновь относиться съ уваженіемъ къ безукоризненной и, можно сказать, классической отдѣлкѣ поэзіи Пушкина, вновь открываютъ достоинство въ ея содержаніи, и нѣсколько лѣтъ назадъ мы были свидѣтелями того, какъ повсюду на Руси чествовали нашего поэта, а въ особенности въ Москвѣ. Мы читали тогда рѣчи передовыхъ въ то время дѣятелей нашей литературы, произнесенныя передъ монументомъ того, кто со справедливою гордостью заявилъ о себѣ, что онъ

. . памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный;
Къ нему не заростетъ народная тропа. . . .

Въ своей рѣчи у этого памятника Тургеневъ указалъ на возвращеніе Пушкину симпатій русскаго читающаго общества; по словамъ Тургенева, «становится замѣтнымъ возвращеніе къ поэзіи Пушкина»; «молодежь возвращается къ чтенію, къ изученію Пушкина». Настоящее многочисленное собраніе служитъ самымъ очевиднымъ свидѣтельствомъ того, какъ высоко мы цѣнимъ произведенія помянаемаго поэта. Мнѣ кажется, я выражу общее мнѣніе присутствующихъ здѣсь, если скажу, что поэзія Пушкина не устарѣла для насъ, а сохраняетъ свѣжесть и красу, и мы обращаемся къ ней, чтобы

Забытымъ кладомъ вновь обогатиться,
Его красѣ нетлѣнной поклониться,
Какъ свѣту возвратившейся весны.

Мы поминаемъ Пушкина не какъ такого знаменитаго поэта, котораго много хвалятъ, но мало читаютъ; настоящее чествованіе въ особенности близко нашему сердцу.

Чѣмъ же обусловлена вѣчная юность поэзіи Пушкина, ея привлекательность *для насъ*, отдѣленныхъ отъ ея творца цѣлымъ полустолѣтіемъ? И что́, съ другой стороны, снискало этой поэзіи благосклонное отношеніе западно-европейскихъ читателей и критики? Эта благосклонность составляетъ одно изъ проявленій новаго отношенія Запада къ нашей литературѣ — отношенія, которымъ мы можемъ гордиться. Полвѣка назадъ пріятель Пушкина Чаадаевъ писалъ, что особнякомъ стоя въ мірѣ, мы ничего не дали міру... мы не бросили ни одной идеи въ массу человѣческихъ идей; мы ни въ чемъ не соотвѣтствовали успѣхамъ человѣческаго духа и обезобразили то, что дошло до насъ изъ его прогресса. Но почти въ то же самое время другой нашъ соотечественникъ, кн. Мещерскій, читавшій въ 1830 г. въ Марселѣ публичную лекцію о русской литературѣ, выразился иначе о нашей образованности, указалъ на то, что «наши поэты имѣютъ право на вниманіе цивилизованнаго міра, какъ славные граждане patrie universelle; русская литература поравнялась въ различныхъ отношеніяхъ со своими старшими сестрами и шествуетъ съ ними къ одинаковымъ цѣлямъ»; русскій языкъ способенъ къ выполненію двойного назначенія каждой литературы, къ выраженію «тенденціи національной и тенденціи космополитической, соединеніе которыхъ неизбѣжно для литературы нашего вѣка». Пушкина кн. Мещерскій поставилъ во главѣ тогдашней русской литературы и съ гордостью назвалъ его «послѣднимъ выраженіемъ реформаціонной эпохи, ультиматумомъ, посланнымъ универсальною литературною реформою роду поэзіи, приходящему въ ветхость» (De la littérature russe. Discours prononcé a l'Athenée de Marseille par le

Prince Elim-Mestchersky. Marseille. Juillet, 1830. P. 44—46). Такой взглядъ на Пушкина, котораго уже тогда читали на Западѣ въ переводахъ, можетъ считаться теперь тамъ общепринятымъ. Въ послѣднія десятилѣтія произведенія нашего поэта стали даже предметомъ университетскихъ лекцій, не говоря о журнальныхъ статьяхъ. Опуская здѣсь рядъ сужденій западныхъ критиковъ о нашемъ поэтѣ, я приведу лишь одно изъ послѣднихъ мнѣній, именно то, которое высказано графомъ de Vogüé. По его словамъ, Пушкинъ «заслуживаетъ любви». De Vogüé пріобщаетъ Пушкина къ ряду знаменитыхъ общеевропейскихъ поэтовъ. «Разсматриваемый въ общемъ, Пушкинъ не выказываетъ характера какой-либо народности. Это романтикъ, проникшійся духомъ, который вдохновлялъ въ тотъ моментъ его братьевъ въ Германіи, Англіи и Франціи; онъ выражаетъ чувства универсальныя; ихъ онъ примѣняетъ къ русскимъ темамъ». De Vogüé отнимаетъ у насъ Пушкина «pour le rendre à l'humanité»: поэзія Пушкина — «простое и вѣрное зеркало, въ которомъ отражаются всѣ человѣческія чувства подъ покровомъ, какой около 1830 г. былъ въ употребленіи у изящнаго общества Европы». Пушкинъ принадлежитъ къ людямъ, которыхъ понимаютъ не въ Москвѣ только,— къ людямъ, которые будятъ мысль, слезы, улыбку всюду, гдѣ живетъ человѣкъ (Le roman russe, 1886, p. 44, 47, 49). Мы видимъ изъ этого отзыва, какъ и изъ многихъ другихъ, что имя Пушкина присоединяютъ теперь на Западѣ къ именамъ Гёте, Шатобріана, Байрона, — что и тамъ признаютъ высокое художественное и универсальное достоинство его произведеній.— Спрашивается, въ чемъ заключается значеніе поэзіи Пушкина для насъ съ одной стороны и съ другой стороны для общеевропейской читающей публики вообще. Въ сущности эти вопросы сливаются въ одинъ, потому что національный поэтъ сохраняетъ вѣчное значеніе для потомства благодаря тому, въ силу чего становится поэтомъ общеевропейскимъ.

Мнѣ кажется, что въ настоящій моментъ этотъ вопросъ заслуживаетъ особаго вниманія и представляетъ особый интересъ,

и я позволю себѣ занять ваше просвѣщенное вниманіе опытомъ посильнаго рѣшенія его.

Я буду говорить о Пушкинѣ не какъ историкъ родной нашей литературы, а какъ созерцатель развитія поэзіи на всемъ пространствѣ Европы. Я подойду къ образу нашего поэта лишь для того, чтобы повнимательнѣе разглядѣть, какими оригинальными чертами выдѣляется его обликъ въ пантеонѣ всѣхъ великихъ дѣятелей поэзіи,—чтобы опредѣлить мѣсто, занятое нашимъ поэтомъ въ ряду этихъ дѣятелей. Я попытаюсь выяснить, какъ относился Пушкинъ къ поэзіи Запада, чѣмъ былъ ей обязанъ и что внесъ онъ въ сокровищницу міровой поэзіи. Въ особенности я желалъ бы выяснить то гуманное воздѣйствіе поэзіи Пушкина, которое испытывалъ, вѣроятно, каждый изъ насъ, отрѣшаясь отъ злобы дня и уносясь въ свѣтлый міръ поэзіи, поддаваясь тому инстинкту нашего духа, который даже въ моменты кипучаго участія въ движеніи современности невольно обращаетъ нашу мысль въ область иную.

Но натура Пушкина, вполнѣ поэтическая, полная кажущихся контрастовъ, не легко поддается пониманію, и такую же трудность представляетъ его поэзія въ силу чрезвычайнаго разнообразія ея мотивовъ. Боюсь, что окажусь не на высотѣ своей задачи, и прошу снисходительнаго отношенія, если мои сужденія окажутся неудовлетворительными. Предварю также заранѣе, что я не буду предъявлять поэзіи тѣхъ неумѣстныхъ требованій, которыя были предъявляемы ей иногда тенденціею. Во взглядѣ на природу поэта я схожусь съ Сентъ-Бёвомъ, начинателемъ тэновскаго метода критики литературныхъ произведеній. Вотъ что говоритъ Сентъ-Бёвъ по поводу высказаннаго Тэномъ взгляда на личность поэта: «Я не скажу того, что сказалъ одинъ поэтъ (на вопросъ): что такое великій поэтъ?—Это корридоръ, черезъ который дуетъ вѣтеръ (современности?). Нѣтъ, поэтъ вовсе не такая пустая вещь; онъ не простой отражающій фокусъ; онъ имѣетъ свое собственное зеркало для себя; онъ имѣетъ свою единичную, индивидуальную монаду. Все, что входитъ въ него,

преображается, и вновь, воспроизводя изъ себя, онъ слагаетъ и творитъ, разумѣется — творитъ изъ матеріаловъ, которые получаетъ» (Nouveaux lundis, Par. 1879, p. 93). Признаемъ же и за чествуемымъ нынѣ поэтомъ право на такую индивидуальность и не будемъ повторять того, что говорила нѣкогда о Пушкинѣ «чернь тупая».

Зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ?
Напрасно ухо поражая,
Къ какой онъ цѣли насъ ведетъ?
О чемъ бренчитъ? чему насъ учитъ?
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучитъ,
Какъ своенравный чародѣй?
Какъ вѣтеръ, пѣснь его свободна,
За то, какъ вѣтеръ, и безплодна;
Какая польза намъ отъ ней?

Я не буду вмѣстѣ съ людьми черствaго сердца, не вполнѣ способными къ пониманію истинной поэзіи, подымать «своенравную», «свободную музу» нашего поэта на дыбу тенденціозной критики. Нашъ поэтъ могъ бы выдержать съ честью и такую критику, если бы только она соблюла строгую справедливость. Никто не долженъ обвинять нашего поэта за недостатокъ высокаго патріотизма, между прочимъ и общеславянскаго. Теперь возстановлена первоначальная редакція одного важнаго куплета «Памятника» (см. ст. г. Семевскаго въ сентябр. кн. Русской Мысли 1884 г.), и извѣстны многія другія данныя, выказывающія въ истинномъ свѣтѣ общественные идеалы Пушкина, который называлъ себя поклонникомъ «правды и свободы». Справедливость требуетъ также сказать, что Пушкинъ обладалъ весьма чуткой и отзывчивой душой и принималъ самое горячее участіе въ интересахъ современности. Но онъ не былъ публицистъ и не превращалъ поэзіи въ памфлетъ, а съ другой стороны не былъ особенно расположенъ къ жесткой ювеналовской сатирѣ и язвительному смѣху, къ художественному вскрытію преимуще-

ственно язвъ современнаго ему общества, которое онъ оцѣнилъ въ произведеніяхъ Гоголя. Вправѣ ли мы обвинять поэта за отсутствіе того, въ чемъ отказала ему природа, или чего не развили воспитаніе и обстоятельства жизни помимо воли поэта? Вотъ почему, а не изъ желанія представить панегирикъ, я воздержусь отъ того, что Шатобріанъ назвалъ «жалкою и ничтожною критикою недостатковъ», и обращусь къ критикѣ болѣе объективной, хорошо помня, что и нашъ поэтъ не любилъ «переслащенной дичи».

Итакъ, перейду къ разсмотрѣнію поэтическаго міровоззрѣнія Пушкина, выясню возникновеніе этого міровоззрѣнія и затѣмъ опредѣлю его сущность и универсальное, общеевропейское значеніе его.

Тѣ эстетическія достоинства, которыя сообщаютъ весьма значительную привлекательность поэзіи Пушкина, были обусловлены высокимъ развитіемъ вкуса поэта. Пушкинъ воспиталъ свой литературный вкусъ въ школѣ славныхъ поэтовъ почти всѣхъ главныхъ странъ Европы.

Уже на 9-мъ году своей жизни Пушкинъ проникся страстью къ чтенію и весьма рано ознакомился съ лучшими произведеніями французской литературы XVII и XVIII вв. Поступивъ въ Царскосельскій лицей, онъ не былъ прилежнымъ ученикомъ въ рутинномъ смыслѣ этого слова: «въ садахъ лицея» онъ

Читалъ охотно Елисея,
А Цицерона проклиналъ...
Считалъ схоластику за вздоръ
И прыгалъ въ садъ черезъ заборъ.
. . . порой бывалъ прилеженъ,
Порой лѣнивъ, порой упрямъ...

Важно, что уже тогда онъ

. . . . . поэмѣ рѣдкой
Не предпочелъ бы мячика мѣткой.

«Укрывшись въ кабинетѣ», мальчикъ не скучалъ въ одиночествѣ:

. . . часто цѣлый свѣтъ
Съ восторгомъ забываю.
Друзья мнѣ — мертвецы,
Парнасскіе жрецы;
Надъ полкою простою,
Подъ тонкою тафтою
Со мной они живутъ.
Пѣвцы краснорѣчивы,
Прозаики шутливы
Въ порядкѣ стали тутъ.

Пушкинъ овладѣлъ важнѣйшими новыми западно-европейскими языками, а также латинскимъ, и прочелъ въ годы юности и впослѣдствіи въ подлинникѣ лучшихъ поэтовъ на этихъ языкахъ. Геніальность соединилась въ молодомъ поэтѣ съ удивительно усидчивыми занятіями западно-европейскою поэзіею [1]), и это-то и поставило Пушкина выше всѣхъ русскихъ поэтовъ сверстниковъ его.

Пушкину довелось выступить на литературное поприще, когда въ Германіи противъ такъ наз. чистаго классицизма Гете и Шиллера ополчились романтики, когда романтика достигла блестящаго расцвѣта въ Англіи, во Франціи лишь начиналась, а въ нашей литературѣ также пробивалось ея вѣяніе, оказывавшееся плетворнымъ для классицизма, но господствовало еще колебаніе, и не было корифея, который могучимъ вдохновеніемъ увлекалъ бы за собою другихъ поэтовъ и массу.

Въ 1824 г. Пушкинъ такъ охарактеризовалъ литературные вкусы на Руси въ его время и въ прежнее:

Свой слогъ на важный ладъ настроя,
Бывало, пламенный творецъ

1) См. о нихъ, между прочимъ, въ книгѣ *Алексѣя Веселовскаго*: «Западное вліяніе въ новой русской литературѣ», М. 1883.

Являлъ вамъ своего героя,
Какъ совершенства образецъ.
Онъ одарялъ предметъ любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умомъ
И привлекательнымъ лицомъ.
Питая жаръ чистѣйшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готовъ былъ жертвовать собой,
И при концѣ послѣдней части
Всегда наказанъ былъ порокъ,
Добру достойный былъ вѣнокъ.
А нынче всѣ умы въ туманѣ,
Мораль на насъ наводитъ сонъ,
Порокъ любезенъ и въ романѣ,
И тамъ ужъ торжествуетъ онъ.
Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы,
И сталъ теперь ея кумиръ
Или задумчивый Вампиръ,
Или Мельмотъ, бродяга мрачный,
Иль Вѣчный жидъ, или Корсаръ,
Или таинственный Сбогаръ.
Лордъ Байронъ, прихотью удачной,
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ.
Друзья мои, что жъ толку въ этомъ?

спрашиваетъ нашъ поэтъ. — Итакъ, въ разсматриваемые годы въ нашей литературѣ классицизмъ былъ побораемъ сентиментализмомъ и романтикою. И въ нашей жизни нашлись условія, которыя были общи намъ съ Западомъ и содѣйствовали быстрому распространенію романтики: и у насъ укорененіе ея было подготовлено характеромъ образованности и литературы XVIII в. и

политическими событіями XIX в.; но все-таки во многомъ романтика у насъ не была столь самороднымъ явленіемъ, какимъ была въ Англіи и Германіи. То же можно сказать и о сентиментализмѣ. А между тѣмъ «чувствительныя дамы» читали сентиментальные романы или

Романъ классическій, старинной,
Отмѣнно длинной, длинной, длинной,
Нравоучительный и чинной,
Безъ романтическихъ затѣй.

Татьянѣ

... рано нравились романы;
Они ей замѣняли все;
Она влюблялася въ обманы
И Ричардсона, и Руссо.

Въ лицѣ Онѣгина, какъ только Татьяна полюбила его, ей представились

Счастливой силою мечтанья
Одушевленныя созданья,
Любовникъ Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежной,
И безподобный Грандисонъ,
Который намъ наводитъ сонъ.

Увлеченіе Грандисономъ Татьяна раздѣляла со своею матерью, которая была

Отъ Ричардсона безъ ума.

Пушкинъ сумѣлъ съ удивительною проницательностью скоро замѣтить недостатки тѣхъ направленій, которыя открывались предъ нимъ въ различныхъ литературахъ.

Къ французской литературѣ, которая была первой школой Пушкина въ области поэтическаго творчества (Пушкинъ началъ свои литературные опыты французскими стихами), онъ вначалѣ

питалъ особое уваженіе. Въ лицеѣ Пушкину нравился въ особенности

Сынъ Мома и Минервы,
Фернейскій злой крикунъ,
Поэтъ въ поэтахъ первый,
. . . . . сѣдой шалунъ.
Соперникъ Эврипида,
Эраты нѣжный другъ,
Арьоста, Тасса внукъ —
Скажу ль? Отецъ Кандида!
Онъ все: вездѣ великъ
Единственный старикъ.

Мольеръ также казался «исполиномъ».

И ты, пѣвецъ любезной,
Поэзіей прелестной
Сердца привлекшій въ плѣнъ,
Ты здѣсь, лѣнтяй безпечный,
Мудрецъ простосердечный,
Ванюша Лафонтенъ!...
Воспитанны Амуромъ
Вержье, Парни съ Грекуромъ
Укрылись въ уголокъ
(Не разъ они выходятъ
И сонъ отъ глазъ отводятъ
Подъ зимній вечерокъ).

Прочитывалъ также юный поэтъ Расина, Руссо и теоретика Лагарпа, грознаго Аристарха, который

. . . . хмурясь важно,
Является отважно
Въ шестнадцати томахъ.
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видѣть вкусъ,

Но часто, признаюсь,
Надъ нимъ я время трачу.

Потомъ Пушкинъ обратилъ вниманіе еще на Андре Шенье, памяти котораго посвятилъ особое стихотвореніе въ 1825 г.: его звала

. . . . . тѣнь,
Давно безъ пѣсенъ, безъ рыданій,
Съ кровавой плахи въ дни страданій
Сошедшая въ могильну сѣнь.

Пушкину показался весьма симпатичнымъ «восторженный» юный пѣвецъ любви, дубравъ и мира, пѣвецъ «возвышенной мечты», «великій гражданинъ».

Заутра казнь — привычный пиръ народу,
Но лира юнаго пѣвца
О чемъ поетъ? Поетъ она свободу —
Не измѣнилась до конца.

Вотъ какіе мотивы начали привлекать Пушкина во французской поэзіи. Но вліяніе Шенье было незначительно [1]), а другіе, болѣе старые, французскіе поэты мало по малу утратили привлекательность для Пушкина. Ему перестали нравиться французскіе классики, «Корнеля геній величавый»,

.... Расинъ, безсмертный подражатель,
Пѣвецъ влюбленныхъ женщинъ и царей,
.... Вольтеръ, философъ и ругатель,
Делиль — Парнасскій муравей,
. . . . . поэтъ законодатель,
Гроза несчастныхъ, мелкихъ ритомачей,

1) *Г. Незеленовъ* въ своей книгѣ: «Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ его поэзіи», Спб. 1882, стр. 242, признаетъ даже вліяніе Шенье на Пушкина предразсудкомъ.

«степенный Буало». Пушкинъ не одобрялъ впослѣдствіи «enflure французской трагедіи». Тѣмъ не менѣе, французская классическая школа оказала благотворное вліяніе на формальную сторону поэзіи и прозы Пушкина и содѣйствовала, по мнѣнію де Вогюе (p. 42), равновѣсію его способностей. «Чопорности чувствительныхъ романовъ» Пушкинъ совсѣмъ не любилъ и писалъ о французскомъ вліяніи на русскую литературу: «Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словесность envahit tout; знаменитые писатели не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи: но бездарные писаки, грибы, выросшіе у корней дубовъ: Дора̀тъ, Флоріанъ, Мармонтель, Гимаръ, M-me Жанлисъ, овладѣваютъ русскою словесностью». Изъ французскихъ романтиковъ Пушкинъ относился съ уваженіемъ къ Шатобріану и воспѣлъ руины Бахчисарая, какъ Шатобріанъ воспѣлъ развалины Гренадскаго дворца. «Hugo съ товарищи, друзья натуры», стоявшіе во Франціи во главѣ той реформы, какую Пушкинъ совершилъ въ русской литературѣ, къ удивленію, не встрѣтили особенной симпатіи со стороны Пушкина, за исключеніемъ Альфреда де-Мюссе.

Изъ романтическихъ произведеній ему нравились въ особенности старыя итальянскія, изящныя и столь сродныя ему по стилю поэмы Аріосто и Тассо, на которыя, быть можетъ, обратилъ вниманіе Пушкина Батюшковъ, почитатель ихъ. Пушкинъ перевелъ даже отрывокъ изъ «Orlando furioso» Аріосто. Поражалъ его также своимъ величіемъ «ветхій Данте», котораго онъ читалъ на бивуакѣ на Кавказѣ. Изъ итальянскихъ поэтовъ Пушкинъ читалъ еще Петрарку и Альфьери.

Послѣ французскаго вліянія наиболѣе силы возымѣло надъ Пушкинымъ англійское вліяніе. Г. Стороженко въ рѣчи своей: «Отношеніе Пушкина къ иностранной словесности», помѣщенной въ «Рѣчахъ и чтеніяхъ по поводу открытія памятника Пушкину», Спб. 1880 (мы воспользовались ею), относитъ начало значительнаго вліянія англійской поэзіи на творчество Пушкина ко времени ссылки поэта на югъ; до того, во время пребыванія въ лицеѣ, Пушкинъ увлекался нѣкоторое время Макферсоновымъ Оссіаномъ.

У Пушкина находимъ переводъ изъ Ушльсона, нынѣ не пользующагося уже извѣстностью; нравился также нашему поэту Барри Корнуэлль, на котораго Пушкинъ указалъ Ишимовой въ послѣднемъ письмѣ, какое вышло изъ подъ его пера (въ день дуэли). Но въ особенности оказалось могучимъ и плодотворнымъ въ дѣятельности нашего поэта воздѣйствіе двухъ величайшихъ британскихъ поэтовъ — Шекспира и Байрона. Шекспира Пушкинъ читалъ въ началѣ 1824 г., когда писалъ: «Читаю библію,— Св. Духъ иногда мнѣ по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира». Затѣмъ онъ углубился въ Шекспира въ Михайловскомъ. Предъ Пушкинымъ открылся въ произведеніяхъ Шекспира совершенно новый для него восхитительный міръ творчества. При сопоставленіи съ Шекспиромъ Мольеръ пересталъ казаться Пушкину «исполиномъ», хотя нашъ поэтъ высоко ставилъ его и потомъ и указалъ на него Гоголю. Какъ всѣмъ извѣстно, послѣдствіемъ увлеченія Шекспиромъ явилась наша первая историческая хроника въ шекспировскомъ родѣ творчества. Еще въ «Анджело» (1833) отзывается вліяніе Шекспира. (Подробности объ этомъ вліяніи на поэзію Пушкина см. въ рѣчи г. Стороженка). Подражая ему, Пушкинъ не прочь былъ и «пародировать исторію и Шекспира»: ни въ чемъ онъ не былъ рабскимъ послѣдователемъ. Въ особенности повліяла на нашего поэта англійская поэзія отрицанія. «Глухой англійскій атеистъ» познакомилъ его съ Шелли, но пѣсни послѣдняго были заглушены «новой чудной лирой» Байрона, которымъ Пушкинъ увлекался чуть ли не до конца своей жизни. Нашъ поэтъ уподобился въ этомъ случаѣ замѣчательнымъ поэтамъ другихъ странъ: какъ извѣстно, Байрономъ вдохновлялись de-Musset и В. Гюго во Франціи, Леопарди въ Италіи, Мальчевскій и Мицкевичъ въ Польшѣ. Поэзія Байрона распространяла повсюду въ Европѣ міровую скорбь (Weltschmerz), разсѣвала сѣмена недовольства, возбуждала энтузіазмъ отрицанія, являлась провозвѣстницей соціальныхъ бурь. Многое сближало Пушкина съ Байрономъ, начиная съ аристократическаго происхожденія и принадлежности къ фешенебельному свѣту,

«въ омутѣ» котораго «купался» нашъ поэтъ, хотя и признавалъ «мертвящимъ упоенье свѣта». Въ Пушкинѣ, какъ и въ Байронѣ, находимъ негодованіе противъ общества, одушевленіе къ свободѣ, безпокойство мысли, скептицизмъ, томленіе по идеалу, который уходилъ все далѣе и далѣе, по мѣрѣ того, какъ поэтъ старался приблизиться къ нему; наконецъ, на челѣ и у того, и у другого была каиновская печать грѣховности. Существенное отличіе нашего поэта заключалось въ томъ, что онъ былъ мало способенъ къ байроновскому демонизму. По мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ, увлекаясь Байрономъ, нашъ поэтъ все-таки не совсѣмъ понималъ его; но не справедливѣе ли будетъ сказать, что нашъ поэтъ сознательно не превратился въ односторонняго почитателя байроновскаго титанизма? Послѣ бурь жизни онъ старался *«съ ясною душою»* «пуститься въ новый путь» и не поддавался до конца байроновской скорби.

Въ перечнѣ поэтовъ, которые окрыляли новыми мечтами Пушкина и будили въ немъ самодѣятельность, не долженъ быть забытъ и Мицкевичъ. Пушкинъ такъ вспоминаетъ о знакомствѣ съ нимъ:

. . . . . Съ нимъ
Дѣлились мы и чистыми мечтами,
И пѣснями (онъ вдохновенъ былъ свыше
И съ высоты взиралъ на жизнь). Нерѣдко
Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ,
Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта....

Изъ великихъ литературъ Пушкинъ не былъ знакомъ въ оригиналѣ только съ испанской. Онъ самъ сказалъ, что «не читалъ ни Кальдерона, ни Вега», но, конечно, онъ хорошо зналъ Сервантеса.

Изъ этого перечня мы видимъ, что великіе поэты почти всѣхъ значительныхъ народовъ Европы были той школой, въ которой

укрѣплялся и зрѣлъ геній Пушкина. Были въ этой школѣ также и русскіе поэты, но они давали ему не особенно много послѣ чтенія иностранныхъ; родныхъ поэтовъ Пушкинъ рано началъ сопоставлять съ соотвѣтственными на Западѣ, какъ видно изъ «Городка». Болѣе всего повліяли на Пушкина Батюшковъ и Жуковскій. Всѣ эти поэты будили вдохновенье, но не были единственнымъ и главнымъ источникомъ его. Нашъ поэтъ страстно увлекался также и жизнью, отличаясь кипучимъ темпераментомъ, въ которомъ, быть можетъ, отзывалась африканская кровь одного изъ предковъ Пушкина. «Легкая юность» поэта знала «наслажденья, грусть, милыя мученья, шумъ, бури и пиры, всѣ, всѣ дары» молодости; ею онъ «насладился... и вполнѣ» «среди тревогъ и въ тишинѣ», и къ Пушкину, какъ нельзя лучше, можетъ быть примѣненъ его стихъ:

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ!

Прибавьте къ этому живую воспріимчивость къ впечатлѣніямъ, выносимымъ изъ наблюденья русской общественной и политической жизни.

Словомъ, Пушкинъ наслаждался съ избыткомъ радостями жизни, но забавы чередовались у него съ весьма серьезными занятіями поэзіею и не отвлекали отъ живого вниманія къ высшимъ интересамъ русской общественной жизни. Взаимодѣйствіе этихъ вліяній сообщило вполнѣ оригинальность и разносторонность музѣ Пушкина, какихъ не было ни у одной изъ музъ предшествовавшихъ русскихъ поэтовъ.

У поэтовъ, которыхъ изучалъ, Пушкинъ заимствовалъ нѣкоторыя особенности стиля и нѣкоторыя общія темы; основное же міросозерцаніе, которымъ проникнута его поэзія, является оригинальнымъ порожденіемъ личной жизни поэта.

Попытаюсь охарактеризовать это міросозерцаніе.

Врядъ ли я ошибусь, если скажу, что жизненный нервъ всей поэзіи Пушкина заключался въ романтикѣ; ею же было обусловлено многое и въ личной жизни поэта. Пушкинъ былъ роман-

тикъ, но романтикъ самобытный. Потому, употребляя это обозначеніе, необходимо представить разъясненіе его.

Пушкинъ не былъ романтикомъ нѣмецкаго покроя. Образъ этого послѣдняго романтика на Руси онъ увѣковѣчилъ въ Ленскомъ. Ленскій былъ воодушевленъ неопредѣленными идеалистическими порывами и мечтами. Онъ воспринялъ ихъ изъ первоисточника ихъ, въ странѣ идеализма Шиллера и Фихте, въ аудиторіяхъ того нѣмецкаго университета, въ которомъ получили высшее образованіе Николай Тургеневъ и другіе замѣчательные русскіе дѣятели.

Въ сердце Ленскаго закрадывались сомнѣнья, но онъ ихъ «забавляетъ мечтою сладкой». «Вольнолюбивыя мечты» повергли его въ «негодованье, сожалѣнье»;

Онъ пѣлъ поблеклый жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ;

но въ то же время

Отъ хладнаго разврата свѣта
Еще увянуть не успѣвъ...
Онъ сердцемъ милый былъ невѣжда;
Его лелѣяла надежда.

Онъ вѣрилъ въ «блескъ міра», въ «избранниковъ судьбы», въ дружбу и любовь. Онъ былъ поэтъ «возвышенныхъ чувствъ, порывовъ дѣвственной мечты».

Онъ пѣлъ любовь, любви послушный...
Онъ пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто, и туманну даль,
И романтическія розы...

Ленскій, такимъ образомъ, былъ полонъ вѣры въ себя и людей и не утратилъ надежды на счастье. Въ своей недальновидности онъ идеализовалъ милую, но самую обыкновенную, мало интересную Ольгу, вмѣсто того, чтобы остановить вниманіе на «дикой, пе-

чальной, молчаливой, какъ лань лѣсная, боязливой» сестрѣ Ольги, сосредоточенной и мечтательной Татьянѣ. А между тѣмъ въ натурѣ Татьяны заключалась та же способность, какая отличала Ленскаго: способность къ идеализаціи любимой личности. Руководясь своимъ здравымъ умомъ, Пушкинъ понялъ недостатки такой романтики; это видно въ особенности изъ тѣхъ сочувственныхъ, но не лишенныхъ легкой ироніи размышленій, которыми онъ проводилъ въ могилу рано сраженнаго судьбой поэта-мечтателя. Пушкинъ зналъ, чѣмъ могла окончиться романтика молодыхъ идеалистическихъ порывовъ, романтика «задумчиваго мечтателя», когда

Прошли бы юношества лѣта,
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ.

Сердце Пушкина билось не менѣе сердца Ленскаго «ко благу чистою любовью», и Пушкина охватывало

. . . . . .жаркое волненье,
. . .благородное стремленье
И чувствъ, и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ...

Но онъ пришелъ къ мысли, что чрезмѣрное увлеченіе «прелестнымъ, хитрымъ, слабымъ поломъ» дѣлаетъ насъ «непростительно смѣшными»:

Закабалясь неосторожно,
Мы ихъ любви въ награду ждемъ,
Любовь въ безуміи зовемъ,
Какъ будто требовать возможно
Отъ мотыльковъ иль отъ лилей
И чувствъ глубокихъ, и страстей!
. . . полно прославлять надменныхъ
Болтливой лирою своей:
Онѣ не стоятъ ни страстей,
Ни пѣсенъ, ими вдохновенныхъ;

Слова и взоръ волшебницъ сихъ
Обманчивы, какъ ножки ихъ.

Поэтъ извѣрился и въ дружбѣ; въ его сердцѣ «кипѣли горькія чувства»; онъ

Былъ молодъ, но уже судьба
Его борьбой неровной истомила;
Онъ былъ ожесточенъ...

Пушкинъ не могъ быть фантазеромъ: онъ «рано скорбь узналъ, узналъ людей и свѣтъ» и рано могъ воскликнуть:

Мечты, мечты! гдѣ ваша сладость?

Потому-то онъ не могъ быть почитателемъ романтики «Германіи туманной» и ея философіи. Потому-то онъ не пошелъ по слѣдамъ Жуковскаго, передававшаго въ прелестныхъ стихахъ произведенія Шиллера, Уланда, Бюргера и др. нѣмецкихъ поэтовъ. Пушкинъ не могъ ограничиться балладами о далекой старинѣ и поэзіей меланхолической и томной; не лунная романтическая ночь привлекала его, а дневное свѣтило Разума. Весьма характерно, что Пушкинъ ничего почти не заимствовалъ изъ Шиллера, и очень жаль, что Гете онъ началъ изучать лишь въ позднѣйшій періодъ своего творчества (съ 1824 г.?), въ особенности — подъ вліяніемъ Веневитинова (см. стихотвореніе послѣдняго «Къ Пушкину»), «Московскаго Вѣстника» и, можетъ быть, также вниманія, проявленнаго со стороны Гете къ нашему поэту (см. «Матеріалы» *Анненкова*, стр. 177).

Изложенные нами факты, характеризующіе литературные вкусы и симпатіи Пушкина, объясняютъ направленіе романтики его: нашъ поэтъ примкнулъ къ романтикѣ разочарованія и скорби. Но, раздѣляя во многомъ настроеніе одной изъ двухъ главныхъ фракцій, на которыя распалась западно-европейская романтика, Пушкинъ остался въ то же время національнымъ поэтомъ, и наиболѣе справедливо будетъ назвать его чисто-русскимъ романтикомъ, романтикомъ русской дѣйствительности. Да не покажется

страннымъ такое опредѣленіе: романтика и народность не исключали другъ друга, а часто взаимно обусловливали.

Съ западною романтикою Пушкина сближало прежде всего небреженіе о соблюденіи правилъ классической поэтики, широта и свобода творчества, стремленіе къ опоэтизированію жизни, юмористическое и ироническое созерцаніе ея и общее настроеніе, томительное исканіе идеала и наклонность къ элегическому созерцанію. Напоминаетъ Пушкинъ западныхъ романтиковъ и универсализмомъ своихъ литературныхъ занятій, и восточными сюжетами нѣкоторыхъ произведеній (англійскій критикъ Morfill находитъ особую прелесть въ обработкѣ этихъ сюжетовъ у Пушкина: The Westminster Review, April 1883, p. 436), и глубочайшимъ уваженіемъ къ Шекспиру. Онъ обработалъ также нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ романтическихъ темъ.

Вслѣдъ за романтическимъ вѣяніемъ у насъ началъ возникать культъ народности; появились пѣсни, собранныя Киршею Даниловымъ, Цертелевымъ, Максимовичемъ. Пушкинъ заинтересовался родною исторіей, былинами и сказками народа, суевѣрія котораго также раздѣлялъ до извѣстной степени. Онъ сталъ изучать непосредственно живую народную рѣчь: во Псковѣ ходилъ по базарамъ и одѣвалъ даже народный костюмъ. По словамъ П. В. Кирѣевскаго, Пушкинъ доставилъ ему «значительную тетрадь пѣсенъ, собранныхъ имъ въ Псковской губерніи». Уже въ «Русланѣ и Людмилѣ» Пушкинъ воспроизвелъ «преданья старины глубокой». Здѣсь онъ наиболѣе поддался романтической фантастикѣ. Эта попытка слить романтику съ народностью весьма интересна потому, что Пушкинъ подошелъ въ ней къ изяществу своихъ италіанскихъ первообразовъ, въ особенности Аріосто. И позже онъ вспоминалъ ихъ Ottava Rima:

Поэты Юга, вымысловъ отцы,
Какихъ чудесъ съ октавой не творили?
Но мы лѣнивцы, робкіе пѣвцы,
На мелочахъ мы рифму заморили.

Изъ-за поэмы о Русланѣ поднялась буря, и разгорѣлась борьба классиковъ съ романтиками. Романтическому увлеченію народностью слѣдуетъ приписать также «Пѣсни западныхъ славянъ», передѣланныя Пушкинымъ изъ поддѣльныхъ пѣсенъ, написанныхъ Мериме.

Самымъ характернымъ образцомъ сліянія романтики съ народностью въ поэзіи Пушкина можетъ служить романъ «Евгеній Онѣгинъ». Романъ этотъ заслуживаетъ потому особаго вниманія при выясненіи отношеній къ западно-европейской романтикѣ, съ которою состоятъ въ связи и другія произведенія нашего поэта.

Самъ Пушкинъ назвалъ исходнымъ пунктомъ замысла своего романа—*Беппо*. Западные критики приводятъ въ связь Онѣгина съ родственнымъ ему типомъ западныхъ героевъ, говорятъ, что онъ напоминаетъ Вертера и Рене и занимаетъ средину между Чайльдъ-Гарольдомъ, Донъ-Жуаномъ и Pelham'омъ, но, тѣмъ не менѣе, признаютъ оригинальность русскаго романа (см., напр., *Weddigen*, Lord Byron's Einfluss, Hannov. 1884).

Я позволю себѣ отвести западно-европейскому вліянію въ этомъ романѣ лишь самое незначительное мѣсто.

Когда Пушкинъ писалъ «Онѣгина», не только на Западѣ, но и у насъ типъ, ставшій героемъ его романа, уже утратилъ привлекательность новизны: у насъ было довольно Вертеровъ и Чайльдъ-Гарольдовъ. Слѣдовательно, основная тема романа Пушкина, казалось, была лишена свѣжести. Посмотрите однако, сколько оригинальности и глубины успѣлъ придать ей нашъ поэтъ. Вы сразу замѣчаете, что вы перенесены въ глубь русской жизни и введены въ кругъ всѣхъ интересовъ русскаго интеллигентнаго общества. Въ «Онѣгинѣ» находимъ черты, какихъ нѣтъ въ родственныхъ ему западныхъ типахъ. Прежде всего, на немъ не видимъ лака той идеализаціи, которая была въ модѣ въ тогдашней поэзіи; не замѣчаемъ въ «Онѣгинѣ» преувеличенія и неестественности. Далѣе: «отшельникъ праздный и унылый», «бѣглецъ людей и свѣта», «пасмурный чудакъ» не доходитъ до полнаго озло-

бленія противъ людей и не впадаетъ въ полное отчаяніе. Въ концѣ романа онъ возвращается въ покинутое имъ общество:

. . . . . и попалъ,
Какъ Чацкій, съ корабля на балъ.

Онѣгинъ не проникся эгоизмомъ до мозга костей: порядочность свою онъ выказалъ хотя бы своимъ отношеніемъ къ любви «бѣдной Тани». Не угасла въ немъ и способность любить. Предвѣстіемъ того чувства, которое разгорѣлось въ немъ по возвращеніи въ шумный свѣтъ, было особое отношеніе къ письму Татьяны:

. . . . . онъ хранитъ
Письмо, гдѣ сердце говоритъ,
Гдѣ все наружу, все на волѣ.

Страстно полюбивъ Татьяну «въ возрастъ поздній и безплодный», Онѣгинъ терпитъ крушеніе въ своемъ чувствѣ. Сцена въ будуарѣ Татьяны напоминаетъ предпослѣднюю сцену въ «Страданіяхъ молодого Вертера». Хотя Пушкинъ оставилъ романъ какъ бы неоконченнымъ, мы можемъ предугадывать, что послѣдующая жизнь Онѣгина не будетъ прервана печальной катастрофой. Онѣгинъ, если прослѣдить исторію его жизни, постепенно отрѣшался отъ суетности и вмѣстѣ съ тѣмъ, подобно своему автору, не доходилъ до болѣзненности и до полной разбитости:

Онъ застрѣлиться, слава Богу,
Попробовать не захотѣлъ.

А между тѣмъ у насъ, по словамъ эпиграфа, выбраннаго Пушкинымъ къ VI главѣ романа:

. . sotto giorni nubilosi e brevi
Nasce una gente a cui l'morir non dole.

Такъ и послѣ заключительнаго объясненія съ Татьяной, Онѣгинъ, можно думать, не уподобится западнымъ своимъ родичамъ.

René и Вертеръ погибли насильственною смертью, Чайльдъ-Гарольдъ испаряется по выраженію самого Байрона; Онѣгинъ не убьетъ себя, подобно Вертеру, станетъ лучше послѣ жизненнаго опыта, начнетъ новую жизнь (Ср. лекцію *Buchner*'а: «Pouschkine. Son poème d'Eugène Onéguine» въ La Rev. polit. et littér. 5 Juillet 1873). Но Пушкинъ, повидимому, затруднялся подробно изобразить своего героя въ будущемъ. Весьма знаменательно, что романъ оканчивается ничѣмъ. Мнѣ кажется, что какъ въ этомъ, такъ и во всей исторіи Онѣгина надо видѣть глубокій смыслъ.

Утверждая это, я сталкиваюсь, кажется, съ мнѣніемъ, которое ведетъ свое начало отъ времени Пушкина и которое, къ сожалѣнію, доселѣ не потеряло приверженцевъ въ нашемъ обществѣ. Вотъ какъ оно было выражено критикомъ Современника въ 1855 г.: «Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ формы... существеннѣйшее значеніе произведеній Пушкина — то, что они прекрасны или, какъ любятъ нынѣ выражаться, художественны. Пушкинъ не былъ даже поэтомъ мысли вообще, какъ, напримѣръ, Гёте и Шиллеръ. Художественная форма *Фауста*, *Валленштейна*, *Чайльдъ-Гарольда* возникла для того, чтобы въ ней выразилось глубокое воззрѣніе на жизнь; въ произведеніяхъ Пушкина мы не найдемъ этого. У него художественность составляетъ не одну оболочку, а зерно и оболочку вмѣстѣ» (Соч. *Н. Чернышевскаго*, т. II, Genève et Bale, 1870, стр. 67—68). Извѣстно, какъ затѣмъ критикъ Русскаго Слова развилъ далѣе этотъ тезисъ.

Въ мнѣніяхъ объ отсутствіи «глубокаго содержанія», ясно сознаннаго и послѣдовательнаго, въ поэзіи Пушкина мы встрѣчаемся съ преувеличеніемъ и съ крупнымъ теоретическимъ недоразумѣніемъ. Но здѣсь не мѣсто входить въ разсмотрѣніе общаго вопроса объ отношеніи искусства къ дѣйствительности, и я ограничусь немногими замѣчаніями. Мнѣ не совсѣмъ понятно въ настоящемъ случаѣ отдѣленіе художественной «оболочки» отъ «зерна». Въ цѣнныхъ *истинно*-художественныхъ созданіяхъ — а

такими можно признать лучшія произведенія Пушкина — мысль связана неразрывно съ формою, красота формы есть вмѣстѣ и красота художественной идеи, внѣшность находится въ полной гармоніи съ идеею, а не подавляетъ ея; мишуры не должно быть въ истинно-прекрасномъ созданіи; а чѣмъ же какъ не мишурою окажется блестящая внѣшность безъ соотвѣтственнаго содержанія? Пушкинъ очень хорошо зналъ это и сказалъ:

. . . . . дорожитъ
Одними ль звуками піитъ?

Указаніе на Гёте и Шиллера также, кажется мнѣ, говоритъ болѣе въ пользу Пушкина, чѣмъ противъ него. Наконецъ, заслуживаетъ вниманія признаніе со стороны самого критика, сужденіе котораго было только что приведено, признаніе того, что «Пушкинъ былъ человѣкъ необыкновеннаго ума и человѣкъ чрезвычайно образованный», «каждая страница его кипитъ умомъ и жизнью образованной мысли»; для читателей произведеній Пушкина «содержаніе было такъ обильно и *глубоко*, что они едва могли выносить это тяжелое для непривычнаго человѣка богатство. Каждый стихъ, каждая строка бѣглыхъ замѣтокъ Пушкина затрогивали, *возбуждали мысль*, если читатель могъ пробудиться къ мысли. Это значеніе Пушкинъ продолжаетъ еще сохранять до нашего времени» (стр. 71). Мнѣ остается только согласиться съ этимъ послѣднимъ сужденіемъ даровитаго критика: Пушкинъ не только «заглядывалъ глубоко въ сердце», что̀ признаютъ почти всѣ, не только обладалъ дивнымъ даромъ художественнаго изображенія, чуднымъ вкусомъ и удивительно мѣткой, острой и въ то же время чарующей рѣчью, онъ былъ вмѣстѣ и поэтъ оригинальной и сильной, можно сказать, геніальной мысли: недаромъ Мицкевичъ назвалъ его самымъ умнымъ русскимъ человѣкомъ, какого зналъ, и заявлялъ, что послѣ смерти Пушкина не было достойнаго преемника ему въ русской литературѣ; недаромъ и Герценъ сказалъ, что Пушкинъ является въ высочайшей степени представителемъ богатства и глубины русской натуры.

«Евгеній Онѣгинъ», который привелъ насъ къ общему вопросу объ идейномъ содержаніи поэзіи Пушкина на ряду съ увлекательнѣйшей формой ея, подтверждаетъ, на мой взглядъ, какъ нельзя лучше сказанное сейчасъ о поэзіи Пушкина вообще. Содержаніе романа объ Онѣгинѣ, повидимому, весьма просто, а между тѣмъ въ немъ скрывается грандіозная мысль. Онѣгинъ, съ одной стороны, — образованный, мыслящій человѣкъ новаго времени вообще. Прототипомъ такой личности явился уже Петрарка, на что указалъ Кардуччи. По мнѣнію Кардуччи, уже въ этомъ юношѣ, одиноко и задумчиво бродившемъ по полямъ, избѣгавшемъ слѣдовъ людей, хотя встрѣчавшемъ повсюду почетъ, радушный пріемъ и расположеніе дамъ, видны начатки безпокойнаго настроенія Чайльдъ-Гарольда. Онъ странствовалъ по Франціи, по Бельгіи, по Германіи, вдоль береговъ Испаніи, по Британскому морю, исколесилъ всю Италію... и не находилъ успокоенія. Геттнеръ также считаетъ Петрарку родоначальникомъ новѣйшей міровой скорби (Weltschmerzes), новѣйшей разорванности. Не ту же ли разорванность и безпокойство находимъ и въ Онѣгинѣ, а еще болѣе въ творцѣ его, Пушкинѣ, котораго «спутникомъ страннымъ» былъ Онѣгинъ? Пушкинъ напоминаетъ намъ тѣхъ западно-европейскихъ поэтовъ, которые, испытывая глубокое томленіе духа, также искали успокоенія въ безконечно разнообразящемся зрѣлищѣ природы. Но и при такомъ уподобленіи, Пушкинъ и герой его остаются чисто-русскими людьми, и «Евгеній Онѣгинъ» оказывается въ высшей степени талантливой картиной русской жизни. Вспомнимъ, что нашъ поэтъ, какъ и Онѣгинъ, не любилъ тѣхъ сочиненій

. . . . . запоздалыхъ,
Гдѣ русскій умъ и русскій духъ
Зады твердитъ и лжетъ за двухъ.

То настроеніе, которымъ былъ проникнутъ герой романа и отчасти его авторъ, не было навѣяно извнѣ: оно было обусловлено и общимъ характеромъ новѣйшей европейской культуры,

и обстоятельствами общественной и личной жизни. Самъ Пушкинъ намъ сказалъ, что въ Онѣгинѣ была «*неподражательная* странность», и мы вѣримъ тому: та тоска, которая повсюду сопровождаетъ Онѣгина, неподдѣльна, какъ равно изъ глубины сердца поэта вырвались тѣ элегическія отступленія, которыми онъ сопровождаетъ свое повѣствованіе. Въ своемъ романѣ Пушкинъ, очевидно, пытался дать отвѣтъ на одинъ изъ основныхъ вопросовъ русской жизни. Замыселъ поэта былъ широкъ, какъ широко пространство, которое исколесилъ Онѣгинъ, но, чтобы постигнуть глубокій смыслъ всей исторіи Онѣгина, надобно вчитаться въ нее съ особымъ вниманіемъ, надобно вникнуть, откуда взялся въ Онѣгинѣ

Недугъ, котораго причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный англійскому *сплину*,
Короче — русская *хандра*;

надобно вдуматься въ причину неспособности Онѣгина къ серьезной дѣятельности. Развязка романа не приноситъ читателю полнаго успокоенія, и какъ-то невольно начинаешь сравнивать внезапный перерывъ «Онѣгина» съ неоконченностью поэмы Гоголя; начинаешь сопоставлять съ одной стороны неясность, къ какою Пушкинъ различалъ даль свободнаго романа «сквозь магическій кристаллъ», а съ другой — ту безотвѣтность, въ какой очутился Гоголь, когда попытался въ своей поэмѣ найти положительный отвѣтъ на томившій его вопросъ; начинаешь задавать себѣ вопросъ, не было ли путешествіе Онѣгина предвѣстіемъ разъѣздовъ по русской землѣ Чичикова, всюду покупавшаго мертвыя души у людей, живыхъ съ виду, но также мертвыхъ душой... Вникая въ романъ Пушкина и разставаясь съ нимъ, исполняешься грустью поэта и соглашаешься съ польскимъ критикомъ Грабовскимъ, по словамъ котораго «частности поэмы оживлены кое-гдѣ веселостью и въ цѣломъ составляютъ самую грустную повѣсть» (Literatura i krytyka, Wilno 1839, str. 114). Должно замѣтить однако, что

какъ вообще поэзія Пушкина не оставляетъ подъ преобладающимъ вліяніемъ односторонняго впечатлѣнія, такъ и въ данномъ случаѣ поэтъ не оставляетъ читателя въ полной безотрадности, не повергаетъ въ полную скорбь, не внушаетъ ожесточенія. Тонъ повѣствованія затрогиваетъ всѣ струны въ душѣ чуткаго читателя и сообщаетъ высокій подъемъ его духу. Удивительно дѣйствуетъ на насъ этотъ блестящій стиль, въ которомъ чередуются легкая свѣтская небрежность, и протестъ и обличеніе въ духѣ Чацкаго, пафосъ и юморъ, серьезность и ироніа; удивительно-успокоительно отзываются въ нашей душѣ собственныя размышленія поэта, которыми перемежается повѣствованіе, неожиданные переходы къ собственнымъ мечтамъ, думы вслухъ, глубокая меланхолія и теплота чувства, прорывающагося безъ всякой сентиментальной декламаціи. Мнѣ кажется, Пушкинъ не уступаетъ въ данномъ случаѣ своимъ образцамъ, итальянскимъ поэтамъ и Байрону, усвоившему манеру послѣднихъ, и въ то же время достигаетъ своеобразной прелести и оригинальности. Поэтъ очаровываетъ насъ искренностью и прочувствованностью своихъ рѣчей, успѣваетъ всецѣло овладѣть нашимъ чувствомъ, и его желаніе исполняется: мы разстаемся съ нимъ какъ пріятели, постоянно возвращаемся къ оставленной имъ на память книжкѣ и, по его слову, находимъ въ ней много «для мечты, для сердца» и — нельзя не прибавить — для ума; словомъ, находимъ все, что доставляетъ намъ истинная поэзія, изображающая жизнь безъ прикрасъ, но и не лишающая ея всего того, что есть въ этой жизни поэтическаго.

Такая поэзія охватываетъ въ своемъ воздѣйствіи все наше существо и могуче увлекаетъ нашъ умъ на ряду съ другими сплами нашего духа. Но для того, чтобы получить отъ нея все, что она въ состояніи дать намъ, мы должны быть способны къ воспріятію того вдохновенья, которое сообщаетъ поэту чудное прозрѣніе, должны по возможности переноситься въ думы и настроеніе самого поэта; это нелегко потому, что истинный поэтъ выражаетъ свою мысль совершенно своеобразно, а не сжимаетъ

ее въ отвлеченную формулу. Идеи заключены въ великихъ художественныхъ созданіяхъ implicite — такъ, что читатель самъ додумывается до нихъ согласно съ эпиграфомъ къ IV главѣ «Онѣгина» изъ Necker'a: «La morale est dans la nature des choses». Читатель долженъ самъ извлечь мораль изъ художественнаго произведенія и приходитъ къ той или иной морали, къ болѣе или менѣе глубокимъ мыслямъ, проникается въ большей или меньшей степени благотворнымъ воздѣйствіемъ такого произведенія — по мѣрѣ своей воспріимчивости и своего пониманія. Потребуете вы отъ истиннаго поэта прямой морали — и онъ отвѣтитъ вамъ такъ, какъ отвѣтилъ Пушкинъ въ концѣ «Домика въ Коломнѣ».

Такъ и разсматриваемымъ романомъ Пушкинъ будилъ мысль русскаго общества, ставя предъ нимъ въ художественной формѣ одинъ изъ самыхъ серьезныхъ вопросовъ своего времени вообще и въ частности одинъ изъ основныхъ вопросовъ русской жизни. Онѣгина снѣдаетъ та тоска, которую нерѣдко испытывалъ мыслящій европеецъ, начиная съ самой зари новаго времени; но, съ другой стороны, она не есть послѣдствіе моды обветшалой.

Мы видимъ изъ разсмотрѣнія «Евгенія Онѣгина», что поэзія Пушкина совмѣщаетъ въ себѣ все, что сообщаетъ вѣковѣчное значенье поэтическимъ произведеніямъ. Она представляетъ одинъ изъ чистѣйшихъ образцовъ истинной поэзіи: она затрогиваетъ основные вопросы жизни въ очертаніяхъ, полныхъ реальности, возводитъ народное и частное къ общему и обратно и возноситъ на высоту возможно-объективнаго созерцанія дѣйствительности на какую можетъ еще поднять, кромѣ истинной поэзіи, лишь философско-историческое созерцаніе. Она внушаетъ мятежно волнующемуся сердцу спокойствіе поэта-философа и не охлаждаетъ въ то же время горячихъ порывовъ идеализма. Это — поэзія глубокая. Нашъ поэтъ искалъ въ частномъ рѣшеніи основныхъ вопросовъ жизни. Быть можетъ, онъ старался взойти къ разгадкѣ ихъ не съ полною сознательностью, не столько какъ философъ, а болѣе какъ художникъ; быть можетъ, у него не было такого опредѣленнаго философскаго міровоззрѣнія, какимъ отличался

Шиллеръ, столь хорошо изучившій современную ему философію, въ особенности систему Канта, и Гёте, углублявшійся также въ естествознаніе; но было бы несправедливо признать вмѣстѣ съ де-Вогюэ источникомъ меланхоліи Пушкина лишь поверхностное наблюденіе того, «что жизнь прекрасная скоро проходитъ, а любовь прекращается» (р. 49). Причина грусти поэта скрывалась глубже — въ болѣе внимательномъ наблюденіи какъ личной, такъ и общественной жизни, такъ и въ серьезномъ раздумьи.

Онъ не порѣшилъ, конечно, и не могъ рѣшить основныхъ вопросовъ жизни, но онъ ставилъ ихъ въ яркой художественной формѣ, какъ человѣкъ весьма значительнаго ума и таланта, и

Чувства добрыя онъ лирой пробуждалъ;

а въ этомъ и состоитъ достоинство истинной и великой поэзіи.

Итакъ, Пушкинъ — богато одаренный представитель оригинальнаго творчества на почвѣ универсально-эстетическаго образованія, соединившій это образованіе съ народностью; онъ — поэтъ, какого не было до той поры на Руси, — поэтъ, которому не было равнаго у насъ ни по широкой эстетической подготовкѣ, ни по образовательному вліянію и эстетическому воздѣйствію. Впервые въ творчествѣ Пушкина знакомство съ западною поэзіею принесло намъ блестящіе плоды, и поэзія обрѣла широкое народное и общечеловѣческое содержаніе въ общеевропейскихъ литературныхъ формахъ безукоризненной чистоты и изящества. Впервые также въ произведеніяхъ Пушкина русская поэзія получила мѣсто въ общеевропейской культурѣ по оригинально-творческой постановкѣ великихъ проблемъ нашего существованія. Нашъ поэтъ мѣрялся своими силами съ Аріосто, Шекспиромъ, Мольеромъ, Гёте и выходилъ изъ этого соревнованія не съ позоромъ, а съ полною честью [1]). Правда, и самые вопросы, которые занимали

1) По поводу Донъ-Жуана Buchner замѣчаетъ: «Ce sujet pouvait-il encore être traité après Tisso de Molina, Molière, Mozart, lord Byron et le fantastique Allemand Grabbe, qui met Don-Juan en présence de Faust? Poushkine a prouvé que c'était possible»...

музу Пушкина, и постановка ихъ не отличались такой глубиною, какая присуща произведеніямъ одного изъ величайшихъ новонѣмецкихъ поэтовъ — Шиллера. Въ лирикѣ Пушкина, при всѣхъ ея крупныхъ достоинствахъ, мы не найдемъ того, что составляетъ величайшее достоинство лирики Шиллера. Да и вся поэзія Пушкина не возноситъ насъ такъ высоко въ область идеала, какъ шиллеровская, не ведетъ туда, гдѣ

Ewigklar und spiegelrein und eben
Fliesst das zephyrleichte Leben
Im Olymp den Seligen dahin.
(«Das Ideal und das Leben»).

Земное начало довольно сильно въ поэзіи Пушкина. Быть можетъ, также слишкомъ много сказалъ г. Незеленовъ, утверждая (стр. 232—233), что «взглядъ Пушкина на жизнь оказался нравственно выше міросозерцанія Гёте; умственный кругозоръ его оказался шире. Пушкинъ переросъ и германскаго гиганта поэзіи, какъ переросъ Байрона. Огромную роль въ этомъ процессѣ могучаго развитія его духа играла русская деревня».

Но, оставляя въ сторонѣ Шиллера и Гёте, нельзя не признать, что Пушкинъ не уступалъ другимъ лучшимъ западно-европейскимъ поэтамъ своего времени и даже превосходитъ многихъ. Нѣмецкій критикъ и поэтъ Боденштедтъ находитъ у Пушкина по сравненію съ Байрономъ «mehr Wahrheit, Gesundheit und Natur». Да, въ поэзіи Пушкина выступаютъ со всею рельефностію отсутствіе лжи и излишнихъ прикрасъ, искренность, любовь къ правдѣ и простотѣ, которыя и въ поэзіи составляютъ характерную черту русскаго человѣка, на что, помнится, указалъ Тургеневъ. Эти качества являются однимъ изъ величайшихъ достоинствъ нашего поэта. Сравнивая героевъ Вальтеръ-Скотта съ героями французскаго классицизма и чувствительныхъ романовъ, Пушкинъ отдавалъ предпочтеніе первымъ за то, что «они не походятъ, какъ герои французскіе, на холопей, передразнивающихъ la dignité et la noblesse. Ils sont familiers dans les circonstances

ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecté, de théatral; même dans les circonstances solennelles, car les grandes circonstances leur sont familières»... Соотвѣтственно такому взгляду Пушкинъ развивалъ избираемый сюжетъ просто, безъ всякой вычурности. Въ высшей степени цѣнна въ его поэзіи всегда правдивая основа и полная искренность. Эта поэзія свободна отъ недостатковъ, которыми страдало большинство поэтическихъ произведеній времени Пушкина у насъ и за границей. Пушкинъ былъ врагъ неестественнаго идеализма и любилъ смѣхъ:

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей.

Въ черновомъ наброскѣ другого произведенія читаемъ:

. . . . . верхъ земныхъ угѣхъ
Изъ-за угла смѣяться надо всѣми.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ нашъ поэтъ не впадалъ въ грубый реализмъ и полный пессимизмъ.

Пушкинъ былъ пламеннѣйшій поэтъ, а между тѣмъ въ его произведеніяхъ, за исключеніемъ весьма немногихъ, не находимъ реторизма, не находимъ напыщенности, ложнаго пафоса, той трескотни, которую любили и нѣкоторые романтики, не могшіе отрѣшиться въ этомъ случаѣ отъ преданій классицизма. Пушкинъ былъ далекъ отъ неестественности романтиковъ, въ выраженіи скорби былъ чуждъ театральности западныхъ романтиковъ. Это признаетъ и de Vogüé, замѣчая (p. 43—44): «Nos grands attristés et leurs imitateurs ne sortent que vêtus de noir; ils ne se mettent à l'aise qu'à huis clos; ce deuil perpétuel nous excède, parce qu'il n'est pas vrai, pas naturel». И де-Вогюэ признаетъ «le naturel — qualité maîtresse» въ поэзіи Пушкина. Далѣе, эта поэзія и не такъ исключительно субъективна, какъ поэзія большинства романтиковъ. Пушкинъ протестовалъ противъ отожествленія Онѣгина съ авторомъ романа:

Всегда я радъ замѣтить разность
Между Онѣгинымъ и мной,
Чтобы насмѣшливый читатель,
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здѣсь мои черты,
Не повторялъ потомъ безбожно,
Что намаралъ я свой портретъ,
Какъ Байронъ, гордости поэтъ;
Какъ-будто намъ ужъ невозможно
Писать поэмы о другомъ,
Какъ только о себѣ самомъ?

(Ср. отзывъ Пушкина о субъективизмѣ байроновской трагедіи). Пушкинъ былъ какъ-бы провозвѣстникомъ того возвышеннаго реализма, которымъ можетъ гордиться наша новѣйшая литература.

Объективность въ его произведеніяхъ соединяется съ субъективностью въ чудномъ сліяніи, и самыя субъективныя отступленія въ поэмахъ Пушкина нисколько не претятъ намъ и не наскучаютъ. Та же субъективность въ описаніяхъ природы ставитъ высоко нашего поэта, какъ и Байрона, надъ большинствомъ авторовъ описательной поэзіи; англійскій критикъ находитъ, что Пушкинъ въ картинахъ природы не уступитъ Томпсону и Делилю. Говорить ли еще о стилистическихъ достоинствахъ произведеній Пушкина, о томъ, что въ нихъ нѣтъ растянутости, нигдѣ въ лучшихъ произведеніяхъ нѣтъ лишняго слова? Ограничусь повтореніемъ замѣчанія Мериме, что лишь одна латынь способна къ выраженію многаго въ немногомъ съ такимъ блескомъ.

Всѣ эти качества поэзіи Пушкина обусловили гармонію ея содержанія. Въ произведеніяхъ Пушкина слышится много грусти, тоски и ироніи, но она не повергаетъ въ полную безутѣшность. Мы не скажемъ вмѣстѣ съ однимъ нѣмецкимъ писателемъ (*Normann*, Perlen der Weltliteratur, III, 124), что основной харак-

теръ поэзіи Пушкина, какъ и произведеній Лермонтова и Тургенева, — скорбь существованія (der Schmerz des Daseins). Элегическіе тоны смѣняются потокомъ анакреоновскаго веселья, и чувствуешь, что эта поэзія сродна тѣмъ пѣснямъ, въ которыхъ слышится

То разгулье удалое,
То сердечная тоска.

Рядомъ съ «равнодушіемъ къ жизни и ея наслажденіямъ» находимъ у поэта заявленіе:

О нѣтъ, мнѣ жизнь не надоѣла,
Я жить хочу, я жизнь люблю!
Душа не вовсе охладѣла,
Утратя молодость свою.

Какъ истинный поэтъ, Пушкинъ, быть можетъ, не легко могъ проникнуться полною безграничною любовью къ конкретной личности и испытывалъ разочарованія, подъ вліяніемъ которыхъ выливались стихи о женскомъ легкомысліи; но одновременно въ душѣ поэта вставалъ

Татьяны милый идеалъ,

той Татьяны, которая сказала Онѣгину:

..... Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище,
За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ,
Онѣгинъ, видѣла я васъ,
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моей...

Въ силу всего этого мы не можемъ признать вмѣстѣ съ де-Вогюэ въ поэзіи Пушкина спокойствія аѳинянина и скажемъ взамѣнъ того, что въ общемъ и въ нѣкоторыхъ конечныхъ проявленіяхъ поэзія Пушкина напоминаетъ поэзію Гёте, внушая «чувство мѣры и гармонію», вселяя миръ въ нашу душу. Недаромъ Пушкинъ въ послѣдній періодъ творчества примкнулъ къ тѣмъ воззрѣніямъ на искусство, блистательнымъ представителемъ которыхъ въ Германіи былъ Гёте. Мнѣ кажется, можно установить еще одну параллель между исторіей жизни и творчества Гёте и дѣятельностью нашего поэта. Въ большинствѣ произведеній Пушкина предстаетъ предъ нами полная правды и высокаго интереса съ общечеловѣческой и нашей національной точки зрѣнія исторія самого поэта — черта, общая ему съ большинствомъ другихъ лучшихъ поэтовъ новаго времени, начиная съ Петрарки и Боккачьо. Какъ Байронъ и отчасти какъ Гёте, Пушкинъ началъ съ бурныхъ увлеченій молодости и, какъ Гёте, восходилъ постепенно къ успокоенію и достиженію внутренней гармоніи въ сферѣ творчества, которая одна доставляла истинное облегченье духу, стремившемуся къ вѣчной истинѣ и вѣчной правдѣ. Проживи Пушкинъ долѣе, быть можетъ, и онъ достигъ бы высоты созерцанія и того равновѣсія, до котораго дошелъ великій германскій поэтъ послѣ тревогъ кипучей молодости, и которое олицетворилъ въ «Фаустѣ» въ послѣдніе моменты его жизни. Сраженный пулей чужеземца во цвѣтѣ лѣтъ, Пушкинъ не поднялся на такую высоту созерцанія, но тѣмъ не менѣе и краткая сравнительно исторія его жизни и творчества обильна высокимъ драматизмомъ. Приглядитесь къ ней, и вы увидите въ ней много тяжелой нравственной борьбы, борьбы ума и сердца въ страстномъ исканіи идеала, исканіи всѣмъ существомъ, а не одною лишь отвлеченною мыслью; замѣтите много усилій достигнуть гармоническаго улаженія противорѣчій между головой и сердцемъ. Эта борьба, въ которой поэтъ не падалъ до конца, а, напротивъ, подымался все выше и выше, служитъ признакомъ необычайнаго богатства силъ и даровитости. Эта внутренняя борьба совмѣстно съ внѣшнею и сооб-

щаетъ, мнѣ кажется, наибольшій интересъ поэзіи Пушкина и исторіи его жизни; въ художественно-субъективномъ и объективномъ и полномъ искренности выраженьѣ ея заключается одно изъ главныхъ достоинствъ произведеній Пушкина съ общечеловѣческой точки зрѣнія, причемъ русскаго человѣка она наводитъ на раздумье особаго рода. Ходъ нравственнаго и художественнаго развитія Пушкина представляетъ постепенный подъемъ на большую и большую высоту. Поэтъ нашъ началъ съ необузданности и юношескаго разочарованья. Онъ проникся байроническимъ враждебнымъ отношеніемъ къ государству и обществу. Онъ дошелъ до такого разрыва съ послѣднимъ, что присталъ къ табору цыганъ:

За ихъ лѣнивыми толпами
Въ пустынѣ, праздный, онъ бродилъ,
Простую пищу ихъ дѣлилъ
И засыпалъ предъ ихъ огнями...
Въ походахъ медленныхъ любилъ
Ихъ пѣсней радостные гулы,
И долго милой Маріулы
Онъ имя нѣжное твердилъ.

Не мнимый Кавказскій Плѣнникъ, а самъ Пушкинъ

Людей и свѣтъ извѣдалъ...
И зналъ невѣрной жизни цѣну,
Въ сердцахъ друзей нашедъ измѣну,
Въ мечтахъ любви — безумный сонъ!
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ,
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.

Герой нашъ оказался безъ родины, онъ отрекся отъ нея. Но потомъ онъ возвратился, какъ возвратился въ шумный свѣтъ и Онѣгинъ. Такъ же точно и самъ поэтъ, впавшій было въ алкивіадовское пренебреженье къ народной вѣрѣ, пресыщенье жизнью и скептицизмъ послѣ пылкихъ мечтаній и разочарованій, началъ потомъ подыматься до тихаго, элегическаго созерцанія жизни и людей и до признанія того, что молитва «падшаго свѣжитъ невѣдомою силой» (1836 г.), началъ увлекаться національными началами и исторіей родины. Приблизительно такое же восхожденіе находимъ и въ творчествѣ Пушкина: первыя литературныя произведенія его были лишь подражаніемъ западнымъ образцамъ; игривыя лицейскія стихотворенія его не выше французскихъ мадригаловъ, которые послужили ему образцомъ; въ послѣдній періодъ своей дѣятельности нашъ поэтъ находитъ прелесть даже въ простодушныхъ и наивныхъ народныхъ сказкахъ и пѣсняхъ, доходитъ до полной правдивости въ воспроизведеніи русскаго прошлаго, а въ изображеніи современной дѣйствительности является однимъ изъ ближайшихъ предшественниковъ Гоголя. Повѣсть «Домикъ въ Коломнѣ», какъ и «Евгеній Онѣгинъ», заключаетъ сочетанье смѣха и ироніи съ меланхоліей. Путь развитія знаменательный и полный, отчасти такого же глубокаго интереса, какъ и генезисъ творчества гр. Л. Н. Толстого!

Вотъ что доставляетъ поэзіи Пушкина одновременно и міровое гуманное значеніе, воздѣйствіе, присущее всѣмъ великимъ созданіямъ поэзіи, — и значеніе національное!

Это послѣднее выяснено въ рѣчи моего товарища, и мнѣ остается лишь кратко упомянуть о томъ, что въ личности Пушкина выступили многія характерныя черты національнаго генія, въ его поэзіи — многія особенности русскаго созерцанія жизни вообще и жизни русскаго народа въ ея прошломъ и настоящемъ; Пушкинъ освѣтилъ также многія достоинства русской души, напримѣръ, въ Татьянѣ; изобразилъ со всею привлекательностью не только ярко бьющія въ глаза красоты Кавказа, береговъ

Тавриды, необозримыхъ степей нашего юга, украинской природы, синяго Днѣпра, но также и неисчерпаемую красу самой бѣдной съ виду и сѣрой природы нашей земли. Выясненіе значенія Пушкина въ исторіи нашего самосознанія не входитъ въ кругъ моей задачи, и я лишь бѣгло отмѣчаю національное содержаніе поэзіи Пушкина, чтобы тѣмъ яснѣе было богатство ея содержанія.

Въ виду такого неисчерпаемаго богатства поэзіи Пушкина намъ остается не забывать этого дорогого наслѣдія, доставшагося намъ отъ нашего прошлаго развитія. Будемъ же черпать изъ живоноснаго ключа этой поэзіи то, что есть въ немъ освѣжающаго, и вникать въ ея завѣты. Однимъ изъ этихъ завѣтовъ былъ возгласъ:

Да здравствуютъ Музы, да здравствуетъ Разумъ!

Съ этимъ пожеланіемъ вполнѣ согласно другое: да процвѣтаетъ то гуманное образованье, которое создаетъ міровую поэзію и научаетъ цѣнить ее! Да процвѣтаетъ высокое творчество въ нашей землѣ, и да пребудутъ у насъ въ дружномъ союзѣ Музы и Разумъ! Того пламенно желалъ чествуемый нынѣ поэтъ, и много онъ сдѣлалъ для того.

А. С. Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени [1]).

Настоящими торжественными чествованіями величайшаго изъ русскихъ поэтовъ блистательно оправдываются вѣщія слова его о томъ, что «слухъ» о немъ «пройдетъ по всей Руси великой, и назоветъ» его «всякъ сущій въ ней языкъ». Въ этотъ всенародный праздникъ нашей родной поэзіи, какого у насъ никогда еще не бывало, всюду на Руси, даже среди цыганъ Бессарабіи, «дѣтей степей и лѣсовъ дремучихъ», горячо и въ полномъ умиленіи сердца провозгласятъ славу Пушкину, и тѣнь великаго поэта, претерпѣвшаго столько невзгодъ и горестей при жизни и не разъ подвергавшагося незаслуженному пренебреженію по смерти, возможетъ утѣшиться. Если бы ей было даровано незримое присутствіе среди насъ, то исполнилось бы обѣщанное поэтомъ потомку во время скитальчества по нашему югу:

Береговъ забвенія оставя хладну сѣнь,
Къ нему слетитъ моя признательная тѣнь,
И будетъ мило мнѣ его воспоминанье! [2])

---

1) Рѣчь, произнесенная 26-го мая 1899 года, въ сокращеніи. Кіевскія Университ. Извѣстія. 1899 г. № 5, и сборникъ «Памяти Пушкина», Кіевъ, 1899.

2) Сочиненія *А. С. Пушкина*, изданіе Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, подъ редакціею и съ объяснительными примѣчаніями *П. О. Морозова*, Спб. 1887, т. I, 260. Въ послѣдующихъ ссылкахъ, гдѣ будутъ указываемы томы и страницы безъ другихъ поясненій, выдержки будутъ приводимы по этому изданію.

Никогда еще на Руси не видѣли такого общаго чествованія національнаго поэта. Предъ памятью Пушкина преклонятся всѣ безъ различія русскіе люди, и чувства ихъ раздѣлятъ родственныя славянскія племена и многіе другіе просвѣщенные иноземцы. Всѣ признаютъ великое *историческое* значеніе поэзіи Пушкина.

Всѣ согласятся въ такой оцѣнкѣ значенія этой поэзіи потому, что оно безспорно и яснѣе самаго свѣтлаго дня. Подвигъ Пушкина превосходитъ услугу всякаго другого писателя русской земли въ новое время.

Со времени Баратынскаго не разъ справедливо замѣчали, что Пушкинъ совершилъ въ нашей литературѣ приблизительно то же, что̀ Петръ В. сдѣлалъ для русскаго государства. Пушкинъ поставилъ нашу поэзію на одинъ уровень съ западно-европейскою и вмѣстѣ явился истиннымъ творцомъ нашей просвѣщенной литературной самобытности. Въ новомъ періодѣ нашей словесности онъ — первый дѣйствительно-національный поэтъ въ высшемъ смыслѣ этого слова: онъ владѣлъ и иноземными сокровищами поэтическаго наслѣдія и черпалъ въ то же время изъ богатыхъ родниковъ русской жизни, русской души и родной поэзіи.

Въ содержаніи и формѣ поэтическихъ произведеній должно различать свое, какъ индивидуальное и національное, и чужое, какъ инородное, либо вообще международное. Богатствомъ идей и содержанія и степенью самостоятельности въ претвореніи заимствованнаго матеріала и одновременно художественностію формы измѣряется значеніе отдѣльныхъ поэтовъ и цѣлыхъ литературъ. Проблема сочетанія своего съ чужимъ возникла, вѣроятно, уже съ древнѣйшихъ временъ въ болѣе или менѣе безсознательномъ усвоеніи общечеловѣческаго культурнаго достоянія. Вполнѣ отчетливо она представилась сознанію уже въ вѣка античной образованности и опредѣленнаго вліянія греческой литературы на римскую. Постепенно, по мѣрѣ усложненія и усовершенія культуры, возрастаетъ для литературы трудность соблюденія своей самостоятельности при сохраненіи въ то же время

полной связи съ общимъ культурнымъ движеніемъ. Въ ряду европейскихъ литературъ въ такомъ особо-затруднительномъ положеніи оказалась, кромѣ нѣкоторыхъ другихъ славянскихъ литературъ, наша поэзія съ XVIII в. въ силу того, что Русь поздно примкнула вполнѣ къ общеевропейскимъ литературнымъ теченіямъ, и ей нелегко было выбиться изъ рутинной, узкой колеи древне-русской церковности. Но, наконецъ, послѣ цѣлаго вѣка все бо̀льшаго и бо̀льшаго приближенія къ общеевропейскому литературному уровню, послѣ цѣлаго ряда близкихъ подражаній западнымъ образцамъ, либо неполныхъ и неглубокихъ воспроизведеній русской дѣйствительности, наша поэзія и вообще литература быстро подвинулась впередъ, благодаря дѣятельности А. С. Пушкина. Авторъ «Евгенія Онѣгина», «Бориса Годунова» и многихъ другихъ образцовыхъ поэтическихъ созданій явился первымъ крупнымъ представителемъ мощи русскаго дарованія на поприщѣ литературы. Онъ—нашъ первый великій поэтъ въ полномъ значеніи этого слова, достигшій мірового значенія, выразитель нашей духовной сущности. Онъ первый у насъ удовлетворилъ идеалу поэта, сложившемуся въ новѣйшее время. Въ поэзіи Пушкина находимъ гармоническое сочетаніе воображенія, ума и чувства и мощный подъемъ вдохновенія на почвѣ широкаго литературнаго образованія [1]) и выработаннаго имъ здраваго литературнаго вкуса и критицизма. Это—одинъ изъ образованнѣйшихъ и вмѣстѣ умнѣйшихъ нашихъ поэтовъ. Въ немъ нѣтъ шаблонности. Пушкинъ самобытенъ. На большинствѣ его литературныхъ произведеній виденъ отпечатокъ могучаго таланта и удивительной разносторонности. И самыя эти произведенія весьма разнообразны, принадлежа почти ко всѣмъ главнымъ родамъ и видамъ творчества. Впервые въ созданіяхъ Пушкина русская поэзія стала вполнѣ правдивымъ и широкимъ воспроизведеніемъ

1) См. *А. И. Кирпичникова* Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ. Од. 1887, и въ книгѣ: Очерки по исторіи новой литературы, Спб. 1896, и нашу рѣчь: Пушкинъ—поэтъ общеевропейскій (напечатанную выше). См. еще *Ю. Всеволовскаго* Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ, газета Новости 1899, № 143.

дѣйствительности при свѣтѣ высшихъ и плодотворныхъ идей. Конечно, это воспроизведеніе сдѣлалось потомъ еще многостороннѣе, да и стихъ Пушкина былъ превзойденъ въ мягкости и мелодичности нѣкоторыми послѣдующими поэтами. Но Пушкину принадлежала заслуга первенства въ раскрытіи болѣе широкихъ горизонтовъ для русской поэзіи и въ новой выработкѣ языка. Оттуда восторгъ, съ какимъ принимали его произведенія широкіе круги общества[1]). Со времени Пушкина литература стала необходимою частью нашей общественной жизни.

Но излишне повторять въ настоящій моментъ, что Пушкинъ составилъ эпоху въ нашей словесности, что онъ — исходный пунктъ совсѣмъ новаго періода развитія ея, что онъ сталъ въ литературѣ провозвѣстникомъ новыхъ путей свободнаго развитія нашей общественности и воспитателемъ послѣдней и тѣмъ поднялъ литературу до небывалаго и подобающаго ей значенія, что для многихъ изъ насъ онъ былъ глашатаемъ высокихъ идеаловъ истины, добра и красоты, и потому его поэзія дѣйствовала облагораживающимъ образомъ на цѣлый рядъ личностей и поколѣній до 60-хъ годовъ и послѣ того являлась завѣтомъ для многихъ послѣдующихъ поэтовъ. Излишне также распространяться о томъ, что послѣ Пушкина иные не видѣли ни у кого другого такого полнаго соотвѣтствія содержанія и формы, такого удивительнаго сочетанія поэзіи и дѣйствительности. Не эта историческая заслуга и не тотъ общепризнанный фактъ, что Пушкинъ былъ великій поэтъ въ свое время, могутъ болѣе всего останавливать наше

---

1) Справедливо выразился о себѣ Пушкинъ, говоря о себѣ и о Дельвигѣ (исключенное обращеніе къ Дельвигу въ стихотвореніи «19 октября» 1830; II, 126):

Явилися мы рано оба
На ипподромъ, а не на торгъ,
Вблизи Державинскаго гроба,
И шумный встрѣтилъ насъ восторгъ...

Воронцовъ писалъ въ 1824 г. (см. Вѣд. Од. Градонач. 1899) объ «экзальтированныхъ поклонникахъ поэзіи Пушкина», «экзальтированныхъ молодыхъ людяхъ».

вниманіе въ настоящій моментъ; намъ интереснѣе теперь болѣе важные вопросы общаго свойства, связывающіеся съ поэзіею Пушкина, о которомъ иные говорятъ, что онъ доселѣ остается величайшимъ поэтомъ нашей земли. Исторія литературы можетъ и должна уяснять также факты бо̀льшей цѣнности, чѣмъ указанія преемства литературныхъ явленій и ихъ исторической роли.

Смыслъ юбилейныхъ воспоминаній въ томъ именно и состоитъ, что они содѣйствуютъ установленію болѣе или менѣе зрѣлыхъ сужденій, невозможныхъ въ большинствѣ случаевъ для современниковъ и вообще людей, близкихъ по времени къ тому или иному дѣятелю или явленію, и самымъ отдаленіемъ перспективы уясняютъ общее, вѣковое значеніе поминаемыхъ личностей и событій, способствуютъ подведенію общихъ итоговъ и тѣмъ безконечно расширяютъ горизонты нашей мысли.

Относительно Пушкина это—дѣло, во многомъ еще не исполненное, несмотря на двукратное уже торжественное чествованіе его памяти, сопровождавшееся множествомъ рѣчей и статей. О Пушкинѣ было говорено и писано весьма много, но внутренняя послѣдовательность его развитія, основныя идеи, чувствованія и поэтическія построенія, составляющія существенное содержаніе его поэзіи, и общій смыслъ послѣдней все еще остаются не вполнѣ порѣшеннымъ вопросомъ нашей критики. И ей еще предлежитъ выяснить, дѣйствительно ли Пушкинъ великъ и теперь, какъ былъ великъ для своего времени, и если онъ великъ для насъ и въ настоящемъ, то почему. Истинно-великія созданія человѣческаго творчества имѣютъ значеніе не только для своего времени, но и для послѣдующихъ[1]). Спрашивается, принадлежатъ ли и произведенія Пушкина къ такимъ твореніямъ?

---

1) Ср. V, 130: «Произведенія великихъ поэтовъ остаются свѣжи и вѣчно юны—и между тѣмъ какъ великіе представители старинной астрономіи, физики, медицины и философіи одинъ за другимъ старѣютъ и одинъ другому уступаютъ мѣсто, одна поэзія остается на своемъ неподвижно и никогда не теряетъ своей молодости».

Этотъ вопросъ тѣмъ умѣстнѣе, что слава Пушкина подвергалась неоднократнымъ колебаніямъ. Уже при его жизни она была не одинаково громка въ тѣ два главные періода, которые можно различать въ его дѣятельности, начавшей принимать новое направленіе не подъ вліяніемъ только Николаевскаго царствованія, но и въ силу естественной эволюціи въ духѣ самого поэта, замѣчающейся уже во время пребыванія его въ с. Михайловскомъ по возвращеніи изъ пребыванія на югѣ.

Въ годы юности Пушкина

. . . . . возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь
Такъ сильно волновали кровь [1]).

Одновременно съ этимъ поэтъ мечталъ,

Свой духъ воспламенивъ жестокимъ Ювеналомъ,
Въ сатирѣ праведной порокъ изобразить
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажить.

Пушкинъ призывалъ музу пламенной сатиры; онъ не желалъ «гремящей лиры», а хотѣлъ Ювеналова бича отъ музы и «готовилъ язву эпиграммъ» на «лица безстыдно-блѣдныя» и «лбы широко-мѣдные» [2]).

Соотвѣтственно тому, его чернильница,

Любовница свободы,...
Прославила вино
И прелести природы;
. . . смѣху обрекла
Пустыхъ любимцевъ моды
И рѣчи и дѣла.
Съ глупцовъ сорвавъ одежду,

1) I, 292.
2) I, 72; ср. 35—36 и II, 161—162.

поэтъ

. . . весело клеймилъ
Зоила и невѣжду
Пятномъ своихъ чернилъ [1]).

Пушкинъ подвергъ суровому приговору близкія къ нему по времени царствованія Екатерины II, Павла I и въ особенности свое собственное время — Александра I (собственно вторую половину его), которое собирался и позже изобразить «перомъ Курбскаго»:

Вездѣ бичи, вездѣ желѣза,
Законовъ гибельный позоръ,
Неволи немощныя слезы, *и проч.* [2]).

Пушкинъ писалъ болѣе, чѣмъ либеральныя стихотворенія. Его оппозиціонная пѣсенка Noël, язвительно осмѣивавшая слухи о предстоявшемъ дарованіи имперіи новыхъ (конституціонныхъ) установленій императоромъ Александромъ I, была весьма распространена въ оппозиціонныхъ кругахъ [3]).

Эти вольности пера Пушкина были причиной, что его

. . . средь оргій жизни шумной
. . . постигнулъ остракизмъ [4]).

Но онъ

. . . не унизилъ ввѣкъ измѣной беззаконной
Ни гордой совѣсти, ни лиры непреклонной [5]).

Въ его стихахъ постоянно прославлялась «свобода», и Пушкинъ продолжалъ подвизаться на поприщѣ не только личной, но и той общественной сатиры, которая была такъ спасительна для

---

1) I, 244—245.

2) I, 219; также ода «Вольность» въ берлинскомъ изданіи не разрѣшенныхъ цензурою стихотвореній Пушкина.

3) VII, LXI.

4) I, 295.

5) I, 260.

насъ, начиная со времени Кантемира и въ особенности со времени Екатерины II-й. Изъ-подъ пера Пушкина выходили ѣдкія эпиграммы:

. . . Пушкина стихи въ печати не бывали.
Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали [1]).

Пушкинъ возставалъ противъ различныхъ печальныхъ явленій утѣсненія, начиная съ крѣпостного права и оканчивая крайностями цензурныхъ придирокъ:

. . . . . не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебѣ, не видимъ книгъ доселѣ?...
На поприщѣ ума нельзя намъ отступать..
Старинной глупости мы праведно стыдимся.
Ужели къ тѣмъ годамъ мы снова обратимся,
Когда никто не смѣлъ отечества назвать,
И въ рабствѣ ползали и люди, и печать [2])?

Въ тотъ періодъ своей дѣятельности Пушкинъ былъ писателемъ въ направленіи, которое такъ цѣнитъ наша либеральная партія. Онъ былъ членомъ кружка П. Я. Чаадаева, кн. П. А. Вяземскаго, А. И. Тургенева, кн. В. Ѳ. Одоевскаго и былъ пріятелемъ не только Карамзина и Жуковскаго, но и декабристовъ. По собственному заявленію Пушкина [3]), онъ очутился бы въ числѣ декабристовъ въ роковой для нихъ день, если бы не находился въ то время въ с. Михайловскомъ. Пушкинъ былъ тогда кумиромъ оппозиціонной и либеральной партіи, и пьедесталъ его въ то время былъ, по словамъ кн. П. А. Вяземскаго [4]), «выше другаго».

Но уже до катастрофы 14-го декабря 1825 г., во время пребыванія Пушкина въ с. Михайловскомъ, замѣчаются симптомы

---

1) I, 317.
2) I, 318.
3) II, 2, и Отвѣтъ на вопросъ имп. Николая.
4) Письмо въ с. Михайловское.

поворота въ нѣкоторыхъ изъ мнѣній молодого поэта, а то грозное событіе и судьба заговорщиковъ должны были усилить работу мысли Пушкина въ новомъ направленіи. Пушкинъ не измѣнялъ до конца своихъ дней въ сочувствіи своимъ друзьямъ декабристамъ, имѣлъ столкновенія съ полиціею и цензурою и въ началѣ новаго царствованія[1]), подвергался утѣсненіямъ со стороны гр. Бенкендорфа и т. п., но уже не былъ душою оппозиціонной партіи, и съ сентября 1826 г., со времени коронаціи новаго императора въ Москвѣ, началось сближеніе поэта съ послѣднимъ[2]). Отправляясь тогда во дворецъ, Пушкинъ мнилъ себя «пророкомъ Россіи», представившимъ «съ вервьемъ вокругъ смиренной выи»[3]). Императоръ, однако, «царственную руку подалъ» поэту, «почтилъ вдохновенье, освободилъ мысль» его, и Пушкинъ, котораго «текла въ изгнаньѣ жизнь», который «влачилъ съ милыми разлуку», очутился снова съ ними[4]).

Постепенно, достигая умственной зрѣлости, Пушкинъ сталъ иначе, чѣмъ прежде, относиться къ русскому самодержавію, или «самовластью», какъ выражались русскіе либералы въ концѣ Александровской эпохи и онъ самъ[5]); пересталъ быть космополитомъ послѣ 1830 г. и вообще измѣнилъ многія изъ своихъ прежнихъ мнѣній.

Соотвѣтственно всему этому произошло охлажденіе къ Пушкину въ русскомъ высшемъ обществѣ и въ нашей критикѣ. Уже въ 1828 году Пушкину пришлось оправдываться передъ друзьями въ лести и писать:

Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю:

---

1) *И. А. Шляпкинъ.* Къ біографіи А. С. Пушкина, Спб. 1899, стр. 26—28.

2) Объ отношеніяхъ ихъ см. ст. *Е. В. Пятухова*: Пушкинъ и императоръ Николай (Историч. Вѣстн.).

3) II, 3.

4) II, 29.

5) См., напр., V, 14 и «Ост. Арх.».

Я смѣло чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю [1]).

Въ другомъ стихотвореніи того же года читаемъ:

И сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ
Неотразимыя обиды [2]).

Пушкину иные не могли простить примиренія съ правительствомъ, камеръ-юнкерства и т. п. [3]), и онъ очутился въ обычномъ положеніи человѣка, нѣсколько отдалившагося отъ одной партіи и не приставшаго вполнѣ къ другой, потому что не вполнѣ раздѣлялъ ея взгляды. Съ другой стороны, въ литературѣ отъ Пушкина отшатнулись не только литературные старовѣры и противники новаго, романтическаго вѣянія, но и вообще русская критика конца 20-хъ и первой половины 30-хъ годовъ оказалась ниже пониманія простой красоты его поэзіи, свободной отъ прикрасъ и вычурности, въ томъ числѣ и романтической. На первыхъ порахъ критика какъ-бы не доросла до того новаго направленія поэзіи, какому полагалъ у насъ начало Пушкинъ. Надеждинъ зачислилъ однажды Пушкина въ «сонмище нигилистовъ». Иные изъ критиковъ порѣшили, что отъ поэта нельзя было уже ждать ничего цѣннаго. Бѣлинскій въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» 1834 г. писалъ: «Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или, можетъ быть, только обмеръ на время...» И Пушкину, который въ годы послѣ созданія «Бориса Годунова» и «Евгенія Онѣгина» поднимался на болѣе высокую ступень творчества, оставалось съ грустью отмѣчать неуспѣхъ своихъ произ-

---

1) II, 29—30: «Друзьямъ».

2) II, 37.

3) Письмо *В. Г. Бѣлинскаго* къ Н. В. Гоголю съ предисловіемъ *М. Драгоманова*, Genève, 1880, стр. 7: «Разительный примѣръ — Пушкинъ, которому стоило написать только два-три вѣрноподданническихъ стихотворенія и надѣть камеръ-юнкерскую ливрею, чтобы вдругъ лишиться народной любви!». Ср. въ цит. (стр. 144) замѣткѣ Мицкевича.

веденій[1]), ничтожество русской литературной критики[2]) и отстаивать свободу своего вдохновенія и творчества въ своихъ извѣстныхъ лирическихъ произведеніяхъ, о которыхъ скажемъ ниже.

Обаяніе Пушкина среди читателей было, однако, столь велико[3]), что критикѣ, не одобрявшей его произведеній по двумъ указаннымъ основаніямъ, въ особенности же по причинѣ мнимой отсталости поэта[4]), нелегко было покончить съ нимъ и оставалось выискивать подходящій компромиссъ.

Отъ этого изворота не остался свободенъ и лучшій изъ нашихъ критиковъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, В. Г. Бѣлинскій, въ статьяхъ, относящихся къ послѣднему періоду его дѣятельности, когда онъ оцѣнивалъ литературныя произведенія преимущественно съ соціальной точки зрѣнія, со стороны споспѣшествованія ихъ общественному прогрессу. Бѣлинскій какъ-будто восхищался нѣкоторыми произведеніями Пушкина въ частности, какъ

---

1) V, 132. «Habent sua fata libelli. Полтава не имѣла успѣха. Можетъ быть, она его и не стоила, но я былъ избалованъ пріемомъ, оказаннымъ моимъ прежнимъ, гораздо слабѣйшимъ произведеніямъ», и т. д. Тамъ же, 126: «Наши критики долго оставляли меня въ покоѣ... Первыя непріязненныя статьи, помнится, стали появляться по напечатаніи четвертой и пятой пѣсни Евгенія Онѣгина», т. е. въ 1828 г.

2) См. V, 72—73: «О литературной критикѣ»; «Критическія замѣтки», V, стр. 111 и слѣд. Отмѣтимъ: «обвиненія нелитературныя... нынче въ большой модѣ»; «оскорбленія личныя и клеветы нынѣ, къ несчастію, слишкомъ обыкновенныя»; «*Самъ* съѣшь есть нынѣ главная пружина нашей журнальной политики», и т. п. Къ Бѣлинскому Пушкинъ отнесся мягче.

3) Объ отношеніи молодежи къ Пушкину въ моментъ его смерти см. хотя бы въ воспоминаніяхъ Гончарова и въ извѣстномъ стихотвореніи Лермонтова на смерть Пушкина.

4) V, 130: «Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ было сказано, что VII глава (Онѣгина) не могла имѣть никакого успѣха, ибо нашъ вѣкъ и Россія идутъ впередъ, а стихотворецъ остается на прежнемъ мѣстѣ». Ср. Сочиненія *Бѣлинскаго*, ч. VIII, изд. 4-е. М. 1880, стр. 341: «Даже собственно-романтическая критика, та самая, которая нѣсколько лѣтъ сряду провозглашала Пушкина «сѣвернымъ Байрономъ» и «представителемъ современнаго человѣчества», даже и она отложилась отъ Пушкина и объявила его чуждымъ «высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ вѣка»... Несмотря на смѣшную сторону этого факта, въ немъ нельзя не признать большого шага впередъ, и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности».

образцовыми художественными созданіями[1]), но ставилъ низко другія[2]). Не находя въ важнѣйшихъ произведеніяхъ періода зрѣлаго творчества Пушкина прямого отклика на ближайшіе, по мнѣнію критика, запросы дѣйствительности, хотя и позднѣйшая поэзія Пушкина постоянно была полна немаловажныхъ соотношеній съ современностью и хотя въ поэзіи важно не только вниманіе къ злобѣ дня и выраженіе тѣхъ или иныхъ общественныхъ симпатій, но и служеніе общимъ интересамъ человѣчности и воспроизведеніе общихъ идеаловъ народности, знаменитый критикъ заявилъ въ концѣ своихъ статей о Пушкинѣ: «Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ-художникъ, и *больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ*. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство *гуманности*, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка... Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореньямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...»[3]). Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ Бѣлинскій призналъ за поэзіею Пушкина лишь благотворное эстетическое и моральное воздѣйствіе и усматривалъ въ ней по преимуществу художественныя достоинства, а въ ея авторѣ поэта-эстетика. Для полнаго пониманія смысла такихъ сужденій

---

1) Напр., «Каменнымъ Гостемъ», который, по его мнѣнію (VIII, 692), въ художественномъ отношеніи есть лучшее созданіе Пушкина».

2) VIII, 693—694: «Въ 1831 году вышли повѣсти Бѣлкина, холодно принятыя публикою и еще холоднѣе журналами. Дѣйствительно, хотя нельзя сказать, чтобы въ нихъ уже вовсе не было ничего хорошаго, все таки эти повѣсти были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то въ родѣ повѣстей Карамзина, съ тою только разницею, что повѣсти Карамзина имѣли для своего времени великое значеніе, а повѣсти Бѣлкина были ниже своего времени». Знаменитый критикъ упустилъ изъ виду хотя бы столь излюбленный имъ реализмъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ повѣстей.

3) VIII, 696—697.

необходимо принять во вниманіе, что красоту формы вообще Бѣлинскій не ставилъ на первомъ мѣстѣ. «Главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ», писалъ онъ Боткину. Великаго народнаго и общественнаго значенія поэзіи Пушкина и по содержанію ея помимо отмѣченныхъ ея художественныхъ достоинствъ, гражданскихъ мотивовъ ея, Бѣлинскій не призналъ и не могъ признать, потому что въ силу односторонности своего взгляда не всегда могъ оцѣнить иныя изъ преимуществъ Пушкинскихъ произведеній [1]), да и не вполнѣ вѣрно понималъ самого поэта [2]). Потому же не разгадалъ онъ идейной стороны въ поэзіи

---

1) II, 631: «Вообще надобно замѣтить, что чѣмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тѣмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ, и потому не всегда вѣрно судитъ обо всемъ русскомъ»... Что до утвержденія Бѣлинскаго, что Пушкинъ «увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему», то напомнимъ хотя бы слова Пушкина: «Карамзинъ подъ конецъ былъ мнѣ чуждъ» (VII, 258), и укажемъ на лекцію *И. Н. Жданова:* О драмѣ А. С. Пушкина «Борисъ Годуновъ», Спб. 1892, стр. 12 и слѣд. О Бѣлинскомъ въ оцѣнкѣ произведеній Пушкина можно сказать прямо противоположное его отзыву о Пушкинѣ: такъ какъ «все русское» не «слишкомъ срослось съ нимъ», онъ не понялъ нѣкоторыхъ существенныхъ достоинствъ «Капитанской Дочки», хотя и призналъ ее «однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы» (VIII, 694). См. объ этомъ произведеніи *Н. И. Черняева:* «Капитанская Дочка» Пушкина, историко-критическій этюдъ. Оттискъ изъ журнала Русское Обозрѣніе 1897 г. М. 1897.

2) См., напр., VIII, 632: Пушкинъ «въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта». Замѣтимъ по этому поводу, что и самъ Бѣлинскій долго добивался утвержденія въ дворянскомъ званіи, и его ходатайство о томъ увѣнчалось успѣхомъ лишь незадолго до его смерти. См. ст. *А. О. Архангельскаго.* Приведемъ далѣе столь же неосмотрительныя и поверхностныя сужденія Бѣлинскаго: «Первыми своими произведеніями Пушкинъ прослылъ на Руси за русскаго Байрона, за человѣка отрицанія. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить болѣе анти-байронической, болѣе консервативной (sic) натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тѣхъ его «стишкахъ», которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи,—нельзя не улыбнуться ихъ дѣтской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!

Пушкинъ былъ человѣкъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думаютъ. Пора его «стишковъ» скоро кончилась, потому что скоро понялъ онъ (sic; а стремленіе Пушкина къ публицистической дѣятельности въ послѣдніе годы его жизни?), что ему надо быть только художникомъ, и больше ничѣмъ, ибо такова его натура, а, слѣдовательно, таково и призваніе его».

Пушкина и первенствующаго значенія послѣдней въ русской литературѣ XIX в.[1]). Бѣлинскій не могъ открыть у Пушкина глубокихъ и оригинальныхъ идей и художественныхъ концепцій непреходящаго значенія. Безспорно, весьма крупная заслуга Бѣлинскаго въ оцѣнкѣ поэзіи Пушкина заключалась въ раскрытіи художественности послѣдней. Дѣйствительно, красота поэзіи Пушкина столь велика, что послѣ того никто уже не отрицалъ ея,—даже самые строгіе критики этой поэзіи. Но въ этомъ ли ея существенная черта? Бѣлинскій, настаивая преимущественно на такомъ ея значеніи, допустилъ одинъ изъ тѣхъ немалочисленныхъ промаховъ, которые заставляютъ умѣрить чрезмѣрное, впадавшее въ излишній панегиризмъ, юбилейное восхваленіе его критической проницательности. Для надлежащей оцѣнки такихъ односторонникъ сужденій, какъ высказанныя Бѣлинскимъ, достаточно принять во вниманіе отзывы лицъ, хорошо знавшихъ Пушкина и компетентныхъ не менѣе знаменитаго нашего критика, напр., Мицкевича. Этотъ поэтъ и вмѣстѣ критикъ, котораго нельзя же заподозрить въ особомъ пристрастіи къ Пушкину, признавалъ за послѣднимъ не только «un jugement sûr, un gout délicat et exquis», но и «la vivacité, la finesse et la lucidité de son ésprit»[2]). Оставляю въ сторонѣ отзывы другихъ великихъ современниковъ о Пушкинѣ, какъ о замѣчательномъ мыслителѣ[3]).

Можно бы и еще указать подобныя невѣрныя разсужденія у Бѣлинскаго, срывавшіяся съ пера не послѣ глубокаго и спокойнаго изученія предмета, а въ пылу страстнаго увлеченія излюбленной идеей, какъ, напр., разобранныя г. Кирпичниковымъ (Очерки, стр. 145 и слѣд.). См. еще у *Трубачева:* Пушкинъ въ русской критикѣ, Спб. 1889, стр. 310—311, и въ статьѣ *Краснова*, Книжки Недѣли, май, 1899.

1) Въ оригиналѣ статьи Бѣлинскаго о второмъ изданіи «Мертвыхъ Душъ» (юбилейное изданіе: «Семь статей *Бѣлинскаго*», М. 1898, стр. 153), писанной незадолго до его кончины, величайшимъ произведеніемъ русской литературы были признаны «Мертвыя Души». Точно также и *Чернышевскій*, Очерки Гоголевскаго періода русской литературы, изд. М. Н. Чернышевскаго, Спб. 1892, стр. 10—11, писалъ: «Мы называемъ Гоголя безъ всякаго сравненія величайшимъ изъ русскихъ писателей, по значенію».

2) Статья *Мицкевича* въ Globe 1837 г. Теперь русскій переводъ съ польскаго ея текста данъ въ Мірѣ Божіемъ 1899, № 5.

3) См. въ началѣ этюда *Мережковскаго.*

Такъ Пушкинъ, какъ то часто бываетъ, не былъ правильно понятъ и оцѣненъ критикой своего и ближайшаго времени.

Бѣлинскій явился начинателемъ того отношенія къ поэзіи Пушкина, которое держалось въ русской критикѣ на первомъ мѣстѣ до 70-хъ годовъ нашего вѣка, которое повторилъ безъ рѣзкихъ крайностей талантливый Чернышевскій [1]), а съ преувеличеніями—даровитый, но не глубокій отрицатель значенія поэзіи Пушкина, основываемаго на ея художественности, Писаревъ, примѣнившій къ поэзіи, съ горячностью и запальчивостью слишкомъ увлекающейся молодости, страстныя требованія момента [2]), и которое довелъ, наконецъ, до Геркулесовыхъ столбовъ Зайцевъ [3]). Молодежь увлеклась этими крайними сужденіями въ силу присущихъ ей свойствъ и значенія, которое уже съ временъ Пушкина придавали у насъ тенденціозности [4]). Напрасно Аннен-

---

1) См., напр., «Очерки Гоголевскаго періода», стр. 18: Что касается сатирическаго направленія въ произведеніяхъ Пушкина, то оно заключало въ себѣ слишкомъ мало глубины и постоянства, чтобы производить замѣтное дѣйствіе на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало въ общемъ впечатлѣніи чистой художественности, чуждой опредѣленнаго направленія (sic), — такое впечатлѣніе производятъ не только всѣ другія лучшія произведенія Пушкина — «Каменный Гость», «Борисъ Годуновъ», «Русалка» и проч., но и самый «Онѣгинъ».

2) Справедливую оцѣнку аргументаціи Писарева касательно Пушкина представилъ *В. С. Соловьевъ*, Судьба Пушкина, Спб. 1898, стр. 22—23.

3) См., напр., въ его статьѣ: «Гейне и Берне», Русское Слово 1863 г., № 9, стр. 27: «Мы не современники Пушкина, однако не можемъ серьезно относиться къ его шалостямъ, въ родѣ «Оды къ свободѣ»; иностранецъ, для котораго личность Пушкина сама по себѣ совершенно неизвѣстна, удивится такому взгляду на произведеніе, которое можетъ на него произвести сильное впечатлѣніе. Мы бы тоже, можетъ быть, испытали это впечатлѣніе, но намъ мѣшаетъ чувствовать его другое впечатлѣніе, впечатлѣніе всего того, что мы знаемъ о личности поэта. Оно приходитъ намъ на память при чтеніи «Оды къ свободѣ», и мы можемъ только презрительно улыбаться, читая ее», и т. п.

4) Справедливо замѣтилъ *A. Daudet*, Notes sur la vie, La Revue de Paris, 15 Mars 1899, p. 337: «La jeunesse moins prise par les poètes, les romanciers, que par les critiques, les historiens, doctrinaires, dogmatiques, qui continuent l'école». Ср. въ ст. по поводу «Отцовъ и дѣтей», въ журналѣ Время 1862, № 4, стр. 50 и слѣд., замѣчанія объ исканіи «поученія, наставленія, проповѣдей», составлявшемъ «признакъ тревожнаго, болѣзненнаго, напряженнаго состоянія нашего общества».— И. С. Тургеневъ объяснялъ охлажденіе къ Пушкину въ 60-хъ го-

ковъ [1]), Григорьевъ [2]) и другіе, иногда не совсѣмъ удачно, указывали на несправедливость отношенія къ Пушкину, утвердившагося въ русской критикѣ и вслѣдъ за нею въ нѣкоторыхъ слояхъ русскаго общества второй половины 50-хъ и въ 60-хъ годахъ. А. Н. Пыпинъ въ «Характеристикахъ литературныхъ

дахъ тѣмъ, что «настало новое время, появились неожиданныя, небывалыя потребности, стало не до художественности, восхищаться которой могли наравнѣ съ народными нуждами только записные словесники. Чувства Пушкина стали анахронизмомъ». *Ѳ. Б.* Вѣнокъ на памятникъ Пушкину, Спб. 1880, стр. 50. Въ этихъ словахъ не мало неудачныхъ замѣчаній, начиная съ указанія въ духѣ критики Бѣлинскаго и его послѣдователей на художественность, какъ на существенную черту Пушкинской поэзіи, и оставлено безъ вниманія общественное значеніе ея и ея болѣе глубокій смыслъ, а также и то, что охлажденіе либеральной партіи къ Пушкину вело начало издавна.

1) *Анненковъ*, Воспоминанія и критическіе очерки, отдѣлъ второй, Спб. 1879, статья 1856 г.: «Старая и новая критика» (изъ Русскаго Вѣстника), стр. 12: «Въ послѣднее время мы видѣли попытки заслонить, если не отодвинуть на второй планъ нашего художника по преимуществу, Пушкина, именно за его исключительное служеніе искусству. Критики, съ выраженіемъ глубокаго уваженія и горячихъ симпатій къ его дѣятельности, принуждены были однакожъ, ради послѣдовательности въ убѣжденіяхъ и во имя существеннаго содержанія и направленія, пожертвовать этимъ именемъ, столь *любезнымъ* еще нашей публикѣ. Явленіе печальное, особенно потому, что слѣдствіемъ его, если бы мнѣніе укоренилось, было бы непремѣнно *загрубѣлое* литературы». Стр. 13—14: «кто же не отнесетъ къ числу *практически* полезныхъ предметовъ науку *благородно* мыслить и *благородно* чувствовать, въ которой Пушкинъ былъ учителемъ, не превзойденнымъ доселѣ». Какъ видно изъ этихъ строкъ, Анненковъ стоялъ на той же точкѣ зрѣнія, что и Бѣлинскій, во взглядѣ на Пушкина и отстаивалъ лишь право чистой художественности, не придавая значенія ни сатирической, ни публицистической струѣ въ дѣятельности Пушкина, ни другимъ ея сторонамъ, на которыя стали обращать вниманіе съ 1880 г., присмотрѣвшись къ ней повнимательнѣе.

2) Сочиненія *Аполлона Григорьева*, т. I. Спб. 1876, стр. 237 и слѣд. «Да, вопросъ о Пушкинѣ мало подвинулся къ своему разрѣшенію со времени «литературныхъ мечтаній», а безъ разрѣшенія этого вопроса мы не можемъ уразумѣть настоящаго положенія нашей литературы. Одни хотятъ видѣть въ Пушкинѣ отрѣшеннаго художника, вѣря въ какое-то отрѣшенное, не связанное съ жизнію и не жизнію рожденное искусство,— другіе заставили бы «жреца взять метлу» и служить ихъ условнымъ теоріямъ...» Григорьевъ уже пролагалъ путь взгляду, развитому полнѣе въ рѣчи Достоевскаго 1880 г. Онъ писалъ въ 1859 г.: «Пушкинъ — наше все: Пушкинъ — представитель всего нашего *душевнаго, особеннаго*, такого, что̀ остается нашимъ *душевнымъ, особеннымъ* послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ — пока единственный полный очеркъ нашей народной личности... не только въ мірѣ художественныхъ, но и

мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ»[1]) подкрѣпилъ сужденія Бѣлинскаго и критики 50-хъ годовъ, разъяснивъ ихъ смыслъ оговорками, напримѣръ, указаніемъ вслѣдъ за Бѣлинскимъ на реализмъ Пушкинской поэзіи.

Поворотъ и углубленіе въ мнѣніяхъ о Пушкинѣ, начавшіеся въ концѣ 70-хъ годовъ, объединившіе людей различныхъ лагерей и приведшіе къ сооруженію московскаго памятника великому поэту въ 1880 г., сказались въ особенности во время торжества по поводу открытія того монумента. Но и «Пушкинскіе дни» 1880 г., несмотря на «святой восторгъ, вдохновенный трепетъ, охватившій русскую интеллигенцію передъ чистымъ образомъ своего генія»[2]), несмотря на единодушіе, съ какимъ всѣ признали заслуги чествовавшагося поэта[3]), не разсѣяли вполнѣ укоренив-

---

въ мірѣ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій.—Пушкинъ есть первый и полный представитель нашей физіономіи. Гоголь явился только мѣркою нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ законности, поэтомъ чисто отрицательнымъ» и т. п. (стр. 238—240).

1) Бѣлинскій отмѣтилъ, что Пушкинъ «въ высшей степени обладалъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника». Первоначально монографія г. *Пыпина* въ видѣ отдѣльныхъ статей явилась въ Вѣстникѣ Европы 1872—1873 гг. и затѣмъ отдѣльной книгой второе изданіе которой, съ исправленіями и дополненіями, вышло въ Спб. 1890 г. На 91-й—92-й стр. послѣдняго читаемъ: «Художественная высота Пушкинской поэзіи, кромѣ изумительныхъ по красотѣ произведеній личной лирики, выразилась первымъ установленіемъ того глубокаго реализма въ изображеніяхъ русской дѣйствительности, который сталъ съ тѣхъ поръ господствующей чертой нашей литературы и источникомъ ея дальнѣйшаго успѣха и современнаго европейскаго значенія... Трезвое чутье дѣйствительности, кроткое, гуманное чувство, запечатлѣнныя въ его произведеніяхъ, классическая форма,—остались его художественнымъ завѣтомъ, который остался памятенъ для его преемниковъ, ощущавшихъ на себѣ его вліяніе... Въ этомъ, а не въ какой-либо общественно-политической доктринѣ, заключается историческое значеніе Пушкина и великое наслѣдіе, оставленное имъ дальнѣйшему развитію литературы».

2) Вѣнокъ на памятникъ Пушкину, 13. См. еще воспоминанія *Буквы* въ Русскихъ Вѣдомостяхъ 1899.

3) Ср. Русскую Мысль 1887, № 2. Внутреннее Обозрѣніе, стр. 197; отмѣчая «проявившійся въ 1887 г. въ самой печати недостатокъ единодушія», обозрѣватель замѣчаетъ: «Правда, и семь лѣтъ тому назадъ произошли такіе эпизоды, какъ возвращеніе билета одною московскою редакціей и отказъ отъ рукопожатія. Но, все-таки, вся журналистика въ то время имѣла своихъ представи-

шихся предразсудковъ. Достигшія громкаго успѣха рѣчи ораторовъ, говорившихъ во время тѣхъ торжествъ, въ особенности вдохновенный дифирамбъ всечеловѣчности Ѳ. М. Достоевскаго [1]), и отчасти статья Анненкова: «Общественные идеалы Пушкина» [2]) намѣтили новые пути для надлежащаго и всесторонняго изученія Пушкина [3]), но не изъяснили научно и съ надлежащею полнотою значеніе его поэзіи и потому не могли вполнѣ убѣдить критиковъ, продолжавшихъ держаться иного образа мыслей.

Только послѣ 1880 г. критическое изученіе личности и произведеній Пушкина начало направляться по надлежащему пути въ такихъ этюдахъ, какъ рѣчь В. В. Никольскаго [4]) и очеркъ Д. С. Мережковскаго [5]), написанныхъ также не безъ промаховъ, но

телей на московскомъ празднествѣ и на одновременномъ съ нимъ петербургскомъ».

1) Рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго явилась тогда въ Московскихъ Вѣдомостяхъ и Дневникѣ писателя, затѣмъ въ Вѣнкѣ; въ настоящемъ году она перепечатана въ отдѣльномъ изданіи: «Пушкинъ (очеркъ)», Спб. 1899.

2) Вѣстникъ Европы 1880, № 6; изложеніе содержанія есть также въ Вѣнкѣ.

3) Было ярко подчеркнуто значеніе Пушкина, какъ народнаго поэта, и то, что «все общечеловѣческое слилъ онъ въ своихъ созданіяхъ съ тѣмъ прекраснымъ, святымъ, что заложено въ основаніе природы нашего русскаго духа» (Вѣнокъ, стр. 41 — слова Юрьева). Ауэрбахъ заявилъ тогда, что Пушкинъ, «при сохраненіи національной своей самобытности и своеобразности, принадлежитъ къ міровой литературѣ, имѣвшей Гёте своимъ провозвѣстникомъ» (ib., 45). Теперь въ томъ же направленіи взглянулъ на поэзію Пушкина П. И. Вейнбергъ въ своемъ словѣ.

4) «Идеалы Пушкина», Спб. 1887. Первоначально рѣчь эта была произнесена въ 1881 г. на актѣ въ С.-Петербургской Дух. Академіи и напечатана въ № 3—4 Христіанскаго Чтенія 1882 г. Промахи этюда Никольскаго указаны въ статьѣ *А. Н. Пыпина*: «Новыя объясненія Пушкина», Вѣстн. Европы 1887, № 10, стр. 642—647. Новое (третье) изданіе рѣчи Никольскаго, съ приложеніемъ двухъ другихъ статей того же автора, вышло Спб. 1899.

5) «А. С. Пушкинъ. Характеристика». Первоначально эта статья явилась въ книгѣ *П. Перцова*: Философскія теченія русской поэзіи, Спб. 1896 (2-е изданіе вышло въ 1899 г.) и затѣмъ перепечатана въ книгѣ Мережковскаго: «Вѣчные спутники», вышедшей вторымъ изданіемъ въ настоящемъ году. Авторъ справедливо указалъ на важное значеніе записокъ Смирновой и попытался освѣтить міровое значеніе поэзіи Пушкина. У Пушкина, какъ и у Гёте, Мережковскій видитъ «веселую мудрость, олимпійскую ясность и простоту». Ранѣе эти черты подмѣтилъ въ Пушкинѣ *De Vogüé*, Le roman russe, Par. 1886. «Пушкина

выясняющихъ смыслъ и основныя идеи Пушкинской поэзіи въ тѣхъ двухъ направленіяхъ, которыя въ особенности должны останавливать на себѣ вниманіе, именно въ яркомъ и типическомъ выраженіи ею русскаго народнаго духа и въ постановкѣ ею проблемъ міровой поэзіи.

Но воззрѣнія Бѣлинскаго, Писарева и подобныя такъ укоренились въ сужденіяхъ о поэзіи Пушкина, что не вполнѣ подорваны ни знаменательнымъ чествованіемъ памяти Пушкина въ 1880 г., ни юбилейными поминками въ 1887 г.[1]). Эти взгляды раздѣляются и исповѣдываемы не только юношами, зачитывающимися

Россія сдѣлала величайшимъ изъ русскихъ людей, но не вынесла на міровую высоту, не отвоевала ему мѣста рядомъ съ Гёте, Шекспиромъ, Данте, Гомеромъ — мѣста, на которое онъ имѣетъ право по внутреннему значенію своей поэзіи... Въ XIX вѣкѣ... Пушкинъ въ своей простотѣ — явленіе единственное, почти невѣроятное. Въ наступающихъ сумеркахъ, когда лучшими людьми вѣка овладѣваетъ ужасъ передъ будущимъ и смертельная скорбь, — Пушкинъ, кажется, одинъ изъ учениковъ Гёте, преодолѣваетъ дисгармонію Байрона, достигаетъ самообладанія, вдохновенія безъ восторга и веселія въ мудрости, — этого послѣдняго дара боговъ»... «Если предвѣстники будущаго возрожденія насъ не обманываютъ, то человѣческій духъ отъ старой, плачущей,— перейдетъ къ этой новой, олимпійской ясности и простотѣ, завѣщанной искусству Гёте и Пушкинымъ». Повидимому, этюдъ г. Мережковскаго имѣлъ въ виду В. С. Соловьевъ на 23 и слѣд. стр. брошюры «Судьба Пушкина».

1) См. ст. *А. Н. Пыпина:* «Новыя объясненія Пушкина», Вѣстникъ Европы 1887, № 10. Во 2-мъ изд. «Характеристикъ литературныхъ мнѣній», стр. 56, читаемъ: Сравнивъ тѣ нравственно-общественные выводы, какіе дѣлались въ эти послѣдніе годы изъ дѣятельности Пушкина, съ тѣми, какіе дѣлались въ сороковыхъ годахъ, мы едва ли не должны отдать предпочтеніе рѣшеніямъ Бѣлинскаго... мы должны будемъ признать въ Пушкинѣ извѣстную двойственность, другими словами, извѣстное разнорѣчье, и чтобы опредѣлить его, должно будетъ признать именно то различіе между Пушкинымъ художникомъ и общественнымъ человѣкомъ, которое было видно Бѣлинскому и которое новѣйшіе критики хотятъ слить въ представленіи Пушкина какъ поэта-гражданина... Если мы спросимъ себя: какъ могли, однако, эти разнородные элементы новѣйшаго общества соединиться въ единодушномъ чествованіи Пушкина, объясненіе найдется именно въ этой высшей чертѣ личности Пушкина, въ этой необычайной художественности, которая нѣкогда увлекала его первыхъ полусознательныхъ читателей, которая сдѣлала его могущественнымъ двигателемъ послѣдующей литературы, и которая продолжала теперь неодолимо властвовать надо всѣми, кто только поддается поэтическому очарованію, безъ различія «направленій».

на школьной скамьѣ Писаревымъ, но даже людьми, не вполнѣ придерживающимися общаго міровоззрѣнія критиковъ 60-хъ годовъ. Для недостаточно критической и вдумывающейся молодежи рѣзкіе приговоры Писарева — достойное воздаяніе поэту красивыхъ фразъ и картинокъ; для другихъ сужденія Бѣлинскаго — почти альфа и омега того, что̀ можно и должно говорить о поэзіи Пушкина.

Однако, что̀ бы ни говорили, торжественныя чествованія памяти Пушкина въ годахъ 1880, 1887 и въ особенности въ настоящемъ показываютъ, что въ поэзіи Пушкина таится еще какая-то особая сила, неизмѣримо болѣе широкая, чѣмъ та, какую усвояютъ ей усматривающіе со времени Бѣлинскаго въ произведеніяхъ Пушкина въ качествѣ главнаго преимущества ихъ «необычайную художественность». И вдумывающійся въ глубокій смыслъ этихъ торжествъ не можетъ не задать себѣ вопроса о томъ, чѣмъ же чаруетъ память Пушкина насъ, его отдаленныхъ потомковъ, и какая таинственная сила присуща его поэзіи, кромѣ ея красоты.

Дни торжественныхъ воспоминаній о великихъ людяхъ, много совершившихъ для духовнаго развитія, просвѣщенія и преуспѣянія своего народа, вѣковыя юбилейныя чествованія ихъ не требуютъ панегиризма, а налагаютъ на участниковъ всего этого священную обязанность не только выраженія чувствованій признательности, живущей въ сердцахъ потомства, но и по возможности полнаго и всесторонняго уясненія духовнаго облика славныхъ дѣятелей, всего процесса ихъ душевной дѣятельности и основныхъ ея мотивовъ, призываютъ къ восполненію и исправленію тѣхъ недосмотровъ и ошибочныхъ построеній, которые искажали истинный образъ личности, заслужившей себѣ «нерукотворный памятникъ» у своего народа, къ высшей критикѣ ея самой и ея дѣяній.

Въ примѣненіи къ Пушкину первымъ и важнѣйшимъ дѣломъ высшей критики является уясненіе развитія мысли этого поэта въ ея цѣлостности, провѣрка указываемыхъ въ ней противорѣчій

и двойственности жизни и творчества, возстановленіе міросозерцанія, — того, что̀ можно бы назвать философіею поэта. Всего этого наука еще не раскрыла съ достодолжною обстоятельностью и тщательностью. А между тѣмъ только послѣ такой работы будетъ вполнѣ ясно, дѣйствительно ли былъ правъ и исчерпалъ ли всю сущность вопроса столь превознесенный во время недавняго юбилейнаго чествованія нашъ знаменитый критикъ, сводившій значеніе поэзіи Пушкина преимущественно къ ея художественности и возбужденію гуманнаго чувства, «разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка». Въ этой ли художественности тайна обаянія, какое такъ долго производила и производитъ на многихъ и теперь поэзія Пушкина? Дѣйствительно ли Пушкинъ по преимуществу поэтъ изящной формы?

Если бы такъ было, то Пушкина нельзя было бы признать великимъ поэтомъ. Поэтовъ весьма изящной формы и даже необычайной художественности не такъ мало, но имъ, напримѣръ, Петраркѣ, иные отказываютъ въ правѣ на наименованіе великими несмотря на изящество ихъ поэтическихъ созданій.

Мы же цѣнимъ выше всего въ поэзіи то, чего въ сущности требовалъ отъ нея и Пушкинъ [1]), — сочетаніе изящной формы съ

---

1) Приблизительно таково было и воззрѣніе Пушкина на поэзію. «Стихи, которые производятъ впечатлѣніе на душу, на сердце, на умъ, сказалъ онъ однажды, запечатлѣваются въ памяти, дѣйствуя сразу на всѣ наши способности». Записки *А. О. Смирновой*, изд. редакціи журнала Сѣверный Вѣстникъ, ч. I. Спб. 1895, стр. 207. Ср. въ «Черновыхъ набраскахъ» 1826 г. (II, 8):

О ты, который сочеталъ
Съ глубокимъ чувствомъ разумъ вѣрный,
И точный умъ, и слогъ примѣрный,
О ты, который избѣжалъ
Сентиментальности манерной...

и I, 359:

Служенье музъ не терпитъ суеты,
Прекрасное должно быть величаво.

Въ 1834 г. Пушкинъ назвалъ стихи «важной отраслью *умственной* дѣятельности человѣка» («Мысли на дорогѣ», V, 248). Пушкинъ какъ-бы требовалъ гармониче-

мощнымъ содержаніемъ, съ глубиною и величіемъ хорошо продуманныхъ идей и съ силою чувства, способною увлекать своимъ могучимъ порывомъ, истинно художественное выраженіе извѣстнаго возвышеннаго міросозерцанія. Въ наши дни явилась даже теорія (Л. Н. Толстого), отрицающая первостепенное значеніе красивой формы и потому не придающая значенія и красивому стиху.

Если бы Пушкинъ былъ не больше, какъ поэтомъ изящной, хотя бы и въ необычайной степени, формы, то значеніе его было бы кратковременно и ограничено, подобно значенію какого-нибудь Боало и Попе. Онъ отошелъ бы теперь уже въ рядъ второстепенныхъ, чисто историческихъ знаменитостей, и чествованіе столѣтія дня появленія его въ свѣтъ было бы однимъ изъ тѣхъ юбилейныхъ празднествъ, которыя бываютъ иногда послѣднимъ, заключительнымъ моментомъ широкаго воздѣйствія писателя, какъ это можно сказать, напр., о столѣтнемъ юбилеѣ Вальтеръ-Скотта. Пушкинъ былъ бы для насъ однимъ изъ полубоговъ литературнаго пантеона въ родѣ Ломоносова, Карамзина, Жуковскаго, столѣтнія годовщины которыхъ также были отпразднованы въ свое время довольно шумными, преимущественно академическими торжествами и которыхъ мы читаемъ въ годы ученія, но которые кажутся намъ потомъ уже весьма далекими отъ

скаго и равномѣрнаго сочетанія силъ, создающихъ поэзію, и въ этомъ отношеніи его взглядъ вѣрнѣе взгляда Бѣлинскаго, утверждавшаго, что «въ искусствѣ фантазія играетъ самую дѣятельную и первенствующую роль». Пушкинъ отличалъ восторгъ отъ вдохновенія и понимаетъ вдохновеніе, какъ «расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію ихъ. Восторгъ исключаетъ *спокойствіе—необходимое условіе прекраснаго.* Восторгъ не предполагаетъ *силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому.* Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвесть *истинное, великое совершенство* ... Ода исключаетъ *постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно-великаго*» (V, 21). Ср. изреченіе Бюффона о томъ, что «геній есть трудъ». Извѣстно, какъ медленно работалъ Пушкинъ надъ иными изъ своихъ произведеній и какъ долго вынашивалъ ихъ въ своей душѣ. Онъ самъ призналъ однимъ изъ своихъ отличительныхъ качествъ медленность въ литературномъ трудѣ, а эта медленность обусловливалась процессомъ упорной и тщательной умственной работы, предшествовавшей и сопутствовавшей созданію его произведеній.

живыхъ интересовъ нашей души, совсѣмъ не такими, какъ также чествовавшіеся недавно Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ, Байронъ, Шелли, остающіеся истинными классиками и продолжающіе увлекать насъ, если не съ прежнею силою свѣжести и новизны, то съ болѣе серьезнымъ проникновеніемъ въ глубь нашей души.

Нѣтъ, Пушкинъ принадлежитъ къ этому второму, высшему разряду литературныхъ знаменитостей и корифеевъ. Недаромъ онъ самъ представлялъ свое служеніе пророческимъ: многимъ изъ насъ дорога почти каждая его строка. Видимо, еще «живъ» во всей Россіи

. . . . . духъ поэта
И пѣсня дивная жива,

хотя Мережковскій и заявилъ, что послѣ Пушкина «вся исторія русской литературы есть исторія довольно робкой и малодушной борьбы за Пушкинскую культуру съ нахлынувшею волною демократическаго варварства, исторія могущественнаго, но односторонняго воплощенія его идеаловъ, медленнаго угасанія, паденія, смерти Пушкина въ русской литературѣ». Послѣ того, какъ Пушкинъ умеръ въ сознаніи нѣкоторыхъ круговъ общества, что постигаетъ иногда и такихъ титановъ, какъ Шекспиръ, Гёте, онъ вновь воскресаетъ съ 80-хъ годовъ, потому что онъ истинно-великъ, какъ велики выдающіеся поэты человѣчества, являющіеся его учителями въ высшемъ смыслѣ этого слова. Это былъ многообъемлющій геній. И мы находимъ у него не только красоту выраженія, но и соотвѣтственную ей глубину идей и чувствованій, богатый кладъ нестарѣющихъ мыслей и чувствъ, которые сохранятъ значеніе, можно думать, не только для насъ, но и для временъ грядущихъ.

Въ великихъ поэтахъ особый, возвышенный интересъ представляетъ для насъ развитіе ихъ личности, такъ сказать, творчество ихъ жизни, и гармонія ихъ міросозерцанія, то, что называютъ иногда философіею великихъ художниковъ, напр., философіею Шекспира, нѣмецкихъ классическихъ поэтовъ, Вагнера. Къ

жизни и дѣятельности великихъ поэтовъ въ особенности можетъ быть примѣнена формула Клода Бернара: «Жизнь есть твореніе». Міросозерцаніе, проникающее творенія великихъ поэтовъ, не есть теоретическое познаніе и представленіе міра, а вполнѣ отчетливое, стройное, творческое упорядоченіе воспріятій конкретно открывающагося поэту космоса согласно со своеобразною духовною мощью созерцателя [1]).

Такой же двоякій высокій интересъ внушаетъ намъ и Пушкинъ — своею жизнью и своимъ воспріятіемъ дѣйствительности и отношеніемъ къ міру.

Пушкинъ великъ не только какъ поэтъ, но почтенъ и какъ личность, если окидывать однимъ взоромъ не только нерѣдкіе въ молодости его моменты жизни, когда былъ

Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ...
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ,

но и всю его жизнь труда, борьбы со свѣтомъ и съ собой, чистыхъ восторговъ и упоеній и неоднократной побѣды надъ собой, не взирая на силу долго бушевавшихъ въ немъ страстей. Не говорю уже о томъ, что Пушкинъ можетъ быть признанъ заслуживающимъ уваженія какъ личность, отдавшая всю свою жизнь беззавѣтному служенію великому дѣлу, не ради славы (онъ не гонялся за нею въ годы зрѣлости), выгодъ и положенія, а по чистому влеченію генія и моральнаго чувства, и совершившая это дѣло.

Есть вѣскія возраженія противъ идеализаціи Пушкина, какъ личности. Въ 50-ю годовщину его кончины бывшій Одесскій и Херсонскій архіепископъ Никаноръ, поминая поэта въ недѣлю блуднаго сына, подвергъ его суровому осужденію, именно какъ

---

1) См. ст. *Chamberlaine*'а: Richard Wagners Philosophie — въ Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1899, № 47.

такового сына, принесшаго покаяніе лишь въ послѣдній моментъ [1]). Равно и извѣстный нашъ философъ В. С. Соловьевъ нанесъ немалый ударъ идеализаціи личности Пушкина указаніемъ на то, что постигшая поэта роковая катастрофа, положившая конецъ его жизни, была обусловлена прежде всего его собственными поступками, не согласными съ высотою и обязанностями его генія и христіанскаго сознанія, къ которому онъ пришелъ подъ конецъ своей жизни:

«Жизнь его не врагъ отъялъ,
Онъ *своею* силой палъ,
Жертва гибельнаго гнѣва,

своею силой, или, лучше сказать, своимъ *отказомъ* отъ той нравственной силы, которая была ему доступна и пользованіе которою было ему всячески облегчено».

Дѣйствительно, Пушкинъ не всегда превозмогалъ въ себѣ побужденія гнѣва, но, въ виду интригъ его враговъ и его высокаго настроенія передъ своей кончиной, съ точки зрѣнія чисто христіанскаго прощенія кающемуся, онъ подлежитъ изъятію отъ совсѣмъ строгаго осужденія за свое предсмертное дѣяніе [2]). Даже, если бы мы не нашли никакого оправданія послѣдняго, и тогда, принимая во вниманіе всю совокупность дурного и хорошаго въ его характерѣ, и условія воспитанія и среды, мы должны бы призадуматься предъ произнесеніемъ рѣшительныхъ приговоровъ въ родѣ изложенныхъ.

По словамъ Мицкевича, у Пушкина былъ характеръ «trop pressionable et parfois léger, mais toujours franc, noble et capable d'épanchement»; своими недостатками Пушкинъ былъ обязанъ

---

1) Замѣчанія по поводу этого слова см. въ ст. *Пыпина:* Вѣстн. Евр. 1887, № 10, стр. 635—641. Далѣе покойнаго архіепископа пошли теперь тѣ люди, которые приглашали христіанъ не слѣдовать за «крикунами, хотя бы и избранными руководителями народа» и не «чтить убійцъ-самоубійцъ».

2) См. статьи *Павлищева* въ Новомъ Времени 1899 г. и свѣдѣнія о предсмертныхъ моментахъ Пушкина, сообщенныя В. А. Жуковскимъ и другими.

воспитанію [1]), своими достоинствами самому себѣ. И это вполнѣ вѣрно. Въ натурѣ Пушкина на ряду съ его самомнѣніемъ и буйнымъ пыломъ страстей нельзя не отмѣтить и цѣлаго ряда весьма благородныхъ и симпатичныхъ моральныхъ свойствъ, каковы: чисто русскія прямота и искренность, отсутствіе завистливости, полное участливое отношеніе къ талантамъ другихъ и готовность помогать ихъ развитію, мужественность и стойкость въ слѣдованіи эволюціи своей мысли и убѣжденія, не взирая на то, что̀ скажутъ хотя бы друзья, отсутствіе стремленія пріобрѣтать выгоды и дешевую популярность угодничаньемъ толпѣ и вообще стойкость натуры [2]).

Но главное обстоятельство, говорящее въ пользу личнаго характера Пушкина, это то, что, послѣ первыхъ лѣтъ бушеванія пылкой крови, въ его жизни постепенно все болѣе и болѣе крѣпла сила тѣхъ «духовныхъ основъ жизни», о которыхъ любитъ говорить В. С. Соловьевъ.

Жизнь Пушкина представляетъ не обычный только процессъ, нерѣдко замѣчаемый въ лучшихъ изъ даровитыхъ и надѣленныхъ кипучими силами людей, у которыхъ постепенно остываетъ кровь; и измѣненія происходили въ Пушкинѣ не только по принципу: tempora mutantur et nos mutamur in illis.

Дѣло не въ томъ только, что годы юности поэта были въ значительной степени истрачены

> . . . . . въ праздности, въ непстовыхъ пирахъ,
> Въ безумствѣ гибельной свободы,
> На играхъ Вакха и Киприды [3]);

---

1) Ср. наблюденіе А. И. Тургенева въ письмахъ кн. П. А. Вяземскому: «...вообрази себѣ двѣнадцатилѣтняго юношу, который шесть лѣтъ живетъ въ виду дворца и въ сосѣдствѣ съ гусарами, и послѣ обвиняй Пушкина за его «Оду на свободу» и за двѣ болѣзни нерусскаго имени!» Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ, I, Спб. 1899, стр. 280.

2) «Меня не такъ-то легко съ ногъ свалить», писалъ однажды Пушкинъ (VII, 258).

3) II, 37.

— не въ томъ, что отъ шалостей и проказъ юности и пылкаго темперамента [1]), отъ состоянія, когда не разъ поэтъ «любилъ»

. . . . . пламенной душой
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такою нѣжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ [2]),

«страдалецъ чувственной любви» [3]) перешелъ къ прочнымъ и сосредоточеннымъ чувствамъ добраго семьянина и гражданина и проклиналъ

Измѣнъ печальныя преданья...
. . . . . коварныя страданья
Преступной юности своей,
И встрѣчъ условныхъ ожиданья
Въ садахъ, въ безмолвіи ночей;
. . . . . рѣчей любовный шопотъ,
И струнъ таинственный напѣвъ,
И ласки легковѣрныхъ дѣвъ,
И слезы ихъ, и поздній ропотъ... [4]).

---

1) Въ юности Пушкинъ былъ весьма взбалмошенъ, и, по выраженію Карамзина, у него не было «въ головѣ ни малѣйшаго благоразумія». По словамъ А. И. Тургенева, относящимся къ 1818 году, Пушкинъ «испалился», велъ «безпутный образъ жизни», и только болѣзни, связанныя съ любовными похожденіями, могли заставить его сидѣть дома и работать. Остафьевскій Архивъ, I, 74, 117, 119. Недавно изданное Пушкинской Коммиссіею Одесскаго Литературно-Артистическаго Общества дѣло о взысканіи съ Пушкина 2000 р. ассигнаціями съ процентами долга, сдѣланнаго 20 ноября 1819 г. въ С.-Петербургѣ у барона Шиллинга, показываетъ, что Пушкинъ сдѣлалъ карточный долгъ, отъ уплаты котораго потомъ отказался, ссылаясь на то, что онъ «проигралъ заемное письмо, будучи еще въ несовершенныхъ лѣтахъ, и не имѣя никакого состоянія движимаго и недвижимаго».

2) II, 1. Ср. ib. 4, 7, 11, 12, 12—14 и др., въ особенности 33:

Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынѣ я,
Безпечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать безъ умиленья,
Безъ робкой нѣжности и тайнаго волненья.

3) I, 189.

4) II, 135.

И не въ томъ дѣло, что съ годами онъ совсѣмъ отсталъ отъ воспѣванія подъ часъ прекрасныхъ женскихъ ножекъ[1]) и восходилъ все къ высшимъ и высшимъ сюжетамъ и замысламъ, къ серьезнымъ работамъ мысли и вдохновенья.

Нѣтъ ничего еще необычнаго и въ томъ, что Пушкинъ пережилъ и «юность живую», и «юность унылую», и «чистыя помышленія»[2]).

Въ творчествѣ жизни Пушкина важно было то, что онъ не физическимъ и душевнымъ остываніемъ, а сознательною и упорною работою надъ собою восходилъ къ нравственному самоусовершенію и цѣною значительныхъ нравственныхъ усилій и мукъ извнѣ пріобрѣталъ, подобно Данте, какъ нравственную зрѣлость, такъ и зрѣлость идей и широту созерцанія. На самомъ Пушкинѣ исполнилось то, что̀ уже въ пятнадцать лѣтъ онъ считалъ удѣломъ поэтовъ:

Ихъ жизнь — рядъ горестей, гремяща слава — сонъ[3]).

Пушкину пришлось вынести съ довольно ранняго времени своей жизни рядъ тяжелыхъ невзгодъ. Онъ пережилъ много горькихъ минутъ уже со времени перевода на югъ[4]), и сталъ еще серьезнѣе со времени возвращенія на сѣверъ, въ с. Михайловское. И не звучныя только фразы то, что онъ писалъ въ 1828 г., когда приближался къ годамъ зрѣлости:

Благословенъ же будь отнынѣ,
Судьбою ввѣренный мнѣ даръ!
Доселѣ въ жизненной пустынѣ[5]),
Во мнѣ питая сердца жаръ,

---

1) См. замѣтку *Н. Ѳ. Сумцова:* «Женская ножка въ стихотвореніяхъ Пушкина», Р. Старина 1899, № 5, стр. 335—336.

2) II, 134.

3) I, 10.

4) См. ниже во II-й главѣ.

5) Дантовское выраженіе. Ср. въ стихотв. «Три ключа» (1827 г.):

Въ *степи мірской, печальной и безбрежной,*
Таинственно пробились три ключа...
Кастальскій ключъ волною вдохновенья
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ...

Мнѣ навлекалъ одно гоненье,
. . . . . .
Иль клевету, иль заточенье,
И рѣдко — хладную хвалу [1]).

Конечно, во многомъ изъ этого былъ повиненъ и самъ поэтъ, о чемъ свидѣтельствуютъ его собственныя признанія, относящіяся къ тому же году, въ стихотвореніи «Воспоминаніе»:

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день,
И на нѣмыя стогны града
Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,
Въ то время для меня влачатся въ тишинѣ
Часы томительнаго бдѣнья:
Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ
Змѣи сердечной *угрызенья;*
Мечты кишатъ; въ умѣ, подавленномъ *тоской,*
Тѣснится *тяжкихъ думъ* избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И *съ отвращеніемъ читая жизнь мою,*
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.
Я вижу въ праздности, въ непстовыхъ пирахъ,
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ
Мои утраченные годы...
И *нѣтъ отрады мнѣ* — и тихо предо мной
Встаютъ два призрака младые...
. . . . . и мстятъ мнѣ оба,
И оба говорятъ мнѣ мертвымъ языкомъ
О тайнахъ вѣчности и гроба [2]).

---

1) II, 36.

2) II, 37. Можно бы привести и рядъ другихъ выраженій раскаянія поэта, изложенныхъ въ стихахъ (см., напр., «Стихи, сочиненные ночью во время без-

Такъ поэтъ выходилъ изъ заблужденій, бурь и испытаній жизни нравственно очищеннымъ помыслами «о тайнахъ вѣчности и гроба». То не былъ старческій страхъ смерти: Пушкину было тогда 29 лѣтъ. Въ немъ просто сталъ говорить сильнѣе прежняго никогда не глохшій въ немъ голосъ нравственнаго сознанія, — употребляя выраженіе Л. Н. Толстого — «то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вѣчно»[1]). Правда, и въ послѣдніе свои годы Пушкинъ не вполнѣ отрѣшился отъ суеты жизни, напримѣръ, отъ условныхъ понятій о чести, какъ то показываетъ его дуэль, и полнаго обѣленія ему быть не можетъ[2]). Но все-таки какое огромное разстояніе отдѣляетъ Пушкина послѣднихъ лѣтъ (приблизительно съ начала 30-хъ годовъ) отъ Пушкина въ годы по выходѣ изъ лицея до 1824 г.! Поэтъ, любившій свѣтское общество и шумныя утѣхи[3]), жившій «иначе, какъ обыкновенно живутъ»[4]), какъ-бы не признававшій семейныхъ устоевъ[5]), другъ декабристовъ и вольнодумецъ, пародировавшій церковные пѣсни и обряды[6]), сколь далекъ

сонницы», 1830 г., 113: «Мнѣ не спится, нѣтъ огня . . .») и въ прозѣ, напр.: «Началъ я писать съ 13-ти лѣтняго возраста и печатать почти съ того времени. Многое желалъ бы я уничтожить, какъ недостойное даже и моего дарованія, каково бы оно ни было. Многое тяготѣетъ, какъ упрекъ на совѣсти моей» (V, 113: написано въ 1830 г.). См. еще въ письмахъ отреченія отъ «грѣховъ отрочества» и юности: «Молодость моя прошла шумно, но безплодно. До сихъ поръ я жилъ иначе, какъ обыкновенно живутъ. Счастья мнѣ не было» (VII, 260).

1) «Воскресеніе», гл. XXVIII.

2) А. Н. Вульфъ записалъ въ своемъ дневникѣ, что Пушкинъ «погибъ жертвою неприличнаго положенія, въ которое себя поставилъ ошибочнымъ разсчетомъ» (*Л. Н. Майковъ*, Пушкинъ, Спб. 1899, стр. 217).

3) VII, 1: «Увѣряю васъ, что уединеніе въ самомъ дѣлѣ вещь очень глупая, на зло всѣмъ философамъ и поэтамъ, которые притворяются, будто-бы живали въ деревняхъ и влюблены въ безмолвіе и тишину». Ср. французское стихотвореніе 1814 г.:

J'aime et le monde et son fracas,
Je hais la solitude . . .

4) VII, 260.

5) Вспомнимъ, напр., его отношеніе къ г-жѣ Ризничъ и др.; см. еще I, 261: «Десятая Заповѣдь», и I. 353.

6) VII, 21 письмо 1821 года; ср. тамъ же, 15, пародированіе молитвы «Господи, владыко живота моего» и пр.; и стихотв. 1836 г. «Отцы-пустынники».

отъ Пушкина, признавшаго, что «il n'est bonheur que dans les voies communes»[1]), полюбившаго семейную жизнь, мечтавшаго поселиться въ деревнѣ[2]), разставшагося съ отрицаніемъ прежнихъ лѣтъ и примирившагося искренно съ русскимъ самодержавіемъ и императоромъ Николаемъ, безъ одобренія, впрочемъ, многихъ тогдашнихъ порядковъ![3]).

Столь значительно измѣнился Пушкинъ и измѣнилъ нѣкоторые изъ своихъ первоначальныхъ взглядовъ. И это произошло не только въ силу того, что вообще человѣческія мысль и чувство, живя, постоянно пребываютъ въ движеніи. Въ душѣ поэта совершились болѣе глубокіе и мучительные, чѣмъ обыкновенно, переломы. Сколько надобно было перерабатывать себя, чтобы отречься отъ пылкихъ порывовъ юныхъ лѣтъ и дорогихъ стремленій молодости. Разставаясь съ ними, поэтъ испытывалъ не только «тяжелое, смутное похмѣлье» послѣ «безумныхъ лѣтъ угасшаго веселья»; рядомъ съ тѣмъ и «печаль минувшихъ дней», всегдашняя спутница веселья у Пушкина, была въ душѣ его «чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй»[4]). То была печаль неустаннаго стремленія къ идеалу, который все отодвигался въ даль по мѣрѣ того, какъ поэту казалось, что онъ былъ ближе и ближе къ цѣли томленій. Въ Пушкинѣ во всю его жизнь происходила работа въ цѣляхъ этого приближенія. И уже 20-лѣтнимъ юношей онъ писалъ, что «унылой думой» «среди забавъ» онъ «часто омраченъ», и на все «подъемлетъ взоръ угрюмый», и ему «не милъ сладкій жизни сонъ»:

На краткій мигъ блаженство намъ дано:
Отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья
Останется унылое одно[5]).

И уже тогда онъ усматривалъ въ себѣ «возрожденіе»:

---

1) VII, 260.
2) См. ниже во II-й главѣ.
3) См. ниже въ III-й главѣ.
4) II, 101.
5) «Унылое» 1819; I, 201. См. также ниже въ гл. II.

. . . . . исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ чистыхъ дней [1]).

Въ годы зрѣлости Пушкинъ возвратился съ рѣшительностью къ чистымъ днямъ невинной души, достигши истинной свободы духа. Эта свобода и полная истина не совмѣстимы съ партійностію, и Пушкинъ поднялся въ эти позднѣйшіе годы и надъ партійностію своей юности.

Всѣмъ этимъ процессомъ своего духовнаго развитія Пушкинъ напоминаетъ такихъ великихъ поэтовъ, какъ «суровый» Данте, который также въ молодости былъ не чуждъ недостойныхъ его увлеченій, не оставался до конца вѣренъ всѣмъ идеямъ своей юности, въ томъ числѣ и политическимъ, и отъ сомнѣній взошелъ къ ясной и глубокой вѣрѣ. Вспомнимъ также, что и Шекспиръ былъ кипучъ и страстенъ въ годы молодости и, какъ гражданинъ свободной Англіи и другъ Эссекса, сложившаго голову на плахѣ, также былъ не чуждъ политической скорби, и пережилъ въ своей жизни періодъ, когда въ головѣ его гнѣздились самыя мрачныя мысли, но затѣмъ взошелъ къ такой ясности духа и къ такому примиренію съ дѣйствительностію, какія находимъ въ его послѣднихъ произведеніяхъ и которыя сообщаютъ «Бурѣ» прелесть роскошной вечерней зари послѣ чуднаго лѣтняго дня.

Конечно, къ подобнымъ поворотамъ въ міросозерцаніи Пушкина относятся съ недовѣріемъ и пренебреженіемъ тѣ люди, которые желали бы отъ другихъ нравственной высоты сразу, либо тѣ, для которыхъ не представляютъ особаго интереса и цѣны такія послѣдовательныя стадіи развитія многовдумчивой личности и которые слагаютъ довольно скоро свое міросозерцаніе безъ мучительной борьбы, такъ какъ для нихъ все рѣшается модньмъ вѣяніемъ, увлекающимъ ихъ за собою въ годы ихъ молодости.

---

1) «Возрожденіе» 1819; I, 208.

Не таковы великіе мыслители и поэты, которые сами намѣчаютъ пути, кажущіеся новыми. Пушкинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ великихъ поэтовъ-мыслителей, которыхъ нѣмцы называютъ führende Geister — путеводными умами. Такіе корифеи не слагаются сразу, а вырабатываютъ постепенными усиліями своего духа мощное идейное содержаніе, которымъ высоко поднимаются надъ уровнемъ толпы въ ея разныхъ партіяхъ и подраздѣленіяхъ.

Въ подобномъ же богатомъ идейномъ содержаніи при соотвѣтственной художественности формы и заключается преимущественное значеніе поэзіи Пушкина, въ силу котораго онъ сохранитъ надолго привлекательность и прелесть многосторонняго, истинно высокаго и здороваго творчества.

Лишь недостаточное и не вполнѣ внимательное изученіе хода идейнаго и нравственнаго развитія Пушкина можетъ поддерживать мысль о томъ, что онъ впадалъ въ непослѣдовательность и странныя противорѣчія съ самимъ собою въ области мысли. То, что кажется противорѣчіемъ, было естественною эволюціею идей, которыя во всѣ періоды жизни Пушкина объединялись присущимъ ему, какъ поэту-гражданину, стремленіемъ къ отысканію и художественному выраженію высшихъ идеаловъ русской жизни. Во всѣ моменты своей жизни Пушкинъ оставался неизмѣненъ въ любви къ родинѣ наряду съ любовью къ человѣку вообще и въ стремленіи къ возвышеннымъ идеаламъ жизни. Измѣнялись нѣсколько лишь очертанія послѣднихъ сообразно съ тѣмъ, гдѣ поэтъ искалъ отвѣта на мучительные вопросы о нихъ, но при этомъ даже въ его годы молодости рѣшенія нерѣдко подсказывались его чисто-русскою душой, а въ позднѣйшіе годы были постоянно почерпаемы изъ глубинъ русскаго народнаго міросозерцанія [1]).

---

1) *Незеленовъ*, Рѣчь о Пушкинѣ, Спб. 1887 (вошла въ книгу *его же:* «Шесть статей о Пушкинѣ», Спб. 1892), удачно различаетъ два главныхъ періода въ творчествѣ Пушкина, первый — до 1824 г. включительно, «когда великій художникъ усваивалъ себѣ блестящіе и могучіе западно-европейскіе идеалы», и «высшій періодъ его творчества» съ 1828 г., «время органическаго, живого сліянія

Посмотримъ же, что даетъ Пушкинъ, какъ поэтъ слагавшагося постепенно цѣльнаго міровоззрѣнія и мощныхъ концепцій и чувствъ.

Для уразумѣнія и оцѣнки этихъ построеній самый правильный путь — ввести Пушкина въ общее теченіе вѣка и сопоставить нашего поэта съ великими міровыми поэтами, съ вождями литературныхъ движеній и направленій новаго времени. И это тѣмъ умѣстнѣе и необходимѣе, что Пушкинъ откликался на всѣ важнѣйшіе вопросы, волновавшіе его современниковъ, уже съ юности проникся почти всѣми интересами міровой поэзіи новаго времени и рано стремился стать на ея высотѣ. Исходный пунктъ поэзіи Пушкина — литературныя и другія идеи Запада, выработанныя XVIII-мъ вѣкомъ и началомъ XIX-го къ моменту низверженія Наполеона I, и пронесшееся тогда вѣяніе обновленія. Вліяніе родной поэзіи на творчество Пушкина, помимо воспроизведенія его западныхъ идей и формъ, было слабѣе[1]), потому что было формальное и болѣе частное.

въ его душѣ и въ его поэзіи тревожныхъ и страстныхъ западно-европейскихъ началъ съ простыми и добрыми началами русской народной жизни».

1) Объ этомъ вліяніи см. рѣчь *П. В. Владимірова:* «А. С. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ», и данныя о занятіяхъ литературы въ Лицеѣ (въ статьяхъ Гаевскаго и др. — см. ниже).

I.

Основные вопросы мысли и творчества XIX вѣка.

Пушкина нельзя назвать, какъ именовали нѣкоторые Шекспира, — «душою въ тысячу душъ». Есть преувеличеніе и въ знаменитыхъ словахъ Ѳ. М. Достоевскаго, что «Пушкинъ лишь одинъ изъ всѣхъ міровыхъ поэтовъ обладаетъ свойствомъ перевоплощаться вполнѣ въ чужую національность», что геній его обладалъ «всемірностью и всечеловѣчностью». — Не найдемъ мы у Пушкина въ широкихъ размѣрахъ и нѣкоторыхъ могучихъ орудій поэтическаго воздѣйствія, напр., юмора и веселаго смѣха [1]). Нашъ вѣкъ вообще мало склоненъ къ тому и другому, и веселый смѣхъ появился въ русской литературѣ лишь съ Гоголя [2]).

Тѣмъ не менѣе, безспорно, поэзія Пушкина весьма широка и разнообразна. Въ ней находимъ множество художественно нарисованныхъ образовъ, и получили мѣсто и болѣе или менѣе оригинальную постановку большинство основныхъ идей и вопросовъ, волновавшихъ нашъ вѣкъ отъ его начала и до нашихъ дней.

Если Пушкинъ, несмотря на глухую либо явную непріязнь цѣлаго рода критиковъ, все-таки пріобрѣлъ всенародное значеніе,

---

1) Кое-гдѣ есть и у Пушкина проблески юмора, напр., въ «Капитанской дочкѣ» и «Исторіи села Горохина», но ихъ не такъ много.

2) Это призналъ и Пушкинъ. Записки *Смирновой*, I, 43. См. еще V, 292 о «Вечерахъ на хуторѣ»: «Всѣ обрадовались этому живому описанію племени поющаго и пляшущаго, этимъ свѣжимъ картинамъ малороссійской природы, этой веселости простодушной и вмѣстѣ лукавой. Какъ изумились мы русской книгѣ, которая заставляла насъ смѣяться, мы, не смѣявшіеся со временъ Фонъ-Визина!» Ср. VII, 287.

освящаемое и нынѣшнимъ чествованіемъ, то, очевидно, въ его поэзіи таится какая-то особая жизненность, поддерживающая свѣжесть его произведеній помимо нѣкоторой устарѣлости частностей или, лучше сказать, колорита времени, въ которое были написаны нѣкоторыя изъ нихъ.

Источникъ жизненности поэзіи Пушкина заключается не только въ ея глубокой человѣчности, правдивости и связи съ народнымъ духомъ, но и въ томъ, что ею широко затрогиваются и отчетливо ставятся многіе основные вопросы жизни, въ частности русской, какъ ихъ поставило новое время и въ особенности XIX-й вѣкъ.

Предъ поколѣніемъ, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, уже выникали многія изъ тѣхъ проблемъ, которыя въ сущности тяготѣютъ и надъ нами. И тогда намѣчался антагонизмъ лицъ, стоявшихъ за большую или меньшую самобытность русской жизни, съ одной стороны, и съ другой — кружка, считавшаго себя передовымъ и усматривавшаго лучшіе образцы всего на Западѣ [1]); и тогда рѣзко проявлялся разладъ нѣкоторыхъ отцовъ и дѣтей [2]), характеризующій не разъ по преимуществу русскую жизнь со времени Петра В., обострившійся въ нашемъ столѣтіи и проявляющійся даже въ наши дни.

Конечно, наше время не вполнѣ походитъ на Александровскую эпоху, когда, по выраженію кн. П. А. Вяземскаго въ письмѣ къ Пушкину въ с. Михайловское, народъ нашъ былъ «ребяческій, немного или много дикій и воспитанный въ однихъ гостиныхъ и прихожихъ», когда, по словамъ того же Вяземскаго, «мы еще не дожили до поры личнаго уваженія... Оппозиція у насъ безплодна и пустое ремесло во всѣхъ отношеніяхъ: она мо-

---

1) Остафьевскій Архивъ, I, 175, слова А. И. Тургенева 1818 г.: «Мнѣніе отечестволюбцевъ о неподражаніи иностранцамъ безбожно. Гдѣ же Провидѣніе, если мы не должны пользоваться его уроками? На что же оно? На что же жертвы народовъ, если не для другихъ народовъ? Не безбожно ли не видѣть цѣли Провидѣнія въ спасительныхъ урокахъ, которые даетъ оно міру, и не безчеловѣчно ли ими не пользоваться?».

2) «Горе отъ ума».

жетъ быть домашнимъ рукодѣльемъ про себя, но промысломъ ей быть нельзя... Она не въ цѣнѣ у народа... Всѣ поклоняемся мы одному счастью, а благородное несчастье не имѣетъ еще кружка своего»... Люди того времени, по словамъ Пушкина, конечно, не свободнымъ отъ преувеличенія,—

Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей [1]).

Личности разумной съ не погрязшей душой приходилось томиться

Въ мертвящемъ упоеньѣ свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ,
Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
Шальныхъ, балованныхъ дѣтей,
Злодѣевъ и смѣшныхъ, и скучныхъ,
Тупыхъ, привязчивыхъ судей,
Среди кокетокъ богомольныхъ,
Среди вседневныхъ модныхъ сценъ,
Учтивыхъ, ласковыхъ измѣнъ,
Среди холодныхъ приговоровъ
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Разсчетовъ, думъ и разговоровъ [2]).

Теперь не совсѣмъ такъ, но и теперь можно бы сказать съ Пушкинымъ:

Другъ человѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.

---

1) II, 351.
2) III, 357—358.

И конецъ нашего вѣка остался съ большинствомъ тѣхъ же непорѣшенныхъ вопросовъ, что и начало его. Нашъ вѣкъ накопилъ много научныхъ данныхъ, пріобрѣлъ немало новаго опыта, но все-таки испытываетъ прежнюю неудовлетворенность, и печаль, тоска и меланхолія столь же сильны теперь, какъ и во времена Пушкина[1]). Сколько разнообразныхъ формъ принимали рѣшенія основныхъ вопросовъ и утопіи лучшаго порядка и строя и какъ часто они мѣнялись въ нашемъ столѣтіи! И однакожъ, не взирая на эту кипучую дѣятельность ума и на его, казалось бы, успѣхи, приходится оглядываться назадъ. Это и дѣлаетъ страсбургскій профессоръ Циглеръ въ книгѣ, подводящей итоги XIX-го в. для Германіи: онъ указываетъ на чистую человѣчность Гёте, какъ на цѣль, къ которой мы стремимся въ грядущемъ[2]). Такое же обращеніе взоровъ вспять наряду съ движеніемъ впередъ замѣчается и въ другихъ странахъ, напр., во Франціи. И у насъ, кажется мнѣ, въ поэзіи Пушкина можетъ быть находимъ путь для «примиренія прошлаго съ настоящимъ». Напрасно утверждалъ Анненковъ въ 1880 г., что Пушкинъ былъ передовымъ человѣкомъ лишь въ свое время. Для великихъ провозвѣстниковъ великихъ соціальныхъ и нравственныхъ ученій нѣтъ старости! Кое-что въ частностяхъ поэзіи Пушкина, безспорно, устарѣло[3]), но въ общемъ она сохраняетъ жизненность, а иное въ ней имѣетъ и общечеловѣческое значеніе. Душу Пушкина томили тѣ самые вопросы, которые гнетутъ насъ и теперь, и онъ оставилъ намъ въ своей поэзіи не узкое доктринерское рѣшеніе ихъ (то — не дѣло

---

1) См., между проч., *Fiérens-Gevaert*, La Tristesse contemporaine, Par. 1899, и этюдъ *Faguet* подъ тѣмъ же заголовкомъ въ Revue Bleue 28 Janvier 1899.

2) *Th. Ziegler*, Die geistigen und socialen Strömungen des Neunzehnten Jahrhunderts, Berl. 1899, S. 687: «Noch immer gilt das Wort Hegels, dass die Geschichte ein Fortschreiten sei im Bewusstsein der Freiheit. Frei sind aber nur die, die tapfer sind und milde zugleich — tapfer um sich nicht in Fesseln schlagen zu lassen und es aufzunehmen mit dem Leben, milde um andere zu verstehen und über dem Trennenden nicht das menschlich Einigende zu vergessen; und darum ist Goethes reine Menschlichkeit schliesslich doch das Ziel, dem wir zustreben».

3) См. лекцію *Алексѣя Н. Веселовскаго:* «Наканунѣ Пушкина».

поэзіи), а живую, идейную и вмѣстѣ художественную, весьма рельефную постановку ихъ, открывающую, какъ то бываетъ у всякаго великаго поэта, безконечную перспективу[1]). Потому-то поэзія Пушкина остается свѣжимъ благоухающимъ цвѣткомъ въ поэтическомъ букетѣ XIX в., хотя прошло уже болѣе 60 лѣтъ съ той поры, какъ смерть поэта оторвала ее отъ корня жизни.

Основное направленіе поэзіи въ началѣ нашего вѣка повсюду слагалось изъ болѣе или менѣе смутнаго чувства неудовлетворенности настоящимъ, изъ стремленія къ чему-то необычайному и изъ не вполнѣ ясныхъ порываній въ даль и въ высь, потому что твердыхъ и опредѣленныхъ началъ, надеждъ и программъ, какими одушевлялся XVIII-й вѣкъ, не было.

Нападки Вольтера и авторовъ Энциклопедіи на христіанство, 1789 и въ особенности 1792 годы подорвали было, казалось, все прошлое: церковь, государство и прежнее общество. Но исключительное сомнѣніе — не въ натурѣ человѣка. Начинавшемуся XIX-му вѣку оставалось рѣшить вопросъ, возможно ли для мысли возстановить прочныя начала мысли и жизни, разрушенныя сомнѣніемъ и критикой предшествовавшаго столѣтія. Одни продолжали вѣрить въ новыя начала, возвѣщенныя евангеліемъ идейнаго и революціоннаго освобожденія. Другіе, разочаровавшись въ благахъ, какія сулила революція, пытались было порѣшить томительные вопросы возвратомъ къ старымъ преданіямъ во всѣхъ сферахъ жизни. Отсюда отсутствіе примиренія и постоянная борьба въ области мысли религіозной и философской, въ общественной морали, въ сферѣ искусства, въ идеяхъ политическихъ, столкновеніе и самая пестрая смѣсь и хаосъ идей и чувствованій, какія рѣдко бываютъ въ исторіи.

Началось возрожденіе вѣры въ области религіозной: боролись съ унаслѣдованнымъ отъ XVIII вѣка полнымъ отрицаніемъ и

1) Справедливо замѣтилъ въ 1880 г. Юрьевъ, что Пушкинъ «далъ намъ въ своихъ твореніяхъ великій поэтическій синтезъ тѣмъ направленіямъ мысли, которыя до сихъ поръ борются между собою въ сознаніи нашего общества». Вѣнокъ, стр. 41.

скептицизмомъ Энциклопедіи и вольтерьянства сентиментальные или эстетическіе аргументы защиты религіи въ духѣ деиста Руссо, полная и наивная вѣра, переходящая въ мистику, въ міръ таинственнаго и сверхъестественнаго, и, наконецъ, христіанско-практическій спиритуализмъ. Цѣлая группа людей усиливалась возвратить себѣ утраченную вѣру путемъ разума, ища душевнаго мира. Инымъ это совсѣмъ не удавалось, и они безнадежно останавливались передъ порогомъ непознаваемаго. Иные боролись между потребностію вѣрить въ доброе и попечительное міроправленіе и невозможностію представить его себѣ. Нѣкоторые усиливались обосновать необходимость религіозной вѣры политическими доводами въ родѣ того, что политическія общества не могли бы ни установиться, ни держаться, ни существовать средствами чисто-человѣческими [1]), либо опирали свою вѣру на основанія соціальныя [2]), или же эстетическія [3]). Другіе предпринимали построеніе новаго спиритуализма на основѣ тѣхъ таинственныхъ душевныхъ явленій, которыя находятся на рубежѣ нашихъ интеллектуальныхъ завоеваній. Были и такіе, которые, отрѣшая религію отъ догматовъ, превращали ее въ чисто моральное и свѣтское ученіе.

Всѣ эти люди, искавшіе сознательной вѣры, представляли лишь меньшинство въ обществѣ XIX в., большинство же пребывало въ вѣрѣ, не вдумываясь въ нее. На ряду съ нимъ видимъ меньшую группу люда, не вѣрующаго и не вдумывающагося въ

---

1) Графъ Жозефъ de-Maistre.

2) Lamennais училъ, что основаніе всякаго общества заключается во «взаимномъ дарѣ человѣка человѣку», а эта соціальная основа дается лишь религіею.

3) Руссо сомнѣвался въ божественномъ откровеніи и отбрасывалъ въ сторону пророчества и чудеса, какъ засвидѣтельствованныя людьми, могущими ошибаться, и какъ недопустимыя разумомъ, но признавалъ красоту христіанства и его благотворное воздѣйствіе въ теченіе многихъ вѣковъ. Шатобріанъ хотѣлъ изобразить все величіе и прелесть христіанства, всѣ неоцѣненныя блага, которыми ему обязано человѣчество во всѣхъ сферахъ, и говорилъ, что «изъ всѣхъ религій, когда-либо существовавшихъ, христіанская религія — самая поэтичная, самая человѣчная, наиболѣе благопріятствовавшая истинной свободѣ, наукамъ и искусствамъ».

основаніе своего невѣрія. Есть толпа, глядящая на религію, какъ на неизбѣжную условность. И, наконецъ, особо стоять люди, вѣрящіе въ неизвѣстное, зовущееся природой, или же превращающіе Провидѣніе въ антипровидѣніе.

Вообще религіозная мысль образованныхъ людей XIX в. нерѣдко сливалась съ философіею какъ-бы согласно съ идеями Руссо [1]) и въ силу того характера, который пріобрѣтала послѣдняя, становясь въ первой половинѣ XIX в. ученіемъ объ абсолютной идеѣ.

Въ области философіи не видимъ возвращенія къ болѣе или менѣе отдаленному прошлому и обращенія къ авторитету прежнихъ мыслителей [2]). Исключеніе составляло вниманіе къ Канту. При этомъ философія первой половины XIX в. выступила противъ грубаго эмпиризма XVIII в. и пріобрѣла трансцендентальный характеръ. Взамѣнъ англійскаго механическаго деизма и механическаго атеизма XVIII в. нѣмецкая философія XIX в. выдвинула ученіе объ имманентности, всеприсутствіи Бога въ природѣ и человѣкѣ. Французская философія первой половины нашего вѣка была, подобно нѣмецкой, реакціею крайнему матеріализму конца XVIII в., отождествившему духъ и тѣло и объявившему человѣка машиной. Крайности прежняго матеріализма вызвали крайности реакціи со стороны спиритуализма, какъ потомъ вновь [3]) послѣдній сталъ падать въ мнѣніи людей, не желавшихъ становиться «жертвами неукротимой потребности въ абсолютномъ», ищущей удовлетворенія въ спекулятивныхъ (умозрительныхъ) системахъ [4]).

---

1) По словамъ Руссо, «философія» (въ томъ широкомъ смыслѣ, въ какомъ понимали это слово въ XVIII в.) «не можетъ сдѣлать никакого добра, котораго религія не сдѣлала бы еще лучше, и религія не приноситъ такого блага, котораго философія не смогла бы сдѣлать».

2) Только христіанско-практическій спиритуализмъ XIX в., составляющій особенность вѣрующихъ людей XIX в., развивалъ начинанія предшествовавшихъ (IV—XIII, XVII) вѣковъ въ созданіи, въ синтетическомъ единствѣ, науки о трехъ сферахъ существованія (о Богѣ, человѣкѣ и природѣ) и о законахъ, возвышающихся надъ указанными уже общими законами.

3) Со второй половины XIX в.

4) Какъ прежде съ рѣшительностью ставили метафизику, такъ Контъ категорически отвергъ ее.

Какъ нерѣдко отношеніе къ религіи въ нашемъ вѣкѣ тѣсно вязалось съ рѣшеніемъ философскихъ проблемъ спиритуализма и матеріализма, такъ пребывали въ зависимости отъ того же рѣшенія и этическія ученія XIX-го столѣтія, состоя въ то же время въ связи съ религіозными, а иногда и эстетическими воззрѣніями и научными построеніями. Независимо отъ оптимизма и пессимизма и отъ вѣры въ «добрую натуру» человѣка, или же отъ утвержденій о склонности ея ко злу, держались лишь получавшія дальнѣйшее развитіе филантропическія идеи XVIII в. Но при этомъ постоянно боролись христіанское ученіе объ эмоціяхъ спиритуалистически-чистаго происхожденія и о смиреніи въ силу грѣховности и ничтожества человѣка, съ одной стороны, а съ другой — возвеличеніе правъ и достоинствъ геніальнаго «я», ведшее начало со времени гуманизма и воскресшее съ новою силою въ индивидуализмѣ XVIII в. (Руссо и его послѣдователей) и въ «культѣ героевъ» XIX в. Устанавливаемую этимъ культомъ великую «роль личностей въ исторіи» подрывали все болѣе и болѣе пріобрѣтаемыя наукой данныя, въ силу которыхъ человѣкъ, привыкшій въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ усвоять себѣ привиллегированное мѣсто въ системѣ мірозданія, долженъ былъ, при томъ новомъ положеніи, какое назначаетъ ему въ этомъ мірозданіи новая наука, смотрѣть на себя, какъ на безсильную жертву окружающихъ его жестокихъ силъ и условій, какъ на ужасную маріонетку ихъ. Людямъ, вѣрящимъ въ медленное, но вѣрное дѣйствіе научнаго духа, оставалось ожидать, что послѣдній приведетъ къ установленію моральнаго равновѣсія и внутренней дисциплины человѣка. Въ числѣ тѣхъ научныхъ данныхъ, которыя сводятъ до минимума историческую роль личностей, видное значеніе имѣли наблюденія надъ историческою жизнію народовъ и понятія о народныхъ особяхъ, слагавшіяся съ послѣдней четверти прошлаго вѣка и получившія новый толчокъ къ своему развитію со времени великихъ потрясеній европейской государственности въ началѣ настоящаго столѣтія. Соотвѣтственно тому на мѣсто индивидуума XVIII-го и XIX-го вв. иные стали возводить на

пьедесталъ народъ. Отсюда двоякое теченіе въ общественной морали, преобладаніе въ ней либо индивидуализма, либо ученія о долгѣ въ отношеніи къ обществу.

Подобную же борьбу можно наблюдать и въ эстетическихъ ученіяхъ XIX вѣка и при томъ въ двухъ параллеляхъ. Въ европейскихъ литературахъ уже съ конца прошлаго столѣтія боролись космополитизмъ и народность, классицизмъ съ одной стороны и сентиментальный и романтическій культъ народности съ другой, включая въ послѣдній и увлеченіе созданіями народнаго генія массъ. Какъ народному духу усвояли все творчество въ области права и государства, такъ стали говорить и о великомъ значеніи массъ въ созданіи языка и искусствъ. Идея о такомъ значеніи массъ въ народномъ творчествѣ, намѣченная уже во второй половинѣ XVIII в., стала для многихъ великимъ открытіемъ и лозунгомъ XIX в. Новымъ проявленіемъ того же народолюбія явилась тенденція навязыванія поэзіи непремѣнно и преимущественно соціальныхъ задачъ. Противоставшій ей, также романтическій индивидуализмъ въ эстетикѣ привелъ къ такъ наз. теоріи искусства для искусства, опредѣленно выступающей у Гёте [1]) и затѣмъ у романтиковъ, въ особенности французскихъ [2]). Но

---

1) См., напр., изображеніе Тассо, который выставленъ существомъ особаго, высшаго разряда:

Sein Auge weilt auf dieser Erde kaum,
Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur.

Ср. у *Hettner*, Die romantische Schule.

2) См., напр., у Альфреда де-Виньи, который въ 1832 г., въ великіе дни политическаго дѣйствованія французскаго романтизма, одинъ изъ романтиковъ осмѣлился выставить формулу, что не дѣло литераторовъ играть политическую роль. Въ 7-й главѣ «Stello», носящей заглавіе «Un credo» — Исповѣданіе вѣры, — пополняется теорія автора касательно того, что «поэтъ даетъ для себя мѣрку своими произведеніями». Идеалистъ Стелло спрашиваетъ реалиста Чернаго доктора: «Гдѣ вы были?» Черный докторъ отвѣчаетъ съ ужасающимъ равнодушіемъ: «У постели умирающаго поэта. Но прежде, чѣмъ продолжать, я долженъ поставить вамъ одинъ вопросъ: не поэтъ ли вы? Изслѣдуйте себя хорошенько и скажите мнѣ, не чувствуете ли вы себя поэтомъ въ глубинѣ души?». Стелло глубоко вздохнулъ и послѣ мгновенія самососредоточенія отвѣчалъ въ однообразномъ тонѣ вечерней молитвы: «Я вѣрю въ себя, потому что

ближайшая дѣйствительность шумно заявляла свои права, и въ поэзію самихъ этихъ романтиковъ вторгался неодолимо реализмъ.

Наконецъ, и въ сферѣ политической мысли XIX вѣка постоянно предстоялъ выборъ между космополитизмомъ и народностью, между грезами революціи и соціальнаго переворота и вѣковыми началами и формами національной самобытности, между общими принципами свободы и равенства, наиболѣе, казалось, осуществляемыми демократіей, и сословнымъ строемъ. Все это болѣе или менѣе выражалось въ борьбѣ общественности со старою государственностію. — Въ политическихъ организаціяхъ существуютъ двоякіе интересы: 1) преимущественно обусловливаемые физическими потребностями общества, или совокупности единичныхъ личностей, и 2) порождаемые преимущественно духовною

чувствую въ глубинѣ своего сердца тайную, невидимую и непзъяснимую силу вполнѣ уподобляющуюся предчувствію будущаго и откровенію таинственныхъ причинъ настоящаго. Я вѣрю въ себя, потому что въ природѣ нѣтъ такой красоты, такого величія, такой гармоніи, которыя не производили бы во мнѣ пророческаго содроганія, которыя не вносили бы глубокаго волненія въ мою утробу и не наполняли бы моихъ вѣкъ слезами вполнѣ божественными и неизъяснимыми. Я твердо вѣрю въ возложенное на меня несказанное призваніе, и вѣрю въ него по причинѣ безграничнаго сострадапія, которое внушаютъ мнѣ люди, мои товарищи въ несчастіи, и также по причинѣ чувствуемаго мною желанія протягивать имъ руку и безпрестанно возвышать ихъ словами состраданія и любви... Я чувствую, какъ угасаютъ молніи вдохновенія и ясность мысли, когда неопредѣлимая сила, поддерживающая мою жизнь, любовь перестаетъ наполнять меня своею горячею мощью; а когда эта сила переливается во мнѣ, ею озаряется вся моя душа; мнѣ кажется, что я сразу понимаю вѣчность, пространство, твореніе, созданія и рокъ; лишь тогда иллюзія, златоперый Фениксъ, располагается на моихъ устахъ и поетъ... Я вѣрую въ вѣчную борьбу нашей внутренней жизни, плодотворной и призывающей, противъ жизни внѣшней, изсушающей и отталкивающей, и я призываю свыше мысль, наиболѣе способную сосредоточить и воспламенить силы моей жизни, самопожертвованіе и жалость». Устами Стелло въ этомъ credo, исповѣданіи вѣры, говорилъ самъ поэтъ, А. де-Виньи: поэтъ представленъ здѣсь высшимъ существомъ, одареннымъ Богомъ. Несмотря на различіе, отдѣлявшее младшее поколѣніе французскихъ романтиковъ, выступившее послѣ 1830 г. и проникшееся реализмомъ, отъ де-Виньи, теорія послѣдняго объ отрѣшеніи поэта отъ прямого вмѣшательства въ жизнь распространилась среди художниковъ младшихъ поколѣній и достигла у нихъ особаго успѣха. Теофиль Готье основалъ «L'école de l'art pour l'art», послѣдователи которой называли себя художниками фантазіи (artistes fantaisistes).

природою человѣка, другими словами: 1) общественные и 2) государственные. Полнаго равновѣсія обоихъ родовъ интересовъ, т. е. общественныхъ и государственныхъ, не бываетъ, и берутъ перевѣсъ обыкновенно либо тѣ, либо другіе. Французская революція опиралась своей теоретической основой на Contral social Руссо, развившаго ученіе Гоббса и Локка о происхожденіи государства путемъ договора, на ученіе Руссо о правахъ человѣка и о свободѣ, и уже пролагала дорогу столь развившемуся въ XIX в. соціализму [1]), стремящемуся къ разрушенію государства и арміи. Противъ французской революціи за государство вступился англичанинъ Боркъ. Въ его «Разсужденіяхъ о французской революціи» послѣдняя подверглась сильнѣйшимъ нападкамъ. Провозгласивъ: «Men, not measures» (Дайте намъ людей, а не мѣропріятія!), Боркъ явился предшественникомъ нѣмецкой исторической школы нашего вѣка. По взгляду ея, государство имѣетъ нравственныя цѣли; оно — нравственная личность, нравственное общеніе, призванное къ положительнымъ дѣяніямъ для воспитанія рода человѣческаго, чтобы каждый народъ чрезъ государство и въ государствѣ вырабатывалъ изъ себя дѣйствительный характеръ.

Таковы проблемы, наполнявшія жизнь XIX в. и вызывавшія безконечное видоизмѣненіе его творчества въ главныхъ областяхъ мысли и ея дѣятельности.

Русская жизнь нашего вѣка раздѣляла въ большей или меньшей степени усилія къ рѣшенію этихъ задачъ вмѣстѣ съ остальнымъ европейскимъ міромъ, съ которымъ все болѣе и болѣе сливалась. Основные вопросы, волновавшіе Западъ, были все время такими же жгучими и настоятельными злобами вѣка и для насъ.

И для нашей религіозной вѣры не прошло безслѣдно вольнодумство прошлаго вѣка, столь популярное въ нашемъ дворянствѣ

---

1) См. Revue Critique 1899, № 13, Lettre de *M. Lichtenberger* (по поводу замѣтки *Espinas* въ Revue critique о книгѣ *Lichtenberger:* Socialisme et la Révolution française).

вольтерьянство и рѣзкія выходки энциклопедистовъ. И у насъ были пламенные послѣдователи Руссо, и во главѣ ихъ поставленный Пушкинымъ рядомъ съ Руссо — Карамзинъ[1]). И у насъ немало противниковъ безвѣрія обратилось къ мистицизму, а реакція философскому движенію прошлаго вѣка приняла форму увлеченія системами Шеллинга, Гегеля, Менъ де Бирана, и затѣмъ на смѣну философскаго идеализма выступили позитивизмъ, увлеченіе естествознаніемъ и т. п. Въ области морали частной и общественной происходила та же, что и на Западѣ, борьба протеста личности противъ стѣсненія ея правъ и вообще противъ вѣкового склада жизни, увлеченіе народолюбіемъ и проблемами соціальной жизни. Въ области искусства имѣла мѣсто та же, что и тамъ, борьба классиковъ съ романтиками, романтиковъ съ натуралистами и т. п. Но особое значеніе пріобрѣло у насъ и въ прямой своей области, и въ литературѣ движеніе, обусловленное политическими и соціальными ученіями XIX в. Государственность, столь подавлявшая личность и общество въ Московскій періодъ нашей исторіи (въ отличіе отъ до-татарскаго времени) и долго въ императорскій, и стремившаяся къ подавленію всего населенія, кромѣ привиллегированныхъ классовъ, въ шляхетской Польшѣ, казалась инымъ тягостною въ началѣ нашего вѣка. Уже со времени Екатерины II у насъ отдѣльныя единичныя личности стали сознавать, что внѣшнее могущество, достигнутое русскимъ государствомъ, не соотвѣтствовало внутреннему настроенію послѣдняго, являвшемуся отрицаніемъ справедливости. Когда русскій государь въ лицѣ Александра I окружилъ себя ореоломъ славы освободителя народовъ и русскіе люди гордились его подвигомъ[2]), въ средѣ лицъ, бывшихъ современниками и болѣе

---

1) I, 44.

2) Остафьевскій Архивъ, I, 20 (письмо кн. П. А. Вяземскаго А. И. Тургеневу весной 1814 г.): «...дѣла великія и единственныя. Наполеоны бывали, Александра другого нѣтъ въ вѣкахъ. Роль его прекрасная и безпримѣрная. Цѣль его побѣдъ: завоеваніе свободы и счастья царей и царствъ; исторія намъ ничего прекраснѣе, славнѣе и безкорыстнѣе не представляетъ» и т. д.; приписка

или менѣе близкими свидѣтелями этихъ событій и дарованія русскимъ императоромъ конституціонныхъ правъ Польшѣ, стала возникать мечта о томъ, что подобными благами надлежало бы пользоваться и нашему отечеству[1]). Съ Запада хлынули широкой волной освободительныя идеи, и достигли значительнаго распространенія въ образованномъ обществѣ. По словамъ Пушкина о времени около 1821 г., «мы увидѣли либеральныя идеи необходимою вывѣской хорошаго воспитанія, разговоръ исключительно политическій, литературу (подавленную самою своенравною цензурою) превратившуюся въ рукописные пасквили на правительство и въ возмутительныя пѣсни; наконецъ, и тайныя общества, заговоры, замыслы болѣе или менѣе кровавые и безумные. Ясно, что походамъ 1813 и 1814 года, пребыванію нашихъ войскъ во Франціи и Германіи, должно приписать сіе вліяніе на духъ и нравы того поколѣнія, коего несчастные представители погибли»[2]). Въ послѣдніе годы правленія Александра I «строгость правилъ и политическая экономія были въ модѣ. Мы являлись на балы, не снимая шпагъ; намъ неприлично было танцовать и некогда заниматься дамами», читаемъ въ отрывкахъ «Изъ романа въ

В. Л. Пушкина: «Какая радость!.. какая слава для Россіи!... Великъ государь нашъ, избавитель и возстановитель царствъ!»

1) Тамъ же, письмо Вяземскаго изъ Варшавы, 3 апрѣля 1818 г., стр. 97—98: «Воля Николая Михайловича, а нельзя не пожелать, чтобы и на нашей улицѣ былъ праздникъ. Что за дѣло, что теперь мало еще людей! Что за дѣло, что сначала будутъ врать! Люди родятся и выучатся говорить. А теперь развѣ не врутъ въ Совѣтѣ? И зачѣмъ имъ не врать съ одобренія начальства... Умъ хорошо, а два лучше, говоритъ пословица: пусть будетъ она девизомъ конституціи». Письмо Н. И. Тургенева князю Вяземскому 23 мая 1818, стр. 103: «Нельзя... русскому не пожалѣть, что, между тѣмъ какъ поляки посылаютъ представителей, судятъ и отвергаютъ проекты законовъ, мы не имѣемъ права говорить о ненавистномъ рабствѣ крестьянъ, не смѣемъ показывать всю его мерзость и беззаконность. При этомъ нельзя не подивиться, что если запрещаютъ рабство бранить, то вмѣстѣ запрещаютъ и хвалить его. Примѣры же на наше дворянство не дѣйствуютъ. Курляндцы и эстляндцы искореняютъ рабство; даже виленское дворянство произвольно отказывается отъ печальнаго права владѣть себѣ подобными. Мы же продолжаемъ пребывать во грѣхѣ». См. еще стр. 105, въ особенности 142.

2) «Записка о народномъ воспитаніи», поданная въ 1826 г., V, 43.

письмахъ»[1]). Все болѣе и болѣе распространялись воззрѣнія въ родѣ выраженныхъ А. Н. Радищевымъ въ концѣ Екатерининскаго царствованія, въ эпоху громовыхъ раскатовъ французской революціи, и были также люди, которые, какъ Пушкинскій Владиміръ, думали: «Небреженіе, въ которомъ мы оставляемъ нашихъ крестьянъ, непростительно. Чѣмъ болѣе имѣемъ мы надъ ними правъ, тѣмъ болѣе имѣемъ и обязанностей въ ихъ отношеніи. Мы оставляемъ ихъ на произволъ плута прикащика, который ихъ притѣсняетъ, а насъ обкрадываетъ»[2]). Съ той поры и у насъ явилось противоположеніе свѣжихъ требованій общественной мысли государственной рутинѣ, установившееся во Франціи за вѣкъ передъ тѣмъ, и то единеніе государства и общества, которое существовало въ Московскій періодъ и въ первую половину царствованія Екатерины II, было порвано кругами общества, считавшими себя за передовые. Вошла въ употребленіе кличка «либералъ»[3]), и стала зарождаться наша новѣйшая оппозиція[4]). Возникало разобщеніе личности со средой и оттуда грусть и тоска.

---

1) Рѣчь идетъ о 1818 годѣ: «Отрывки изъ романа въ письмахъ», IV, 358. Онѣгинъ (Евг. Он. I, VII):

. . . . . читалъ Адама Смита
И былъ глубокій экономъ.

2) IV, 356. Конечно, мелкопомѣстные дворяне, не служившіе и сами занимавшіеся «управленіемъ своихъ деревушекъ», отличались еще «дикостью»: «для нихъ еще не прошли времена Фонъ-Визина, между ними процвѣтали Простаковы и Скотинины»: IV, 357. Но Н. И. Тургеневъ въ своей деревнѣ «привелъ въ дѣйствіе либерализмъ свой: уничтожилъ барщину и посадилъ на оброкѣ мужиковъ, уменьшилъ чрезъ то доходы» свои. Остафьевскій Архивъ, I, 121.

3) Между прочимъ, либераломъ называлъ Карамзинъ и Пушкина (въ письмѣ къ Дмитріеву). Остафьевскій Архивъ, I, 102, письмо Н. И. Тургенева въ Варшаву: «Нѣкоторыя либеральныя идеи, которыя у васъ переводятъ законосвободными, а здѣсь можно покуда назвать арзамасскими»... См. еще 106, 134: «либеральные стихи» и т. п.

4) А. Н. Вульфъ записалъ о ней въ своемъ дневникѣ подъ 1834 годомъ (*Майковъ*, Пушкинъ, стр. 208): «ея у насъ нѣтъ, развѣ только въ молодежи». Также было и при Александрѣ I. Она ютилась въ средѣ служилой молодежи и проявлялась иногда лишь въ интимныхъ дружескихъ бесѣдахъ и перепискахъ. См., напр., въ письмахъ кн. Вяземскаго: «У насъ и самое самовластіе умѣетъ

Словомъ, въ годы юности Пушкина начали окончательно слагаться новыя идеи о народномъ благѣ и мечты о подведеніи нашего государства подъ тѣ западныя формы, образецъ которыхъ представляли Франція и Англія [1]), и вообще уже тогда выникъ цѣлый рядъ жгучихъ вопросовъ, которые ставилъ постоянно и потомъ весь XIX вѣкъ до нашихъ дней включительно. Они предстаютъ намъ съ неотразимою настоятельностію и теперь, когда анархія идей опять охватила многіе умы и достигла чрезвычайной силы, и въ высшей степени интересно взглянуть, какъ отнесся къ нимъ умнѣйшій человѣкъ въ Россіи того времени, по мнѣнію императора Николая I [2]), человѣкъ, утрата котораго была незамѣнима, по выраженію Мицкевича.

Соблюсти разумную мѣру въ постановкѣ основныхъ вопросовъ и избѣжать близорукости въ опытахъ ихъ рѣшенія—удѣлъ немногихъ свѣтлыхъ умовъ. Пушкинъ достигъ того, между прочимъ, не только благодаря своему великому уму и сердцу, но и въ силу той чрезвычайной широты взгляда, которую пріобрѣлъ внимательнымъ изученіемъ выдающихся произведеній новыхъ литературъ и жизни, въ томъ числѣ и русской. Литература же

еще подгадить; эту ядовитую траву употребляютъ только, чтобы отравливать людей, а никогда не воспользуются ею, гдѣ придется случай выжать изъ нея сокъ, для иныхъ болѣзней цѣлебный»; 142: «Языкъ мой—врагъ мой. У него ничего того ни на умѣ, ни на сердцѣ нѣтъ, а все это такъ говорится для виду, для близиру. А дураки-то и разинули ротъ! Впрочемъ, государствованіе — выученная роль... Повѣрь, въ этомъ режимѣ, отъ престола до лубочнаго поля, всегда есть примѣсь діавольскаго» и т. п. Ср. замѣчанія Мицкевича о русской оппозиціи въ его некрологѣ Пушкина: Міръ Божій, 1899, № 5.

1) Тургеневъ кн. Вяземскому: «Недавно у меня вымарали англійскую свободу въ библейской рѣчи. Скоро ее, вѣроятно, и въ лексиконѣ не останется.

«Благословенный брегъ великаго народа!» (Остаф. Арх. 1,137, ср. 142); кн. Вяземскій Тургеневу: «Теперь метафизическая философія уступила мѣсто метаполитической философіи, и родимый край ея—все тотъ же Парижъ. Въ Англіи учиться труднѣе, чѣмъ во Франціи; тамъ задачи уже разрѣшены, а здѣсь ихъ еще рѣшаютъ» (Ост. Арх., 161). Отвѣтъ Тургенева — на стр. 175: «Во Франціи исторія *дѣлается* еще, въ Англіи она уже давно сдѣлана и даже написана» и т. д.

2) Отзывъ этотъ былъ сдѣланъ послѣ первой бесѣды императора съ Пушкинымъ (въ 1826 г.).

русская, едва ставшая съ лѣтъ Екатерины II обращаться къ коренным вопросамъ новаго времени, мало могла помочь Пушкину въ принципіальномъ рѣшеніи этихъ вопросовъ, и онъ съ лѣтъ отрочества и юности зачитывался иностранною. Прежде всего въ западныхъ литературахъ, а не въ родной, искалъ Пушкинъ и находилъ наиболѣе удовлетворявшіе его отвѣты на томившіе его основные вопросы до той поры, пока, созрѣвъ до вполнѣ самостоятельнаго мышленія, не сталъ обращаться за откровеніями и къ русской душѣ и къ русской дѣйствительности, ея прошлому и настоящему.

Что же почерпнулъ Пушкинъ изъ литературъ Запада и какъ отнесся къ воспринятому оттуда? И что дала ему русская среда и его русская душа?

II.

Отношеніе поэзіи Пушкина къ западно-европейской.

Пушкину довелось подвизаться на литературномъ поприщѣ въ годы появленія цѣлаго ряда крупныхъ талантовъ и чрезвычайно мощнаго подъема поэзіи на Западѣ, расцвѣта ея даже въ той странѣ, въ какой академизмъ и раціонализмъ убили ее на цѣлый вѣкъ передъ тѣмъ, такъ что въ теченіе всего XVIII-го столѣтія Франція имѣла одного истиннаго поэта, а не резонера въ стихахъ, именно — Андре Шенье.

Въ поэзіи 20-хъ и 30-хъ годовъ нашего вѣка одновременно слышались еще отзвуки до-революціоннаго энтузіазма XVIII вѣка и звучали аккорды новаго настроенія, характеризующаго по преимуществу XIX столѣтіе. Пользовались громкою славою рядомъ и представители литературнаго движенія прошлаго вѣка, и поэты, выступившіе впервые въ нашемъ столѣтіи, выразившіе его скорби и чаянія.

Къ старшему поколѣнію принадлежали: великій поэтъ новѣйшей гармоніи духа Гёте, патріархи англійской романтики Вальтеръ-Скоттъ и Уордсвортъ и старшій корифей французскаго романтизма Шатобріанъ. Приблизительно на десять лѣтъ были старше Пушкина великіе англійскіе поэты начала XIX вѣка Байронъ и Шелли и французскій романтикъ Ламартинъ; сверстниками, то немного старше, то немного моложе нашего поэта, были молодые вожди французскаго романтизма 20-хъ и 30-хъ

годовъ В. Гюго, Альфредъ де-Виньи и самая яркая поэтическая звѣзда вечерней зари нѣмецкой романтики и смѣнившей ее поэзіи молодой Германіи Гейне. Вполнѣ сверстникомъ Пушкина былъ обновитель польской поэзіи — Мицкевичъ, увидѣвшій впервые свѣтъ всего за шесть мѣсяцевъ до Пушкина.

Время дѣятельности Пушкина совпало, такимъ образомъ, съ періодомъ необычайнаго оживленія поэзіи. Отличалось оно и быстрымъ движеніемъ литературныхъ идей, въ особенности — благодаря тому интересному явленію, которое называютъ литературнымъ космополитизмомъ.

Стремленіе къ изученію великихъ созданій мысли и творчества, раскрытіе души для ихъ воспріятія и литературное взаимодѣйствіе почти всегда существовали, но никогда не принимали они такихъ размѣровъ, какъ въ новое время, преимущественно съ XVIII столѣтія и съ эпохи новой романтики. Съ той поры принятіе и усвоеніе лучшихъ результатовъ умственной дѣятельности и литературныхъ направленій и формъ, выработанныхъ другими народами, стало постояннымъ и рѣзко замѣтнымъ фактомъ исторіи и неизбѣжнымъ условіемъ болѣе широкаго и многосторонняго народнаго развитія: подобнымъ усвоеніемъ народъ, какъ и отдѣльная личность, спасается отъ узкости и односторонности ума; но важно при этомъ, чтобы заимствованіе не подавляло самобытности.

На Западѣ періодъ широкаго космополитизма и новой романтики открылъ Руссо, котораго можно назвать литературнымъ отцомъ Бернардена де-Сенъ-Пьера и Шатобріана, а также вдохновителемъ цѣлаго ряда романтическихъ произведеній, начиная съ Гётевскаго Вертера.

На Руси литературный космополитизмъ, который былъ такъ по душѣ западной романтикѣ, оказался болѣе въ силѣ, чѣмъ въ какой-либо иной странѣ, вслѣдствіе бѣдности нашей литературы до того времени и въ силу общаго склада русской жизни и направленія большинства русскаго образованнаго общества предъ нашествіемъ Наполеона: космополитизмъ сталкивался въ этомъ

обществѣ съ любовію къ своей народности, но торжествовалъ надъ нею.

Тогда происходило приблизительно то же, что́ повторилось потомъ въ эпоху Крымской войны и во время нашихъ неудачъ въ Турецкую кампанію 1877 года, и отъ чего не вполнѣ отрѣшились мы и теперь.

Въ годы дѣтства Пушкина, по его словамъ, «подражаніе французскому тону временъ Людовика XV было въ модѣ. Любовь къ отечеству казалась педантствомъ. Тогдашніе умники превозносили Наполеона съ фанатическимъ подобострастіемъ и шутили надъ нашими неудачами. Къ несчастію, защитники отечества были немного простоваты,—они были осмѣяны довольно забавно, и не имѣли никакого вліянія... Молодые люди говорили обо всемъ русскомъ съ презрѣніемъ или равнодушіемъ, и шутя предсказывали Россіи участь Рейнской конфедераціи. Словомъ, общество было довольно гадко» [1]).

Потому-то и пришлось первымъ крупнымъ представителямъ нашей поэзіи XIX в., Жуковскому и Батюшкову, черпать такъ много изъ иностранныхъ литературъ. Еще въ большей степени явился представителемъ литературнаго космополитизма въ нашей литературѣ Пушкинъ, и въ силу своего воспитанія, и вслѣдствіе бѣдности тогдашней нашей родной литературы.

На эту бѣдность не разъ жаловался Пушкинъ впослѣдствіи, напр., въ «Первомъ посланіи цензору» (1824) и въ «Рославлевѣ»: «Вотъ уже, слава Богу, лѣтъ тридцать, какъ бранятъ насъ бѣдныхъ за то, что мы по-русски не читаемъ и не умѣемъ (будтобы) изъясняться на отечественномъ языкѣ. Дѣло въ томъ, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, не старѣе Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя же отъ всѣхъ читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ. Въ прозѣ имѣемъ мы только Исторію Карамзина;

1) I, 316; «Рославлевъ» (1831 г.): IV, 114.

первые два или три романа появились два или три года тому назадъ, между тѣмъ какъ во Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой замѣчательнѣе, поминутно слѣдуютъ одна за другой. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены все, извѣстія и понятія, черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ образомъ, и мыслимъ мы на языкѣ иностранномъ (по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которые мыслятъ и слѣдуютъ за мыслями человѣческаго рода). Въ этомъ признавались мнѣ самые извѣстные наши литераторы» [1]).

Не удивительно потому, что и Пушкинъ почерпнулъ свое идейное и отчасти также и формальное литературное образованіе преимущественно изъ иностранной поэзіи и ей былъ обязанъ огромною долею своего вдохновенія. Но только, въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ, Пушкинъ съ довольно ранняго времени выказывалъ силу оригинальной мысли, и значительную самостоятельность, а затѣмъ достигъ и полной самобытности. Въ творчествѣ его западно-европейскія вѣянія сливались съ соотвѣтственными порывами русской души. Справедливо замѣтилъ И. С. Тургеневъ, что «самое присвоеніе чужихъ формъ совершалось имъ съ самобытностью, хотя, къ сожалѣнію, иностранцы не хотятъ это въ насъ признать, называя эти наши свойства ассимиляціей» [2]).

Наиболѣе сильное вліяніе оказывали на Пушкина сначала французская литература, главнымъ образомъ — XVIII в. и начала XIX-го и затѣмъ англійская, преимущественно въ произведеніяхъ Байрона и Шекспира; слабѣе было воздѣйствіе нѣмецкой поэзіи и соприкосновеніе Пушкина съ великими итальянскими

---

1) IV, 111—112; ср. III, 420 (1825 г.): «Говорятъ, что наши дамы начинаютъ читать по-русски».

2) Вѣнокъ, стр. 50.

поэтами, а также съ поэзіей родственныхъ намъ славянскихъ племенъ [1]).

Исходнымъ пунктомъ литературнаго и моральнаго образованія Пушкина, какъ и большинства нашей знати, была французская литература, преимущественно XVII — XVIII вв. Недаромъ Пушкина называли другіе, да иногда и онъ самъ себя французомъ. Если заглянемъ въ поэтическій каталогъ излюбленной его библіотеки въ юности, то увидимъ, что первое мѣсто въ ней занимали французскіе писатели XVII—XVIII вв., а русскіе стояли лишь обокъ съ первыми [2]).

Даже однимъ изъ первыхъ литературныхъ опытовъ Пушкина была французская комедія, въ которой онъ, по его собственному выраженію, обобралъ Мольера (escamota de Molière). Съ произведеніями послѣдняго Пушкинъ тайкомъ ознакомился въ библіотекѣ отца и увлекался ими такъ, что назвалъ автора ихъ «исполиномъ» въ одномъ изъ своихъ юношескихъ стихотвореній [3]).

Впослѣдствіи (въ 1833 г.) Пушкинъ замѣтилъ основную слабость этого исполина, сопоставивъ его съ Шекспиромъ [4]). Потому-то Пушкинъ избѣжалъ односторонности Мольера въ обрисовкѣ Донъ-Жуана, которою задался въ своемъ «Каменномъ Гостѣ» (1830 г.).

Донъ-Жуанъ Пушкина — не антипатичный Мольеровскій безсовѣстный и безбожный дворянинъ времени Людовика XIV, усматривающій во лжи и въ клятвопреступленіи лишь игру; онъ—и

---

1) Весьма здравую и правильную оцѣнку важнѣйшихъ литературъ Запада и ихъ взаимоотношеній, сдѣланную Пушкинымъ въ одной изъ литературныхъ бесѣдъ, см. въ Запискахъ *Смирновой*, I, 147 и слѣд. Опроверженіе сомнѣній относительно Записокъ *Смирновой* см. въ Замѣткѣ ея дочери, Русскій Арх. 1899, № 5.

2) I, 42—44: «Городокъ» (1814).

3) I, 44.

4) V, 185—186: «Лица, созданныя Шекспиромъ, не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненныя многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные, многосторонніе характеры». Немногосложность характеровъ ставилъ Пушкинъ въ вину и Байрону.

не Донъ-Жуанъ Байрона, представляющій типъ милаго обольстителя XIX в. Пушкинскій Донъ-Жуанъ — болѣе симпатичная личность, напоминающая сентиментальнаго ухаживателя и почитателя женской красоты, какимъ явился севильскій обольститель въ звукахъ смычка зальцбургскаго композитора Моцарта благодаря серенадамъ и любовнымъ романсамъ, которые распѣваетъ въ теченіе всего дѣйствія. По толкованію Гофманна, этотъ Донъ-Жуанъ не есть вульгарный развратникъ, перебѣгающій отъ юбки къ юбкѣ; онъ — существо исключительное, надѣленное могучимъ умомъ, необычайною увлекательностію и красотою, безграничными помыслами, но плохо употребляющее свои дарованія. Это — искатель идеала, одна изъ душъ, жаждущихъ божественнаго и прочнаго счастья, но никогда его не находящихъ на этой жалкой землѣ.

Пушкинъ стоялъ какъ-бы на почвѣ приблизительно такого весьма заманчиваго пониманія типа Донъ-Жуана [1]). Въ героѣ своего «Каменнаго Гостя» онъ изобразилъ не «развратнаго, безсовѣстнаго, безбожнаго Донъ-Жуана», какъ понимаютъ послѣдняго монахъ, Донъ-Карлосъ и другіе [2]), а облагороженнаго чтителя любви, искателя въ ней высшей радости и утѣхи. Пушкинъ, долженствовавшій питать снисхожденіе къ преступленіямъ, внушаемымъ этой нѣжной, столь обуревавшею его, страстью [3]), не

---

1) Зналъ ли Пушкинъ это толкованіе Гофманна, вообще пользовавшагося извѣстностью въ русской литературѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ, нельзя опредѣлить. Знакомство же нашего поэта съ либретто Моцартова Don-Giovanni не подлежитъ сомнѣнію и обнаруживается уже изъ эпиграфа «Каменнаго Гостя». О Моцартѣ на нашей сценѣ см. статью *Р.*: «Моцартъ на Петербургской сценѣ» — Вѣстникъ Европы 1868, № 3.

2) III, 198, 202 и др.

3) Въ дневникѣ Пушкина читаемъ (V, 9): «Plus ou moins j'ai été amoureux de toutes les jolies femmes que j'ai connues; toutes se sont possablement morguées de moi; toutes, à l'exception d'une seule, ont fait avec moi les coquettes». Въ «Гавріиадѣ» (Берлинское изданіе):

...Я былъ еретикомъ любви,
Младыхъ богинь безумный обожатель,
Другъ демона, повѣса и предатель...

могъ не отнестись съ симпатіею къ обольстительному испанскому герою любовныхъ похожденій. И отмѣна въ Пушкинской обрисовкѣ по сравненію съ предшествовавшими заключается въ наиболѣе человѣчномъ и глубокомъ пониманіи этого типа [1]) безъ тѣхъ преувеличеній и крайностей въ идеализаціи его, въ которыя впали иные послѣдующіе изобразители его, напр., Альфредъ де-Мюссе (1832 г.). У Пушкина Донъ-Жуанъ является дѣйствительно эстетическою натурою. Это не грубый искатель чувственныхъ наслажденій и одной внѣшней красоты, а мотылекъ, порхающій отъ одного цвѣтка нѣжной женской любви къ другому, вдыхающій ароматъ и оцѣнивающій своеобразную прелесть каждаго изъ нихъ, ищущій въ нихъ жизни и души [2]). Это эклектикъ любви. Въ одной (Донѣ-Аннѣ) Донъ-Жуану нравилась добродѣтель; ранѣе въ другой (Инезѣ) привлекала «странная пріятность въ ея печальномъ взорѣ и помертвѣлыхъ губкахъ. Это странно. Ты, кажется, ее не находилъ красавицей», говоритъ Донъ-Жуанъ своему слугѣ Лепорелло:

. . . . . И точно — мало было
Въ ней истинно-прекраснаго. — Глаза,
Одни глаза, да взглядъ... такого взгляда
Ужъ никогда я не встрѣчалъ! А голосъ

---

1) Ср. *Аверкіева*, О драмѣ. Три письма о Пушкинѣ, Спб. 1893, стр. 40; *Полтавскаго*, Перевоплощенный Донъ-Жуанъ — Вѣстн. Иностр. Литерат. 1899, № 6.

2) Донъ-Жуанъ говоритъ Лепорелло о женщинахъ страны, въ которой пребывалъ въ изгнаніи (III, 196):

. . . . . Да, я не промѣняю,
Вотъ видишь ли, мой глупый Лепорелло,
Послѣдней въ Андалузіи крестьянки
На первыхъ тамошнихъ красавицъ — право.
Онѣ сначала нравились мнѣ
Глазами синими, да бѣлизною,
Да скромностью, а пуще новизною;
Да, слава Богу, скоро догадался:
Увидѣлъ я, что съ ними грѣхъ и знаться;
Въ нихъ жизни нѣтъ — все куклы восковыя...
А наши!...

У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у больной...
А мужъ ея былъ негодяй суровый—
Узналъ я поздно... бѣдная Инеза!...

Изъ этихъ словъ ясно, что́ въ Инезѣ привлекало ея трехмѣсячнаго обожателя, и вмѣстѣ очерченъ мечтательный характеръ его любви, о которой онъ вспоминалъ и потомъ не безъ глубокаго чувства. А «сколько души» въ звукахъ пѣсни, сочиненной Донъ-Жуаномъ для Лауры! [1]) Потому и любитъ его вѣтренная Лаура болѣе другихъ своихъ любовниковъ, хотя и «сколько разъ измѣняла» ему «въ» его «отсутствіи» [2]). Потому же очаровываетъ онъ и Дону-Анну, столь строгую, такъ свято чтившую память своего, убитаго Донъ-Жуаномъ, покойнаго мужа — командора, и никого не видѣвшую «съ тоі поры, какъ овдовѣла». Она боится сначала «слушать» этого «опаснаго человѣка», но все-таки вполнѣ отдаетъ ему свое сердце, хотя и знаетъ его хорошо по слухамъ:

О, Донъ-Жуанъ краснорѣчивъ — я знаю!
Слыхала я: онъ хитрый человѣкъ...
Вы, говорятъ, безбожный развратитель,
Вы сущій демонъ. Сколько бѣдныхъ женщинъ
Вы погубили? [3])

Очевидно, въ этомъ обольстителѣ было такъ много искренняго пыла, глубоко чарующаго женское сердце и, слѣдовательно, истинно-человѣчнаго, что женщины были безсильны въ борьбѣ съ непреодолимою мощью его бурно увлекавшаго чувства. Пушкинъ превосходно понялъ это и изобразилъ съ необычайнымъ талантомъ, проницательностію и вмѣстѣ разумностію и чувствомъ мѣры. Въ такомъ пониманіи истинной человѣчности, вложенномъ въ изображеніе Донъ-Жуана и его предметовъ страсти, и со-

1) III, 197; 202.
2) Ib., 208.
3) Ib., 212 и 221.

стоитъ преимущество Пушкина въ ряду поэтовъ, воспроизводившихъ этотъ типъ.

Потому правъ былъ Бѣлинскій, восхищавшійся «Каменнымъ Гостемъ», но врядъ ли не переступилъ онъ мѣры, когда призналъ это произведеніе «перломъ созданій Пушкина, богатѣйшимъ, роскошнѣйшимъ алмазомъ въ его поэтическомъ вѣнкѣ». При всѣхъ высокихъ достоинствахъ «Каменнаго Гостя», это не главный перлъ въ вѣнцѣ поэта, потому что Пушкинъ не былъ лишь поэтомъ «искусства, какъ искусства, въ его идеалѣ, въ его отвлеченной сущности».

Изъ западныхъ критиковъ Дешанель не сумѣлъ вполнѣ оцѣнить достоинства Пушкинскаго произведенія [1]); но для насъ болѣе имѣютъ значенія сужденія такихъ цѣнителей, какъ Мериме, котораго, по словамъ И. С. Тургенева, «поражала способность Пушкина подходить близко къ явленіямъ, брать ихъ, такъ сказать, за рога, и образъ Пушкинскаго Донъ-Жуана увлекалъ французскаго ученаго» [2]).

Донъ-Жуанъ у Пушкина человѣкъ не нравственный, но не вполнѣ антипатичный и низкій развратникъ; онъ натура страстно поэтическая; недаромъ онъ слагаетъ и пѣсни. Понявъ такъ Донъ-Жуана, Пушкинъ явился истиннымъ начинателемъ здравой и вполнѣ умѣренной идеализаціи этого типа, характеризующей

---

1) *E. Deschanel*, Le romantisme des classiques, quatr. éd., Par. 1885, p. 350 — 354; «l'oeuvre de Pouchkine, saisissante dans sa brièvetè, mais qui ressemble plutôt à une belle ébauche qu'à une oeuvre achevée» — замѣчаніе, ничѣмъ не оправдываемое. Сближеніе доны-Анны съ матроной Ефесской не выдерживаетъ критики, потому что, по всему видно, бракъ ея съ командоромъ не былъ бракомъ по любви («мать моя велѣла дать мнѣ руку Донъ-Альвару»: III, 217); равно и Инезилья была несчастна въ супружествѣ. Не видно глубокаго пониманія и въ замѣчаніяхъ *A. Farinelli*, Don Giovanni — Giornale Storico della letteratura italiana, vol. XXVII (1896), p. 312: «L'Eugenio Onjegin del Puschkin è fratello del Childe Harold e del Don Juan di Lord Byron e chiude mostrando in crudi colori la vanità del gran nulla umano. Il suo Don Giovanni si scosta, é vero, dalla maniera di Lord Byron e segue piuttosto, a distanza, s'intende, quella di Shakespeare e di Goethe; ma vuole significare puresso, in sostanza, che nulla dure quaggiù, ed ogni umana cosa è vana commedia».

2) Вѣнокъ, 50.

вообще отношеніе XIX вѣка къ этому старому сюжету, началомъ своимъ уходящему еще въ глубь среднихъ вѣковъ.

Указанная обрисовка Донъ-Жуана у Пушкина находилась въ связи съ общимъ отношеніемъ этого поэта къ любви и съ его личною душевною жизнью.

Любовь имѣла важное значеніе въ его жизни и поэзіи, начиная съ самыхъ раннихъ его лѣтъ и до кончины. Постепенно все болѣе и болѣе облагораживалось его житейское отношеніе къ ней, какъ и поэтическое. Въ поэзіи Пушкина любовь, какъ и другія явленія жизни, предстаетъ въ чрезвычайномъ разнообразіи, согласно способности этого поэта переживать глубокія чувства во всемъ богатствѣ ихъ многообразія. Въ этихъ разнообразныхъ видахъ любви въ поэзіи Пушкина для насъ въ высшей степени интересно его глубоко-человѣчное пониманіе и воспроизведеніе силы облагораживающаго и возвышающаго душу дѣйствія этого чувства и условій достиженія въ немъ счастья [1]). И во время [2]) и послѣ легкихъ юношескихъ похожденій и фривольныхъ воспѣваній чувственной любви поэтъ поднимался не разъ до глубокаго чувства, являясь какъ-бы Донъ-Жуаномъ, портретъ котораго изобразилъ въ разсмотрѣнномъ драматическомъ наброскѣ. При этомъ воображеніе Пушкина постоянно лелѣяло образъ высшихъ радостей любви, и онъ, долго бывъ въ любви сыномъ XVIII вѣка и анакреонтикомъ во вкусѣ того вѣка «роскоши, прохладъ и нѣгъ», какъ будто неспособнымъ къ пониманію этого чувства въ духѣ Данте и Петрарки [3]), не разъ возвышался

---

1) См. *Южакова*, Любовь и счастье въ произведеніяхъ А. С. Пушкина, Од. 1896 (Русская Библіотека, № 6).

2) III, 302:

И сердцу женщина являлась
Какимъ-то чистымъ божествомъ.

3) Въ письмѣ отъ 25 августа 1823 г. читаемъ: «я прочелъ (Туманскому) отрывки изъ «Бахчисарайскаго Фонтана», сказавъ, что я не желалъ бы ее напечатать, потому что многія мѣста относятся къ одной женщинѣ, въ которую я былъ очень долго и очень глупо влюбленъ, и что *роль Петрарки мнѣ не по нутру*» (VII, 52). О презрѣніи къ платонизму см. Соч. П. I, 189; ср. I, 217—218.

до идеализаціи любви въ духѣ Петрарки и Шиллера. Оставимъ въ сторонѣ извѣстное стихотвореніе къ А. П. Кернъ:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты [1]); и т. д.

Чистоту отношеній поэта къ этому «генію чистой красоты» заподазриваютъ. Можно бы сказать на это, что характерно уже самое преображеніе поэтомъ своего дѣйствительнаго отношенія въ направленіи, которое сообщаетъ особую прелесть этому роману, приблизительно та же идеализація реальныхъ отношеній, или, лучше сказать, подыскиваніе той же основы любви, какое мы видѣли въ «Каменномъ Гостѣ», въ любви Донъ-Жуана къ Донѣ-Аннѣ. Но и помимо этого стихотворенія у Пушкина не разъ находимъ благоговѣйное воспѣваніе женской, и внѣшней, и духовной, красоты, преклоненіе предъ нею и любовь вполнѣ безукоризненную и идеальную, истинную любовь поэта, какъ выразителя высшихъ влеченій человѣческой души, начиная съ средневѣковаго рыцарскаго обожанія Пресв. Дѣвы и полнаго отреченія отъ всякой земной любви [2]). Поэту не разъ было знакомо и романтическое самоотреченіе въ любви къ личностямъ, далекимъ по чему-нибудь [3]), и романтическая любовь, переживающая смерть любимой личности [4]), любовь во вкусѣ

---

1) I, 351 (1825 г.).

2) См., напр., романсъ: «Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный» (IV, 328 — 329 и 333 — 334). Ср. въ моей книгѣ: «Романтика Круглаго Стола въ литературахъ и жизни Запада», I, К. 1890, стр. 40 и слѣд.

3) См., напр., стихотвореніе, относящееся къ А. А. Олениной (1829; II, 63):

Я васъ любилъ *безмолвно, безнадежно*,
То робостью, то ревностью томимъ;
Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно,
Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

4) II, 112 («Заклинаніе», написанное въ 1830 г.—чрезъ четыре съ лишнимъ года послѣ смерти г-жи Ризничъ):

Ламартина [1]), либо преклоняющаяся предъ любимой личностью, какъ передъ существомъ божественнымъ.

Такая возвышенная любовь примиряла усталаго поэта, подавляемаго отрицаніемъ и сомнѣніемъ, съ жизнью, во имя тѣхъ свѣтлыхъ существъ, которыя онъ встрѣчалъ въ ней. Какъ потомъ Лермонтовъ, несомнѣнно подражавшій въ томъ Пушкину, и послѣдній въ иные моменты готовъ былъ воображать себя «другомъ демона» [2]), «демономъ мрачнымъ и мятежнымъ», «духомъ отрицанья и сомнѣнья» [3]), который облагораживался при мысли о «духѣ чистомъ» любимой женщины,

---

Я тѣнь зову, я жду Леилы:
Ко мнѣ, мой другъ, сюда, сюда!
. . . . . тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой. Сюда, сюда!

1) Разумѣю лирику Ламартина, посвященную воспоминаніямъ о любви и печали объ утратѣ. Ср., напр., стихотвореніе Ламартина о Граціэллѣ со стихотвореніемъ Пушкина: «Для береговъ отчизны дальной...» (II, 119), въ которомъ поэтъ опять вспоминалъ г-жу Ризничъ.

2) «Гавриліада» 1823 г. Уже въ письмѣ 1816 г. читаемъ, что поэта «дергаетъ бѣшеный демонъ бумагомаранья» (VII, 1). Ср. I, 310:

Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава.

3) Ср. въ письмѣ 1830 г. (VII, 425): «Vous êtes le démon, c'est-à-dire *celui qui doute et nie*, comme dit l'Écriture». Ср. еще въ стих. 1830 г. «Въ началѣ жизни школу помню я...» (II, 116—118):

...два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой.
То были двухъ бѣсовъ изображенья.
Одинъ (Дельфійскій идолъ), ликъ младой —
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.
Другой — женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ — лживый, но прекрасный.

И жаръ невольный умиленья
Впервые смутно познавалъ.
Прости, онъ рекъ, тебя я видѣлъ,
И ты не даромъ мнѣ сіялъ:
Не все я въ мірѣ ненавидѣлъ,
Не все я въ мірѣ презиралъ [1]).

Такъ обрѣталъ поэтъ новую прелесть въ жизни, проникаясь высокимъ чувствомъ любви [2]), подъ вліяніемъ котораго та или иная личность казалась ему какъ-бы сверхземнымъ существомъ. Таковымъ представлялъ себѣ Пушкинъ и свою невѣсту, Н. Н. Гончарову въ стихотвореніяхъ, напоминающихъ манеру Петрарки. Въ одномъ изъ нихъ любимая личность изображена «торжественно» пребывающею какъ-бы на особомъ пьедесталѣ:

Все въ ней гармонія, все диво,
Все выше міра и страстей....

Встрѣчаясь съ ней, смущенный поэтъ останавливается,

Благоговѣя богомольно
Передъ святыней красоты [3]).

Ср. у Лермонтова. См. еще въ «Онѣгинѣ» (III, 296):

Кто ты: мой ангелъ ли хранитель,
Или коварный искуситель (ср. III, 367),

и въ «Каменномъ Гостѣ» (III, 221):

Вы сущій демонъ.

1) II, 9: «Ангелъ» (1827). Ср. названіе возлюбленной «ангеломъ» въ стихотвореніи, приписываемомъ Пушкину (II, 323), и въ цѣломъ рядѣ другихъ стихотвореній.

2) Соч. II., I, 295.

3) II, 127: «Красавица» (1832). См. еще стихотвореніе «Мадонна» (1830), заканчивающееся стихами:

Исполнились мои желанія. Творецъ
Тебя мнѣ низпослалъ, тебя, моя мадонна,
Чистѣйшей прелести чистѣйшій идеалъ.

И послѣ своей женитьбы Пушкинъ проникался подобнымъ, вполнѣ идеальнымъ, чувствомъ къ личностямъ, которыя плѣняли его своей душевной красотой [1]). То была чисто поэтическая любовь, низшей формой которой являлась любовь Пушкинскаго Донъ-Жуана. Замѣтимъ при этомъ, что и Донъ-Жуанъ, подобно самому поэту, былъ способенъ къ полному духовному возрожденію и какъ-будто выказываетъ въ концѣ наклонность къ нему, быть можетъ — терзаемый укорами совѣсти; это видно изъ его словъ Донѣ-Аннѣ:

Молва, быть можетъ, не совсѣмъ неправа;
На совѣсти усталой много зла,
Быть можетъ, тяготѣетъ; но съ тѣхъ поръ,
Какъ васъ увидѣлъ я, все измѣнилось:
Мнѣ кажется, я весь переродился!
Васъ полюбя, люблю я добродѣтель—
И въ первый разъ смиренно передъ ней
Дрожащія колѣна преклоняю [2]).

Будемъ ли мы считать это простой увертокой Донъ-Жуана и хитростью, чтобы лучше обмануть новую жертву, или же искреннею рѣчью, въ правдивость которой вѣрилъ въ тотъ моментъ ее говорившій [3]), во всякомъ случаѣ приведенныя слова характерны,

---

1) См., напр., стих. «Княжнѣ А. Д. Абамелекъ» (1832; III, 142):

Вы расцвѣли: *съ благоговѣньемъ*
Вамъ нынѣ *поклоняюсь я*,

или же стих. (Ib., 1832):

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться!...
Нѣтъ, полно мнѣ любить! Но почему жъ порой
Не погружуся я въ минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдетъ передо мной
Младое, чистое, небесное созданье? и т. д.

2) III, 221.

3) Въ искренности этого увѣренія не сомнѣвается *Южаковъ*. *Дешанель* замѣчаетъ по поводу заключительнаго восклицанія Донъ-Жуана, проваливающагося въ пропасть: «o, dona-Anna!»: «ce qui semble l'indication, très peu marquée, il est vrai, d'une idée. : l'amante invoquée comme future libératrice et rédemptrice de celui qui l'a perdue».

свидѣтельствуя что Донъ-Жуану не чуждъ былъ голосъ совѣсти, и на то же какъ-будто указываетъ и задумчивость, въ которую погружается Донъ-Жуанъ при воспоминаніи объ Инезильѣ.

Вотъ въ какой тѣсной связи съ жизнью и душевнымъ складомъ поэта оказывается герой «Каменнаго Гостя». Не чуждъ былъ Донъ-Жуанъ и вообще русской жизни, и, слѣдовательно, не правъ былъ Бѣлинскій, усматривая въ «Каменномъ Гостѣ» созданіе «искусства какъ искусства». У насъ также были люди, которыхъ умъ почерпнутъ изъ «Liaisons dangereuses» [1]) и т. п. произведеній, какихъ было немало во французской литературѣ романовъ XVIII вѣка, увлекавшихъ русскую знать и дворянство еще во времена Пушкина.

Подобно типу Донъ-Жуана, не чуждъ былъ русской жизни и другой Мольеровскій типъ — Тартюфа, въ созданіи котораго Пушкина поразила смѣлость Мольера [2]). У насъ были свои Тартюфы, по мнѣнію Пушкина. Такъ, въ 1822 г. онъ назвалъ «Тартюфомъ въ юбкѣ и въ коронѣ» Екатерину II-ю [3]). «Напоминаютъ стыдливость Тартюфа, накидывающаго платокъ на открытую грудь Доринны», также «всѣ господа, столь щекотливые насчетъ благопристойности», признавшіе «Графа Нулина» безнравственнымъ произведеніемъ [4]). Пушкинъ думалъ было изобразить русскаго Тартюфа въ романѣ «Русскій Пеламъ», планъ котораго, относящійся къ 1835 г., не былъ осуществленъ [5]).

Наряду съ Мольеромъ, которому Пушкинъ «остался вѣрнымъ потому, что онъ создалъ настоящую французскую сцену,

---

1) IV, 370. Ср. «Изъ романа въ письмахъ», IX (IV, 358): «Охота тебѣ корчить г. Фобласа и вѣчно возиться съ женщинами» и въ «Онѣгинѣ» I, XII:

Его ласкалъ супругъ лукавый,
Фобласа давній ученикъ.

См. еще III, 303.

2) V, 61. Въ письмѣ 1825 г. (VII, 117) Пушкинъ назвалъ «безсмертнаго» Тартюфа «плодомъ самаго сильнаго напряженія комическаго генія».

3) Ib., 14.

4) V, 123.

5) IV, 409 — 410.

существующую и до сихъ поръ [1]), Пушкину были извѣстны и другіе писатели «великаго вѣка (такъ называли французы вѣкъ Людовика XIV)», которымъ принадлежало нѣкогда «владычество надъ умами просвѣщеннаго міра» [2]): Корнель, Расинъ, Лафонтенъ и Буало, въ особенности два послѣдніе, казавшіеся ему болѣе достойными вниманія.

«Корнеля геній величавый», воскрешенный Катенинымъ [3]), не казался образцовымъ нашему поэту, имѣвшему передъ собою высокія созданія Шекспира [4]) и находившему, что «классическая трагедія умерла, она уже не въ нашихъ правахъ» [5]), и что «гуманизмъ сдѣлалъ французовъ язычниками, и они взяли отъ древнихъ ихъ худшіе недостатки — особенно отъ латинянъ, временъ ихъ упадка, и отъ грековъ» [6]).

Потому же не былъ Пушкинъ и особо ревностнымъ почитателемъ Расина, «по примѣру трагедіи котораго образована и наша трагедія» [7]). Этотъ

. . . . . безсмертный подражатель,
Пѣвецъ влюбленныхъ женщинъ и царей [8]),

---

1) Записки *Смирновой*, I, 153.

2) V, 249 и 246.

3) III, 241.

4) Зап. *Смирновой*, I, 154. — Письмо къ Катенину 1822 г.: «Ты перевелъ Сида; поздравляю тебя и стараго моего Корнеля. Сидъ кажется мнѣ лучшею его трагедіею. Скажи: имѣлъ ли ты похвальную смѣлость оставить пощечину рыцарскихъ вѣковъ на жеманной сценѣ 19-го столѣтія? Я слыхалъ, что она неприлична, смѣшна, ridicule», и т. д. (VII, 36). Les vrais génies de la tragédie ne se sont jamais soucié de la vraisemblance. Voyez comme Corneille a bravement mené le Cid» (VII, 157).

5) Зап. *Смирновой*, I, 153.

6) Ib., 149: «Герои французскихъ трагедій не христіане (кромѣ Поліевкта)» Стр. 150: «Вообще Корнель блестящъ въ тѣхъ сценахъ, гдѣ каждый отстаиваетъ себя; именно, въ Горацiяхъ есть подобная любопытная сцена, но она нисколько не трогаетъ, ...потому что страсть, которая трогаетъ, не разсуждаетъ, она краснорѣчива отсутствіемъ разсужденій и тѣмъ, что Паскаль назвалъ доводами сердца».

7) V, 145 Ср. Ост. Арх. I, 285.

8) III, 155.

также имѣвшій мѣсто въ юношеской библіотекѣ Пушкина, подобно Мольеру и Лафонтену [1]), и также казавшійся тогда «исполиномъ» [2]), былъ ставимъ Пушкинымъ высоко и потомъ (въ 1830 году): «Цѣль трагедіи — человѣкъ и народъ, — судьба человѣческая, судьба народная. Вотъ почему Расинъ великъ, не смотря на узкую форму своей трагедіи», условленную тѣмъ, что онъ перенесъ трагедію «во дворъ». «Кальдеронъ, Шекспиръ, Корнель и Расинъ стоятъ на высотѣ недосягаемой, а ихъ произведенія составляютъ вѣчный предметъ нашихъ изученій и восторговъ» [3]). Но Расинъ — дворскій трагикъ, а «при дворѣ поэтъ чувствовалъ себя ниже своей публики: зрители были образованнѣе его — по крайней мѣрѣ, такъ думалъ онъ и они; онъ не предавался вольно и смѣло своимъ вымысламъ; онъ старался угадывать требованіе утонченнаго вкуса людей, чуждыхъ ему по состоянію; онъ боялся унизить такое-то высокое званіе, оскорбить такихъ-то спесивыхъ своихъ патроновъ: отъ сего и робкая чопорность и отселѣ смѣшная надутость, вошедшая въ пословицу (un héros, un roi de comédie), и привычка влагать въ уста людямъ высшаго состоянія, съ какимъ-то подобострастіемъ, странный не человѣческій образъ изъясненія... Мы къ этому привыкли, намъ кажется, что такъ и быть должно; но надобно признаться, что у Шекспира этого не замѣтно». Пушкинъ усматривалъ «существенныя разницы системъ Расина и Шекспира [4]) и, конечно, отдавалъ предпочтеніе не французамъ, у которыхъ «ни одинъ изъ поэтовъ не дерзнулъ быть самобытнымъ, ни одинъ, подобно Мильтону, не отрекся отъ современной славы. Расинъ пересталъ писать, увидя неуспѣхъ своей Гофоліи. Публика (о которой Шамфоръ спрашивалъ такъ забавно: сколько нужно глупцовъ, чтобы составить публику?),

---

1) Сочиненія *Пушкина*. Изд. И. Ак. Наукъ. Приготовилъ и примѣчаніями снабдилъ *Л. Майковъ*. Т. I, Спб. 1899, стр. 70. Это изданіе въ цитатахъ будемъ означать: Соч. П., I.

2) Ib., 253.

3) V, 141 и 142.

4) V, 143 — 144.

невѣжественная публика была единственною руководительницею и образовательницею писателей» [1]). Мало того: у Расина, какъ и у Корнеля, Пушкинъ открывалъ существенные также промахи въ построеніи трагедіи [2]).

Не находилъ Пушкинъ такихъ погрѣшностей противъ естественности у «добраго» Лафонтена, о которомъ такъ упоминалъ въ описаніи своей юношеской библіотеки:

И ты, пѣвецъ любезный,
Поэзіей прелестной
Сердца привлекшій въ плѣнъ,
Ты здѣсь, лѣнтяй безпечный,
Мудрецъ простосердечный,
Ванюша Лафонтенъ,
Ты здѣсь!.. [3])

Съ Лафонтеномъ Пушкинъ сближалъ Дмитріева, Крылова и автора «Душеньки» Богдановича, который «смѣлъ сразиться» съ французскимъ поэтомъ и «побѣдилъ» послѣдняго [4]). Пушкинъ, высоко ставя Лафонтена, признавая и его «сказки» [5]), не примыкалъ къ нему вовсе въ своемъ творчествѣ, какъ мало оказали на него вліянія и другіе, цѣнимые имъ, великіе французскіе писатели XVII-го вѣка, Паскаль, Боссюэтъ и, въ особенности, Фенелонъ [6]).

---

1) Ib., 247.

2) VII, 69: «Чѣмъ и держится Иванъ Ивановичъ Расинъ, какъ не стихами, полными смысла, точности и гармоніи! Планъ и характеръ «Федры» — верхъ глупости и ничтожества въ изобрѣтеніи» и т. д.

3) Соч. П., I, 69 — 70; о чтеніи Горація и Лафонтена — ib. I, 130.

4) Соч. П., I, 70. См. еще другія сопоставленія Лафонтена съ Крыловымъ (V, 19—20: «Крыловъ превзошелъ всѣхъ намъ извѣстныхъ баснописцевъ, исключая, можетъ быть, Лафонтена»; ср. 30: «мы, кажется, можемъ предпочитать ему Крылова») и съ Богдановичемъ (V, 19: «въ «Душенькѣ» встрѣчаются стихи и цѣлыя страницы, достойныя Лафонтена»).

5) VII, 107 и V, 123 и 125: V, 122: «шутливыя повѣсти».

6) V, 301. О Фенелонѣ см. интересное упоминаніе въ V, 341 (1836): «Въ позднѣйшія времена неизвѣстный творецъ книги «О подражаніи Іисусу Христу»,

Изъ знаменитыхъ французскихъ писателей XVII в. былъ рано изучаемъ и постоянно пользовался уваженіемъ Пушкина еще «классикъ Депрео» [1]).

Французскихъ риѳмачей суровый судія,
Хотя, постигнутый неумолимымъ рокомъ,
Въ своемъ отечествѣ престалъ ты быть пророкомъ,
Хоть дерзкихъ умниковъ простерлася рука
На лавры твоего густого парика,
Хотя растрепанный новѣйшей вольной школой,
Къ ней въ гнѣвѣ обратилъ ты свой затылокъ голый;
Но я молю тебя, поклонникъ вѣрный твой,
Будь мнѣ вожатаемъ! Дерзаю за тобой
Занять каѳедру ту, съ которой въ прежни лѣта
Ты слишкомъ превознесъ достоинство сонета,
Но гдѣ торжествовалъ твой здравый приговоръ
Минувшихъ лѣтъ глупцамъ, вранью тогдашнихъ поръ!
Новѣйшіе врали вралей старинныхъ стоятъ,
И слишкомъ ужъ меня ихъ бредни безпокоятъ! [2])

Чтя въ Депрео «человѣка, одареннаго умомъ рѣзкимъ и здравымъ и мощнымъ талантомъ», «великаго критика», оцѣнивавшаго произведенія «съ такой строгой справедливостью» Пушкинъ не «избралъ въ путеводители себѣ Буало», какъ кн. Кантемиръ [3]), но все-таки рано послѣдовалъ его примѣру [4]) и не разъ сообразовался съ уроками писателя, который «обнародовалъ свой

Фенелонъ и Сильвіо Пеллико въ высшей степени принадлежатъ къ симъ избраннымъ, которыхъ ангелъ Господній привѣтствовалъ именемъ *человѣковъ благоволенія*».

1) Соч. П., I, 137 (1815 г.), VII, 1 (1816) и Соч. П., I, 253 (1817 г.). См. еще III, 250 и VII, 63.

2) II, 160 — 161 (1833). Ранѣе (III, 155; 1830 г.) «степенный Буало» былъ охарактеризованъ Пушкинымъ также, какъ «поэтъ-законодатель, Гроза несчастныхъ риѳмачей».

3) V, 245 — 246 и 252.

4) Соч. П., I, 174—175 и 251—255. См. еще Ост. Арх. I, 304.

коранъ, и французская словесность ему покорилась»[1]). Въ общемъ взглядѣ на поэзію Пушкинъ много сходился съ Боало и, подобно послѣднему, являлся одновременно и строгимъ критикомъ и поэтомъ, подававшимъ прекрасный примѣръ творчества, но только неизмѣримо превзошелъ свой французскій образецъ.

Такъ изученіе даже старыхъ литературныхъ произведеній Запада пробуждало въ Пушкинѣ вдумчивое и критическое отношеніе къ русской дѣйствительности и литературѣ.

Въ особенности обязанъ былъ этимъ Пушкинъ корифеямъ французской литературы просвѣщенія—сначала Вольтеру, а затѣмъ и Руссо, которыхъ называютъ головой и сердцемъ XVIII в. Явившись въ міръ на рубежѣ вѣка просвѣщенія, Пушкинъ остался во многомъ, подобно всему нашему вѣку, сыномъ XVIII-го столѣтія, и, подобно послѣднему, цѣнилъ въ жизни «прекрасныя чувства, свѣтлый, чистый разумъ и надежды»[2]). Западный XVIII-й вѣкъ очень много повліялъ на Пушкина и надѣлилъ его главными изъ идей его поэзіи, но нашъ поэтъ безконечно углубилъ ихъ.

Юноша былъ рано охваченъ и тлетворнымъ вліяніемъ XVIII-го вѣка, вѣка, между прочимъ, эпикуреизма и утонченной безнравственности[3]), вѣка любви будуарной и альковной, анакреонтизма и легкаго, забавнаго и галантнаго жанра «petits vers» въ лирикѣ, не чуждавшейся вольныхъ остротъ, и развращенности въ романахъ Кребильона и т. п.

Оттуда юношеская эротика Пушкина[4]), которая никоимъ образомъ не можетъ быть поставлена ему въ заслугу.

---

1) V, 245.

2) VII, 259.

3) Ее отмѣтилъ и самъ Пушкинъ: Записки *Смирновой*, I, 160.

4) О вліяніи легкой французской лирики на юношескую поэзію Пушкина до двадцатыхъ годовъ включительно см. въ ст. *Гаевскаго*: «Пушкинъ въ лицеѣ и лицейскія его стихотворенія», Современникъ, т. XCVII (1863), стр. 157, 165 и слѣд. Теперь есть возможность обстоятельно ознакомиться съ занятіями Пушкина литературою въ лицеѣ благодаря I-му тому академическаго изданія сочиненій Пушкина, приготовленному къ печати *Л. Н. Майковымъ*. Усматривается

Но уже и въ тѣ молодые годы Пушкинъ умѣлъ возвышаться до энтузіазма къ самымъ свѣтлымъ идеямъ литературы просвѣщенія, и потому рано, очень рано стряхнулъ съ себя излишества эпикуреизма.

Въ литературѣ просвѣщенія Вольтеръ и Руссо являлись наиболѣе извѣстными выразителями торжества разума, достигшаго такого почета въ XVIII в., и затѣмъ культа чувства, восполнявшаго промахи чрезмѣрнаго раціонализма того времени и обращавшаго къ природѣ и непосредственности во избавленіе отъ язвъ извращенной цивилизаціи. При всѣхъ своихъ крайностяхъ, французская философія просвѣщенія XVIII в. имѣла за собою громадную заслугу—горячаго отстаиванія правъ человѣка, какъ гражданина и какъ отдѣльной личности, и протеста противъ общественной порчи, и этой стороною она въ особенности повліяла на Пушкина. Она надѣлила его освободительными стремленіями.

Величайшимъ выразителемъ ихъ, согласно преданіямъ Екатерининскаго времени, Пушкину казался на первыхъ порахъ Вольтеръ. Въ ряду великихъ писателей Вольтеръ былъ первымъ кумиромъ юности Пушкина, о чемъ прямо говорятъ и самъ Пушкинъ [1]) и другіе [2]). Въ то время этотъ «сынъ Мома и Минервы, воспитанный Фебомъ, отецъ Кандида, Ферпейскій злой крикунъ» [3]), казался Пушкину «поэтомъ въ поэтахъ первымъ, соперникомъ Эврипида, Аріоста, Тасса внукомъ»:

Онъ все: вездѣ великъ
Единственный старикъ!

Потому-то былъ онъ

по мѣстамъ въ юношескихъ стихотвореніяхъ Пушкина вліяніе и болѣе старой французской лирики, напр., въ «Stances» (1814 г.)—вліяніе Ронсара, въ «Завѣщаніи» — Вильона и т. п.

1) Въ стих. «Городокъ» (1814; Соч. П., I, 69).

2) По словамъ В. Л. Пушкина, нашему поэту «Вольтеръ лишь нравится одинъ».

3) То же выраженіе въ текстѣ «Руслана и Людмилы» 1820: II, 242.

Всѣхъ больше перечитанъ,
Всѣхъ менѣе томитъ.

Во время пребыванія въ лицеѣ, Пушкинъ читалъ произведенія и біографію его [1]). Нашего поэта интересовали тогда по преимуществу поэтическія произведенія Вольтера, которыя онъ переводилъ [2]) и которымъ подражалъ [3]) и въ дѣтствѣ, въ годы ученія, и вскорѣ потомъ (1814 — 1819). Въ особенности ему нравилась «Орлеанская Дѣвственница», какъ «книжка славная, золотая, незабвенная, катехизисъ остроумія». Еще въ 1818 г. Пушкинъ называлъ «Pucelle d'Orléans» «библіею харитъ» и подарилъ ее «на разлуку» своему другу Н. И. Кривцову [4]). Послѣднее подражаніе Вольтеру относится къ 1827 г. [5]). Но уже съ начала двадцатыхъ годовъ Вольтеръ былъ сдвинутъ съ пьедестала во вниманіи Пушкина другими писателями [6]). И хотя въ 1825 г. нашъ поэтъ все еще считалъ Вольтера, повидимому, первостепеннымъ поэтомъ [7]), но уже обнаруживалъ и критическое отношеніе къ его авторитету. Переводя начало I-й пѣсни «Дѣвственницы», Пушкинъ прибавилъ отъ себя такое обращеніе къ ея автору:

О ты, пѣвецъ сей чудотворной дѣвы,
Сѣдой пѣвецъ, чьи хриплые напѣвы,
Нестройный умъ и чудотворный вкусъ
Въ былые дни бѣсили нѣжныхъ музъ,

---

1) Соч. П., V, 2.

2) Соч. П., I, 131; о «Кандидѣ» — ib., 209; I, 37 (ср. прим., 74), 261 — 263. Шуточная поэма въ стихахъ «*La Tolyade*», написанная въ подражаніе Генріадѣ, когда ему было одиннадцать лѣтъ, была уничтожена имъ. Оцѣнку переводовъ см. у *Гаевскаго*, стр. 168 и слѣд.

3) *Кирпичниковъ*: Мелкія замѣтки объ А. С. Пушкинѣ и его произведеніяхъ, Р. Старина 1899, № 2, стр. 439 — 440, указалъ на нѣкоторое подражаніе Вольтеровой «Дѣвственницѣ» въ «Русланѣ и Людмилѣ».

4) I, 189.

5) II, 14: «Княжнѣ С. А. Урусовой».

6) См. ниже о вліяніи Руссо, Гёте, Байрона.

7) VII, 129.

Хотѣлъ бы ты, о стихотворецъ хилый,
Почтить меня скрипицею своей,
Да *не хочу*. Отдай ее, мой милый,
Кому-нибудь изъ *модныхъ* риѳмачей [1]).

Такимъ образомъ, лишь въ первый, наименѣе значительный, періодъ своей дѣятельности Пушкинъ былъ изъ западныхъ поэтовъ, между прочимъ, подъ сильнымъ обаяніемъ «Фернейскаго злого крикуна». Потомъ онъ отвернулся отъ тенденціозности и скептицизма Вольтера.

Тѣмъ не менѣе, воздѣйствіе послѣдняго не прошло безслѣдно для мыслей Пушкина и въ остальное время его творчества. При этомъ Вольтеръ вліялъ на Пушкина уже болѣе какъ мыслитель, чѣмъ какъ поэтъ.

Вольтеръ былъ однимъ изъ начинателей и столповъ страстной и остроумной критики прошлаго и провѣрки всякихъ авторитетовъ разумомъ, а также того космополитическаго ученія о «человѣкѣ вообще», которыя наполнили міръ грезами о лучшемъ будущемъ человѣчества. Вольтеръ посвятилъ весь свой геній и всю свою 60-лѣтнюю дѣятельность водворенію толерантности, человѣчности и справедливости («faire du bien aux hommes»), борьбѣ противъ того, что̀ утѣсняетъ людей и дѣлаетъ ихъ несчастными, и ненависти къ фанатизму и ханжеству.

Эти черты дѣятельности Вольтера много плѣняли въ вѣкъ Екатерины и въ началѣ царствованія Александра I; должны были увлечь онѣ и юнаго Пушкина, и еще позднѣе, въ 1834 г., нашъ поэтъ называлъ Вольтера «великаномъ сей эпохи», «вліяніе» котораго «было неимовѣрно. Около великаго копошились пигмеи, стараясь привлечь его вниманіе. Умы возвышенные слѣдуютъ за нимъ... Руссо... Дидротъ» [2]).

Изученіе произведеній Вольтера въ гораздо большей степени, чѣмъ чтеніе его предшественника, «скептическаго Бейля» [3]),

1) I, 371.
2) V, 248: «Мысли на дорогѣ».
3) III, 398; ср. V, 227.

развило въ нашемъ поэтѣ не только легкое отрицаніе (вольтерьянство), но и критическій умъ, въ такой высокой степени характеризующій также Пушкина, отзывчивость на основные вопросы и нужды времени и гнѣвъ противъ несправедливостей общественнаго строя. Пушкинъ, какъ и Вольтеръ, во всю свою жизнь, «ближняго любя, давалъ намъ смѣлые уроки». Подъ вліяніемъ, между прочимъ, Вольтера нашъ поэтъ рано проникся намѣреніемъ

. . . . . порокъ изобразить
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажить.

Наконецъ, въ школѣ Вольтера Пушкинъ выработалъ свое, богатое уже отъ природы, остроуміе, проявляющееся съ весьма ранняго времени, между прочимъ, въ мѣткихъ отвѣтахъ [1]) и эпиграммахъ, въ силу котораго онъ принадлежалъ къ выдающимся beaux esprits нашего общества.

Но и въ юные годы Пушкинъ, по свойству натуры своей, не могъ останавливаться на вольтерьянствѣ. Смѣхъ, пронія и скептицизмъ не могли наполнить его широкую душу. Ее увлекали и другіе писатели. Путь къ исправленію нравовъ и рѣшенію проблемъ жизни указывалъ не Вольтеръ.

Болѣе положительными и замѣтными проявленіями и болѣе плодотворными послѣдствіями отозвалось въ творчествѣ Пушкина воздѣйствіе, правда—косвенное, второго величайшаго изъ французскихъ писателей XVIII в., которыми онъ увлекался уже съ лѣтъ отрочества, сначала пріятеля, а потомъ врага Вольтера и рѣзко разошедшагося затѣмъ и съ другими «философами», — женевца Руссо. Вліяніе Руссо было продолжительнѣе и чувствовалось во всю жизнь Пушкина, какъ и вообще во всемъ ходѣ новѣйшей исторіи сказалась удивительная мощь этого плебея, бѣдняка, провинціала, произведшаго великую моральную революю-

1) См. *С. Радкевича*, Сборникъ эпизодовъ изъ жизни А. С. Пушкина—въ газ. Жизнь и Искусство 1899, № 120, 121 и др.; Шутки и остроты А. С. Пушкина, Спб., 1899.

цію не только во Франціи, но и въ Германіи, доставившаго основы ученій метафизическаго, религіознаго и политическаго людямъ 1793 г. и ставшаго однимъ изъ видныхъ выразителей и начинателей новѣйшей меланхоліи. Въ Руссо рѣзко сказался разладъ прекрасной мечты и безотрадной дѣйствительности, тотъ разладъ, который все больнѣе и больнѣе гнететъ душу новаго человѣка, а также проявилось исканіе выхода изъ этого разлада.

Со времени Руссо въ литературѣ послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка и начала настоящаго начинаетъ отчетливо выступать та скорбь существованія, которая была въ мірѣ исконно, но ранѣе еще не достигала такого отчетливаго и сосредоточеннаго выраженія.

Какъ извѣстно, послѣдовавъ намеку Дидро, Руссо ошеломилъ весь образованный міръ своею пламенной филиппикой противъ культуры, наукъ и искусствъ, противъ всего того, чѣмъ гордилась тогдашняя цивилизація. Въ своихъ, достигшихъ громкой славы, произведеніяхъ онъ развивалъ тезисъ, что природа создала человѣка счастливымъ и добрымъ, но его испортило и сдѣлало несчастнымъ общество. Слѣдовательно, мрачное воззрѣніе Руссо имѣло своимъ предметомъ современное ему общество, которое постоянно казалось ему худшимъ, чѣмъ каково оно было на самомъ дѣлѣ. Ставъ въ оппозицію обществу, Руссо отстаивалъ права личности въ противовѣсъ общественному гнету, проповѣдывалъ вражду къ извращенной цивилизаціи, любовь къ простымъ нравамъ, чувство природы и такое воспитаніе, которое научило бы каждаго исполнять долгъ человѣка. Онъ освобождалъ личность, «я», отъ узъ, связывавшихъ ее съ XVI по XVIII в., и способствовалъ распространенію мечтаній о природѣ, выраженія движеній духа, лишь смутно ощущаемыхъ, и сентиментальности, явившихся однимъ изъ элементовъ такъ называемой «міровой скорби», наполняющей новѣйшее время.

Подъ вліяніемъ въ значительной степени Руссо, возникла эпидемическая болѣзнь воображенія и сердца, скорбные вопли кото-

раго выразилъ цѣлый рядъ поэтовъ Запада, начиная съ Руссо, принадлежавшихъ различнымъ національностямъ. Гёте, Шиллеръ, Платенъ, Шатобріанъ, Сенанкуръ, Коуперъ, Бёрнсъ, Байронъ, Фосколо, Леопарди, Альфредъ де-Мюссе, Ленау, Гейне и нѣкоторые другіе одинъ за другимъ будутъ повторять скорбные возгласы, привнося собственные тоны.

Эти поэты міровой скорби отличались широтой и вмѣстѣ неполною опредѣленностію помысловъ, чувствомъ безкопечнаго; на ихъ устахъ виднѣлась иногда насмѣшливая улыбка; они страдали, но иногда находили удовольствіе въ своихъ страданіяхъ; изъ груди ихъ исходилъ лирическій вопль страсти и въ то же время имъ были свойственны пламенные порывы энтузіазма.

Они создали рядъ фигуръ, весьма интересныхъ, хотя и не совсѣмъ новыхъ въ западныхъ литературахъ, потому что Шекспировскіе Гамлетъ, меланхоликъ Жакъ, Тимонъ, Мольеровскій Альсестъ уже могутъ назваться предшественниками разочарованныхъ и вышедшихъ изъ житейской колеи (déclassés) героевъ XVIII и XIX вѣковъ. Послѣдніе удаляются отъ общества, считаютъ себя великими душами, не могущими снизойти до общаго уровня, живутъ великой идеей, проникнуты ею и готовы умереть изъ-за нея.

Рядъ этихъ фигуръ скорби и отчаянія либо гнѣва открываетъ Гётевскій Вертеръ, а нѣкоторымъ слабымъ прототипомъ ихъ въ литературѣ былъ герой романа Руссо «Новая Элоиза» (1769) Saint-Preux, какъ прототипомъ ихъ въ жизни явился Руссо. Saint-Preux выказываетъ внутреннюю разорванность, чувствительность, нерѣшительность, безхарактерность и вмѣстѣ онъ идеалъ учителя, какъ рисовался послѣдній воображенію Руссо, протестантъ противъ предразсудковъ, скептикъ и скорбникъ въ родѣ послѣдняго. Saint-Preux—отображеніе сокровеннѣйшей жизни и чувствованій своего автора.

Своими колебаніями, силою и экзальтаціею своей страсти, могучей и непреодолимой, поэзіею этой страсти и ея утонченностями Saint-Preux становится предшественникомъ романическихъ ге-

роевъ, каковы Вертеръ, Леонсъ, Освальдъ, Рене, Оберманнъ, Адольфъ.

Извѣстнѣйшія изъ этихъ поэтическихъ личностей до времени Пушкина включительно — Вертеръ Гёте, Рене Шатобріана, Адольфъ Бенжамена Констана, Чайльдъ-Гарольдъ и другіе герои Байрона.

Вертеръ, появившійся въ свѣтъ четырнадцать лѣтъ спустя послѣ выхода романа Руссо, — значительно уже выработанный, сконцентрированный и сложившійся типъ declassé, какого въ цѣломъ еще не было въ литературѣ XVIII вѣка и какой существовалъ въ жизни въ такомъ сосредоточенномъ видѣ лишь пока въ лицѣ Руссо, занимавшаго подъ конецъ совсѣмъ уединенное положеніе въ свой вѣкъ въ качествѣ мятежной личности и гордеца. Романъ представилъ чрезвычайно яркое освѣщеніе «внутренней жизни души молодой и больной». Идеи и вкусы Вертера Жанъ-Жаковскіе и вмѣстѣ то были отчетливо и синтетично выраженныя иллюзіи времени, вѣрившаго въ первоначальную доброту людей, проникшагося презрѣніемъ къ обществу, источенному червями, и бросившагося въ культъ безыскусственной природы, опять въ новѣйшее время ставшей предметомъ эстетическаго чувства.

Въ силу полнаго соотвѣтствія духу времени и состоянію общества, которое должна была обновить революція, благодаря также жизненности и чрезвычайной выразительности, романъ о Вертерѣ достигъ необычайнаго успѣха не только въ Германіи, но и въ остальной Европѣ, вызвавъ множество подражаній и навѣявъ немало подобныхъ же литературныхъ произведеній [1]).

Они были тѣмъ естественнѣе, что XVIII-й вѣкъ заканчивался сильными душевными потрясеніями, утомленіемъ и моральнымъ истощеніемъ; вѣра въ убѣжденія, прежде вдохновлявшія, и энтузіазмъ были подорваны неудачнымъ опытомъ революціи. Разрушеніе ея иллюзій порождало меланхолію.

---

1) См. напр., *Gross*, Goethe's Werther in Frankreich, Leipz.

Соотвѣтственно всему тому всюду развилась литература, выражавшая чувство пустоты и безплодной горести жизни. Вертеризмъ перерождался: печальное сѣтованіе мало по малу переходило въ тоску, какъ у Рене, либо въ пессимизмъ, какъ у Оберманна. Меланхолія овладѣвала все болѣе и болѣе и сдѣлалась постепенно настоящею «болѣзнью вѣка», какъ наименовали французы душевное состояніе истомы, безграничныхъ порываній и сознанія безсилія овладѣть новыми раскрывавшимися горизонтами.

Своимъ романомъ о Вертерѣ Гёте создалъ весьма яркій типъ юноши, оказывающагося въ разладѣ съ окружающею дѣйствительностью, между прочимъ, и благодаря несчастной любви. Въ этомъ Гёте сталъ образцомъ для всѣхъ позднѣйшихъ подражателей Руссо. Герои этихъ подражателей относятся одинаково къ цивилизованному обществу: они не согласны подчиняться его требованіямъ, касаются ли эти требованія практической дѣятельности, или морали. Потому всѣ они вынуждены искать выхода изъ своего протеста и уныній и бѣгутъ изъ общества. Одни покачиваютъ съ собою, какъ Вертеръ [1]); другіе не умерщвляютъ себя, а пытаются найти утѣшеніе и облегченіе въ близости къ природѣ, въ экстатическую любовь къ которой бросаются съ чрезвычайною страстностію, уединяясь въ безграничныхъ преріяхъ Америки [2]), или же среди мощныхъ впечатлѣній возводящаго въ высь міра Альпъ [3]).

Въ 1799 г. появились «Rêveries» Sénancour-a, предшествовавшія его «Obermann»-у, въ 1801 г. — «Atala» Шатобріана, въ 1803 — «Peintre de Salzbourd» Нодье, въ 1804 г. «René» Шатобріана и «Оберманнъ» Сенанкура, а въ 1806 г. былъ написанъ изданный десятью годами позднѣе «Адольфъ».

Въ особенности крупнымъ литературнымъ событіемъ было появленіе поэмъ въ прозѣ: «Atala» и «René» Шатобріана, выказавшихъ значительный талантъ автора, а также немалую долю

---

1) Также Ортисъ и художникъ Мюнстеръ въ «Peintre de Salzbourg».
2) Рене.
3) Оберманнъ.

оригинальности въ выраженіи скорбнаго чувства, меланхоліи и мечтательности (rêverie), выступавшихъ уже у Руссо и снискавшихъ послѣднему неизмѣримое количество откликовъ въ сердцахъ его читателей и въ творчествѣ его послѣдователей.

Герой поэмъ Шатобріана, Рене какъ-бы младшій братъ Вертера, человѣкъ уже конца XVIII в., хотя представленъ жившимъ въ началѣ его,—въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ личность болѣе широкая, чѣмъ Вертеръ. Этотъ уроженецъ кельтскаго уголка Европы, одержимый страстью къ невѣдомому, «la passion du vague», находитъ лишь нѣкоторое утѣшеніе въ природѣ со свойственною кельту пламенною любовью къ пейзажу, не отрѣшаясь вполнѣ отъ связи съ обществомъ, но только избранное имъ общество болѣе или менѣе близко къ первобытному: это — общество сѣверо-американскихъ индійцевъ. Особую прелесть поэмъ Шатобріана составляло меланхолическое созерцаніе непрочности земныхъ благъ и преклоненіе предъ вѣчными чудесами природы, міръ порывовъ и мечты, раскрываемый со страстнымъ краснорѣчіемъ и горячностію. Несчастія Рене давали разительный урокъ уныпія, тѣмъ болѣе, что онъ исходилъ отъ христіанина-меланхолика, напрасно ищущаго цѣли въ земномъ существованіи. Его печаль непреодолима, и онъ не чувствуетъ постояннаго влеченія ни къ чему. «Я ищу неизвѣстнаго блага», говоритъ онъ и всюду носитъ съ собою тоску.

Atala и René затмили всѣ другія произведенія сроднаго вертеровскому настроенія, и со времени выхода ихъ въ свѣтъ Рене сталъ носителемъ вертеризма. Очевидно, къ направленію того времени наиболѣе подходила мягкая и примирительная скорбь, не порывающая вполнѣ связей съ міромъ и съ прошлымъ, представителемъ которой въ литературѣ явился пламенный меланхоликъ и болѣзненный мечтатель Рене. Въ этой личности можно наблюдать весьма характерный и типическій для первыхъ десятилѣтій нашего вѣка процессъ соглашенія духа XVIII в. съ поворотомъ къ старинѣ до XVIII в. и чувству безконечнаго, заглохшему въ литературѣ прошлаго столѣтія.

Шатобріану принадлежала весьма видная роль въ образованіи того, что̀ когда-то называли «le mal du siècle» — болѣзнью вѣка — и что̀ можно бы назвать проще романтическою меланхоліею. Къ сожалѣнію, еще не выяснено съ полной точностью, что̀ именно приходится въ ней на долю Шатобріана, но, повидимому, надо признать, что Шатобріанъ повліялъ болѣе Байрона и Гёте на развитіе «болѣзни вѣка» [1]). Онъ первый, если не создалъ, то сообщилъ обширную популярность излюбленному романтическому типу мятежнаго декламатора (Вертеръ еще не декламаторъ). И не только литературными дѣтьми Руссо, но и послѣдователями Шатобріанова Рене были разочарованные люди и фаталисты, столь долго модные въ западныхъ литературахъ Лара, Чайльдъ-Гарольдъ и др. до позднѣйшихъ романтическихъ героевъ включительно.

Они доходили до крайняго индивидуализма. Авторы ихъ забывали, что вдохновитель ихъ, Руссо, не остановился на точкѣ зрѣнія обѣихъ своихъ диссертацій, написанныхъ въ отвѣтъ на Дижонскіе вопросы, указывавшихъ золотой вѣкъ въ естественномъ состояніи человѣка и выражавшихъ глубокое сѣтованіе объ утратѣ этого вѣка. Науки и искусства, пріобрѣтенія культуры, по взгляду, выраженному въ этихъ диссертаціяхъ, — печальное вознагражденіе за утрату счастія, какимъ пользовался человѣкъ въ первобытномъ состояніи. А въ «Contrat social» и «Эмилѣ» Руссо долженъ былъ признать, что идеалъ свободы и нравственности не *за* нами, а *впереди* насъ. И Руссо пришелъ къ такой поправкѣ, отрекаясь отъ точки зрѣнія индивидуальнаго счастія, которое одно лишь было первоначально принимаемо имъ во вниманіе. Руссо ввелъ въ рѣшеніе вопроса болѣе широкія соображенія: какъ одинокій обитатель лѣсовъ, человѣкъ жилъ бы счастливѣе и свободнѣе, но онъ былъ бы добръ безъ заслуги съ его стороны, не былъ бы добродѣтеленъ, между тѣмъ какъ теперь обуздываніемъ страстей онъ достигаетъ преимущества; этимъ

1) Revue d'Histoire littéraire de la France, 15 Octobre 1896, p. 623.

обуздываніемъ и высшимъ благомъ — нравственностью своихъ поступковъ и любовью къ добродѣтели — всякій обязанъ своему отечеству.

Какъ на Западѣ послѣ крушенія радужныхъ надеждъ конца XVIII вѣка далеко не всѣ изъ дѣятелей того времени переходили въ XIX-й съ вѣрою въ прогрессъ общества, завѣщанною оканчивавшимся столѣтіемъ просвѣщенія, такъ одолѣвала иныхъ и у насъ романтическая меланхолія, или тоска.

Ея источникъ былъ тотъ же: непримиримость съ жизнью, неприспособленность къ окружающей обстановкѣ, невозможность найти опорный пунктъ ни въ вѣрѣ живой и наивной за утратою ея, ни въ политически безнадежной дѣйствительности, ни въ обществѣ, разладъ со всѣмъ окружающимъ и въ то же время не въ мѣру возросшая безграничность требованій отъ жизни.

Общее вѣяніе меланхоліи возникло и у насъ эволюціею нашей души и передавалось намъ также съ Запада то неуловимыми путями духовнаго общенія, то литературой. Что до послѣдней, то въ ней отголоски чрезмѣрной «чувствительности» XVIII в.[1]) и запоздавшее у насъ воздѣйствіе вертеризма сливались съ увлеченіемъ Шатобріаномъ, собственно — его «Рене»[2]). Вліяніе Шатобріановскаго разочарованія отозвалось довольно печально въ настроеніи Батюшкова, который «еще въ 1811 г. сознавался, что любитъ этого сумасшедшаго Шатобріана, а особливо по ночамъ, когда можно дать волю воображенію»[3]).

Надо прибавить къ тому воздѣйствіе грустной поэзіи Оссіана, которая нравилась одно время и Пушкину[4]), и такихъ пропзве-

1) *А. Ѳ.* (внутри книги *А. О.*), Утѣхи меланхоліи, россійское сочиненіе. М. 1802.

2) Неблагопріятный отзывъ о публицистической дѣятельности его въ Conservateur см. въ письмѣ кн. Вяземскаго отъ 24 іюля 1819 г. Ост. Арх., I, 273.

3) *Л. Н. Майковъ*, Батюшковъ, его жизнь и сочиненія, Спб., 1887.

4) См. его «Кольну», переложеніе въ стихи изъ перевода Кострова. Соч. II., I, 22—26, и упоминаніе (II, 168; 1834 г.) о томъ, что поэта

То Римъ зоветъ, то гордый Альбіонъ,
То скалы старца Оссіана.

О вниманіи у насъ къ Оссіану см. въ ст. *Гаевскаго*, Совр. 1863, стр. 144—165.

деній, какъ романъ Бенжаменъ Констана «Адольфъ», которымъ увлекались и образованные русскіе читатели съ момента его выхода въ свѣтъ (1816)[1]), или «Jean Sbogar» Шарля Нодье.

Но сильнѣе всего другого, конечно, и удручающимъ образомъ на душу дѣйствовали обстоятельства русской жизни и разложеніе вѣрованій въ старые устои. И у насъ нѣкоторые изъ отчаивавшихся повторяли разсужденіе Гамлета: To be or no to be, that is the question, и иные покончивали съ собою, какъ молодой адъютантъ вел. кн. Константина Павловича, Меллеръ-Закомельскій, оставившій письма, въ которыхъ заявлялъ, что «застрѣлился потому, что надоѣло ему жить и что чувствуетъ свою близкую кончину»[2]). Другіе продолжали жить, но безъ радованія о жизни, и сибаритства XVIII в. не было и слѣда[3]).

Кн. П. А. Вяземскій, напр., «тоскуетъ и страдаетъ душою»[4]), и, кажется, объясненіе этого душевнаго состоянія можно найти

---

1) Ост. Арх., I, 60. Впослѣдствіи Вяземскій перевелъ этотъ романъ и издалъ въ 1831 г. съ посвященіемъ Пушкину. — О Сбогарѣ см. Ост. Арх., I, 133 («Тутъ есть характеръ разительный, а послѣднія двѣ или три главы — ужаснѣйшей и величайшей красоты. Я, который не охотникъ до романовъ, проглотилъ его разомъ»), 137, 142, 244 («что ни говорите, очаровательный романъ»). У Пушкина (III, 286), въ числѣ модныхъ романтическихъ героевъ, названъ и «таинственный Сбогаръ».

2) Ост. Арх., I, 95, 240 («здѣсь (въ Варшавѣ) удивительно какъ самоубійства часты»), 263.

3) Ibid., 300—301: «Мы утратили слабости отцовъ нашихъ, но съ ними и многія наслажденія... Ихъ счастіе увивалось розами, наше — терніями. И въ заблужденіяхъ своихъ слѣдуемъ мы всегда правиламъ; они жили для себя, мы — для другихъ. Они говорили: «День мой — вѣкъ мой»; мы говоримъ: «Вѣкъ — день мой»... Таково направленіе умовъ. Прежній крикъ былъ: наслажденій! нынѣшній: польза!... Конечно, не всѣ дѣйствуютъ для общей пользы, но, по крайней мѣрѣ, все прикрывается вывѣскою пользы... Мы — поколѣніе Катоновъ, какъ ни говори; а отцы наши были сибариты».

4) Ibid., 43; ср. 155: «Я самъ нѣкогда прозѣвалъ самого себя, попадѣясь, что пока со страхомъ и омерзѣніемъ смотрю на душевное свое запустѣніе, надежда еще не совсѣмъ потеряна. Mais je désespère à force d'avoir espéré toujours. Съ поэтомъ это еще легче случиться можетъ. Я поддерживалъ душу дѣятельностью, которую иногда называлъ разсѣяніемъ, но не поддержалъ, и теперь смотрю на самого себя въ прошедшемъ... безъ сожалѣнія и безъ надежды, съ деревяннымъ равнодушіемъ»; 107: «Какой-то червякъ тоски безъ цѣли и причины таится у меня глубоко и отзывается посреди занятій и разсѣянія

въ его безотрадномъ созерцаніи русской дѣйствительности: «Я ничего не знаю скучнѣе русской жизни, читаемъ въ одномъ изъ его писемъ[1]): въ ней есть что-то такое черствое, которое никакъ въ горло не лѣзетъ; давишься да и полно, а сердце (желудокъ нравственнаго бытія) бурчитъ отъ пустоты». Равнымъ образомъ и другъ Вяземскаго, А. И. Тургеневъ, восхищавшійся Байроновымъ «Манфредомъ»[2]), не зналъ душевнаго мира: «Мнѣ умъ и сердце велятъ странствовать. Здѣсь ни съ тѣмъ, ни съ другимъ не уживешься, или, лучше сказать, здѣсь уму тѣсно, а сердцу душно, потому что послѣднее трудно угомонить, когда умъ въ бездѣйствіи. Одинъ онъ можетъ усмирить порывы вѣчнаго своего антагониста. Мнѣ кажется, что одному Карамзину дано жить жизнью души, ума и сердца. Мы всѣ поемъ вполголоса и живемъ не полною жизнью, оттого и не можемъ быть довольны собою, à moins de l'être à la manière de Simon le Franc»[3]).

Понятно послѣ всего этого, что и у насъ должны были явиться литературные образы своихъ выбитыхъ изъ колеи, déclassés, или «лишнихъ людей», какъ ихъ называли въ нашей литературѣ 40-хъ и послѣдующихъ годовъ.

Въ поэзіи Пушкинъ сталъ первымъ яркимъ выразителемъ нашей «болѣзни вѣка», страданія обособившейся человѣческой души: Батюшковъ передавалъ эти страданія не столь полно и напряженно, хотя и изумлялъ иногда своихъ друзей взрывами грусти[4]). О Жуковскомъ же кн. П. А. Вяземскій отозвался такъ въ 1819 г.: «главный его недостатокъ есть однообразіе выкроекъ, формъ, оборотовъ, а главное достоинство — выказывать сокро-

---

и даже посреди домашнихъ радостей»; 211: «Первые дни лѣта дѣлаютъ на меня странное впечатлѣніе: возрождаютъ какое-то чувство жизни, которое ничто иное, какъ тоска, волненіе безбрежное, влеченіе безъ цѣли»; 244: «Сирокко физическій и моральный все еще палитъ меня».

1) Ост. Арх., I, 193.

2) Ib., 288.

3) Ib., 294; ср. 316: «Это письмо съ начала до конца мрачно и похоже на жизнь нашу, потому что исполнено смерти».

4) Ib., 28.

вешнѣйшія пружины сердца и двигать ихъ. C'est le poète de la passion, то-есть страданія. Онъ брепчитъ на распутьѣ: лавровый вѣнецъ его — вѣнецъ терновый, и читателя своего не привязываетъ онъ къ себѣ, а точно прибиваетъ гвоздями, вколачивающимися въ душу»[1]). Пушкинъ годомъ раньше выразилъ нѣсколько иначе и не столь рѣзко впечатлѣніе, какое производила на него «плѣнительная сладость стиховъ» поэта, «стремившагося возвышенной душой къ мечтательному міру, творившаго *для немногихъ*»: внемля стихамъ Жуковскаго, по словамъ Пушкина,

Утѣшится безмолвная печаль
И рѣзвая задумается радость[2]).

Такое воздѣйствіе поэзіи Жуковскаго превзойдено произведеніями Пушкина. Пушкинъ первый въ нашей литературѣ сталъ передавать душевную скорбь, характеризующую XIX-й вѣкъ, съ удивительною силою многосторонней человѣчности. Пушкинъ первый отчетливо проанализовалъ грусть и тоску, которыя стали испытывать наравнѣ съ западно-европейцами и русскіе люди съ начала настоящаго столѣтія, и воспроизвелъ эти душевныя состоянія не только въ своей лирикѣ, но и въ объективномъ изображеніи — въ нѣсколькихъ поэмахъ.

Начальныя проявленія грусти въ поэзіи Пушкина были навѣяны, повидимому, вліяніемъ другихъ поэтовъ, между прочимъ, Батюшкова и Жуковскаго, и относятся къ довольно ранней порѣ — къ семнадцатому году жизни поэта (1815)[3]). Мечтательность его усилилась, когда онъ «встрѣтился съ осьмнадцатой

---

1) Ib., 227.

2) I, 193.

3) Соч. II., I, 110. *Анненковъ*, А. С. Пушкинъ, Матеріалы для его біографіи и оцѣнки его произведеній, изданіе 2-е, Спб., 32, говоритъ: «Въ стихотвореніи 1816 года: *Друзьямъ*, есть уже первыя черты той тихой и свѣтлой грусти, которая составляла впослѣдствіи отличительную черту его элегій»; стр. 34: «въ основаніи его элегической задумчивости нѣтъ никакого дѣйствительнаго событія, еще менѣе настоящей страсти; но эти неясныя и неопредѣленныя жалобы, опережающія жизнь, истинны сами по себѣ».

весной, задумчиво внимая шумъ дубравный». Онъ восклицалъ (1816)[1]) (пользуясь отчасти выраженіями Карамзина, сейчасъ названныхъ поэтовъ и Жильбера):

Гдѣ вы, лѣта безпечности недавной?...
Моя стезя печальна и темна...
Увы, нельзя мнѣ вѣчнымъ жить обманомъ
И счастья тѣнь, забывшись, обнимать!
Вся жизнь моя — печальный мракъ ненастья...
Душа полна невольной, грустной думой;
Мнѣ кажется, на жизненномъ пиру
Одинъ, съ тоской, явлюсь я — гость угрюмый,
Явлюсь на часъ, и одинокъ умру[2]).

Такъ уже тогда поэтъ

...радость свѣтлую забылъ,

и его

....печали мрачный геній
Крылами черными покрылъ[3]).

---

1) Соч. П., I, 201—202: «Посланіе къ князю А. М. Горчакову».

2) Ср. подобныя же выраженія — Соч. П., I, 213:

Гдѣ міръ, одной мечтѣ послушный?
Мнѣ настоящій опустѣлъ!
На все взираю равнодушно;
Дышать унынъемъ — мой удѣлъ.

и Соч. П., I, 233—234:

Ужъ я не тотъ... Невидимой стезей
Ушла пора веселости безпечной...
Отверженный судьбой несправедливой,
И ласки музъ, и рѣзвость, и покой,
Я все забылъ: печали молчаливой
Рука лежитъ надъ юною главой...
Передъ собой одну печаль я вижу:
Мнѣ скученъ міръ, мнѣ страшенъ дневный свѣтъ;
Иду въ лѣса...
Умчались вы, дни радости моей!

а также 212:

Не тотъ удѣлъ судьбою мнѣ назначенъ.

3) Соч. П., I, прим., стр. 316.

Подобныя «мученья» еще не были выраженіемъ горя, вполнѣ вышедшаго душой молодого поэта, да и горе это не было глубоко, если и «въ» вызванныхъ имъ «слезахъ сокрыто наслажденье»[1]), и поэтъ еще ждалъ «въ жизни сей утѣшенья» отъ своего «скромнаго дара и счастія друзей»[2]). «Надежды ранній цвѣтъ» и сердце поэта тогда увядали лишь отъ «горестей несчастливой любви»[3]), и желаніе его, чтобы улетѣлъ «сонъ жизни»[4]), и видѣніе смерти[5]) были только временны, какъ временно бывало и рѣшеніе разстаться съ поэзіею[6]). Въ другіе моменты поэтъ готовъ былъ думать,

. . . . . что любовь погасла навсегда,
Что въ сердцѣ злыхъ страстей умолкнулъ гласъ мятежный,
Что дружбы наконецъ отрадная звѣзда
Страдальца довела до пристани надежной,

и «желанья» усыплялись «гордымъ разумомъ»[7]).

«Сожалѣнія» объ утратѣ
Обмановъ сладостной мечты[8]),

---

1) Ср. Соч. П., I, 220:

Я слезы лью — мнѣ слезы утѣшенье.
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находитъ наслажденье.

2) Соч. П., I, 203.

3) Соч. П., I, 227 и 220, ср. 287: И сердце медленно хладѣло, закрывалось. Душу поэта жегъ «пламень страстный и огонь мучительныхъ желаній» (Соч. П., I, 239—240).

4) Ср. Соч. П., I, 221: «тяжелый жизни сонъ»; I, 201: «сладкій жизни сонъ».

5) Соч. П., I, 226: Я видѣлъ смерть...

6) Соч. П., I, 237: Душѣ наскучили парнасскія забавы,
и 271: Какъ дымъ, исчезъ мой легкій даръ.
Ср. I, 212.

7) Соч. П., I, 239 и 222.

8) Соч. П., I, 262, ср. I, 190:

Любви, надежды, гордой славы
Не долго тѣшилъ насъ обманъ.

въ значительной степени наполнявшія поэзію Пушкина въ послѣдній годъ пребыванія его въ лицеѣ, заглохли было на время по выходѣ изъ этого заведенія.

Когда погасли дни мечтанья,

поэта позвалъ «шумный свѣтъ»[1]), и онъ «велъ дни»

Съ Амуромъ, шалостью, виномъ[2]).

Тогда «все снова расцвѣло»[3]), и «философу раннему», который

...милыя забавы свѣта
На грусть и скуку промѣнялъ,
И на лампаду Эпиктета
Златой Горацiевъ фiалъ,

поэтъ преподавалъ совѣты въ духѣ эпикурепзма:

До капли наслажденье пей,
Живи безпеченъ, равнодушенъ!
Мгновенью жизни будь послушенъ,
Будь молодъ въ юности твоей![4])

А другого пріятеля просплъ не пугать

Гроба близкимъ новосельемъ:
Право, намъ такимъ бездѣльемъ
Заниматься недосугъ[5]).

Мечтателю Кюхельбехеру Пушкинъ говорилъ:

О, если бы тебя, унылыхъ чувствъ искатель,
Постигло страшное безуміе любви....

---

1) Соч. П., I, прим., 380 (ср. 273).
2) I, 188.
3) Соч. П., I, 287.
4) I, 200—201; ср. Соч. П., I, 258: Усердствуй Вакху и любви, и проч. См. еще 265 («Добрый совѣтъ»).
5) I, 200.

Повѣрь, тогда бъ ты не питалъ
Неблагодарнаго мечтанія...[1]).

Но, какъ будто не желая еще отдаваться «грусти и скукѣ», поэтъ съ 1819 г. все таки вновь впадалъ по временамъ въ «уныніе», «унылой думой»

Среди забавъ *былъ* часто омраченъ

и «душой усталой разлюбилъ веселую любовь»[2]). Взамѣнъ ея начали овладѣвать мыслью болѣе серьезные предметы вдохновенія. Въ стихотвореніи «Къ Чаадаеву» (1818 г.) Пушкинъ писалъ:

Исчезли юныя забавы,
Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!
Но въ насъ кипитъ еще желанье:
Подъ гнетомъ власти роковой
Нетерпѣливою душой
Отчизны внемлемъ призыванья!
Мы ждемъ съ томленьемъ упованья
Минуты вольности святой[3]).

Поэтъ писалъ «Про себя»:

Великимъ быть желаю,
Люблю Россіи честь,
Я много обѣщаю,
Исполню ли — Богъ вѣсть[4]).

Проговаривался уже ранѣе, что Богъ создалъ для поэтовъ «уединенье и свободу»[5]), «угорѣвшій въ чаду большого свѣта»[6]), «отъ

---

1) I, 192.
2) I, 201: «Уныніе».
3) I, 190.
4) I, 196.
5) Соч. II., 283.
6) I. 211.

суетныхъ оковъ освобожденный», поэтъ теперь радостно привѣтствовалъ

. . . . . пустынный уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья,

гдѣ онъ учился «въ истинѣ блаженство находить», «вопрошалъ оракуловъ вѣковъ» и такъ обращался къ нимъ:

Въ уединеньѣ величавомъ
Слышнѣе вашъ отрадный гласъ:
Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
И ваши творческія думы
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ [1]).

Теперь онъ любилъ «малый кругъ друзей», «лихихъ рыцарей любви, свободы и вина»,

Гдѣ умъ кипитъ, гдѣ въ мысляхъ воленъ *онъ*,
Гдѣ спорятъ вслухъ, гдѣ чувствуютъ сильнѣе [2]).

По прежнему любилъ онъ также

. . . . . вечерній пиръ,
Гдѣ веселье предсѣдатель,
А свобода, мой кумиръ,
За столомъ законодатель [3]),

любилъ острыя выходки во вкусѣ Клемана Маро [4]). По прежнему Пушкинъ находилъ иногда, что

---

1) I, 205—206.
2) I, 212, 198, 211.
3) I, 212.
4) Ср. I, 199 («В. В. Энгельгардту») со стихотв. Маро: «Adieu aux dames de la court». Пушкинъ былъ знакомъ со стихотвореніями Маро, поэта XVI в. (см. Соч. П., 111 и прим., 113, и V, 245 и 247), какъ и Вяземскій (О ст. Арх., I, 285).

Все призракъ, суета,
Все дрянь и гадость;
Стаканъ и красота —
Вотъ жизни сладость.
Любовь и вино
Намъ нужны равно.
Безъ нихъ человѣкъ
Зѣвалъ бы во вѣкъ.
Къ нимъ лѣнь еще прибавлю...[1])

Но рядомъ со всѣмъ этимъ, «скучая жизнію, томимый суетою», поэтъ уже задавался вопросомъ:

Къ чему мнѣ жить? Я не рожденъ для счастья,
Я не рожденъ для дружбы, для заботъ[2]),

и признавалъ, что отъ всѣхъ утѣхъ юности

Останется унынiе одно[3]).

И прежде онъ говорилъ: «Ужъ я не тотъ»! Теперь перемѣна въ немъ была сильнѣе прежней и многосторонѣе. Не одиночество въ любви, а и другія причины[4]) обусловливали то, что и ранѣе иногда «за чашей ликованья» поэта можно было найти

. . . . . объятаго тоской,
Задумчивымъ, съ поникшей головой,

---

1) I, 214—215.

2) I, 197; ср. Соч. П., I, 203 (1816):

Ужель умру, не вѣдая, что̀ радость?
Зачѣмъ же жизнь дана мнѣ отъ боговъ?

3) I, 201.

4) Быть можетъ, въ числѣ ихъ и тѣ, о которыхъ говорится въ стих. «Безвѣрiе» (Соч. П., I, прим., 392; 1817 г.):

Взгляните: бродитъ онъ съ увядшею душой,
Своей ужасною томимый пустотой;
То грусти слезы льетъ, то слезы сожалѣнья,
Напрасно ищетъ онъ унынью развлеченья, и т. д.

и онъ испытывалъ душевныя страданья[1]). То было

Тоскующей души холодное волненье[2]).

Поэтъ ошибался, когда говорилъ, что для него

Исчезли навсегда часы очарованья...
Надежда въ сердцѣ умерла[3]).

Но все же со времени перевода Пушкина на югъ, съ 1820 г., печаль свила надолго прочное гнѣздо въ душѣ поэта, стала осмысленнѣе и шире по своимъ мотивамъ и начала еще болѣе переходить изъ личной въ міровую скорбь и тоску, вполнѣ однако не ставъ ею и въ самый бурный періодъ жизни Пушкина.

Первое изъ стихотвореній, написанныхъ Пушкинымъ на югѣ, элегія «Погасло дневное свѣтило»[4]), относящаяся къ сентябрю 1820 г. и вылившаяся изъ-подъ пера поэта уже при несомнѣнномъ знакомствѣ съ Байроновымъ Чайльдъ-Гарольдомъ, выказываетъ нѣкоторое внѣшнее родство настроенія поэта, плывущаго у береговъ родины, съ прощальною пѣснью — «Good Night»—Байронова героя міровой скорби[5]), но далека отъ угрюмой холодности той пѣсни: къ «тоскѣ» нашего поэта примѣшивается «волненье»; у «воспоминаньемъ упоеннаго» «въ очахъ родились слезы вновь», которыхъ не вѣдаетъ Чайльдъ-Гарольдъ;

Душа *кипитъ* и замираетъ;
Мечта знакомая.... летаетъ.

Душу нашего поэта наполняютъ воспоминанія о прошломъ: о «безумной любви», о «наперсницахъ порочныхъ заблужденій,

Которымъ безъ любви онъ жертвовалъ собой,
Покоемъ, славою, свободой и душой»,

---

1) I, 212.
2) I, 213.
3) Ibid.
4) I, 222—223.
5) Childe-Harold's Pilgrimage, Canto I, XIII.

объ «измѣнницахъ младыхъ, подругахъ тайныхъ весны златыя», о «питомцахъ наслажденій, минутной младости минутныхъ друзьяхъ». Все это зналъ и Чайльдъ-Гарольдъ = Байронъ; «потерянная младость» и его, какъ нашего поэта, «рано въ буряхъ отцвѣла»; но напрасно по прежнему Пушкинъ приписываетъ себѣ «сердце хладное»: онъ не порвалъ, какъ Чайльдъ-Гарольдъ, съ прошлымъ: предъ нимъ живо, говоритъ онъ,

. . все, чѣмъ я страдалъ, и *все, что сердцу мило*,
Желаній и надеждъ томительный обманъ...
Искатель новыхъ впечатлѣній,
Я васъ бѣжалъ, отечески края...
. . . . . Но прежнихъ сердца ранъ,
Глубокихъ ранъ любви ничто не излѣчило...

Носитель этихъ неизлѣчимыхъ ранъ, проливающій слезы—прежній Пушкинъ, подобный Чайльдъ-Гарольду лишь тѣмъ, что оставилъ «печальные брега туманной родины» своей, плылъ на кораблѣ «по грозной прихоти обманчивыхъ морей» и будто-бы не желалъ возвращаться домой, стремясь въ

Земли полуденной волшебные края [1]).

Нашъ «страдалецъ», полный «думъ тяжелыхъ» и «унынія» [2]), не любитъ одиночества, не прочь

Наслушаться рѣчей веселыхъ,

---

1) Ср. слова Чайльдъ-Гарольда:

With thee, my bark, I'll swiftly go
Athwart the foaming brine.
Nor care what land thou bear'st me to,
So not again to mine.

Но изъ устъ Пушкина не слышимъ:

My greatest grief is that I have
No thing that claims a tear.

2) I, 223—224; ср. 225: «сердечной думы полный,.. я плачилъ задумчивую лѣнь».

«нѣжной красоты» и «юности живой», «дѣвы розы», «оковъ»[1]) которой «не стыдится», и говоритъ:

Смотрю на всѣ ея движенья,
Внимаю каждый звукъ рѣчей,
И мигъ единый разлученья
Ужасенъ для души моей[2]).

Свою скорбь и тоску, никогда не доходившія до полнаго бѣгства отъ людей, ненависти, пессимизма и безнадежности, Пушкинъ передалъ не только въ лирикѣ, но и въ болѣе или менѣе объективномъ изображеніи — въ рядѣ поэмъ. Въ нихъ нашъ поэтъ воспроизводилъ романтическую меланхолію съ каждымъ разомъ все отчетливѣе, художественнѣе и ближе къ дѣйствительности.

Герои разочарованія, изображенные въ поэмахъ Пушкина,— лишь отчасти литературные потомки Руссо и Гётевскаго Вертера, Шатобріанова Рене и другихъ романическихъ личностей Запада. Въ большей степени они—носители душевныхъ страданій и думъ нашего поэта и его сверстниковъ.

Таковъ прежде всего «Кавказскій Плѣнникъ», герой первой изъ Пушкинскихъ поэмъ разочарованія и скорби. Въ нашей поэзіи это первый крупный представитель бѣгства на западный ладъ изъ цивилизованнаго общества, но вмѣстѣ и въ значительной степени самостоятельный образъ. Въ немъ отзывается прежде всего то же настроеніе, съ какимъ насъ ознакомили сейчасъ разсмотрѣнныя стихотворенія Пушкина; въ немъ можно узнать, по признанію самого поэта,

---

1) Ср. II, 336:

Опомнись! долго ль, узникъ томный,
Тебѣ *оковы* лобызать, и проч.

2) I, 224. Интересенъ варіантъ къ послѣднимъ двумъ стихамъ:

И краткій мигъ уединенья
Несносенъ для души моей.

Противорѣчіе страстей,
Мечты знакомыя, знакомыя страданья,
И тайный гласъ души

поэта, который

.....погибалъ безвинный, безотрадный,
И шопотъ клеветы внималъ со всѣхъ сторонъ...
...рано скорбь узналъ, постигнутъ былъ гоненьемъ,
...жертва клеветы и мстительныхъ невѣждъ;
Но, сердце укрѣпивъ свободой и терпѣньемъ,
...ждалъ безпечно лучшихъ дней,
И счастіе его друзей
...было сладкимъ утѣшеньемъ[1]).

Можно бы подыскать ко многимъ, важнѣйшимъ по выраженію основной мысли, стихамъ «Кавказскаго Плѣнника» соотвѣтственныя мѣста въ предшествовавшей лирикѣ Пушкина, между прочимъ—уже лицейскаго періода[2]), и изъ этого ясно, насколько

---

1) II, 276—277: «Кавказскій Плѣнникъ», посвященіе; VII, 30: «въ немъ есть стихи моего сердца».

2) Сопоставьте характеристику жизни Плѣнника до прибытія его на Кавказъ (II, 279):

..... пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ,
.... первую позналъ онъ радость,
.... много милаго любилъ,
.... обнялъ грозное страданье,
.... бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердце заключилъ,

съ данными о душевной жизни Пушкина, заключающимися въ его лирикѣ 1816—20 гг., и вы найдете въ послѣдней то же: и ранніе ожиданія счастія отъ жизни, и безнадежную любовь, и презрѣніе къ свѣтской суетѣ, и охлажденіе будто бы сердца, ослабленіе интереса даже къ поэзіи (Плѣнникъ также «охолодѣлъ къ мечтамъ и лирѣ»), и сохраненіе будто лишь любви къ свободѣ, и въ то же время тоску по оставленной вдали любимой личности. Поэтъ еще въ 1822 г. писалъ въ заключеніи «Бахчисарайскаго Фонтана» (II, 336):

Я помню столь же милый взглядъ
И красоту еще земную;

скорбь, характеризующая Плѣнника, была вынесена въ душѣ его поэта. Послѣ того внѣшнія сходства съ произведеніями иностранныхъ литературъ[2]), какія можно открыть въ нѣкоторыхъ подробностяхъ повѣствованія и обрисовки героя поэмы, не имѣютъ первостепеннаго значенія для уясненія ея генезиса. Внутренній генезисъ данъ уже только что изложенною исторіею кризиса въ душѣ Пушкина, начиная съ послѣдняго года пребыванія его въ лицеѣ. Кавказскій Плѣнникъ — лишь образное выраженіе и закрѣпленіе, сведеніе во-едино извѣстныхъ уже намъ и ранѣе душевныхъ переживаній самого поэта: его беззаботной и радостной молодости, затѣмъ бурной жизни, гоненій, страданій и увяданія сердца, измученнаго страстями, охлажденія души и сохраненія ею, послѣ всѣхъ этихъ крушеній, еще стремленія къ свободѣ вдали отъ суетнаго свѣта, на лонѣ природы и простой жизни. Многое изъ этого отличало и Байроновыхъ героевъ, но Пушкинъ, какъ мы видѣли, пережилъ все это самъ, и его Плѣнникъ носитъ отпечатокъ индивидуальныхъ душевныхъ состояній самого поэта. И вмѣстѣ съ тѣмъ Плѣнникъ — уже носитель міровой скорби, какъ она сложилась со времени Руссо, правда — еще слишкомъ юный и незрѣлый, какъ и самъ поэтъ въ то время. Уже

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ
И зналъ невѣрной жизни цѣну...
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной *суеты*...
Отступникъ свѣта, другъ природы,

онъ лелѣялъ еще «призракъ священной свободы»:

Свобода! онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ...

Всѣ думы сердца къ ней летятъ;
Объ ней въ изгнаніи тоскую... и проч.

1) См. у *Сиповскаго*, Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ, Спб., 1899, стр. 24—25 и 30. Должно замѣтить, однако, что фабула поэмы заимствована изъ разсказа одного изъ московскихъ знакомцевъ Пушкина.

Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ,
Одушевленныя тобою;
И съ вѣрой, пламенной мольбою
Твой гордый идолъ обнималъ [1]).

Какъ Пушкинъ, думавшій было, что

Беллона, музы и Венера —
Вотъ, кажется, святая вѣра
Дней нашихъ всякаго пѣвца [2]),

желалъ поступить въ военную службу, такъ и его Плѣнникъ отправился на Кавказъ въ надеждѣ достигнуть тамъ истинной свободы, избѣжавъ

Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы [3]).

Очутившись въ плѣну у горцевъ, «отступникъ свѣта, другъ природы»

Любилъ ихъ *жизни простоту*,
Гостепріимство, жажду брани,
Движеній *вольныхъ* быстроту...
.....все тотъ же видъ
Непобѣдимый, непреклонный [4]).

---

1) II, 280.
2) Соч. П., I, 281.
3) Гусары, по словамъ поэта (I, 175),

...живутъ въ своихъ шатрахъ,
Вдали забавъ и нѣгъ и грацій,
Какъ жилъ безсмертный трусъ Горацій
Въ тибурскихъ сумрачныхъ лѣсахъ;
Не знаютъ свѣта принужденья,
Не вѣдаютъ, что̀ скука, страхъ...

4) II, 280. Что до любви къ природѣ, то она у Плѣнника отличается уже характеромъ, напоминающимъ Лермонтовскую: такъ (II, 284),

...плѣнникъ съ горной вышины,
Одинъ, за тучей громовою,
Возврата солнечнаго ждалъ,

Во всемъ этомъ настроеніи было много юношеской неопытности, и эксцентричное исканіе истинной свободы не увѣнчалось успѣхомъ. Самый герой не облеченъ чарами особой привлекательности, и вообще, по справедливому замѣчанію самого поэта[1]), это — «первый неудачный опытъ характера, съ которымъ Пушкинъ насилу сладилъ». Поэтъ «въ немъ хотѣлъ изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи 19-го вѣка»[2]), представить «молодого человѣка, потерявшаго чувствительность сердца въ несчастіяхъ». Плѣнникъ выказываетъ «бездѣйствіе, равнодушіе къ дикой жестокости горцевъ и къ прелестямъ кавказской дѣвы»[3]), но нельзя не признать, что міровой скорбникъ очерченъ въ немъ еще блѣдно и неполно.

Причудливую форму, подобно какъ въ Шиллеровыхъ «Разбойникахъ», получило исканіе свободы также и въ «Братьяхъ Разбойникахъ» Пушкина. Поэтъ заканчиваетъ эту поэму словами:

..... Въ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть:
Она проснется въ черный день[4]).

Оказывается неудовлетвореннымъ своею жизнью, чуя высшія начала, и герой «Бахчисарайскаго Фонтана» (1822), «грозный ханъ» Гирей, «повелитель горделивый», къ «строгому челу» котораго присматривались со вниманіемъ всѣ подчиненные:

Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
Съ какой-то радостью внималъ.

1) V, 121: «Характеръ Плѣнника неудаченъ», писалъ Пушкинъ (V, 25) уже въ 1821 г. См. еще VII, 30 и 166, и IV, 420. Ср. *А. И. Соболевскаго*, Значеніе Пушкина, К. 1887, стр. 9.

2) VII, 25.

3) VII, 30.

4) II, 308. «Какъ сюжетъ, c'est un tour de force» (VII, 54), отозвался самъ Пушкинъ.

Благоговѣя всѣ читали
Примѣты гнѣва и печали
На сумрачномъ его челѣ.

Эта «гордая душа» «скучаетъ бранной славой»; «полонъ грусти умъ Гирея»; послѣдній не заглядываетъ и въ роскошную «завѣтную обитель еще недавно милыхъ женъ». Гирей презрѣлъ чудныя красы «звѣзды любви, красы гарема», грузинки Заремы,

И ночи хладные часы
Проводитъ мрачный, одинокій,
Съ тѣхъ поръ, какъ польская княжна
Въ его гаремъ заключена[1]).

Причина тоски Гирея—особая любовь къ плѣнной княжнѣ Маріи. Онъ чтитъ плѣнницу не какъ другихъ невольницъ, потому что смутно чувствуетъ въ ней то же, что привлекало къ ея образу и самого поэта,—«души неясный идеалъ»[2]), ангельскую, «чистую душу»:

Съ какою бъ радостью Марія
Оставила печальный свѣтъ!
Мгновенья жизни дорогія
Давно прошли, давно ихъ нѣтъ!
Что дѣлать ей *въ пустынѣ міра*?
Ужъ ей пора, Марію ждутъ,
И въ небеса, на лоно мира
Родной улыбкою зовутъ[3]).

---

1) II, 322—323, 325, 326.

2) I, 226—227: «Фонтану Бахчисарайскаго дворца». Ср. заключеніе «Бахчисарайскаго Фонтана» (II, 336):

Невольно предавался умъ
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тѣнью
Мелькала дѣва предо мной...

3) II, 333—334.

Этотъ-то «нѣжный образъ» и раскрылъ «мрачному, кровожадному» хану обаяніе глубокой внутренней жизни, которой онъ дотолѣ не подозрѣвалъ, и заронилъ въ него зерно новой жизни. Оно не проросло въ немъ, и поэтъ не совсѣмъ удачно передалъ, какъ

...въ сердцѣ хана чувствъ иныхъ
Таится пламень безотрадный [1]);

но все-таки «Бахчисарайскій Фонтанъ» совершеннѣе изображаетъ неудовлетворенность обычною жизнью, чѣмъ «Кавказскій Плѣнникъ», передаетъ ее болѣе правдиво и естественно и въ болѣе реальной обстановкѣ. Самая критика «гордой» и черствой души, падлежащая ея оцѣнка дана еще лучше образомъ Маріи, чѣмъ оцѣнка Плѣнника — сопоставленіемъ съ любящею его черкешенкой [2]). Поэма о Фонтанѣ оправдываетъ слова поэта, что

....сердце, жертва заблужденій,
Среди порочныхъ упоеній,
Хранитъ одинъ святой залогъ,
Одно божественное чувство [3]).

Въ такомъ воззрѣніи уже какъ-бы проскальзывала легкая поправка къ представленію гордыхъ душъ въ ореолѣ особой привлекательности. Пушкинъ уже привносилъ въ изображеніе героевъ разочарованія данныя русской дѣйствительности и личнаго опыта и наблюденія и начиналъ освѣщать при помощи своего нравственнаго чутья лучше всѣхъ своихъ западно-европейскихъ

---

1) Слѣдующее затѣмъ описаніе:

Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю, и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ, и проч.,

вызывало насмѣшки (см. V, 121).

2) Мы расходимся въ этомъ случаѣ съ сужденіемъ самого поэта, находившаго, что «Бахчисарайскій Фонтанъ слабѣе Плѣнника» (V, 121). Ранѣе Пушкинъ писалъ (VII, 54): «Бахчисарайскій Фонтанъ»; между нами, дрянь, но эпиграфъ его — прелесть» (ср. V, 133).

3) II, 329.

предшественниковъ въ изображеніи этого типа всѣ слабыя стороны послѣдняго: эгоизмъ (въ Плѣнникѣ, Гиреѣ и Алеко), любовь къ праздности и лѣнь (въ Алеко), отсутствіе твердыхъ положительныхъ началъ (въ Онѣгинѣ) и т. п.

И въ этой критикѣ Пушкину могъ нѣсколько помочь своими болѣе зрѣлыми произведеніями тотъ самый Руссо, отъ котораго вышло все это литературное движеніе міровой скорби. Пушкинъ, какъ и Руссо, сталъ на точку зрѣнія необходимости обуздыванія страстей и эгоизма. Этимъ онъ отличается болѣе всѣхъ другихъ поэтовъ въ изображеніи и оцѣнкѣ героевъ разочарованія. Уразумѣть несостоятельность ихъ Пушкину много пособило его русское тонкое, нравственное чутье, но не прошло для него безслѣдно при этомъ и вліяніе Руссо. Въ «Цыганахъ» мы услышимъ и повтореніе тезисовъ первыхъ диссертацій этого писателя, и опроверженіе ихъ примѣнительно къ нравственному чутью нашего поэта и къ позднѣйшимъ поправкамъ парадоксовъ французскаго писателя.

«Задумчивый»[1]) Руссо былъ извѣстенъ Пушкину уже на двѣнадцатомъ году жизни поэта[2]). Жанъ-Жакомъ, повидимому, тогда увлекалась сестра Пушкина Ольга (впослѣдствіи Павлищева)[3]); и это увлеченіе могло передаться и нашему поэту. Потомъ Пушкинъ отзывался о Руссо весьма строго и пренебрежительно[4]), но все-таки впечатлѣнія и увлеченія дѣтства не могли

---

1) V, 248.

2) Записки *Смирновой*, I, 305: «его романъ, когда мнѣ было 12 лѣтъ, казался мнѣ чудомъ».

3) Соч. П., I, 14 («Къ сестрѣ», 1814):

Чѣмъ сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жанъ-Жака ли читаешь?

4) III, 244 (Евг. Онѣг., I, xxiv, 1822):

Руссо (замѣчу мимоходомъ)
Не могъ понять, какъ важный Гриммъ
Смѣлъ чистить ногти передъ нимъ,
Краснорѣчивымъ сумасбродомъ.

пройти безслѣдно, и Пушкинъ въ годъ написанія «Цыганъ» ставилъ Руссо въ общемъ, кажется, выше Вольтера [1]), потому что характерной чертой послѣдняго призналъ «скептицизмъ», а особенностью Руссо—«филантропію» [2]). И уже въ юные годы Пушкина образъ Руссо внушалъ ему обаяніе великаго страдальца; Пушкинъ называлъ его въ ряду тѣхъ поэтовъ, *мимо* которыхъ «катится фортуны колесо»:

Родился нагъ — и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо [3]).

Не ко всему, конечно, въ произведеніяхъ Руссо могъ относиться сочувственно Пушкинъ. Онъ не могъ, напр., раздѣлять воззрѣніе отчаявшагося Руссо, что «Le pays de chimères est, en ce monde, le seul digne d'être habité», не могъ не усматривать искусственности и преувеличеній реторизма въ обвиненіи цивилизаціи и въ другихъ тирадахъ Руссо.

Но многое въ ученіи Руссо должно было съ юношескихъ лѣтъ привлекать пылкаго и не любившаго удержа поэта: призывъ слѣдовать голосу внутренней природы, превознесеніе добрыхъ чувствованій и страсти, возведеніе ея въ идеалъ не могли не найти отклика въ горячемъ сердцѣ Пушкина [4]). Не могъ пройти

Но вслѣдъ затѣмъ Руссо названъ «защитникомъ вольности и правъ». См. еще Записки *Смирновой*, I, 305—306: «Быть можетъ, Руссо нисколько не менѣе Ловласа и Кребильона унизилъ любовь, сказалъ Пушкинъ, — у него все фальшиво, даже природа. Даже Рене въ сто разъ выше его Новой Элоизы, такъ какъ чувствуется, что Шатобріанъ излилъ свою душу въ своихъ книгахъ; но Руссо, у котораго были такія жалкія и любовныя похожденія... кончилъ служанкой... при чтеніи нѣкоторыхъ страницъ я хохоталъ, какъ сумасшедшій, особенно когда они всѣ плачутъ: Санъ-Прё, Жюли, ея скучный и добродѣтельный супругъ. *Эмиль* несравненно менѣе скученъ, что же касается *Савойскаго Священника*, то я въ этой книгѣ не нашелъ трехъ строкъ, которыя бы дышали истиннымъ религіознымъ чувствомъ» и т. д.

1) Въ «Первомъ посланіи цензору» (1824) Руссо дважды поставленъ впереди Вольтера (I, 316 и 318), хотя въ первомъ случаѣ того не требовали ни размѣръ стиха, ни риема.

2) V, 355.

3) Соч. П., I, 20.

4) III, 382 («Евг. Он.», VIII, III):

И я, въ законъ себѣ вмѣняя
Страстей единый произволъ...

безслѣдно для нашего поэта и тотъ призывъ къ природѣ и свободѣ, который такъ отличалъ Руссо въ ряду французскихъ писателей XVIII в. и который находилъ у насъ поддержку и въ чтеніи Лафонтена, въ особенности же Грея и Томсона[1]). Свое влеченіе къ природѣ русскій человѣкъ выразилъ уже издавна въ пѣсняхъ о матери-пустынѣ, о раздольѣ безбрежныхъ степей и т. п.

Отчетливое уразумѣніе прелести и спасительности общенія съ природой возросло въ Пушкинѣ съ той поры, какъ переводъ на югъ и другія обстоятельства обострили его отношеніе къ властямъ и обществу и, въ связи съ знакомствомъ съ поэзіею Шатобріана и Байрона, сдѣлали болѣе близкимъ ученіе Руссо объ извращеніяхъ цивилизаціи и о преимуществахъ, какими пользуется неиспорченный «l'homme de la nature», живущій согласно съ голосомъ своего сердца и подчиняющійся лишь велѣніямъ природы.

---

1) О Лафонтенѣ см. въ стихотвореніи «Городокъ» (Соч., II, I, 69—70), гдѣ впрочемъ онъ охарактеризованъ, какъ

. . . . . пѣвецъ любезной,
Поэзіей прелестной
Сердца привлекшій въ плѣнъ,
. . . . . лѣнтяй безпечный,
Мудрецъ простосердечный.

Въ цит. уже «Посланіи къ сестрѣ» (Соч. II., I, 14) читаемъ:

Иль съ Греемъ и Томсономъ
Ты пронеслась мечтой
Въ поля, гдѣ отъ дубравы
Вдоль вѣетъ вѣтерокъ,
И шепчетъ лѣсъ кудрявый,
И мчится величавый
Съ вершины горъ потокъ?

Замѣтимъ, что оба названные здѣсь поэта явились въ началѣ нашего вѣка въ русскихъ переводахъ, первый — въ стихахъ, второй — въ прозѣ. Любовь Пушкина къ природѣ ярко выразилась въ стихотв. «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума» (II, 154—155, 1833 г.):

Когда бъ оставили меня
На волѣ, какъ бы рѣзво я
Пустился въ темный лѣсъ! и т. д.

Это ученіе Руссо и излюбленные тезисы послѣдняго замѣтно выступаютъ въ поэмѣ Пушкина «Цыганы» (1824)[1]), сливаясь съ тѣмъ, что дѣйствительно было пережито самимъ поэтомъ: Пушкинъ сознавался, что за цыганъ

. . . . . лѣнивыми толпами
Въ пустыняхъ, праздный, *онъ* бродилъ,
Простую пищу ихъ дѣлилъ
И засыпалъ предъ ихъ огнями;
Въ походахъ медленныхъ любилъ
Ихъ пѣсней радостные гулы,
И долго милой Маріулы
. . имя нѣжное твердилъ[2]).

Еще и позднѣе (въ 1830 г.) любилъ онъ бывать у нихъ[3]) и признавалъ ихъ «счастливымъ племенемъ»[4]). Въ Пушкинѣ отзывалась въ данномъ случаѣ свойственная нашему народу любовь къ приволью, увлекавшая въ предшествовавшіе вѣка къ блужданію въ степяхъ, къ основанію козацкихъ вольницъ на пограничьѣ русскихъ земель и далѣе. Оттуда же увлеченіе нѣкоторыхъ цыганскими пѣснями. Эта какъ-бы прирожденная народу любовь къ приволью слилась въ Пушкинѣ съ тѣми идеями о простомъ, но счастливомъ житьѣ-бытьѣ вдали отъ городской и искусственной цивилизаціи, которыя были пущены въ обращеніе со второй половины XVIII-го вѣка Руссо и его послѣдователями, въ особенности Бернарденомъ де-Сенъ-Пьеръ и Шатобріаномъ. Герой «Цыганъ» Алеко, подобно своему автору Пушкину, былъ преслѣдуемъ «закономъ», подобно поэту былъ «изгнанникомъ перелетнымъ» и рѣшился на «добровольное изгнаніе» — искать покоя среди цыганъ, плѣнившись ихъ житьемъ:

---

1) Это замѣтилъ уже *Достоевскій* въ рѣчи о Пушкинѣ. Ср. у *Мережковскаго*.
2) II, 364. См. еще III, 383 («Евг. Он.», VIII, IV).
3) VII, 254.
4) II, 97—98: стих. «Цыганы» (1830).

Какъ вольность, веселъ ихъ ночлегъ
И мирный сонъ подъ небесами.

Въ обстановкѣ ихъ жизни

Все скудно, дико, все нестройно,
Но все такъ живо-непокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной [1]).

Рѣшившись стать цыганомъ, другомъ черноокой Земфиры,

Теперь онъ вольный житель міра...
И жилъ, не признавая власти
Судьбы коварной и слѣпой [2]).

Вслѣдъ за Руссо, и Алеко отзывался съ презрѣніемъ о жизни оставленныхъ имъ «людей отчизны, городовъ». Въ его рѣчахъ слышимъ уже то противоположеніе безграничной свободы и красоты жизни въ природѣ печальному и подневольному житью въ удаленіи отъ нея, среди уродствъ цивилизаціи, на которое есть намеки и у Лермонтова и которое развито обстоятельно Л. Н. Толстымъ. Какъ теперь Л. Н. Толстой, Алеко не любилъ

Неволю душныхъ городовъ.
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонять [3]) *и проч.*

Слѣдовало порицаніе жизни въ цивилизованномъ обществѣ, въ частности въ великосвѣтскомъ кругѣ, неоднократно прорываю-

---

1) II, 347 и 349.
2) II, 349—350.
3) II, 351. Ср. начало «Воскресенья».

щееся въ поэзіи Пушкина съ довольно ранняго времени и до конца [1]).

Значеніе «Цыганъ» въ нашей поэзіи нѣсколько напоминаетъ значеніе Шиллеровыхъ «Разбойниковъ». Пушкинъ также искалъ выхода изъ душной и затхлой атмосферы современнаго ему общества. Признавая свѣтъ безнравственнымъ, «презрѣвшій», подобно Руссо, «*оковы просвѣщенія*», ставшій вольнымъ, какъ цыгане, Алеко не нашелъ однако счастія, потому что не покончилъ со своими страстями:

. . . Боже, какъ играли страсти
Его послушною душой!
Съ какимъ волненіемъ кипѣли
Въ его измученной груди! [2])

Алеко, разставшись съ цивилизаціей, не хотѣлъ отказаться также отъ ея привычекъ, отъ того, что онъ считалъ своими «правами», и что было эгоизмомъ [3]), и ему въ его гордости были непонятны нравы цыганъ, не имѣющихъ заботъ и не терзающихъ и не казнящихъ, «*смиренной вольности* дѣтей», у которыхъ женщина «привыкла къ рѣзвой волѣ» и безнаказанно пользуется ею.

И въ моментъ окончанія «Цыганъ» Пушкинъ какъ-бы порѣшилъ, что счастіе среди сыновъ природы, о которомъ говорили Руссо и его послѣдователи, невозможно уже для одержимаго страстями образованнаго человѣка, привыкшаго къ «неволѣ душныхъ городовъ» и настолько сжившагося съ нею, что, ища сво-

---

1) Ср. I, 305:

Судьба людей повсюду та же:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль *просвѣщенье*, иль тиранъ.

2) II, 351.

3) Поживъ съ нимъ, Земфира говоритъ: «Мнѣ скучно, *сердце воли проситъ*...» (II, 356). Старикъ, на вопросъ Алеко о причинѣ оставленія безнаказанною измѣны матери Земфиры, отвѣчаетъ (II, 359): «Къ чему? Вольнѣе птицы младость» и т. д., а послѣ убійства Земфиры говоритъ Алеко: «Оставь насъ, *гордый человѣкъ*» (II, 363).

боды для себя, онъ отказываетъ въ ней другимъ, ограничивающимъ чѣмъ-нибудь его эгоизмъ:

. . . счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны....
И *всюду страсти роковыя*,
И отъ судебъ защиты нѣтъ [1]).

Очевидно, такой выводъ заключалъ мѣткую отповѣдь проповѣдникамъ бѣгства въ приволье простой жизни сыновъ природы, и въ значительной степени подрывалъ иллюзіи о счастіи среди этихъ сыновъ. Но все-таки Пушкинъ не отказался вполнѣ отъ одной изъ излюбленнѣйшихъ и симпатичнѣйшихъ грезъ и прежнихъ временъ, и XVIII вѣка, впервые отчетливо въ новой литературѣ выраженной Руссо и продолженной и продолжаемой другими вплоть до нашихъ дней.

И постепенно эта мечта о счастіи въ возможной близости къ природѣ и въ жизни, отличной отъ жизни испорченнаго общества, созрѣвала все болѣе и болѣе въ умѣ Пушкина и принимала формы, уже не столь эксцентричныя, какъ въ «Цыганахъ», а болѣе согласныя съ обычными путями цивилизованной жизни, какъ бы въ соотвѣтствіе тому, что за цыганами

Не пойдетъ ужъ *ихъ* [2]) поэтъ.
Онъ бродящіе ночлеги
И проказы старины
Позабылъ для сельской нѣги
И домашней тишины [3]).

Такая уже болѣе зрѣлая форма доброй мечты, мысль о томъ, что лучшее и истинное счастіе возможно и въ цивилизованномъ

1) II, 364.
2) Въ подлинникѣ стоитъ: вашъ.
3) II, 97—98.

обществѣ, но лишь въ жизни, близкой къ природѣ *и народу*, отчетливо уже выступаетъ въ произведеніи, первыя главы котораго были написаны одновременно съ «Цыганами», именно въ «Евгеніи Онѣгинѣ».

Въ этомъ романѣ на ряду съ героемъ скуки Онѣгинымъ рельефно выдвигается другая, положительная, фигура Татьяны, которую Достоевскій справедливо назвалъ истинною героинею произведенія. Татьяна менѣе оторвана отъ родной почвы, чѣмъ Онѣгинъ, и болѣе близка къ русской жизни въ силу своего воспитанія и любви къ народу.

Правда, пытаются теперь доказать, что «полурусскою была въ значительной степени и Татьяна, воспитанная на западной литературѣ, живущая ея идеалами»[1]). Но, по словамъ поэта, Татьяна была совсѣмъ «русская душой». Тѣмъ не менѣе, не лишено, конечно, значенія, что

Она по-русски плохо знала,
Журналовъ нашихъ не читала
И выражалася съ трудомъ
На языкѣ своемъ родномъ;
Итакъ, писала по-французски[2]).

Несомнѣнно также, что Татьяна — героиня отчасти во вкусѣ западно-европейскаго романа второй половины XVIII и начала XIX в. Къ природнымъ, не составляющимъ однако національной особенности и развитымъ отчасти благодаря чтенію западныхъ романовъ, чертамъ ея характера относилось то, что она

. . . . . въ милой простотѣ
. . . . не вѣдаетъ обмана
И вѣритъ избранной мечтѣ.
. . . . . любитъ безъ искусства,
Послушная влеченью чувства,

---

1) *Сиповскій*, Татьяна, Онѣгинъ и Ленскій, Русская Старина 1899, № 5, стр. 329.

2) III, 292 (E. O., III, xxvi).

. . . . . такъ довѣрчива она,
. . . . . *отъ небесъ одарена*
Воображеніемъ мятежнымъ,
Умомъ и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцемъ пламеннымъ и нѣжнымъ [1]).

Въ ея письмѣ къ Онѣгину «сердце говоритъ, все наружу, все на волѣ» [2]). Эта мечтательная и нѣжная натура могла любить грустный дискъ луны, помимо моды романтическихъ героинь. Но это дитя природы было полно и мечтаній, навѣянныхъ чужими литературами. Такъ, когда Татьяна полюбила Онѣгина,

Счастливой силою мечтанья
Одушевленныя созданья,
Любовникъ Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежный,
И безподобный Грандисонъ,
Который намъ наводитъ сонъ;
Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,
Въ одномъ Онѣгинѣ слились [3]).

Татьяна воображала и самое себя

. . . . . героинней
Своихъ возлюбленныхъ творцовъ,
Кларисcой, Юліей, Дельфиной [4]).

---

1) III, 292 (Е. О., III, xxiv); см. еще III, 274 (Е. О., II, xxvi):

Задумчивость, ея подруга
Отъ самыхъ колыбельныхъ дней...

2) III, 390 (Е. О., VIII, xx).
3) III, 284 (Евг. Он., III, ix).
4) III, Ib., строфа X.

Недаромъ

Она влюблялася въ обманы
И Ричардсона и Руссо [1]).

Ясно отсюда, что воображеніе Татьяны было наполнено западными романами — Ричардсона, Руссо, Гёте, M-me de Staël, M-me Cottin, баронессы Крюднеръ.

Татьяна въ этомъ уподоблялась образованнымъ русскимъ дѣвушкамъ того времени [2]), но вмѣстѣ съ тѣмъ уже въ дѣтствѣ

. . . . . страшные разсказы
Зимою, въ темнотѣ ночей,
Плѣняли . . . сердце ей [3]),

а потомъ также

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины [4]),

и изъ выбора ея чтенія еще не слѣдуетъ, чтобы она не была вполнѣ «русская» своей «душой», по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ мечтахъ, которыя рѣшили судьбу ея души.

Если приглядимся къ основнымъ воззрѣніямъ Татьяны, то увидимъ, что они находились въ связи не только съ сейчасъ указанными мечтами и нѣкоторыми основными идеями романовъ Ричардсона, Руссо, Гёте и др., но преимущественно — съ средой, въ которой выросла Татьяна. Она

Волненье свѣта ненавидитъ;
Ей душно здѣсь . . . она мечтой
Стремится къ жизни полевой,
Въ деревню, къ бѣднымъ поселянамъ,

---

1) III, 275 (Евг. Он., II, xxix).

2) См. выше о сестрѣ Пушкина. «Полина въ *Рославлевѣ* (около 1811 г.) Руссо знала наизусть» (IV, 111). Ср. о княжнѣ Полинѣ въ «Евгеніи Онѣгинѣ» II, xxx (III, 275).

3) III, 274 (E. O., II, xxvii).

4) III, 324 (E. O., V, v).

Въ уединенный уголокъ,
Гдѣ льется свѣтлый ручеекъ,
Къ своимъ цвѣтамъ, къ своимъ романамъ,
И въ сумракъ липовыхъ аллей,
Туда, гдѣ *онъ* являлся ей [1]).

Татьяна въ годы зрѣлости была не только «мечтательницей милой» [2]) и разсуждала не только въ духѣ идеальныхъ и сентиментальныхъ героинь западно-европейскихъ романовъ, любительницъ идилліи, когда говорила, уѣзжая изъ родной деревни:

Прости, веселая природа!
Мѣняю милый, тихій свѣтъ
На шумъ блистательныхъ суетъ [3]);

или въ Петербургѣ:

. . . . . Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ,
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище...
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынѣче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моей [4]).

Чертою воспитанія и вмѣстѣ народности Татьяны слѣдуетъ признать, что

Все тихо, просто было въ ней [5]).

---

1) III, 379 (Е. О., VII, lii).
2) III, 360 (Е. О., VII, i).
3) III, 369 (Е. О., VII, xxviii).
4) III, 403 (Е. О., VIII, xlvi). Любовь къ сельскому кладбищу (ср. II, 188—189: «Когда за городомъ задумчивъ я брожу...» 1836 г.) получила отчетливую форму въ душѣ нашего поэта впервые не подъ вліяніемъ ли извѣстной элегіи Грея, переведенной Жуковскимъ?
5) III, 387 (Е. О., VIII, xiv).

Вліяніе русскихъ нравовъ сказалось и въ знаменитомъ отвѣтѣ ея Онѣгину:

Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду вѣкъ ему вѣрна [1]).

Въ этихъ словахъ выступаетъ съ рѣшительностію нравственное чувство, рѣзко отличающее Татьяну отъ Руссовской Юліи. Julie d'Etange была приведена къ религіи своими несчастіями и искала убѣжища въ Богѣ, чтобы найти у Него то милосердіе, въ которомъ отказывали ей люди. Даже въ томъ самомъ письмѣ Татьяны къ Онѣгину, въ которомъ указываютъ, не совсѣмъ, впрочемъ, убѣдительно [2]), совпаденія съ выраженіями Юліи Вольмаръ, находимъ такія коренныя черты русскаго склада, какъ вѣру въ суженаго:

Я знаю, ты мнѣ посланъ Богомъ,
До гроба ты хранитель мой...,

или русскую религіозность:

Ты говорилъ со мной въ тиши,
Когда я бѣднымъ помогала,
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души [3]).

Вотъ эти-то природныя и чисто народныя черты характера Татьяны, въ соединеніи съ ея милою наивностію и свѣжестію ея нравственной натуры, и сообщили ея образу особую прелесть въ фантазіи поэта. На основаніи словъ самого Пушкина [4]), въ Татьянѣ

---

1) III, 403 (Е. О., VIII, xlvii).

2) Г. *Сиповскій* подбираетъ аналогіи къ выраженіямъ въ письмѣ Татьяны изъ различныхъ мѣстъ «Новой Элоизы».

3) III, 295 (Е. О., III, xxxi).

4) III, 404 (VIII, l):

Прости жъ...
И ты, мой вѣрный идеалъ,

надо признать его идеалъ, правильнѣе — одно изъ выраженій его идеала. Самъ поэтъ выразился въ одномъ изъ разговоровъ, что Онѣгинъ не стоитъ Татьяны.

Какъ понимать это, и почему Татьяна выше Онѣгина? Татьяна какъ будто уступаетъ послѣднему въ широтѣ образованія и въ знаніи свѣта и людей, но она—въ большей степени русская душой, т. е. сердцемъ, умомъ и волею. Своею тонкою женской

и 405 (VIII, li):

А ты, съ которой образованъ
Татьяны *милый идеалъ*.

Ср. III, 258 (E. O., I, lvii):

Такъ я, безпеченъ, воспѣвалъ
И дѣву горъ, мой идеалъ...

и III, 383 (E. O., VIII, v):

И вотъ она (муза) въ саду моемъ
Явилась барышней уѣздной
Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою въ рукахъ.

Терминъ «уѣздная барышня» см. еще III, 312 (E. O., IV, xxviii). Объ «*уѣздныхъ* барышняхъ», типъ которыхъ такъ нравился Пушкину, имѣются интересныя указанія въ его произведеніяхъ. См. въ особенности IV, 76—77 («... что за прелесть эти уѣздныя барышни!... главное изъ ихъ существенныхъ достоинствъ: особенность характера, самобытность (individualité), безъ чего, по мнѣнію Жанъ-Поля, не существуетъ и человѣческаго величія») и «Отрывки изъ романа въ письмахъ» (1831 г.). Въ «Письмѣ Лизы» читаемъ: «Вообще здѣсь болѣе занимаются словесностью, чѣмъ въ Петербургѣ... Теперь я понимаю, почему Вяземскій и Пушкинъ такъ любятъ уѣздныхъ барышень; онѣ — ихъ истинная публика» (IV, 353). Ср. тамъ же въ концѣ X-го письма (о Лизѣ): «... часъ отъ часу болѣе въ нее влюбляюсь. Въ ней много увлекательнаго. Эта тихая, благородная стройность въ обращеніи — главная прелесть высшаго петербургскаго общества — а между тѣмъ, что-то женское, снисходительное, доброродное. Въ ея сужденіяхъ нѣтъ ничего рѣзкаго, жестокаго. Она не морщится передъ впечатлѣніями... Она слушаетъ и понимаетъ васъ. Рѣдкое достоинство въ нашихъ женщинахъ...». Тамъ же далѣе о другой «милой дѣвушкѣ»: «Эта дѣвушка, выросшая подъ яблонями, воспитанная между скирдами, природой и нянюшками, гораздо милѣе нашихъ однообразныхъ красавицъ, которыя до свадьбы придерживаются мнѣнія маменекъ, а послѣ свадьбы мнѣнія мужьевъ» (IV, 359). См. еще въ IV-мъ планѣ «Русскаго Пелама» (1835 г.): «балы, скука большого свѣта, происходящая отъ брачивости женщинъ». Конечно, далеко не всѣ и изъ «уѣздныхъ» барышень были одобряемы Пушкинымъ. См., напр., характеристику псковскихъ барышень — III, 308.

душой она лучше Онѣгина прочувствовала и поняла высшую правду жизни и нашла лучше Онѣгина выходъ изъ удушья испорченнаго свѣта. Она пока не бѣжитъ изъ послѣдняго и остается на мѣстѣ, но вся ея душа—не въ «омутѣ» пустой великосвѣтской жизни и въ скитальчествахъ, между прочимъ,—и среди прекрасной, чарующей красотами, природы, а въ памятованіи о лучшемъ, что̀ есть въ жизни: ея воображеніе наполняетъ мысль о житьѣ не остывшимъ сердцемъ и дѣятельнымъ умомъ въ деревнѣ, хотя бы и неприглядной [1]), среди природы и «бѣдныхъ поселянъ», которыхъ, какъ видно изъ этого выраженія, Татьяна очень любитъ. Одинъ изъ самыхъ дорогихъ образовъ, согрѣвающихъ ея память о прошломъ, принадлежитъ тому же деревенскому міру: это образъ ея «*бѣдной* няни». Упоминая о послѣдней, не думалъ ли Пушкинъ о своей Аринѣ Родіоновнѣ, которая такъ сблизила его съ народомъ и о которой онъ тепло говорилъ уже въ послѣдній годъ своего пребыванія въ Лицеѣ [2])? Сколь далекимъ отъ Татьяны во всемъ этомъ оказался Онѣгинъ: пребываніе въ родной деревнѣ не дало ничего ни его уму, ни сердцу, а въ противномъ случаѣ, сколько могъ бы онъ сдѣлать тамъ! Въ Татьянѣ Пушкина можно, кажется, на основаніи сказаннаго, усматривать уже вполнѣ русское видоизмѣненіе и воплощеніе грезъ Руссо и его

---

1) Ср. признаніе самого Пушкина въ «Путешествіи Евгенія Онѣгина»: *Бычковъ.* Вновь открытыя строфы романа «Евгеній Онѣгинъ», Р. Старина 1888, № 1, стр. 250: «Иныя нужны мнѣ картины» и проч. (III, 408—409).

2) Соч. П., I, 209—210 («Сонъ», 1816):

Ахъ, умолчу ль о мамушкѣ моей.

По разсказамъ современника, Пушкинъ «какъ же еще любилъ-то Арину Родіоновну... И онъ все съ ней; коли дома, чуть встанетъ утромъ, ужъ и бѣжитъ ее глядѣть: «здорова ли, мама?» — онъ ее все *мама* называлъ». На ея возраженіе: «какая я тебѣ мать», отвѣчалъ: «Разумѣется, ты мнѣ мать: не то мать, что родила, а то, что своимъ молокомъ вскормила». *К. Тимофеева*, Могила Пушкина и село Михайловское, Русская Старина 1899, № 5, стр. 271. Ср. III, 315 (Е. О., IV, xxxv):

Но я плоды моихъ мечтаній
И гармоническихъ затѣй
Читаю только старой нянѣ,
Подругѣ юности моей.

послѣдователей о жизни вблизи природы; эти грезы нашли высшее и разумное осмысленіе и вполнѣ дѣйствительное примѣненіе благодаря тому, что слились со старо-русскимъ идеаломъ жизни въ простотѣ, но богатствѣ духовнаго содержанія и со старо-русскимъ общеніемъ высшаго класса съ народомъ, которое держалось до печальнаго разлада, являющагося и въ жизни Онѣгина. Татьяна жила все еще мечтою, но то была прекраснѣйшая мечта, между прочимъ — и по близости къ осуществленію.

Въ образѣ Татьяны дана была, такимъ образомъ, наилучшая поправка указаннымъ грезамъ, а въ ея любви къ народу и ея самоотверженномъ подчиненіи себя долгу — лучшая критика героевъ скуки и тоски, послѣднею формаціею которыхъ подъ перомъ Пушкина явился Онѣгинъ, — новое, болѣе совершенное видоизмѣненіе Кавказскаго Плѣнника и Алеко.

Повторяя и постепенно углубляя изображеніе «современнаго человѣка», Пушкинъ достигъ отчетливаго уясненія его душевнаго склада и причинъ его тоски, какъ десятью годами позднѣе — Лермонтовъ, также много разъ принимавшійся за воспроизведеніе этого типа. Въ Онѣгинѣ уже ясны причины, вызывавшія такое замѣчательное и важное явленіе нашей внутренней исторіи въ XIX в.

Онѣгинъ — какъ-бы двусоставная личность: онъ гораздо болѣе Татьяны примыкаетъ къ западной культурѣ и въ то же время — живой типъ не глубоко образованнаго русскаго человѣка XIX вѣка, воспитавшагося исключительно въ односторонне воспринятыхъ завѣтахъ той культуры, столь много расходящейся со складомъ нашей общественной и нравственной жизни [1]). Русскій по происхожденію, Онѣгинъ оказывается въ слабой степени таковымъ по своему нравственному складу, воззрѣнію и настроенію. Онъ — лишь одна изъ крупныхъ русскихъ разновидностей типа, впервые ярко обрисованнаго Гёте въ періодъ нѣмецкаго Sturm

---

1) Шевыревъ не безъ основанія усматривалъ въ Онѣгинѣ «ходячій типъ западнаго вліянія на всѣхъ нашихъ свѣтскихъ людяхъ».

und Drang, повторившагося въ соотвѣтственный періодъ нашей жизни въ силу аналогіи съ Западомъ въ развитіи нашего общества и благодаря вліянію западныхъ литературъ. Однимъ изъ представителей этого типа въ нашей жизни первыхъ десятилѣтій XIX вѣка былъ князь П. А. Вяземскій, на ряду съ другими послуживший, быть можетъ, отчасти прототипомъ Пушкинскаго Онѣгина [1]).

Воспитаніе Пушкинскаго Онѣгина было чуждо, повидимому, нравственныхъ устоевъ. Образованіе его не шло далѣе чтенія знатной русской молодежи въ началѣ нашего вѣка, когда

...всѣ учились понемногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь [2]).

Онѣгинъ не изучалъ тщательно исторіи и старыхъ писателей;

Зато читалъ Адама Смита
И былъ глубокій экономъ [3]),

и выглядѣлъ «философомъ въ осьмнадцать лѣтъ» [4]). Его любимые авторы:

Юмъ, Робертсонъ, Руссо, Мабли,
Баронъ д'Ольбахъ, Вольтеръ, Гельвецій,

---

1) VII, 81 (письмо къ кн. П. А. Вяземскому 1824 г.): «Съ другой стороны деньги, Онѣгинъ, святая заповѣдь Корана — вообще мой эгоизмъ». Въ «Е. О.», I, xxv (III, 244) читаемъ:

Второй Каверинъ, мой Евгеній...

О Каверинѣ см. данныя у *Л. Н. Майкова*, Соч. II., I, прим., стр. 358 и слѣд. Объ А. Н. Раевскомъ см. *Я. Грота*, Первенцы Лицея и его преданія, въ Складчинѣ, Спб. 1874, стр. 373, и въ ст. *Сиповскаго*, Р. Стар. 1899, № 6, стр. 566—568. См. еще Зап. *Смирновой*, I, 307: «Ты слишкомъ нравишься женщинамъ! воскликнулъ Пушкинъ, — ты смотришь прекраснымъ и печальнымъ юношей, ты, можетъ быть, и есть мой Онѣгинъ, хотя задумалъ я его, когда ты еще тайкомъ читалъ Селику».

2) III, 236 («Е. О.», I, v).

3) III, 237 («Е. О.», I, vii).

4) III, 243 («Е. О.», I, xxiii).

Локкъ, Фонтепель, Дидротъ, Парни,
Горацій, Цицеронъ, Лукрецій [1])...
Когда жестокая хандра
За нимъ гналася въ шумномъ свѣтѣ,
Поймала, за воротъ взяла
И въ темный уголъ заперла,
Сталъ вновь читать онъ безъ разбора.
Прочелъ онъ Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочелъ скептическаго Беля,
Прочелъ творенья Фонтенеля,
Прочелъ изъ нашихъ кой-кого,
Не отвергая ничего [2]).

Изъ подбора писателей въ библіотекѣ Онѣгина уже видно, куда направлялась его мысль, работавшая во время чтенія, потому что

Хранили многія страницы
Отмѣтку рѣзкую ногтей...
На ихъ поляхъ.....
Черты его карандаша:
Вездѣ Онѣгина душа
Себя невольно выражаетъ
То краткимъ словомъ, то крестомъ,
То вопросительнымъ крючкомъ [3]).

Но въ особенности настроеніе Онѣгина сказалось въ обстановкѣ его кабинета, «кельи модной [4])», и въ предпочтительномъ вниманіи, какое онъ удѣлялъ нѣкоторымъ современнымъ поэтамъ:

---

1) III, 367 («Е. О.», VII, къ XXII).
2) III, 398 («Е. О.», VIII, XXXIV—XXXV).
3) III, 367 («Е. О.», VII, XXIII).
4) III, 365 («Е. О.», VII, XIX):

... столъ съ померкшею лампадой,
И груда книгъ, и подъ окномъ
Кровать, покрытая ковромъ,

Хотя . . . . . Евгеній
Издавна чтенье разлюбилъ;
Однакожъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ —
Пѣвца Гяура и Жуана,
Да съ нимъ еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ [1]).

Другъ Пушкина, князь П. А. Вяземскій, назвалъ [2]) намъ одинъ изъ этихъ, не поименованныхъ поэтомъ, любимыхъ романовъ Онѣгина: именно — романъ «Адольфъ» того самаго Бенжаменъ Констана, о которомъ любилъ разсуждать Евгеній. Судя по словамъ Вяземскаго, «Адольфъ» нравился также Пушкину,

---

И видъ въ окно сквозь сумракъ лунный,
И . . . . . блѣдный полусвѣтъ,
И лорда Байрона портретъ,
И столбикъ съ куклою чугунной
Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками сжатыми крестомъ.

Байронъ и Наполеонъ I — вотъ чьи изображенія нашли мѣсто въ кабинетѣ Онѣгина согласно съ романтическими идеалами.

1) III, 366—367 (VII, xxii). См. еще III, 282:

Въ постелѣ лежа, нашъ Евгеній
Глазами Байрона читалъ...

2) Въ предисловіи къ изданному имъ въ 1831 г. русскому переводу романа «Адольфъ». Новое изданіе русскаго перевода, принадлежащаго Львовичу-Кострицѣ, выпущено Ледерле (Моя Библіотека, №№ 123 и 124. Спб. 1894). Объ этомъ романѣ см. ст. *Ch. Glauser*, Benjamin Constant's «Adolphe» — въ Zeitschrift für französische Sprache und Litteratur, XVI, Heft 5 (1894).

и пріятели часто говорили межъ собой «о превосходствѣ творенія сего».

Приглядѣвшись повнимательнѣе къ роману Бенжаменъ Констана, нельзя не замѣтить, что преимущественно къ его герою подходитъ характеристика «современнаго человѣка», представленная въ только что приведенной выдержкѣ изъ романа Пушкина, а равно и герой послѣдняго, Онѣгинъ, довольно близокъ къ тому современному человѣку [1]), какого изобразилъ названный французскій романистъ, т. е. къ Адольфу. Онѣгинъ не сколокъ съ Донъ-Жуана или какого-нибудь другого Байроновскаго героя, напр., Чайльдъ-Гарольда, съ которыми ему общи лишь нѣкоторыя отдѣльныя, лишь вскользь отмѣченныя нашимъ поэтомъ, черты, напр., бурная юность, отданная страстямъ [2]). Онъ напоминаетъ не менѣе существенными чертами и другихъ западныхъ героевъ тоски и скорби, а въ особенности Адольфа, съ которымъ у него наиболѣе сродства. Разумѣемъ сходство не столько во внѣшней судьбѣ и, слѣдовательно, во внѣшней исторіи, сколько въ душевномъ складѣ, характерѣ и идеяхъ.

---

1) Онѣгинъ могъ

Вести и мужественный споръ
О Байронѣ и Бенжаменѣ. III, 236.

2) По словамъ кн. Вяземскаго, «характеръ Адольфа вѣрный отпечатокъ времени своего. Онъ протопинъ Чайльдъ-Гарольда и многочисленныхъ его потомковъ. Въ этомъ отношеніи твореніе сіе не только романъ сегодняшній (roman du jour), подобно новѣйшимъ свѣтскимъ, или гостинымъ романамъ, оно еще болѣе романъ вѣка сего. Всѣ свойства Адольфа, хорошія и худыя, отливки совершенно современныя». Пушкинъ также признавалъ Адольфа идеаломъ женщинъ своего времени (см. IV, 351). Вторымъ изъ романовъ, «въ которыхъ отразился вѣкъ и современный человѣкъ», могъ быть Мельмотъ Maturin'a, упомянутый въ «Онѣгинѣ» (III, xii—III, 286). Пушкинъ называлъ Мельмотомъ Теплякова; см. *П. Бартенева*: Пушкинъ въ южной Россіи, Русскій Архивъ 1866, 1148—1149.

3) III, 304 (IV, ix):

Онъ въ первой юности своей
Былъ жертвой бурныхъ заблужденій
И необузданныхъ страстей.

О ловеласничествѣ Онѣгина см. въ I-й и IV-й главахъ романа.

Онѣгинъ—не мѣщанинъ, какъ Saint-Preux и Вертеръ, а аристократъ, какъ Рене и Адольфъ. По своему душевному складу однако Онѣгинъ уже Вертера, котораго Пушкинъ мѣтко назвалъ «мученикомъ мятежнымъ» [1]) и который можетъ быть признанъ личностью поэтическою, душою широкою, человѣкомъ геніальнымъ, не могущимъ примѣниться ни къ одному изъ требованій общества. Хотя Онѣгинъ и скептикъ, какъ Вертеръ, и именуется, «философомъ», но онъ не философъ на нѣмецкій ладъ, какъ Вертеръ, чуждъ лихорадочнаго пыла послѣдняго и его экзальтаціи и не такъ отчетливо выражаетъ любовь къ природѣ, какъ Saint-Preux и Вертеръ. Онѣгинъ не проповѣдуетъ такъ пламенно вражду къ цивилизаціи, какъ Вертеръ и Алеко, и чуждъ реторизма Рене, не противополагая себя міру въ антитезахъ. Въ то время, какъ Вертеръ мечтаетъ о природѣ и любви, а Рене также полонъ глубокаго христіанскаго чувства, порывовъ и мечты, Онѣгинъ какъ будто равнодушнѣе своихъ предшественниковъ. Онъ не знаетъ той глубокой печали, какая снѣдаетъ душу Рене, не вѣдаетъ и грандіозныхъ помысловъ о безсиліи личностей и націй Рене, который безучастно окидываетъ взоромъ всѣ реальности жизни, какъ познавшій безкопечное. Онѣгинъ не мечтатель-христіанинъ и не мистикъ, какъ герой Шатобріана. Онъ напоминаетъ послѣдняго лишь широтою образованія, пзяществомъ, непостоянствомъ стремленій, или, лучше сказать, отсутствіемъ глубокихъ и постоянныхъ влеченій, и тѣмъ, что не бѣжитъ надолго отъ людей, а остается среди нихъ. Онъ ищетъ развлеченія въ уединеніи деревни, какъ Вертеръ, и въ путешествіяхъ, какъ Рене и Чайльдъ-Гарольдъ, но къ путешествіямъ прибѣгаетъ и Адольфъ. Вообще же Адольфъ и Онѣгинъ тоскуютъ болѣе или менѣе безучастно и сохраняютъ наиболѣе связи съ образованнымъ обществомъ, и Онѣгинъ въ этомъ отношеніи отличается отъ Кавказскаго Плѣнника и Алеко.

---

1) III, 284 (E. O., III, ix).

Повторяю, Адольфъ и Онѣгинъ—личности, наиболѣе приближающіяся къ общему уровню, и авторы ихъ обнаружили наименѣе склонности къ идеализаціи ихъ, хотя также выдѣляютъ ихъ изъ окружающаго ихъ общества.

Значительное внутреннее родство Адольфа и Онѣгина проявляется въ цѣломъ рядѣ общихъ имъ обоимъ воззрѣній, настроеній и положеній, которыя мы и выдѣлимъ изъ исторіи Адольфа, отмѣтивъ подъ чертою параллели въ романѣ объ Онѣгинѣ. Адольфъ — человѣкъ развитаго ума, какъ и Онѣгинъ; онъ также «читалъ много, но всегда непослѣдовательно»[1]). Онъ рано (съ 17 лѣтъ)[2]) исполнился грусти и меланхоліи[3]), поддавшись смутнымъ мечтаніямъ[4]). Онъ послѣдовательно проникался «индифферентизмомъ» ко всѣмъ предметамъ, поочередно привлекавшимъ его любопытство. Онъ «чувствовалъ себя легко только одинокимъ»[5]), прогуливался въ одиночку. Адольфъ возымѣлъ «непреодолимое отвращеніе ко всѣмъ ходячимъ положеніямъ и ко всѣмъ догматическимъ формуламъ»[6]). Его «выводила изъ терпѣ-

---

1) О чтеніи Онѣгина см. выше. См. еще III, 251 (E. O., I, xliv: «Читалъ, читалъ, а все безъ толку»). Адольфъ много читалъ, испытывая душевныя страданія въ горѣ любви, какъ и Онѣгинъ.

2) Онѣгинъ — названъ «философомъ въ осьмнадцать лѣтъ».

3) Первоначально Онѣгинъ испытывалъ «тоскующую лѣнь» (III, 237—E. O., I, viii). Затѣмъ (ib., 249—250, xxxvii—xxxviii):

....рано чувства въ немъ остыли;
Ему наскучилъ свѣта шумъ...
. . . . . русская хандра
Имъ овладѣла понемногу...
... къ жизни вовсе охладѣлъ...

4) III, 351 (E. O., I, xlv):

Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность...

III, 252:

Открылъ я жизни бѣдной кладъ.

5) III, 360 (E. O., VII, v):

Отшельникъ праздный и унылый.

6) III, 252 (къ E. O., I, xlv):

Я сталъ взирать его очами...
Въ замѣну прежнихъ заблужденій,

нія крѣпкая, неповоротливо-тяжелая убѣжденность»; онъ «остерегался этихъ общихъ аксіомъ, не допускающихъ никакого ограниченія, не дающихъ никакой уступки»[1]), и питалъ интересъ къ немногимъ людямъ, скучая съ большинствомъ[2]). Но своимъ равнодушіемъ и въ другихъ случаяхъ шутками, въ которыхъ «умъ, приведенный въ движеніе, увлекалъ за всякія границы», Адольфъ «пріобрѣлъ широкую репутацію легкомысленнаго, насмѣшливаго и злого человѣка», при чемъ его «горькія слова принимались какъ доказательства души, пропитанной ненавистью, шутки — какъ посягательство на все наиболѣе священное»[3]); тогда онъ оказался въ числѣ тѣхъ, которые «замыкаютъ въ самихъ себѣ свое тайное разномысліе, замѣчаютъ въ большей части смѣш-

---

Въ замѣну вѣры и надеждъ
Для легкомысленныхъ невѣждъ.

1) III, 268 (E. O., II, къ XVI):

Въ прогулкѣ ихъ уединенной
О чемъ ни заводили споръ...
. . . . . Евгеній
Немилосердно поражалъ.

2) III, 267 (E. O., II, XIV):

Хоть онъ людей, конечно, зналъ
И вообще ихъ презиралъ;
Но (правилъ нѣтъ безъ исключеній)
Иныхъ онъ очень отличалъ.

Ср. VII, 95: «Онѣгинъ нелюдимъ для деревенскихъ сосѣдей. Какъ полагаемъ, причиной тому то, что *въ глуши, въ деревнѣ все ему скучно*, и что *блескъ* одинъ можетъ привлечь его».

3) III, 251 (E. O., I, XLV):

... рѣзкій, охлажденный умъ.

— 252 (E. O., I, XLVI):

. . . . . Онѣгина языкъ
Меня смущалъ, но я привыкъ
Къ его язвительному спору,
И къ шуткѣ, съ желчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.

III, 416:

... легкомысленное мнѣнье
О всемъ,... полное презрѣнье
Ко всѣмъ.

ныхъ сторонъ зачатокъ пороковъ, перестаютъ смѣяться, потому что презрѣніе смѣняетъ насмѣшку, а презрѣніе — молчаливо». Адольфъ «былъ очень молчаливъ и казался печальнымъ» [1]). Въ искусственномъ, отшлифованномъ обществѣ, окружавшемъ его, «возникло неопредѣленное безпокойство по поводу его характера. Не могли сослаться ни на одинъ предосудительный поступокъ; не могли даже оспаривать нѣкоторыхъ изъ нихъ, которыя, казалось, свидѣтельствовали о великодушіи и самоотверженіи; но тѣмъ не менѣе объявили, что Адольфъ безнравственный и вѣроломный человѣкъ» [2]). Его характеръ называли «страннымъ и дикимъ» [3]), и его «сердце, чужое всѣмъ интересамъ общества» [4]), было «одиноко посреди людей и однакожъ страдало отъ одиночества, на которое оно обречено». «Общество надоѣдало» Адольфу, «одиночество удручало» [5]). «Въ домѣ своего отца Адольфъ воспринялъ по отношенію къ женщинамъ довольно безнравственную систему», усвоилъ «теорію фатовства» [6]) и уже въ самомъ началѣ романа

---

1) III, 250 (E. O., I, xxxviii): угрюмый, томный.
— 252 (E. O., I, xlv): угрюмъ...

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей.

Ср. III, 307 (IV, xv):

Всегда нахмуренъ, молчаливъ,

и 367 (VII, xxiv):

Чудакъ печальный и опасный.

2) III, 309 (E. O., IV, xviii):

.....людей недоброхотство
Въ немъ не щадило ничего;

— 252 (I, xlv):

. . . . . ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей.

3) III, 251 (E. O., I, xlv): неподражательная странность;
— 384 (VIII, viii): корчитъ чудака;
— 404 (VIII, l): Мой спутникъ странный.

4) III, 384 (E. O., VIII, vii):

Стоитъ безмолвный и туманный,
Для всѣхъ онъ кажется чужимъ.

5) III, 251 (E. O., I, xliii): Томясь душевной пустотой...
6) См. III, 237—240 (E. O., I, ix—xiii, xv) и 304—305 (IV, x).

является пресыщеннымъ. Полюбивъ Элленору, Адольфъ пребывалъ въ бездѣятельности [1]). Онъ казался «страннымъ и несчастнымъ». «Онъ предвидитъ зло, прежде чѣмъ сдѣлаетъ его», и «отступаетъ съ отчаяніемъ, совершивъ его»; «онъ всегда кончалъ жестокостью, начавъ съ самопожертвованія, и, такимъ образомъ, не оставилъ послѣ себя другихъ слѣдовъ, кромѣ своихъ проступковъ». Сердечная, «прелестная Элленора была достойна лучшей доли и болѣе вѣрнаго сердца». Она — «особа, подчиняющаяся своимъ чувствамъ, и душа ея, всегда дѣятельная, находитъ почти отдохновеніе въ самопожертвованіи» [2]). Она также весьма благочестива. Адольфъ однако желалъ свободы [3]). «Оттолкнувъ отъ себя существо, которое его любило, онъ не сталъ менѣе безпокойнымъ, менѣе тревожнымъ и недовольнымъ; онъ не сдѣлалъ никакого употребленія изъ свободы, завоеванной имъ цѣною столькихъ горестей и столькихъ слезъ; и, ставши вполнѣ достойнымъ порицанія, онъ сталъ достойнымъ также и жалости». «Адольфъ былъ наказанъ за свой характеръ своимъ же характеромъ, не пошелъ ни по какой опредѣленной дорогѣ, не исполнилъ никакого полезнаго назначенія, расточилъ свои способности, слѣдуя только за своимъ капризомъ, безъ всякаго другаго побужде-

---

1) III, 251 (E. O., I, XLIII, XLIV):

...Трудъ упорный
Ему былъ тошенъ...
. . . . преданный бездѣлью.

2) III, 291 (E. O., III, XXV):

Татьяна любитъ не шутя,
И предается безусловно
Любви, какъ милое дитя.

— 342 (VI, III):

«Погибну, Таня говоритъ:
Но гибель отъ него любезна.
Я не ропщу: зачѣмъ роптать?» и проч.

3) «Ma douleur était morne et solitaire, je n'espérais point mourir avec Ellénore; j'allais vivre sans elle, dans ce *désert de monde* que *j'avais souhaité* tant de fois *de traverser indépendant*. J'avais brisé ce coeur, compagnon du mien, qui avait persisté à se dévouer à moi dans sa tendresse infatigable».

нія, кромѣ раздраженія [1]). Обстоятельства весьма ничтожныя вещи, характеръ все... Измѣняютъ положенія, — но переносятъ въ каждое мученіе, отъ котораго надѣялись освободиться [2]); и такъ какъ не исправляются, занявъ другое мѣсто, то чувствуютъ только, что угрызенія совѣсти прибавились къ сожалѣніямъ и ошибки къ страданіямъ» [3]). Повѣсть объ Адольфѣ предана гласности авторомъ, «какъ довольно правдивая исторія ничтожества человѣческаго сердца. Если въ ней заключается поучительный урокъ, то онъ направляется по адресу къ мужчинамъ: онъ доказываетъ, что этотъ умъ, которымъ столь гордятся, не служитъ ни къ тому, чтобы найти счастье, ни къ тому, чтобы дать его; онъ доказываетъ, что характеръ, твердость, вѣрность, доброта суть дары, о ниспосланіи которыхъ надо молить небо».

Соотвѣтствія всѣмъ этимъ подробностямъ и выводамъ изъ романа объ Адольфѣ, какъ видно отчасти изъ составленныхъ нами примѣчаній, могутъ быть указаны и въ исторіи Онѣгина. Но сверхъ того, открываются еще нѣкоторыя интересныя совпа-

---

1) III, 386—387 (E. O., VIII, xii):

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ,
До двадцати шести годовъ,
Томясь въ бездѣйствіи досуга,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не успѣлъ.

2) III, 257 (E. O., I, lix):

Хандра ждала его на стражѣ,
И бѣгала за нимъ она,
Какъ тѣнь, иль вѣрная жена.

— 387 (VIII, xiii):

Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ
(Весьма мучительное свойство,
Немногихъ добровольный крестъ)...
И путешествія ему,
Какъ все на свѣтѣ, надоѣли...

3) III, 255 (E. O., I, xlviii):

Съ душою, полной сожалѣній,
И опершися на гранитъ,
Стоялъ задумчиво Евгеній...

денія во внѣшней исторіи обоихъ романическихъ героевъ. Такъ, и у Адольфа былъ своего рода Ленскій, молодой человѣкъ, съ которымъ онъ былъ довольно близокъ. «Послѣ долгихъ усилій, разсказываетъ Адольфъ, ему удалось заставить себя полюбить; и, какъ онъ не скрывалъ ни своихъ неудачъ, ни своихъ мукъ, онъ счелъ себя обязаннымъ сообщить мнѣ о своихъ успѣхахъ: ничто не можетъ сравниться съ его восторгами и избыткомъ его радости» [1]). Была у Адольфа и дуэль. Письмо Онѣгина къ Татьянѣ напоминаетъ нѣкоторыми мыслями объясненіе Адольфа съ Элленорой [2]); и т. п.

Конечно, указывая всѣ эти сходства, мы не думаемъ утверждать рѣшительныя и сознательныя заимствованія Пушкинымъ изъ любимаго имъ романа. Нашъ поэтъ, какъ истинно творческій геній, обработалъ вполнѣ самостоятельно общій сюжетъ, встрѣченный имъ у Гёте, Шатобріана, Бенжаменъ Констана, Байрона и другихъ западныхъ писателей и открывавшійся ему и въ русской жизни. Оттуда отличіе въ характерѣ и воззрѣніяхъ Онѣгина по сравненію съ западными родичами его и въ частности съ Адольфомъ [3]) и самостоятельная попытка Пушкина выяснить причину тоски «современнаго человѣка» [4]), а также критическое

---

1) Ср. III, 270 (Е. О., II, xix):

. . . . . пламенная младость...
Не можетъ ничего скрывать...

— 322 (IV, l):

И тайна брачная постели,
И сладостной любви вѣнокъ
Его восторговъ ожидали.

2) См. III-ю главу «Адольфа».

3) Такъ, напр., Онѣгинъ не былъ застѣнчивъ, какъ Адольфъ, не былъ столь слабохарактеренъ, столь чувствителенъ и, съ другой стороны, столь жестокъ; въ отличіе отъ Адольфа этотъ «повѣса» (III, 235) былъ свободенъ отъ такихъ крайностей; выдѣляясь «холодною душой», Онѣгинъ все-таки, по словамъ поэта, не лишенъ иногда благородства (см. III, 309 — Е. О., IV, xviii); нѣтъ въ немъ и нерѣшительности; наоборотъ, въ немъ чувствуются уже особенности русскаго характера, выступившія еще ярче въ «Героѣ нашего времени».

4) III, 250 (Е. О., I, xxxviii):

Недугъ, котораго *причину*
Давно бы отыскать пора,

отношеніе къ послѣднему, болѣе глубокое, чѣмъ у западныхъ поэтовъ романтической меланхоліи и тоски [1]).

Не слѣдуетъ преувеличивать пустоту Онѣгина и считать ее лишь чѣмъ-то павѣяннымъ и наноснымъ. Уже Татьяна задавалась вопросомъ:

Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?...
Уже не пародія ли онъ?
Ужель загадку разрѣшила?
Ужели слово найдено [2])?

Но, по всей вѣроятности, этотъ вопросъ былъ рѣшенъ Татьяной отрицательно, потому что она продолжала любить Онѣгина до конца, значитъ, находила въ немъ «неподражательную странность», какъ и поэтъ, который взялъ на себя даже нѣкоторую защиту своего героя, весьма знаменательную:

Зачѣмъ же такъ неблагосклонно
Вы отзываетесь о немъ?
За то ль, что *мы неугомонно*
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,

Подобный англійскому сплину,
Короче — русская хандра.

1) Такъ, у Шатобріана престарѣлый père Souël преподаетъ Рене, выслушавъ исторію послѣдняго, наставленіе, въ которомъ называетъ этого героя тоски юнымъ мечтателемъ, жертвующимъ общественными обязанностями своимъ безполезнымъ мечтаніямъ; въ непріязненномъ созерцаніи свѣта еще нѣтъ геніальности. Но, тѣмъ не менѣе, Рене не отрѣшенъ въ повѣствованіи отъ своего ореола.

2) III, 367—368 (E. O., VII, xxiv—xxv).

Что *пылкихъ душъ неосторожность*
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ;
Что *умъ, любя просторъ, тѣснитъ*;
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла;
Что глупость вѣтрена и зла;
Что важнымъ людямъ — важны вздоры,
И что посредственность одна
Намъ по плечу и не страшна [1])?

Онѣгинъ заслуживалъ такой защиты, потому что отличался недюжиннымъ умомъ, и его хандра, подобная англійскому сплину [2]), носила уже не личный по преимуществу характеръ, какъ тоска Кавказскаго Плѣнника, а черты міровой скорби [3]), и была обусловлена также печальною русскою дѣйствительностію. Невозможность приспособиться къ средѣ, характеризующая и Вертера [4]), и Гётевскаго Тассо, и Фауста, и Обермана, и Адольфа, и юнаго Пушкина, который въ личности Онѣгина пере-

---

1) III, 385 (Е. О., VIII, IX).

2) Сближеніе хандры Онѣгина со сплиномъ встрѣчается нѣсколько разъ въ поэмѣ.

3) Разочарованіе Онѣгина относилось не только къ обществу людей (III, 225 — Е. О., I, XLV—XLVI), но и вообще къ «міра совершенству» (III, 267 — Е. О., II, XV). Въ бесѣдахъ Онѣгина съ Ленскимъ

. . . . . все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племенъ минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предразсудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою чреду,
Все подвергалось ихъ суду.

4) Онѣгинъ страстно влюбляется лишь подъ конецъ повѣствованія, какъ Вертеръ, и притомъ въ замужнюю даму, но на отличіе его отъ Вертера намекаетъ Пушкинъ въ словахъ (III, 250—Е. О., I, XXXVIII):

Онъ застрѣлится, слава Богу,
Попробовать не захотѣлъ.

далъ нѣкоторыя воззрѣнія и привычки своей юности [1]), отличаетъ Онѣгина въ сильной степени и являлась наслѣдіемъ еще Екатерининскаго и непосредственно слѣдовавшаго времени [2]). Тоска Онѣгина происходила не отъ бездѣлья его; наоборотъ, послѣднее было обусловлено его мрачнымъ міровоззрѣніемъ, а не только пресыщеніемъ. По мнѣнію Фагэ, истинное основаніе тоски, характеризующей наше время, — ненависть къ жизни. Во времена Онѣгина еще не было научнаго обоснованія этой ненависти, хотя Оберманнъ уже извлекалъ съ холоднымъ разсчетомъ выводы изъ своей пессимистической философіи. Систематическаго пессимизма Шопенгауэра Онѣгинъ еще не зналъ. Но все-таки причина его

---

1) Поэтъ прибѣгалъ, между проч., къ формѣ представленія Онѣгина своимъ знакомымъ и другомъ, вліянію котораго подпалъ отчасти въ силу сходства положенія (III, 252—E. O., I, XLV):

Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ;
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней; и т. п.

Многое сближало Пушкина по выходѣ изъ Лицея, да и потомъ, съ Онѣгинымъ, напр., хандра (см., напр., VII, 123), образъ деревенскаго житья (VII, 182), но поэтъ протестовалъ противъ полнаго отожествленія автора съ его героемъ (см. III, 258—E. O., I, LVI):

Всегда я радъ замѣтить разность
Между Онѣгинымъ и мной,
Чтобы насмѣшливый читатель,
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здѣсь мои черты,
Не повторялъ потомъ безбожно,
Что намаралъ я свой портретъ; и проч.

2) Разумѣю не столько пресыщенныхъ жизнью баръ Екатерининскаго времени, о скукѣ которыхъ упоминала уже поэзія прошлаго вѣка (Державина), сколько истинно образованныхъ русскихъ, побывавшихъ заграницей и вынесшихъ оттуда много благородной тоски, какъ Радищевъ; объ А. А. Петровѣ, другѣ Карамзина, см. въ ст. г. *Сиповскаго*, Р. Старина 1899 г., № 6, стр. 565. У него же см. и о Лиодорѣ, разочарованномъ героѣ одной изъ повѣстей Карамзина.

тоски заключалась не въ бездѣльѣ «большихъ баръ», а въ разбродѣ ихъ мысли и утратѣ жизнерадостности. Указывали различные и весьма разнородные источники этой утраты XIX в.: крушеніе прежней наивной религіозной вѣры, разрушеніе надеждъ на науку, исчезновеніе политическихъ надеждъ въ силу того, что никакое правленіе не представляетъ желательнаго совершенства. Исходный пунктъ тоски Онѣгина не исключительно философскій и не исключительно въ бездѣльѣ, обусловленномъ складомъ русской общественной жизни, а заключался одновременно въ причинахъ обоего рода, кромѣ личныхъ особенностей характера Онѣгина (=Пушкина), пережившаго уже въ ранней молодости пылъ человѣческихъ страстей безъ должнаго удержа и самообладанія.

Что касается въ частности русской жизни, то мы поймемъ, что она не могла разсѣять скуку Онѣгина, если обратимъ вниманіе на другія проявленія такого же настроенія, изображенныя въ поэзіи Пушкина. Мы увидимъ тогда, что у насъ то была тоска, навѣянная не общимъ лишь пессимистическимъ взглядомъ на жизнь, который началъ слагаться съ 70-хъ годовъ прошлаго вѣка, но и нашими, болѣе частными, условіями, оказывавшими весьма сильное вліяніе на нѣкоторыя впечатлительныя натуры.

Такъ, въ «Рославлевѣ» (1831 г.) Полина, въ которой «было много страннаго и еще болѣе привлекательнаго», «являлась вездѣ», была «окружена поклонниками. Съ нею любезничали; но она скучала, и скука придавала ей видъ гордости и холодности». Если вникнемъ въ причину ея скуки, то замѣтимъ, что княжну томило ничтожество окружавшаго ее общества. «Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора», но только не произведенія русской литературы, которая казалась ей весьма бѣдной [1]). Тѣмъ труднѣе было Полинѣ, вполнѣ образованной на

1) Ср. рѣзкія сужденія Онѣгина и самого поэта о русской литературѣ: III, 268 (Е. О., II, къ строфѣ XVI), 251 (Е. О., I, XLIII), 398 (VIII, XXXV). Въ III гл., стр. XXVII (стр. 292) читаемъ:

западно-европейскій ладъ, примириться съ ничтожествомъ личностей, въ кругу которыхъ она вращалась. Во время обѣда, на которомъ угощали въ Москвѣ M-me de Staël, лицо Полины «пылало, и слезы показались на ея глазахъ». «Я въ отчаяніи!» сказала Полина своей подругѣ послѣ обѣда. «Какъ ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщинѣ! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящія замѣчанія, сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. А здѣсь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замѣчательнаго слова въ теченіе цѣлыхъ трехъ часовъ! Тупыя лица, тупая важность... и только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидѣла, чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились... Я сгорѣла со стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ отъ нашей свѣтской черни [1]) мнѣніе, котораго они достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый, простой народъ и понимаетъ его. Ты слышала, что сказала она дядюшкѣ, этому старому песносному шуту, который, изъ угожденія къ иностранкѣ, вздумалъ было смѣяться надъ русскими бородами? «Народъ, который, тому сто лѣтъ, отстоялъ свою бороду, отстоитъ въ наше время и свою голову» [2]).

Конечно, неправильно было называть такихъ тосковавшихъ «лишними» людьми: это были передовые люди своего времени.

Я знаю: дамъ хотятъ заставить
Читать по-русски. Право, страхъ!
Могу ли ихъ себѣ представить
Съ «Благонамѣреннымъ» въ рукахъ!

Ср. въ предисловіи къ первой части Онѣгина (1825 г.; III, 420); см. выше въ началѣ II-й главы.

1) Обращаемъ вниманіе читателей на это выраженіе, важное для пониманія такихъ произведеній, какъ «Поэтъ и Чернь».

2) IV, 111—113. Ср. любовь Татьяны къ народу.

Они были лишними только въ смыслѣ малой доли пользы, какую принесли вслѣдствіе своего бездѣйствія при возгласахъ о томъ, что имъ нечего дѣлать въ Россіи [1]), въ сравненіи съ тѣмъ, что могли бы совершить.

Какъ бы то ни было, русская жизнь была особо богата условіями, которыя должны были порождать тоску въ русскомъ человѣкѣ, образованномъ на западно-европейскій ладъ и расходившемся съ обществомъ, какъ разошелся Чацкій.

Онѣгинъ—живой типъ такого русскаго интеллигентнаго «современнаго человѣка» [2]), недовольнаго жизнью, дѣйствительностію и изнывающаго въ тоскѣ, типъ, который жилъ въ цѣломъ рядѣ лицъ и въ душѣ самого поэта въ качествѣ его «страннаго спутника» въ теченіе немалаго количества лѣтъ его молодости, являясь въ нѣсколькихъ образахъ, вплоть до Алексѣя повѣсти «Барышня-крестьянка», который первый передъ уѣздными барышнями «явился мрачнымъ и разочарованнымъ: первый говорилъ имъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ увядшей юности» [3]). Тоска Онѣгина долго владѣла душою Пушкина и другихъ лицъ поколѣнія, къ которому онъ принадлежалъ, да почти и весь нашъ XIX вѣкъ наполненъ этимъ типомъ [4]). Слѣдовательно, это вполнѣ реальный типъ, вдобавокъ вполнѣ освѣщенный средою, въ которую поставленъ поэтомъ и которая изображена необыкновенно широко и художественно: романъ объ Онѣгинѣ — первая грандіозная картина почти всей русской жизни,

---

1) «Вернуться въ Россію зачѣмъ? Что̀ дѣлать въ Россіи»? писала изъ Венеціи еще Елена, героиня повѣсти Тургенева «Наканунѣ».

2) О томъ свидѣтельствуютъ отзывы критики, современной «Онѣгину»; см. у *В. В. Сиповскаго*, Р. Стар. 1899, № 6, стр. 560 и въ отдѣльномъ оттискѣ: Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій. (Къ литературной исторіи Пушкинскихъ «типовъ») Спб. 1899, стр. 23.

3) IV, 77; «сверхъ того, носилъ онъ черное кольцо съ изображеніемъ мертвой головы».

4) Сколь ни далекъ Базаровъ отъ Онѣгина, но все-таки онъ потомокъ послѣдняго въ полномъ слѣдованіи модному теченію западной культуры и отрицательномъ отношеніи къ русской дѣйствительности.

предварявшая «Мертвыя Души» Гоголя въ «шуточномъ описаніи нравовъ» [1]).

Въ этой, часто въ высшей степени безотрадной, картинѣ постоянно сквозитъ духъ поэта, искавшаго и находившаго выходъ изъ тоски Онѣгина. Къ этому выходу инстинктивно направлялся однажды какъ-бы и самъ Онѣгинъ:

Наскуча или слыть Мельмотомъ [2]),
Иль маской щеголять иной,
Проснулся разъ онъ патріотомъ
Дождливой, скучною порой.
Россія, господа, мгновенно
Ему поправилась отмѣнно,
И рѣшено — ужъ онъ влюбленъ,
Ужъ Русью только бредитъ онъ!
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея политикой сухой,
Съ ея развратной суетой.
Онѣгинъ ѣдетъ; онъ увидитъ
Святую Русь: ея поля,
Пустыни, грады и моря [3]).

Повсюду однако Онѣгина преслѣдовала «тоска, тоска»! Лишь любовь его къ Татьянѣ могла стать залогомъ истиннаго обновленія его души.

---

1) См. предисловіе Пушкина къ первой части Онѣгина 1825 (III, 419—420). Ср. еще VII, 59: «забалтываюсь до-нельзя» и 62: «захлебываюсь желчью». Н. Раевскій нашелъ сатиру и цинизмъ «въ Онѣгинѣ» (VII, 70), но самъ поэтъ говоритъ, что о сатирѣ и помина нѣтъ въ «Евгеніи Онѣгинѣ» (VII, 117). Тѣмъ не менѣе онъ опасался, что цензура не пропуститъ этой поэмы (VII, 72, 79, 82, 84). «Горе отъ ума» гораздо уже по замыслу. Сужденія Пушкина о немъ разобраны въ ст. *А. Залдкина:* Литературно-критическія воззрѣнія А. С. Пушкина — Р. Старина 1899, № 6, стр. 553. Изображеніе общества времени Пушкина по произведеніямъ послѣдняго см. въ рѣчи *І. А. Малиновскаго:* Русская общественная жизнь въ поэтическомъ изображеніи А. С. Пушкина, Томскъ 1899.

2) Ср. выше о Мельмотѣ.

3) Русская Старина 1888, № 1, стр. 240.

Созданіе образа Татьяны было и для Пушкина однимъ изъ первыхъ симптомовъ поворота на новый путь, причемъ Пушкинъ первый воспропзвелъ въ нашей поэзіи превосходство русской женщины, замѣченное уже въ началѣ нашего вѣка [1]).

Онѣгинъ не былъ и не могъ быть идеаломъ, какъ и Адольфъ [2]). Татьяна же — воплощеніе нѣкоторыхъ изъ излюбленныхъ грезъ самого поэта, который въ привязанности къ родной землѣ и народу обрѣлъ истинный выходъ изъ «безъименныхъ страданій» [3]) и «модной» болѣзни.

Пушкинъ, какъ и его Татьяна, угадалъ высшую потребность русской жизни, которой не понялъ

Онѣгинъ, очень охлажденный
И тѣмъ, что видѣлъ, насыщенный [4]).

Развязка романа уже указывала, куда направлялся духъ поэта, который невольно

Уѣхалъ въ тѣнь лѣсовъ Тригорскихъ,
Въ далекій сѣверный уѣздъ,

и дождался «другихъ дней, другихъ сновъ» [5]). Но при этомъ не современная Пушкину поэзія Запада указала нашему поэту выходъ, какъ не дали выхода и Онѣгину ни западная культура, ни вѣчно неудовлетворенная мечта, ни путешествія по образцу Байрона и его Чайльдъ-Гарольда.

Въ то время, когда Пушкинъ заканчивалъ своего «Онѣгина», еще не возникали и въ замыслахъ пропзведенія въ родѣ дере-

---

1) Ост. Арх., I, 183, письмо кн. Вяземскаго изъ Москвы 1818 г.: «Въ однѣхъ женщинахъ нахожу я здѣсь удовольствіе, ибо точно имѣю въ нихъ много друзей. Большая часть нашихъ женщинъ двумя столѣтіями перегнала нашихъ мужчинъ. У здѣшнихъ бригадировъ умъ еще ходитъ въ штанахъ съ гульфиками».

2) Справедливо выразился кн. Вяземскій, что «Адольфъ не идеалъ».

3) Р. Стар., 1888, № 1, стр. 250.

4) Ib., 258.

5) Ib., 258 и 250.

венскихъ разсказовъ Ауэрбаха и Жоржъ-Зандъ, нашихъ «Записокъ охотника» Тургенева и повѣстей Григоровича. Пушкинъ, повторяю, самостоятельно, въ силу личныхъ симпатій, направлялся своею мыслью и сердцемъ въ міръ деревни, исходя еще изъ нѣкоторыхъ идей XVIII вѣка, но въ отрѣшеніи ихъ отъ фальши, которою отличался тотъ вѣкъ, по мнѣнію нашего поэта [1]). Пушкинъ сумѣлъ находить истинное подъ лживой оболочкой. Такъ, и признавая Руссо «фальшивымъ во всемъ» [2]) и не читая его болѣе [3]), Пушкинъ удержалъ въ памяти многое плодотворное изъ его идей и настроеній [4]) и явился его послѣдователемъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ припоминаній и собратомъ нѣкоторыхъ изъ почитателей Руссо, напр., англійскаго поэта Уордсуорта, который сонетъ

. . . . . орудіемъ избралъ,
Когда, вдали отъ суетнаго свѣта,
Природы онъ рисуетъ идеалъ [5]).

«Природы восторженный свидѣтель» [6]), Пушкинъ, любившій въ юности «шумъ и толпу» [7]), и тогда уже по временамъ, слѣдуя

---

1) Записки *Смирновой*, I, 159: «У французовъ прежде былъ Lignon, затѣмъ пасторали великаго вѣка и пастушескія идилліи XVIII столѣтія. Все это только салонная литература. Подобные сюжеты можно рисовать на ширмахъ, на экранахъ, на вѣерахъ, на пано надъ дверями и наконецъ на потолкахъ вмѣстѣ съ олимпійскими богами и апофеозомъ короля — солнца».

2) Ib., 150—151.

3) Ib., 151: (читалъ) «Жанъ-Жака — очень молодымъ, а позже никогда, потому что онъ для меня очень скученъ». Ср. выше. Разочаровалась потомъ въ Руссо и сестра нашего поэта, Ольга: *Л. Павлищевъ*, Изъ семейной хроники. Воспоминанія объ А. С. Пушкинѣ, М. 1890, стр. 20.

4) Вліяніе Руссо отзывается еще въ «Повѣстяхъ Бѣлкина» (IV, 54): «Я васъ люблю, говоритъ герой «Метели» своей неузнанной пока женѣ. Я поступилъ неосторожно, предаваясь милой привычкѣ, привычкѣ видѣть и слышать васъ ежедневно...» (*Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St. Preux*).

5) II, 98. Пушкинъ, повидимому, не раздѣлялъ мнѣнія Байрона объ этомъ поэтѣ. Слѣды знакомства съ нимъ открываются хотя бы въ словахъ: «We are seven»: Зап. *Смирн.*, I, 144.

6) Соч. II., I, 287.

7) V, 22.

развившемуся въ XVIII в. культу уединенія и мечтательности и собственному влеченію, находилъ удовольствіе въ деревенской жизни [1]) и уединеніи [2]). И тогда уже онъ любилъ свой «дикій садикъ» съ «прохладой липъ и кленовъ шумнымъ кровомъ», «зеленый скатъ холмовъ», «луга»: «они знакомы вдохновенью» [3]). Это вдохновеніе бывало иногда весьма серьезно.

Простой воспитанникъ природы,

Пушкинъ, какъ Руссо, считая свободу однимъ изъ «правъ природы» [4]), о которомъ взываетъ «природы голосъ нѣжный» [5]), воспѣвалъ

Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышалъ [6]).

Потому-то «другъ человѣчества» уже на двадцатомъ году жизни не пробавлялся въ деревнѣ идиллiей на манеръ XVIII в., а «мысль ужасная» тамъ его «душу омрачаетъ», и онъ въ «Деревнѣ»

. . . . . печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца. И т. п.

Такимъ образомъ, изъ наблюденія надъ деревенскою жизнью Пушкинъ, какъ и Уордсуортъ, но независимо отъ него, вынесъ

1) «Деревня» 1818 (I, 205—206). Поэтъ привѣтствуетъ «пустынный уголокъ, пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья». См. выборку мѣстъ, свидѣтельствующихъ объ «идиллическихъ стремленіяхъ» Пушкина, въ брошюрѣ *Б. Никольскаго*, Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина, Спб. 1899, стр. 15 и слѣд.

2) Соч. П., I, 283; I, 206, 241: «Уединеніе» 1822 г. (I, 278).

3) I, 207.

4) I, 297.

5) II, 30.

6) II, 13. Ср. у *Б. Никольскаго*, стр. 46, прим. 2.

стремленіе къ ниспроверженію зла, удручавшаго деревенскій людъ, и, первый изъ нашихъ поэтовъ [1]), за двадцать съ лишнимъ лѣтъ до Шевченка [2]), нарисовалъ смѣлою и энергичною кистью печальныя картины крѣпостнаго права, вызывавшія «des bons sentiments», по выраженію имп. Александра I [3]). Пушкинъ желалъ бы «свободы просвѣщенной» народу, при которой послѣдній могъ бы понимать и произведенія самого поэта [4]). Въ трудѣ для осуществленія этихъ и подобныхъ стремленій Пушкинъ усматривалъ свою высшую радость и оканчивалъ свою жизнь, направляясь своею мечтою, подобно Татьянѣ, въ деревню. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ стихотвореній онъ писалъ [5]):

На свѣтѣ счастья нѣтъ [6]), а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мнѣ доля,
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ
Въ обитель дальнюю *трудовъ* и чистыхъ нѣгъ [7]).

---

1) Оставляемъ А. Н. Радищева въ сторонѣ, потому что рѣчь идетъ о поэтахъ.

2) Картины, изображавшія крѣпостного пахаря (см. Кіевскую Старину 1899 г., № 4, стр. 152—153),—какъ бы иллюстрація стиховъ Пушкина:

Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца.

3) I, 206. Это стихотвореніе — одно изъ цѣлаго ряда тѣхъ, которыми поэтъ «чувства добрыя пробуждалъ», по выраженію Пушкина, быть можетъ, повторявшаго слова Александра I.

4) Зап. *Смирновой*. I, 157: «Полетика разсказывалъ мнѣ, что нѣкоторыя изъ пьесъ Шекспира играютъ въ праздникъ Рождества на фермахъ. Вотъ это слава! Если когда-нибудь крестьяне поймутъ моего «Бориса Годунова» — это тоже будетъ слава. Я буду знать, что сдѣлалъ нѣчто хорошее, настоящее, понятное для всѣхъ».

5) II, 193 (къ женѣ): «Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце проситъ...».

6) Ср. слова Руссо о томъ, что «Il n'y a de beau que ce qui n'est pas», и Шиллера въ стих.: «Начало нашего вѣка»:

...На всей землѣ пензмѣримой
Десяти счастливцамъ мѣста нѣтъ.
Заключись въ святомъ единеньи,
Въ мірѣ сердца, чуждомъ сусты.

7) Ср. Зап. *Смирновой*, I, 340: «Я смотрю на Неву и мнѣ безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароходъ... Еслибъ я это сдѣлалъ, что бы сказали? Сказали бы: онъ корчитъ изъ себя Байрона. Мнѣ кажется, что

Вспомнимъ, что о подобномъ же покоѣ гдѣ-нибудь вдали въ Америкѣ мечталъ и Байронъ. Замѣтимъ также, что лучшія произведенія нашего поэта созданы въ деревенскомъ уединеніи Михайловскаго [1]), Малиннике [2]), Болдина [3]). Тамъ онъ наиболѣе вдохновлялся [4]). Та постоянно шумная свѣтская жизнь, которую Пушкинъ долженъ былъ вести со времени женитьбы, была ему не по сердцу и тяготила его [5]).

Пушкинъ желалъ бы окончить свой вѣкъ согласно съ идеями Руссо и, подобно послѣднему, оставался во всю свою жизнь поэтомъ индивидуальной свободы — даже тогда, когда отрекался отъ свободы политической на западно-европейскій ладъ [6]).

Вотъ сколькими нитями связаны воззрѣнія и наклонности Пушкина съ ученіемъ Руссо. Пушкинъ продолжалъ своими произведеніями вліяніе знаменитаго Женевца на русскую литера-

---

мнѣ сильнѣе хочется уѣхать *очень, очень далеко*, чѣмъ въ ранней молодости, когда я просидѣлъ два года въ Михайловскомъ...». «Мнѣ именно теперь бы слѣдовало бы уѣхать съ женой въ деревню, по крайней мѣрѣ на годъ».

1) Тамъ написано одно изъ самыхъ замѣчательныхъ юношескихъ стихотвореній Пушкина — «Деревня». Тамъ же для поэта позднѣе

. . . . . безмолвно пролетали
Часы трудовъ, свободно вдохновенныхъ;

тамъ совершился въ немъ и нравственный переворотъ, ознаменовавшій наступленіе зрѣлости въ его мысли. См. II, 173—184 и ниже — въ III-й главѣ. — Оставляемъ въ сторонѣ Каменку, гдѣ были написаны элегіи «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда...», «Я пережилъ свои желанья», окончаніе «Кавказскаго Плѣнника» и др.

2) См. ст. *Н. Овсянникова*: Малинники и воспоминаніе объ А. С. Пушкинѣ, Моск. Вѣд. 1899, № 68.

3) См. *Н. Овсянникова*: Болдино и воспоминаніе о А. С. Пушкинѣ, Моск. Вѣд. 1899, № 96.

4) Въ письмѣ, напр., къ Плетневу въ мартѣ 1831 г. (VII, 264), Пушкинъ выражалъ желаніе «не доѣхать» въ Петербургъ и «остановиться въ Царскомъ Селѣ. Мысль благословенная! Лѣто и осень, такимъ образомъ, провелъ бы я въ уединеніи вдохновительномъ...».

5) Прямой поэтъ, по словамъ Пушкина (Къ Н**, 1834 — прибавочные стихи: II, 168),

. . . . . сѣтуетъ душой
На пышныхъ играхъ Мельпомены.

6) См. ниже о стихотвореніи «Изъ Пиндемонте».

туру, столь сильное съ Екатерининскаго времени, и какъ-бы подалъ руку въ этомъ направленіи Л. Н. Толстому [1]).

Пушкинъ ввелъ при этомъ въ должныя рамки преувеличенія и неестественности, допущенныя Руссо, какъ и вообще не впадалъ въ односторонность, не увлекаясь чрезъ мѣру тѣми или иными писателями и всему удѣляя надлежащія границы.

Потому онъ избѣжалъ приторной сентиментальности и водянистости такъ или иначе примыкавшихъ къ направленію Руссо излюбленныхъ романовъ XVIII в. и начала XIX-го, въ которые вчитывался либо по искреннему увлеченію, либо изъ историческаго интереса, желая знать, чѣмъ восхищались его предки и современники.

Романъ объ Онѣгинѣ знакомитъ насъ съ кругомъ этихъ романовъ, плѣнявшихъ нашихъ предковъ во времена Пушкина и предъ тѣмъ. Иностранному роману тогда принадлежало значеніе бо́льшее, чѣмъ нынѣ:

Любви насъ не природа учитъ,
А Сталь или Шатобріанъ.
Мы алчемъ жизнь узнать заранѣ,
И узнаемъ ее въ романѣ [2]).

Въ особенности въ провинціи для многихъ романы «замѣняли все». Дѣвицы того времени, какъ мы знаемъ уже изъ исторіи Татьяны, влюблялись «въ обманы и Ричардсона и Руссо» [3]); воображеніе ихъ занимали

Любовникъ Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежный,
И безподобный Грандисонъ,
Который намъ наводитъ сонъ,

---

1) Ср. статью *Н. Котляревскаго* въ декабрьской кн. Cosmopolis'a 1898 г.
2) III, 238 (Е. О., I, IX).
3) III, 273 (Е. О., II, XXIX—XXX).

и героини «возлюбленныхъ творцовъ, Кларисса, Юлія, Дельфина» [1]). Нашъ поэтъ такъ отмѣтилъ отличіе романовъ XVIII-го в. отъ романовъ начала XIX-го:

Свой слогъ на важный ладъ настроя,
Бывало, пламенный творецъ
Являлъ намъ своего героя
Какъ совершенства образецъ..., и т. д.
А нынче всѣ умы въ туманѣ,
Мораль на насъ наводитъ сонъ,
Порокъ любезенъ и въ романѣ,
И тамъ ужъ торжествуетъ онъ.
Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы,
И сталъ теперь ея кумиръ
Или задумчивый Вампиръ,
Или Мельмотъ, бродяга мрачный,
Иль Вѣчный жидъ, или Корсаръ,
Или таинственный Сбогаръ [2]).

Нравились романы,

Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человѣкъ [3]).

Но чтался по временамъ

Нравоучительный романъ,
Въ которомъ авторъ знаетъ болѣ
Природу, чѣмъ Шатобріанъ [4]),

---

1) Ib., 284 (III, ix—x). Объ увлеченіи русскаго общества XVIII в. романами см. въ книгѣ *В. В. Сиповскаго:* Н. М. Карамзинъ, авторъ «Писемъ русскаго путешественника», Спб. 1899; тамъ же на стр. 456 указаны другія статьи и монографіи, содержащія данныя о томъ.

2) III, 285—286 (E. O., xi—xiii).

3) III. 366 (E. O., VII, xxii).

4) III, 312 (E. O., IV, xxvi). Ср. 332 (E. O., xxiii): «для Татьяны наконецъ» «кочующій купецъ» Задеку

или же

Рядъ утомительныхъ картинъ,
Романъ во вкусѣ Лафонтена [1]).

Въ зимнюю пору въ глуши

Читай: вотъ Прадтъ, вотъ Walter Scott [2]).

Въ ряду этихъ романовъ первое мѣсто по времени занимали романы Ричардсона. Ими увлекалось нѣкогда поколѣніе, уже доживавшее свой вѣкъ во времена Пушкина. Самому же поэту даже «хваленая» Кларисса показалась скучной [3]). «Читаю томъ, другой, третій — скучно, мочи нѣтъ», пишетъ Лиза въ «Романѣ въ письмахъ». Скука, наводимая этимъ романомъ, обусловлена рѣзкимъ измѣненіемъ идеаловъ. «Какая ужасная разница между идеалами бабушекъ и внучекъ. Что есть общаго между Ловеласомъ и Адольфомъ? Между тѣмъ, роль женщинъ не измѣняется; Кларисса, за исключеніемъ церемонныхъ присѣданій, все жъ походитъ на героиню новѣйшихъ романовъ, потому ли, что способы нравиться въ мужчинѣ зависятъ отъ моды, отъ минутнаго вліянія, а въ женщинахъ они основаны на чувствѣ и природѣ, которыя вѣчны» [4]). И дѣйствительно, Лиза этого отрывка сама даже находитъ сходство между собою и Клариссой, — правда,

---

...уступилъ за три съ полтиной;
Въ придачу взявъ еще...
...Мармонтеля третій томъ.

1) III, 322 (E. O., IV, I): разумѣется романъ семейственный.

2) III, 319 (E. O., IV, XLIII). Ср. ib., 89 (Графъ Нулинъ):

Въ Петрополь ѣдетъ онъ теперь...
Съ романомъ новымъ Вальтеръ-Скотта...

3) Пушкинъ читалъ Клариссу въ Михайловскомъ въ 1824 г. и писалъ о ней брату (VII, 92): «читаю Клариссу: мочи нѣтъ, какая скучная дура!» Такой рѣзкій отзывъ значительно смягченъ позднѣе: «Многіе читатели согласятся со мною, что Кларисса очень утомительна и скучна, но со всѣмъ тѣмъ романъ Ричардсоновъ имѣетъ необыкновенное достоинство» (V, 216—1834 г.; ср. ib., 249).

4) IV, 350—351.

чисто внѣшнее, состоящее въ томъ, что она «живетъ въ глухой деревнѣ и разливаетъ чай, какъ Кларисса Гарловъ» [1]). Въ тѣхъ же отрывкахъ вскользь изображена «Маша, стройная, меланхолическая дѣвушка лѣтъ семнадцати, воспитанная на романахъ и на чистомъ воздухѣ» [2]), какъ Татьяна. Не изъ старыхъ ли романовъ отчасти и общая схема «Онѣгина»? Повидимому, такое построеніе романа нравилось нашему поэту. Повтореніе до извѣстной степени Онѣгинской схемы находимъ въ той, которая предназначалась «для романа въ письмахъ» [3]). По плану автора, герой послѣдняго романа былъ своего рода Онѣгинымъ. Онъ писалъ о деревенской жизни: «отдыхаю отъ петербургской жизни, которая мнѣ ужасно надоѣла». Читая романы, онъ также дѣлалъ замѣчанія на поляхъ, «блѣдно писанныя карандашомъ». Лиза сообщала о немъ: «Онъ уже успѣлъ обворожить бабушку. Онъ будетъ ѣздить къ намъ. Опять пойдутъ признанія, жалобы, клятвы,—*и къ чему*? Онъ добьется моей любви, моего признанія, потомъ размыслитъ о невыгодахъ женитьбы, уѣдетъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ, оставитъ меня — а я? Какая ужасная будущность!» [4]).

Хваля построеніе романовъ прошлаго вѣка и предполагая со временемъ возвратиться къ «роману на старый ладъ» [5]), Пуш-

---

1) Ib., 350.

2) Ibid.

3) Ср. подобное же наблюденіе *Поливанова:* Сочиненія А. С. Пушкина съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики, т. IV, М. 1887, стр. 161.

4) IV, 356, 353, 355. Въ концѣ отрывковъ Владиміръ Z. пишетъ другу: «Кромѣ Лизы, есть у меня *для развлеченія* одна милая дѣвушка, моя родственница», и т. д. Весьма благосклонный отзывъ о послѣдней не есть ли предвѣстіе, что Лизу должна была постигнуть участь Татьяны?

5) III, 286 (E. O., III, xiii):

Быть можетъ . . . . . .
Унижусь до смиренной прозы:
Тогда романъ на старый ладъ
Займетъ веселый мой закатъ.
Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно въ немъ изображу,
Но *просто* вамъ *перескажу*

кинъ не одобрялъ лишь длинноты послѣдняго и содержанія рѣчей въ немъ: «большею частью романы» XVIII-го столѣтія «не имѣютъ другого достоинства: происшествіе занимательно, положеніе хорошо запутано, но Белькуръ говоритъ косо, но Шарлотта отвѣчаетъ криво. Умный человѣкъ могъ бы *взять* здѣсь *готовые характеры*, *исправить слогъ* и *безсмыслицы*, *дополнить недомолвки — и вышелъ бы прекрасный, оригинальный романъ*. Скажи это отъ меня моему неблагодарному Алексѣю П.... Пусть онъ *по старой канвѣ вышьетъ новые узоры* и представитъ намъ въ маленькой рамкѣ картину свѣта и людей, которыхъ онъ такъ хорошо знаетъ» [1]).

Самъ Пушкинъ отчасти слѣдовалъ этому плану, и, если у него замѣчаются по временамъ пользованія частностями тѣхъ или иныхъ готовыхъ схемъ, эпизодовъ или характеровъ [2]), въ общемъ онъ давалъ превосходныя самостоятельныя картины жизни и изображенія характеровъ. Готовые образцы не подавляли его собственнаго творчества, и даже столь любимая въ XVIII в. форма романа въ письмахъ нашла мѣсто у Пушкина лишь въ немногихъ отрывкахъ. Равнымъ образомъ и увлеченіе

Преданья русскаго семейства;
Любви плѣнительные сны,
Да нравы нашей старины; и т. д.

Ср. въ текстѣ сужденія Пушкина о Вальтеръ-Скоттѣ. Романъ въ письмахъ и задуманный Пушкинымъ «Русскій Пельгамъ» (ср. Зап. *Смирн.*, I, 307) не были ли попыткой осуществленія этого плана?

1) IV, 353.

2) См., напр., въ ст. *Галахова:* «О подражательности нашихъ первоклассныхъ поэтовъ», Р. Старина 1888, № 1, стр. 27 и слѣд.: «У Пушкина, въ концѣ «Капитанской Дочки», именно въ сценѣ свиданія Марьи Ивановны съ императрицей Екатериной II, есть тоже подражаніе. Здѣсь образцомъ служитъ Вальтеръ-Скоттъ, романы котораго очень цѣнились нашимъ поэтомъ, назвавшимъ ихъ, въ одномъ письмѣ, «пищей для души». Дочь капитана Миронова поставлена въ одинаковое положеніе съ героиней «Эдинбургской Темницы», Дженни, дочерью шотландскаго фермера» и т. д. Ср. замѣчаніе Пушкина: «паѳоса много въ «Эдинбургской Темницѣ», въ характерѣ Дженни Динзъ; сцена ея свиданія съ королемъ Іаковомъ очаровательна» (Зап. *Смирновой*, I, 159), и у *Чернѣева*, стр. 80—82 и 206—207.

Байроновымъ Донъ-Жуаномъ [1]) отразилось слабо въ существенномъ содержаніи «Онѣгина». Тѣмъ менѣе можно было ожидать повторенія у Пушкина недостатковъ второстепенныхъ романистовъ XVIII и XIX в. Пушкинъ со свойственнымъ ему мѣткимъ и тонкимъ критицизмомъ хорошо различалъ истинныя достоинства и промахи романовъ и выдѣлялъ изъ ряда послѣднихъ выдающіеся. Такъ, онъ съ одобреніемъ отнесся къ тому, что французскіе писатели въ концѣ реставраціи «почувствовали, что цѣль художества есть *идеалъ*, а не *нравоученіе*. Но писатели французскіе поняли одну только половину истины неоспоримой, и положили, что нравственное безобразіе можетъ стать цѣлью поэзіи, т. е. идеаломъ! Прежніе романисты представляли человѣческую природу въ какой-то жеманной напыщенности; награда добродѣтели и наказаніе порока были непремѣннымъ условіемъ всякаго ихъ вымысла; нынѣшніе, напротивъ, любятъ выставлять порокъ всегда и вездѣ торжествующимъ, а въ сердцѣ человѣческомъ обрѣтаютъ только двѣ струны: эгоизмъ и тщеславіе» [2]). Такъ мѣтко открывалъ Пушкинъ основные недостатки господствовавшихъ литературныхъ теченій. Онъ вѣрно оцѣнивалъ также образцовыя созданія. Онъ «обожалъ» Донъ-Кихота, «образецъ правдивости, а между тѣмъ мысль Сервантеса почти скрыта, она проявляется только въ дѣйствіяхъ обоихъ героевъ» [3]). Пушкинъ находилъ, что «разница между Вальтеръ-Скоттомъ и Дюма прежде всего—та же самая, которая существуетъ между ихъ двумя націями. Но кромѣ того, Вальтеръ-Скоттъ историкъ, онъ описалъ нравы и характеръ своей страны... Это настоящая, почвенная и историческая поэзія. «Lairds» Вальтеръ-Скотта оригинальны такъ-же, какъ и его герои изъ народа; чувствуется, что это почерпнуто прямо изъ народнаго характера; въ нихъ есть

1) VII, 159 («Что за чудо Донъ-Жуанъ!» и т. д.) и 56 («пишу... романъ въ стихахъ...—въ родѣ Донъ-Жуана»), но въ другомъ письмѣ (VII, 117—118) Пушкинъ однако просилъ не сравнивать Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ Байрона.

2) V, 302.

3) Зап. *Смирновой*, I, 158.

свой особенный, сухой юморъ». Пушкину, повидимому, эти достоинства преимущественно и нравились въ романѣ, и онъ сожалѣлъ, что «въ Россіи мало переводятъ Вальтеръ-Скотта [1]) и ему плохо подражаютъ; у насъ слишкомъ много переводятъ д'Арленкура и m-me Коттэнъ и даже уже подражаютъ имъ; это скоро создастъ намъ сентиментальные романы» [2]), «чопорности» которыхъ Пушкинъ не одобрялъ [3]). Конечно, Пушкинъ находилъ недостатки и у Вальтеръ-Скотта, у котораго есть «лишнія страницы» [4]). «Вальтеръ-Скотъ описываетъ любовь съ точки зрѣнія своего времени: въ этомъ отношеніи онъ принадлежитъ еще прошлому вѣку, это не то, что Бульверъ; его герои и героини, главнымъ образомъ, влюбленные; но въ другихъ отношеніяхъ у него много *павоса* — я не понимаю, почему французы дали комичное значеніе этому англійскому слову, происходящему отъ слова патетическій» [5]). Пушкинъ цѣнилъ, такимъ образомъ, истинную трогательность въ противоположность сентиментальности поколѣнія, изображавшагося въ романахъ второй половины XVIII в., поколѣнія, въ которомъ прекрасныя чувствованія разростались насчетъ разсудка.

Но самыя эти чувствованія въ ихъ естественномъ и вмѣстѣ благородномъ проявленіи были высоко ставимы нашимъ поэтомъ.

Лучшее поэтическое выраженіе дорогихъ для него чувствъ, наклонностей и преданій XVIII-го в., какое представила Фран-

---

1) Другія сужденія Пушкина о Вальтеръ-Скоттѣ приведены у *Черняева*, стр. 64—65.

2) Зап. *Смирновой*, I, 159; см. еще тамъ же стр. 165—168, въ особенности: «Вальтеръ-Скоттъ сдѣлалъ одно характерное замѣчаніе: «Нѣтъ ничего болѣе драматичнаго, чѣмъ дѣйствительность». Я того же мнѣнія. И еще есть разница между дѣйствующими лицами Дюма и Скотта. Всѣ герои Скотта одушевлены политической идеей; они дѣйствительно играли политическую роль» (стр. 167; ср. 208).

3) V, 32: «О романахъ Вальтеръ-Скотта» (1825 г.). См. еще V, 303: «чопорность и торжественность романовъ Арно и г-жи Котенъ».

4) IV, 352.

5) Зап. *Смирновой*, I, 159. Въ письмѣ изъ Михайловскаго 1824 г. (VII, 87), читаемъ: «les conversations de Byron! Walter-Scott! Это пища души».

цузская литература того столѣтія, Пушкинъ съ 1819—1820 г. признавалъ у Андре Шенье,

Того возвышеннаго галла,
Кому сама средь славныхъ бѣдъ
. . . гимны смѣлые внушала

«вольность» [1]).

Пѣсни А. Шенье, погибшаго жертвою террора во время французской революціи, остались неизвѣстны большинству его современниковъ и пребывали въ рукописи въ рукахъ надежныхъ друзей поэта почти въ теченіе тридцати лѣтъ. Будучи изданы въ 1819 г., онѣ сразу вызвали удивленіе и всеобщія сожалѣнія о печальной судьбѣ поэта, столь рано унесеннаго гильотиной.

Пушкинъ былъ однимъ изъ первыхъ [2]) поэтовъ и вмѣстѣ критиковъ, оцѣнившихъ

. . . . . тѣнь,
Давно, безъ пѣсенъ, безъ рыданій,
Съ кровавой плахи, въ дни страданій
Сошедшую въ могильну сѣнь,
Пѣвца любви, дубравъ и мира,
Пѣвца возвышенной мечты,

«задумчиваго» и «восторженнаго» поэта [3]). Признавая, что «священный лѣсъ грековъ сталъ священнымъ лѣсомъ для всѣхъ народовъ, для насъ также» [4]), авторъ антологическихъ стихотвореній [5]), Пушкинъ позднѣе «восхищался» Шенье, между прочимъ,

---

1) I, 219.

2) См. *Анненкова*, Матеріалы[2], 96—97, *Л. Н. Майкова*, Пушкинъ, 10, и Зап. *Смирновой*, I, 165. Подражанія и переводы Пушкина изъ Шенье начинаются съ 1820 г. (I, 216).

3) I, 337, 340, 342.

4) Зап. *Смирновой*, I, 147.

5) См. *Чернявева*, А. С. Пушкинъ, какъ любитель античнаго міра и переводчикъ древне-классическихъ поэтовъ, Каз. 1889. *Анненковъ*, Пушкинъ, Матеріалы, 69, признаетъ, что «большая часть антологическихъ стихотвореній Пуш-

«потому что онъ единственный настоящій грекъ у французовъ. Единственный, который чувствовалъ, какъ грекъ. Если бы онъ жилъ подольше, то произвелъ бы революцію въ поэзіи» [1]). Пушкинъ нѣсколько ошибался въ этомъ сужденіи [2]), какъ и въ томъ, что въ А. Шенье «романтизма нѣтъ еще ни капли» [3]), но превосходно воспроизвелъ въ своемъ стихотвореніи «Андрей Шенье» (1825 г.) образъ этого поэта, какъ ранѣе прекрасно воспѣлъ Овидія [4]). Многое помимо античнаго содержанія должно было привлекать Пушкина къ памяти и поэзіи того, о которомъ онъ выразился въ 1823 г.: «Никто болѣе меня не уважаетъ, не любитъ болѣе этого поэта» [5]). Шенье былъ милъ Пушкину прежде всего, какъ

. . . . . великій гражданинъ
Среди великаго народа,

какъ «восторженный поэтъ», лира котораго и наканунѣ казни

кина навѣяна чтеніемъ Андре Шенье, но есть между обоими поэтами и существенная разница» (мѣра и изящество, «тонкій психологическій анализъ»). Ср. *Б. Никольскаго*, Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина, стр. 39.

1) Зап. *Смирновой*, I, 152. Ср. V, 43: «поэтъ, напитанный древностью, коего даже недостатки проистекаютъ изъ желанія дать французскому языку формы греческаго стихосложенія».

2) Нѣсколько точнѣе оно въ черновикѣ письма 1823 г.: «онъ истинный грекъ. *C'est un imitateur savant*», но рядомъ и съ этими словами читаемъ: «Отъ него такъ и пахнетъ Ѳеокритомъ и Анѳологіей». Пушкинъ забылъ, что А. Шенье своимъ пристрастіемъ къ античной древности и ея созданіямъ примыкалъ къ роднымъ ему поэтамъ XVIII-го и даже XVI-го вѣка и въ этомъ отношеніи внесъ мало новизны: онъ только имѣлъ болѣе вкуса, таланта и лучше писалъ въ античномъ стилѣ. Но А. Шенье, подобно Ронсару, смѣшивалъ безразлично всѣ произведенія древности, подражалъ подражателямъ, не былъ поэтомъ свободныхъ порывовъ вдохновенія, а былъ по преимуществу поэтомъ ученаго мозаическаго мастерства, и о чистомъ эллинизмѣ у него не можетъ быть и рѣчи; этотъ хорошій ученикъ древнихъ былъ также истиннымъ сыномъ XVIII в.

3) См. то же письмо: VII, 56. Въ поэзіи Шенье были уже нѣкоторыя ноты, предвѣщавшія поэзію Ламартина, Гюго и Альфреда де-Мюссэ.

4) I, 258—260: «Къ Овидію».

5) VII, 56.

. . . . . поетъ свободу,
Не измѣнилась до конца [1]).

Вспомнимъ, что идеи французской революціи, которымъ заграждался путь къ намъ при Екатеринѣ II и Павлѣ, хлынули широкою волною при Александрѣ I [2]), въ особенности съ 1813—1814 гг. [3]), и кн. П. А. Вяземскій писалъ въ 1819 г. А. И. Тургеневу [4]):

Русскимъ быть и быть въ свободѣ?
Богъ такихъ чудесъ въ природѣ,
Богъ не въ силахъ сотворить.

Пушкинъ (въ 1821 г.) прославилъ французскую революцію, какъ моментъ,

Когда, надеждой озаренный,
Отъ рабства пробудился міръ,
И галлъ десницей разъяренной
Низвергнулъ ветхій свой кумиръ....
И день великій, неизбѣжный,
Свободы яркій день вставалъ [5]).

И не лишено было значенія, что за нѣсколько мѣсяцевъ до катастрофы 14-го декабря нашъ поэтъ «не думалъ дѣлать тайны», а напротивъ, сдѣлалъ «всѣмъ извѣстнымъ вполнѣ гораздо прежде напечатанія» стихотвореніе, въ которомъ А. Шенье говоритъ, по словамъ самого Пушкина,

«О взятіи Бастиліи.
О клятвѣ du jeu de paume.

---

1) I, 342 и 338.

2) Когда Васильчиковъ доложилъ въ 1821 г. Александру I объ обширномъ политическомъ заговорѣ, императоръ долго былъ безмолвенъ и затѣмъ, послѣ глубокаго раздумья, сказалъ: «Дорогой Васильчиковъ, вы, который находитесь на моей службѣ съ начала моего царствованія, вы знаете, что я раздѣлялъ и поощрялъ эти иллюзіи и заблужденія... Не мнѣ карать!..».

3) См. выше въ концѣ I-й главы.

4) Ост. Арх., I, 240.

5) I, 252.

О перенесеніи тѣлъ славныхъ изгнанниковъ въ Пантеонъ.
О побѣдѣ революціонныхъ идей.
О торжественномъ провозглашеніи Равенства.
Объ уничтоженіи Царей».

Понятно, что Пушкинъ долженъ былъ писать потомъ въ оффиціальномъ объясненіи: «Что жъ тутъ общаго съ несчастнымъ бунтомъ 14 декабря, уничтоженнымъ тремя выстрѣлами картечи и взятіемъ подъ стражу всѣхъ заговорщиковъ» [1]), но это оправданіе теряетъ значеніе при чтеніи дифирамба революціи, слышащагося изъ устъ Шенье [2]), при сопоставленіи съ упоминаніемъ о Шенье въ «Одѣ Вольность» и съ политическими идеями Пушкина въ годы 1819—1825 [3]).

---

1) *Шляпкинъ*, Къ біографіи Пушкина, 27—28. См. еще статью *А. Слезскинскаго*, Преступный отрывокъ элегіи «Андре Шенье» (Изъ судебнаго процесса А. С. Пушкина, А. Леопольдова, Коноплева и др.) — Р. Стар. 1899 г., № 8. Сенатъ въ окончательномъ приговорѣ обратилъ вниманіе на неумѣстность выраженія «несчастнымъ».

2) Напр., въ словахъ (I, 338):

Я зрѣлъ твоихъ сыновъ гражданскую отвагу,
Я слышалъ братскій ихъ обѣтъ,
Великодушную присягу
И *самовластію* безтрепетный отвѣтъ.

Выше было уже сказано, что либералы 20-хъ годовъ «самовластіемъ» называли самодержавіе.

3) См. въ Запискахъ *барона М. А. Корфа* (Р. Стар. 1899, № 8, стр. 310) слова импер. Николая о свиданіи съ Пушкинымъ послѣ коронаціи въ Москвѣ: «Что вы бы сдѣлали, если бы 14-го декабря были въ Петербургѣ, спросилъ я его между прочимъ. Былъ бы въ рядахъ мятежниковъ, отвѣчалъ онъ, не запинаясь». Должно, впрочемъ, сказать, что нѣкоторыя подробности въ разсказѣ Корфа возбуждаютъ сомнѣнія: такъ, судя по словамъ самого Пушкина (см. выше — во вступленіи), «царственную руку подалъ» поэту самъ императоръ, а не наоборотъ. *Б. Никольскій*, Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина, стр. 45, приписываетъ элегіи «Андре Шенье» весьма важное значеніе въ творчествѣ Пушкина: она «въ области его гражданскихъ воззрѣній знаменуетъ такой же поворотъ, какъ «Пророкъ» во всемъ его міровоззрѣніи... Съ нея начинается совершенная ясность и опредѣленность въ мысляхъ Пушкина о свободѣ. Мятежъ, революція осуждены имъ окончательно, и какъ поэтомъ, и какъ гражданиномъ; въ трибуны онъ болѣе не мѣтитъ,—онъ сознаетъ, что его гражданскій подвигъ не выходитъ за предѣлы поэзіи. Но онъ не отрекся ни отъ народной, ни отъ личной свободы»... Это утвержденіе не совсѣмъ вѣрно, какъ явствуетъ

Конечно, было весьма много незрѣлости и юношескаго задора въ формулировкѣ и провозглашеніи этихъ идей вслѣдъ за Шенье, привѣтствовавшимъ «свѣтило» и «небесный ликъ» свободы, «священный громъ» которой

...разметалъ позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Разсѣялъ пепломъ и стыдомъ,

и моментъ, когда

...пламенный трибунъ предрекъ, восторга полный,
Перерожденіе земли...
Отъ пелены предубѣжденій
Разоблачался ветхій тронъ;
Оковы падали. Законъ,
На вольность опершись, провозгласилъ равенство... [1]).

изъ письма Пушкина къ кн. П. А. Вяземскому (VII, 137: «Читалъ ты моего А. Шенье въ темницѣ? Суди о немъ какъ езуитъ—по намѣренію»), изъ стиховъ (о свободѣ, I, 338):

...ты придешь опять со *мщеніемъ* и славой
И *вновь враги* твои *падутъ*,

и изъ обращенія Шенье къ самому себѣ (I, 341):

Гордись и радуйся, поэтъ:
Ты не поникъ главой послушной
Передъ позоромъ нашихъ лѣтъ;
Ты *презрѣлъ мощнаго злодѣя*;
Твой свѣточъ, грозно пламенѣя,
Жестокимъ блескомъ озарилъ
Совѣтъ правителей безславныхъ;
Твой бичъ настигнулъ ихъ, казнилъ
Сихъ *палачей самодержавныхъ*...
Ты пѣлъ Маратовымъ жрецамъ
Кинжалъ и дѣву-эвмениду...
Падешь, тиранъ! *Негодованье*
Воспрянетъ наконецъ...

1) Запрещенный цензурою 1825 г. отрывокъ элегіи «Андре Шенье»: I, 338.

Кромѣ того, Пушкинъ былъ весьма подвиженъ и близокъ и къ нѣкоторымъ людямъ противоположнаго лагеря. Потому, быть можетъ, поэта и не приняли въ «Союзъ благоденствія» [1]) и другія тайныя общества, и «конституціонные друзья» Пушкина не посвятили его въ Каменкѣ въ сокровенную глубь своихъ замысловъ. Но все же мы не можемъ слѣдовать за Бѣлинскимъ и Зайцевымъ въ пренебрежительномъ отношеніи къ политическимъ идеямъ и стихотвореніямъ Пушкина-юноши, какъ къ ребяческимъ стишкамъ, хотя бы уже потому, что на даровитаго и мыслящаго юношу взирали съ интересомъ и надеждами даже такіе почтенные вожди старшихъ поколѣній, какъ Державинъ и Карамзинъ, и болѣе молодой Жуковскій, и вообще произведенія юнаго поэта производили много шума.

Кромѣ своего эллинизма и выраженія симпатичныхъ для Пушкина политическихъ идей, А. Шенье привлекалъ нашего поэта также и соотвѣтствіемъ настроенію и эстетическимъ вкусамъ послѣдняго, какъ пѣвецъ любви, природы и грусти во вкусѣ перелома, происшедшаго въ концѣ XVIII в. Уже въ своихъ произведеніяхъ съ античнымъ колоритомъ Шенье выражалъ нерѣдко чувствованія, которыя могутъ переживать и новые люди, напр., томленіе молодой души, охваченной непреодолимою любовью, и впадалъ при этомъ въ недостатокъ, общій ему съ нѣкоторыми изъ его современниковъ: онъ слишкомъ любилъ въ классической древности нездоровый эротизмъ, правившійся Парни, Bertin-у, Lebrun-у и т. п. Шенье оказался, далѣе, сыномъ Руссо, перенявъ у послѣдняго культъ чувствительности. Подъ вліяніемъ Руссо, Шенье сталъ болѣе оригинальнымъ поэтомъ въ воспѣваніи друзей, своихъ возлюбленныхъ, природы и смерти: у него есть уже стихотворенія, предваряющія мягкую и жалобную гармонію Ламартинова «Озера» и выражающія сладостную горесть, наполняющую иногда наше сердце. Меланхолія («douce mélan-

---

1) Ср. *И. Житецкаго:* «Изъ первыхъ лѣтъ жизни Пушкина на югѣ Россіи»—К. Стар. 1899, № 5, стр. 302. *Якушкинъ,* О Пушкинѣ, М. 1898, стр. 46—47.

colie, aimable mensongère»), страданіе души, обусловленное созерцаніемъ величія природы и нашей незначительности и неосуществимости нашихъ мечтаній, достигшее наиболѣе совершеннаго выраженія въ новой поэзіи и прорывающееся съ большою искренностью у Шенье, должно было прійтись по душѣ нашему поэту, также подпавшему мечтательности конца прошлаго и начала нашего вѣка [1]). Юность Пушкина нѣсколько походила на «печальную и задумчивую» молодость А. Шенье [2]), и вполнѣ могли находить откликъ въ сердцѣ нашего поэта сѣтованія Шенье о столь быстро умчавшейся молодости, объ исчезнувшихъ ея прекрасныхъ мечтахъ, о любви поблекшей отъ забвенія, и скорбныя предчувствія близкой смерти [3]). Шенье былъ

---

1) I, 230: Задумчивый, забавъ чуждаюсь я...
I, 259: Съ душой задумчивой...
Соч. П., I, 287:

И гулъ дубравъ горамъ передавалъ
Мои задумчивые звуки.

I, 236: Приду ли вновь . . . . . .
Воспоминать души моей мечты?

I, 333: Простите, сумрачныя сѣни,
Гдѣ дни мои прошли въ тиши,
Исполнены страстей и лѣни
И сновъ задумчивыхъ души.

То же почти буквально въ «Е. О.» (IV, XLVI)—III, 37: «Дни мои текли, исполнены... сновъ задумчивой души». И т. п.

2) Triste et pensive jeunesse, по выраженію Шенье.

3) Ср. съ цитованными выше элегическими стихами Пушкина слова, влагаемыя въ уста Шенье (I, 393—340):

« . . . . . Надежды и мечты,
И слезы и любовь, друзья, сіи листы
Всю жизнь мою хранятъ . . . . . »
Пора весны его съ любовію, тоской
Промчалась передъ нимъ... Красавицъ томны очи,
И пѣсни, и пиры, и пламенныя ночи,
Все вмѣстѣ ожило...
«Куда, куда завлекъ меня враждебный геній?
Рожденный для любви, для мирныхъ искушеній,
Зачѣмъ я покидалъ безвѣстной жизни сѣнь,
Свободу, и друзей, и сладостную лѣнь?

творцомъ, между прочимъ, элегій, т. е. лирическаго рода, который такъ любилъ и Пушкинъ, защищавшій элегію «вѣнокъ убогій» противъ строгаго критика, отстаивавшаго оды и кричавшаго:

. . . . . да перестаньте плакать
И все одно и то же квакать,
Жалѣть *о прежнемъ, о быломъ*:
Довольно, пойте о другомъ.

Въ элегіи Пушкинъ усматривалъ созданіе по преимуществу нашего вѣка, между тѣмъ какъ оды писались

. . . . . въ мощны годы,
Какъ было встарь заведено [1]).

Пушкинъ стоялъ за индивидуализмъ въ поэзіи, за права поэта создавать свои собственныя темы, выражать свои чувства. Это былъ частный вопросъ, входившій въ болѣе общій — о призваніи и назначеніи поэта и объ отношеніи его къ обществу. А Шенье подавалъ поводъ къ постановкѣ и этого болѣе общаго вопроса, между прочимъ — своими «Ямбами», или обличительными стихотвореніями, и своей судьбой. А. Шенье явилъ собою для Пушкина достойнѣйшій примѣръ независимости мысли и слова поэта-гражданина, мужественно отстаивающаго свои идеи въ виду «буйной слѣпоты» «равнодушной толпы», а не только противъ «мощнаго злодѣя» и «тирана». Печальная участь А. Шенье разительно также показывала, какъ иногда «люди платятъ черной неблагодарностью поэтамъ, открывающимъ имъ

Судьба лелѣяла мою златую младость,
Безпечною рукой меня вѣнчала радость
И муза чистая дѣлила мой досугъ:
На шумныхъ вечерахъ друзей любимый другъ,
Я сладко оглашалъ и смѣхомъ, и стихами
Сѣнь, охраненную домашними богами».

Читая это, какъ бы слышите повѣствованіе Пушкина о его собственной юности.

1) Ш, 314 (Е. О., IV, xxxii—xxxiii).

идеалы»[1]), къ каковымъ Пушкинъ причислялъ, конечно, и себя[2]). Отъ А. Шенье нѣкоторые выводятъ ученіе о «независимости поэтическаго вдохновенія отъ какихъ-либо постороннихъ ему цѣлей» и о «вознагражденіи имъ поэта за ту безотзывность, которую встрѣчаетъ онъ у людей». Подобно Туманскому и Козлову, Пушкинъ перевелъ стихотвореніе Шенье: «Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая», изображающее пѣвца, который

. . . . любитъ пѣснь свою; поетъ онъ для забавы,
Безъ дальнихъ умысловъ; не вѣдаетъ ни славы,
Ни страха, ни надеждъ, и тихой музы полнъ,
Умѣетъ услаждать свой путь надъ бездной волнъ.
На морѣ жизненномъ, гдѣ бури такъ жестоко
Преслѣдуютъ во мглѣ мой парусъ одинокій,
Какъ онъ, безъ отзыва утѣшно я пою,
И тайные стихи обдумывать люблю[3]).

Это стихотвореніе сближаютъ со стихотвореніями Пушкина, относящимся къ тому же 1827 году, «Соловей» и «Поэтъ» (Пока не требуетъ поэта, и т. д.). Тогда же пришла Пушкину первая мысль знаменитаго стихотворенія «Чернь» (1828)[4]), въ которомъ поэтъ гордо и презрительно отвѣчаетъ на требованіе «тупой черни», «безсмысленнаго, непросвѣщеннаго народа»,

---

1) Зап. *Смирновой*, I, 196. Пушкинъ сближалъ себя съ Шенье (VII, 159 и 168).

2) Мы видѣли, что по мнѣнію Пушкина, «цѣль художества есть идеалъ».

3) II, 22. У Шенье (Oeuvres poétiques de André de Chénier. Avec une notice et des notes par M. Gabriel de Chénier, T. I, Par. MDCCCLXXIV, p. 129) послѣднимъ четыремъ стихамъ Пушкина соотвѣтствуютъ:

. . . . . Comme lui je me plais à chanter
Les rustiques chansons que j'aime à répéter
Adoucissant pour moi la route de la vie,
Route amère et souvent de naufrages suivie.

Ср. однако тамъ же p. 254.

4) *Поливановъ*. Соч. Пушкина, I, 245 и 260. Народъ, имѣющій, по словамъ поэта, для своей глупости и злобы «бичи, темницы, топоры» — не французы ли, возведшіе А. Шенье на плаху?

чтобы пѣснь поэта принесла пользу, «исправляла сердца собратьевъ», и которое заключено, повидимому — въ духѣ теоріи искусства для искусства [1]), словами:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ [2]).

Такимъ образомъ, какъ будто оказывается, что у А. Шенье была почерпнута Пушкинымъ мысль, ставшая исходнымъ пунктомъ ряда другихъ, закончившихся какъ-бы провозглашеніемъ теоріи искусства для искусства [3]).

Даютъ и другое объясненіе стихотворенію «Чернь». «По словамъ Шевырева, Пушкинъ написалъ эту піесу подъ вліяніемъ художественной теоріи Шеллинга, проповѣдовавшей освобожденіе искусства, и съ которою Пушкинъ познакомился въ кружкѣ Веневитинова. Мнѣніе Шевырева было принято Анненковымъ и положено въ основу его сужденій о позднѣйшей поэтической дѣятельности Пушкина» [4]).

Въ связь съ этимъ стихотвореніемъ, заканчивающимся словами о томъ, что поэты *рождены* «не для житейскаго волненья», а для «*вдохновенья* и *молитвъ*», интересно, кажется намъ, ставить написанное двумя годами раньше стихотвореніе «Пророкъ», въ которомъ поэтъ представленъ внявшимъ

. . . . . неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,

получившимъ свыше «жало мудрыя змѣи», вмѣсто сердца — «уголь, пылающій огнемъ», и долженствующимъ, *по велѣнію*

1) См. выше — въ I-й главѣ.
2) II, 50.
3) Ср. у *А. Н. Пыпина* Истор. р. лит., т. IV, Спб. 1899, стр. 382 и слѣд.
4) *Л. Н. Майкова*, Пушкинъ, стр. 343—344.

Божію, «глаголомъ жечь сердца людей»[1]). Только принимая во вниманіе совокупность всѣхъ названныхъ стихотвореній Пушкина, можно составить правильное понятіе о взглядѣ его на призваніе поэта, взглядѣ, оставшемся съ 1826 г. неизмѣннымъ[2]) и отличающемся значительнымъ своеобразіемъ при всемъ кажущемся сходствѣ его съ подобными же идеями англійскаго поэта Кольриджа, который также былъ знакомъ съ воззрѣніями Шеллинга, и польскаго Мицкевича[3]). Только обративъ вниманіе вдобавокъ на юношескія стихотворенія Пушкина съ ихъ толками о «черни и толпѣ непросвѣщенной»[4]), возможно понять степень самостоятельности, созрѣваніе Пушкинской теоріи, въ самомъ

---

1) II, 2—3. См. объ этомъ стихотвореніи *Н. Ѳ. Сумцова*, Этюды объ А. С. Пушкинѣ, вып. I, Варш. 1893, стр. 1—15.

2) II, 190 (1836):

Вельнью Божію, о муза, будь *послушна*,
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

3) Вкратцѣ см. о нихъ въ замѣткѣ *E. Porębowicza*: Gdzie jest źródło wiary Mickiewicza w godność proroczą poety? — Pamiętnik Towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewicza, rocznik VI, we Lwowie, 1898, str. 310—315.

4) Уже въ посланіи «Къ П. П. Каверину» (1817 г.—Соч. II., I, 258) читаемъ:

И черни презирай ревнивое роптанье.

Ср. тамъ же I, 265: Пусть чернь слѣпая суетится...
Затѣмъ въ «Деревнѣ» 1819 г. (I, 205):

Я здѣсь *отъ суетныхъ оковъ освобожденный*,
Учуся въ истинѣ блаженство находить...
Роптанью не внимать *толпы непросвѣщенной*...

Въ стих. «Никитѣ Всеволод. Всеволожскому» (1819—I, 209):

Итакъ, отъ нашихъ береговъ,
Отъ *мертвой области рабовъ*,
Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь въ мрачную Москву...

«Кн. А. М. Горчакову» (также 1819 г.—I, 211):

Опасною прельщенный суетой,
Терялъ я жизнь, и чувства, и покой;
Но *угорѣлъ въ чаду большого свѣта*
И отдохнуть убрался я домой. И т. п.

сердцѣ ея поэта происхожденіе и постепенное видоизмѣненіе. Что до Мицкевича, то вѣроятнѣе всего, что мысль о пророческомъ служеніи поэта онъ могъ почерпнуть въ живомъ общеніи съ Пушкинымъ, у котораго она была уже во вполнѣ готовомъ видѣ въ декабрѣ 1825 г. Пушкинъ могъ знать Кольриджа уже въ началѣ двадцатыхъ годовъ благодаря Н. Н. Раевскому [1]), но и помимо этого англійскаго воздѣйствія онъ могъ проникнуться величавымъ представленіемъ поэта въ образѣ пророка благодаря чтенію библіи, которою онъ сталъ интересоваться съ 1824 г. [2]), и сближенію своего положенія въ изгнаніи съ судьбою библейскихъ пророковъ, обличителей царскаго нечестія [3]). Противоположеніе же поэта неразумной толпѣ также естественно развилось изъ тяжелаго личнаго опыта нашего поэта и всего, что съ раннихъ лѣтъ довелось ему испытать

Въ мертвящемъ упоеньѣ свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ....
Въ семъ омутѣ, гдѣ съ вами я
Купаюсь, милые друзья [4]),

а потомъ и въ литературной критикѣ. Уже въ юные годы Пуш-

---

1) См. у *Л. Н. Майкова*, Пушкинъ, стр. 144, 149—151. Пушкинъ «перечитывалъ Кольриджа» въ 1830 г.: V, 187.

2) Въ мартѣ 1824 г. Пушкинъ писалъ изъ Одессы (VII, 74): «Читая Библію, святой духъ иногда мнѣ не по сердцу», а осенью того же года изъ Михайловскаго (VII, 92): «Библію, библію! и непремѣнно французскую»; ср. еще ib., 98; Зап. *Смирновой*, I, 266—267 — о заимствованіи идеи «Пророка» изъ Іезекіиля (?) и тамъ же 140. *Незеленовъ*, А. С. Пушкинъ въ его поэзіи, Спб. 1882, стр. 246—247, указалъ для «Пророка» на 6-ю главу пророка Исаіи.

3) См. VII, 168 («Я пророкъ» и проч.) и выше, во вступленіи, ссылку на II, 3, гдѣ приведено свѣдѣніе о томъ, что стихотв. «Пророкъ» оканчивалось стихами:

Возстань, возстань, пророкъ Россіи!
Позорной ризой облекись
И съ вервьемъ вкругъ смиренной выи
Къ царю . . . . . явись!

4) IV, 357—358 (Е. О., VI, XLVI—XLVII); выдержку полностью см. выше.

кинъ пришелъ къ идеѣ своей обособленности, какъ поэта. Она могла вызрѣвать подъ вліяніемъ изученія жизни и произведеній А. Шенье[1]) и ученія Шеллинга и Жанъ-Поля Рихтера, но первое наглядное уясненіе ея Пушкинъ, по всей вѣроятности, почерпнулъ изъ жизни того же уединеннаго въ свой вѣкъ и неподатливаго Ж.-Ж.-Руссо, которому онъ былъ обязанъ столь многимъ въ своихъ основныхъ идеяхъ.

Въ индивидуализмѣ Руссо и его послѣдователей, въ томъ числѣ Андре Шенье, который привлекалъ вниманіе Пушкина наравнѣ съ Байрономъ[2]), и А. де-Виньи[3]), заключался теоретическій исходный пунктъ того ученія о правахъ самобытнаго творчества[4]) и о полной охранѣ поэтомъ своей духовной индивидуальности, которое постепенно все полнѣе и полнѣе развивалъ Пушкинъ и которое онъ завершилъ своимъ «Пророкомъ»[5]). Презрѣніе къ толпѣ, неразумной, но требовавшей покорности поэта ея притязаніямъ, постоянно повторявшееся въ поэтическихъ и прозаическихъ произведеніяхъ Пушкина[6]), было лишь однимъ

---

1) Выше приведены уже изъ Зап. *Смирновой*, I, 196, слова Пушкина: «Альфредъ де-Виньи говорилъ кому-то, что люди платятъ черною неблагодарностью поэтамъ, открывающимъ имъ идеалы. Говорилъ онъ это по поводу Андрея Шенье и его смерти».

2) I, 337 («Андрей Шенье»):

Межъ тѣмъ, какъ изумленный міръ
На урну Байрона взираетъ...
Зоветъ меня другая тѣнь.

3) «Il lit dans les astres la route que nous montre le doigt du Seigneur», восклицаетъ Чаттертонъ о поэтѣ.

4) Въ «Египетскихъ Ночахъ» Чарскій назначаетъ темой импровизаціи: «Поэтъ самъ избираетъ предметы для своихъ пѣсенъ, толпа не имѣетъ права управлять его вдохновеніемъ» (IV, 392). Чарскій — самъ Пушкинъ: *Майковъ*, Пушкинъ, 11.

5) Въ «Пророкѣ» ученіе Пушкина о призваніи поэта достигаетъ своей вершины; другія стихотворенія объ отношеніи поэта къ толпѣ—лишь частное раскрытіе общаго возвышеннаго понятія о поэтѣ, выразившагося въ стихотв. «Пророкъ».

6) См., напр., V, 247: «Публика, о которой Шамфоръ спрашивалъ такъ забавно: сколько нужно глупцовъ, чтобы составить публику...». Ранѣе тѣ же слова читаемъ въ перепискѣ кн. П. А. Вяземскаго: Остафьевскій Архивъ, I, 291.

изъ проявленій этого индивидуализма, отчетливо выразившагося во второй половинѣ XVIII в. въ ученіи о геніяхъ и въ его Sturm und Drang, а въ нашемъ столѣтіи въ ученіи о герояхъ въ исторіи, которое раздѣлялъ и Пушкинъ [1]). Подъ вліяніемъ его Пушкинъ выработалъ ученіе о поэтѣ, съ виду рѣзко отличное отъ Толстовскаго: у Л. Н. Толстого произведеніе искусства должно дѣйствовать заразительно на лицъ, для которыхъ предназначается, а у Пушкина поэту, «шлющему отвѣтъ» всему, чему внемлетъ, «нѣтъ отзыва», какъ эху [2]), съ которымъ ранѣе сближалъ себя Пушкинъ, называя себя эхомъ своего народа [3]): поэтъ «утѣшно» поетъ, но «безъ отзыва» [4]); онъ одинокъ [5]).

Само собою разумѣется, что, отстаивая права поэта на самостоятельность творчества и свободу этого творчества отъ навязыванія ему темъ толпою, Пушкинъ былъ далекъ отъ узкаго пониманія ученія объ искусствѣ для искусства, и его собственная дѣятельность ни въ одинъ изъ періодовъ ея не могла бы подойти подъ такое узкое опредѣленіе. Во-вторыхъ, основной принципъ теоріи Пушкина, защита независимости творчества отъ давленія толпы, вѣренъ и нисколько не исключаетъ служенія обществу, которое бываетъ нерѣдко, какъ то было и во время Пушкина, гораздо ниже уровня идей передовыхъ мыслителей и поэтовъ. Въ основѣ воззрѣнія Пушкина на поэта скрывается глубокая мысль, что нѣтъ надобности замыкать поэзію въ узкія рамки поучительности, требованіе которой составляетъ характерную

---

1) Зап. *Смирновой*, I, 252, слова Пушкина: «Существуетъ одно основное положеніе: это, что міромъ управляла мысль; разумная воля единицъ или меньшинства управляла человѣчествомъ».

2) II, 128: »Эхо» (1831).

3) I, 208:

И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо русскаго народа.

4) См. выше стихотв. «Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая...»

5) Оттуда одобреніе Пушкинымъ «Моисея» Альфреда де-Виньи: «Поэтъ прекрасно понялъ то чувство одиночества, которое долженъ былъ испытывать Моисей среди людей, такъ мало понимавшихъ его» (Зап. *Смирн.*, I, 195). Иначе, повидимому, относился Пушкинъ къ «Чаттертону», гдѣ также, какъ и въ «Стелло», провозглашается возвышенная роль поэта; см. Зап. *Смирн.*, 239 и слѣд.

черту части русскаго общества XIX в.[1]), что истинная поэзія, какъ изображеніе жизни, всегда поучительна, и что истина заключается не столько въ прямыхъ и ощутительныхъ отвѣтахъ на запросъ «поденщика, раба нужды, заботъ», ищущаго «пользы все»[2]), сколько въ глубинѣ возвышеннаго человѣческаго духа, въ созерцаніяхъ и чаяніяхъ его внутренняго я, не удаляющагося отъ «житейскаго волненья», но лишь становящагося выше его въ своемъ вдохновенномъ отношеніи къ нему. Независимая личность, рожденная «для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ», дѣйствующая по своему разумѣнію, совершитъ неизмѣримо больше, чѣмъ вполнѣ соотвѣтствующая уровню «хладнаго и надменнаго народа». Негодованіе поэта относится именно къ «толпѣ хладной, ничтожной и глухой»[3]), а не къ народу вообще. Отъ послѣдняго Пушкинъ не думалъ замыкаться: какъ въ юности онъ хотѣлъ, его

. . . . . чтобъ поняли
Всѣ, отъ мала до великаго[4]),

такъ и потомъ онъ ставилъ задачею поэта быть пророкомъ, а слѣдовательно, и обличителемъ, «глаголомъ жечь сердца людей», и въ «Памятникѣ» утѣшался тѣмъ, что его будутъ знать

И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій
Тунгузъ, и другъ степей калмыкъ[5]).

---

1) См. выше. Это отмѣтилъ и г. *Венгеровъ* въ своей характеристикѣ русской литературы XIX в.

2) II, 50: «Чернь». См. выше выдержку изъ V, 302 о томъ, что «цѣль художества есть идеалъ, а не нравоученіе».

3) I, 287 (1822 г.):

Я говорилъ предъ хладною толпой.
Но для толпы ничтожной и глухой
Смѣшонъ гласъ сердца благородный, —
Я замолчалъ...

Ср. замѣчаніе объ «обезьянахъ просвѣщенія», и *«свѣтской черни»* въ «Рославлевѣ» (1831 г. — IV, 113) и не разъ выступающій въ его поэзіи протестъ противъ нелѣпостей «общественнаго мнѣнія» (напр., III, 345—Е. О., VI, xi). См. еще *Сумцова*, Этюды III, 10 и Зап. *Смирн.* I, 293.

4) Соч. II., I, 95.

5) II, 190. Ср. выше о желаніи Пушкина, чтобы крестьяне поняли когда-нибудь его «Бориса Годунова».

Этимъ вполнѣ устраняется довольно распространенное неправильное толкованіе стиха:

Поэтъ, не дорожи любовію народной.

Поэтъ не нуждался въ любви лишь «строптивыхъ», но не иныхъ: еще въ 1824 г. онъ писалъ:

Съ небесной книги списокъ данъ
Тебѣ, пророкъ, не для строптивыхъ;
Спокойно возвѣщай коранъ,
Не понуждая нечестивыхъ! [1])

Итакъ, не кому иному, какъ французскимъ корифеямъ XVIII в. и другимъ писателямъ того времени, Пушкинъ былъ обязанъ нѣкоторыми изъ важнѣйшихъ своихъ мыслей и стремленій въ своей поэзіи: идеею протеста противъ печальныхъ условій общественнаго нестроенія и заботою о пробужденіи освободительныхъ началъ въ русскомъ обществѣ съ одной стороны, а съ другой — сомнѣніями въ силахъ и способности общества воспріять эти начала, и потому — разладомъ со своей средой и стремленіемъ найти выходъ изъ такого томительнаго состоянія, между прочимъ — въ самомъ себѣ. Всѣ эти могучія внушенія, исходившія изъ произведеній Вольтера, Руссо, А. Шенье и другихъ, охватывавшія Пушкина въ самомъ раннемъ и затѣмъ юношескомъ возрастѣ, удивительно совпадали съ условіями русской жизни при немъ. Александрѣ I, съ направленіемъ кружковъ, въ которыхъ вращался юный Пушкинъ по выходѣ изъ Лицея, и съ обстоятельствами личной жизни поэта, и потому получили особую силу въ его поэзіи. Нашъ поэтъ, рано

. . . . . изгнанникъ самовольный,
И свѣтомъ, и собой, и жизнью недовольный [2]),

---

1) I, 324. Это та же «свѣтская чернь» (III, 385—E. O., VIII, x).
2) I, 259.

жаждалъ выхода изъ душной атмосферы окружавшей его жизни, помышлялъ-было одно время о бѣгствѣ изъ Россіи, но нашелъ, наконецъ, исходъ болѣе достойный его генія: онъ обрѣлъ указаніе на путь къ спасительному выходу въ той же литературѣ, которая впервые натолкнула его мысль на всѣ тяжкія проблемы жизни, т. е. во французской литературѣ XVIII в., но, какъ увидимъ, собственными силами и подъ вліяніемъ истинно-народнаго чутья развилъ и углубилъ эти указанія въ полныя глубокаго смысла и реальности обращенія къ родной деревнѣ и къ пророческому призванію поэта.

Послѣ всего, что дали Пушкину великіе французскіе писатели XVII—XVIII вв. и примыкавшіе къ нимъ другіе писатели XVIII-го и начала XIX-го стол., и что прибавилъ онъ своего къ ихъ идеямъ, нашъ поэтъ не могъ найти много существенно-новыхъ мотивовъ вдохновенія у своихъ западныхъ современниковъ, въ томъ числѣ и у Шатобріана и Байрона. Величайшій же и старшій изъ этихъ современниковъ Пушкина, Гёте, по замѣчанію самого Пушкина, принадлежалъ болѣе XVIII-му вѣку, чѣмъ XIX-му, тѣми сторонами своего творчества и мысли, которыя наиболѣе повліяли на нашего поэта.

Во главѣ старшихъ современниковъ Пушкина, кромѣ Гёте, о которомъ будетъ сказано ниже, потому что вліяніе его на Пушкина относится къ сравнительно позднѣйшему времени, — слѣдуетъ поставить продолжившихъ завѣты Руссо начинательницу и начинателя французскаго романтизма, M-me de Staël и Шатобріана [2]).

Дочь Неккера, M-me de Staël, другъ Шатобріана и Байрона, бывшая одно время возлюбленною Бенжамена Констана и изобра-

---

1) Уже въ 1824 г. Пушкинъ назвалъ Гёте «полупокойникомъ» (VII, 82).

2) Пушкинъ поставилъ ихъ рядомъ въ словахъ (III, 238—E. O., I, IX):

Любви насъ не природа учитъ,
А Сталь или Шатобріанъ.

женная послѣднимъ въ «Адольфѣ» подъ именемъ Элеоноры[1]), пріобрѣла въ свое время громкую извѣстность и своею политическою дѣятельностію какъ глава вліятельнаго салона, стоявшаго въ оппозиціи цѣлому ряду правительствъ, и своими литературными произведеніями, преимущественно двумя романами (о «Дельфинѣ» и «Коринне»), въ которыхъ выдвигала права и новый типъ женщины, и своею критическою дѣятельностію, которою обращала родную французскую литературу къ меланхоліи, мистицизму и глубинѣ содержанія литературъ германскихъ, указывая вообще на коренные вопросы литературной критики и много содѣйствуя обновленію послѣдней.

Для насъ, русскихъ, M-me de Staël представляла особый интересъ. Если не считать пріятелей Екатерины II, Вольтера и энциклопедистовъ, M-me de Staël была начинательницею любовнаго отношенія французовъ къ намъ. Во время своихъ странствованій по Европѣ она посѣтила Россію, уловила многія особенности русской жизни, оцѣнила значеніе русскаго мужика[2]) и тепло отзывалась о многомъ русскомъ[3]). Она являлась одною изъ

---

1) См. о томъ въ Запискахъ *Смирновой*, I, 308—309. Ср. подробности разговора о m-me de Staël («у Коринны только и видны, что руки да сверкающіе глаза. Въ Коринѣ сказывалось волненіе женщины, которая хочетъ нравиться безъ красоты, но... она была несравненно лучше своей подруги, искреннѣе и простодушнѣе...». «Г-жа де-Сталь пустилась въ описаніе ландшафтовъ...»; «...геній въ тюрбанѣ») съ характеристикой ея въ «Рославлевѣ» (напр.: «...были по большей части недовольны ею. Они видѣли въ ней толстую бабу, одѣтую не по лѣтамъ. Тонъ ея не понравился, рѣчи показались слишкомъ длинны и рукава слишкомъ коротки..., проницательные черные глаза m-me de-Staël», и т. п.; IV, 112—113). Эти и подобныя совпаденія, не разъ отмѣчаемыя нами, интересны между прочимъ и какъ одно изъ доказательствъ подлинности и вѣрности Записокъ Смирновой при нѣкоторой неточности ихъ по мѣстамъ въ передачѣ отдѣльныхъ выраженій.

2) Пушкинъ вспоминаетъ объ этомъ посѣщеніи въ «Рославлевѣ» (IV, 113): «...она видѣла нашъ добрый, простой народъ, и понимаетъ его» и проч. — см. выше.

3) V, 23: «Читая ея книгу Dix ans d'exil, можно видѣть ясно, что тронутая ласковымъ пріемомъ русскихъ бояръ, она не высказала всего, что бросилось ей въ глаза. Не смѣю въ томъ укорять краснорѣчивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому народу, вѣчному предмету невѣжественной клеветы писателей иностранныхъ. Эта снисходительность, которую не смѣетъ порицать авторъ рукописи, именно и соста-

первыхъ провозвѣстниковъ того сближенія съ Россіей, которое неоднократно было проповѣдуемо и потомъ въ одиночку иными французами.

Всѣ эти черты дѣятельности M-me de Staël не прошли безслѣдно для Пушкина. Онъ вѣдь принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые ее понимали, для которыхъ блестящее замѣчаніе, «сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны»[1]). Онъ оцѣнилъ по достоинству эту «необыкновенную, славную женщину, столь же добродушную, какъ и геніальную», ея «умъ и чувства»[2]), политическую дѣятельность[3]), ея отстаиваніе полноты правъ женщины[4]) и идеальный образъ Коринны, въ

вляетъ главную прелесть той части книги, которая посвящена описанію нашего отечества. Г-жа Сталь оставила Россію, какъ священное убѣжище, какъ семейство, въ которое она была принята съ довѣренностью и радушіемъ. Исполняя долгъ благороднаго сердца, она говоритъ объ насъ съ уваженіемъ и скромностью, съ полнотою душевною хвалитъ, порицаетъ осторожно, *не выноситъ сора изъ избы*».

1) IV, 113.

2) Ibid.

3) V, 24: «...удаленная отъ всего милаго ея сердцу, семь лѣтъ гонимая дѣятельнымъ деспотизмомъ Наполеона, принимая мучительное участіе въ политическомъ состояніи Европы»....; IV, 113: «....десять лѣтъ гонимая Наполеономъ, благородная, добрая M-me de-Staël, насилу убѣжавшая подъ покровительство русскаго императора...»; V, 25: «эту *барыню* удостоилъ Наполеонъ гоненія, монархи довѣренности, Европа уваженія».

4) IV, 115: въ отвѣтъ на замѣчаніе: «Пусть мужчины себѣ дерутся и кричатъ о политикѣ; женщины на войну не ходятъ, и имъ дѣла нѣтъ до Бонапарта», Полина сказала: «Стыдись, развѣ женщины не имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей? развѣ кровь русская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы на балѣ насъ вертѣли въ экосезахъ, а дома заставляли вышивать по канвѣ собачекъ? Нѣтъ! Я знаю, какое вліяніе женщина можетъ имѣть на мнѣніе общественное. *Я не признаю уничиженія, къ которому присуждаютъ насъ.* Посмотри на M-me de-Staël. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ непріятельскою силой.... А Шарлота Кордэ? а паша Марѳа Посадница? а княгиня Дашкова? Чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостію души и рѣшительностію». Должно, впрочемъ, замѣтить, что послѣ этихъ словъ читаемъ такое замѣчаніе ея подруги: «Увы, къ чему привели ее необыкновенныя качества души и мужественная возвышенность ума?». Затѣмъ приведены слова: «Il n'est de bonheur que dans les voies communes», о которыхъ см. ниже.

которой она воспроизвела самое себя, мечтательную, благородную искательницу невозможнаго [1]).

Подъ вліяніемъ критическихъ сужденій де-Сталь Пушкинъ могъ вполнѣ отрѣшиться отъ узкости литературныхъ мнѣній Лагарпа, бывшихъ въ Царскосельскомъ Лицеѣ учебникомъ словесности [2]) и законодательнымъ кодексомъ литературной кри-

1) Пушкинъ называетъ разъ де-Сталь «сочинительницею Коринны» (IV, 112); см. еще V, 24: «Какое сношеніе имѣютъ двѣ страницы «Записокъ» съ Дельфиною, Коринною, Взглядомъ на французскую революцію и проч.». Г. Сиповскій (Р. Стар. 1899, № 5, стр. 324 и сл., отд. отт., 16) находитъ, что «поразительно близка къ Татьянѣ Дельфина г-жи Сталь—и по характеру, и по судьбѣ... Этотъ образъ положительно необходимъ для критики Пушкинской Татьяны, такъ какъ онъ уясняетъ многія стороны ея души, остающіяся безъ этого сближенія въ тѣни»... Какъ и «Дельфина», романъ Пушкина — чисто «психологическій», въ которомъ сквозитъ очень ясная тенденція автора провести ту же идею, что вложена въ романъ г-жи Сталь. «Въ лицѣ нашей Татьяны тоже изображена борьба личности со средой, борьба, извѣстная намъ изъ жизни Дельфины». Мнѣніе г. Сиповскаго страждетъ преувеличеніемъ. Общая идея Пушкинскаго романа, не исключая борьбы самого поэта съ «общественнымъ мнѣніемъ», гораздо шире опредѣленія г. Сиповскаго: это — «шуточное описаніе нравовъ» (III, 420) со включеніемъ, конечно, психологическаго анализа характеровъ героя и героини, принадлежавшаго къ техникѣ повѣствовательныхъ произведеній, какъ ее понималъ Пушкинъ. Татьяна не можетъ назваться представительницею сознательной «борьбы личности со средой» — борьбы, какую велъ самъ поэтъ и которую въ эпической формѣ выразилъ впервые въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», а не въ «Онѣгинѣ». Сходство между Татьяной и Дельфиной не простирается на всѣ подробности, которыя указываетъ г. Сиповскій. Такъ, не ясно, почему бы и у Татьяны признать mauvaise tête. Но, конечно, можетъ быть, не безъ знакомства съ типами романтическихъ героинь въ романахъ и въ жизни Запада конца прошлаго и настоящаго вѣка (Valérie г-жи Криднеръ и Corinne M-me de-Staël) Пушкинъ вознесъ высоко образъ женщины съ идеальными стремленіями, при чемъ однако его Татьяна реальнѣе и въ то же время выше романтическихъ героинь Запада (см. о. послѣднихъ статью *R. Debertd:* «Femmes sensibles et exubérances romantiques» въ Revue des Revues, 15 Septembre 1899): въ ней нѣтъ излишка восторженности, и не признаетъ она и теоріи свободной любви. Что до развязки «Онѣгина», то она не есть сколокъ съ заключенія романа де-Сталь, и см. объ этой развязкѣ объясненіе Пушкина въ Зап. *Смирновой*, I, 311: «я какъ-то не вижу развязки, конца, который былъ бы логичнымъ, возможнымъ, естественнымъ». Пушкинъ указывалъ затѣмъ на то, что «впрочемъ, Горе отъ ума не имѣетъ развязки, Мизантропъ также, Байроновскій Донъ-Жуанъ тоже ея лишенъ»...

2) Соч. Пушкина, I, 70: въ библіотекѣ его за цѣлымъ рядомъ поэтовъ,

. . . . . хмурясь важно,
Ихъ грозный аристархъ

тики, и вообще могъ замѣтить всю рутину, все ничтожество французскихъ критиковъ времени Имперіи, продолжавшихъ поддерживать преданія ложнаго изящества и исключительнаго вкуса, и педантизмъ академиковъ. Благодаря отчасти M-me de Staël онъ могъ лучше усмотрѣть незначительность французской литературы начала настоящаго вѣка, вращавшейся въ узкомъ кругу отжившихъ литературныхъ формъ и идей [1]), и усвоить мнѣніе о выдающемся значеніи литературъ германскихъ, неоднократно повторяемое имъ съ 20-хъ годовъ [2]).

Не остались незамѣченными и наблюденія де-Сталь надъ русскою жизнью, и Пушкинъ не разъ упоминаетъ о нихъ [3]). Его тронула сердечность отзывовъ этой писательницы о Россіи, и потому въ отвѣтъ на «журнальную статейку А. Муханова» о г-жѣ де-Сталь, «не весьма острую и весьма неприличную», Пушкинъ отвѣтилъ рѣзкой замѣткой, которую заключилъ стихомъ:

Уваженъ хочешь быть, умѣй другихъ уважить [4]),

Является отважно
Въ шестнадцати томахъ:
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видѣть вкусъ,
Но часто, признаюсь,
Надъ нимъ я время трачу.

О переводѣ Пушкинымъ статьи «Объ эпиграммѣ» изъ «Cours de Littérature» Лагарпа см. *Майкова*, Пушкинъ, стр. 47, 87. Пушкинъ выказываетъ знакомство и съ другими произведеніями Лагарпа (VII, 157).

1) V, 252: «французская обмельчавшая словесность envahit tout. Знаменитые писатели не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи, но бездарные писаки, грибы, выросшіе у корней дубовъ: Дорать, Флоріанъ, Мармонтель, Гимаръ, M-me Жанлисъ овладѣваютъ русской словесностію...». Пушкинъ принялъ однако подъ свою защиту новѣйшую французскую литературу противъ нападокъ Лобанова въ 1836 г. (V, 300 и слѣд.). Объ отношеніи Пушкина къ младшимъ французскимъ современникамъ его будетъ сказано далѣе.

2) Съ сочиненіями де-Сталь Пушкинъ былъ несомнѣнно знакомъ уже съ 1822 г. (V, 14). Въ письмѣ 1822 г. (VII, 34) читаемъ: «Англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на русскую. Думаю, что оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной». V, 303, 1836 г.: «нынѣ вліяніе французской словесности было слабо» и т. д. Ср. сходныя сужденія кн. Вяземскаго.

3) См., напр., III, 200 (прим. къ Е. О., I, xlii); V, 227.

4) V, 25—25: «О Г-жѣ Сталь и Г-нѣ Мухановѣ».

и объяснялъ эту рѣзкость въ письмѣ къ кн. П. А. Вяземскому такъ: «M-me Сталь наша, не тронь ея»[1]).

Вообще Пушкинъ, прощая, повидимому, подобно парижскому обществу, слабости M-me de Staël, проистекавшія изъ ея мягкаго сердца, искавшаго и не находившаго покоя и счастія въ любви, относился съ искреннимъ уваженіемъ къ этой женщинѣ, какъ къ немногимъ.

Въ годы созрѣванія таланта Пушкина и западно-европейская поэзія и наша пребывали не столько подъ вліяніемъ M-me de Staël, сколько подъ обаяніемъ неопредѣленной и вѣчно неудовлетворенной меланхоліи Шатобріана[2]) и гордаго титаническаго демонизма Байрона.

Пушкинъ не избѣжалъ воздѣйствія ни того, ни другого, но нельзя не признать, что оно оказалось сравнительно слабымъ и доставило не такъ много содержанія и мысли вдохновенію нашего поэта.

Потомокъ стариннаго дворянскаго рода, явившійся на рубежѣ двухъ эпохъ и послѣдній, по его собственному выраженію, свидѣтель феодальныхъ правовъ («le dernier témoin des moeurs féodales»), постоянно носившій скорбь въ своей гордой душѣ, а также индивидуалистъ, Шатобріанъ отчасти возобновилъ во

---

1) VII, 154.

2) Пушкинъ признавалъ Шатобріана первымъ французскимъ писателемъ своего времени и не совсѣмъ благоволилъ, какъ то вскорѣ увидимъ, къ романтикамъ, выступившимъ въ двадцатыхъ годахъ, считая и Гюго не первостепеннымъ талантомъ. «Пушкинъ находитъ, что проза Шатобріана стоитъ всѣхъ стиховъ молодыхъ поэтовъ съ 1815 г. У него есть проблески генія, которыхъ Пушкинъ не находитъ у поэтовъ» (Зап. *Смирн.*, I, 140). По словамъ Пушкина, относящимся къ 1836 году (V, 301), французскій народъ «и нынѣ гордится Шатобріаномъ и Балланшемъ». Въ слѣдующемъ году Пушкинъ опять назвалъ Шатобріана «первымъ изъ французскихъ писателей», «первымъ мастеромъ своего дѣла» (V, 361), «первымъ изъ современныхъ французскихъ писателей, *учителемъ всего пишущаго поколѣнія*» (V, 366). Послѣднее выраженіе весьма достопримѣчательно. Оно вѣрно въ отношеніи французскихъ романтиковъ, лиризмъ которыхъ ведетъ начало съ Шатобріана, и въ то же время, можетъ быть, не лишено значенія для уразумѣнія западно-европейскихъ отношеній поэзіи Пушкина.

Франціи начинанія Руссо и Бернардена де-Сенъ-Пьеръ, прибавивъ отъ себя порывы лойяльности и христіанскаго чувства. Онъ направлялъ къ христіанству съ эстетической его стороны, къ готикѣ, къ среднимъ вѣкамъ, былъ однимъ изъ начинателей неокатолицизма, вдохновителемъ такихъ поэтовъ, какъ Гюго и Флоберъ, и историковъ, какъ Огюстэнъ Тьерри, но его мечта была мало успокоительна, и мало приносили отрады душѣ возгласы въ роды слѣдующаго: «Поднимитесь, желанныя бури, долженствующія унести Ренэ въ пространства другой жизни»... Не охватила души Шатобріана вполнѣ ни религіозная вѣра, ни легитимная идея. Онъ испытывалъ въ своей жизни короткіе моменты счастія, но продолжительнѣе были въ ней приступы меланхоліи. Послѣдняя внѣдрилась со времени Ренэ во французскую литературу, ставъ какъ-бы микробомъ ея пессимистическаго настроенія: сѣтованія Шатобріана на судьбу были много разъ повторяемы французскими поэтами нашего вѣка, и его разочарованіе (désenchantement) отзывается до нашихъ дней. Это — потому, что печаль Шатобріана, воплощенная въ поэтической личности его Ренэ, была въ высшей степени характернымъ и живымъ явленіемъ европейской жизни въ эпоху крупнаго перелома, ознаменовавшаго конецъ XVIII-го и начала XIX-го стол. и не утратила своей жгучести даже и теперь.

Грусть составляетъ издавна одну изъ принадлежностей русскаго народнаго характера, о чемъ свидѣтельствуютъ хотя бы элегическія ноты нашихъ пѣсенъ, меланхолическіе тоны нашей музыки. Но, подъ вліяніемъ Шатобріана и затѣмъ поэтовъ сроднаго ему направленія, вѣяніе грусти пронеслось, какъ мы видѣли, съ чрезвычайною силой и въ нашей литературѣ и въ частности въ поэзіи второго десятилѣтія XIX в., какъ и во Франціи оно вытѣснило вольтерьянство, господствовавшее еще въ годы Имперіи.

Судя по выраженію Пушкина о Шатобріанѣ, какъ объ «учителѣ всего пишущаго поколѣнія», надо думать, что и нашъ поэтъ весьма рано подпалъ вліянію автора Ренэ. Послѣдняго

должны были хорошо знать въ семьѣ Пушкиныхъ, потому что появленіе знаменитѣйшихъ произведеній Шатобріана было весьма крупнымъ событіемъ во французской литературѣ начала нашего вѣка, и ими не могли не интересоваться въ сильнѣйшей степени французскіе эмигранты, пребывавшіе въ Россіи, а въ слѣдъ за этими эмигрантами и образованное русское общество[1]). Пушкинъ назвалъ Шатобріана «любимымъ писателемъ» Полины, героини повѣсти «Рославлевъ»[2]), дѣйствіе которой относится къ 1811-му году. Но, кажется, съ полнымъ правомъ можно признать Шатобріана любимцемъ и самого Пушкина[3]).

На ряду съ русскими поэтами, настраивавшими на грустные тоны лиру юнаго Пушкина уже въ лицейскій періодъ и вскорѣ потомъ, вѣроятно, рано оказывалъ на него вліяніе и Шатобріанъ, какъ вліялъ онъ и на лирику Батюшкова и французскихъ романтиковъ.

Не настроеніе ли Шатобріана слышится въ такихъ раннихъ стихотвореніяхъ Пушкина, какъ «Элегія» 1816 г.:

. . . . . Невидимой стезей
Ушла пора веселости безпечной,
На вѣкъ ушла, и жизни скоротечной
Лучъ утренній блѣднѣетъ надо мной.
Отверженный судьбой несправедливой,
И ласки музъ, и радость, и покой
Я все забылъ: печали молчаливой
Рука лежитъ надъ юною главой....
Мнѣ скученъ міръ, мнѣ страшенъ дневный свѣтъ;
Иду въ лѣса, въ которыхъ жизни нѣтъ,

---

1) Покровитель и другъ Пушкина, А. И. Тургеневъ былъ, по словамъ Пушкина, «апостоломъ Бонштетена и Шатобріана въ Россіи». Зап. *Смирн.*, I, 139.

2) IV, 115.

3) Приводимыя (въ 1831 г.) Полиною слова Шатобріана: «Il n'est de bonheur que dans les voies communes» повторилъ въ томъ же году и самъ Пушкинъ въ одномъ изъ своихъ писемъ (VII, 260). Прямые слѣды чтенія Шатобріана встрѣчаются нѣсколько разъ въ произведеніяхъ Пушкина, именно: I, 259; III, 276; V, 119.

Гдѣ мертвый мракъ: я радость ненавижу,
Во мнѣ застылъ ея минутный слѣдъ....
Умчались вы, дни радости моей,
Умчались вы! Невольно льются слезы,
И вяну я на темномъ утрѣ дней.
О дружество, предай меня забвенью!...
Оставь меня *пустынямъ и слезамъ*![1])

Нѣсколько лѣтъ спустя, на югѣ, Пушкинъ опять писалъ (въ посланіи Чаадаеву, 1821 г.), приближаясь уже къ Чайльдъ-Гарольду:

Въ странѣ, гдѣ я забылъ тревоги прежнихъ лѣтъ,
. . . . . *душѣ . . . усталой*,
Врагу стѣснительныхъ условій и оковъ,
Нетрудно было мнѣ отвыкнуть отъ пировъ....

---

1) Соч. II., I, 233—234. Отмѣчаемъ въ особенности такія, напоминающія приключенія Ренэ, интересныя выраженія, какъ: «Пду въ *лѣса*», «Оставь меня *пустынямъ* и слезамъ». Ср. «пустыню» въ стихотв. «Сонъ» 1816 г. См. еще въ первоначальной редакціи стихотв. «Друзьямъ» того же 1816 г. (Соч. II., I, примѣч., 316):

Среди бесѣды вашей шумной
Одинъ унылъ и мраченъ я...
...пролетѣлъ мигъ упоеній,
Я радость свѣтлую забылъ...;

въ «Посланіи Дельвигу» (ib., примѣч., 377):

...для меня прошли, увяли наслажденья!...
...все прошло на вѣкъ—и скрылись въ темну даль
Свобода, радость, восхищенье!

См. также зачеркнутые первоначальные стихи «Безвѣрія» (1817; Соч. II., I, примѣч., 492):

Найдите тамъ его, гдѣ плистый ручей
Проходитъ медленно среди пагихъ полей,
Гдѣ сосенъ вѣковыхъ таинственныя сѣни
Шумя на влажный мохъ склонили вѣчны тѣни.
Взгляните: бродитъ онъ съ увядшею душой,
Своей ужасною томимый пустотой,
То грусти слезы льетъ, то слезы сожалѣнья;
Напрасно ищетъ онъ унынью развлеченья...

Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ;
Вздохнувъ, оставилъ я другія заблужденья,
Враговъ моихъ предалъ проклятію забвенья,
И сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину...
Благодарю боговъ; прошелъ я мрачный путь;
Печали раннія мою тѣснили грудь.
Къ печалямъ я привыкъ, разсчелся я съ судьбою,
И жизнь перенесу стоической душою [1]).

Это не былъ полный подражатель Ренэ: скорбь не овладѣвала Пушкинымъ всецѣло; любовь къ жизни проявлялась у него на каждомъ шагу; хотя онъ и не боялся смерти. Нашъ поэтъ, воспѣвавшій свои

. . . . . мечты, природу и любовь,
И дружбу вѣрную, и милые предметы,
Плѣнявшіе *его* въ младенческія лѣты [2]),

очевидно, не покончилъ съ усладами жизни, какъ не покончилъ вполнѣ съ ними и тогдашній его alter ego въ поэзіи, «Кавказскій Плѣнникъ»; но въ рѣчахъ обоихъ слышатся все-таки отзвуки печальнаго настроенія знаменитаго Шатобріанова героя. И отчасти не при воздѣйствіи ли воспоминанія о послѣднемъ Пушкинъ нарисовалъ *эпически* образъ Плѣнника, въ которомъ изобразилъ одновременно и себя и вообще, какъ онъ выразился, «то равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами

---

1) I, 241, 243. Ср. въ стихотв.: «Ты, сердцу непонятный мракъ» (1822, VII, LVIII):

Мечтанье жизни разлюбя,
Счастливыхъ дней не знавъ отъ вѣка...

2) I, 242; вмѣсто «его», поставленнаго мною ради лучшаго согласованія со всѣмъ изложеніемъ, въ подлинникѣ стоитъ «меня».

молодежи XIX в.»?[1]) По крайней мѣрѣ, приключенія и «бездѣйствіе» Плѣнника напоминаютъ Ренэ, и это бездѣйствіе не было свойственно личности самого Пушкина, хотя послѣдній не разъ изображалъ себя пѣвцомъ и другомъ «лѣни»[2]). Какъ довольно близокъ къ Ренэ Кавказскій Плѣнникъ, такъ не совсѣмъ далекъ отъ него и Алеко, повторяющій, сверхъ того, какъ мы видѣли, тезисы Руссо. Подобно Ренэ оба Пушкинскіе героя бѣгутъ изъ цивилизованнаго общества, и Плѣнникъ не отвѣчаетъ взаимностію на любовь дѣвы простой среды, въ которую попадаетъ. Ихъ такъ же, какъ и Ренэ, отличаетъ «бездѣйствіе и равнодушіе», «старость души»; при этомъ однако они не одержимы страстію къ погонѣ за туманными «химерами» Ренэ, какъ выразился père Souël.

А между тѣмъ Пушкинъ, повидимому, цѣнилъ не столько «блестящія»[3]), «вдохновенныя страницы»[4]) и «красоты»[5]) образнаго, живописнаго, звучнаго стиля Шатобріана, не столько чтилъ его заслуги въ историческихъ характеристикахъ и въ сопоставленіи великихъ эпохъ[6]), сколько искренность этого писателя, его

---

1) Въ письмѣ Ренэ къ Селютѣ (въ «Les Natchez») читаемъ: «... une plaie incurable était au fond de mon âme... Je m'ennuie de la vie, l'ennui m'a toujours dévoré, ce qui intéresse les autres hommes ne me touche point. Pasteur ou roi, qu'aurais-je fait de ma houlette ou de ma couronne? Je serais également fatigué de la gloire et du génie, du travail et du loisir, de la prospérité et de l'infortune». Конечно, подъ приведенныя слова Пушкина нѣсколько подходитъ и характеристика Чайльдъ-Гарольда, данная Байрономъ уже въ самомъ началѣ, но подойдутъ къ нимъ и характеры другихъ романтическихъ героевъ этого типа, напр., молодого лорда Sydenham-a въ «Adèle de Sénange» (1793) M-me de Flahaut, постигнутаго «d'une mélancolie qui le poursuit et lui rend importuns les plaisirs de la société».

2) См. указаніе этихъ упоминаній Пушкина о «лѣни» — у *А. Н. Пыпина*, Ист. р. лит., IV, 381.

3) V, 366: «два тома столь же блестящіе, какъ и всѣ прежнія его произведенія».

4) Ibid.: «поминутно изъ-подъ пера его вылетаютъ вдохновенныя страницы».

5) Ibid.: «несомнѣнныя красоты».

6) Ibid.: «онъ поминутно забываетъ критическія изысканія и на свободѣ развиваетъ свои мысли о великихъ историческихъ эпохахъ, которыя сближаетъ съ тѣми, коихъ самъ онъ былъ свидѣтель».

простодушіе[1]), а въ особенности глубокую поэтичность его души. Шатобріанъ за свою нѣжную меланхолію, особливо воплощенную въ личности Ренэ[2]), остался любимцемъ Пушкина на всю жизнь, между прочимъ и тогда, когда послѣдній разоблачилъ тайный недугъ, снѣдавшій модныхъ героевъ[3]), въ томъ числѣ и тѣхъ, типическимъ образомъ которыхъ явился Онѣгинъ, — недугъ, столь тѣсно связанный съ романтическою меланхоліею, а слѣдовательно и съ Шатобріановскою[4]). Подобно Ренэ-Шатобріану и почти

---

1) Ib.: «Много искренности, много сердечнаго краснорѣчія, много простодушія (иногда дѣтскаго, но всегда привлекательнаго) въ сихъ отрывкахъ, чуждыхъ исторіи англійской литературы, но составляющихъ главное блистательное достоинство Опыта». — Отмѣтимъ, въ связи съ этимъ, еще рельефное указаніе у Пушкина на «неподкупную совѣсть» Шатобріана, «который, поторговавшись немного съ самимъ собою, могъ бы спокойно пользоваться щедротами новаго правительства, властію, почестями и богатствомъ, предпочелъ имъ честную бѣдность»... Видимо Пушкинъ уважалъ Шатобріана, какъ личность, а не только какъ писателя.

2) Зап. *Смирновой*, I, 153 (Пушкинъ о «Геніи христіанства»): «Шатобріанъ за исключеніемъ «Ренэ» ни въ чемъ меня не трогаетъ; десять строкъ Данте стоютъ всей его книги...». Ib., 305: «Ренэ въ сто разъ выше Новой Элоизы, такъ какъ чувствуется, что Шатобріанъ излилъ свою душу въ своихъ книгахъ». Въ этомъ отношеніи Пушкинъ представлялъ противоположность Грибоѣдову, который не любилъ мечтательности: *Кадлубовскій*, Нѣсколько словъ о значеніи А. С. Грибоѣдова въ развитіи русской поэзіи, К. 1896, стр. 9.

3) Пушкинъ еще незадолго до своей кончины назвалъ Шатобріана «первымъ изъ современныхъ писателей».

4) Мы видѣли, что «недугомъ,

> . . . котораго *причину*
> *Давно бы отыскать пора*,

былъ одержимъ «современный человѣкъ

> Съ его безнравственной душой,
> Себялюбивой и *сухой*,
> *Мечтанью преданной безплодно*,
> Съ его озлобленнымъ умомъ,
> *Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ*».

Ср. анализъ этого недуга въ приведенной выше выдержкѣ изъ «Les Natchez» и въ «Génie du christianisme» (II partie, livre III, ch. IX, «Du vague des passions»): «Il nous reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, *n'a pas encore été bien observé:* c'est celui qui précède le développement des grandes passions, lorsque toutes les facultés jeunes, *actives*, entières, *mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet.* Plus les peuples avancent en civilisation, plus

всему поколѣнію того времени, Пушкинъ испытывалъ съ юныхъ и до позднѣйшихъ лѣтъ

. . . . . смутное влеченье
Чего-то жаждущей души[1]),

и оно служило поэту могучимъ путеводнымъ зовомъ, выводившимъ изъ тины и омута заблужденій и паденій. При этомъ Пушкинъ шелъ рѣшительно и напрямикъ къ мерцавшему передъ нимъ свѣту, и потому у него не находимъ своеобразнаго сочетанія тоски съ христіанскимъ настроеніемъ, характеризующаго Шатобріана и его героя Ренэ. Авторъ «Ренэ» испыталъ религіозный кризисъ уже во время пребыванія въ Англіи, въ послѣдніе годы XVIII-го столѣтія. Уже сидя въ своей убогой лондонской каморкѣ, Шатобріанъ проливалъ горькія слезы о своемъ невѣріи и отрекался отъ Вольтера и язычества. Затѣмъ въ предисловіи

---

cet état du vague des passions augmente, car il arrive alors une chose fort triste: le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude des livres qui traitent de l'homme et des sentiments rendent habile sans expérience. *On est détrompé sans avoir joui*; il reste encore des désirs et l'on n'a plus d'illusions. *L'imagination est riche, abondante et merveilleuse, l'existence* pauvre, *sèche* et *désenchantée.* On habite avec un coeur plein un *monde vide* et, sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout». Что неопредѣленность страстныхъ порывовъ (le vague des passions), о которой идетъ рѣчь въ этой выдержкѣ, характеризовала именно Ренэ и послѣдователей его, видно изъ Mémoires Шатобріана въ которыхъ читаемъ: «Il n'y a pas de grimaud sortant du collège, qui n'ait rêvé être le plus malheureux des hommes; de bambin qui, à seize ans, n'ait épuisé la vie, qui dans l'abîme de ses pensées ne se soit livré au *vague de ses passions*, qui n'ait frappé son front pâle et échevelé et n'ait étonné les hommes stupéfaits d'un malheur dont il ne savait pas le nom, ni eux non plus». Болѣе близкія сходства въ характеристикахъ недуга «современнаго» образованнаго человѣка, данныхъ Пушкинымъ и Шатобріаномъ, отмѣчены курсивомъ. Думаю, что эти сходства даютъ почти полное право на подведеніе недуга «современнаго человѣка», какого разумѣлъ Пушкинъ, подъ Шатобріаново «état du vague des passions»; у Шатобріана не находимъ только «души себялюбивой» и «озлобленнаго ума», которые привзошли въ Пушкинскую характеристику «современнаго человѣка» изъ другого источника, какъ то видно изъ сопоставленія Онѣгина съ Адольфомъ и будетъ также показано ниже при сопоставленіи Пушкина съ Байрономъ.

1) II, 145 (1833 г.). Ср. сейчасъ цитов. «le vague des passions» Шатобріана и выше выдержки о «задумчивости» поэзіи Пушкина. Напрасно поэтъ говорилъ въ 1822 г. (см. выше), что онъ «разлюбилъ мечтаніе жизни».

1802 г. къ «Генію христіанства» онъ писалъ: «въ жизни нѣтъ ничего столь прекраснаго, сладостнаго, великаго, какъ предметы таинственные; самыя чудныя чувствованія — тѣ, которыя волнуютъ насъ наиболѣе смутно». Этимъ Шатобріанъ вводилъ въ литературу чувство таинственнаго и вмѣстѣ религіозное, получавшее у него поэтическій характеръ: «необходимо призвать на помощь религіи всѣ чары воображенія и интересы сердца», писалъ онъ. Очевидно, то была религія, въ значительной степени искусственная, не могшая принести полнаго успокоенія. Такъ въ нерѣшительной душѣ Ренэ, какъ и въ душѣ Фауста, благочестивыя впечатлѣнія дѣтства не исчезали; они нѣсколько поддерживали и согрѣвали ее во дни глубокой безотрадности, но не спасали отъ послѣдней.

Пушкинъ не уподоблялся во всемъ этомъ Шатобріану. Въ отличіе отъ послѣдняго Пушкинъ избѣжалъ сочетанія разочарованія съ христіанскимъ настроеніемъ. Нашъ поэтъ, впадая въ моменты мрачнаго раздумья, еще не былъ пламеннымъ христіаниномъ, и отрѣшился отъ міровой скорби, когда прильнулъ къ христіанству. Полный поворотъ къ религіозному чувству произошелъ въ немъ не такъ скоро, отразился въ его литературной дѣятельности не столь рѣзко, и вообще Пушкинъ не былъ такимъ возстановителемъ авторитета христіанства въ литературѣ, какимъ оказался авторъ трактата о «Геніи христіанства» и «Мучениковъ». У насъ этотъ авторитетъ не былъ такъ потрясенъ, какъ на Западѣ; и потому Пушкинъ, обратившись всѣмъ сердцемъ къ христіанству, не представилъ такой апологіи послѣдняго, какъ Шатобріанъ, и не освѣтилъ такъ его поэтической красы [1]) и вдохновляющей силы. Въ этомъ отношеніи написанныя въ по-

1) Ср. замѣчаніе Пушкина объ этой сторонѣ дѣятельности Шатобріана: «Во Франціи, послѣ XVII вѣка, религіозный элементъ совершенно исчезаетъ изъ произведеній изящной словесности. Онъ появляется снова только съ Шатобріаномъ, который ставитъ въ заголовкѣ книги слово «христіанство»—хотя онъ главнымъ образомъ пораженъ эстетическими красотами католицизма, и Ламартиномъ, который въ заглавіи поэтическаго произведенія употребляетъ слово «религіозныя» (Зап. *Смирн.*, I, 149).

слѣдніе годы жизни Пушкина немногія строки о Евангеліи (въ замѣткѣ о сочиненіи Сильвіо Пеллико «Объ обязанностяхъ человѣка») и религіозныя стихотворенія, конечно, не имѣли такого значенія, какъ разсужденія Шатобріана, но за то сердечнѣе и искреннѣе, потому что вылились изъ глубины сердца вполнѣ убѣжденнаго человѣка: возвратившись вполнѣ къ религіозной вѣрѣ, Пушкинъ и въ этомъ слился со своимъ народомъ, никогда не утрачивавшимъ ея. Потому же нельзя назвать Пушкина, подобно Шатобріану, возстановителемъ религіознаго чувства въ нашей поэзіи: оно не замирало въ послѣдней такъ, какъ угасало по мѣстамъ на Западѣ въ XVIII в. Но, конечно, Пушкинъ нѣкоторыми изъ своихъ произведеній, относящихся къ послѣднимъ годамъ его жизни, содѣйствовалъ, какъ и Лермонтовъ, подъему религіознаго чувства въ нашей поэзіи, несмотря на то, что многіе долго, очень долго не могли забыть «духа отрицанія и сомнѣнія» въ нашемъ поэтѣ.

Нельзя не признать, наконецъ, что и въ самомъ выраженіи какъ скорби вѣка, такъ и поворота къ утѣшенію, найденному въ поэтической красѣ и вдохновляющей силы христіанства, Шатобріанъ былъ не чуждъ искусственности[1]) и прикрашиванія[2]). Какъ Ренэ не избѣжалъ кокетства, такъ и свѣтская жизнь Шатобріана и увлеченія его не соотвѣтствовали его меланхоліи.

Пушкинъ же былъ свободенъ отъ этихъ противорѣчій слова и жизни. Онъ выказалъ себя великимъ поэтомъ въ своей полной

---

1) V, 188—189 («О книгѣ А. Н. Муравьева: Путешествіе къ св. мѣстамъ, Спб., 1832»): «Молодого нашего соотечественника привлекло туда не суетное желаніе обрѣсти краски для поэтическаго романа, не безпокойное любопытство, не надежда найти насильственныя впечатлѣнія для сердца усталаго и притупленнаго... Онъ traverse Грецію,—préoccupé одною великой мыслію; онъ не старается, какъ Шатобріанъ, воспользоваться противоположностью миѳологій Библіи и Одиссеи; онъ не останавливается, онъ спѣшитъ...»

2) V, 313: «Шатобріанъ и Куперъ представили намъ индійцевъ съ ихъ поэтической стороны, и закрасили истину красками своего воображенія,.. и недовѣрчивость къ словамъ заманчивыхъ повѣствователей уменьшала удовольствіе, доставляемое ихъ блестящими произведеніями».

искренности. Онъ чуждъ реторики и декламаторства, драпировки и рисовки своего знаменитаго французскаго современника.

Въ этомъ отношеніи не столь погрѣшалъ болѣе могучій въ своей личности и поэзіи, кромѣ Шелли, величайшій послѣ Гёте изъ современныхъ Пушкину поэтовъ Запада, Байронъ, затмившій славу Шатобріана, пронесшійся необычайно яркимъ, всѣхъ ослѣпившимъ метеоромъ на горизонтѣ европейской поэзіи и доселѣ еще для многихъ остающійся въ ореолѣ гордой и вмѣстѣ мощной и великой души.

Дѣйствительно, Байронъ рѣзко выдѣлялся изъ ряда поэтовъ того времени мощью своей индивидуальности и неуступчивостью условностямъ, огненностью и кипучестью своей натуры, крайнею отзывчивостію къ явленіямъ современности, а равно и страстнымъ и вмѣстѣ мужественнымъ отношеніемъ къ основнымъ вопросамъ человѣческаго существованія и изображеніемъ блестящихъ идеаловъ могучей личности.

Славу Байрона сразу создала его поэма о странствованіяхъ Чайльдъ-Гарольда, въ которомъ никакъ нельзя не узнавать самого поэта. Это могучій и яркій представитель болѣзни вѣка[1]). Въ Чайльдъ-Гарольдѣ, какъ и въ его авторѣ, начали выражаться съ чрезвычайною силою и уже достигать апогея безграничныя стремленія человѣка XIX столѣтія. Но Гарольдъ умѣлъ переносить свою скорбь стоически, съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ, и находить утѣшеніе во время своихъ странствованій, напримѣръ, въ бесѣдахъ съ природой; онъ выказываетъ такіе интересы, какъ энтузіазмъ ко всему великому, героичному, прекрасному въ европейской исторіи, которыхъ не обнаруживаютъ его литературные предшественники. Не совсѣмъ справедливо поэтому Ша-

1) Childe Harold's Pilgrimage, I, IV:

...long ere scarce a third of his pass'd by,
Worse than adversity the Childe befell;
He felt the fulness of satiety:
Then loathed he in his native land to dwell,
Which seem'd to him more lone than Eremite's sad cell.

тобріанъ въ припадкѣ характеризующаго его тщеславія высказалъ однажды жалобу на то, что англійскій поэтъ нигдѣ не помянулъ должнымъ образомъ, чѣмъ былъ обязанъ своему французскому предшественнику. Слѣдуетъ признать, что поэма о странствованіи Чайльдъ-Гарольда—порожденіе болѣе мужественнаго воображенія, чѣмъ то, которое создало «Ренэ», и болѣе высокаго полета духа. Герой ея не отрекается отъ жизни, не бѣжитъ навсегда подальше отъ людей, не расточаетъ своихъ силъ въ пустынѣ воображенія. То же можно сказать и о творцѣ Чайльдъ-Гарольда, Байронѣ. Этотъ поэтъ закончилъ свою жизнь сомнѣніями касательно познанія міра въ цѣломъ, скорбными и безутѣшными думами, но не обрекалъ себя на бездомное скитальчество въ юдоли скорбей и не впадалъ въ безразличіе по отношенію къ тому, что творится здѣсь, на землѣ. Байронъ лелѣялъ свободолюбивыя мечты и стремленіе къ мужественной борьбѣ. Соотвѣтственно тому онъ выдвигалъ романтическій культъ страстнаго и настойчиваго героизма, изобразилъ рядъ мятежныхъ героевъ демоническаго пошиба, какъ бы обновляя древній титаническій образъ Прометея, воспроизведенный также другомъ Байрона — Шелли, образы Мильтонова Сатаны, Шиллерова сатанинскаго Карла Мора. Байроновскій Донъ-Жуанъ также не лишенъ демонизма, котораго не находимъ въ Пушкинскомъ.

Эта мощная поэзія не могла не увлечь собою цѣлаго ряда поэтовъ почти во всѣхъ странахъ Европы.

Было бы странно, если бы среди всеобщаго поклоненія, которымъ были окружены личность и поэзія Байрона всюду на континентѣ Европы къ 20-мъ и въ послѣдующіе годы нашего вѣка, между прочимъ и у насъ[1]), Пушкинъ остался чуждъ обаянія

1) Въ 1819 г., по словамъ А. И. Тургенева, Байронъ былъ «геніемъ-воскресителемъ» Жуковскаго (Ост. Арх., I, 286): «Жуковскій имъ бредилъ и имъ питался; въ планахъ его было много переводовъ изъ Байрона, котораго мы все лѣто читали. Я нагрѣваюсь имъ и недавно купилъ полное изданіе въ семи томахъ» (ib., 334). Тургеневъ, какъ и Вяземскій, восхищался Чайльдъ-Гарольдомъ

этого могучаго пѣвца гнѣва, протеста и свободы, составлявшихъ содержаніе немалой доли юношескихъ стихотвореній и нашего поэта, который также былъ «свободы другъ миролюбивый»[1]):

Свободы сѣятель пустынный,
Онъ вышелъ рано, до звѣзды;
Рукою чистой и безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя[2]).

Пушкина не безъ основанія сопоставляли съ Байрономъ уже съ начала двадцатыхъ годовъ, называя его то «слабымъ подражателемъ не особенно похвальнаго оригинала»[3]), то поэтомъ, близкимъ къ тому великому генію Запада, то болѣе или менѣе самостоятельнымъ его послѣдователемъ, то, наконецъ, поэтомъ, имѣющимъ совсѣмъ мало общаго съ Байрономъ[4]).

и «уродливымъ произведеніемъ Байрона: «Манфредъ», трагедія. Жуковскій хотѣлъ выкрасть изъ нея лучшее» (ib., 286). Вяземскій «читалъ и перечитывалъ лорда Байрона, разумѣется, въ блѣдныхъ выпискахъ французскихъ, и замѣчалъ: «Что за скала, изъ коей бьетъ море поэзіи!» (ib., 326). И. И. Козловъ, «бывшій танцмейстеръ (лихой танцовщикъ), лишившійся ногъ и пріобрѣвшій вкусъ къ литературѣ», выучился въ три мѣсяца по-англійски и перевелъ Байронову «Bride of Abydos» (ib., 336 и 551) и Португальскую пѣсню.

1) I, 248.

2) I, 299.

3) Выраженіе гр. М. С. Воронцова (1824 г.). Уже *Смирнова* замѣтила (I, 46): «Пушкина сравниваютъ съ Байрономъ только для того, чтобы уронить Пушкина и сказать, что онъ подражаетъ Байрону. Чаще всего это говорятъ люди, никогда не читавшіе Байрона, какъ напр. Катонъ» (гр. Бенкендорфъ).

4) См. названную брошюру г. *Сиповскаго:* Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ, стр. 3—14, и рецензію на нее въ № 8 Русскаго Богатства 1899. Къ сожалѣнію, сводъ г. Сиповскаго не полонъ, и даже изъ русскихъ трудовъ не названа, напр., рѣчь *Н. И. Стороженка*: Вліяніе Байрона на европейскія литературы (Р. Вѣд. и Пантеонъ Литературы 1888, мартъ, современная лѣтопись, 11—25). Въ дополненіе къ перечню сужденій о байронизмѣ Пушкина, приведенному у г. Сиповскаго, можно бы прибавить еще рядъ заслуживающихъ вниманія разысканій, каковы: *Harnack*, Puschkin und Byron (Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur, N. F., I Bd. (1888), 5-tes и 6-tes Heft, 396—410); *M. Zdziechowski*, Byron i jego wiek, t. II, Krak. 1897, 156—212; *Tretiak*, рецензія на книгу Здзѣховскаго (въ

Но Пушкинъ не былъ ни байронистомъ, ни писателемъ вполнѣ независимымъ отъ великаго англійскаго поэта: въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ по временамъ лишь байронствовалъ въ своей поэзіи, если можно такъ выразиться [1]).

Прежде всего необходимо отмѣтить, что многое какъ будто сближаетъ обоихъ поэтовъ, начиная со сходства въ ихъ внѣшней судьбѣ. Оба были потомки старинныхъ знатныхъ, но захудалыхъ родовъ своей земли [2]); оба рано увлеклись французскими корифеями великой революціи XVIII в., пламенно любили свободу, выражали въ своей поэзіи рѣзкій протестъ противъ не удовлетворявшей ихъ дѣйствительности, и обоимъ суждено было жить въ годы сильнѣйшей реакціи освободительнымъ идеямъ XVIII в.; оба противопоставляли себя толпѣ, были глашатаями свободы народовъ (въ частности грековъ) и личности, и обоимъ довелось испытать клевету и преслѣдованія. Пушкинъ не оставилъ своей родины, какъ Байронъ, но были моменты, когда онъ также помышлялъ покинуть отечество и никогда не возвращаться «въ проклятую Русь» [3]), какъ онъ однажды выразился. Оба поэта рано пресы-

---

Kwartalnik Historyczny 1898, zesz. IV, 800—817: «Bajronizm w literaturach słowiańskich») и статья: Mickiewicz i Puszkin jak bajroniści (Ateneum 1899, Maj, 267—278, Czerwiec, 460—478); *Widdigen*, Lord Byron's Einfluss auf die europäischen Litteraturen der Neuzeit, Hannover 1883, 111—114, и т. д. Въ послѣднее время явилась брошюра *Н. Тихомирова:* Пушкинъ въ его отношеніи къ Байрону, Витебскъ 1899.

1) Ср. отзывъ Мицкевича въ некрологѣ Пушкина, помѣщенномъ въ Globe 1837 г. Обвиняя Пушкина въ томъ, что онъ слишкомъ подражалъ Байрону, даже Мицкевичъ замѣтилъ: «Il n'était pas un fanatique Byroniste, nous l'appelerions plutôt Byroniaque».

2) Пушкина укоряли уже довольно рано въ томъ, что онъ подражалъ Байрону въ аристократизмѣ. См. еще стих. «Моя родословная, или русской мѣщанинъ. Вольное подражаніе лорду Байрону» (II, 107):

Родовъ униженныхъ обломокъ,
И, слава Богу, не одинъ,
Бояръ старинныхъ я потомокъ.

3) VII, 182: «Я, конечно, презираю отечество мое съ головы до ногъ... Ты, который не на привязи, какъ можешь ты оставаться въ Россіи? Если царь дастъ мнѣ *слободу*, то я мѣсяца не останусь... Услышишь, милая, въ отвѣтъ:

тились разгуломъ, въ значительной мѣрѣ утратили жизнерадостность въ поэзіи, но продолжали лелѣять высшіе интересы въ своей душѣ, искать утѣшенія, между прочимъ, въ любви и были въ ней близки къ Донъ-Жуану, котораго избрали и въ герои своихъ произведеній, считающихся одними изъ лучшихъ въ ихъ творчествѣ. Оба нарисовали образы нѣсколько сходныхъ героевъ (въ томъ числѣ Мазепы) и въ иныхъ изъ нихъ отразили самихъ себя. Даже съ житейскаго поприща сошли они приблизительно въ одномъ возрастѣ — 37 лѣтъ.

Было не мало сродства между обоими поэтами и въ ихъ характерахъ и мысли.

Байронъ былъ, по выраженію Пушкина, «гордости поэтъ»[1]). Впрочемъ, его «геній блѣднѣлъ съ его молодостью. Въ своихъ трагедіяхъ, не выключая и Каина, онъ уже не тотъ *пламенный демонъ*, который создалъ Гяура и Чайльдъ-Гарольда»[2]). Характеръ Байрона слагался изъ «гордости, ненависти, меланхоліи», и проч.[3]). «Онъ исповѣдался въ своихъ стихахъ, невольно увлеченный восторгомъ поэзіи. Въ хладнокровной прозѣ онъ бы лгалъ и хитрилъ»[4]). Однако этотъ «поэтъ мучительный» былъ долго «милъ» Пушкину, какъ «страдалецъ вдохновенный»[5]), какъ «геній» и «властитель нашихъ думъ», и предъ выѣздомъ изъ Одессы въ 1824 г., обращаясь съ прощальнымъ привѣтомъ «Къ морю», Пушкинъ такъ вспоминалъ о Байронѣ, имѣя въ виду, очевидно, заключительныя строфы Чайльдъ-Гарольда:

онъ удралъ въ Парижъ и никогда въ проклятую Русь не воротится. Ай да умница!»

1) III, 258. Привожу здѣсь и ниже болѣе раннія сужденія Пушкина о Байронѣ, относящіяся ко времени увлеченія нашего поэта Байрономъ и непосредственно слѣдовавшему; отзывы, сдѣланные послѣ перелома въ воззрѣніяхъ Пушкина, будутъ изложены впослѣдствіи.

2) VII, 80.

3) VII, 158.

4) VII, 159.

5) I, 280.

Исчезъ, оплаканный свободой,
Оставя міру свой вѣнецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о море, твой пѣвецъ.
Твой образъ былъ на немъ означенъ;
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могучъ, глубокъ и мраченъ;
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ [1]).

Пушкинъ былъ самъ не чуждъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ качествъ, которыя усвоялъ Байрону: онъ также былъ гордъ, могъ питать и питалъ горячую ненависть, былъ склоненъ къ задумчивости, полюбилъ меланхолію, ознакомившись съ Руссо и Шатобріаномъ, могъ впадать и впадалъ въ демонизмъ [2]). Потому-то поэзія Байрона могла встрѣтить столько откликовъ въ душѣ нашего поэта, и потому находилъ доступъ въ послѣднюю и демонизмъ Байрона. Послѣдній *отчасти* могъ имѣть въ виду нашъ поэтъ, рисуя въ 1823 г. портретъ «злобнаго генія», «Демона», который, «въ тѣ дни, когда» Пушкину

. . . . . были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія,

въ

Часы надеждъ и наслажденій,
Тоской внезапной осѣня,
Сталъ тайно навѣщать меня.
Печальны были наши встрѣчи:
Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Непстощимой клеветою
Онъ Провидѣнье искушалъ;

---

1) I, 304—305.
2) См. выше—въ началѣ II-й главы (стр. 192—193).

Онъ звалъ прекрасное мечтою;
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ —
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ [1]).

---

1) I, 292. Уже со времени появленія этого стихотворенія въ печати (въ 1824 г.) многіе въ лицѣ Демона, изображеннаго поэтомъ, усматривали А. Н. Раевскаго, и тоже повторяютъ иные и теперь (*Сиповскій*, Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій, стр. 29—31 отдѣльнаго оттиска). Но *Поливановъ* въ статьѣ: Демонъ Пушкина. На основаніи новаго пересмотра рукописей поэта (Русск. Вѣстникъ 1886, № 8) справедливо замѣтилъ, что это — «не портретъ дѣйствительнаго лица, какъ толковала любопытствующая публика» (стр. 849; ср. стр. 843). Нельзя только согласиться съ выводомъ Поливанова, что «Демонъ Пушкина есть прекрасный эскизъ великаго художника, набросанный имъ при созданіи одной изъ знаменательныхъ картинъ своего романа, а именно въ тотъ моментъ его созданія, когда онъ окончательно опредѣлялъ фигуру его героя» (Онѣгина). Обратимъ вниманіе на указаніе поэта, съ какого момента сталъ являться ему демонъ: для насъ не важно упоминаніе о томъ, что поэта привлекали тогда еще новизной

И взоры дѣвъ, и шумъ дубравы,
И ночью пѣнье соловья;

гораздо опредѣленнѣе указаніе, что тогда

. . . . . возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь
Такъ сильно волновали кровь.

Изъ этого упоминанія, кажется, можно вывести съ полнымъ основаніемъ, что первыя явленія демона восходили еще къ порѣ Петербургскаго житья поэта (въ послѣднее время пребыванія въ Лицеѣ и по выходѣ изъ послѣдняго) до перехода на югъ, когда Пушкина еще не постигло разочарованіе въ грезахъ о свободѣ и доброй славѣ. Это подтверждается также и приведеннымъ уже выше, относящимся къ 1816 году, упоминаніемъ:

...пролетѣлъ мигъ упоеній,
И радость свѣтлую забылъ;
Меня печали мрачный геній
Крылами черными покрылъ.

Ср. въ стих. «В. Л. Давыдову» (1821; VII, 21):

Клянусь, не внемля сатанѣ,

и въ «Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ»:

. . . . . яркія видѣнья,
Съ неизъяснимою красой,

Байронъ былъ однимъ изъ поэтовъ, будившихъ по временамъ въ Пушкинѣ мрачные вопросы и думы. Быть можетъ, не безъ воз-

---

Вились, летали надо мной
Въ часы ночного вдохновенья.
Все волновало нѣжный умъ:
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава...

Ясно, что въ образѣ демона мы имѣемъ олицетвореніе мрачнаго раздумья, начавшаго посѣщать поэта уже съ послѣднихъ лѣтъ пребыванія въ лицеѣ. Такое толкованіе согласно съ объясненіемъ, даннымъ самимъ поэтомъ (*Анненковъ*, Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ Александровскую эпоху, Спб. 1874, стр. 153): «Не хотѣлъ ли поэтъ *олицетворить сомнѣніе?* Въ *лучшее время жизни* сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго... противорѣчія существенности рождаютъ сомнѣніе... Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души... Недаромъ великій Гёте называетъ вѣчнаго врага человѣчества — духомъ *отрицающимъ*... И Пушкинъ не хотѣлъ ли въ своемъ «Демонѣ» *олицетворить сей духъ отрицанія или сомнѣнія* и начертать въ пріятной картинѣ печальное вліяніе его на нравственность нашего вѣка?» Нѣтъ никакого основанія не довѣрять, вслѣдъ за г. Сиповскимъ, этому свидѣтельству поэта, вполнѣ согласному съ приведенными выше и собранными также въ статьѣ Поливанова данными о продолжительной неоднократной работѣ Пушкина надъ образомъ Демона. Къ А. Н. Раевскому, какъ его описываютъ знавшія его лица, врядъ ли подходятъ такія выраженія, сохранившіяся въ черновыхъ рукописяхъ поэта, какъ слѣдующее:

Непостижимое волненье
Меня къ *лукавому* влекло
И я мое существованье
Съ его на вѣкъ соединилъ...
Съ его *неясными* словами
Моя душа звучала въ ладъ...

или (I, 286):

Ужели онъ казался прежде мнѣ
Столь величавымъ и *прекраснымъ*?
Ужели . . . . . глубинѣ
Я наслаждался сердцемъ яснымъ?
Кого жъ.... возвышенной мечтой
Боготворить не постыдился!..

дѣйствія его Чайльдъ-Гарольда Пушкинъ уже въ 1819 г. писалъ, что

Быть можетъ, въ этихъ стихахъ рѣчь идетъ объ образѣ, сродномъ тому, о которомъ говорилось еще въ стихотв. 1830 г. (см. выше), какъ о «волшебномъ демонѣ—лживомъ, но прекрасномъ». Пушкину, повидимому, съ ранняго времени, былъ извѣстенъ величавый образъ Мильтонова Сатаны. Въ стихотв. «Бова» (1815 г.; Соч. II., I, 95) читаемъ:

За Мильтономъ и Камоэнсомъ
Опасался я безъ крилъ парить,
Не дерзалъ въ стихахъ безсмысленныхъ
Въ серафимовъ жарить пушками,
Съ сатаною обитать въ раю...

Но вѣрнѣе, что Пушкинъ подъ своимъ демономъ разумѣлъ кого-то другого. Врядъ ли то былъ Вольтеръ, хотя въ сейчасъ названномъ отрывкѣ «Бова» (ib., 96) Пушкинъ выразился объ авторѣ «Жанны Орлеанской»:

О Вольтеръ, о мужъ единственный,
Ты, котораго во Франціи
Почитали богомъ нѣкіимъ,
Въ Римѣ *дьяволомъ*, антихристомъ,
Обезьяною въ Саксоніи...

и хотя не безъ воспоминанія о сатирѣ Вольтера «Le diable» Пушкинъ могъ затѣять въ 1821 г. сатиру, въ которой выступалъ сатана (I, 267). Согласно съ указаніемъ самого Пушкина, слѣдуетъ имѣть въ виду Гётевскаго Мефистофеля, съ которымъ нашъ поэтъ могъ быть рано знакомъ благодаря Кюхельбекеру. Къ Мефистофелю хорошо подходитъ Пушкинская характеристика «Демона». Но вспомнимъ, что и Байронъ казался Пушкину демономъ въ «Гяурѣ» и «Чайльдъ-Гарольдѣ». По словамъ *Анненкова* (Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 151), согласнымъ со свидѣтельствомъ П. Я. Чаадаева, переданнымъ г. Бартеневымъ (Р. Архивъ 1866, стр. 1140: «съ Байрономъ онъ началъ знакомство въ Петербургѣ, гдѣ учился по-англійски и бралъ для этого у Чаадаева книжку Газлита: «Разсказы за столомъ»), «Пушкинъ принялся на Кавказѣ за изученіе англійскаго языка, *основанія котораго зналъ и прежде*». Не поэзія ли Байрона толкнула Пушкина къ этому изученію уже въ Петербургѣ? При томъ увлеченіи англійскимъ поэтомъ, о которомъ свидѣтельствуютъ приведенныя выше выдержки изъ переписки въ 1819 г. друзей Пушкина, кн. П. А. Вяземскаго и А. И. Тургенева, странно было бы, если бы Пушкинъ не интересовался уже тогда великимъ британскимъ поэтомъ. Съ послѣднимъ онъ могъ знакомиться во французскомъ переводѣ, подобно Вяземскому, читавшему Чайльдъ-Гарольда также во французскомъ переложеніи. Что до усвоенія Пушкинымъ англійскаго языка, о томъ см. въ примѣч. на стр. 648 «Ост. Архива». Къ собраннымъ тамъ даннымъ слѣдуетъ прибавить, что составленную Пушкинымъ фразу на англійскомъ языкѣ находимъ уже въ его письмѣ отъ 12 марта 1825 г. (VII, 113). Конечно, «Демонъ» Пушкина не вполнѣ подходилъ къ самому Байрону, но обрисовка перваго не далека отъ демоническаго типа, какъ послѣдній предста-

Отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья
Останется уныніе одно [1]).

Не Байронъ ли, далѣе, уяснилъ ему пошлость общества, которую нашъ поэтъ могъ замѣчать и безъ того [2]), и не онъ ли помогъ Пушкину окончательно сознать силу мощной личности и свою, подобную Байроновой, роль въ моментъ провозглашенія нашимъ поэтомъ:

. . . . . пламеннымъ волненьемъ,
И бурями души моей,
И жаждой воли, и гоненьемъ
Я сталъ извѣстенъ межъ людей? [3])

Байронъ могъ укрѣпить въ-Пушкинѣ также ироническое отношеніе къ дѣйствительности, проглядывающее въ «Онѣгинѣ». Вмѣстѣ съ тѣмъ поэтъ Чайльдъ-Гарольда усиленно будилъ въ Пушкинѣ скептицизмъ [4]), почва для котораго также была подготовлена ранѣе чтеніемъ Бэйля, Вольтера и др. Подъ вліяніемъ

валъ въ цѣломъ рядѣ произведеній Байрона, сдѣлавшихся извѣстными Пушкину къ 1823 году. Усматриваетъ отношеніе Пушкинскаго «Демона» къ Байрону и г-нъ *Третякъ:* Ateneum 1899, Maj, str. 284—286.

1) I, 201.

2) I, 281:

Увидѣлъ я толпы безумной
Презрѣнный, робкій эгоизмъ...
. . . . . мнѣ дружба измѣнила,
Какъ измѣнила мнѣ любовь...

Въ стихотвореніи «Къ ***», написанномъ до 12 апрѣля 1822 г., читаемъ (I, 286):

И свѣтъ, — и дружбу, — и любовь
Въ ихъ наготѣ отнынѣ вижу.
Но все прошло! остыла въ сердце кровь,
И *мрачный* (вар.: ужасный) *опытъ ненавижу.*
Разоблачивъ плѣнительный кумиръ,
Я вижу...

3) I, 265.

4) V, 50: «Каинъ... относится къ роду *скептической поэзіи* Чайльдъ-Гарольда».

Байрона могъ только сильнѣе заговорить въ душѣ Пушкина голосъ демона Байроновой мысли, обѣщавшаго

Истолковать мнѣ все творенье,
И разгадать добро и зло [1]).

И вотъ въ годы увлеченія Байрономъ Пушкина, который ранѣе писалъ, что «такимъ бездѣльемъ», какъ «гроба близкое новоселье», «право, намъ заниматься недосугъ» [2]), повидимому, весьма заинтересовали «гроба тайныя вѣковыя» [3]), и много волновалъ вопросъ о смерти и безсмертіи человѣческой души. Кажется, бывали моменты отрицательнаго рѣшенія его нашимъ поэтомъ. Къ такому рѣшенію склонялся идеалистъ Ленскій во II-й главѣ «Онѣгина», въ своемъ стихотвореніи, написанномъ между 22 октября и 3 ноября 1823 г.:

Когда бы вѣрилъ я, что нѣкогда душа,
Отъ тлѣнья убѣжавъ, уноситъ мысли вѣчны,
И память, и любовь въ пучины безконечны, —
Клянусь! давно бы я оставилъ этотъ міръ...
Но тщетно предаюсь обманчивой мечтѣ!
Мой умъ упорствуетъ, надежду презираетъ —
Меня *ничтожествомъ* могила ужасаетъ...
Какъ! ничего! ни мысль, ни первая любовь!
Мнѣ страшно..., и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтобъ долго образъ милый
Тапился и пылалъ въ душѣ моей унылой [4]).

Но самъ поэтъ послѣ нѣкотораго колебанія постепенно возвысился надъ этимъ представленіемъ нашего ничтожества, про-

1) Въ Чайльдъ-Гарольдѣ мысль названа «демономъ». Свободная мысль является единымъ уцѣлѣвающимъ нашимъ благомъ. См. Ch. Har. Pilgr., IV, cxxxvii.

2) I, 200.

3) III, 268.

4) III, 268—269.

являющагося въ смерти, и надъ Вольтеровскимъ сомнѣніемъ въ безсмертіи нашей души, и эта побѣда надъ сомнѣніемъ выступаетъ въ стихотвореніи, напечатанномъ впервые въ 1826 г. и начинающемся словами: «Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный»[1]... Интересно, что поэтъ почерпаетъ увѣренность въ безсмертіи души и въ первичной редакціи стихотворенія, и въ окончательной прежде всего изъ «благословенныхъ мечтаній поэзіи прелестной», переносящихъ въ «сумракъ неизвѣстный» и утѣшающихъ тѣмъ,

Что тѣни легкою толпой,
Отъ береговъ холодной Леты
Слетаются на брегъ земной...
И въ сновидѣньяхъ утѣшаютъ
Сердца покинутыхъ друзей:
Онѣ безсмертіе вкушая,
Ихъ поджидаютъ въ Элизей.

Поэтъ примкнулъ, такимъ образомъ, къ широко распространенной издревле вѣрѣ въ то, что сила любви преодолѣваетъ самую смерть, къ той вѣрѣ, которая создала цѣлый рядъ сказаній о женихѣ, являющемся съ того свѣта, и т. п. При этомъ въ моментъ созданія приведенныхъ стиховъ Пушкинъ руководился,

---

1) I, 271. Первоначальная редакція (VII, LVIII—LIX) нѣсколько предшествовала I-й пѣсни «Онѣгина» и написана до 28 мая 1823 г. Въ этомъ первичномъ наброскѣ также рѣчь идетъ о «сердцу непонятномъ мракѣ, пріютѣ отчаянья слѣпаго, *ничтожествѣ*, пустомъ призракѣ», но поэтъ превозмогаетъ ужасную мысль о томъ, обращаясь къ ничтожеству со словами:

Ты чуждо мысли человѣка,
Тебя страшится гордый умъ...

и затѣмъ задаваясь вопрооомъ:

Ужели съ ризой гробовой
Всѣ чувства брошу я земныя
И чуждъ мнѣ станетъ міръ земной?..
Не буду вѣдать сожалѣній,
Тоску любви забуду я?

Всего этого не находимъ въ окончательной редакціи.

повидимому, аналогическимъ оборотомъ мысли Байрона[1]) и былъ также подъ вліяніемъ традиціонныхъ представленій о загробной жизни, унаслѣдованныхъ отъ окружавшей среды[2]). Послѣднія подавляли скептицизмъ, какой могли навѣвать чтимые Пушкинымъ писатели Запада.

Эти же поэты, и въ ряду ихъ болѣе другихъ Байронъ, какъ

---

1) Childe Harold's Pilgrimage, II, VII—IX:

Pursue what Chance or Fate proclaimeth best;
Peace waits us on the shores of Acheron...
Yet if, as holiest men have deem'd, there be
A land of souls beyond that sable shore,
To shame the doctrine of the Sadducee
And sophists, madly vain of dubious lore;
How sweet it were in concert to adore
With those who made our mortal labours light!
To hear each voice we fear'd to hear no more!..
There, thou! — whose love and life together fled,
Have left me here to love and live in vain —
Twined with my heart, and can I deem thee dead
When busy Memory flashes on my brain?
Well — I will dream that we may meet again,
And woo the vision to my vacant breast:
If aught of young Remembrance then remain,
Be as it may Futurity's behest,
For me 't were bliss enough to know thy spirit blest!

2) Оттуда выраженіе о загробномъ мірѣ:

. . . . . тамъ, гдѣ все блистаетъ
Нетлѣнной славой и красой,
Гдѣ чистый пламень пожираетъ
Несовершенство бытія...

Вообще Пушкинъ не порывалъ рѣзко съ воззрѣніями и обычаями своей среды и въ годы увлеченія Байрономъ, напр. (I, 277), «въ чужбинѣ» свято наблюдалъ

Родной обычай старины

и, «выпустивъ на волю птичку»

При свѣтломъ праздникѣ весны,
...сталъ доступенъ утѣшенью;
За что на Бога мнѣ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать?

Это были стихи на «трогательный обычай русскаго мужика въ свѣтлое воскресенье выпускать на волю птичку» (VII, 32).

бы освящали и окружали особымъ ореоломъ охлажденіе, которое испытывалъ нашъ поэтъ, писавшій: «Ко всему былъ охлажденъ, ко всему охладѣлъ... Хочу возобновить дружбу, какъ мертвецъ... любовь; труды, не могу»[1]).

Но напрасно Пушкинъ увѣрялъ себя иногда:

Свою печать утратилъ рѣзвый нравъ,
Душа часъ отъ часу нѣмѣетъ.
Въ ней чувства нѣтъ уже. Такъ легкій листъ дубравъ
Въ ключахъ кавказскихъ каменѣетъ[2]).

Не разъ онъ долженъ былъ задавать себѣ вопросъ:

Но что жъ теперь тревожитъ хладный міръ
Души безчувственной и праздной?[3])

И въ отличіе отъ Байрона Пушкинъ не испытывалъ полной душевной усталости на дѣлѣ.

Такъ, при всѣхъ совпаденіяхъ въ жизни и дѣятельности обоихъ поэтовъ, оставались въ силѣ и коренныя различія между ними, обусловленныя немалыми различіями ихъ характеровъ и дарованій, а также среды, въ которой они вращались въ годы удаленія изъ общества, взлелѣявшаго ихъ юность.

Складъ нравственной натуры Пушкина, характеризовавшейся, по словамъ лицъ, хорошо знавшихъ его, «столь развитымъ въ немъ нравственнымъ чувствомъ», «великою прямотою совѣсти», добротою сердца несмотря на вспыльчивость и горячность, далѣе неспособностью къ сильной и продолжительной ненависти и къ непримиримой гордости, рѣзко отличалъ Пушкина отъ британскаго поэта. Въ нашемъ поэтѣ сказывалось также невольное вліяніе русской среды и ея вѣковыхъ преданій. И мы видѣли, что уже первое стихотвореніе Пушкина, несомнѣнно и прямо на-

1) I, 286. Ср. I., 238: «Я разлюбилъ свои мечты...»
2) Тамъ же.
3) I, 287.

вѣяпное поэзіею Байрона (элегія «Погасло дневное свѣтило»), не можетъ назваться вполнѣ байроническимъ. Рефренъ того стихотворенія:

Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!

передающій его основное настроеніе, наиболѣе приближаетъ его къ прощанію съ родимымъ краемъ Чайльдъ-Гарольда [1]); но если бы даже было еще болѣе близости между обоими стихотвореніями, то и это не имѣло бы особаго значенія, потому что прощальный привѣтъ Чайльдъ-Гарольда родинѣ вообще плѣнялъ многихъ [2]), и переводъ его обратился въ романсъ, жившій въ музыкальномъ исполненіи у насъ, если не ошибаемся, вплоть до 60-хъ годовъ нашего вѣка. Важно то, что о «сомнѣніи», которое преимущественно могла навѣвать поэзія Байрона, Пушкинъ выразился, что оно — «чувство мучительное, но *не продолжительное*» [3]).

Потому-то увлеченіе Пушкина Байрономъ не было глубокое и рѣшающее на всю жизнь, каковымъ можно признать въ значительной степени воздѣйствіе Байрона на Лермонтова. Оно длилось не болѣе пяти лѣтъ, совмѣщалось и чередовалось съ увлеченіемъ поэтами иного пошиба, чѣмъ Байронъ, слѣдовательно, вытекало въ значительной степени изъ разносторонней воспріимчивости нашего поэта, и хотя отдѣльные отзвуки его слышались и потомъ [4]), но въ существѣ оно окончилось еще ранѣе панихиды по Байронѣ, отслуженной въ с. Михайловскомъ въ апрѣлѣ

---

1) Въ прощаніи Чайльдъ-Гарольда этому рефрену нѣсколько соотвѣтствуетъ стихъ:

Welcome, welcome ye dark blue waves!

къ которому слѣдуетъ прибавить еще изъ Ch. Har. Pilgr., IV, CLXXIX:

Roll on, thou deep and dark blue Ocean — roll!

2) Остаф. Арх., I, 338 и 353.

3) См. выше выдержку изъ замѣтки Пушкина по поводу «Демона», приведенной *Анненковымъ*. Ср. V, 55: «скептицизмъ, во всякомъ случаѣ, есть только первый шагъ умствованія».

4) Самъ Пушкинъ сравнивалъ «Графа Нулина» съ «Беппо» (VII, 179).

1825 г.[1]), да и въ тѣ годы, когда нашъ поэтъ, по его собственному выраженію, «съ ума сходилъ» при чтеніи Байрона, давало *поэзіи* Пушкина мало содержанія, которое могло бы быть усвоено мыслью нашего поэта, могучею на свой ладъ. Оно сообщало лишь болѣе силы и прибавляло нѣкоторыя отдѣльныя черты къ сродному направленію мыслей и творчества Пушкина, вынесенному изъ усвоенія произведеній Вольтера, Руссо, г-жи де-Сталь, Шатобріана и другихъ, а также изъ собственнаго опыта и обстоятельствъ русской жизни. Разочарованіе, пресыщеніе и охлажденіе къ жизни, отличающія Чайльдъ-Гарольда, были извѣстны Пушкину съ довольно ранняго времени, а демоническія сомнѣнія могли быть знакомы также изъ Вольтера и «Фауста» Гёте.

Въ герояхъ поэмъ Пушкина, признававшихся байроническими, можно открыть лишь нерѣдкое и у великихъ писателей усвоеніе и затѣмъ воспроизведеніе по невольному припоминанію и сліяніе въ своеобразномъ цѣломъ отдѣльныхъ чертъ, вынесенныхъ изъ чтенія цѣлаго ряда поэтовъ, а не только Байрона. Наиболѣе близкимъ къ Байроновымъ отмѣнамъ героическаго типа слѣдуетъ, кажется, признать Евгенія Онѣгина, который какъ будто имѣетъ въ себѣ и по внѣшнему виду, и по внутреннему складу что-то родственное Чайльдъ-Гарольду и Донъ-Жуану[2]). Онъ

Какъ dandy Лондонскій одѣтъ[3]).

---

1) Періодъ, когда Пушкинъ сравнительно чаще подпадалъ по временамъ настроенію, навѣваемому поэзіею Байрона, закончился собственно съ написаніемъ стихотворенія «Къ морю». Но, какъ увидимъ, отдѣльныя вспышки байроническаго настроенія повторялись до 30-хъ годовъ, и манеру Байрона готовы усматривать еще въ «Домикѣ въ Коломнѣ».

2) См. выше, гдѣ указаны мѣста писемъ Пушкина, выясняющія отношеніе «Евгенія Онѣгина» къ «Донъ-Жуану». Поэтъ писалъ въ концѣ (VII, 157—158), что въ Донъ-Жуанѣ «нѣтъ ничего общаго съ Онѣгинымъ»... «если уже и сравнивать Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ, то развѣ въ одномъ отношеніи: кто милѣе и прелестнѣе (gracieuse), Татьяна, или Юлія?» Интересно, что Пушкинъ хотѣлъ было свести Онѣгина и Байрона: Зап. *Смирн.*, I, 311.

3) III, 236 (E. O., I, iv).

Прямымъ Онѣгинъ Чайльдъ-Гарольдомъ
Вдался въ задумчивую лѣнь [1]).

Страдая недугомъ, «подобнымъ англійскому сплину», онъ

. . . . къ жизни вовсе охладѣлъ.
Какъ Childe Harold, угрюмый, томный,
Въ гостиныхъ появлялся онъ [2]).

Онъ былъ истиннымъ героемъ того времени, когда

Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы [3]).

Онѣгинъ въ годы юности заключалъ въ себѣ также немало Донъ-Жуановскаго демонизма, подобно тому какъ и Донъ-Жуанъ Байрона былъ выразителемъ одной изъ сторонъ Байроновскаго демонизма. «Рѣзкій, охлажденный умъ», «язвительный споръ», «печальныя рѣчи», «шутка съ злостью пополамъ», «злость мрачныхъ эпиграммъ» [4]), презрѣніе къ людямъ [5]) и т. п. — все это черты демонизма, который подтверждается и изученіемъ отношенія набросковъ стихотворенія «Демонъ» къ обрисовкѣ Онѣгина [6]). «Жизни бѣдной кладъ», напр., разоблачили поэту и Онѣгинъ [7]), и «Демонъ» [8]). Въ одномъ мѣстѣ поэтъ прямо намекаетъ на то, что Онѣгинъ прослылъ

---

1) III, 319 (E. O., IV, XLIV).
2) III, 250 (E. O., I, XXXVIII).
3) III, 285 (E. O., III, XII).
4) III, 251—253 (E. O., I, XLV, XLVI).
5) III, 252, 267 (E. O., I, XLVI; II, XIV).
6) См. въ указанной выше статьѣ *Поливанова*.
7) III, 252:

Открылъ я жизни бѣдной кладъ
Въ замѣну прежнихъ заблужденій,
Въ замѣну вѣры и надеждъ
Для легкомысленныхъ невѣждъ.

8) I, 293:

Меня къ лукавому влекло...
Я сталъ взирать его глазами,
Мнѣ жизни дался бѣдный кладъ.

Иль сатаническимъ уродомъ,
Иль даже «Демономъ»[1])...

Но, при всемъ томъ, Онѣгинъ — Байроновскій герой только по наружности, а по своему демонизму онъ былъ таковымъ лишь временно, и, хотя послѣ внимательнаго изученія его литературныхъ вкусовъ и мнѣній въ умѣ Татьяны и мелькнула мысль, не пародія ли онъ, однако Онѣгина «съ сердцемъ и умомъ» его[2]) нельзя назвать таковою. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, какъ постепенно видоизмѣнялся образъ Онѣгина по мѣрѣ приближенія къ концу романа, какъ серьезнѣе становился этотъ герой. Уже въ IV-й главѣ, прежній Ловеласъ,

. . . получивъ посланье Тани,
Онѣгинъ живо тронутъ былъ:
Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмутилъ...
И *въ сладостный, безгрѣшный сонъ*
Душою погрузился онъ[3]).

А разстаемся мы съ Онѣгинымъ въ тотъ моментъ, когда онъ оказался

Въ Татьяну какъ дитя влюбленъ[4])

и очутился, быть можетъ, вполнѣ на пути къ перерожденію, какъ былъ тогда на томъ пути и поэтъ, котораго Онѣгинъ былъ столь долго «спутникомъ страннымъ»[5]), поэтъ, достигшій полнаго возрожденія, между прочимъ, съ момента чистой супружеской любви. Полюбивъ Татьяну, Онѣгинъ преобразился; его скука и холодная тоска исчезли: очевидно, эта любовь не походила на прежнія увле-

1) III, 386 (E. O., VIII, XII).
2) III, 402 (E. O., VIII, XLV).
3) III, 305 (E. O., IV, XI).
4) III, 394 (E. O., VIII, XXX).
5) III, 404 (E. O , VIII, L).

ченія, какъ вѣроятно, и Татьяна не походила на прежнихъ «красавицъ» Евгенія.

Поэтъ справедливо назвалъ однажды Онѣгина «полу-русскимъ героемъ»[1]). Такимъ надо признать и вообще типъ, изображенный Пушкинымъ въ поэмахъ тоски. Какъ сказано выше, этотъ типъ принадлежалъ намъ одновременно со всѣмъ Западомъ и у насъ обрисовался лишь нѣсколько позднѣе, чѣмъ тамъ. Въ поколѣніи, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, такіе тоскующіе люди были нерѣдки, и нашъ поэтъ извѣдалъ всѣ муки ихъ души. Этихъ людей у насъ называли лишними, а Достоевскій наименовалъ ихъ скитальцами въ Русской землѣ. Правильнѣе, быть можетъ, было бы назвать ихъ міровыми скитальцами, не могущими найти покоя нигдѣ въ мірѣ. Ихъ типъ сталъ такимъ же міровымъ типомъ, какъ типъ честолюбца, скупого и т. п. Слѣдовательно, оцѣнивая воспроизведеніе этого типа въ поэзіи Пушкина, необходимо принимать во вниманіе лишь характеръ этого воспроизведенія, а не вопросъ о полной оригинальности самаго типа. Становясь на такую точку зрѣнія, нельзя не признать, что Пушкинъ сдѣлалъ весьма много въ воспроизведеніи этого образа. Нашъ поэтъ углубилъ пониманіе типа тоскующаго человѣка, сообщивъ ему въ высшей степени рельефную обрисовку, подмѣтивъ въ немъ черты «современнаго человѣка», ускользавшія отъ вниманія другихъ, и отрѣшивъ его отъ излишняго ореола. Въ изображеніи этого человѣка на русской почвѣ стало понятнѣе возникновеніе его типа въ связи съ безотрадными условіями общественности, съ одной стороны, и въ зависимости отъ тѣхъ обще-европейскихъ интеллектуальныхъ и моральныхъ вѣяній, которыя питали такихъ людей, — съ другой. Такого отчетливаго критическаго отношенія къ излюбленному типу носителя міровой скорби не находимъ въ тѣ годы ни у какого другого поэта, а между тѣмъ оно было въ высшей степени важно, потому что не могла же жизнь остано-

---

1) III, 380. Татьяна же, какъ мы видѣли, была, по словамъ поэта, «русская душой».

виться на отрицательномъ, сѣтующемъ либо негодующемъ созерцаніи. Развѣнчать такъ, мастерски проанализировавъ, типъ разочарованнаго протестующаго человѣка, нерѣдко благородной и возвышенной, но въ то же время безплодной личности и указать ей выходъ могъ только первостепенный талантъ; равно разоблачить демонизмъ, какъ то сдѣлано Пушкинымъ въ «Демонѣ» и другихъ произведеніяхъ, могъ лишь сильный умъ.

Такъ же мѣтко и притомъ довольно рано разгадалъ Пушкинъ и односторонность передоваго въ жизни того времени носителя этого типа — Байрона и его демонизма. Пушкинъ съ замѣчательною проницательностью рано понялъ Байрона, какъ поэта, который постоянно въ своихъ герояхъ «погружается въ описаніе самого себя, въ коемъ онъ поэтически созналъ и описалъ единый характеръ (именно — свой); все, кромѣ ...etc., отнесъ онъ къ сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно плѣнительному»[1]). Самъ же Пушкинъ и въ годы увлеченія Байрономъ далеко не всегда

. . . . . маралъ свой портретъ,
Какъ Байронъ, гордости поэтъ[2]),

который

. . . . . прихотью удачной
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ[3]).

Пушкинъ не былъ гордымъ эгоистомъ на Байроновскій ладъ и такимъ рѣзкимъ индивидуалистомъ.

Потому-то сравнительно мало и слабо отозвался байронизмъ въ лирикѣ Пушкина, хотя послѣдняго плѣнила довольно рано «поэзія мрачная, богатырская, сильная, байроническая»[4]). Са-

---

1) VII, 50; ср. VII, 158. Взглядъ Тэна на эту особенность поэзіи Байрона въ сущности тотъ же.

2) III, 258 (Е. О., I, LVI).

3) III, 386 (Е. О., III, XII).

4) VII, 15.

мымъ яркимъ выраженіемъ байронизма былъ демонизмъ, открытый Пушкинымъ у Байрона и отчасти переданный Лермонтову, и тотъ безотрадный лирическій аккордъ, какой слышимъ въ стихотвореніи «26 мая 1828 г.»:

Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана,
Иль зачѣмъ судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня *враждебной* властью
Изъ ничтожества воззвалъ, *и т. д.*[1]).

Въ этомъ стихотвореніи Пушкинъ явился на мгновеніе настоящимъ байронистомъ[2]). Но то не были могучіе взрывы глубокаго отрицанія и отчаянія Байроноваго Каина, которыя разжигаетъ Люциферъ, а лишь выраженіе отдѣльныхъ моментовъ колебанія души, не могшей склониться къ полному и мрачному отрицанію, постоянно пытавшейся превозмочь голосъ демона сомнѣній и преодолѣвшей его.

Уже приступивъ къ «Онѣгину» и въ моментъ созданія «Цыганъ», Пушкинъ могъ прозрѣвать то, что выразилъ позднѣе въ словахъ: «словесность отчаянія» (какъ назвалъ ее Гёте), «словесность сатаническая» (какъ говоритъ Соутей), «словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и

---

1) II, 38. *Павлищевъ*, Воспоминанія, 21, называетъ это стихотвореніе «любимыми стихами» Пушкина.

2) Ср. въ «Каинѣ», актъ II, сц. II, слова Каина:

. . . . . Why do I exist?
Why art thou wretched? wy are all things so?
Ev'n he who made us must be, as the maker
Of things unhappy! To produce destruction
Can surely never be the task of joy, etc.

Ср. выше слова Пушкина (V, 50) о принадлежности «Каина» «къ роду скептической поэзіи Чайльдъ-Гарольда». О слѣдахъ воздѣйствія Байрона на тѣ или иные образы и мысли въ лирикѣ Пушкина см. у *Н. Ѳ. Сумцова*, Этюды, II, 15; III, 72; IV, 2, 9, 62.

пр.» «осуждена высшею критикою», и изображеніе «только двухъ струнъ въ сердцѣ человѣческомъ: эгоизма и тщеславія», вытекающее изъ «поверхностнаго взгляда на человѣческую природу», «обличаетъ, конечно, мелкомысліе»[1]).

Пушкинъ сохранялъ при этомъ уваженіе къ образу Чайльдъ-Гарольда[2]), но восторжествовалъ надъ мрачнымъ отношеніемъ къ жизни[3]), надъ духомъ сомнѣнія и отрицанія, какъ Гёте, поднялся до яснаго и небесно-чистаго созерцанія Шиллера, оставшись въ то же время свободнымъ и отъ холоднаго въ концѣ олимпійскаго величія Гёте, и отъ крайняго идеализма Шиллера. Равнымъ образомъ, и въ другихъ отношеніяхъ Пушкинъ отошелъ далеко отъ Байрона и вообще отъ романтики, которая увлекала его во дни юности. Онъ такъ вспоминалъ о тѣхъ дняхъ:

Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ,
И безыменныя страданья...[4])

Теперь же

Другія хладныя мечты,
Другія строгія заботы
И въ шумѣ свѣта, и въ тиши
Тревожатъ сонъ моей души.

---

1) V, 302–303.

2) Въ 1830 г. Пушкинъ писалъ (V, 131) о послѣдней главѣ «Онѣгина»: «Осьмую главу я хотѣлъ было вовсе уничтожить и замѣнить одною римскою цифрою, но побоялся критики... Мысль, что шутливую пародію можно принять за неуваженіе къ великой и священной памяти, также удерживала меня. Но Child Harold стоитъ на такой высотѣ, что, какимъ бы топомъ о немъ ни говорили, мысль оскорбить его не могла во мнѣ родиться».

3) Уже *Фарнагенъ* (въ Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, откуда статья его была переведена въ Сынѣ Отечества 1839 г.) отмѣтилъ, что Пушкина отличала отъ Байрона «свѣжая веселость». Въ этой чертѣ сказался де истинный поэтъ, потому что настоящая поэзія есть радость и утѣшеніе и «только для того снисходитъ ко всѣмъ скорбямъ и страданіямъ».

4) Изъ путешествія Онѣгина.

Позналъ я гласъ иныхъ желаній,
Позналъ я новую печаль;
Для первыхъ нѣтъ мнѣ упованій,
А старой мнѣ печали жаль.
Мечты, мечты! гдѣ ваша сладость? [1])

Пушкинъ полюбилъ

. . . . . прозаическія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ [2]).

Онъ сталъ вполнѣ начинателемъ того направленія, которое характеризуетъ новѣйшую литературу, и въ своемъ вниманіи и любви къ изображенію простой и неприглядной дѣйствительности [3]), и въ любви ко всѣмъ людямъ: въ каждой личности, какъ бы низко она ни пала, нашъ поэтъ умѣлъ открывать и ту или иную свѣтлую сторону, умѣлъ находить черты человѣчности. То былъ признакъ не только полной гуманности, но и высокаго подъема духа надъ безотраднымъ созерцаніемъ дѣйствительности и вмѣстѣ вполнѣ трезваго и разумнаго отношенія къ послѣдней.

Байронъ заканчивалъ свою жизнь съ чувствомъ все бо̀льшаго и бо̀льшаго утомленія и искалъ могилы [4]). Пушкинъ также испытывалъ было утомленіе и уже на 22-мъ году жизни писалъ: «Я пережилъ свои желанья» [5]), но, въ отличіе отъ Байрона и его послѣдователей, послѣ «наслажденій, пировъ, грусти, милыхъ мученій, шума, бурь легкой юности», сказалъ:

---

1) III, 356 (E. O., VI, xliii—xliv). Ср. VII, 51—52: «новая печаль мнѣ сжала грудь» и пр.

2) III, 409.

3) Это было отмѣчено уже критикою современною Пушкину, напр. Надеждинымъ, перепечатку сужденій котораго см. у *Поливанова*, Сочиненія Пушкина, IV, 120—134; см., напр., замѣчаніе о «Фламандской картинкѣ» отъѣзда Тани въ Москву и о томъ, что описаніе Москвы въ VII-й главѣ Онѣгина «сдѣлано истинно-Гогартовски».

4) См. стихотв.: «On this day I complete my thirty sixth year».

5) I, 238.

Довольно! съ ясною душою
Пускаюсь нынѣ въ новый путь
Отъ жизни прошлой отдохнуть [1]).

Пушкинъ непрестанно искалъ путей нравственнаго обновленія. Онъ обрѣлъ ихъ въ «трудахъ» вдали отъ юношескихъ

. . . . . страстей и лѣни
И сновъ задумчивой души,

но не на чужбинѣ, напр., въ Америкѣ, куда возводилъ взоры въ концѣ своихъ дней Байронъ. Пристанище для задушевныхъ помысловъ и «трудовъ» Пушкина нашлось въ родной землѣ — въ вѣрѣ въ духовность человѣка и въ «высокій жребій» того народа, изъ среды котораго вышелъ нашъ поэтъ.

III, 357 (Е. О., VI, xlv).

Отголоски увлеченія Байрономъ: разочарованіе, грезы о свободѣ внѣ цивилизованнаго общества и сомнѣнія въ поэзіи Пушкина [1]).

I. Лучшій поэтическій образъ высшихъ стремленій человѣка новаго времени — Гётевскій Фаустъ. Ему присущи глубочайшія муки души, онъ отягченъ сознаніемъ вины, но постепенно возвышается до духовнаго просвѣтлѣнія, до универсальной широты созерцанія и моральнаго сознанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ Фаустъ—воспропзведеніе душевной жизни самого поэта, переживавшаго въ сущности то же, что волновало, снѣдало душу и, претворившись, окрыляло новыми порывами его Фауста.

По тому же тернистому пути идетъ и всякій великій поэтъ новаго времени, начиная съ Данте; прошелъ той же дорогой и нашъ первый истинно-великій поэтъ Пушкинъ.

Въ годы своей юности Пушкинъ, какъ-бы совмѣщая въ себѣ стремленія XVIII-го и начала XIX-го вв., являлся въ серьезной,

---

1) Библіотека русскихъ писателей подъ редакціей *С. А. Венгерова*. Пушкинъ. Томъ II. Изданіе Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 1908.

Настоящій этюдъ является дальнѣйшею разработкою мыслей, намѣченныхъ въ моей книгѣ «Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени», I, К. 1900, гдѣ въ примѣч. 2-мъ на стр. 155 (см. выше стр. 308) можно найти указанія и на литературу вопроса о байронизмѣ Пушкина, почти не обогатившуюся послѣ того ничѣмъ, заслуживающимъ особаго вниманія, если не считать статьи *Алексѣя Н. Веселовскаго:* «Этюды о байронизмѣ» (Вѣстн. Евр. 1905, № 3), результаты которой вошли и въ новое (3-е) изданіе книги того же *Веселовскаго*: «Западное вліяніе въ новой русской литературѣ», М. 1906, и перепечатки свода статей *В. Спповскаго* въ его книгѣ «Пушкинъ» (Спб. 1907).

не эротической части своего творчества по преимуществу поэтомъ протеста и обличенія, возмнивъ себя какъ-бы русскимъ Вольтеромъ, и одновременно — тоски, воспѣтой поэтами такъ называемой міровой скорби.

Пушкинъ открылъ, такимъ образомъ, либеральное теченіе въ нашей новѣйшей поэзіи и вполнѣ отчетливо намѣтилъ не только грустныя, но и тоскливыя ноты ея.

Онъ съ юныхъ лѣтъ поддавался меланхолическому настроенію, которое прорывалось въ его творчествѣ на ряду съ жизнерадостностью:

.....быстрой, быстрой чередой
Тогда смѣнялись впечатлѣнья:
Веселье — тихою тоской,
Печаль — восторгомъ упоенья [1]).

Правда, въ мартѣ 1816 г. Пушкинъ еще издѣвался надъ любителями сельскаго уединенія [2]), но потомъ грусть и тоска не разъ овладѣвали его душой и отзывались въ его поэзіи. Это теченіе русской поэзіи, вообще склонной къ грустному созерцанію, во главѣ котораго на время сталъ было Пушкинъ, не было лишь простымъ подражаніемъ иноземнымъ образцамъ. Какъ лучшіе люди Запада во второй половинѣ XVIII-го вѣка и въ началѣ XIX-го, не удовлетворяясь цивилизаціею своего общества и времени, не знали иного выхода, кромѣ духовнаго бѣгства отъ вызывавшей ихъ недовольство общественности, такъ должны были они направиться въ ту же сторону и у насъ въ силу соотвѣтственности условій. Но, конечно, въ выработкѣ поэтической меланхоліи у насъ должны были участвовать и великіе поэты Запада.

Популярнѣйшимъ послѣ Гёте изъ современныхъ Пушкину

---

1) Сочиненія и Письма А. С. Пушкина, подъ ред. *П. О. Морозова*, т. IV, Спб. 1903, 624.

2) Переписка Пушкина, изд. Имп. Ак. Наукъ подъ ред. *В. И. Саитова*, т. I, Спб. 1906, стр. 2. Въ дальнѣйшихъ ссылкахъ будемъ обозначать это изданіе инициалами Пер.

этихъ поэтовъ былъ Байронъ, «мученикъ суровый», который «страдалъ, любилъ и проклиналъ», по выраженію нашего поэта.

Байронъ явился величайшимъ выразителемъ меланхоліи и міровой скорби, глубокаго раздумья надъ судьбою міра и человѣка и также неукротимаго стремленія къ свободѣ, блестящихъ идеаловъ мощной личности, доходившей до демонизма въ мятежномъ отрицаніи лжи и лицемѣрія, въ необъятномъ желаніи справедливости и свободы личности. При этомъ онъ искалъ славы, наслажденій и любви и удивительно соглашалъ свою жизнь со своею поэзіею. Онъ чрезвычайно увлекалъ читателей, въ томъ числѣ и русскихъ [1]), и сталъ образцомъ для подражанія со стороны цѣлаго ряда поэтовъ, названныхъ байронистами.

Пушкина плѣнила довольно рано «поэзія мрачная, богатырская, сильная байроническая» [2]). Нашъ поэтъ находилъ у Байрона «страшную истину» [3]), и сколь ничтожною казалась ему въ сравненіи съ послѣднею классическая поэзія французовъ: «Расинъ понятія не имѣлъ объ созданіи трагическаго лица; сравни его съ рѣчью молодого любовника Паризины Байроновой, увидишь разницу умовъ» [4]). Но, тѣмъ не менѣе поэтъ критицизма Байронъ былъ лишь однимъ изъ цѣлаго ряда могучихъ создателей критической мысли, думъ, меланхоліи и вдохновенія нашего поэта въ годы его юности.

Это нерѣдко однако забываютъ, и одностороннее сопоставленіе Пушкина съ Байрономъ можетъ назваться общимъ мѣстомъ многихъ разсужденій о нашемъ поэтѣ, уже начиная съ лѣтъ его молодости. Не совсѣмъ расположенные къ нему хотѣли сказать такимъ сравненіемъ, что Пушкинъ — не болѣе, какъ «слабый подражатель не особенно похвальнаго оригинала» [5]). Почитатели

---

1) См. Записки *К. А. Полевого*. Въ Петербургскомъ Англійскомъ Клубѣ бесѣдовали «О Байронѣ и о матерьяхъ важныхъ».

2) Пер., I, 28.

3) Тамъ же, I, 55.

4) Тамъ же, I, 95.

5) См. Записки *Смирновой*, I, 46.

же Байрона и Пушкина въ близости послѣдняго къ первому усматривали еще болѣе правъ на громкую славу, уже въ ранней юности осѣнившую чело нашего поэта. Были, конечно, и тогда болѣе осмотрительныя сужденія въ родѣ высказаннаго княгиней З. А. Волконской (29 октября 1826) [1]). Теперь, послѣ болѣе или менѣе обстоятельнаго изученія отношеній поэзіи Пушкина къ западно-европейской, приходится соблюдать необходимую осмотрительность въ этомъ вопросѣ, воздерживаясь отъ опрометчивыхъ сужденій въ родѣ того, которое было высказано поэтомъ Минскимъ, заявившимъ, что «смятенная тоска, громкая міровая скорбь, духъ гнѣва и печали, словомъ, все то, что принято называть байронизмомъ, по традиціи Пушкина и Лермонтова, до сихъ поръ омрачало русскую поэзію, горѣло на ней, какъ чумное пятно», въ противоположность новѣйшему настроенію ея [2]). Только въ послѣднее время болѣе тщательный анализъ произведеній Пушкина начинаетъ вполнѣ раскрывать значительную оригинальность ихъ въ силу связи съ личною жизнью поэта, такъ что вопросъ о непосредственномъ вліяніи Байрона на Пушкина сводится до значительно-меньшихъ размѣровъ.

Это вліяніе было лишь однимъ изъ многочисленныхъ звеньевъ, изъ которыхъ слагалась широкая и многосторонняя духовная жизнь нашего поэта, и было болѣе или менѣе замѣтно только въ одинъ изъ болѣе раннихъ періодовъ творчества Пушкина.

II. Оно давало себя знать преимущественно въ годы 1820—1824, проведенные Пушкинымъ на югѣ, когда такъ наз. освободительныя идеи бродили въ умахъ многихъ выдающихся русскихъ людей того времени, когда было во всей силѣ броженіе еще не установившихся душевныхъ силъ и въ поэтѣ, когда въ немъ кипѣлъ молодой протестъ противъ стѣснительныхъ условій государственности и общественности, достигли высшаго напря-

---

1) Tantôt sauvage, tantôt européen; tantôt Shakespeare et Byron, tantôt Arioste, Anacréon; mais toujours Russe...». Пер., I, 377.

2) Ср. Міръ Божій 1899, № 12, Критическія замѣтки.

женія бурныя стремленія и титаническіе порывы и одолѣвали смутныя томленія по идеалѣ, не вполнѣ еще обрисовавшемся его сознанію. Въ тѣ годы начиналась и у насъ, какъ во Франціи, усиленная борьба классиковъ съ романтиками. Свѣжія силы примыкали въ большинствѣ случаевъ къ послѣднимъ, и тому же теченію послѣдовалъ и Пушкинъ, который въ письмѣ отъ 13 іюня 1824 г. назвалъ себя «Разбойникомъ-Романтикомъ»[1]). Тѣ же годы ознаменовались и наибольшимъ увлеченіемъ нашего поэта Байрономъ, что̀ совпадало и съ наибольшимъ тяготѣніемъ его къ западно-европейскому міру.

Я жилъ тогда въ Одессѣ пыльной.
Тамъ все Европой дышетъ, вѣетъ,
Все блещетъ югомъ и пестрѣетъ
Разнообразностью живой,

вспоминалъ Пушкинъ[2]).

Байронъ былъ очень по душѣ Пушкину въ тѣ годы изгнанія изъ общества столицы и пылкаго исканія новыхъ темъ. Тогда въ особенности Пушкинъ возлагалъ надежды на вліяніе англійской поэзіи[3]).

Байронъ былъ родственъ Пушкину въ силу совпаденія въ нѣкоторыхъ чертахъ характера, въ бурныхъ порывахъ темперамента, въ судьбѣ и настроеніи, приближавшихъ нашего поэта къ англійскому.

Другъ Пушкина, кн. П. А. Вяземскій, справедливо замѣтилъ, что душа Пушкина была такъ же кипучая бездна огня, какъ Байроновская, по выраженію Козлова. И у Пушкина была «душа

---

1) Пер., I, 117.

2) Ср. тамъ же, I, 34: «пріѣхалъ бы я въ Одессу... подышать чистымъ Европейскимъ воздухомъ»; I, 75: «оставилъ мою Молдавію и явился въ Европу»; I, 84: «Одесса городъ Европейскій»; см. еще I, 89.

3) Тамъ же, I, 47: «Англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на Русскую. Думаю, что оно будетъ полезнѣе вліянія Французской поэзіи, робкой и жеманной».

мятежная»[1]). Его также называли «grand libertin»[2]). Самъ Пушкинъ сознавался:

Увы! на разныя забавы
Я много жизни погубилъ,
Я хладно пилъ изъ чаши сладострастья[3]).

Но онъ любилъ также

. . . . . бурною душою
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,

и проч.[4]). Онъ былъ знакомъ, между прочимъ, и съ «Гречанкой, которая цаловалась съ Байрономъ»[5]). Подобно Байрону, Пушкинъ сталъ «жертвой нещастныхъ сплетней»; при первыхъ же шагахъ къ славѣ Пушкинъ встрѣтилъ зависть и ненависть и рисовался этимъ[6]), какъ и древностью своего рода[7]). Наконецъ, и

1) Соч. и Письма А. С. Пушкина, изд. подъ ред. *Морозова*, т. I, стр. 366.

2) Пер., I, 332.

3) «Евгеній Онѣгинъ». Сочиненія Пушкина, изданіе Императорской Академіи Наукъ, томъ второй. Спб. 1905, стр. 19. Это изданіе мы будемъ обозначать въ ссылкахъ: Соч. П., II.

4) См. элегію: «Подъ небомъ голубымъ».

5) Пер., I, 68,

6) О сплетняхъ Пер., I, 48; ср. 138. Въ стих. «Желаніе» (1821): «изгнанникъ». Въ посвященіи «Кавказскаго Плѣнника» по одному изъ варіантовъ (см. Соч. А. С. Пушкина, ред. *П. А. Ефремова*, т. II, Спб. 1903, стр. 503), говорилось о «пѣньи изгнанной лиры»; Гнѣдичъ исправилъ: «пустынной» (Соч. П., II, примѣч., 447 и 373). Тамъ же:

Я рано скорбь узналъ, постигнутъ былъ гоненьемъ,
Я жертва клеветы и мстительныхъ невѣждъ.

Соч. П., II, 226; ср. примѣч., стр. 449. Въ стих. «Къ Языкову» (1824):

Давно безъ крова я ношусь,
Куда подуетъ самовластье;
Уснувъ, не знаю, гдѣ проснусь;
Всегда гонимъ, теперь въ изгнаньѣ
Влачу закованные дни.

Въ сентябрѣ 1825 г. Пушкинъ писалъ Вяземскому: «мысли твои объ общемъ мнѣніи, о суетѣ гоненія и страдальчества (положимъ) справедливы—но помилуй... это моя религія; я уже не фанатикъ, но все еще набоженъ». Въ концѣ: «Ты вбилъ ему (Горчакову), что я объѣдаюсь гоненіемъ.— Охъ, душа моя — меня тошнитъ... но предлагаемое да ѣдятъ» (Перепис., I, 288 и 290).

7) Рылѣевъ писалъ Пушкину въ іюлѣ 1825 г.: «Ты сдѣлался аристократомъ, это меня разсмѣшило. Тебѣ ли чваниться пятисотлѣтнимъ дворянствомъ?

онъ «часто бывалъ подверженъ такъ называемой хандрѣ»[1]), и

II тутъ вижу маленькое подражаніе Байрону. Будь, ради Бога, Пушкинымъ». (Переп., I, 232. Отвѣтъ Пушкина — тамъ же, 233; ср. тамъ же, 235, іюль 1825: «я всегда былъ склоненъ аристократичествовать»). Но раньше культъ родовитости Пушкинъ соединялъ съ демократическими расположеніями (см. Пер., I, 135: о «демократическихъ друзьяхъ 1818 года» и др.). Объ аристократизмѣ Байрона онъ отозвался такъ:

.....Нашъ лордъ,
Какъ говоритъ о немъ преданье,
Не только былъ отмѣнно гордъ
Великимъ даромъ пѣснопѣнья,
Но и случайностью рожденья...

(Соч. А. С. Пушкина, ред. *П. А. Ефремова*, т. III, стр. 559), и протестовалъ противъ толковъ, что онъ подражалъ въ томъ Байрону: «Я русскій дворянинъ, и я зналъ своихъ предковъ прежде, чѣмъ узналъ Байрона» (Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, т. VI, критическія замѣтки (1830—31), стр. 275). Въ письмѣ къ Бенкендорфу 24 ноября 1831 г. Пушкинъ такъ изложилъ свое отношеніе къ гордости родовитостію: «J'avoue que je tiens à ce qu'on appelle des préjugés; je tiens à être aussi bon gentilhomme que qui que ce soit, quoique cela ne rapporte pas grand' chose; je tiens beaucoup enfin au nom de mes ancêtres, puisque c'est le seul héritage qu'ils m'ont laissé» (Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, т. VIII, 267). См. еще письмо къ Н. Г. Репнину 5 февр. 1836 (тамъ же, 380).

1) Пер., I, 58; ср. тамъ же, 76: «У меня хандра»; I, 87: «скучно: вотъ припѣвъ моей жизни»; I, 137: «la rage de l'ennui qui consume ma folle existance»; I, 138: «l'ennui est une froide muse»; «скука смертная вездѣ»; I, 153 о Вяземскомъ: «какъ могъ онъ на Руси сохранить свою веселость»; I, 178: «мнѣ довольно скучно»; I, 203: «у меня хандра»; I, 220: «тебѣ (разумѣется Рылѣевъ) скучно въ Петербургѣ, а мнѣ скучно въ деревнѣ. Скука есть одна изъ принадлежностей мыслящаго существа» (П. Морозовъ, Соч. и Письма А. С. Пушкина, т. VIII, 461, указываетъ для параллели въ «Сценѣ изъ Фауста»: «скука — отдохновеніе души»); I, 221: «Михайловское душно для меня»; I, 251: «шумно, а скучно»; I, 286—287: «извини... хандру»; I, 321: «скучно, мочи нѣтъ». Такія же признанія находимъ и въ поэзіи Пушкина. Въ «Элегіи» 1821:

Живу печальный, одинокій.

Въ одной рукописи и въ журналѣ есть такой варіантъ:

Живу печальный, равнодушный

(Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, I, 589). Въ стих. «Война» 1821:

Я таю, жертва злой отравы.
Покой бѣжитъ меня; нѣтъ власти надъ собой...

тамъ же, 281). Въ стихотвореніи «Къ моей чернильницѣ» 1821:

Минуты хладной скуки,
Сердечной пустоты

«страдалецъ вдохновенный» [1]) былъ близокъ ему и въ этомъ отношеніи. Такимъ образомъ, Пушкину были уже знакомы Чайльдъ-Гарольдово пресыщеніе, разочарованіе и охлажденіе къ жизни и по личному опыту, а не только литературнымъ путемъ— изъ французскихъ писателей второй половины XVIII-го и начала XIX-го вв., наталкивавшихъ на раздумье о человѣческомъ существованіи и смерти. Напрасно Пушкинъ считалъ элегію дѣтищемъ преимущественно XIX-го вѣка. Конечно, Пушкинъ не поддавался всецѣло грусти и тоскѣ и «отдѣлалъ элегиковъ» въ эпиграммѣ «Соловей и Кукушка», какъ выразился Баратынскій, который замѣтилъ, «что стало очень приторно»

Вытье жеманное поэтовъ нашихъ лѣтъ [2]).

Еще болѣе роднило британскаго и русскаго поэтовъ совпаденіе въ творчествѣ того и другого.

У Байрона находимъ страданіе личное и за все человѣчество, за жалкихъ и покорныхъ людей, и стремленіе къ освобожденію всѣхъ угнетенныхъ. У Пушкина также видимъ рѣзко выраженныя свободолюбивыя стремленія. Онъ воспѣвалъ

Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышалъ.

Въ 1821 г. онъ писалъ о себѣ то же, что можно было сказать и о Байронѣ:

.....у столба сатиры
Развратъ и злобу я казнилъ

(тамъ же, III, 670). «Унылый умъ» (тамъ же, I, 306). Въ 1830-хъ годахъ опять прорываются въ письмахъ подобныя жалобы. См. Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VIII, 193: «мочи нѣтъ, скучно»; VIII, 210: «грустно, тоска, тоска!»; VIII, 216: «мнителенъ и хандрливъ; VIII, 233: «грустно, тоска!»; VIII, 235: «у меня сегодня spleen, прерываю письмо мое, чтобъ тебѣ не передать моей тоски»; VIII, 305: «хандра грызла меня».

1) Стих.: «Къ Гречанкѣ».

2) Пер., I, 310—311, 317.

И... разящій голосъ лиры
Виновныхъ въ ужасъ приводилъ;
.....пламеннымъ волненьемъ,
И бурями души моей,
И жаждой воли, и гоненьемъ
Я сталъ извѣстенъ межь людей [1]).

И Пушкинъ сталъ глашатаемъ независимости другихъ, возставшихъ противъ угнетенія, народовъ, разочаровавшись въ возможности пріобрѣтенія свободы для своего. Въ концѣ 1823 г. онъ писалъ:

Свободы сѣятель пустынный,
Я вышелъ рано, до звѣзды...
Но... потерялъ я только время,
Благія мысли и труды.
Паситесь, мирные народы,
Васъ не пробудитъ чести кличъ!
Къ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно рѣзать или стричь; и т. д. [2]).

Подобно Байрону, Пушкинъ очень принималъ къ сердцу дѣло освобожденія Греціи отъ турецкой неволи [3]).

Оба поэта были пѣвцами свободы [4]), и имъ обоимъ послѣ революціонныхъ грезъ пришлось жить въ тяжкое время реакціи и испытывать гоненія, на что они отвѣчали по временамъ вспышкою вражды къ родинѣ [5]). Пушкинъ былъ высланъ изъ Петер-

---

1) Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, I, 307.—Перечень проявленій свободолюбивыхъ стремленій Пушкина см. въ ст. *Мизикова*: «Пушкинъ — сынъ вѣка» (Исторія и поэзія, М. 1900), стр. 513—514.

2) Пер., I, 91.

3) Потомъ Пушкинъ разочаровался въ грекахъ: Пер., 118—119.

4) «Одна свобода — мой кумиръ», писалъ Пушкинъ въ 1821 г. Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VIII, 419.

5) У Пушкина такая вражда была непродолжительна.—Въ началѣ января 1824 г. онъ писалъ: «Святая Русь мнѣ становится не въ терпежъ... меня тошнитъ съ досады — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая

бурга, главнымъ образомъ, за оду «Вольность»[1]). Еще въ 1824 г., прощаясь съ южнымъ моремъ, поэтъ писалъ:

Міръ опустѣлъ... Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду та же:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль просвѣщенье, иль тиранъ...
Въ лѣса, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ[2]).

Оба поэта разошлись съ правительствомъ, великосвѣтскою публикою и угрожавшею ей журналистикою. Публика казалась Пушкину «дѣтской»[3]), и онъ вступилъ было въ литературную оппозицію правительству[4]), отъ которой пытались отклонить его

глупость» (Пер., I, 94). Пушкинъ замышлялъ было бѣжать изъ Михайловскаго за границу (Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VIII, 452). «Что мнѣ въ Россіи дѣлать?» задавалъ онъ вопросъ въ декабрѣ 1825 г. (Пер., I, 314). «Я, конечно, презираю отечество мое съ головы до ногъ... Если Царь дастъ мнѣ свободу, то я мѣсяца не останусь», писалъ Пушкинъ въ маѣ 1826 г. (тамъ же, 352).

1) Соч. П., II, примѣч., стр. 109 и 305 и слѣд. Самый текстъ оды см. тамъ же, 491—494. Отнесеніе оды къ 1817 г. не выдерживаетъ критики. См. т. I наст. (Брокгаузъ-Ефронъ) изд., стр. 510—516. См. еще «Noël» въ Соч. П., II, примѣч., 4, 5 и 6 вообще о политическихъ стихотвореніяхъ Пушкина, и далѣе 304—308.

2) Стихотвореніе «Къ морю».

3) «Есть у насъ люди, которые выше ея: этихъ она недостойна чувствовать» (Пер., I, 44); «publique que je méprisais» (тамъ же, I, 222): «публика наша глупа» (Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VIII, 171).

4) Главнымъ образомъ—эпиграммами. Замѣчаніе Пушкина объ оппозиціи—Пер., I, 119 и въ Соч. и Письмахъ А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VIII, 502 (о времени Александра I: «весь классъ писателей перешелъ на сторону недовольныхъ»); мнѣніе кн. Вяземскаго—Пер., I, 280. — Царь, по мнѣнію Пушкина, «поступилъ съ нимъ не только строго, но и несправедливо» (Пер., I, 140). Въ октябрѣ 1824 г. поэтъ былъ готовъ просить «какъ милости, перевода изъ Михайловскаго въ одну изъ крѣпостей» (тамъ же, I, 141). «Я hors la loi», писалъ тогда Пушкинъ (тамъ же, 142); а въ февралѣ 1826 г. онъ опять жаловался на то, что онъ—человѣкъ, «гонимый 6 лѣтъ сряду, замаранный на службѣ выключкою,

авторитетные друзья [1]), и пренебрежительно относился къ обществу и журналистикѣ [2]). Потому-то Пушкинъ готовъ былъ подражать Байрону въ жизни [3]) и не могъ остаться внѣ его вліянія въ своей поэтической дѣятельности, когда и его

Средь оргій жизни шумной
. . . . . постигнулъ остракизмъ [4]).

Прямыя упоминанія о Байронѣ встрѣчаются въ поэзіи Пушкина въ сентябрѣ 1820 г. [5]), а въ перепискѣ поэта еще позднѣе: не ранѣе марта 1821 г. [6]).

Значительнымъ препятствіемъ къ полному усвоенію Пушкинымъ поэзіи Байрона являлось долго плохое знакомство нашего поэта съ англійскимъ языкомъ, которымъ Пушкинъ началъ заниматься довольно поздно. На первыхъ порахъ онъ читалъ Байрона во французскихъ и русскихъ переводахъ. Онъ плохо зналъ англійскій языкъ еще и въ сентябрѣ 1825 г. [7]).

сосланный въ глухую деревню за двѣ строчки перехваченнаго письма» (тамъ же, I, 325).

1) Кн. П. А. Вяземскій — Пер., I, 102, 229, 252, 278, 347, 356, 362; Дельвигъ — тамъ же, 133; Катенинъ — тамъ же, 336—337; Жуковскій — тамъ же, 258, 292, 330, 340. Пушкинъ внялъ этимъ совѣтамъ въ 1826 г. (тамъ же, 335).

2) Увидѣлъ я толпы безумной
Презрѣнный, робкій эгоизмъ.
Безъ слезъ оставилъ я съ досадой
Вѣнки пировъ и блескъ Аѳинъ.

Пер., I, 63. «Je me soucie tout autant de l'opinion de ce public, que de l'opinion de nos journaux...» (тамъ же, 115); «признаюсь, одной мыслію этой женщины дорожу я болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ и всей нашей публикой» (тамъ же, 121). И въ 1831—1832 гг. Пушкинъ писалъ: «плясать передъ публикою не намѣренъ. Да къ тому жъ, ни критика, ни публика недостойны дѣльныхъ возраженій» (Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VIII, 254); «угождать публикѣ... было бы слишкомъ низко» (тамъ же, 280).

3) «Comme Lara Hansky, assis sur mon canapé, j'ai décidé de ne plus me mêler de cette affaire-là» (Перев., I, 79); «хочу жеребцовъ выѣзжать: вольное подражаніе Alfieri и Байрону» (тамъ же, 207).

4) Пер., I, 63.

5) Именно въ лирикѣ Пушкина. См. ниже.

6) Пер., I, 28.

7) Пер., I, 286: «Мнѣ нуженъ Англійскій языкъ—и вотъ одна изъ невыгодъ моей ссылки: не имѣю способовъ учиться, пока пора. Грѣхъ гонителямъ

Въ связи съ этимъ возникаетъ вопросъ: понялъ ли Пушкинъ сущность поэзіи Байрона? По мнѣнію нѣкоторыхъ [1]), — нѣтъ, какъ не понялъ де онъ и Гёте. Это утвержденіе невѣрно, какъ то показываютъ сужденія Пушкина о Байронѣ, относящіяся къ позднѣйшимъ годамъ жизни нашего поэта. Все дѣло лишь въ томъ, что нашъ поэтъ не могъ вполнѣ идти по слѣдамъ Байрона. Это обусловливалось коренными различіями какъ между личностями, такъ и между поэзіею обоихъ писателей, несмотря на сейчасъ указанную близость ихъ въ другихъ отношеніяхъ.

По словамъ Смирновой, хорошо знавшей Пушкина, нашъ поэтъ «былъ несравненно выше Байрона по столь развитому въ немъ нравственному чувству, по великой прямотѣ своей совѣсти». Ср. ниже о «Братьяхъ Разбойникахъ». Еще болѣе было различій между обоими поэтами въ направленіяхъ, въ которыхъ развились основные мотивы ихъ поэзіи. Другъ Пушкина въ годы своего пребыванія въ Петербургѣ, Мицкевичъ справедливо замѣтилъ, что Пушкинъ былъ не байронистомъ, а только байроническимъ поэтомъ, въ родѣ Байрона [2]). Весьма важно, что Пушкинъ началъ довольно рано относиться критически къ поэту, который, изображая своихъ героевъ, «погрузился въ описаніе самого себя» [3]). Это наблюденіе Пушкина подтверждено и новѣйшею критикою,

---

моимъ!» — Но 21 сентября 1835 г. Пушкинъ писалъ: «Я взялъ у нихъ Вальтеръ-Скотта и перечитываю его. Жалѣю, что не взялъ съ собою и англійскаго». (Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VIII, 370). Въ «Полтавѣ» эпиграфъ изъ Байрона приведенъ въ англійскомъ текстѣ, но поэтъ подготовлялъ и переводъ стиховъ Байрона изъ 1-й строфы «Мазепы» (см. тамъ же, III, 643). См. еще ниже прим. 3 на стр. 345.

1) Г. Здзѣховскій, напр., говоритъ (Byron, jego wiek, Krak., 1897, 187), что Пушкинъ «nie dorósł do zrozumienia bohatera Byrona». Въ послѣднее время сужденіе о томъ, что Байронъ оказался не по плечу русскимъ поэтамъ, въ статьѣ *Н. К. Бокадорова*: «Система Шопенгауэра и его ученіе о чистой идеѣ красоты» (Сборникъ статей въ честь проф. Ю. А. Кулаковскаго, стр. 160—161).

2) Il n'est qu'un byronisme. Замѣчанія Мицкевича объ отношеніи Пушкина къ Байрону см. въ русск. переводѣ въ Мірѣ Бож. 1899, № 5, стр. 114—118.

3) Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VI, 260. См. еще Соч. А. С. П., ред. *Ефремова*, т. VII, стр. 222. Ср. ниже подобное же сужденіе Пушкина о драмахъ Байрона.

напр., Тэномъ, но не охватываетъ всего творчества Байрона, напр., поэмы о Донъ-Жуанѣ, на что и указали Пушкину А. А. Бестужевъ и Рылѣевъ [1]).

Тѣмъ не менѣе, не лишено значенія, что Пушкинъ не примыкалъ къ субъективизму Байрона и не всегда

.....маралъ свой портретъ,
Какъ Байронъ, гордости поэтъ [2]).

Пушкинъ, какъ и Байронъ, былъ исполненъ скорби, и эта была скорбь не наносная, а искренняя. Западное разочарованіе, основанное, между прочимъ, на неудачномъ исходѣ грезъ, выразившихся въ революціи, передавалось вполнѣ естественно и нашимъ пылкимъ натурамъ. Русскіе порядки возмущали Пушкина до послѣднихъ лѣтъ его жизни [3]). Понятно, что онъ увлекся прежде всего Байроновскимъ протестомъ противъ общественности, стѣснявшей могучую личность, и его плѣнилъ образъ Чайльдъ-Гарольда, въ которомъ достигъ уже значительной силы по художественности выраженія излюбленный Байроновскій мотивъ борьбы страстнаго и озлобленнаго героя съ обществомъ и судьбою. Этотъ образъ въ особенности нравился Пушкину. Нашъ поэтъ усвоилъ отъ Байрона по преимуществу гордо-пренебрежительное отношеніе къ людямъ общества и извращенной городской культуры и къ соціальной порчѣ, первые зародыши котораго могъ почерпнуть у Руссо, явившагося въ томъ учителемъ Байрона [4]). У Байрона находимъ одновременно «и любовь, и горечь, и презрѣніе». Меланхолія начала проникать въ русскую поэзію въ концѣ XVIII-го в. У Жуковскаго она начала превращаться въ тоску, у Грибоѣдова въ негодованіе, у Пушкина, какъ

---

1) Пер., I, 187 и 216.
2) Евг. Онѣг., I, VI.
3) См. его письма. Россія казалась Пушкину Турціею: Пер. I, 34.
4) *O. Schmidt*, Rousseau und Byron.

и у Байрона, становится иногда презрѣніемъ [1]). Но нашъ поэтъ оказался не въ состояніи выдерживать постоянно тонъ гордаго презрѣнія. Это вытекало изъ доброты его сердца [2]). Ненависть ко всякаго рода утѣсненію была свойственна и Пушкину, какъ и Байрону. Но «поклонникъ правды и свободы», какъ называлъ себя Пушкинъ [3]), чувствовавшій симпатію даже къ евреямъ [4]), началъ довольно скоро относиться съ большею осмотрительностію и разсудительностію къ поразившимъ его неправдамъ [5]) и не остался до конца поэтомъ протеста, какимъ пребылъ Байронъ.

Британскій поэтъ искалъ утѣшенія въ своей тоскѣ, обращаясь къ природѣ, любви, искусству и мечтамъ объ освобожденіи народовъ и о реформахъ въ жизни человѣчества. Съ особою полнотою эти стороны Байронова творчества послѣ созданія имъ «Чайльдъ-Гарольда» выразились въ поэмѣ о Донъ-Жуанѣ. Пушкинъ восхищался постоянно и этимъ произведеніемъ [6]), которое также оставило довольно крупный слѣдъ въ его творчествѣ, по-

---

1) . . . . . Въ нашъ гнусный вѣкъ
Сѣдой Нептунъ земли союзникъ.
На всѣхъ стихіяхъ человѣкъ —
Тиранъ, предатель или узникъ.

Пер., I, 364. Извѣстны слова Пушкина о томъ, что «кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей» («Евг. Онѣг.», I, XLVI). Ср. однако въ альбомѣ Онѣгина.

2) На доброту своего сердца указывалъ самъ Пушкинъ. См., напр., его письмо 1834 г.: «... изъ добродушія, коимъ я преисполненъ до глупости, не смотря на опыты жизни» (Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, VIII, 331).

3) Пер., I, 27.

4) См. отрывокъ «Юдифь».

5) «Послѣдній либеральный бредъ» Пушкина, по его словамъ, — ода на смерть Наполеона; потомъ де онъ отрекся отъ провозглашенія свободы. Но онъ все-таки возвращался по временамъ къ излюбленному сюжету и, можетъ быть, въ концѣ 1824 г. сочинилъ новый «Noël» (Соч. и П., II, примѣч., 9) Въ маѣ—іюнѣ 1825 г. Пушкинъ писалъ Жуковскому: «Я обѣщалъ Н. М. два года ничего не писать противу Правительства и не писалъ»; въ февралѣ 1826 г.: «Я желалъ бы вполнѣ и искренно помириться съ правительствомъ, и, конечно, это ни отъ кого, кромѣ Его, не зависитъ. Въ этомъ желаніи болѣе благоразумія, нежели гордости съ моей стороны (Пер., I, 326; см. потомъ тамъ же, 335).

6) См. напр., Пер., I, 196: «никто болѣе меня не уважаетъ Д. Ж.».

добно «Чайльдъ-Гарольду». Индивидуализмъ въ смыслѣ донъ-жуанства, какъ развязанности въ исканіи авантюръ, необычнаго прекраснаго въ любви и сатиризма среди всеобщей порчи, были въ особенности по душѣ нашему поэту въ годы его молодости до женитьбы и очень приближали его къ Байрону, какъ поэту Донъ-Жуанства въ литературѣ и въ жизни.

Подобно, Байрону, Пушкинъ увлекся роскошною природою Юга и Востока и изображеніемъ ея, но только—не въ духѣ Мура, «покорнаго подражателя безобразному восточному воображенію» [1]), а въ духѣ Байрона [2]). Въ особенности очаровали нашего поэта

И своды скалъ, и моря блескъ лазурный,
И ясныя, какъ радость, небеса [3]).

Ср. воспоминаніе о томъ времени въ путешествіи Онѣгина:

Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ,
И безыменныя страданья...

Въ Пушкинской лирикѣ слышимъ Байроновскую идею, что отъ всѣхъ утѣхъ юности

Останется унынiе одно [4]).

И Пушкинъ находилъ, что «il n'y a vrai et de bon sur la terre que l'amitié et la liberté» [5]).

---

1) Пер., I, 37.

2) Тамъ же, 206—207: Муръ «черезъ чуръ ужъ восточенъ. Онъ подражаетъ ребячески и уродливо ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета — Европеецъ и въ упоеніи восточной роскоши долженъ сохранить вкусъ и взоръ Европейца. Вотъ почему Байронъ», и т. д.

3) «Желаніе» 1821 (Соч. и Письма А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, I, 278).

4) Стих. «Унынiе»

5) Пер., I, 257.

Словомъ, Байронъ значительно расширилъ горизонтъ зрѣнія и усилилъ въ значительной степени романтическіе вкусы Пушкина. «Все, что ты говоришь о романтической поэзіи, прелестно; ты хорошо сдѣлалъ, что первый возвысилъ за нее голосъ — французская болѣзнь умертвила бы нашу отроческую словесность»,— писалъ Пушкинъ Вяземскому въ февралѣ 1823 г.[1]). «Стань за нѣмцевъ и англичанъ — уничтожь этихъ маркизовъ классической поэзіи», — продолжалъ онъ полгода спустя[2]).

«Романтизма нѣтъ еще во Франціи, а онъ-то и возродитъ умершую поэзію»[3]). Но, ставъ на сторону литературнаго движенія, Пушкинъ видѣлъ и его недостатки и замѣтилъ, что Байронъ дошелъ до крайнихъ предѣловъ въ своихъ романтическихъ порываніяхъ. Байронъ заявилъ себя титанической натурой, что̀ въ особенности выступаетъ въ «Манфредѣ» и «Каинѣ», гдѣ поэтъ пытался проникнуть до послѣднихъ предѣловъ познанья. «Мрачное, ненавистное, мучительное лицо проявляется во всѣхъ почти произведеніяхъ Байрона», говоритъ Пушкинъ[4]) — и потому, вѣроятно, назвалъ его «поэтомъ мучительнымъ и милымъ»[5]). Нашъ поэтъ поддался было обаянію мощи этого «лица», но не вполнѣ, потому что скоро замѣтилъ односторонность Байроновыхъ героевъ:

---

1) Пер., I, 66—67.

2) Тамъ же, 74.

3) Тамъ же, 83; ср. 123 и 218. А. А. Бестужевъ писалъ 9 марта 1825 г. Пушкину о Козловѣ. «Не дай Богъ судить о Байронѣ по его переводамъ: это лордъ въ Жуковскаго пудрѣ. — Скажу о себѣ: я съ жаждой глотаю Англинскую литературу и душой благодаренъ Англинскому языку—онъ научилъ меня мыслить, онъ обратилъ меня къ природѣ — это неистощимый источникъ. Я готовъ даже сказать: il n'y a point de salut hors la littérature anglaise. Если можешь, учись ему. Ты будешь заплоченъ сторицею за трудъ» (Пер., I, 188). «Всѣ имѣютъ у насъ самое темное понятіе о романтизмѣ» — писалъ Пушкинъ 25 мая 1825 г. (тамъ же, 219; ср. 308: «сколько я не читалъ о Романтизмѣ, все не то»). Ср. *Кульмана*: «Отношеніе Пушкина къ романтизму» — въ сборникѣ «Памяти Леонида Николаевича Майкова». Спб. 1902.

4) Соч., ред. *Морозова*, V, 134.

5) Стих. къ «Гречанкѣ».

Лордъ Байронъ, прихотью удачной,
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ [1]).

Пушкинъ, находившій и у Байрона «внутреннюю вѣру», не прошелъ всей тяжкой школы сомнѣнья и остался свободенъ отъ Байроновскаго титанизма и сверхчеловѣчества. Ему были не совсѣмъ чужды Байроновы демоническіе порывы и страстное выступленіе противъ небесъ [2]), смѣны полета мыслей и патетической рѣчи; но послѣдняя не такъ часта у Пушкина. Ему были не совсѣмъ присущи глубокомысленныя идеи и проблемы, занимавшія Байрона, страстное стремленіе къ разоблаченію высшихъ и низшихъ тайнъ міра. Равнымъ образомъ, Пушкинъ не могъ вполнѣ освоиться и со взрывами Байроновскаго пессимизма и съ темными красками, которыя тотъ пускалъ въ дѣло въ своей поэзіи. Пушкинъ не былъ скорбникомъ; хотя онъ и не разъ хандрилъ, но онъ сознавалъ, что «хандра убиваетъ душу» [3]). По сообщенію Ежова [4]), В. А. Нащокина выразилась о Пушкинѣ: «Какой это былъ весельчакъ, добрякъ и острословъ!» «Какъ онъ звонко хохоталъ!» О его «разговорѣ», «веселости» вспомнилъ Катенинъ въ 1825 г. [5]).

Понятно послѣ всего этого, что Пушкинъ не могъ стать односторонним байронистомъ; онъ, какъ крупный талантъ, могъ лишь, воспринявъ воздѣйствіе Байрона, претворить въ своемъ духѣ то, что согласовалось съ его собственнымъ міровоззрѣніемъ. Это видимъ даже въ годы наибольшаго увлеченія Пушкина Байрономъ.

III. Быть можетъ, первый косвенный слѣдъ такого увлеченія можно усматривать въ эпитетѣ, которымъ надѣляетъ себя поэтъ

---

1) «Евг. Онѣг.» III, XII.
2) См. ниже о стих. «Демонъ» и др., а также «Евгенія Онѣгина».
3) Соч. Пушк., ред. *Морозова*, VIII, 255 (22-го іюля 1831 г.).
4) Новое Время 1899, № 8343.
5) Пер., I, 211.

въ эпилогѣ «Руслана и Людмилы», набросанномъ въ Петербургѣ передъ высылкой и законченномъ на Кавказѣ въ іюнѣ и іюлѣ 1820 г.[1]): Пушкинъ называетъ себя тамъ «мірожителемъ равнодушнымъ» съ «болѣзненной душой»[2]). Во всякомъ случаѣ, кому—переводъ, кому подражаніе Байрону—элегія[3]) «Погасло дневное свѣтило», набросанная первоначально въ концѣ августа 1820 г. «ночью на кораблѣ[4]) и отдѣланная окончательно въ сентябрѣ того же года[5]), можетъ считаться первымъ поэтическимъ произведеніемъ, навѣяннымъ Байрономъ посредственно или непосредственно. Она не есть, однако, вполнѣ байроническое произведеніе, хотя самъ Пушкинъ назвалъ ее подражаніемъ Байрону и въ одной изъ рукописей помѣстилъ на англійскомъ языкѣ эпиграфъ, взятый изъ Чайльдъ-Гарольда[6]), да и кн. Вяземскій приписывалъ себѣ то, что онъ «наговорилъ Пушкину эту байроновщину»:

Но только не къ брегамъ печальнымъ
Туманной родины моей[7]).

Въ противовѣсъ признанію прямого вліянія Байрона на созданіе этого стихотворенія указываютъ[8]), что въ этой знаменитой элегіи Пушкина «сказалось вліяніе трехъ пьесъ Батюшкова: «Тѣнь друга» (1814), «Разлука» (1815) и отрывка: «Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ»... (1819), который «не что иное, какъ чрезвычайно близкій и прекрасный переводъ строфы CLXXVIII изъ четвертой пѣсни «Чайльдъ-Гарольда» Байрона».

---

1) Соч. П., II, примѣч., 265—267.

2) Тамъ же, 191.

3) Такъ наименовалъ это стихотвореніе самъ Пушкинъ въ письмѣ къ брату.

4) Пер., I, 120.

5) Соч. П., II, примѣч. 323.

6) Соч. П., II, прим., 318—319.

7) Тамъ же, II, 322, со ссылкою на Остафьевскій Архивъ, II, 104 и 107.

8) *Утецъ*, Пушкинъ и Батюшковъ, Новое Время 1900, № 8890. Отмѣтимъ еще совпаденія съ элегіею *Парни:* Sa chagrin dévorant a flétri ma jeunesse, и проч.

Однако вліяніе Байрона, прямое или косвенное, видно въ обращеніи къ «вѣтрилу» и «океану», въ упоминаніяхъ о «печальныхъ берегахъ туманной родины», о «пламени страстей», о «рано отцвѣтшей младости», о бѣгствѣ изъ «отеческихъ краевъ» отъ «питомцевъ наслажденій». Замѣчаніе кн. Вяземскаго: «въ этой элегіи дѣло о любви одной. Зачѣмъ не упомянуть о другихъ неудачахъ сердца? Тутъ было гдѣ поразгуляться», не совсѣмъ точно, потому что, хотя рѣчь идетъ главнымъ образомъ о «пламени страстей», но поэтъ вспомнилъ не только

. . . . прежнихъ лѣтъ безумную любовь,

но

И все, чѣмъ онъ (въ подлинникѣ: я) страдалъ, и все, что сердцу мило,
Желаній и надеждъ томительный обманъ.

Байроновскія ноты: 1) скорби о невозвратномъ «молодомъ восторгѣ», о «минутахъ умиленья», «младыхъ надеждахъ», «сердечной тишинѣ» «годовъ весны» поэта и 2) «лѣни и тишины въ сердцѣ, бурями смиренномъ», слышатся и въ стихотвореніяхъ «Чаадаеву» и «Мнѣ васъ не жаль»...[1]). Въ стихотвореніи того же 1820 г. «О дѣва роза, я въ оковахъ»[2]) Н. Ѳ. Сумцовъ[3]) также находитъ матеріалъ для сравненія съ соотвѣтственными образами въ «Гяурѣ», «Паризинѣ» и «Абидосской Невѣстѣ» Байрона. Въ элегіи, относящейся къ тому же году: «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда»[4]), развитъ Байроновскій мотивъ «влеченія задумчивой лѣни надъ моремъ»; но лѣнь эта водворилась въ сердцѣ нашего поэта послѣ дѣйствительно пережитыхъ имъ бурь[5]).

---

1) Первое изъ этихъ стихотвореній написано въ 1820 г. на «морскомъ берегѣ Тавриды» (Соч. П., II, 203), а второе также въ Крыму, именно въ Юрзуфѣ, 20 сент. 1820 г. (тамъ же, 205).

2) Соч. П., II, 216.

3) Пушкинъ, 174—177.

4) Соч. П., II, 217.

5) Тамъ же, примѣч., 329, — по поводу «лѣни и тишины въ сердцѣ, смиренномъ бурями, упомянутыхъ въ стих. 1820 г. «Чаадаеву».

И тягостная лѣнь душою овладѣла,

читаемъ въ стихотвореніи «Война» 1821 [1]). Байронична и «хладная душа», которую «терзаетъ печаль», въ стихотвореніи «Черная шаль» [2]).

Такимъ образомъ къ 1820 г. относится цѣлый рядъ стихотвореній Пушкина, гдѣ то въ большей, то въ меньшей степени слышатся отголоски увлеченія нашего поэта Байрономъ. Это годъ наиболѣе сильнаго отраженія байронизма въ лирикѣ Пушкина, можетъ быть, потому, что тогда наиболѣе свѣжо чувствовалась имъ близость къ судьбѣ и настроенію Байрона и его героя Чайльдъ-Гарольда. Тогда же возникла и первая изъ поэмъ, носящихъ отпечатокъ той же близости и называемыхъ байроническими.

IV. Такъ называемыя байроническія поэмы Пушкина. Ихъ какъ-бы выдѣлилъ въ особую группу произведеній самъ Пушкинъ, заявившій, что «Бахчисарайскій Фонтанъ», какъ и «Кавказскій Плѣнникъ», отзывается чтеніемъ Байрона, отъ котораго «я съ ума сходилъ». Но необходимо сразу отмѣтить, что въ ихъ герояхъ можно открыть, наряду съ байроническими, черты также героевъ и героинь Руссо, Гёте (Вертера) и другихъ.

«Кавказскій Плѣнникъ» написанъ въ начальную пору увлеченія нашего поэта Байрономъ [3]). Пушкинъ хотѣлъ лишь «изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи XIX-го вѣка». А этими чертами характеризовались и нѣкоторые литературные носители міровой скорби. Ее опредѣляютъ теперь, какъ поэтической выраженіе необычайной чувствительности къ моральному и физическому злу

1) Соч. и П. Пушкина, ред. *Морозова*, II, 281.

2) Соч. II., II, 209.

3) Начата поэма въ августѣ 1820 г. въ Юрзуфѣ (тамъ же, примѣч., 382 и 480), а можетъ быть, еще на Кубани. *Боцяновскій*, Новый списокъ «Кавказскаго Плѣнника» — сборникъ «Памяти Леонида Николаевича Майкова», Спб. 1902, стр. 484—489. 4-го декабря 1820 г. Пушкинъ писалъ: «у меня еще поэма готова или почти готова» (тамъ же, 28). 23-го марта 1821 г.: «кончилъ я новую поэму «Кавказскій Плѣнникъ» (тамъ же, 28).

и бѣдствіямъ существованія[1]). У Пушкина находимъ довольно скудное выраженіе ея. Пушкинъ далъ въ своей поэмѣ «изображеніе молодого человѣка, потерявшаго чувствительность сердца (въ первыя лѣта своей молодости) въ какихъ-то несчастіяхъ, неизвѣстныхъ читателю; его бездѣйствіе, его равнодушіе къ дикой жестокости горцевъ и къ прелестямъ Кавказской дѣвы»[2]). Отсюда видно, что нашъ поэтъ въ то время еще не былъ знакомъ со всею ширью стремленій и идеаловъ Чайльдъ-Гарольда и самого его автора, который въ III и IV-й пѣсняхъ «Чайльдъ-Гарольда» выказалъ болѣе глубокое пониманіе жизни и горя, проникся болѣе благороднымъ вдохновеніемъ и который, слѣдовательно, не останавливался на тоскѣ въ силу преждевременнаго пресыщенія жизнью и не утратилъ чувствительности сердца. Въ этомъ отношеніи «Кавказскаго Плѣнника» можно скорѣе сближать—и г. Сиповскій сблизилъ—съ Шатобріановыми повѣстями объ «Атала» и «Ренэ»[3]). Но и это сближеніе, быть можетъ, не имѣетъ особаго значенія, потому что фабула «Кавказскаго Плѣнника» заимствована Пушкинымъ изъ разсказа одного его родственника[4]). Сверхъ того, надо считаться съ «La jeune Indienne» Champfort'a и съ трагедіей Вольтера, въ которой выступаетъ индіанка, предшественница Атала[5]). Во всякомъ случаѣ, уже въ

---

1) *W. A. Braun*, Types of Weltschmerz in german poets, New-Jork 1905.

2) Пер., I, 41.

3) Пушкинъ сталъ однако зачитываться Шатобріаномъ, повидимому, позднѣе; упоминанія о Шатобріанѣ въ «Евг. Он.» см. I, IX; II, XXXI, прим. 18; IV, 26; въ частности упоминаніе объ «Atala» въ его перепискѣ относится къ октябрю 1823 г. (Пер., I, 80). Замѣтимъ, что и Байронъ въ юности увлекался «Atala». См. выдержку изъ «Mémoires d'Outre-Tombe» въ *V. Giraud*, Chateaubriand, Par. 1904, p. 84—85. — Г. Морозовъ (Соч. и П. Пушкина, т. III, Спб., 1903, примѣч., 611—612) призналъ указаніе Сиповскаго на Шатобріана любопытнымъ, хотя типъ Ренэ выработанъ не однимъ Шатобріаномъ, а былъ намѣченъ романистами до него.

4) Нѣкоторые, впрочемъ, сомнѣваются въ томъ; см. Соч. П., прим., 480.

5) Слѣдъ знакомства Пушкина съ Champfort'омъ см. въ письмѣ къ кн. Вяземскому: Пер., I, 206. Впрочемъ, можетъ быть, то была ходячая фраза. У Шатобріана также встрѣчается она: Mais le public! Combien faut il de sots pour former un public? disait Champfort. Но см. еще «Евг. Он.» VIII, XXXV.

этой романтической поэмѣ Пушкинъ старался придерживаться реальной основы [1]), между прочимъ, и въ обрисовкѣ Плѣнника. Въ героѣ поэмы Пушкинъ, подобно Байрону, либо хотѣлъ выразить собственное настроеніе, либо внесъ его не вполнѣ сознательно, мимовольно. Потому-то былъ ему любъ его Плѣнникъ: «признаюсь, люблю его, самъ не зная за что», — писалъ поэтъ: «въ немъ есть стихи моего сердца» [2]). Вмѣстѣ съ тѣмъ Пушкинъ сознавался: «я не гожусь въ герои романтическаго стихотворенія» [3]). Это утвержденіе невѣрно, конечно, и въ поэму о «Кавказскомъ Плѣнникѣ» внесено не мало чертъ автобіографическихъ. Въ письмѣ поэта къ кн. Вяземскому, написанномъ въ первой половинѣ марта 1820 г., читаемъ: «Петербургъ душенъ для поэта; я жажду краевъ чужихъ; авось полуденный воздухъ оживитъ мою душу» [4]). Въ одной изъ рукописей «Кавказскаго Плѣнника», въ рѣчи послѣдняго, противъ стиховъ:

Безъ упованья, безъ желаній,
Я вяну жертвою страстей,

были набросаны сбоку стихи:

Я пережилъ мои желанья, и пр.,

выдѣленные потомъ въ особую элегію (изъ поэмы «Кавказъ») [5]). Далѣе, и Пушкинъ называлъ себя «безпечнымъ сыномъ природы» [6]):

И музу поэта... плѣнилъ нарядъ суровой
Племенъ, возросшихъ на войнѣ [7]).

Такимъ образомъ характеристика «Кавказскаго Плѣнника»

---

1) Ср. Соч. П., II, примѣч., 418.
2) Пер. I, 42.
3) Тамъ же, 36.
4) Тамъ же, 15.
5) Она помѣчена Каменкой 22 февраля 1821 г. — Соч. и П. А. С. Пушкина, ред. *Морозова*, III, 617, прим. 5, и I, 279 и 587.
6) Въ стих. «Къ моей чернильницѣ» — тамъ же, III, 670.
7) Соч. П., II, 255.

не разъ напоминаетъ не только западныхъ носителей міровой скорби, но и нашего поэта, напримѣръ, въ стихахъ:

. . . . . пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ...
. . . много милаго любилъ...
. . . . . друзьями окруженный,
Онъ съ ними шумно пировалъ,
. . . . . вѣрилъ..... надеждѣ
И упоительнымъ мечтамъ [1]).

Плѣнникъ въ первоначальномъ наброскѣ охарактеризованъ какъ «слабый питомецъ нѣгъ» [2]). Въ окончательной редакціи онъ также

. . . бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ.
Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ
И зналъ невѣрной жизни цѣну.
Въ сердцахъ друзей нашедъ измѣну,
Въ мечтахъ любви безумный сонъ,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступникъ свѣта, другъ природы,
. . . . въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы,

и

Европейца все вниманье
Народъ сей чудный привлекалъ [3]).

---

1) Соч. П., II, 240, 245.
2) Тамъ же, прим., 384.
3) Соч. П., II, 231. См. еще важное мѣсто въ «Евг. Он.» I, x.

Но другія подробности характеристики Плѣнника не такъ легко могутъ быть относимы къ самому поэту и скорѣе напоминаютъ типъ Ренэ и Чайльдъ-Гарольда. Это можно сказать, напримѣръ, о «души печальномъ хладѣ», до котораго не доходилъ Пушкинъ, и о слѣдующихъ чертахъ душевнаго состоянія Плѣнника: какъ и отъ героевъ типа Ренэ,

И вы, послѣднія мечтанья,
И вы сокрылись отъ него!...
Погасъ печальной жизни пламень...
И жаждетъ сѣни гробовой...[1])
Не могъ онъ сердцемъ отвѣчать
Любви младенческой открытой...[2])

А равно исповѣдь Плѣнника передъ Черкешенкой также заставляетъ вспомнить Ренэ:

Ты видишь слѣдъ любви несчастной,
Душевной бури слѣдъ ужасной...
.....умеръ я для счастья,
Надежды призракъ улетѣлъ...
Измучась ревностью напрасной,
Уснувъ безчувственной душой,
Въ объятіяхъ подруги страстной
Какъ тяжко мыслить о другой!...
Я вижу образъ вѣчно милый;
Его зову, къ нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю.
О немъ въ пустынѣ слезы лью;
Повсюду онъ со мною бродитъ
И мрачную тоску наводитъ
На душу сирую мою[3]).

1) Тамъ же, 232, 236.
2) Тамъ же, 244 и 234.
3) Тамъ же, 244, 246.

Къ тому же образу подходитъ стихъ, хорошо выражающій основную черту душевной жизни Плѣнника:

Одно унынье мой удѣлъ [1]),

а равно стихи:

. . . . . *и я сраженъ судьбою*
И *горе* сердца испыталъ [2]).

Но Плѣнникъ не подавленъ всецѣло своею судьбою. На это какъ-бы намекаетъ эпиграфъ поэмы, взятый изъ стихотворенія князя Вяземскаго о гр. Ѳ. И. Толстомъ:

Подъ бурей рока твердый камень,
Въ волненьяхъ страсти легкій листъ [3]).

Въ связи съ этимъ интересно упоминаніе въ концѣ поэмы о «воскресшемъ сердцѣ» Плѣнника [4]), который оказывается не вполнѣ разочарованною личностію. Эта упругость характера приближаетъ Плѣнника уже къ Чайльдъ-Гарольду. Еще въ большей степени ихъ сближаетъ присущее Плѣннику романтическое

---

1) Ст. 65-й II-й части по Чегодаевской рукописи, замѣненный потомъ тѣмъ, что стоитъ въ печатномъ текстѣ.

2) Ст. 141—142 по рукописи М. Соч. П., II, примѣч., 462—463. Очень хорошо подходитъ къ настроенію Ренэ и 2-я строфа «элегіи» изъ поэмы «Кавказъ» по рукописи:

Безмолвно жребію послушный,
Влачу страдальческій вѣнецъ,
Живу печальный, равнодушный
И жду: придетъ ли мой конецъ?

Соч. и П. П., ред. *Морозова*, I, 589.

3) «Понимаешь, почему не оставилъ его», — писалъ поэтъ кн. Вяземскому (Пер., I, 78). Ср. Соч. П., II, примѣч., 450. Ср. съ этимъ эпиграфомъ въ первоначальномъ наброскѣ и въ слѣдующемъ:

Въ минуты щастья — сынъ пировъ
Во дни гоненья — хладный камень (зачеркнуто «твердый»).

Соч. П., II, примѣч., 393, 396 и 450; цит. ст. г. *Боцяновскаго*, стр. 413.

4) Ст. 226-й II-й части; ср. въ Ч. рукописи (Соч. П., II, примѣч., 471):

Живыхъ надеждъ и силы полный.

въ Байроновомъ вкусѣ чувство природы и стремленіе къ свободѣ, обусловившее бѣгство его изъ міра родной гражданственности, которою онъ остался неудовлетвореннымъ:

Свобода! онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ[1]).

Онъ оставилъ отечество и, какъ другъ свободы, спѣшилъ въ далекій край, гдѣ надѣялся обрѣсти ее. Наконецъ, по замыслу поэта, Плѣнникъ приближался къ Чайльдъ-Гарольду и своимъ костюмомъ[2]).

Герой «Кавказскаго Плѣнника» отрекся было отъ «свѣта»; но неосновательно было бы въ силу такого разрыва его съ родиной утверждать, вмѣстѣ съ нѣмецкимъ писателемъ Weddigen'омъ[3]), что Пушкинъ — литературный предшественникъ нигилизма. Надлежащую точку зрѣнія на «Кавказскаго Плѣнника» установилъ самъ поэтъ. Онъ былъ не совсѣмъ доволенъ своимъ произведеніемъ тотчасъ же по окончаніи его[4]), и сужденіе Пуш-

---

1) Соч. П., II, 231. — Плѣнникъ (см. тамъ же, 236)

И бури немощному (немолчному?) вою
Съ какой-то радостью внималъ.

Ср. по рукописи М. (Соч. П., II, примѣч., 452):

(Любилъ онъ) вѣтровъ вой ужасной,
Любилъ и бури онъ красы.

См. еще въ первыхъ наброскахъ II-й части (тамъ же, 461):

(Глухихъ морей и вѣтровъ шумъ)
(Могучій вѣтровъ вольный шумъ).

Другія сближенія «Кавказскаго Плѣнника» съ «Чайльдъ-Гарольдомъ» см. у *Поливанова*: Соч. П., т. II, М. 1887, стр. 57 и сл.

2) На рисункѣ въ рукописи Чегодаевыхъ будущій Плѣнникъ предстаетъ въ пледѣ и шляпѣ: цит. ст. г. *Боцяновскаго*, стр. 473.—Подробныя сопоставленія «Кавказскаго Плѣнника» съ произведеніями Байрона см. въ книгѣ *Незеленова*, А. С. Пушкинъ въ его поэзіи, Спб. 1882, стр. 76—83.

3) Lord Byron's Einfluss auf die europäischen Litteraturen, Hannov. 1884, 115.

4) Пер., I, 28 и 31; ср. 308.

кина вѣрно: «Все это слабо, молодо, неполно[1]), но многое угадано и выражено вѣрно». Уже въ 1821 г. поэтъ признавалъ, что «характеръ Плѣнника неудаченъ». Въ 1828 г. онъ заявилъ, что «соглашается съ общимъ голосомъ критиковъ, справедливо осудившихъ характеръ Плѣнника, нѣкоторыя отдѣльныя черты и проч.». Дѣйствительно, Пушкинъ хотѣлъ изобразить, по его собственнымъ словамъ (см. выше), «равнодушіе къ жизни», но образъ мірового скорбника XIX-го в. очерченъ въ разсматриваемой поэмѣ еще блѣдно и неполно. Пушкинъ справедливо замѣтилъ въ началѣ 1830-хъ годовъ: «Кавказскій Плѣнникъ — первый неудачный опытъ характера, съ которымъ я наспу сладилъ». Этотъ отзывъ какъ нельзя лучше опредѣляетъ значеніе «Кавказскаго Плѣнника». Очевидно, поэтъ разумѣлъ тотъ характеръ, первую окончательную обрисовку котораго далъ въ «Евгеніи Онѣгинѣ».

Что до Черкешенки, то поэтъ писалъ о ней: «Черкешенка моя мнѣ мила, любовь ея трогаетъ душу. — Прелестная быль о Пигмаліонѣ, обнимающемъ холодный мраморъ, нравилась пламенному воображенію Руссо (и Шиллера»)[2]). Быть можетъ, эти слова даютъ право смотрѣть на Черкешенку, какъ на книжный до извѣстной степени образъ, навѣянный отчасти Руссо[3]). Но она — чудное дитя природы, и любопытно, что уже здѣсь намѣчена особенность, не разъ повторяющаяся въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Пушкина и вообще въ русской литературѣ: рядомъ съ героемъ ставится женщина, стоящая выше его по своимъ духовнымъ силамъ. «Дѣву горъ» Пушкинъ назвалъ своимъ «идеаломъ» («Евг. Онѣг.», I, LVII).

---

1) Чаадаевъ «вымылъ голову» поэту, находя, что Плѣнникъ «недостаточно blasé» (тамъ же, 68). Отмѣтимъ, что въ стих. «Къ моей чернильницѣ» (1821) Пушкинъ назвалъ Чаадаева «унылымъ»: Соч. и П. П., ред. *Морозова*, III, 670.

2) Пер., I, 42.

3) Объ окраскѣ, какую придалъ этому древнему сказанію Руссо, см. въ указанной выше статьѣ г. *Бокадорова*.—Могли повліять на Пушкина и изображенія идеальныхъ женскихъ фигуръ среди племенъ, близкихъ къ природѣ.

Наконецъ, къ косвенному вліянію Байрона можно бы отнести усиленное вниманіе поэта къ соблюденію мѣстнаго колорита въ изображеніи полуденной страны и нравовъ ея жителей; но Пушкинъ сознавалъ, что оказался далекимъ отъ этого образца. «Мѣстныя краски вѣрны,—писалъ онъ,—но понравятся ли читателямъ, избалованнымъ поэтическими панорамами Байрона и Вальтеръ-Скотта — я боюсь и напомнить объ нихъ своими блѣдными, тощими рисунками — сравненіе будетъ убійственно»[1]).

Представленный разборъ первой изъ такъ называемыхъ байроническихъ поэмъ Пушкина достаточно, кажется, уясняетъ, на сколько Пушкинъ явился уже въ ней истиннымъ и мощнымъ поэтомъ, исходя прежде всего изъ жизни своего общества и собственныхъ душевныхъ переживаній и подчиняя собственной идеѣ литературныя воздѣйствія, которымъ подпадалъ. Самыя эти воздѣйствія не сводились къ вліянію тѣхъ или иныхъ единичныхъ писателей, а основывались уже тогда на довольно широкомъ литературномъ образованіи, и потому не были односторонни. Плѣнникъ Пушкина можетъ быть сопоставляемъ въ частностяхъ съ поэтическими личностями того же рода у другихъ поэтовъ, но въ цѣломъ это образъ, самостоятельно выношенный въ сердцѣ и запечатлѣнный горячимъ молодымъ чувствомъ вдумчиваго поэта. Чайльдъ-Гарольдъ двухъ первыхъ пѣсней Байроновой поэмы могъ заронить въ умъ нашего поэта первую мысль объ эпическомъ объективированіи личности скорбника, но затѣмъ Пушкинъ самостоятельно развилъ эту мысль примѣнительно къ родной обстановкѣ и тому, что самъ переживалъ въ своей душѣ. Такимъ образомъ въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» общій европейскимъ литературамъ романтическій типъ мірового скорбника предстаетъ не въ заимствованныхъ извнѣ и туманныхъ, а въ болѣе или менѣе реальныхъ, хотя и блѣдныхъ очертаніяхъ.

Въ XVIII в. періодъ бурныхъ стремленій, а затѣмъ новая романтика въ ряду излюбленныхъ своихъ героическихъ образовъ вы-

---

1) Пер., I, 41.

двинула и личности, стоящія внѣ соціальныхъ правилъ, презирающія свѣтъ и людей, типы преступныхъ бѣглецовъ изъ общества, но только болѣе или менѣе идеализованные. Вниманіе Пушкина, по образцу Шиллера и Байрона, привлекли и эти исключительныя натуры, и опять—потому, что передъ поэтомъ выставила ихъ жизнь.

Въ годъ, когда былъ задуманъ «Кавказскій Плѣнникъ», Пушкину довелось во время путешествія на югъ увидѣть, какъ «два разбойника, закованные вмѣстѣ, переплыли черезъ Днѣпръ». Воображеніе поэта, романтически настроенное, углубилось въ судьбу этихъ людей и отыскало въ ней кое-что, могшее приблизить ихъ къ нашему участію. Братьевъ, ставшихъ разбойниками, къ тому склонила печальная ихъ доля: уже въ дѣтствѣ имъ

. . . . . жизнь была не въ радость;

они

. . . . . знали нужды гласъ,
Сносили горькое презрѣнье, . . .
. . . жили въ горѣ, средь заботъ.

Они бѣжали въ иную среду, гдѣ во всю ширь могла развернуться «на волѣ» «юность удалая»; тамъ

Живутъ безъ власти, безъ закона.

Ихъ

Душа рвалась къ лѣсамъ и къ волѣ,
Алкала воздуха полей.

Правда,

Опасность, кровь, развратъ, обманъ
Суть узы страшнаго семейства.
. . . Въ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть:
Она проснется въ черный день.

Но у Братьевъ Разбойниковъ, героевъ поэмы Пушкина, совѣсть просыпается раньше; у младшаго изъ нихъ довольно скоро разгорѣлись

Докучной совѣсти мученья:
Предъ нимъ толпились привидѣнья,
Грозя перстомъ издалека.

Старшій братъ, лишившись младшаго, унесеннаго смертью, влачился

.....угрюмый, одинокій.

Такимъ образомъ и въ «Братьяхъ Разбойникахъ», какъ и въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», романтически изображены бѣглецы изъ общества, и также повѣствованіе исходило изъ реальной основы [1]). Какъ и для «Кавказскаго Плѣнника», для «Братьевъ Разбойниковъ» подыскали соотвѣтственныя параллели въ поэзіи Байрона [2]), но при этомъ должны были сознаться, что и въ этомъ произведеніи Пушкина нѣтъ настоящаго подражанія, что «если русская природа Пушкина выразилась въ безпощадной послѣдовательности сочувственнаго изображенія зла [3]), то она же сказалась и въ другомъ»— въ воплѣ совѣсти въ душахъ Разбойниковъ [4]), въ ихъ боязни «Божія гнѣва».

Слѣдовательно, если Пушкинъ и былъ вовлекаемъ «dans les solitudes fantastiques et les cavernes du romantisme» [5]), по выраженію Мицкевича, то вмѣстѣ съ тѣмъ не отклонялся и отъ простой русской дѣйствительности и отъ природы русскаго народа.

Болѣе романтична и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе фантастична ткань поэмы о «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», задуманной, быть можетъ, также въ годы созданія «Кавказскаго Плѣнника» [6]). Согласно со

---

1) Пер., I, 86: «Истинное происшествіе подало мнѣ поводъ написать этотъ отрывокъ...». Онъ написанъ въ концѣ 1821 года.

2) *Незеленовъ*, 101: «поэма написана подъ несомнѣннымъ вліяніемъ «Корсара» и быть можетъ — «Шильонскаго Узника».

3) Быть можетъ, правильнѣе было бы сказать, что Пушкинъ раздѣлялъ народное воззрѣніе, по которому преступники — люди «несчастные».

4) *Незеленовъ*, 104.

5) Самъ Пушкинъ, признавалъ, что «какъ сюжетъ, c'est un tour de force, это не похвала, напротивъ». Пер., I, 78.

6) Въ письмѣ отъ 25 августа 1821 г. (Пер., I, 75) Пушкинъ назвалъ «Бахчисарайскій Фонтанъ» своею «новою поэмою».

стихотвореніемъ 1820 г. «Фонтану Бахчисарайскаго дворца» надо думать, что и въ поэмѣ о послѣднемъ

. . . .только сонъ воображенья
Въ пустынной мглѣ нарисовалъ
Свои минутныя видѣнья,
Души неясный идеалъ[1])

Собственное признаніе поэта позволяетъ, такимъ образомъ, открыть и въ этой поэмѣ, какъ и въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ»[2]), сильную струю субъективизма[3]) — въ восторженномъ изображеніи идеальной женской личности, о-бокъ съ которою сколь невзрачною кажется фигура героя поэмы, подобно тому, какъ и Плѣнникъ возбуждаетъ менѣе симпатіи, чѣмъ Черкешенка. Центральная фигура «Бахчисарайскаго Фонтана», конечно, Марія;

---

1) Соч. П., II, 214. Интересенъ варіантъ двухъ послѣднихъ стиховъ:

Души неясныя видѣнья
(Любви безумной) идеалъ.

Въ стих. «Желаніе» (1821 г.):

. . . . души моей мечты.

Ср. еще въ «Евгеніи Онѣгинѣ», I, LVII:

Бывало, милые предметы
Мнѣ снились, и душа моя
Ихъ образъ тайный сохранила:
Ихъ послѣ муза оживила, и т. д.

2) Къ сказанному выше прибавимъ вопросъ: не къ Ек. ли Н. Раевской относятся въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» упоминанія о безотвѣтной несчастной любви, о «тоскѣ любви безъ упованья» и т. п.?

3) Съ приведенными только что стихами сходятся упоминанія въ перепискѣ Пушкина: «многія мѣста относятся къ одной женщинѣ, въ которую я былъ очень долго и очень глупо влюбленъ» (Пер., I, 75); «я Вяземскому пришлю Фонтанъ, выпустивъ любовный бредъ,—а жаль!» (тамъ же, 76); «я выбросилъ то, что не хотѣлъ выставить передъ публикою» (тамъ же, I, 82). Причина, по которой были выброшены заключительныя строки «Фонтана», указаны въ предыдущемъ письмѣ: «роль Петраркн мнѣ не по нутру» (т. I, 75). См. еще Пер., I, 121: «чортъ дернулъ меня написать о Бахчисарайскомъ Фонтанѣ какія-то чувствительныя строки и припомнить тутъ же элегическую мою красавицу». Вопросъ о томъ, кто эта «элегическая красавица», не выясненъ біографіей Пушкина.

краски для изображенія ея дала любовь къ той, которая передала поэту печальную повѣсть, составившую канву всего произведенія. «Я суевѣрно перекладывалъ въ стихи разсказъ молодой женщины», — говоритъ Пушкинъ:

Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve[1]).

Объ этомъ-то первообразѣ Маріи и говорится въ концѣ поэмы:

Я помню столь же милый взглядъ
И красоту еще земную...
Всѣ думы сердца къ ней летятъ;
Объ ней въ изгнаніи тоскую...
Безумецъ, полно, перестань...
Мятежнымъ снамъ любви несчастной
Заплачена тобою дань.

Образъ Маріи — эта «дань» и является всецѣло созданіемъ нашего поэта, притомъ въ необычномъ для него стилѣ крайней идеализаціи: самъ Пушкинъ признался, что «роль Петрарки» ему «не по нутру»[2]). Правильнѣе было бы сказать, что въ изображеніи Маріи Пушкинъ невольно впалъ въ тонъ Данте, подобно нѣкоторымъ польскимъ поэтамъ того времени, сознательно подражавшимъ пѣвцу Беатриче:

---

1) Пер., I, 99.

2) Ср. «Евг. Онѣг.», I, LVIII:

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испыталъ.
Блаженъ, кто съ нею сочеталъ
Горячку рифмъ: онъ тѣмъ удвоилъ
Поэзіи священный бредъ,
Петраркѣ шествуя во слѣдъ,
А муки сердца успокоилъ,
Поймалъ и славу между тѣмъ;
Но я, любя, былъ глупъ и нѣмъ.

Что дѣлать ей въ пустынѣ міра?
Ужъ ей пора, Марію ждутъ,
И въ небеса, на лоно мира
Родной улыбкою зовутъ...
Промчались дни, Маріи нѣтъ.
Мгновенно сирота почила,
Она давно-желанный свѣтъ,
Какъ новый ангелъ, озарила [1]).

Въ обрисовкѣ поэта Марія, дѣйствительно, неземное созданіе:

Съ какою бъ радостью Марія
Оставила печальный свѣтъ!
Мгновенья жизни дорогія
Давно прошли, давно ихъ нѣтъ!

Это созданіе христіанскаго идеализма помѣщено поэтомъ въ совершенно чуждой обстановкѣ мусульманскаго Востока, равно очаровывавшаго Байрона и Пушкина [2]).

И между тѣмъ, какъ все вокругъ
Въ безумной нѣгѣ утопаетъ,
Святыню строгую скрываетъ
Спасенный чудомъ уголокъ.

Фономъ нарисованной поэтомъ чудной картины является

Волшебный край, очей отрада!

и ночи «роскошнаго Востока» [3]). Предъ нами жизнь гарема, за-

---

1) Ср. «Новую Жизнь» Данте.

2) Пушкинъ могъ увлекаться имъ подъ вліяніемъ Байрона. См. Пер., I, 207: «Байронъ такъ прелестенъ въ Гяурѣ, въ Абидосской Невѣстѣ и проч.».

3) Ср. подробную характеристику природы Крыма въ стих. «Желаніе» (1821 г.).

нимающаго видное мѣсто въ поэмѣ Пушкина[1]), какъ и въ нѣсколькихъ поэмахъ Байрона.

На этомъ фонѣ прямую противоположность Маріи съ ея «чистою душой» представляетъ Зарема, устами которой говоритъ

Языкъ мучительныхъ страстей.

А Маріи онъ

Невинной дѣвѣ непонятенъ.

Марія и Зарема — однѣ изъ выразительницъ Пушкинскаго идеала женщины. Эти образы «плѣнницъ береговъ Салгира»[2]) — «двѣ розы» «принесенныя» поэтомъ въ «даръ» «Фонтану любви», это «счастливыя мечты» поэта, по его собственному выраженію[3]). О Заремѣ не несправедливо говорятъ, что въ ней мелькаютъ уже знакомыя почитателямъ Байрона черты его героинь. Зарема напоминаетъ, между прочимъ, Гюльнару «Корсара». О послѣдней и Леилѣ, какъ объ особо-прекрасныхъ личностяхъ въ поэзіи Байрона, говорится въ письмѣ Пушкина къ Керн 8 декабря 1825 г.[4]). О Леилѣ Пушкинъ вспоминалъ и раньше—въ стихотвореніи «Гречанкѣ» (1822):

Скажи: когда пѣвецъ Леилы
Въ мечтахъ небесныхъ рисовалъ
Свой неизмѣнный идеалъ,
Ужъ не тебя ль изображалъ?

Въ тѣ годы броженія кипучихъ страстей въ поэтѣ Пушкину могли быть любы и эти образы, представлявшіе контрастъ

---

1) Въ «Критическихъ замѣткахъ», помѣщенныхъ въ «Денницѣ» Максимовича (1830 г.), Пушкинъ сообщилъ, что «Бахчисарайскій Фонтанъ» въ рукописи названъ былъ «Харемомъ». Ср. картину гарема въ «Абидосской Невѣстѣ».

2) «Евг. Онѣг.» I, LVII.

3) «Фонтану Бахчисарайскаго дворца».

4) Пер., I, 313: «c'est vous que je verrai dans Gulnare et dans Leilà — l'idéal de Byron lui-même ne pouvait être plus divin»; «Евг. Он.», IV, XXXVI, «пѣвцу Гюльнары подражая...»; въ той же главѣ упоминается и Леила, какъ и въ стих. 1830 г. («Заклинаніе» — о Ризничъ).

Маріи «Бахчисарайскаго Фонтана», — любы въ силу противорѣчій, которыми была полна жизнь его сердца:

Такъ сердце, жертва заблужденій,
Среди порочныхъ упоеній
Хранитъ одинъ святой залогъ,
Одно божественное чувство!

Романтиченъ и созданъ не безъ отраженія Байроновыхъ героевъ и образъ Гирея. Этотъ «грозный ханъ» былъ «повелитель горделивый» (съ «гордою душою»), но смирился предъ неземною красотою и душевной чистотою Маріи и, влюбившись въ нее,

. . . . . скучаетъ бранной славой,
Устала грозная рука.
. . . . . полонъ грусти умъ Гирея.

послѣ смерти Маріи

. . . снова въ буряхъ боевыхъ
Несется мрачный, кровожадный;
Но въ сердцѣ хана чувствъ иныхъ
Тайтся пламень безотрадный. . .
. . . . . и порой
Горючи слезы льетъ рѣкой.

Критика постаралась установить сходство и этого крымскаго хана съ героями «Гяура» и «Корсара» Байрона, обративъ вниманіе на скуку, которую испытываетъ Гирей, на то, какъ онъ пытался заглушить свое горе въ буряхъ битвъ и т. п., но не надо забывать основную идею поэмы, выразившуюся и въ Гиреѣ, — о великой силѣ идеальной любви, покорившей даже грознаго деспота татарина: Маріины

. . . . унынье, слезы, стоны
Тревожатъ хана краткій сонъ,
И для нея смягчаетъ онъ
Гарема строгіе законы.

Вообще идея о силѣ возвышенной любви, сообщающей новую прелесть жизни, занимаетъ видное мѣсто въ поэзіи Пушкина[1]), и, если возводить первые зародыши этой идеи къ иноземному вліянію, то можно говорить развѣ о Руссо.

Такимъ образомъ, отзвуки поэзіи Байрона слышатся лишь въ нѣкоторыхъ частностяхъ поэмы, главнымъ образомъ въ ея фонѣ, въ личности Заремы, которая не играетъ особо-видной роли. Основныя чувство и мысль, проникающія поэму, — всецѣло созданіе Пушкина, который «напечаталъ Фонтанъ, потому что деньги нужны», а писалъ его въ пламенномъ порывѣ идеально любившаго сердца, «единственно для себя»[2]).

Еще независимѣе отъ Байрона послѣдняя по времени изъ такъ наз. байроническихъ поэмъ Пушкина — «Цыганы»[3]), которую иные (напр., проф. Стороженко) считаютъ, однако, отразившею въ наибольшей степени вліяніе Байрона.

Здѣсь, какъ и въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», опять видимъ первобытный восточный народъ и среди него разочарованнаго европейца. Все значеніе поэмы сосредоточено не въ любовной его исторіи, а въ личности Алеко, въ переживаемыхъ имъ, или поэтомъ по поводу его, измѣненіяхъ воззрѣнія на міръ: любовная катастрофа — лишь исходный пунктъ этого измѣненія.

Герой поэмы отправился, какъ Чайльдъ-Гарольдъ, въ «добровольное изгнанье» и бросилъ, потому что ненавидитъ, — «неволю душныхъ городовъ»:

Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ;
Любви стыдятся, мысли гонятъ,

---

1) См. выше, стр. 190—195.

2) Пер., I, 101. Ср. выше.

3) Поэма начата еще въ Одессѣ въ декабрѣ 1823 г., между второю и третьею главами «Онѣгина», а закончена въ с. Михайловскомъ 10 октября 1824 г., какъ видно изъ письма къ кн. Вяземскому (Пер., I, 136).

Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей.

Въ этихъ мысляхъ Алеко, какъ и въ Плѣнникѣ, узнаемъ самого поэта [1]). Алеко бѣжитъ изъ общества, какъ Чацкій, но, въ отличіе отъ послѣдняго, это — личность, отягчившая свою совѣсть, и мы не можемъ уважать его, какъ уважаемъ Чацкаго. Его преслѣдуетъ законъ. И вотъ Алеко, вольнолюбивый герой, какъ и Кавказскій Плѣнникъ, и какъ самъ Пушкинъ [2]), очутился среди «смиренной вольности дѣтей», — среди народа, которымъ владѣетъ «привязанность къ дикой вольности»:

---

1) См. стих. В. В. Энгельгардту (1819):

Отъ суеты столицы праздной,
Отъ хладныхъ прелестей Невы,
Отъ вредной сплетницы Молвы,
Отъ скуки столь разнообразной,
Меня зовутъ холмы, луга, и т. д.

Ср. еще въ стихотв. «Всеволожскому» (1819):

Отъ мертвой области рабовъ, и проч.

Но здѣсь рекомендуется только удаленіе изъ круга большого свѣта, какъ и въ стих. «Князю А. М. Горчакову» (1819). Пушкинъ выражался и потомъ о городахъ весьма не лестно. Въ маѣ 1827 г.: «l'insipidité et la stupidité de nos capitales sont égales quoique diverses» (Соч. и П. П., ред. *Морозова*, VIII, 166). О «неволѣ Невскихъ береговъ» говорится и въ письмѣ 14 іюня 1827 г. (тамъ же, 167). См. еще въ письмѣ отъ 1 января 1828 г.: «le bruit et le tumulte de Pétersbourg m'est devenu tout-à-fait étranger» (тамъ же, 175);—26 ноября 1828: «я деревенскую жизнь очень люблю» (тамъ же, 183). Ср. еще въ письмѣ отъ 29 іюня 1831 г. къ П. А. Осиповой о проектѣ пріобрѣсти с. Савкино: «J'y bâtirais une chaumière, j'y mettrais mes livres et j'y viendrais passer quelques mois de l'année auprès de mes bons et anciens amis. Pour moi ce projet-là m'enchante et j'y reviens à tout moment» (тамъ же, 249). Ср. отзывы Гоголя о Петербургѣ въ годы до отъѣзда за границу.

2) Самъ Пушкинъ

За ихъ лѣнивыми толпами
Въ пустыняхъ, праздный, . . . бродилъ, и т. д.

См. Соч. и П. П., ред. *Морозова*, III, 235 и 628. Сл. еще «Е. Он.», VIII, v:

Она смиренные шатры
Племенъ бродящихъ посѣщала. . .

Какъ вольность, веселъ ихъ ночлегъ...
Все живо посреди степей...

Въ характеристикѣ этого народа поэтъ рѣзко отклоняется отъ народнаго воззрѣнія: цыганы де «отличаются передъ прочими большой нравственной чистотой; они не промышляютъ ни кражей, ни обманомъ; впрочемъ, они такъ же дики, такъ же бѣдны, такъ же любятъ музыку, занимаются тѣми же грубыми ремеслами»[1]).

Здѣсь люди вольны, небо ясно....
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все такъ живо — непокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной.

Алеко, презрѣвъ оковы просвѣщенья,

Теперь.... вольный житель міра...
.....изгнанникъ перелетный...
Ему вездѣ была дорога.

Его одолѣвала, какъ и Пушкина въ моментъ переселенія въ «край полуденной красы», «сердечна лѣнь»[2]); онъ любилъ

.....упоенье вѣчной лѣни.

Но, какъ самого поэта, такъ и Алеко

.....порой волшебной славы
Манила дальняя звѣзда;
Нежданно роскошь и забавы
Къ нему являлись иногда.....

---

1) Соч. П., ред. *П. А. Ефремова*, III, 27—28.
2) См. выше, а также въ стих. «Къ моей чернильницѣ» (1821):

Тебя я.....
И съ лѣнью примирилъ:
Она—твоя подруга.

И жилъ, не признавая власти
Судьбы коварной и слѣпой;
Но, Боже, какъ играли страсти
Его послушною душой!

Слѣдовательно, и къ нему примѣнимы стихи, изъ посланія кн. Вяземскаго къ Θ. И Толстому, предназначенные было въ качествѣ эпиграфа, которые поэтъ хотѣлъ прежде поставить эпиграфомъ къ «Кавказскому Плѣннику»:

Подъ бурей рока твердый камень,
Въ волненьяхъ страсти легкій листъ.

Сразу можетъ показаться, что это байроническій герой, который лишь не имѣетъ опредѣленнаго оригинала въ ряду образовъ, созданныхъ Байрономъ [1]), но было бы ошибочно остановиться на такомъ заключеніи. Основная мысль поэмы та же, какую нѣкогда проводилъ Руссо, вслѣдъ за которымъ пошелъ Байронъ, — о преимуществахъ жизни въ общеніи съ природой. Однако, хотя устами Алеко прославляется пріобрѣтаемый

...съ даромъ жизни дорогой
Неоцѣненный даръ свободы,

жизнь «на волѣ безъ уроковъ»:

Безмолвное здѣсь предразсужденья,

нѣтъ

.....ложныхъ нуждъ,
.....нѣгъ и пресыщенья,
И пышной суеты наукъ,
.....идола безумной чести,

счастье на цыганскій ладъ пришлось не по душѣ Алеко, и послѣдній выходитъ за предѣлы завѣтовъ байронизма. Напрасно отецъ Земфиры, которая

.....привыкла къ рѣзвой волѣ,

1) *Незеленовъ*, 163; *Zdziechowski*, 190.

ссылается въ оправданіе дочери на примѣръ ея матери Маріулы. Нѣтъ, я не таковъ, отвѣчаетъ Алеко. И, дѣйствительно, это—не герой въ духѣ Байрона. Это — Пушкинъ съ его страстной ревностью въ духѣ Отелло и въ то же время съ самоосужденіемъ. Земфира стоитъ за свободу чувства:

Умру любя!

Алеко же говоритъ:

Отъ правъ своихъ не откажусь,
Или хоть мщеньемъ наслажусь.

Старикъ цыганъ справедливо называетъ Алеко «гордымъ человѣкомъ», «безумцемъ молодымъ», котораго «тоска погубитъ», и становится на сторону Земфиры, такъ оправдывая удаленіе Алеко изъ табора:

Ты не рожденъ для дикой доли:
Ты для себя лишь хочешь воли.

Равнымъ образомъ и поэтъ признаетъ въ эпилогѣ, что для такихъ людей

. . . . . счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!...
И всюду страсти роковыя
И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Это заключеніе впадаетъ въ тонъ пессимизма, какъ и вообще въ поэмѣ есть и другія пессимистическія замѣчанія во вкусѣ Байрона[1]), вообще не частыя въ поэзіи Пушкина. Такимъ образомъ, протестъ Алеко, говорящаго:

---

1) Ср., напр., замѣчаніе Алеко:

Пѣвецъ любви, пѣвецъ боговъ!
Скажи мнѣ: что такое слава?
Могильный гулъ, хвалебный гласъ, и т. д.,

съ Childe Harold's Pilgrimage, I, xxxvi: Teems not each ditty with the glorious tale и проч., и Don-Juan, I, ccxviii.

Отъ общества, быть можетъ, я
Отъемлю нынѣ гражданина,

какъ-бы отклоняется поэтомъ въ пользу общества въ широкомъ смыслѣ этого слова, откуда дальнѣйшій шагъ долженъ былъ вести къ требованію исполненія скромныхъ обязанностей гражданина, отъ которыхъ обыкновенно отказывались. «Мнѣ жаль, — писалъ Пушкинъ 9 лѣтъ спустя,

.....что мы рукѣ наемной
Ввѣряя чистый свой доходъ,
Съ трудомъ въ столицѣ круглый годъ
Влачимъ ярмо неволи темной,
И что спасибо намъ за то
Не скажетъ, кажется, никто...
Что наши села, нужды ихъ
Намъ вовсе чужды; что науки
Пошли не въ прокъ намъ; что спроста
Изъ баръ мы лѣземъ въ tiers état [1]).

Покамѣстъ «Цыганы» показали, что индивидуализмъ, характеризующій вообще отрицаніе общественности XVIII и XIX вв., сталъ въ концѣ концовъ сомнительнымъ для Пушкина ко времени переѣзда его въ с. Михайловское.

Поэма вызвала множество толковъ, надоѣвшихъ поэту [2]). На ряду съ похвалами ему приходилось слышать отзывы, изобличавшіе непониманіе смысла его произведенія [3]) и запечатлѣннаго имъ поворота въ сторону отъ идеаловъ Байрона.

---

1) Соч. П., ред. *Ефремова*, III, 558—559.

2) Пер., I, 285: «объ ней (разумѣется здѣсь комедія) заговорятъ, а она мнѣ опротивитъ, какъ мои Цыганы, которыхъ я не могъ докончить по сей причинѣ».

3) Тамъ же, 252—253, 198, 212. — Жуковскій въ маѣ 1825 г. писалъ Пушкину: «Я ничего не знаю совершеннѣе по слогу твоихъ Цыганъ! Но, милый другъ, скажи, какая цѣль? Чего ты хочешь отъ своего генія? Какую память хочешь оставить о себѣ отечеству, которому такъ нужно высокое?» (тамъ же, 217).—«Ты спрашиваешь, какая цѣль у Цыгановъ? вотъ на! Цѣль поэзіи — поэзія, какъ говоритъ Дельвигъ» (тамъ же, 223).

V. Кончина Байрона была, вслѣдствіе такого поворота, встрѣчена нашимъ поэтомъ безъ особой печали. Въ его поэзіи она была помянута не такъ скоро, да и, повидимому, по почину кн. Вяземскаго. «Маленькое поминаньеце за упокой Байрона»[1] находимъ лишь въ стихотвореніи «Къ морю», написанномъ Пушкинымъ при отъѣздѣ на сѣверъ въ концѣ іюля 1824 г.[2]. Поэтъ «было и цѣлую панихиду затѣялъ, да скучно писать про себя—или справляясь въ умѣ съ таблицею умноженія глупости Брюкова, раздѣленнаго на Красовскаго»[3]. Пришлось ограничиться краткимъ, вскользь, упоминаніемъ объ «умчавшемся, какъ бури шумъ», «властителѣ нашихъ думъ» въ обращеніи къ морю, пѣвцомъ котораго былъ Байронъ; по словамъ Пушкина:

Исчезъ, оплаканный свободой,
Оставя міру свой вѣнецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о море, твой пѣвецъ.
Твой образъ былъ на немъ означенъ;
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могучъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ.
Міръ опустѣлъ....

Эти строки важны, какъ поэтическая, а не холодно-критическая, поминка Байрона, вылившаяся въ моментъ вдохновеннаго воспоминанія о «властителѣ думъ», какимъ былъ Байронъ для поколѣнія, къ которому принадлежалъ нашъ поэтъ, и для слѣдующаго. Превосходно передано впечатлѣніе, производимое поэзіею Байрона на великую поэтическую душу, сопоставленіемъ

1) Тамъ же, 136.

2) «Въ прощальный разлученья часъ», какъ говорится въ варіантѣ черновой.

3) Пер., I, 136. Иначе объясняетъ Пушкинъ свое молчаніе въ другомъ письмѣ, о которомъ см. ниже.

его съ океаномъ: оттѣнены мрачность [1]), постоянно бросавшаяся въ глаза Пушкину въ Байронѣ, и неукротимость — черты, въ которыхъ особенно выступаетъ отличіе британскаго поэта отъ нашего. Но въ моментъ написанія приведенныхъ стиховъ Байронъ уже не былъ «властителемъ думъ» Пушкина. О томъ свидѣтельствуетъ письмо послѣдняго къ кн. Вяземскому, высланное изъ Одессы за мѣсяцъ съ лишнимъ передъ тѣмъ: «тебѣ грустно по Байронѣ, а я такъ радъ его смерти, какъ высокому предмету для поэзіи. Геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостію... Твоя мысль воспѣть его смерть въ 5-й пѣсни его Героя прелестна — но мнѣ не по силамъ. — Обѣщаю тебѣ однакоже Вирши на смерть Его Превосходительства». Повидимому, Пушкина раньше плѣнялъ въ Байронѣ «пламенный Демонъ, который создалъ Гяура и Чайльдъ-Гарольда. Первыя двѣ пѣсни Донъ-Жуана выше слѣдующихъ». Затѣмъ «его поэзія видимо измѣнилась», «и первые звуки его уже ему не возвратились». Происходило претвореніе демона въ «другого поэта съ высокимъ человѣческимъ талантомъ» [2]).

Очевидно, уже Пушкинъ раньше наблюдалъ критически за этими перемѣнами въ творчествѣ Байрона и испытывалъ постепенное охлажденіе къ нему по мѣрѣ того, какъ отступалъ на задній планъ демоническій пѣвецъ Гяура, Чайльдъ-Гарольда, Донъ-Жуана въ его начальныхъ похожденіяхъ, и въ Байронѣ выдвигался иной поэтъ. Въ связи съ этимъ не безынтересно отмѣтить, что задолго до стих. «Къ морю» началъ меркнуть для нашего поэта и ореолъ демонизма. Это видно изъ стихотворенія «Демонъ», редактированнаго въ 1823 г., послѣ того, какъ окончательно вызрѣлъ замыселъ поэта, слагавшійся постепенно [3]),

---

1) И въ предисловіи къ изд. 1-й части «Онѣгина» 1825 г. Пушкинъ назвалъ Байрона «мрачнымъ».

2) Пер., I, 118.

3) Быть можетъ, къ «Демону» имѣетъ отношеніе стихотв. 1819 г., заключающее бесѣду съ демономъ (Соч. П., II, 68), какъ одинъ изъ первыхъ набросковъ замысла о бесѣдахъ поэта съ демономъ. Въ стих. «Демонъ» вошли и нѣ-

по мѣрѣ разростанія въ немъ демоническихъ порывовъ. Поэтъ явственно приписываетъ ихъ постороннему воздѣйствію [1]).

Если это вѣрно, то въ числѣ главныхъ будителей демонизма въ душѣ Пушкина надо поставить Байрона [2]), который казался Пушкину «пламеннымъ Демономъ въ Гяурѣ и Чайльдъ-Гарольдѣ», а также въ двухъ первыхъ пѣсняхъ Донъ-Жуана и его-то, съ такой же вѣроятностью, какъ и кого-нибудь иного [3]), могъ разу-

---

которые стихи, сохранившіеся въ рукописяхъ М. и Чегодаевской «Кавказскаго Плѣнника» (тамъ же, примѣч., 461). «Архивы ада» упоминаются въ одномъ изъ набросковъ 1821 г., гдѣ говорится о «бѣшеной любви» (Соч. П., ред. *Ефремова*, II, 535; ср. Соч. П., II, примѣч., 488). Ср. послѣднюю строфу въ наброскахъ 1822 г. «Красы Лаисъ ....» и, наконецъ, въ поэмѣ названной «Гавриліадой» (1822) (Соч. и П. П., ред. *Морозова*, III, 206):

Досель я былъ еретикомъ въ любви,
Младыхъ богинь безумный обожатель,
Другъ демона, повѣса и предатель.

Такимъ другомъ поэта въ «Онѣгинѣ» оказывается этотъ «угрюмый» герой романа (см. «Е. О.» I, II, XLV и XLVI и наброски къ этимъ строфамъ). О дополненіи къ стр. XLVI-й главы «Онѣгина», относимомъ г. Якушкинымъ къ «Демону», см. Соч. П., ред. *Ефремова*, т. VIII, 479.

1) См. выше стр. 192.

2) См. выше, стр. 314 прим. и 315. Краковскій профессоръ *Tretiak* также предполагаетъ, что въ стих. «Демонъ» разумѣлось воздѣйствіе I—II пѣсенъ «Донъ-Жуана», въ которыхъ Байронъ показался Пушкину уже демономъ (Mickiewicz i Puszkin jak bajroniści, Ateneum, Maj, 1899).

3) Объ А. Н. Раевскомъ см., между прочимъ, въ Русской Старинѣ 1899, № 5, записку графа П. Каниста. Князя П. А. Вяземскаго Пушкинъ нерѣдко называлъ Асмодеемъ (Арзамасское прозвище кн. Вяземскаго). Это находимъ въ перепискѣ 1817 (Пер., I, 7), 1823—1825 гг. (тамъ же, 74, 76, 82, 84, 116, 235 и 288). Вяземскій могъ послужить однимъ изъ русскихъ прототиповъ Онѣгина (см. выше, стр. 245 и прим.). Ср. характеристику Вяземскаго въ надписи «Къ портрету кн. П. А. Вяземскаго» (Соч. П., II, 212), гдѣ упомянута «язвительная улыбка» послѣдняго, и въ черновомъ наброскѣ посланія къ нему 1822 г.:

Язвительный поэтъ, острякъ замысловатый,
И блескомъ, и умомъ, и шутками богатый.

Должно отмѣтить, что и другія лица получали названія демона въ перепискѣ Пушкина См., напр., въ письмѣ отъ 3 ноября 1826 г. упоминаніе о спутникахъ: S. P. est mon bon ange, mais *l'autre* est mon démon». Интересенъ отвѣтъ княгини Вяземской: «A propos, vous avez si souvent changé d'objet, que je ne sais plus, qui est l'autre» (Пер., I, 379 и 384). Въ письмѣ 1830 г. къ неизвѣстной: «Sûrement vous êtes le démon, c'est-à-dire celui qui *doute* et *nie*, comme dit

мѣть поэтъ въ своемъ «Демонѣ», если послѣдній не былъ простымъ олицетвореніемъ «духа отрицанія или сомнѣнія», какъ истолковалъ его читателямъ самъ Пушкинъ.

Во всякомъ случаѣ это стихотвореніе, на ряду съ соотвѣтственными намеками въ другихъ произведеніяхъ Пушкина, является однимъ изъ наиболѣе ясныхъ указаній на душевные процессы, происходившіе въ поэтѣ въ годы, когда въ немъ началось усиленное броженіе, долженствовавшее предшествовать выработкѣ вполнѣ сознательнаго и устойчиваго міровоззрѣнія. Въ Пушкинѣ совершался процессъ, аналогичный тому, который нашъ поэтъ наблюдалъ въ Байронѣ, переводя Пушкина отъ демонизма къ болѣе человѣчному міровоззрѣнію. По словамъ Пушкина, Байронъ въ состязаніи съ демонизмомъ «остался хромъ»; нашъ же поэтъ попытался обойти эти трудности, послѣ того какъ хорошо извѣдалъ всю глубину пропастей «отрицанія или сомнѣнія», съ которыми отождествилъ демонизмъ[1]).

Несомнѣнно, что годы увлеченія Байрономъ совпали съ безвѣріемъ въ Пушкинѣ. Жуковскій обнималъ послѣдняго за «Демона», но писалъ 1-го іюля 1824 г.: «Къ черту черта! Вотъ пока твой девизъ. Ты созданъ попасть въ боги — впередъ. Крылья у души есть!... Прости, чертикъ, будь Ангеломъ»[2]). Это

---

l'Ecriture» (Соч. и П. П., ред. *Морозова*, VIII, 221). Въ письмѣ кн. С. Г. Волконскаго отъ 18 октября 1824 г. (Перен., I, 138) находимъ: «Посылаю я вамъ письмо отъ Мельмота... Неправильно вы сказали о Мельмотѣ, что онъ въ природѣ *ничего не благословляетъ*; прежде я былъ съ вами согласенъ, но по опыту знаю, что онъ имѣетъ чувства дружбы—благородной и неизмѣнной обстоятельствами». Интересенъ еще варіантъ къ Путешествію Онѣгина:

Мельмотомъ (злодѣемъ), квакеромъ, масономъ,
Иль доморощеннымъ Байрономъ,
Иль даже Демономъ моимъ.

Соч. П., ред. *Ефремова*, VIII, 514. Ср. «Е. О.» VIII, viii и xii.

1) Такъ было въ замѣткѣ, приготовленной Пушкинымъ для журналовъ по поводу толковъ о «Демонѣ». *Анненковъ*, А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, Спб., 1874, стр. 153. Ср. еще въ предыдущемъ примѣчаніи выдержку изъ письма 1830 г.

2) Пер., I, 113.

случилось, однако, не скоро. Еще въ мартѣ 1824 г. Пушкинъ писалъ: «беру уроки чистаго аѳеизма. Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но къ нещастію, болѣе всего правдоподобная»[1]). Нѣсколько позднѣе (1826 г.) Пушкинъ сознавался, что онъ былъ повиненъ въ моментъ высылки того письма въ безвѣріи[2]). Байронъ, наоборотъ, никогда не былъ атеистомъ, а сталъ лишь мало-по-малу скептикомъ, не доходившимъ однако до послѣднихъ выводовъ, потому что не былъ въ нихъ убѣжденъ. Это замѣтилъ потомъ и Пушкинъ; на первыхъ же порахъ на него произвелъ сильное впечатлѣніе скептицизмъ Байрона.

Почти во всѣхъ произведеніяхъ британскаго поэта поднимается мучительный вопросъ о томъ, что будетъ *тамъ*. Быть можетъ, подъ его вліяніемъ и Пушкина сильно заняла мысль о загробной жизни[3]), и онъ пытался разобраться въ этой загадкѣ, вникая въ увѣреніе поэтовъ[4]) и философскую аргументацію[5]). Долго онъ не могъ освободиться отъ колебаній; и еще въ «Анджело» (1833) находимъ стихи, вложенные въ уста Клавдіо, которые были выпущены по распоряженію императора Николая I, хотя не принадлежали всецѣло Пушкину:

---

1) Тамъ же, 103.

2) «Покойный императоръ, сославъ меня, могъ только упрекнуть меня въ безвѣріи» (Пер., I, 318); «покойный императоръ въ 1824 г. сослалъ меня въ деревню за двѣ строчки нерелигіозныя—другихъ художествъ за собою не знаю» (тамъ же, 321); «Его Величество исключивъ меня изъ службы приказалъ сослать въ деревню, за письмо, писанное года три тому назадъ, въ которомъ находилось сужденіе объ Аѳеизмѣ, сужденіе легкомысленное, достойное, конечно, всякаго порицанія» (тамъ же, 335).

3) См. выше стр. 316.

4) См. стих. 1822 г. «Люблю вашъ сумракъ...», напечатанное въ 1826 г. въ сокращеніи. Первоначальный рукописный текстъ см. въ Соч. и П. П., ред. *Морозова*, I, 623—624. Сопоставленіе его съ соотвѣтственнымъ мѣстомъ въ Childe Harold's Pilgrimage см. выше стр. 318.

5) Пер., I, 103, отрывокъ изъ письма изъ Одессы въ первой половинѣ марта 1824 г.: «Здѣсь Англичанинъ, глухой философъ, единственный умный Аѳей, котораго я еще встрѣтилъ. Онъ написалъ листовъ 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent, Créateur et régulateur, мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души».

Тамъ вѣрно не казнятъ...
Нѣтъ, нѣтъ: земная жизнь въ болѣзни, въ нищетѣ,
Въ печаляхъ, въ старости, въ неволѣ... будетъ раемъ
Въ сравненьи съ тѣмъ, чего за гробомъ ожидаемъ[1]).

Особенно безотрадно и пессимистично стихотвореніе «26 мая 1828 г.», гдѣ «умъ, сомнѣньемъ взволнованный», доходитъ до вопросовъ и отчаянія Байронова Каина[2]):

Цѣли нѣтъ передо мною:
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.

Но Пушкинъ не могъ остановиться на такомъ пессимизмѣ и сомнѣніяхъ: Байроновскій демонизмъ не давалъ выхода, какъ и индивидуализмъ. Не даромъ уже въ замѣткѣ по поводу «Демона» онъ писалъ, что «вѣчныя противорѣчія существенности рождаютъ сомнѣнье: чувство мучительное, но непродолжительное... Оно исчезаетъ...». Мало по малу исчезли и сомнѣнія Пушкина, быть можетъ, въ отличіе отъ Байрона, не занимавшагося философіею, путемъ изученія философскихъ системъ[3]), а также путемъ поэтическаго проникновенія въ высшія тайны жизни, которому, быть можетъ, научилъ его Байронъ.

Не на міровую только скорбь и на «вѣчныя противорѣчія существенности» натолкнула лирику Пушкина поэзія Байрона. Она сообщила нашему поэту политическія темы въ стихотворе-

---

1) Три послѣдніе стиха соотвѣтствуютъ Шекспировымъ въ «Measure for measure».

2) Выше, стр. 326, прим. 2. У Байрона: know what ever thou hast been something better not to be.

3) Въ замѣткѣ на одномъ изъ черновыхъ листковъ «Путешествія Онѣгина» читаемъ: «Ne pas admettre l'existence de Dieu, c'est être plus absurde, que ces peuples qui pensent du moins que le monde est fondé sur un rhinoceros». Соч. П., ред. *Ефремова*, т. VII, стр. 316, прим. Не касаемся здѣсь знакомства Пушкина съ философіею Шеллинга и др.

ніяхъ на борьбу народовъ Балканскаго полуострова за независимость[1]), о Наполеонѣ и въ «Анчарѣ». И, сверхъ того, нѣкоторые образы и темы въ стихотвореніяхъ Пушкина имѣютъ аналогію въ поэзіи Байрона[2]), но иные изъ нихъ были выдвинуты Пушкинымъ ранѣе знакомства его съ поэзіею Байрона[3]).

Въ общемъ надо признать, что байронизмъ отозвался въ лирикѣ Пушкина сравнительно еще слабѣе, чѣмъ въ эпикѣ, и въ связи съ этимъ не безынтересно отмѣтить, что нашъ поэтъ не перевелъ ни одного стихотворенія Байрона, хотя далъ переводы изъ другихъ поэтовъ и писалъ подражанія.

Для надлежащей оцѣнки силы байронизма въ поэзіи Пушкина необходимо указать еще, что вліяніе Байрона уравновѣшивалось другими, въ ряду которыхъ слѣдуетъ отмѣтить прежде всего увлеченіе французскимъ поэтомъ конца XVIII-го вѣка Андре Шенье[4]). «Никто болѣе меня не уважаетъ, не любитъ этого поэта», писалъ Пушкинъ въ 1823 г.[5]). Изъ Шенье хотѣлъ онъ взять въ 1825 г. и эпиграфъ для собранія своихъ стихотвореній[6]). Изъ Шенье есть заимствованія уже въ стихотвореніяхъ Пушкина 1820 и 1821 гг.[7]), а въ 1825 г. нашъ поэтъ писалъ[8]):

---

1) «Дочери Карагеоргія» 1820, «Война» 1821, «Возстань, о Греція» 1823. Впрочемъ Пушкинъ разочаровался довольно скоро въ грекахъ.

2) *Н. Ѳ. Сумцовъ*, Пушкинъ, Харьк., 1900, 174 и слѣд.

3) См., напр., Соч. П., II, 352.

4) Я. К. Гротъ утверждалъ, что Пушкинъ ознакомился съ А. Шенье впервые въ Крыму благодаря Н. Н. Раевскому («Первенцы Лицея»). Однако однимъ стихомъ Шенье Пушкинъ воспользовался въ стих. «Доридѣ», относящемся къ самому началу 1820 г. (Соч. П., II, 197 и примѣч., 301). Пушкинъ однимъ изъ первыхъ въ Россіи получилъ вышедшее къ тому времени изданіе посмертныхъ и др. стихотвореній А. Шенье и сразу увлекся «возвышеннымъ Галломъ».

5) «Но романтизма въ немъ нѣтъ еще ни капли»,—прибавилъ Пушкинъ (Пер., I, 83). Подобное же читаемъ и далѣе въ перепискѣ (123): «Никто болѣе меня не любитъ прелестнаго André Chenier. Но онъ изъ классиковъ классикъ—отъ него такъ и несетъ древней греческой поэзіей».

6) Пер., I, 192.

7) Сюда относится схема «Музы» 1821. Есть заимствованье изъ А. Шенье и въ стих. «Кинжалъ» 1821 г.

8) «Андрей Шенье».

Межъ тѣмъ какъ изумленный міръ
На урну Байрона взираетъ
И хору европейскихъ лиръ
Близъ Данте тѣнь его внимаетъ,
Зоветъ меня другая тѣнь,
Давно безъ пѣсенъ, безъ рыданій,
Съ кровавой плахи, въ дни страданій
Сошедшая въ могильну сѣнь.

Здѣсь интересно противоположеніе Байрона Андре Шенье въ симпатіяхъ поэта. Пушкинъ давно уже призывалъ молодыя силы къ гражданскому служенію и высказывалъ надежду на торжество новыхъ стремленій:

На обломкахъ самовластья
Напишутъ наши имена[1]).

Въ маѣ 1825 г. Рылѣевъ писалъ Пушкину: «ты можешь быть нашимъ Байрономъ, но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго Магомета не подражай ему», а осенью 1825 г. взывалъ къ Пушкину: «Будь поэтъ и гражданинъ»[2]). Гражданскіе идеалы поэзіи Шенье имѣли въ этомъ отношеніи рѣшающее значеніе, вновь усилив въ Пушкинскомъ творчествѣ политическую струю противорѣчившую байронизму: Шенье воспѣвалъ идеалы гражданской свободы, Байронъ—неограниченную свободу индивидуализма и страсти[3]).

Можно бы отмѣтить далѣе, что на ряду съ А. Шенье Пушкинъ вскорѣ началъ, подобно Байрону, зачитываться Библіею[4]), Шекспиромъ, Вальтеръ-Скоттомъ[5]) и т. д.

---

1) «Посланіе къ Чаадаеву», «Уединеніе» и «Деревня».
2) Пер., I, 216 и 299.
3) См. лекцію *В. В. Никольскаго:* «Пушкинъ и Андре Шенье».
4) Пер., I, 103, 149, 155.
5) Въ письмѣ конца октября 1824 г. (Пер., I, 207): «Conversations de Byron! Walter Scott! Это пища души».

Словомъ, байроническое разочарованіе съ его скорбными и мрачными возгласами, исполненными сомнѣнія и отчасти пессимизма, было лишь временнымъ и преходящимъ явленіемъ въ поэзіи Пушкина. На этомъ разочарованіи, скептицизмѣ и пессимизмѣ не могъ остановиться нашъ поэтъ — тѣмъ болѣе, что и въ годы наибольшаго увлеченія британскимъ поэтомъ Пушкинъ не поддавался всецѣло его вліянію: муза Пушкина не была лишь музою разочарованія, печали и гнѣва. Вліяніе Байрона не было даже такъ продолжительно, какъ обаяніе Вальтеръ-Скотта, окунувшаго нашего поэта въ болѣе здоровую поэзію, «дѣйствіе котораго ощутительно во всѣхъ отрасляхъ ему современной словесности»: вліяніе Байрона длилось, какъ болѣе или менѣе могучая сила, около четырехъ лѣтъ съ лишнимъ.

VI. Въ годы отъ второй половины 1824-го и до 1830-го Пушкинъ направлялся по новому пути творчества. Заупокойная литургія въ с. Михайловскомъ въ годовщину смерти Байрона, заказанная нашимъ поэтомъ не безъ свойственной ему шутливости[1]), была какъ-бы прощальнымъ похоронnымъ отпѣваніемъ идеаловъ байронизма, увлекавшихъ Пушкина въ предшествовавшіе годы. Послѣ того у него замѣчаемъ болѣе вѣрную и трезвую оцѣнку и личности Байрона, и его произведеній[2]).

Съ осени 1825 г. мало находимъ упоминаній о Байронѣ въ перепискѣ Пушкина[3]), хотя послѣдній ознакомился съ произве-

1) См. Пер., I, 202 и 204.

2) Слова Пушкина въ письмѣ къ Керн отъ 8 декабря 1825 г.: «Byron vient d'acquérir pour moi un nouveau charme, toutes ses heroïnes vont revêtir dans mon imagination des traits qu'on ne peut oublier. C'est vous que je verrai», и т. д. (см. выше стр. 334, прим. 3) — лишь красивая фраза для выраженія не восторга передъ Байрономъ, а любовнаго увлеченія. Рѣчь шла о присланномъ Керн экземплярѣ новаго изданія Байрона, касательно котораго находимъ просьбу Пушкина въ письмѣ къ А. Н. Вульфъ отъ 21-го іюля 1825 г. («N'oubliez pas la d-re éd. de Byron». Пер., I, 239). До того времени Пушкинъ прочелъ изъ «Донъ-Жуана» «первыя 6 пѣсенъ—другихъ не читалъ» (тамъ же, 196 и 286). Онъ требовалъ отъ брата въ письмѣ отъ 22 и 23 апрѣля 1825 г. высылки—6-й и слѣдующихъ пѣсенъ «Донъ-Жуана» (тамъ же, 207).

3) Послѣднее находимъ въ письмѣ 1835 г., къ которому относится и замѣтка о Байронѣ.

деніями британскаго поэта, ранѣе имъ не читанными. Нашъ поэтъ лишь вкратцѣ коснулся Байрона въ нѣсколькихъ журнальныхъ замѣткахъ, а въ своемъ творчествѣ лишь свелъ заключительные счеты съ типомъ, обрисовка котораго составила славу Байрона и который укоренился и въ русской поэзіи. Пушкинъ теперь изрѣдка слѣдовалъ внѣшней манерѣ творчества Байрона въ томъ или иномъ произведеніи [1]).

По мѣрѣ болѣе тщательнаго и критическаго изученія жизни Байрона и его произведеній, Пушкинъ отрѣшалъ его отъ его прежняго ореола. «Зачѣмъ жалѣешь ты о потерѣ записокъ Байрона? — писалъ Пушкинъ кн. Вяземскому въ сентябрѣ 1825 г. — Чортъ съ ними! Слава Богу, что потеряны. Онъ исповѣдался въ своихъ стихахъ невольно, увлеченный восторгомъ поэзіи. Въ хладнокровной прозѣ онъ бы лгалъ и хитрилъ, то стараясь блеснуть искренностію, то марая своихъ враговъ. — Его бы уличили, какъ уличили Руссо — а тамъ злоба и клевета снова бы торжествовали. Мы знаемъ Байрона довольно» [2]).

Въ февралѣ 1825 г. Пушкинъ еще не видалъ «Conversations de Byron», но уже говорилъ, что мемуары Fouché «очаровательнѣе Байрона» [3]). Чертами «сильнаго и сложнаго» характера британскаго поэта Пушкинъ призналъ «orgueil, haine, mélancolie»; въ общемъ его характеръ «sombre et énergique». О трагедіяхъ Байрона Пушкинъ былъ невысокаго мнѣнія, углубившись въ изученіе Шекспира [4]). «Донъ-Жуана» теперь онъ

---

1) «Графъ Нулинъ повѣсть въ родѣ Верро»: Пер., I 334. «Домикъ въ Коломнѣ». О томъ однако, что монологъ стараго барона въ «Скупомъ Рыцарѣ» напоминаетъ строфы VIII—X XII-й пѣсни «Донъ-Жуана», замѣтилъ Морозовъ: Соч. и П. П., III, 650.

2) Пер., I, 287. Объ «Онѣгинѣ» см. ниже.

3) Тамъ же, 178. Въ мартѣ 1825 г. Пушкинъ опять добивался присылки Conversations de Byron на ряду съ Mémoires de Fouché (тамъ же, 190).

4) Тамъ же, 248. Ср. въ замѣткѣ 1827 г.: «Англійскіе критики оспаривали у Лорда Байрона драматическій талантъ; они, кажется, правы. Байронъ, столь оригинальный въ Чайльдъ-Гарольдѣ, въ Гяурѣ и въ Донъ-Жуанѣ, дѣлается подражателемъ, какъ скоро вступаетъ на поприще драмы. Въ Манфредѣ онъ подражалъ Фаусту», и т. д. Соч. и П. П., ред. *Морозова*, т. VI, 260—261.

поставилъ на первое мѣсто. «Что за чудо Д. Ж.!.. это chef d'oeuvre Байрона»[1]), отличающійся «удивительнымъ, Шекспировскимъ разнообразіемъ». Поэтъ выводилъ «на сцену лицо, являющееся во всѣхъ его созданіяхъ и которое, наконецъ, принялъ онъ на себя въ Чайльдъ-Гарольдѣ». Въ «Корсарѣ» Пушкина плѣняла «очаровательная и глубокая поэзія»; въ Гяурѣ — «пламенное изображеніе страстей»; въ «Осадѣ Коринѳа», «Шильонскомъ Узникѣ» — трогательное развитіе сердца человѣческаго; въ «Паризинѣ» — «трагическая сила»; въ «Чайльдъ-Гарольдѣ» — «глубокомысліе и высота паренія». Но «Байронъ мало заботился о планахъ своихъ произведеній, или даже вовсе не думалъ о нихъ. Нѣсколько сценъ, слабо между собою связанныхъ, было ему достаточно для бездны мыслей, чувствъ и картинъ»[2]). Описаніе самого себя Пушкинъ считалъ характернымъ признакомъ байроничанья въ поэзіи[3]).

Нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1835 г., Пушкинъ высказался еще рѣшительнѣе въ томъ же направленіи. «Главными признаками характера» Байрона Пушкинъ призналъ «горечь, раздражительность», его достоинствами — «смѣлую предпріимчивость, великодушіе, благородство чувствъ», а недостатками — «необузданныя страсти, причуды и дерзкое презрѣніе къ общему мнѣнію; много перенялъ онъ у своего страннаго дѣда въ его обычаяхъ; и нельзя не согласиться въ томъ, что Манфредъ и Лара напоминаютъ уединеннаго Ньюстидскаго барона. Говорятъ, что Байронъ своею родословною дорожилъ болѣе, нежели своими твореніями»[4]). Но онъ «продавалъ очень хорошо свои стихотворенія»[5]).

Пушкинъ по прежнему особо чтилъ «Чайльдъ-Гарольда». Онъ писалъ въ 1830-мъ г.: «Мысль, что шутливую пародію

---

1) Пер., I, 286.
2) См. замѣтку 1827 г. о Байронѣ. Соч. и П. П., ред. *Морозова*, VI, 259.
3) Пер., I, 314.
4) «Лордъ Байронъ» 1835 г.
5) «Несмотря на великія преимущества...» 1835.

можно принять за неуваженіе къ великой и священной памяти также удерживала меня. Но Child Harold стоитъ на такой высотѣ, что какимъ бы тономъ о немъ ни говорили, мысль оскорбить его не могла во мнѣ родиться»[1]). Въ 1835 г. Пушкинъ перевелъ прозой $3^1/_2$ строфы изъ посвященія «Чайльдъ-Гарольда»: «Къ Зантѣ».

Тѣмъ не менѣе, въ годы съ 1826-го онъ, очевидно, смотрѣлъ на «скептическую поэзію Чайльдъ-Гарольда» такъ, какъ высказался въ 1827-мъ: «Байронъ бросилъ односторонній взглядъ на міръ и природу человѣческую, потомъ отвратился отъ нихъ и погрузился въ описаніе самого себя, въ коемъ онъ поэтически создалъ и описалъ единый характеръ (именно свой)[2]); все, кромѣ... etc., отнесъ онъ къ сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно плѣнительному. Онъ представилъ намъ свой призракъ».

Онъ создалъ себя вторично, то подъ чалмой ренегата, то въ плащѣ Корсара, то издыхающимъ подъ схимой, то странствующимъ посреди...».

Понявъ всѣ односторонности и недостатки байронизма, Пушкинъ пошелъ дорогою, во многомъ прямо противоположною его прежнимъ путямъ.

Уже въ іюлѣ — августѣ 1825 г. онъ писалъ: «Я чувствую, что моя душа совсѣмъ развернулась, я могу творить»[3]).

Сейчасъ же послѣ увлеченія Байрономъ онъ создалъ образъ Пимена, въ которомъ «собралъ черты, плѣнившія въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ: умилительная кротость, младенческое и вмѣстѣ мудрое простодушіе, набожное усердіе къ власти Царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетности»[4]).

Направившись въ сторону родныхъ идеаловъ, Пушкинъ на-

---

1) Соч. и П. П., ред. *Морозова*, VI, 434—435.
2) Ср. выше, въ письмѣ 1825 г. къ Н. Н. Раевскому (Пер., I, 248).
3) Тамъ же, 249.
4) Соч. и П. П., ред. *Морозова*, VIII, 174.

чалъ обнаруживать поворотъ и въ своемъ нравственномъ существѣ и во взглядахъ на окружающую жизнь.

Въ Пушкинѣ съ большею силою, чѣмъ прежде, начало пробуждаться нравственное сознаніе, не вполнѣ дремавшее въ эпоху увлеченія байронизмомъ.

Въ наброскахъ 1822 г. найдены стихи, изобличающіе такое сознаніе:

Красы Лаисъ, завѣтные пиры
И клики радости безумной,
И мирныхъ музъ минутные дары,
И лепетанье славы шумной...
Разоблачивъ плѣнительный кумиръ,
Я вижу призракъ безобразный [1]).

Вѣроятно, и къ самому поэту могутъ быть отнесены стихи:

Кто чувствовалъ, того тревожитъ
Призракъ невозвратимыхъ дней —
Тому ужъ нѣтъ очарованій,
Того змія воспоминаній,
Того раскаянье грызетъ [2]).

То нравственное сознаніе грѣха, на которое иностранная критика обратила вниманіе въ русской литературѣ, встрѣчается уже у Пушкина, напр., въ его собственныхъ мимолетныхъ признаніяхъ и въ его Татьянѣ.

Примиреніе съ жизнью и ея законами коренилось еще въ вольтерьянствѣ Пушкина. Теперь оно получило новое осмысленіе, и въ началѣ 1830-хъ годовъ Пушкинъ, вопреки Руссо и Байрону, писалъ одному пріятелю: «Il n'est de bonheur que dans les voies

---

1) Тамъ же, I, 335. Слѣдующій набросокъ г. Морозовъ (стр. 641) сопоставляетъ со строфою 166 II-й пѣсни «Донъ-Жуана».

2) «Е. О.», I, xlvi. См. далѣе VIII, iii: «И я, въ законъ себѣ вмѣняя, Страстей единый произволъ...».

communes»[1]). Подобно Вольтеру и Гёте, Пушкинъ замѣтилъ: «Il n'est rien de plus sage que de rester dans son village et d'arroser ses choux»[2]). Заключительнымъ аккордомъ поэзіи Пушкина въ этомъ отношеніи является мечта, нѣсколько подобная той, которою заканчивается Гётевскій «Фаустъ»:

На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мнѣ доля,
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ[3]).

Эти строки написаны незадолго до кончины Пушкина, и интересно сопоставить ихъ со стихотвореніемъ Байрона, вылившимся приблизительно въ томъ же возрастѣ и также относящимся къ послѣднему моменту его творческой дѣятельности и прохожденія земного поприща[4]). Усталость слышится въ рѣчи того и другого поэта, но у Пушкина не замѣчается Байроновской безнадежности, прощанія съ жизнью и тщеславія, «позы и сцены»; напротивъ, нашъ поэтъ помышлялъ о новыхъ, очевидно, литературныхъ «трудахъ» на ряду съ «чистыми нѣгами». Не касаемся различій обстановки, въ которой возникли оба произведенія,—семейной у Пушкина и полной браннаго шума у Байрона.

Помимо несходства характеровъ въ данномъ случаѣ сказались и коренныя различія міровоззрѣнія, какъ оно сложилось у обоихъ поэтовъ къ концу ихъ жизни. Нашъ поэтъ превозмогъ одолѣвшее его разочарованіе силою нравственныхъ устоевъ и, между прочимъ, чисто русскимъ мистицизмомъ, который такъ не нравится западнымъ критикамъ въ родѣ Цабеля, словомъ, тою русскою духовною силою, которая такъ ярко выразилась и

---

1) Соч. и П. П., ред. *Морозова*, VIII, 235.

2) Тамъ же, 278.

3) Стих. *** Къ женѣ. 1836. — О «вольности и покоѣ», какъ о «замѣнѣ счастью», отрицательно говоритъ Онѣгинъ въ письмѣ къ Татьянѣ («Е. О.», VIII, xxxii). Ср. подобныя же мечты Татьяны и «Е. О.», I, lv.

4) On this day I complete my thirty sixth year.

въ Пушкинѣ и неразрывно связана съ народностію и съ ожиданіемъ

Тѣхъ чудесъ, что, можетъ быть,
Намъ, въ расцвѣтѣ нашемъ полномъ,
Суждено еще явить!

Въ этомъ отношеніи вѣрны слова Герцена, что Пушкинъ является представителемъ въ высочайшей степени богатства и глубины русской натуры.

Великіе поэты Запада времени Пушкина, Шатобріанъ и Байронъ не нашли выхода въ своемъ обществѣ и излюбленныхъ своихъ героевъ выставили бѣглецами изъ родной земли. Байронъ окончательно выработалъ и упрочилъ въ литературѣ типъ разочарованнаго странника по свѣту, испытывающаго душевный разладъ, — типъ, намѣченный въ жизни и поэзіи уже Ленцемъ, а затѣмъ отчасти Шатобріаномъ. И Шатобріанъ, и Байронъ направили своихъ излюбленныхъ героевъ, Ренэ и Чайльдъ-Гарольда, на чужбину, правда — поэтическую и прекрасную, но все же далекую отъ горя и нуждъ родной земли. То былъ печальный исходъ. И какъ ни очаровывали Шатобріанъ и Байронъ красотою обстановки, въ которую ставили своихъ героевъ, высокимъ подъемомъ чувства, красотою и реторикою страсти, они не могли всецѣло завладѣть воображеніемъ и мыслью нашего поэта, и Пушкинъ поднялся выше этихъ своихъ великихъ современниковъ въ попыткѣ разрѣшенія мучительной проблемы своего вѣка, какъ и вообще онъ выше ихъ полною правдивостію и соблюденіемъ мѣры въ своемъ творчествѣ, а также его положительностію.

Въ изображеніе разочарованной души Пушкинъ, по сравненію съ западными поэтами, внесъ значительную отмѣну. Во 1-хъ, въ пониманіе «современнаго человѣка» Пушкинъ привнесъ отчетливое указаніе на связь его настроенія съ безотрадными условіями общественности съ одной стороны и съ тѣми обще-европейскими интеллектуальными и моральными теченіями, которыя со-

ставляли духовную пищу такихъ личностей. Во 2-хъ, нашъ поэтъ отнесся весьма критически къ модному герою (даже въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», затѣмъ въ «Цыганахъ» и въ особенности въ «Онѣгинѣ»), чего почти не находимъ у поэтовъ Запада. Такая критика была въ высшей степени важна, потому что не можетъ же жизнь остановиться на отрицательномъ созерцаніи міра, что́ и созналъ Пушкинъ. Развѣнчать байронизмъ такъ, какъ то сдѣлалъ Пушкинъ, могъ только великій умъ, а послѣ него было уже легко слѣдовать далѣе по тому же пути. Наконецъ, у Пушкина была не только тщательно изучена и продумана «скорбь вѣка», но былъ возвѣщенъ и выходъ изъ нея. Потому Пушкинъ — не только отрицательный поэтъ, но и положительный, и въ этомъ отношеніи нашъ поэтъ приблизился къ величайшимъ нѣмецкимъ поэтамъ не только начала, но и всего XIX вѣка, — Гёте и Шиллеру, сколь ни сравнительно слабо было вліяніе ихъ на Пушкина.

Всѣ отмѣченныя только что поэтическія заслуги его выступаютъ со всею отчетливостію въ «Онѣгинѣ» — поэмѣ, начатой въ годы увлеченія Байрономъ и законченной, когда стала окончательно вызрѣвать мысль нашего поэта послѣ законченныхъ счетовъ съ «легкой юностью». Оглянувшись на протекшіе дни ея,

Довольно! — писалъ Пушкинъ — Съ ясною душою
Пускаюсь нынѣ въ новый путь
Отъ жизни прошлой отдохнуть. —
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ! [1]).

На этомъ пути предлежало прежде всего покончить, между прочимъ, съ новою попыткою изображенія «современнаго человѣка», намѣченнаго западно-европейскими поэтами, въ томъ числѣ и Байрономъ.

Съ формальной стороны эта новая попытка была предпринята также не безъ вліянія примѣра Байрона — вѣдь и задумана она была на берегахъ Тавриды, гдѣ впервые со всею силою вы-

1) «Е. О.», VI, XLV.

ступило въ поэзіи Пушкина увлеченіе Байрономъ [1]). Самъ Пушкинъ заявлялъ въ 1823 г., что «Онѣгинъ» писанъ имъ «въ родѣ Донъ-Жуана» [2]); «пишу новую поэму Евгеній Онѣгинъ, гдѣ захлёбываюсь желчью» [3]). Но потомъ (въ мартѣ 1825 г.) нашъ поэтъ отстранялъ это сближеніе: въ «Донъ-Жуанѣ», говорилъ онъ, «нѣтъ ничего общаго съ Онѣгинымъ. Гдѣ у меня сатира? о ней и помину нѣтъ въ Евгеніи Онѣгинѣ. Если уже и сравнивать Евгенія Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ, то развѣ въ одномъ отношеніи: кто милѣе и прелестнѣе (gracieuse), Татьяна, или Юлія» [4]). Въ этомъ отреченіи отъ связи съ Донъ-Жуаномъ Пушкинъ былъ не совсѣмъ правъ. Пріемы творчества, рѣзко выступившіе въ знаменитой поэмѣ Байрона, не разъ отзываются въ «Онѣгинѣ», да и самъ этотъ герой романа не чуждъ донъ-жуанству и демонизму Донъ-Жуана, имѣя также и кое-что чайльдъ-гарольдовское [5]). Въ началѣ это — настоящій міровой скорбникъ, пропитанный байронизмомъ, хотя поэтъ и называетъ его «странность» «неподражательною» [6]).

Я сталъ взирать его очами;
Открылъ я жизни бѣдной кладъ,
Въ замѣну прежнихъ заблужденій,
Въ замѣну вѣры и надеждъ
Для легкомысленныхъ невѣждъ [7]).

---

1) Соч. П., ред. *Морозова*, VIII, 404 — письмо 1836 г., гдѣ говорится о Крымѣ: «Votre lettre a reveillé en moi bien des souvenirs de tout genre: c'est le berceau de mon Онѣгинъ, et vous avez sûrement reconnu certains personnages».

2) Пер., I, 83—84.

3) Тамъ же, 91.

4) Тамъ же, 196. — Рылѣевъ писалъ Пушкину раньше объ «Онѣгинѣ»: «Быть можетъ, въ слѣдующихъ мѣстахъ онъ будетъ одного достоинства съ Донъ-Жуаномъ» (тамъ же, 188). — Въ предисловіи къ I-й части «Онѣгина», Спб. 1825 г., сдѣлано иное сближеніе: «Первая глава представляетъ нѣчто цѣлое. Она въ себѣ заключаетъ описаніе свѣтской жизни петербургскаго молодого человѣка въ концѣ 1819 г. и напоминаетъ Беппо, шуточное произведеніе мрачнаго Байрона».

5) См. выше, стр. 322; въ настоящемъ этюдѣ сообщаемъ дополнительныя данныя.

6) «Е. О.» I, XLV.

7) «Е. О.», набросокъ къ XLV-й строфѣ I-й главы.

Онѣгинъ началъ юную жизнь какъ Донъ-Жуанъ:

...въ чемъ онъ истинный былъ геній,
Что зналъ онъ тверже всѣхъ наукъ,
Что было для него измлада
И трудъ, и мука, и отрада,
Что занимало цѣлый день
Его тоскующую лѣнь, —
Была наука страсти нѣжной, и т. д. [1]).

Потомъ

... рано чувства въ немъ остыли;
Ему наскучилъ свѣта шумъ;
Красавицы недолго были
Предметъ его привычныхъ думъ, и т. д. [2]).

Но и ушедъ отъ мятежной власти страстей,

Онѣгинъ говорилъ объ нихъ
Съ невольнымъ вздохомъ сожалѣнья [3]).

Какъ оказалось, и теперь онъ былъ не прочь приволокнуться, но вообще онъ постепенно сталъ превращаться въ байрониста и въ частности напоминать Чайльдъ-Гарольда.

Самъ поэтъ въ одномъ изъ примѣчаній къ I-й главѣ «Онѣгина» отмѣтилъ въ своемъ героѣ «черту охлажденнаго чувства, достойную Чайльдъ-Гарольда» [4]).

Онъ въ первой юности своей
Былъ жертвой бурныхъ заблужденій
И необузданныхъ страстей.

Въ немъ было роптанье вѣчное души.

---

1) «Е. О.», I, XIII, XIV.
2) «Е. О.», I, XXXVII.
3) «Е. О.», II, XVII.
4) «Е. О.», IV, X.

Вотъ какъ убилъ онъ восемь лѣтъ,
Утратя жизни лучшій цвѣтъ, и т. д. [1]).

Не станемъ продолжать характеристику Онѣгина и отсылаемъ къ словамъ самого поэта, слишкомъ хорошо всѣмъ извѣстнымъ. Отмѣтимъ лишь, что этотъ «холодный» «бѣглецъ людей и свѣта», «отшельникъ праздный и унылый», съ «душою полной сожалѣній» [2]), имѣлъ въ своемъ кабинетѣ «лорда Байрона портретъ» [3]).

Въ постелѣ лежа, нашъ Евгеній
Глазами Байрона читалъ [4])...
Хотя мы знаемъ, что Евгеній
Издавна чтенье разлюбилъ;
Однакожъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ:
Пѣвца Гяура и Жуана, и проч. [6]).

Татьяна, внимательно разсмотрѣвъ читанныя Онѣгинымъ книги и отмѣтки на ихъ поляхъ его карандаша, начинаетъ понемногу понимать

Теперь яснѣе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной...
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ,
Ужъ не пародія ли онъ?

---

1) Да и Татьяна говоритъ («Е. О.», VIII, viii): «Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ... Гарольдомъ...?»

2) «Е. О.», IV, ix.

3) «Е. О.», V, xxxvii; VI, xlii; VII, v; I, xlviii. Ср. VII, xxii: «уже ли подражанье: Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ?»

4) «Е. О.», VII, xix.

5) «Е. О.», III, строфа, долженствовавшая слѣдовать за v-й, но не вошедшая въ романъ.

6) «Е. О.», VII, xxv.

Ужель загадку разрѣшила?
Ужели *слово* найдено? [1])

Повидимому, поэтъ не склоненъ былъ судить такъ строго, какъ Татьяна, этого «чудака», какимъ, подобно ей, онъ называетъ Онѣгина [2]); онъ считаетъ Онѣгина, какъ и Ленскаго, «полу-русскимъ героемъ» [3]).

Признавъ, что причину недуга, овладѣвшаго Евгеніемъ, подобнаго англійскому сплину, но имѣющаго у насъ свою кличку хандры,

Давно бы отыскать пора [4]),

Пушкинъ выдвинулъ въ поэмѣ рядъ данныхъ въ объясненіе этого «недуга», общаго нашимъ интеллигентамъ начала XIX-го вѣка съ англичанами. Эти данныя почерпнуты какъ изъ жизни Онѣгина, такъ и изъ жизни современнаго ему образованнаго русскаго общества.

Уже въ началѣ романа, наряду съ изображеніемъ донъ-жуанства Онѣгина, говорится, что Евгенію

. . . . . трудъ упорный
. . . . . былъ тошенъ . . . .

«Преданный бездѣлью», Онѣгинъ «томился душевной пустотой» [5]).

---

1) Тамъ же, XXIV—XXV.

2) Тамъ же мнѣніе Татьяны объ Онѣгинѣ: «Чудакъ печальный и опасный»; VIII, VIII: «Иль корчитъ также чудака?». Мнѣніе молодой горожанки, VI, XLII: «пасмурный чудакъ»; VII, LV — мнѣніе поэта: «множество причудъ». Въ концѣ романа Пушкинъ («Е. О.», VIII, L) назвалъ Онѣгина «спутникомъ страннымъ».

3) «Е. О.», VII, вар. къ LV-й строфѣ. Ср. замѣтку *Утеца:* «Столѣтній юбилей перваго русскаго романа» (Нов. Вр. 1900, № 8841) и его же: «Предокъ Евгенія Онѣгина» (тамъ же, № 8810).

4) «Е. О.», I, XXXVIII.

5) «Е. О.», I, XLII, XLIV.

Въ концѣ также читаемъ:

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ
До двадцати шести годовъ,
Томясь въ бездѣйствіи досуга,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не умѣлъ,

и все ему на свѣтѣ надоѣло [1]).

Авторы, которыхъ сравнительно-охотно читалъ Евгеній и которые перечислены поэтомъ, очевидно, только поддерживали безотрадное настроеніе пресыщеннаго жизнью и разочарованнаго человѣка, жившаго западными идеями и болѣе или менѣе поверхностно знакомаго съ модными теченіями. Онѣгинъ могъ

Вести и мужественный споръ
О Байронѣ и Бенжаменѣ,
О карбонарахъ, о Парни,
Объ генералѣ Жомини [2]).

Кромѣ Байрона, Онѣгинъ «изъ опалы исключилъ»

. . . . . еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно, и т. д. [3]).

Отрекшись вновь отъ свѣта,

Сталъ вновь читать онъ безъ разбора.
Прочелъ онъ Гиббона, Руссо,

---

1) «Е. О.», VIII, XII—XIII.
2) «Е. О.», I, набросокъ къ стр. V.
3) «Е. О.», VII, XXII. Небезынтересно привести и набросокъ къ этимъ стих.:

Юмъ, Робертсонъ, Руссо, Мабли,
Баронъ д'Ольбахъ, Вольтеръ, Гельвецій,
Локкъ, Фонтенель, Дидротъ, Парни,
Горацій, Цицеронъ, Лукрецій.

Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочелъ скептическаго Беля,
Прочелъ творенья Фонтенеля,
Прочелъ изъ нашихъ кой-кого,
Не отвергая ничего [1]).

Къ сожалѣнію, какъ это видно изъ только что приведенной строфы, чтеніе, вслѣдствіе плохого воспитанія Онѣгина, происходило «безъ разбора» и строгаго обдумыванья, и, вѣроятно, и къ Онѣгину можно отнести замѣчаніе поэта:

Мы алчемъ жизнь узнать заранѣ,
И узнаемъ ее въ романѣ [2]).

Но главною причиною безотраднаго чудачества поэтъ считалъ, повидимому, то, что тогдашній «современный человѣкъ» и на Западѣ, и у насъ отличался

. . . . . безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
. . . . озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ [3]).

Къ этому надо прибавить чисто-рýсскія особенности среды, въ которой «мода обветшалая» «морочитъ свѣтъ», по замѣчанію Татьяны. Возражая ей, защитникъ Онѣгина говоритъ:

Зачѣмъ же такъ неблагосклонно
Вы отзываетесь о немъ?
За то-ль, что мы неугомонно

1) «Е. О.», VIII, xxxv.
2) «Е. О.», I, ix.
3) «Е. О.», VII, xxii.

Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,
Что пылкихъ душъ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ;
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ;
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла... [1]).

Не касаемся здѣсь подробностей о русской жизни, производившихъ тоску, которой преисполненъ герой романа. Онѣгинъ былъ въ такой же мѣрѣ порожденіемъ русской среды, какъ и западнаго вліянія, въ которомъ байронизмъ занималъ видное, но не исключительное мѣсто [2]). Онѣгинъ во многомъ — байроническій герой лишь по наружности. Это — байронистъ, но — чисто русскій [3]).

Какъ и самъ поэтъ, Онѣгинъ, повидимому, закончилъ жизнь не странникомъ. Мало того: въ его «холодной и лѣнивой» душѣ какъ-будто готовился переворотъ. По крайней мѣрѣ, въ неотдѣланныхъ строфахъ, относящихся къ путешествію Онѣгина, сохранилась такая:

Наскуча щеголять Мельмотомъ
Иль маскою другой,
Проснулся разъ онъ патріотомъ
Въ Hôtel de Londres, что на Морской.
Россія!.. Русь!.. она мгновенно

---

1) «Е. О.», VIII, viii—ix.

2) А. А. Бестужевъ писалъ объ Онѣгинѣ 9 марта 1825 г. (Пер., I, 87): «вижу человѣка, которыхъ тысячи встрѣчаю наяву, ибо самая холодность, и мизантропія, и странность теперь въ числѣ туалетныхъ приборовъ». Указывали тѣхъ или иныхъ лицъ, послужившихъ прототипомъ Онѣгина. Самъ Пушкинъ какъ-бы поощрялъ къ тому, говоря, напр.: «Второй Каверинъ мой Онѣгинъ» (вар.: Чадаевъ).

3) Пушкинъ такъ истолковалъ эпитетъ Онѣгина «нелюдимъ»: «Нелюдимъ не есть мизантропъ, т. е. ненавидящій людей, а убѣгающій отъ нихъ. Онѣгинъ нелюдимъ для деревенскихъ сосѣдей» (Пер. I, 151).

Ему понравилась отмѣнно,
И рѣшено — ужъ онъ влюбленъ!
Россіей только бредитъ онъ!
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея логической, сухой,
Съ ея разумной суетой... [1]).

Да и въ печатномъ текстѣ «Онѣгина» сообщается о послѣднемъ по времени чтеніи Онѣгина:

Онъ межъ печатными строками
Читалъ духовными глазами
Другія строки. Въ нихъ-то онъ
Былъ совершенно углубленъ.
То были тайныя преданья
Сердечной, темной *старины*, и т. д. [2]).

Въ этомъ отношеніи Онѣгинъ сошелся съ вкусами Татьяны, любовь къ которой дѣйствительно встряхнула его душу и, можетъ быть, послужила источникомъ обновленія ея. Во всякомъ случаѣ, если Татьяна полюбила не Ленскаго, являющагося отчасти отдаленнымъ потомкомъ Вертера [3]), а Онѣгина, то, конечно, не за чудачества послѣдняго, навѣянныя западнымъ вліяніемъ, а потому, что «русская душой» [4]), она поняла въ Онѣгинѣ присутствіе и другихъ началъ, хотя бы тѣхъ, за которыя любилъ его поэтъ, напр., «души прямого благородства» [5]). Итакъ, и Онѣгинъ, какъ Кавказскій Плѣнникъ, не есть подражаніе Байрону, а типъ,

---

1) Такимъ образомъ, переставъ быть космополитомъ, Онѣгинъ готовъ былъ обратиться къ изученію «Святой Руси».

2) «Е. О.», VIII, xxxvi.

3) Ср. замѣчаніе Бѣлинскаго о молодомъ Адуевѣ въ романѣ Гончарова «Обыкновенная исторія» — Современникъ 1848, т. VIII, «Взглядъ на русскую литературу 1847 г.», стр. 14.

4) «Е. О.», V, iv.

5) «Е. О», IV, xviii.

выхваченный изъ русской жизни того времени, когда въ ней происходилъ большой переворотъ, когда

Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы [1]).

Романъ о немъ — послѣдній по существу отзвукъ «гордой лиры Альбіона» въ поэзіи Пушкина.

Окидывая однимъ взглядомъ отношеніе творчества Пушкина къ Байронову, должно прійти къ заключенію, что нашъ поэтъ, хотя и увлекался Байрономъ, не былъ, какъ мощный геній, прямымъ послѣдователемъ и подражателемъ британскаго поэта, а лишь сошелся съ послѣднимъ преимущественно въ видномъ и яркомъ выдѣленіи явленія, которое было обще русской жизни и поэзіи съ западно-европейскою отчасти подъ вліяніемъ сходныхъ причинъ. Настроеніе «современнаго человѣка» онъ передалъ въ цѣломъ рядѣ лирическихъ и эпическихъ произведеній, иногда напоминая Байрона, но всякій разъ оригинально и красиво на свой ладъ. Поэтому Пушкинъ долженъ быть выдѣленъ изъ широкаго круга такъ называемыхъ байронистовъ.

VII. Въ концѣ этюда объ отношеніи Пушкина къ Байрону, какъ-бы самъ собою напрашивается вопросъ, уже не разъ занимавшій критиковъ: который изъ этихъ поэтовъ долженъ быть поставленъ выше [2]). Въ такой формулировкѣ вопросъ долженъ

---

1) «Е. О.», III, XII.

2) Этотъ вопросъ былъ затронутъ, между прочимъ, *Вл. С. Соловьевымъ* въ статьѣ: «Значеніе поэзіи въ стихотвореніяхъ Пушкина» (Вѣсти. Евр. 1899, № 12), гдѣ выставлено болѣе чѣмъ спорное положеніе: «Байронъ превосходилъ Пушкина напряженною силою своего самочувствія и самоутвержденія; это былъ болѣе сосредоточенный умъ и характеръ, что выражалось, разумѣется, и въ его поэзіи, усиливая ея внушающее дѣйствіе, дѣлая изъ поэта властителя думъ». Это утвержденіе не выдерживаетъ критики. Если принять во вниманіе не годы только молодости, а всю жизнь того и другого поэта, то характеръ Пушкина надо будетъ признать болѣе устойчивымъ и сосредоточеннымъ. Что до поэзіи Пушкина, то она разностороннѣе, уступая, конечно, въ силѣ тому субъективному теченію въ поэзіи Байрона, которое несомнѣнно производитъ большое впечатлѣніе.

быть признанъ празднымъ. Рѣчь-можетъ быть лишь о сравнительномъ сопоставленіи лучшихъ сторонъ поэзіи того и другого.

Богатое разнообразіе тоновъ поэтической лиры было присуще обоимъ поэтамъ, но въ сатирѣ Байронъ былъ выше, что готовъ былъ признать и самъ Пушкинъ [1]). Не могъ Пушкинъ поравняться съ Байрономъ и въ силѣ изображенія того «мрачнаго, ненавистнаго, мучительнаго лица, которое проявляется во всѣхъ почти произведеніяхъ Байрона» [2]). Нашъ поэтъ самъ тоже отмѣтилъ свое отличіе отъ Байрона и превосходство послѣдняго въ художественности и изобразительности, говоря о «Мазепѣ»: «Какое пламенное созданье, какая широкая, быстрая кисть! Еслижь бы ему подъ перо его попалась исторія обольщенной дочери и казненнаго отца, то, вѣроятно, никто бы не осмѣлился послѣ него коснуться сего ужаснаго предмета» [3]). У Пушкина не находимъ такъ много великолѣпныхъ картинъ дѣйствія и человѣческихъ настроеній, описаній мѣстностей, такихъ широкихъ перспективъ, какія составляютъ принадлежность поэзіи Байрона. У нашего поэта нѣтъ колоссальныхъ фантастическихъ образовъ и видѣній, нѣтъ лучезарнаго фантастическаго освѣщенія, переливовъ чарующихъ красокъ, такихъ волшебныхъ картинъ природы, нѣтъ пышной реторики страсти, нѣтъ такихъ возвышенныхъ и грандіозныхъ созданій, какъ Байроновы Каинъ. Небо и Земля, Манфредъ.

Оба поэта почерпнули немало у своихъ предшественниковъ, но Пушкинъ не утратилъ при этомъ оригинальности. Мало сказать вмѣстѣ съ Боденштедтомъ, что у Пушкина по сравненію съ Байрономъ въ развитіи однѣхъ и тѣхъ же темъ болѣе правды, здоровости и естественности, мы прибавили бы еще духа примиренія и добродушія: у Пушкина болѣе объективности, между тѣмъ какъ Байронъ — одинъ изъ субъективнѣйшихъ поэтовъ,

---

1) См. письмо къ Бестужеву 21—24 марта 1825 г.
2) «Критическія замѣтки» въ «Денницѣ» Максимовича 1830 г.
3) Тамъ же.

изображавшихъ прежде всего самихъ себя. Благодаря способности къ объектированію, Пушкинъ поднимался до широты и многосторонности народнаго міросозерцанія въ его цѣломъ и вмѣстѣ до широты міросозерцанія такихъ міровыхъ поэтовъ, какъ Гёте и Шиллеръ. Потому, разошедшись довольно рано съ Байрономъ въ разныя стороны творчества, Пушкинъ ничего не потерялъ отъ того, а напротивъ, скорѣе много пріобрѣлъ [1]).

---

1) Сколь близорукими оказались сужденія такихъ лицъ, какъ А. Н. Вульфъ, считавшій себя первообразомъ Ленскаго, котораго Пушкинъ уже въ письмѣ 1826 г. назвалъ «любезнымъ филистеромъ» (Переп., I, 345), а потомъ именовалъ въ своихъ письмахъ «Ловласомъ». Вульфъ писалъ въ своемъ дневникѣ: «Байронъ повторялъ часто, что великимъ поэтомъ можетъ только сдѣлаться независимый. Мысля объ этомъ, я разсчитываю, какъ мало осталось вѣроятности къ будущимъ успѣхамъ Пушкина, ибо онъ не только въ милости, но и женатъ» (стр. 523). Что до «милости», то ее лучше всего освѣщаетъ надзоръ, цензура гр. Бенкендорфа и постоянное стремленіе Пушкина удалиться подальше отъ двора. Женитьба же, дѣйствительно, не принесла счастія поэту.

„Полтава“ Пушкина [1]).

Предпослѣдній періодъ дѣятельности Пушкина, начавшійся съ конца 1826 года, характеризуется значительной зрѣлостью его мысли. Эта зрѣлость сказалась въ его критическихъ сужденіяхъ и отношеніи къ авторитетамъ Запада, и Пушкинъ въ большей степени, чѣмъ прежде, «пошелъ дорогою свободной», куда влекли его и его собственный «свободный умъ», и мысль, и чувство, и моральныя предрасположенія народности. Онъ оказался столь широкою натурою, что замѣчательно совмѣстилъ въ своей дѣятельности космополитизмъ-западничество съ народничествомъ. Національно-исключительныя тенденціи его творчества не подавили въ немъ мірового поэта, воплотившаго въ своихъ произведеніяхъ общечеловѣческіе идеалы. Проникновеніе въ духъ родного народа сказалось въ воззрѣніяхъ этическихъ, религіозныхъ и историческихъ, характеризующихъ послѣднее десятилѣтіе дѣятельности Пушкина, и такъ явилось, между прочимъ, «сочиненіе совсѣмъ оригинальное», какъ выразился Пушкинъ о «Полтавѣ» въ «Критическихъ замѣткахъ», помѣщенныхъ въ «Денницѣ» Максимовича за 1830 г. «Полтава» была издана отдѣльной книжкой въ 1829 году. По словамъ П. А. Ефремова, «вся она написана въ двѣ недѣли: первая пѣснь окончена 3-го, вторая

---

1) Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора-Лѣтописца, кн. XX, вып. 3-й (1908 г.). Въ послѣдніе дни своей жизни Н. П. Дашкевичъ былъ занятъ составленіемъ этюда о «Полтавѣ» Пушкина. Тяжкіе приступы болѣзни не позволили ему дать окончательную отдѣлку написанному имъ наброску и развить подробнымъ анализомъ мысли, занимавшія его творческое воображеніе. *Примѣчаніе проф. Ю. А. Кулаковскаго.*

9-го и третья 16-го октября 1828 г.. а посвященіе написано уже въ дер. Малинникахъ 27 октября» [1]).

Вылившись весьма скоро на бумагѣ [2]), это произведеніе, тѣмъ не менѣе, явилось созданіемъ довольно-продолжительнаго процесса мысли и творчества самого поэта совмѣстно съ патріотическими внушеніями его лучшихъ друзей. И странно читать замѣчаніе Анненкова, что «Полтава была написана, какъ противодѣйствіе розыскамъ тайной полиціи, или какъ благодарность государю за оказанное покровительство въ дѣлѣ Леопольдова» [3]).

Въ маѣ 1825 г. Жуковскій писалъ Пушкину: «ты долженъ быть поэтомъ Россіи, долженъ заслужить благодарность—теперь ты получилъ только первенство по таланту» [4]). Интересно далѣе сопоставленіе Пушкина съ Петромъ Великимъ въ письмѣ Баратынскаго въ декабрѣ 1825 г.: «Возведи русскую поэзію на ту степень между поэзіями всѣхъ народовъ, на которую Петръ Великій возвелъ Россію между державами; соверши одинъ, что онъ совершилъ одинъ» [5]).

Такимъ образомъ, стихотвореніе А. Н. Майкова, сближающее Пушкина съ собирателями русской земли, не лишено глубокаго смысла. Дѣйствительно, какую ширь русской государственности охватилъ Пушкинъ въ своей поэзіи: онъ вдохновенно воспѣлъ не только непрерывное съ IX в. достояніе русскаго народа—сѣверъ русской земли, но и Кавказъ, Малороссію, Поволжье. Онъ явился могучимъ связующимъ звеномъ духовнаго единенія русскаго народа «отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды».

---

1) Соч. П., ред. *Ефремова*, т. VIII, 415; приведенное ниже свидѣтельство самого Пушкина нисколько не противорѣчитъ этимъ даннымъ.

2) По словамъ Пушкина, онъ «Полтаву написалъ въ нѣсколько дней». Взгляните на черновикъ описанія «Полтавскаго боя», содержащій цѣлое море зачеркнутыхъ поправокъ, нагроможденныхъ одна на другую. Къ сожалѣнію, мы не могли воспользоваться полнымъ текстомъ «Полтавы», рукописный подлинникъ которой открытъ лишь недавно въ г. Тарусѣ и содержитъ много неизвѣстныхъ доселѣ стиховъ.

3) Соч. П., ред. *Ефремова*, т. VIII, 300.

4) Пер., I, 217.

5) Тамъ же, 309.

Языкъ, одно изъ самыхъ могучихъ орудій цивилизаціи, не есть единое связующее звено національностей. Наиболѣе морально объединяетъ людей сознаніе солидарности, которое развивается и поддерживается въ особенности литературою. Въ частности поэзія Пушкина, въ силу глубокаго проникновенія поэта въ судьбы родного народа, явилась однимъ изъ такихъ могучихъ объединяющихъ и духовно связующихъ цивилизаціонныхъ звеньевъ.

Пушкинъ внимательно и долго изучалъ отечественную исторію въ оригинальнѣйшихъ проявленіяхъ ея особенностей и наиболѣе драматическіе моменты ея. Между прочимъ, особенный интересъ его привлекали издавна представители народной вольницы на Дону и нижней Волгѣ. Изъ программъ 1820—1821 гг. видно, что Пушкину уже тогда были извѣстны нѣкоторыя черты стариннаго разбойничьяго быта, съ которымъ онъ могъ ознакомиться «изъ народныхъ преданій и пѣсенъ, слышанныхъ имъ въ казачьихъ станицахъ» во время путешествія по югу Россіи. Въ октябрѣ 1824 г. Пушкинъ считалъ Стеньку Разина «единственнымъ поэтическимъ лицомъ русской исторіи» [1]), а въ началѣ ноября заинтересовался и жизнью Емельки Пугачева.

Малороссія, съ которой онъ ознакомился уже въ годы ранней молодости, благодаря ссылкѣ на югъ, должна была привлечь его вниманіе, между прочимъ, также со стороны своей народной жизни, казачествомъ, которое является оригинальнѣйшимъ и крупнѣйшимъ явленіемъ исторической жизни Малороссіи.

Уже въ годы пребыванія въ Лицеѣ (въ 1814 году) Пушкинъ написалъ стихотвореніе «Козакъ», въ автографѣ котораго послѣ заглавія стоитъ надписаніе: «Подражаніе малороссійскому». И дѣйствительно, проф. Н. Ѳ. Сумцовъ усматриваетъ въ этомъ стихотвореніи «вліяніе украинской народной словесности» [2]).

---

1) Пер., I, 141.

2) А. С. Пушкинъ. Харьковъ, 1900, стр. 265 и слѣд. Здѣсь находимъ нѣсколько малороссійскихъ словъ. Съ своей стороны обращаемъ вниманіе читателя на малороссійскую форму слова козакъ.

Интересно оно, между прочимъ, потому что въ немъ уже намѣчена ситуація «удалого» казака, ѣдущаго ночью, хотя и съ другой цѣлью, повторенная въ «Полтавѣ».

Непосредственно съ южно-русскими (Черноморскими) казаками Пушкинъ ознакомился на Кубани и изобразилъ ихъ въ «Черкесской пѣснѣ» въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ». Съ малороссами ему пришлось не разъ сталкиваться и живать: въ Екатеринославѣ, въ Кишиневѣ, въ Кіевской губерніи (въ особенности въ с. Каменкѣ Чигиринскаго уѣзда) и въ Кіевѣ. Здѣсь онъ могъ достаточно ознакомиться съ роскошной украинской природой, которая такъ ему нравилась, и съ народной поэзіей. Изученіе послѣдней было значительно обогащено изданіемъ въ 1827 году М. А. Максимовичемъ сборника «Малороссійскихъ пѣсенъ» [1]). На ряду съ природой и населеніемъ Малороссіи Пушкина не могла не заинтересовать малороссійская исторія. Во время своихъ странствованій по южно-русскимъ степямъ Пушкинъ, конечно, не разъ слышалъ преданія, въ то время еще очень живыя, о народныхъ движеніяхъ XVIII в., могъ наблюдать духъ удальства въ нравахъ степного населенія, видѣть типы, напоминавшіе былое...

Уже Незеленовъ замѣтилъ, что, быть можетъ, идея «Полтавы» созрѣвала въ умѣ Пушкина во время поѣздки въ Бендеры [2]), при чемъ немалое вліяніе могъ оказать и Байронъ. По словамъ кн. Вяземскаго, относящимся, впрочемъ, къ 1828-му году [3]), Пушкину «всегда было досадно, что Байронъ взялся за Мазепу и не додѣлалъ». Но рѣшительно направила Пушкина на мысль о созданіи «Полтавы» поэма Рылѣева «Войнаровскій» [4]), «о чемъ

1) Эти данныя сведены вскользь въ статьѣ *Н. И. Петрова*: «Отношеніе поэзіи А. С. Пушкина къ украинской жизни и поэзіи» — Сборникъ статей объ А. С. Пушкинѣ, изд. Кіевскаго Педагогич. Общества по поводу столѣтняго юбилея. Кіевъ, 1899, стр. 153 и слѣд.

2) *Незеленовъ*, Пушкинъ, 153.

3) Первоначально Пушкинъ думалъ назвать и свою поэму, какъ Байронъ: «Мазепа». Остафьевскій Архивъ, III, 182.

4) «Жду съ нетерпѣньемъ Войнаровскаго», писалъ онъ 24 марта 1824 г. (Пер., I, 196).

говоритъ самъ поэтъ въ «Замѣткахъ», напечатанныхъ въ «Денницѣ» Максимовича 1830 года. Пушкинъ остался недоволенъ этимъ произведеніемъ и признавалъ непростительнымъ то, что Рылѣевъ въ описаніи Мазепы «пропустилъ» безъ должнаго вниманія «столь разительную черту» про обиду Мазепы—

Жену страдальца Кочубея
И обольщенную имъ дочь...

Но необходимо имѣть въ виду, что Рылѣева, автора поэмы о «Войнаровскомъ», занимало по преимуществу стремленіе къ реформамъ посредствомъ пробужденія гражданскихъ доблестей. Онъ призывалъ къ самопросвѣщенію и къ общественному служенію.

Давно хотѣлъ открыться и важную повѣдать тайну,— говоритъ Мазепа Войнаровскому:

Но напередъ завѣрь меня,
Что ты, при случаѣ, себя
Не пожалѣешь за Украйну.
Готовъ всѣ жертвы я принесть,
Воскликнулъ я, странѣ родимой;
Отдамъ дѣтей съ женой любимой,
Себѣ одну оставлю честь.

Малороссійскій патріотизмъ возводится здѣсь на высоту безъ отношенія къ обще-русскому. Пушкинъ не могъ стать на такую точку зрѣнія, не говоря о недостаткахъ поэмы Рылѣева въ художественномъ отношеніи. На эти недостатки обратилъ вниманіе образованный пріятель Пушкина Н. Н. Раевскій [1]) въ письмѣ отъ 10 мая 1825 г.: «Войнаровскій — произведеніе мозаичное, составленное изъ отрывковъ Байрона и Пушкина, которые при томъ соединены не очень-то обдуманно. Не требую отъ него соблюденія мѣстныхъ красокъ. Авторъ — умный малый, но не поэтъ» [2]).

---

1) См. о немъ въ статьѣ *Л. Н. Майкова:* «Изъ сношеній Пушкина съ Н. Н. Раевскимъ», помѣщенной первоначально въ Русск. Вѣстникѣ.

2) Текстъ французскаго подлинника этихъ строкъ см. въ Пер. I, 213.

Пушкинъ сначала относился довольно снисходительно къ поэмѣ о «Войнаровскомъ». Въ началѣ 1824 г. онъ писалъ: «Съ Рылѣевымъ мирюсь: Войнаровскій полонъ жизни» [1]). «Рылѣева Войнаровскій несравненно лучше всѣхъ его «Думъ», слогъ его возмужалъ и становится истинно-повѣствовательнымъ, чего у насъ почти еще нѣтъ» [2]). 25-го января 1825 г. онъ признавалъ, что эта поэма нужна была для нашей словесности [3]). Повидимому, этотъ сюжетъ очень занималъ его, потому что онъ писалъ въ февралѣ 1825 г. Л. С. Пушкину: «Присовѣтуй Рылѣеву въ новой его поэмѣ помѣстить въ свитѣ Петра I нашего дѣдушку. Его арапская рожа произведетъ страшное дѣйствіе на всю картину Полтавской битвы» [4]). Въ общемъ поэма Рылѣева до отзыва о ней Раевскаго нравилась Пушкину: «Войнаровскій мнѣ очень нравится. Мнѣ даже скучно, что его здѣсь нѣтъ у меня», писалъ Пушкинъ въ началѣ апрѣля 1824 г. [5]). Вообще нѣкоторыя картины поэмы Рылѣева останавливали на себѣ вниманіе Пушкина [6]) и отразились въ «Полтавѣ» послѣдняго; но, конечно, она неизмѣримо выше поэмы Рылѣева. По своему идейному значенію «Полтава» нѣсколько приближается къ «Борису Годунову». Какъ въ лицѣ Пимена Пушкинъ попытался освѣтить положительные идеалы русской жизни, отыскивая ихъ осуществленіе въ прошломъ; такъ въ «Полтавѣ» великій поэтъ затронулъ въ высокой степени важныя стороны русской исторической жизни, введя древнѣйшую и лучшую часть Малороссіи въ ея естественную и истинную рамку обще-русскаго единенія и освѣщая идею русской государственности, безъ которой было немыслимо благосостояніе и развитіе русскаго народа въ прошломъ и еще въ большей степени въ будущемъ. Онъ выбралъ великій историческій моментъ, когда какъ нельзя ярче выступили рядомъ автономныя стремленія Украйны,

1) Пер. I, 95.
2) Тамъ же, 96.
3) Тамъ же, 168.
4) Тамъ же.
5) Тамъ же, I, 202.
6) Соч. и п. П., ред. *Морозова*, VIII, 461—462.

главнымъ образомъ, нѣкоторыхъ лицъ ея высшаго класса, и общерусскія. Поэтъ сосредоточилъ свое вниманіе на личности Мазепы, который явился какъ бы типическимъ выразителемъ стремленія къ «самостійности» Украйны въ памяти потомства и до послѣдняго времени былъ клейменъ, какъ таковой, въ церковномъ обрядѣ въ Недѣлю православія.

Кругъ историческихъ источниковъ, которыми Пушкинъ располагалъ для изученія исторической основы трагической исторіи, художественно переданной въ «Полтавѣ, былъ весьма ограниченъ вслѣдствіе скудости нашей тогдашней исторіографіи: кругъ малороссійскихъ источниковъ былъ тогда едва затронутъ. На первомъ мѣстѣ можно поставить «Журналъ или поденную записку блаженной памяти императора Петра Великаго», собранный кн. М. М. Щербатовымъ (Москва, 1770—1772), «Дѣянія Петра Великаго» Голикова и данныя, вошедшія въ «Исторію Малой Россіи» Бантыша-Каменскаго, незадолго до того вышедшую въ свѣтъ (документальныя приложенія къ ней явились въ печати лишь нескоро — нѣсколько десятилѣтій спустя). Пришлось обратиться также къ старымъ трудамъ столь любимаго Пушкинымъ Вольтера, именно къ его «Исторіи Петра Великаго» и къ «Исторіи Карла XII»; слѣды вліянія этихъ твореній также указаны въ «Полтавѣ». Но, конечно, главнымъ свѣдущимъ лицомъ, отъ котораго Пушкинъ могъ почерпать данныя для малороссійской исторіи, былъ молодой тогда малорусскій ученый М. А. Максимовичъ, самъ едва начинавшій приступать къ занятіямъ малороссійской исторіей. На это обратилъ вниманіе покойный Л. Н. Майковъ въ статьѣ, о которой см. ниже. Максимовичъ отозвался на поэму Пушкина критикой.

Изъ художественной обработки нѣкоторыхъ частностей сюжета «Полтавы» видно, что Пушкинъ былъ знакомъ съ поэмами Байрона и Рылѣева. Спрашивается, насколько нашъ поэтъ остался въ зависимости отъ перечисленныхъ источниковъ и авторовъ и что внесъ онъ своего?

Онъ, конечно, старался во всемъ существенномъ придержи-

ваться строго-историческихъ данныхъ. Уже послѣ написанія «Полтавы» въ «Замѣткахъ», напечатанныхъ въ «Деннцѣ» Максимовича 1830 г., Пушкинъ писалъ: «Обременять вымышленными ужасами историческіе характеры — и не мудрено, и не великодушно. Клевета и въ поэмахъ всегда казалась мнѣ непохвальною». И сообразно съ этимъ мы не находимъ клеветы и въ «Полтавѣ». Нѣкоторыя слабыя отступленія отъ вѣрности въ нѣкоторыхъ мелочахъ объясняются лишь стремленіемъ сохранить поэтическій колоритъ трагической исторіи, составившей основу этой поэмы. Пушкина, какъ художника, привлекла, по его собственнымъ словамъ, прежде всего художественная сторона этой исторіи: «Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ эти ужасы, — вотъ что увлекло меня».

Главный герой поэмы — Мазепа, именемъ котораго Пушкинъ, подобно Байрону, хотѣлъ назвать свою поэму. Мазепа рисовался Пушкину дѣятелемъ самаго невысокаго нравственнаго уровня, и такое убѣжденіе Пушкинъ вынесъ изъ изученія всей совокупности чертъ нравственнаго облика и дѣяній этого знаменитаго авантюриста.

«Какой отвратительный предметъ! Ни одного добраго, благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость»... «Добрымъ я его не нахожу, особенно въ минуту, когда онъ хлопочетъ о казни отца дѣвушки, имъ обольщенной», писалъ Пушкинъ въ «Критическихъ замѣткахъ», помѣщенныхъ въ «Деннцѣ» Максимовича. «Мазепа могъ помнить долго обиду московскаго царя и отомстить ему при случаѣ. Въ этой чертѣ весь его характеръ, скрытный, жестокій, постоянный» [1]). — Словомъ, по идеѣ Пушкина, Мазепа — злодѣй.

Если мы вдумаемся въ это представленіе Пушкина о Мазепѣ,

---

1) Ср. еще свѣдѣніе, что «въ I-ой пѣснѣ передъ изображеніемъ Мазепы набросано вродѣ программы: «Портретъ Мазепы; его ненависть; его замыслы, его сношенія съ Петромъ и Карломъ; его характеръ». Соч. П., ред. *Ефремова*, т. VIII, 416.

мы не сможемъ поставить его въ вину поэту. Вѣдь и въ оцѣнкѣ авторитетныхъ честныхъ историковъ, вышедшихъ изъ строгой школы исторической науки, не разнузданной новѣйшими посторонними умствованіями, тенденціозно искажающими исторію, Мазепа также является въ весьма непривлекательномъ свѣтѣ, а не въ ореолѣ безкорыстнаго патріота высокаго моральнаго пошиба [1]).

Нѣсколько иначе стоитъ дѣло съ Пушкинскимъ изображеніемъ ближайшаго сотрудника Мазепы, «свирѣпаго» Орлика, какъ назвалъ его Пушкинъ. Но изображеніе Орлика звѣремъ — плодъ недоразумѣнія, въ которомъ опять-таки нашъ поэтъ неповиненъ.

Неутомимый и неугомонный, съ 1699 г. сподвижникъ Мазепы въ заговорѣ послѣдняго, унаслѣдовавшій послѣ смерти стараго гетмана, вмѣстѣ съ его ослѣпленіемъ и фантазерствомъ, его гетманскій титулъ по избранію со стороны небольшой группы казаковъ-эмигрантовъ и пытавшійся много лѣтъ со всею присущею ему энергіею осуществить путемъ цѣлаго ряда интригъ при разныхъ дворахъ затѣю Мазепы, Орликъ былъ генеральнымъ писаремъ при Мазепѣ и бѣжалъ вмѣстѣ съ послѣднимъ за границу послѣ Полтавскаго разгрома. Это былъ очень замѣчательный человѣкъ, игравшій весьма видную роль въ свое время; но исторія его похожденій до недавняго времени была весьма неясна и начала раскрываться лишь съ 70-хъ годовъ прошлаго вѣка, со времени напечатанія А. С. Петрушевичемъ во Львовѣ одного весьма интереснаго документа объ Орликѣ. Въ Краковѣ затѣмъ былъ найденъ рукописный, къ сожалѣнію неполный, списокъ его дневника по 1733 г., содержаніе котораго передалъ польскій ученый г. Равичъ-Гавронскій въ «Studien i Szkice historyczne», Lwow, 1900 [2]).

---

1) См. статью покойнаго *А. М. Лазаревскаго* въ Кіевской Старинѣ 1898 г., и въ Чтеніяхъ въ Историч. Общ. Нест.-Лѣт. (кн. XIII, отд. I, стр. 99) — рефератъ *И. М. Каманина* по поводу монографіи г. Уманца о Мазепѣ.

2) См. замѣтки *В. И. Борисова* въ Новомъ Времени, 1901, № 8941. —

Благодаря новѣйшимъ архивнымъ разысканіямъ, выясняется, что Орликъ, какъ генеральный писарь, т. е. секретарь Мазепы по иностраннымъ дѣламъ, не могъ принимать участія въ слѣдствіи надъ Кочубеемъ, въ допросахъ и пыткахъ, которые были предоставлены Мазепою со свойственной ему хитростью русской власти и производились далеко за предѣлами Украйны — въ Витебскѣ, какъ стоитъ это у Пушкина.

Указываютъ и рядъ другихъ неточностей въ «Полтавѣ», не выдерживающихъ критики въ историческомъ отношеніи. Любовь Матрены, — такъ въ дѣйствительности называлась дочь Кочубея,—къ Мазепѣ сомнительна, да и врядъ ли возможна въ психологическомъ отношеніи. Въ домѣ Мазепы былъ начальникъ стражи, и къ нему могли относиться напечатанныя письма Матрены Кочубеевны [1]).

Но понижается ли всѣми этими искаженіями и вымыслами цѣнность «Полтавы», какъ памятника поэтическаго, какъ своего рода эпопеи новой Россіи, вступившей на новый путь съ эпохи Петра Великаго? Думаемъ, что нѣтъ.

Какъ авторъ *поэмы*, а не какъ ученый, Пушкинъ не былъ обязанъ пускаться въ туманныя разысканія касательно всѣхъ частностей событій и біографіи лицъ, о которыхъ повѣствовалъ, и былъ въ правѣ поэтически видоизмѣнять тѣ или иныя частности, тѣмъ болѣе, что онъ не затѣвалъ эпопеи, отъ написанія которой его предостерегалъ А. А. Бестужевъ въ письмѣ отъ 9 марта 1825 г.: «Избави Боже отъ эпопеи. Это богатый памятникъ

Вскорѣ имѣютъ выйти въ свѣтъ въ новомъ томѣ «Архива Юго-Западной Россіи», между прочимъ, матеріалы для біографіи Орлика, извлеченные, въ рядѣ другихъ, изъ шведскихъ архивовъ покойнымъ Н. В. Молчановскимъ.

1) Историческія неточности, нашедшія мѣсто въ «Полтавѣ», были отмѣчены въ статьѣ *В. П. Горленка*. Объ авторѣ «Исторіи Руссовъ», приписывавшейся Георгію Конискому — см. книжку *Горленка*, Южно-русскіе очерки и портреты. Разборъ этой статьи былъ помѣщенъ *Л. Н. Майковымъ* въ № 5 Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1893 г. См. еще замѣтку *В. Б. Антоновича* въ Кіевской Старинѣ, 1899, № 5.

словеспости — но надгробный. *Мы не Греки и не Римляне, и для насъ* другія сказки надобны» [1]).

Пушкинъ, повидимому, имѣлъ въ виду создать прежде всего романтическое произведеніе, художественный образъ такой интересной типичности авантюриста, какъ Мазепа, дополнивъ первоначальный замыселъ Байрона и сдѣлавъ въ полной обрисовкѣ характера Мазепы то, что было опущено Рылѣевымъ. Пушкина, какъ и Байрона, очень занялъ этотъ типичный образъ смутной казацкой эпохи, богатой движеніями жизни, но и неправдами, присущими шляхетско-казацкому и вмѣстѣ демагогическому строю, и Мазепа представленъ у Пушкина почти такъ же романтично, какъ и у Байрона. Это не трагическій герой; нѣтъ ничего величаваго въ этомъ образѣ эгоиста; любовное приключеніе въ значительной степени наполнятъ и позднѣйшіе годы Мазепы, изображенные Пушкинымъ, какъ и годы молодости, изображенные британскимъ поэтомъ. Нашъ поэтъ развилъ далѣе ту идею о характерѣ Мазепы, которая слышится у Байрона изъ устъ Мазепы въ его разсказѣ Карлу XII-му на ложѣ изъ опавшихъ листьевъ подъ старымъ вѣтвистымъ дубомъ въ лѣсу, съ беззвѣзднымъ небомъ вмѣсто крова, въ ночь послѣ бѣгства изъ-подъ Полтавы. И у Байрона Мазепа — старикъ, пышущій всѣмъ пламенемъ страсти и въ то же время «спокойный и отважный: никто не тратилъ меньше словъ и не дѣлалъ больше дѣла».

Преклонный возрастъ не лишилъ
Меня ни мужества, ни силъ.

Пушкинъ самъ указалъ отличіе своей поэмы отъ Байроновой въ изображеніи Мазепы, состоящее преимущественно въ большей историчности и обстоятельности обрисовки; у Байрона данъ «рядъ картинъ, одна другой разительнѣе—вотъ и все» [2]). У Пушкина, прибавимъ отъ себя, дана въ широкой исторической пер-

1) Пер., I, 187—188.

2) См. «Критическія замѣтки», помѣщенныя въ «Денницѣ» Максимовича 1830 г.

спективѣ полная глубокаго смысла картина политической борьбы, въ которой страсти и притязанія честолюбія въ родѣ Мазепинскаго и Орликовскаго оказываются безсильными преградить путь неизбѣжному историческому процессу. Въ Полтавскомъ бою въ центрѣ Малороссіи надъ областнымъ малороссійскимъ патріотизмомъ, нашедшимъ такую крѣпкую опору въ честолюбивыхъ замыслахъ побѣдоноснаго шведскаго короля, торжествуетъ общерусская идея, и народъ малорусскій, вопреки стараніямъ части своей интеллигенціи, инстинктивно чуетъ высшую правду на сторонѣ той, которую поддерживаетъ не внѣшняя посторонняя сила, а вѣра въ правоту своего дѣла.

Это великое историческое чутье того непреложнаго историческаго закона, который движетъ народы въ ихъ стремленіи къ объединенію.

Наблюдатель хода событій XIX вѣка, замѣчая образованіе большихъ государствъ изъ объединенныхъ національностей, Фагэ пророчитъ въ будущемъ поглощеніе маленькихъ народовъ большими [1]).

Такимъ образомъ, историко-романтическая поэма въ «Полтавѣ» Пушкина сливается съ эпопеей въ новомъ духѣ, и, въ концѣ концовъ, все покрываетъ могучая личность Петра Великаго. Уцѣлѣло дѣло его одного, потому что согласовалось съ здоровымъ и истиннымъ теченіемъ народной исторіи [2]).

Вниманіе Пушкина на Петра Великаго обращалъ и А. А. Бестужевъ въ письмѣ отъ 9 марта 1829 г.: «что можетъ быть поэтичественнѣе Петра? кто написалъ его сносно?» [3]).

---

1) См. его «Questions politiques».

2) См. *Жданов*ъ, «Пушкинъ о Петрѣ Великомъ».—Годичный актъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета 8 февраля 1900 г. и Вѣстникъ Всемірной Исторіи, № 5 (апрѣль), 1900 г.

3) Пер. I, 187.

Интересны стихи въ черновой рукописи:

Среди волненья и тревоги
Вожди, *спокойные, какъ боги*,
Очами ясными глядятъ.

Соч. II., ред. *Ефремова*, т. VIII, 416.

И Петръ Великій явился у Пушкина въ образѣ гиганта, а самъ Пушкинъ сталъ какъ бы продолжателемъ того же вдохновенія, которое осѣняло нѣкогда чело пѣвца Петра Великаго и его «искры» Елизаветы. Но неправы тѣ, кто находитъ, что у Пушкина «самый строй стиховъ, ладъ ихъ, духъ и гармонія звучатъ порою по-Ломоносовски» и «особенно интересно совпаденіе въ «Полтавѣ» описанія Петра, явившагося на поле сраженія» [1]).

Сколь ничтожными являются расчеты на личное счастье отдѣльныхъ честолюбцевъ, каковы Мазепа и Орликъ, да и лучшихъ людей, въ родѣ Кочубея! Потому-то въ «Полтавѣ» говорится: «Что жизнь? Тяжелый сонъ» [2])...

---

1) *Отецъ*, Пушкинъ и Ломоносовъ — Новое Время, 1901, № 8965.

2) Ср. Соч. Пушкина, Акад. изд., т. I, 221: «тяжелый жизни сонъ»; т. I, 201: «сладкій жизни сонъ». Совпаденія нѣкоторыхъ стиховъ «Полтавы» съ однимъ стихомъ въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» и съ нѣсколькими въ «Русланѣ и Людмилѣ» см. Соч. и п. П., ред. *Морозова*, т. III, стр. 644—645. Ср. еще «Цыгане»:

Огни вездѣ погашены,
Спокойно все, луна сіяетъ
Одна съ небесной вышины
И тихій таборъ озаряетъ.
Въ шатрѣ одинъ старикъ не спитъ;
Онъ передъ углями сидитъ...

Мотивы міровой поэзіи въ творчествѣ Лермонтова[1]).

(Посвящ. **Ю. А. Кулаковскому**).

Rien n'appartient à rien, tout appartient à tous.
Il faut être ignorant comme un maître d'école
Pour se flatter de dire une seule parole
Que personne ici-bas n'ait pu dire avant vous.
A. de Musset.

...Человѣкъ отчаянно тоскуетъ...
Онъ къ свѣту рвется изъ ночной тѣни
И, свѣтъ обрѣтши, ропщетъ и бунтуетъ...
И сознаетъ свою погибель онъ,
И жаждетъ вѣры... но о ней не проситъ.
Стихотв. *Тютчева:* «Нашъ вѣкъ».

I.

Всегда кипитъ и зрѣетъ что-нибудь
Въ моемъ умѣ. Желанье и тоска
Тревожатъ безпрестанно эту грудь[2]).
Печаль въ моихъ пѣсняхъ...
Отзывъ безпокойный невѣдомыхъ мукъ[3]).

---

1) Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора-Лѣтописца, кн. VI, 1892 г., и отдѣльно, Кіевъ, 1892.

Въ торжественномъ собраніи Историческаго Общества Нестора-Лѣтописца 27 октября 1891 г. рѣчь эта была произнесена въ сокращеніи. Здѣсь она является въ полномъ видѣ и также съ нѣкоторыми добавленіями на основаніи статей о Лермонтовѣ, явившихся въ концѣ прошлаго и началѣ настоящаго года.

2) «1831 года, іюля 11». Сочиненія *М. Ю. Лермонтова.* Первое полное изданіе В. Ѳ. Рихтера, подъ редакціею *П. А. Висковатова.* М. 1891. Т. I, стр. 171. Въ послѣдующемъ изложеніи мы будемъ постоянно ссылаться на это изданіе, какъ скоро будемъ указывать томы и страницы безъ всякихъ другихъ обозначеній.

3) «Къ *» (1832): ib., 230. Ср. I, 228: «Мои слова печальны».

Въ этихъ признаніяхъ Лермонтова, вылившихся задолго до безвременнаго прекращенія его творчества на вѣки, выразились, кажется, вполнѣ отчетливо основные мотивы и характеръ всей его поэзіи.

Поэтъ, одаренный «пламенной, молодой душой», въ которой «огонь божественный горѣлъ отъ самой колыбели»; поэтъ, «чувствовавшій пылъ возвышенныхъ страстей»[1]) и постоянно переживавшій «бурю тягостныхъ сомнѣній»[2]); поэтъ, въ «гордой душѣ» котораго жило стремленіе къ «извѣстности и славѣ», съ лѣтъ юношества вѣрившій, что онъ «отмѣченъ судьбою» и что ему суждено безсмертіе[3]), развился быстро, «слишкомъ рано созрѣлъ», по его собственному выраженію, и провелъ свою недолгую жизнь въ постоянной вдумчивости и кипучей дѣятельности мысли, въ мучительной душевной борьбѣ, падая и возвышаясь, и неустанно возвращаясь къ глубокому раздумью надъ основными и роковыми вопросами жизни. На эти вопросы былъ безпрестанно наталкиваемъ Лермонтовъ не только чтеніемъ, но и своею даровитою, отзывчивою натурою, напряженною съ дѣтства фантазіею и идеальными порывами, которые сталкивались съ разочарованіемъ поэта въ самомъ себѣ и въ людяхъ, и, наконецъ,— невзгодами жизни.

Поэтъ титанически-гордыхъ порывовъ человѣческой души въ ея безграничномъ стремленіи къ «чему-то тайному» съ самыхъ раннихъ лѣтъ своей сознательной жизни подвергалъ анализу себя и другихъ, выносилъ безотрадное впечатлѣніе изъ этого наблюденія, рано пересталъ чувствовать радость существованія и уже на 16-мъ году жизни говорилъ о морщинахъ на своемъ челѣ и называлъ себя «страдальцемъ»[4]). Такую же неудовлетворенность испытывалъ Лермонтовъ и во все остальное время своей жизни:

---

1) I, 47; V, 401; I, 166.

2) I, 287.

3) I, 166. Въ одномъ письмѣ 1832 г. читаемъ: «тайное сознаніе, что я кончу жизнь ничтожнымъ человѣкомъ, меня мучитъ» (V, 381).

4) IV, 11.

его удовлетворяли лишь немногія изъ тѣхъ радостей жизни, которыя приносятъ обыкновенно бо́льшую или меньшую отраду.

Лермонтова не увлекалъ энтузіазмъ къ «глубокимъ познаніямъ»: «все для насъ въ мірѣ тайна», и даже «тотъ, кто думаетъ отгадать чужое сердце или знать всѣ подробности жизни своего лучшаго друга, горько ошибается». «Познаній жажда, червь души незрѣлой»[1]), никогда не была въ немъ весьма сильна. Лермонтовъ не пытался проникнуть въ тонкости модной у насъ тогда германской философіи. «Безплодной» казалась ему та университетская «наука», которою «изсушало умъ» современное ему поколѣніе[2]). Не давала она ему отвѣта на вопросы, томившіе его лично; она надѣляла лишь «бременемъ познанья и сомнѣнья». Не старался Лермонтовъ и въ средѣ своихъ университетскихъ товарищей найти людей, которые могли бы понять и оцѣнить его стремленія, а между тѣмъ онъ сиживалъ въ тѣхъ самыхъ аудиторіяхъ, въ которыхъ слушали также лекціи Станкевичъ, Бѣлинскій, Герценъ, К. Аксаковъ, Красовъ.

Не зная «мирныхъ нѣгъ и дружбы простодушной», Лермонтовъ направлялся въ иную сторону, въ

. . . . . свѣтъ, завистливый и душный
Для сердца вольнаго и пламенныхъ страстей[3]).

Но и тамъ не находилъ онъ полнаго удовлетворенія. Вначалѣ онъ чувствовалъ себя тамъ вполнѣ чужимъ, и бывало такъ, что онъ, «просидѣвъ 4 часа, не сказалъ ни одного путнаго слова. У меня

---

1) V, 366 («Отрывокъ второй начатой повѣсти»); II, 339 (варіантъ въ «Сказкѣ для дѣтей» 1841).

2) I, 273; V, 210, слова Печорина: «Я сталъ читать, учиться — науки также надоѣли; я видѣлъ, что ни слава, ни счастье отъ нихъ не зависятъ нисколько, потому что самые счастливые люди — невѣжды, а слава — удача»... Интересенъ отзывъ о философіи въ трагедіи «Menschen und Leidenschaften» (1830): «Философія не есть наука безбожія, а это самое спасительное средство отъ него и вмѣстѣ отъ фанатизма; философъ истинный счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ, и есть тотъ, который знаетъ, что онъ ничего не знаетъ» (IV, 134).

3) I, 254 (эти выраженія употреблены собственно въ примѣненіи къ Пушкину въ стихотвореніи, написанномъ по случаю кончины послѣдняго).

нѣтъ ключа отъ ихъ умовъ», писалъ онъ по этому поводу[1]). Потомъ онъ пріобрѣлъ свѣтскую развязность, «волочился и вслѣдъ за объясненіемъ въ любви говорилъ дерзости». Однако не вполнѣ его плѣнялъ «ложный блескъ и ложный міра шумъ», хотя поэтъ любилъ «всѣ обольщенья свѣта», любилъ бывать въ «свѣтской тинѣ», въ «пестрой толпѣ», когда

При шумѣ музыки и пляски,
При дикомъ шепотѣ затверженныхъ рѣчей,
Мелькаютъ образы бездушные людей —
Приличьемъ стянутыя маски.

Ему нравилось блистать тамъ «холодною проніею»,

. . . . . смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью[2]).

Ему самому однако не становилось отъ того легче. Напрасно Лермонтовъ въ обществѣ искалъ «души родной». Нельзя сказать, чтобы у него не было друзей какъ среди мужчинъ, такъ и среди женщинъ, но онъ не отдавалъ имъ своего сердца вполнѣ, потому что они не могли «понять его пылкую душу». Въ «дружбѣ сладкой» онъ извѣрился, какъ и во многомъ другомъ[3]), онъ позналъ «дружескій обманъ», и у него не было кому

. . . . . руку подать
Въ минуту душевной невзгоды.

Поэтъ рѣшилъ, что онъ — «*гонимый* міромъ странникъ»[4]), и не разъ называлъ себя странникомъ съ бо́льшимъ правомъ, чѣмъ съ какимъ прилагалъ къ себѣ этотъ эпитетъ Гёте[5]); Лермонтовъ говорилъ о себѣ:

---

1) V, 380.
2) I, 285—287; V, 401—402.
3) IV, 235.
4) I, 218.
5) I, 268; см. также I, 341, III, 71 и др. Выраженія: «Der Wanderer», «Pilger» были нерѣдко употребляемы нѣмецкими поэтами прошлаго вѣка и, между прочими,

Я не рожденъ для дружбы и пировъ...
Я въ мысляхъ вѣчный странникъ, сынъ дубровъ,
Ущелій и свободы, и, не зная
Гнѣзда, живу какъ птичка кочевая[1]).

Лермонтовъ, по его собственному признанію, «любилъ съ начала жизни угрюмое уединенье». Лишь часы близкаго общенія съ природою приносили облегченіе и нѣкоторое успокоеніе больному сердцу поэта, «природы сына», какъ называлъ себя Лермонтовъ вслѣдъ за писателями, провозглашавшими возвратъ къ природѣ. Точно такъ же въ природѣ находили утѣшеніе и нѣкоторые изъ героевъ поэтическихъ созданій Лермонтова, каковы, напр., Мцыри и Печоринъ[2]). Лермонтовъ

. . . . . въ ребячествѣ пылалъ уже душой,
Любилъ закатъ въ горахъ, пѣнящіяся воды,
И бурь земныхъ и бурь небесныхъ вой.

Онъ—одинъ изъ нашихъ поэтовъ, у которыхъ эстетическое чувство природы достигло особаго развитія подъ совмѣстнымъ воз-

---

Гёте: *Minor und Sauer* Studien zur Goethe-Philologie, Wien 1880, 44—45. Какъ извѣстно, въ англійской литературѣ XVII в. явилось знаменитое аллегорическое повѣствованіе *J. Bunyan*'а: «Путешествіе пилигрима». Въ старой нашей литературѣ также выраженіе «путникъ» употреблялось въ переносномъ смыслѣ, какъ, напр., въ произведеніи *Іоасафа Горленка:* «Бранъ честнихъ седми добродѣтелей з седми грѣхами смертними въ человѣцѣ-*путнику*» и проч. (см. Чтенія въ Истор. Общ. Нест.-Лѣтоп., кн. VI).

1) II, 223.

2) Лишь демонъ рѣзко отклоняется въ этомъ отношеніи отъ излюбленныхъ героевъ Лермонтова:

И дикъ и чуденъ былъ вокругъ
Весь Божій міръ; но гордый духъ
Презрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на челѣ его высокомъ
Не отразилось ничего...

III, 7. Поэтъ, находя въ себѣ много сроднаго съ демономъ, не могъ однако раздѣлять презрѣніе послѣдняго къ красѣ міра и въ томъ разошелся съ Демономъ своей поэмы.

дѣйствіемъ личныхъ наклонностей и западно-европейскихъ писателей того же, что и онъ, пошиба. Природа восполняла для него то, чего не находилъ онъ въ обществѣ людей, безропотно или терпѣливо влачащихъ «цѣпи образованности», «приличья цѣпи». «Надменный, глупый свѣтъ» «съ своей красивой пустотой» «обольщаетъ очи нарядной маскою своей»; при этомъ

Свѣтъ чего не уничтожитъ,
Что благородное снесетъ,
Какую душу не сожжетъ?

Лермонтовъ постоянно противополагалъ этому «свѣту» истинно-прекрасную и величавую природу, какъ и себя отдѣлялъ отъ «свѣта». И въ природѣ бываютъ бури, какъ въ душѣ и жизни человѣка, но въ первой онѣ быстро смѣняются тишью, и вообще въ природѣ царятъ гармонія и покой, — какихъ нѣтъ въ жизни людей. Такое сопоставленіе тѣхъ или иныхъ явленій внѣшней природы съ повседневными событіями жизни человѣка не разъ усматривается въ поэзіи Лермонтова. Не разъ отмѣчалъ онъ противоположность тѣхъ и другихъ, а иногда и аналогіи въ родѣ той, какую представляетъ, напр., «дружба, краткая, но живая

Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой» [1]).

Въ трагедіи «Menschen und Leidenschaften» (Люди и страсти, 1830 г.) Любовь говоритъ Юрію: «Посмотри, братъ мой, какъ прекрасенъ взошедшій мѣсяцъ, какая тихая, свѣтлая гармонія въ усыпающей природѣ; а въ груди твоей бунтуютъ страсти, страсти жестокія, мятежныя, противныя законамъ [2]). Посмотри на эти разсѣянныя облака, свѣтлыя какъ минуты удовольствій и мимолетныя какъ онѣ; посмотри, какъ проходятъ эти путники воздуш-

1) Ср. I, 303: И бури шумныя природы,
И бури тайныя страстей.
Ср. еще стих. «Парусъ».

2) Ср. цитуемое нами ниже мѣсто изъ стихотворенія «Валерикъ» (1840):
И съ грустью тайной и сердечной
Я думалъ: жалкій человѣкъ! и т. д.

ные»....[1]). Равнымъ образомъ и Демонъ, внушая Тамарѣ безучастное отношеніе къ несчастнымъ и «жребію смертнаго творенья», указывалъ на то, что

Средь полей необозримыхъ
Въ небѣ ходятъ безъ слѣда
Облаковъ неуловимыхъ
Волокнистыя стада.
Часъ разлуки, часъ свиданья —
Имъ ни радость, ни печаль;
Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,
Имъ прошедшаго не жаль[2]).

Созерцаніе такого рода явленій природы иногда освѣжительно и успокоительно дѣйствовало на душу поэта, представляя его взору контрастъ мятежному духу человѣка и его суетливости и подымая надъ тревогами и сумятицей существованія[3]). По вре-

---

1) IV, 138.

2) III, 17 и 32. Ср. стихотвореніе: «Тучи» (Тучки небесныя, вѣчные странники! и т. д. I, 304), «Утесъ» (I, 335) и т. п. Ср. образы волнъ, напр. въ стих. «Графинѣ Ростопчиной» (I, 302).

3) Напр., въ 1837 г. Лермонтовъ писалъ: «...лазилъ на снѣговую гору (Крестовая) на самый верхъ, что не совсѣмъ легко; оттуда видна половина Грузіи какъ на блюдечкѣ, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительнаго чувства; для меня горный воздухъ бальзамъ; хандра къ чорту, сердце бьется, грудь высоко дышетъ—ничего не надо въ эту минуту; такъ сидѣлъ бы да смотрѣлъ цѣлую жизнь» (V, 441). Отношеніе Лермонтова къ природѣ интересно сопоставлять, между прочимъ, съ отношеніемъ Шиллера. Послѣдній въ статьѣ «О наивной и сантиментальной поэзіи» говоритъ о частомъ перенесеніи нами наивности мышленія съ разумнаго на неразумное въ природѣ подъ вліяніемъ испытываемаго нами недовольства вслѣдствіе того, что мы дурно пользуемся присущею намъ моральною свободою и не находимъ нравственной гармоніи въ нашемъ дѣйствованіи. «Мы обращаемся тогда къ неразумному, какъ къ личности, и ставимъ ему въ заслугу его вѣчно одинаковый видъ, завидуемъ его спокойной выдержкѣ, какъ будто ему приходилось бороться съ искушеніемъ быть не такимъ». Такъ возникаетъ тоска по природѣ, тоска, которая бываетъ двоякая. Шиллеръ совѣтуетъ «чувствительному другу природы» допросить себя, что́ порождаетъ эту тоску: «лѣность ли тоскуетъ въ немъ по спокойствіи природы, или же оскорбленная въ немъ нравственность тоскуетъ по гармоніи природы?» Томленіе объ «утраченномъ счастіи природы» Шиллеръ отвергалъ. Оче-

менамъ и дивная краса природы не могла превозмочь душевной тоски[1]), но, тѣмъ не менѣе, поэта влекло къ мечтательному созерцанію естества, какъ не могъ онъ бѣжать надолго и отъ «свѣта». Отрѣшиться вполнѣ отъ послѣдняго и всецѣло уйти въ уединеніе природы Лермонтовъ не могъ: подобно Шиллеру онъ не впадалъ въ полную мизантропію[2]) и испытывалъ потребность

видно, что влеченіе Лермонтова къ природѣ должно было проистекать не изъ завидованія природѣ въ неразумномъ, несовмѣстимаго съ достоинствомъ личности, но изъ стремленія уничтожить смуту въ самомъ себѣ, достигнуть единства и покоя въ равновѣсіи, а не въ бездѣйствіи. Объ обращеніи къ природѣ, вытекающемъ изъ послѣдняго побужденія, Шиллеръ говоритъ: «пусть ея совершенство послужитъ образцомъ для твоего сердца; когда ты выйдешь изъ своего искусственнаго круга къ природѣ, она предстанетъ предъ тобою въ своемъ великомъ покоѣ, въ своей наивной красотѣ, въ своей дѣтской невинности и простотѣ; останавливайся тогда передъ этой картиной, лелѣй это чувство; оно достойно твоей прекрасной человѣчности. Не позволяй болѣе себѣ желанія мѣняться съ нею, но пріими ее въ себя и стремись сочетать ея безконечное преимущество съ своею собственною безконечною прерогативою и произвести изъ нихъ божественное. Да окружитъ она тебя подобно прекрасной идилліи, въ которой ты всегда снова будешь находить самого себя внѣ заблужденій искусства, на лонѣ которой ты будешь почерпать мужество и новую увѣренность для шествованія и въ своемъ сердцѣ вновь будешь возжигать пламя идеала, такъ легко погасающее въ буряхъ житейскихъ». Ср. стихотвореніе Шиллера: «Прогулка», статью «о стихотвореніяхъ Маттисона» и письмо Шиллера къ Лоттѣ и Каролинѣ 10 сентября 1789 г. У Лермонтова читаемъ (V, 210): «...какое-то отрадное чувство распространилось по всѣмъ моимъ жиламъ, и мнѣ было какъ-то весело, что я такъ высоко надъ міромъ — чувство дѣтское, не спорю, но, удаляясь отъ условій общества и приближаясь къ природѣ, мы невольно становимся дѣтьми: все пріобрѣтенное отпадаетъ отъ души, и она дѣлается вновь такою, какою была нѣкогда и вѣрно будетъ когда-нибудь опять». Ср. I, 70.

1) I, 343:

Въ небесахъ торжественно и чудно!
Спитъ земля въ сіяньи голубомъ...
Что же мнѣ такъ больно и такъ трудно:
Жду ль чего? жалѣю ли о чемъ?

Интересно для сравненія вліяніе, какое оказывала весенняя природа на Шиллера: «весна, писалъ Шиллеръ къ Гёте въ мартѣ 1802 г., обыкновенно дѣлаетъ меня печальнымъ, потому что внушаетъ безпокойное и безпредметное горячее стремленіе».

2) По идеѣ Шиллера, не находившаго удовлетворенія въ одной природѣ, уединеніе среди прекрасной природы приноситъ полную отраду и возстановляетъ нарушенную гармонію въ нашемъ внутреннемъ существѣ только тогда, когда уединяющемуся сопутствуютъ дружба и любовь. Шиллеръ принялъ идею Шефтсбери о прирожденности аффекта любви и дружбы къ роднымъ созданіямъ.

любви (онъ самъ говоритъ, что его сердце «ныло безъ страстей») и, можетъ быть, также дружбы не менѣе, чѣмъ Шиллеръ, но нашъ поэтъ не встрѣтилъ такого отклика расположенія, который успокоилъ бы его духъ, и не могъ отдаться этимъ чувствамъ въ такой мѣрѣ, какъ великій нѣмецкій идеалистъ:

Въ нашъ вѣкъ всѣ чувства лишь на срокъ[1]).

И природа оставалась для Лермонтова самымъ лучшимъ повѣреннымъ его стремленій и тайнъ его души, которая неохотно раскрывала свои сокровеннѣйшіе тайники передъ людьми. Холоденъ и безучастенъ былъ этотъ повѣренный, но съ нимъ окрылялся духъ поэта, и въ немъ поэтъ находилъ хоть нѣсколько отвѣта на страстныя свои вопрошенія. Величавая краса Кавказа, увлекавшая Лермонтова съ дѣтства, «природы дикой пышныя картины, разливъ зари и льдистыя вершины, блестящія на небѣ голубомъ», «цѣпи снѣжныхъ горъ», воздушныя пространства голубаго неба, свѣтлый пейзажъ солнечнаго дня, мерцаніе и бесѣда звѣздъ ночи, шумъ холоднаго моря, молчанье синей степи, громъ бурь — все это открывало необъятную ширь и просторъ передъ мощной душою поэта-«странника», неустанно рвавшеюся вдаль, не знавшею покоя (См. I, 61—62). Одновременно плѣняли его и «молодаго дня за рощей первое сіянье», ясное и золотистое утро въ горахъ, «когда снѣга горѣли румянымъ блескомъ такъ весело, такъ ярко, что кажется тутъ бы и остаться жить на вѣки», и румяный вечеръ. И какъ съ раннихъ лѣтъ Лермонтовъ любилъ простой народъ, ненавидя крѣпостное право, такъ полюбилъ онъ, наконецъ, подобно Пушкину—«за что, не зная самъ»—и не столь грандіозную, какъ Кавказская, природу отчизны:

Ея полей холодное молчанье,
Ея лѣсовъ дремучихъ колыханье,
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ...

1) I, 306. Ср. IV, 235: «Пріятели въ нашъ вѣкъ — двѣ струны, которыя по волѣ музыканта издаютъ согласные звуки, но содержатъ въ себѣ столько же противныхъ».

Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
. . . дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи почующій обозъ
И на холмѣ, средь желтой нивы,
Чету бѣлѣющихъ березъ [1]).

Въ часы созерцанія природы поэтъ испытывалъ одно изъ наиболѣе увлекавшихъ его наслажденій: Лермонтовъ умѣлъ — казалось ему въ тотъ моментъ — читать въ великой книгѣ природы и находить отвѣтъ на тревожившіе его неотступно вопросы:

. . . мысль о вѣчности, какъ великанъ,
Умъ человѣка поражаетъ вдругъ,
Когда степей безбрежный океанъ
Синѣетъ предъ глазами; каждый звукъ
Гармоніи вселенной, каждый часъ
Страданья или радости — для насъ
Становится понятенъ, и себѣ
Отчетъ мы можемъ дать въ своей судьбѣ [2]).

Такимъ образомъ, созерцаніе природы сливалось по временамъ въ юномъ поэтѣ съ религіознымъ чувствомъ [3]). Вскорѣ Лермонтовъ сталъ далекъ отъ простой вѣры. Но онъ не отрѣшился вполнѣ отъ религіознаго поклоненія въ установленной формѣ [4]) — отъ того могло охранить его, помимо всего остальнаго,

---

1) I, 328.—Отношеніе Лермонтова къ крѣпостному праву и вообще положенію народа выступаетъ въ юношескихъ драмахъ Лермонтова, напр., въ драмѣ: «Странный человѣкъ» (IV, 208; ср. ib., 122) и въ повѣсти «Горбачъ-Вадимъ».

2) I, 169.

3) См., напр., стихотв. «Кладбище» (I, 107—108): изображается вечеръ, видъ крестовъ, тишина, жужжаніе мошекъ, прощающихся съ днемъ, и въ заключеніе говорится:

Стократъ великъ, кто создалъ міръ! великъ!
Сихъ мелкихъ тварей надмогильный крикъ
Творца не больше ль славитъ иногда,
Чѣмъ въ пепелъ обращенныя стада? и т. д.

4) См., напр., стихотворенія: «Вѣтка Палестины» (I, 251—252), «Молитва странника» (Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою... I, 264).

его отношеніе къ природѣ [1]); иногда, «въ минуту ли жизни трудную», или и безъ того, поэтомъ овладѣвало религіозное чувство, и изъ устъ его выливалась сердечная молитва, приносившая облегченіе, прогонявшая сомнѣніе, возвращавшая вѣру [2]); но не разъ также поэтъ, который «ни передъ кѣмъ еще не склонялъ послушныя колѣни», «проспть и небо не желалъ», либо молитва Тому, Кто, по словамъ поэта, «изобрѣлъ мученья» его [3]), слагалась въ мнимо-благодарственный перечень печалей и обмановъ, испытанныхъ въ жизни поэтомъ, и послѣдній заключалъ свою мольбу словами:

Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ
Недолго я еще благодарилъ [4]).

А по временамъ, особливо въ болѣе ранніе годы юности, Лермонтовымъ овладѣвало полное сомнѣніе... [5]).

Понятно послѣ всего сказаннаго, что Лермонтовъ, чувствовавшій себя чужимъ въ обществѣ, въ которомъ вращался, не находившій близкихъ истинныхъ друзей, не получившій опоры и въ крѣпкомъ отвѣтномъ чувствѣ любви, не пытавшійся углубляться въ науку и теоретическую философію, которыми увлекались многіе великіе поэты, утратившій, наконецъ, и непосред-

---

1) Вспомнимъ, что въ прошломъ столѣтіи преклоненіе передъ природою получало почти религіозный характеръ даже у такихъ мыслителей, какъ Дидро и Гольбахъ. Ср. у Лермонтова V, 209 («Тихо было все на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ человѣка въ минуту утренней молитвы») и I, 70. Сліяніе религіознаго чувства съ созерцаніемъ природы не разъ замѣчается въ поэзіи Лермонтова. См. въ особенности стих.: «Когда волнуется желтѣющая нива» (I, 265).—Какія религіи развиваютъ чувство природы, см. у *Sainte-Beuve*, Portraits littéraires, II, 1854, 103—104.

2) «Молитва» (I, 278—279).

3) I, 259. Ср. выдержку, приведенную ниже, съ I, 269 и съ IV, 241: «Ты самъ нестерпимою пыткой вымучилъ эти муки». См. еще III, 74, IV, 73 и самый ранній примѣръ подобной «молитвы» (1829; I, 22). Ср. слова Азрапла: III, 181.

4) II, 298; ср. V, 403 и II, 132.

5) II, 82, 84; IV, 171; рѣзкое выраженіе скептицизма: IV, 174, 241. Есть основаніе усвоять самому Лермонтову высказываемыя здѣсь религіозныя сомнѣнія. Ср., напр., V, 388 и 398. См. также насмѣшливое сопоставленіе «Гусара-Поэта» съ Аарономъ: I, 266, и т. под. выходки.

ственность вѣры, мало могъ почерпнуть и у природы, которая, по словамъ Шиллера[1]), «мало можетъ дать сама по себѣ, и все, все получаетъ отъ нашей души». Поэтическія олицетворенія явленій природы, сколь ни удовлетворяли поэта въ тѣ моменты, въ которые были создаваемы его фантазіей, мало уясняли для него міровую тайну, когда ослабѣвалъ порывъ вдохновенія. А между тѣмъ Лермонтовъ страстно желалъ и искалъ внутреннихъ устоевъ. Томимый душевною тревогой, онъ взывалъ:

Придетъ ли вѣстникъ избавленья
Открыть мнѣ жизни назначенье,
Цѣль упованій и страстей,
Повѣдать, что мнѣ Богъ готовилъ,
Зачѣмъ такъ горько прекословилъ
Надеждамъ юности моей?[2])

Вѣстникъ этотъ не приходилъ; поэтъ напрасно «кругомъ искалъ души родной»[3]) и долженъ былъ одинъ добиваться отвѣта на различные вопросы касательно задачъ человѣка, идеала истинно-разумной *цѣльной* личности, положенія, какое она можетъ занимать въ обществѣ, смысла прошлаго и настоящаго родной земли и т. п. Вопросы эти были тѣмъ труднѣе, что поэту приходилось рѣшать ихъ единичными усиліями; лишь нѣкоторую помощь могло оказать ему то готовое литературное направленіе, къ которому онъ былъ близокъ уже по складу своей натуры. Теоретическія рѣшенія вопросовъ, занимавшихъ Лермонтова, не удовлетворяли его. Онъ искалъ отвѣта въ жизни и закрѣплялъ въ своемъ творчествѣ данныя, какія выносилъ изъ тяжкаго опыта.

---

1) См. письмо, посланное изъ Веймара Шиллеромъ его милымъ въ сентябрѣ 1789 г. Вслѣдъ за приведеннымъ выше мѣстомъ въ этомъ письмѣ говорится: «Натура плѣняетъ и восхищаетъ насъ только тѣмъ, что мы ей сообщаемъ. Прелесть, въ которую она облекается, — только отображеніе внутренней пріятности въ душѣ ея созерцателя, и мы великодушно любуемъ зеркало, которое увлекаетъ насъ нашимъ собственнымъ изображеніемъ».

2) I, 269 (1837 г.). Ср. I, 78 (1830 г.).

3) I, 270.

Поэтъ вдавался въ новый и новый анализъ жизни, людей и самого себя и то переживалъ

Дни вдохновеннаго труда,
Когда и умъ и сердце полны...
Восходитъ чудное свѣтило
Въ душѣ проснувшейся едва:
На мысли, дышащія силой,
Какъ жемчугъ, нижутся слова;

то приходилось поэту томиться въ

. . . . . тягостныя ночи:
Безъ сна, горятъ и плачутъ очи;
На сердцѣ — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую подъемлетъ...[1])

Такъ проходила жизнь поэта. Онъ вырабатывалъ свой талантъ въ столкновеніи съ дѣйствительностію. Онъ испытывалъ постоянное недовольство людьми и собой, неустанно искалъ новыхъ устоевъ для личности — въ приближеніи ли къ природѣ, въ любви ли къ людямъ, въ общественной ли жизни на новыхъ началахъ. Въ этомъ стремленіи впередъ и впередъ его духъ не зналъ удовлетворенія и покоя, и лишь въ отдѣльные моменты проникался онъ болѣе свѣтлымъ настроеніемъ, которое отодвигало пѣсколько въ глубь тоску.

Любовь и пѣсни — вотъ вся жизнь пѣвца;
Безъ нихъ она пуста, бѣдна, уныла,
Какъ небеса безъ тучь и безъ свѣтила[2]).

Подъ конецъ своей жизни, кратковременной, но богатой внутреннимъ опытомъ и работою мысли, Лермонтовъ началъ вырабатывать опредѣленное и устойчивое міросозерцаніе и могъ ска-

1) I, 292—293.
2) II, 73.

зать съ своей точки зрѣнія: «я жизнь постигъ»[1]); у него поэзія «печали» и «тоски» все болѣе и болѣе исполнялась положительныхъ началъ.

Если всѣмъ сказаннымъ сколько-нибудь вѣрно переданы общее содержаніе и характеръ творчества Лермонтова, которое необъятно, какъ необъятны мысль и чувства великаго поэта, то разсматриваемое творчество, по его задачамъ, можно признать вполнѣ соотвѣтствующимъ великой цѣли поэзіи: въ рамкахъ ли чисто субъективнаго выраженія индивидуальнаго чувства или болѣе объективной передачи событій личной жизни, въ картинахъ ли природы, останавливавшей на себѣ вниманіе поэта, въ фантастическихъ ли, но полныхъ глубокаго смысла, повѣствованіяхъ, въ изображеніяхъ ли русской общественности и жизни современной и прошлой, поэзія Лермонтова, въ цѣломъ исходя изъ субъективныхъ порывовъ и страданій души поэта, или же коренясь въ средѣ и обстановкѣ, въ которой онъ пребывалъ, не разъ входила въ то же время въ кругъ важнѣйшихъ для человѣка общихъ вопросовъ жизни личности и общества, затрогивала міровыя темы, выражала скорби, много разъ удручавшія душу человѣка и вполнѣ намъ близкія, обращалась къ проблемамъ, передъ которыми останавливались многіе изъ лучшихъ поэтовъ вѣковъ прошлыхъ и настоящаго, словомъ освѣщала частное «мыслію о вѣчности».

При этомъ въ творчествѣ Лермонтова важна не одна возвышенность и глубокая жизненность многихъ темъ, благодаря которой онъ сталъ на уровнѣ нѣкоторыхъ изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ и тревогъ, наиболѣе захватывающихъ душу человѣка XIX в.; важны также и крупныя преимущества въ развитіи этихъ темъ, искренность и энергія, индивидуальность, отчетливость

1) I, 306. Нѣкоторые отрицаютъ въ поэзіи Лермонтова опредѣленный идеалъ и находятъ въ ней лишь «смутное недовольство настоящимъ, смутное стремленіе къ чему-то лучшему» (Карелинъ), «туманность идеаловъ и неустойчивость взглядовъ на коренные вопросы жизни» (Котляревскій) и т. под. По мнѣнію же *Н. Михайловскаго*, у Лермонтова «среди всѣхъ колебаній, всѣхъ ихъ переживая, держалось рано созрѣвшее рѣшеніе задачи жизни».

и талантливость выполненія, между прочимъ и чудная красота и выразительность и вмѣстѣ изящная простота и сжатость языка. Въ силу всего этого Лермонтовъ преодолѣлъ какъ нельзя лучше трудность, указанную Гораціемъ въ словахъ:

Difficile est proprie communia dicere.

Высокія достоинства поэзіи Лермонтова были признаваемы большинствомъ читателей и лучшими критикомъ и поэтомъ при его жизни[1]), но были отвергаемы или умаляемы нѣкоторыми критиками въ его время и въ послѣдующее[2]). Въ 60-хъ годахъ

1) Критика обскурантовъ встрѣтила недружелюбно произведенія Лермонтова. Враждебно относился къ Лермонтову, но безуспѣшно осмѣивалъ его не имѣвшій твердыхъ принциповъ Брамбеусъ (Сенковскій). Не понялъ Лермонтова и умалялъ достоинства его поэзіи *Шевыревъ*, о сужденіяхъ котораго см. въ «Очеркахъ Гоголевскаго періода русской литературы» (Современникъ 1855—1856 гг.). Изданіе М. Н. Чернышевскаго, Спб. 1892, 133—137. — *Н. А. Полевой* не одобрялъ произведеній Лермонтова, руководясь тѣми же основными положеніями своей романтической эстетической системы, которыя приводили его и къ отрицанію великихъ заслугъ Гоголя, Диккенса и Жоржа Санда: «изобразить человѣка съ его добромъ и зломъ, мыслью неба и жизнью земли, примирить для насъ видимый раздоръ дѣйствительности извѣстною идеею искусства, постигшаго тайну жизни, — вотъ цѣль художника; но къ ней ли устремлены *Герои нашего времени* и *Мертвыя души?*». Замѣтимъ, кстати, что, исходя, повидимому, изъ тѣхъ же принциповъ, не долюбливалъ произведеній Гоголя и *П. П. Срезневскій*. — *Бѣлинскій* былъ пламеннымъ почитателемъ поэзіи Лермонтова и въ рецензіи на посмертное изданіе сочиненій послѣдняго (1842 г., въ 3-хъ частяхъ) назвалъ Лермонтова необыкновеннымъ человѣкомъ: «все написанное имъ интересно и должно быть обнародовано, какъ свидѣтельство характера, духа и таланта необыкновеннаго человѣка». *Гоголь* прозрѣвалъ въ немъ «будущаго великаго живописца русскаго быта» и нашелъ «большое достоинство» въ «Героѣ нашего времени». См. Русск. Арх. 1890, кн. II, Воспоминанія *С. Т. Аксакова*, стр. 40.

2) *Писаревъ* причислялъ Лермонтова лишь къ «зародышамъ поэтовъ»: «У насъ были или зародыши поэтовъ, или пародіи на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Полежаева, Крылова, Грибоѣдова; а къ числу пародій я отношу Пушкина и Жуковскаго». Писаревъ и въ этомъ сужденіи выказалъ непослѣдовательность, какъ и во многихъ другихъ: съ своей точки зрѣнія онъ долженъ былъ признать Лермонтова истиннымъ поэтомъ, потому что страданіямъ души и инымъ принадлежитъ видное мѣсто въ поэзіи Лермонтова. *Зайцевъ* въ статьѣ, помѣщенной въ Русскомъ Словѣ 1863 г., призналъ цѣннымъ сравнительно немногое изъ поэзіи Лермонтова и презрительно отнесся къ его страданіямъ. Скептическое отношеніе къ послѣднимъ и моральной основѣ поэзіи Лермонтова не прекратилось и въ 80-хъ годахъ, а равно и теперь.

интересъ къ произведеніямъ Лермонтова нѣсколько ослабѣлъ[1]), и вновь усилился съ 80-хъ годовъ; теперь въ признаніи великихъ достоинствъ поэзіи Лермонтова сходятся критики различныхъ направленій: почти всѣ называютъ ее выдающеюся, иные провозглашаютъ ее даже геніальною (Скабичевскій, Н. И. Стороженко и др.).

Тотъ однако, кто вчитается внимательнѣе въ сужденія критиковъ, будетъ изумленъ чрезвычайнымъ разнообразіемъ и противорѣчіями въ выясненіи смысла поэзіи Лермонтова въ ея цѣломъ и въ частностяхъ. Инымъ этотъ поэтъ кажется преимущественно талантливымъ выразителемъ Байроновскаго разочарованія и т. наз. міровой скорби, соединявшейся съ этимъ разочарованіемъ, или болѣе или менѣе самостоятельнымъ романтикомъ вообще[2]).

---

1) Соотвѣтственно тому лишь вскользь касались Лермонтова *Чернышевскій* и *Добролюбовъ* (послѣдній въ статьѣ: «Что такое обломовщина?», перепечатанной во II-мъ томѣ его сочиненій).

2) Толки о байронизмѣ Лермонтова и о несамостоятельности его поэзіи ведутъ свое начало издавна и принадлежатъ къ весьма распространеннымъ. О вліяніи Байрона подробно говорилъ *Галаховъ* въ Русскомъ Вѣстникѣ 1858 г.—*Ап. Григорьевъ* въ ст.: «Лермонтовъ и его направленіе. Крайнія грани развитія отрицательнаго взгляда», Время, 1862, № 10, стр. 2 и 4, писалъ: «Великій поэтъ является передъ нами еще весь въ элементахъ, съ проблесками великой правды, но еще неуяснившейся нисколько самостоятельности, не властелиномъ тѣхъ стихій, которыя заключались въ его эпохѣ и въ немъ самомъ какъ высшемъ представителѣ этой эпохи, а еще слѣпою, хотя и могущественною силою, несущеюся впередъ стремительно и почти безсознательно».— «Байронъ и байронизмъ какъ общее и нашъ русскій романтизмъ какъ особенное — вотъ элементы того Лермонтова, какой остался въ его произведеніяхъ». *Г. Карелинъ* давно уже въ статьѣ: «Донъ-Кихотизмъ и Демонизмъ» заявилъ, что у Лермонтова «съ Байрономъ ничего общаго кромѣ внѣшности нѣтъ. Онъ заимствовалъ изъ Байроновской поэзіи тѣло, не усвоивъ и нисколько не понявъ ея могучаго духа» (Донъ Кихотъ Ламанчскій. Т. II. Изд. 3. Спб. 1881, стр. 615). Въ послѣднее время о байронизмѣ Лермонтова говорили г. *Спасовичъ* въ статьѣ: «Байронизмъ у Лермонтова» (перепечат. во II-мъ томѣ «Сочиненій В. Д. Спасовича») и *И. И. Стороженко* въ рѣчи: «Вліяніе Байрона на европейскія литературы» (изъ Русскихъ Вѣдомостей перепечатана въ журн. Пантеонъ Литературы, мартъ 1888). По мнѣнію г. Стороженка, «большинство написаннаго Лермонтовымъ носитъ на себѣ печать Байронова генія... Несмотря однакожъ на то, что вліяніе Байрона на Лермонтова продолжалось до самой смерти нашего поэта, его ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать слабымъ осколкомъ Байрона, какъ назвалъ его князь Вяземскій. Лермонтовъ обладалъ слишкомъ могучимъ и само-

Другіе, также признавая въ Лермонтовѣ поэта настоящей міровой скорби, считаютъ его выразителемъ общихъ идей просвѣщенія, выработанныхъ XVIII-мъ вѣкомъ, главнымъ образомъ — стремленія къ природѣ [1]). Третьи называютъ его поэтомъ-метафизи-

---

стоятельнымъ талантомъ, чтобы осудить себя на одно подражаніе». Одинъ изъ новѣйшихъ представителей разсматриваемаго взгляда, нѣсколько исправившій его (см. стр. 53—62 его книги) и вмѣстѣ съ тѣмъ впавшій въ односторонность, утверждаетъ, что «чувство общественности было главнымъ источникомъ всѣхъ душевныхъ страданій Лермонтова» (*Н. Котляревскій*, Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ. Личность поэта и его произведенія. Опытъ историко-литературной оцѣнки. Спб. 1891, стр. 269); въ другомъ мѣстѣ тотъ же критикъ говоритъ: «родникомъ страданій Лермонтова была его недремлющая совѣсть, твердившая ему неустанно, что его жизнь не соотвѣтствуетъ его идеаламъ, его творчество— его высокому понятію о поэзіи, его отношеніе къ людямъ — тому чувству любви, какое поэтъ инстинктивно ощущалъ въ себѣ, но никакъ не могъ оформить и философски обосновать» (тамъ же, стр. 287). Признавать Лермонтова по преимуществу романтикомъ невозможно въ виду чертъ его характера жизни и дѣятельности, представляющихъ отклоненіе отъ романтическаго типа, и попытка г. Котляревскаго исправить и дополнить представленіе о Лермонтовѣ, какъ о романтикѣ, въ своемъ исходномъ пунктѣ заслуживаетъ вниманія, но, къ сожалѣнію, она мало удачна, такъ что строгіе отзывы о ней (напр., въ Сѣверномъ Вѣстникѣ 1891, № 12) не лишены основанія. Въ послѣднее время, нѣкоторые, напр., гг. Ив. Ивановъ, Острогорскій и Николаевъ (Моск. Вѣд. 1891, № 193), не считаютъ Лермонтова байронистомъ по преимуществу. Въ существѣ къ разряду мнѣній, пытающихся нѣсколько видоизмѣнить тезисъ о байронизмѣ и вообще романтизмѣ поэзіи Лермонтова, должно быть причислено и мнѣніе *Н. Михайловскаго*, выраженное въ статьяхъ: «Герой безвременья» (Русскія Вѣдомости 1891, №№ 192 и 216). По словамъ г. Михайловскаго, «съ ранней молодости, можно сказать, съ дѣтства и до самой смерти мысль и воображеніе Лермонтова были направлены на психологію прирожденнаго властнаго человѣка, на его печали и радости, на его судьбу, то блестящую, то мрачную». (Въ повѣсти Горбунъ) «шестнадцатилѣтній авторъ замѣчаетъ: «Теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; героевъ нѣтъ, а наблюдателей черезчуръ много». Это скорбное замѣчаніе на всю жизнь осталось руководящимъ для Лермонтова. Имъ опредѣляются существеннѣйшая часть содержанія его поэмъ, драмъ и повѣстей, характеръ его лирики и, наконецъ, бурныя волны его собственной жизни. Въ развитіи этой темы онъ достигалъ и непревзойденныхъ вершинъ художественной красоты и, я рѣшаюсь сказать, предчувствія научной точности въ постановкѣ соотносящихся вопросовъ».

1) *Ив. Ивановъ* — въ рѣчи, помѣщенной въ Русскихъ Вѣдомостяхъ 1891, № 118. Въ № 288 той же газеты г. Ивановъ писалъ: «Мотивы демоническаго пессимизма у Лермонтова буквально тѣ же самые, какіе навѣяли Руссо грезы объ «естественномъ состояніи»; «разочарованіе Лермонтова всегда основывается на *общихъ* причинахъ, хотя съ самаго начала оно могло быть вызвано личнымъ опытомъ». См. того же *Ив. Иванова* статью: «Михаилъ Юрьевичъ

комъ, мечты котораго уносили изъ презрѣннаго земнаго міра въ міръ небесный, представлявшійся поэту настоящею его родиною [1]).

Лермонтовъ» въ I-мъ т. художественнаго изданія товарищества И. Н. Кушнеревъ и К⁰ и книжнаго магазина П. К. Прянишникова: «М. Ю. Лермонтовъ. Сочиненія. М. 1891». На стр. XLVII читаемъ: «Личность поэта сама по себѣ слишкомъ оригинальна и богата внутреннимъ содержаніемъ, чтобы поддаться чужимъ воздѣйствіямъ, пассивно воспринимать чьи бы то ни было идеи. Много говорили о вліяніи Байрона. Эти разговоры сильно напоминаютъ легкомысленныя насмѣшки Сушковой надъ «поэтомъ-отрокомъ», вѣчно мечтавшимъ съ «огромнымъ Байрономъ» въ рукахъ. Барышня не могла и представить, что предъ ней другой Байронъ, по природѣ, можетъ быть, еще болѣе сильный и разносторонній, чѣмъ англійскій». На стр. XLVIII: «Самъ Лермонтовъ всего себя, всѣ свои идеалы (sic) почерпнулъ у природы»... На стр. XLIX Лермонтовъ ставится рядомъ съ Руссо, Шиллеромъ и Байрономъ и вообще идеалистами, мечтавшими объ «идиллически-простодушныхъ и счастливыхъ» идеальныхъ герояхъ и питавшими «негодованіе на общественную жизнь, даже на общество и цивилизацію. Это была реакція противъ крайняго извращенія искренности чувства и достоинства личности». «Лермонтовъ одинъ изъ этихъ идеалистовъ, одаренный геніемъ, настолько же оригинальнымъ и сильнымъ, какъ любой изъ названныхъ нами поэтовъ. Онъ похожъ на нихъ, — и на всѣхъ одинаково». На стр. L: «Источникъ разочарованія у Лермонтова тотъ же, какой въ XVIII вѣкѣ увлекалъ Руссо, Шиллера, Гердера, позже — Байрона. И выходъ изъ этого чувства у всѣхъ одинаковъ, отрицаніе общества, не только свѣтскаго, — даже цивилизованнаго, идеализація человѣка, не тронутаго культурой, *естественнаго человѣка*, какъ говорили въ прошломъ вѣкѣ. Лермонтову еще въ ранней юности хотѣлось сбросить *образованности цѣпи*, и всю жизнь ему рисовался *могучій образъ*, вѣчно одинъ и тотъ же, какое бы имя онъ ни послалъ — *Демонъ*, *Мцыри*, *Измаилъ*. Это идеальное воплощеніе въ *личности* свойствъ *природы* — естественная свобода чувства и мысли, идиллическая простота и беззавѣтный, бурный порывъ». Стр. LII: «исконныя стремленія Лермонтова» «завѣщаны просвѣтительнымъ движеніемъ прошлаго вѣка. Въ основѣ ихъ лежитъ одна могучая идея — *природа*. Она давала жизнь принципамъ, на которыхъ построена новая Европа: эти принципы — свобода и нравственная сила личности, естественная справедливость, сердечная искренность. Лермонтовъ — первый поэтъ, можно сказать, первый мыслитель, создавшій у насъ эти идеалы». — Основныя положенія г. Иванова страждутъ натянутостію, и все вообще изложеніе жизни и дѣятельности Лермонтова — черезчуръ панегирическимъ тономъ и преувеличеніями. Замѣтимъ кстати, что въ то время какъ Иванову основной идеей поэзіи Лермонтова кажется возвеличеніе соотвѣтствія съ природой, г. *Анненскій* въ статьѣ: «Объ эстетическомъ отношеніи Лермонтова къ природѣ», Русская Школа 1891, № 12, стр. 80 говоритъ: «Природа не была для Лермонтова предметомъ страстнаго и сентиментальнаго обожанія: онъ былъ слишкомъ *трезвъ душою* для Руссо». Ср. отзывъ Лермонтова о «Новой Элоизѣ»: I, 183. Что до стремленія къ природѣ, то это — довольно неопредѣленное выраженіе, мало говорящее безъ болѣе обстоятельныхъ разъясненій.

1) *С. А. Андреевскій*, Литературныя чтенія, Спб. 1891, стр. 219: «Исключи-

Четвертые утверждаютъ, что «Лермонтовская поэтическая гамма — грусть, какъ выраженіе не общаго смысла жизни, а только характера личнаго существованія, настроенія единичнаго духа; Лермонтовъ поэтъ не міросозерцанія, а настроенія, пѣвецъ личной грусти, а не міровой скорби»[1]); грусть эта — «практическая, русско-христіанская», хотя и не близкая къ своему источнику[2]); при этомъ Лермонтовъ рисовался своею печалью. Пятые говорятъ, что «творчество Лермонтова питалось реальными мотивами и что количество этихъ мотивовъ будетъ возрастать по мѣрѣ того, какъ мы будемъ обладать большимъ количествомъ данныхъ для его біографіи»[3]). И т. д.

тельная особенность Лермонтова состояла въ томъ, что въ немъ соединялось глубокое пониманіе жизни съ громаднымъ тяготѣніемъ къ сверхчувственному міру. Въ исторіи поэзіи едва ли сыщется другой подобный темпераментъ. Нѣтъ другого поэта, который бы такъ явно считалъ небо своей родиной и землю своимъ — изгнаніемъ» и т. п. Автору можно предложить вопросъ: какъ же согласить съ его взглядомъ чисто земныя влеченія въ поэзіи Лермонтова? Вѣдь признаетъ же г. Андреевскій «реальную сторону таланта Лермонтова». Поэтъ прямо говоритъ (I, 22):

. . . мракъ земли могильный
Съ ея страстями я люблю.

См., далѣе, «Къ другу» (I, 47), «В. Л.» (I, 53) и т. п.

1) Русская Мысль 1891, № 7, ст. *К(лючевскаго)*: «Грусть», стр. 7—8.

2) Тамъ же, стр. 13. Рядомъ съ такими утвержденіями въ статьѣ г. К. читаемъ, что «до конца своего недолгаго поприща Лермонтовъ не могъ освободиться отъ привычки кутаться въ свою нарядную печаль, выставлять гной своихъ душевныхъ ранъ, притомъ напускныхъ или декоративныхъ, трагически демонизировать свою личность, — словомъ, казаться лейбъ-гвардіи гусарскимъ Мефистофелемъ» (стр. 3). «Мысль, рано и долго питавшаяся заимствованными со стороны, вычитанными образами, принятыми за свою собственную мечту, должна была покрыть въ глазахъ поэта людей и вещи тусклымъ свѣтомъ; настроеніе уныній и печали, первоначально навѣвавшееся случайными, хотя бы даже призрачными впечатлѣніями, незамѣтно превращалось въ потребность или въ «печальную привычку сердца», говоря словами поэта» (стр. 5).

3) Мнѣніе Н. И. Стороженка. То же утверждаетъ и г. *Висковатовъ*. Уже *Боденштедтъ* указалъ на то, что «творенія Лермонтова составляютъ его біографію. Жизнь и творческая дѣятельность были неразрывны въ немъ». Слѣдуя такому взгляду, не должно забывать эпиграммы Лермонтова (I, 39):

Тотъ самый человѣкъ пустой,
Кто весь наполненъ самъ собой!

Устанавливая такія общія опредѣленія основнаго направленія поэзіи Лермонтова, предварительно характеризуютъ довольно произвольно нравственный міръ поэта выдержками изъ его произведеній, автобіографическое значеніе которыхъ во всѣхъ частностяхъ не можетъ быть доказано [1]), впадаютъ въ односторонность, въ противорѣчія, натяжки, недомолвки, въ излишній пафосъ и фразерство, или же дозволяютъ себѣ поклепы на личный характеръ поэта, обзывая, напр., послѣдняго «систематическимъ мечтателемъ, похожимъ на лунатика, ходящаго по улицамъ съ открытыми, но не зрящими глазами», питавшаго «пренебреженіе къ людямъ», «потому что они — призраки» [2]), обнаруживавшаго «шальное пренебреганіе жизнью» и т. д. [3]). Вообще многіе труды

---

1) См., напр., статью г. *Герасимова:* «Очеркъ внутренней жизни Лермонтова по его произведеніямъ». Вопросы философіи и психологіи, 1890, кн. 3.

2) Слѣдуетъ ссылка на видимо не понятое авторомъ стихотвореніе «Первое января».

3) *Спасовичъ*, Сочиненія, т. II, Спб. 1889, 402—403. — Въ образецъ рѣзкихъ разнорѣчій касательно личнаго характера Лермонтова укажемъ съ одной стороны на мнѣніе *Ив. Иванова* [«*Благословляя* поэта, люди по прежнему *не хотятъ понять* человѣка... поэтъ, одинокій въ дѣтствѣ, остался такимъ и въ молодости: ни родной семьи, ни друга, ни любящей женщины. А между тѣмъ онъ постоянно сознается: *любить необходимо мнѣ*, и его сердце *пило безъ страстей*. Онъ хватался за всякій случай — облегчить свое одиночество, мы видѣли, какія письма онъ писалъ тѣмъ, въ чью дружбу вѣрилъ, и какимъ стономъ у него вырывалась по временамъ тоска, воспитанная вѣчнымъ одиночествомъ, вѣчно неудовлетворенной жаждой *родной души* и идеаловъ своей мысли. Да, поэтъ всю жизнь переживалъ двойную драму: «свѣтъ» не хотѣлъ понять ни *чувствъ*, ни *думъ*. Люди не давали любви и ни на одну минуту не отвѣчали *могучему образу*, владѣвшему мыслью поэта. И естественно, Лермонтовъ скрывалъ отъ людей *самого себя*... Онъ, всегда, повидимому, гнѣвный и разочарованный, до послѣдней минуты носилъ глубокую вѣру въ идеалы и вѣрилъ въ ихъ торжество». Стр. XLIV, XLVI, XLVII] и съ другой стороны на мнѣніе *Спасовича*, выраженное въ его послѣдней статьѣ о Лермонтовѣ [«это человѣкъ гордый, неуживчивый, вызывающій, колкій, задорный, который, повидимому, и не привязывался ни къ кому особенно крѣпко, даже къ женщинамъ ... глубокій эгоистъ. — Лермонтовъ не былъ собственно ни гуманнымъ человѣкомъ, ни гуманистомъ — по натурѣ своей отрицатель и скептикъ. — По даннымъ жизни и поэзіи Лермонтова, воображеніе наше не можетъ его представить себѣ инымъ, какъ только непреклонно гордымъ, вѣчно мятежнымъ, презирающимъ людей и злословящимъ судьбу». Вѣстникъ Европы 1891, № 12, стр. 610, 611, 623, 624]. Еще одинъ примѣръ: по мнѣнію г. *Котляревскаго* (стр. 185), у Лермонтова «противорѣчія въ

о нашемъ поэтѣ страждутъ промахами въ методѣ, натяжками, недосмотрами и недочетами въ изученіи частностей, противорѣчіями между фактами и выводами, водянистыми и нерѣдко мало дающими разглагольствованіями и т. п.

Словомъ, читатель, приступающій къ внимательному изученію поэзіи Лермонтова и надѣющійся найти у критиковъ разъясненіе ея смысла, оказывается въ весьма затруднительномъ положеніи въ виду крайняго разногласія въ опредѣленіяхъ ея значенія.

Это разнорѣчіе въ истолкованіи поэзіи Лермонтова показываетъ, какъ нелегко свести ее къ немногимъ простымъ формуламъ. Главная трудность заключается въ сложности психическаго склада творца этой поэзіи и въ необходимости разбираться въ нерѣдкихъ противорѣчіяхъ и преувеличеніяхъ, въ которыя могъ вполнѣ искренно и естественно впадать поэтъ; далѣе — въ разносторонности мотивовъ поэзіи Лермонтова. Помимо того разногласіе въ уясненіи основнаго содержанія ея обусловливается отсутствіемъ полнаго и добросовѣстнаго изученія произведеній Лермонтова, которое, говорятъ, было невозможно до истеченія 50-лѣтія со времени его кончины, такъ какъ было извѣстно лишь незначительное количество біографическихъ данныхъ и не было полнаго собранія сочиненій Лермонтова.

Само собою разумѣется, что единственный правильный выходъ изъ затрудненій, открывающихся предъ изслѣдователемъ творчества Лермонтова, можетъ быть достигнутъ приложеніемъ строжайшаго историко-литературнаго метода къ произведеніямъ

мысляхъ и чувствахъ должны были повести за собою и противорѣчія въ жизни. Нервное состояніе духа должно было отразиться на нервности въ поступкахъ»; по мнѣнію же г. *Мартьянова*, «каждый шагъ Лермонтова, каждое его слово были разсчитаны и всѣ дѣйствія направлены къ тому, чтобы «задача жизни» осуществилась. Никакой «нравственной шаткости», никакой «двойственности характера», никакого «разлада души» въ поэтѣ не существовало. Напротивъ, это былъ самобытный, цѣльный, какъ глыба гранита, и надежный, какъ дамасская сталь, мужественный и закаленный невзгодами характеръ, основные элементы котораго составляли его честность, правдивость, доброта, ласковость и веселость» (Историческій Вѣстникъ 1892, № 2, статья: «Послѣдніе дни жизни М. Ю. Лермонтова», стр. 448).

Лермонтова, возможно тщательнымъ изслѣдованіемъ всѣхъ обстоятельствъ возникновенія ихъ, изученіемъ ихъ не только въ связи съ особенностями душевной организаціи, личною душевною и внѣшнею жизнію поэта и русскою литературою и общественною жизнію его времени, но также и въ связи со многими теченіями западно-европейской мысли и творчества новаго времени.

На нашъ взглядъ разсмотрѣніе отношеній поэзіи Лермонтова къ западно-европейскимъ литературамъ важно не менѣе выясненія національной и личной основы ея. Сравнительное историко-литературное изслѣдованіе произведеній Лермонтова можетъ разъяснить многое въ генезисѣ поэтическихъ его замысловъ и освѣтить смыслъ его творчества. Вспомнимъ, что въ первые годы своей поэтической дѣятельности, когда окончательно слагались характерныя особенности ея подъ вліяніемъ основнаго личнаго настроенія поэта, Лермонтовъ нѣсколько тяготѣлъ къ Западу, родня себя съ послѣднимъ даже по своему происхожденію, а не только по своему душевному складу. Въ 1831 г. онъ выразилъ сожалѣніе о томъ, что онъ не воронъ степной и не можетъ помчаться на Западъ, въ свою «отчизну», въ Шотландію, страну его предковъ,

Гдѣ въ замкѣ пустомъ, на туманныхъ горахъ
Ихъ незабвенный покоится прахъ.

Поэтъ скорбѣлъ о томъ, что онъ, «нездѣшній душой, увядаетъ средь чуждыхъ снѣговъ»[1]). Въ томъ же году онъ заявилъ о себѣ, что онъ

. . . . . не Байронъ, а другой,
Еще невѣдомый, избранникъ...

съ русскою душою[2]). Мы не можемъ принять полностію ни того, ни другого увѣренія; мы должны лишь имѣть ихъ въ виду, составляя собственное заключеніе на основаніи всей совокупности

1) I, 178—179.
2) I, 218.

данныхъ о жизни и дѣятельности Лермонтова. Изученіе же произведеній этого поэта раскрыло уже не мало самыхъ разнородныхъ отношеній его къ поэзіи Запада, и добытые доселѣ выводы и наблюденія, какіе можно было вывести изъ изученія хода творчества Лермонтова, весьма часто отправлявшагося отъ литературныхъ источниковъ[1]), даютъ право думать, что въ будущемъ такихъ отношеній откроется еще больше, и окажутся вполнѣ правыми тѣ изслѣдователи, которые не ограничатся принятіемъ вліянія Байрона на Лермонтова, а взглянутъ на послѣдняго, какъ на поэта, который воспринялъ и претворилъ въ своихъ созданіяхъ множество разнородныхъ вліяній. Лермонтовъ примыкалъ не къ Байрону только, а вообще къ тому литературному движенію, въ которое Байронъ входилъ лишь какъ одинъ изъ многихъ передовыхъ вождей, и которое имѣло весьма видныхъ представителей также въ литературахъ французской и нѣмецкой прошлаго и настоящаго вѣка. Нашъ поэтъ, хотя обзывалъ французовъ «великимъ», но «вѣтренымъ племенемъ»[2]), и былъ невысокаго мнѣнія объ ихъ литературѣ[3]), подпалъ, тѣмъ не менѣе, въ значительной степени вліянію послѣдней, не прекращавшемуся до конца жизни Лермонтова[4]). Мало того: уясняя вліяніе западно-европейскихъ литературъ на Лермонтова, должно восходить не только къ произведеніямъ XIX-го вѣка, но и къ болѣе раннимъ. Начатки нѣкоторыхъ идей и поэтическихъ замысловъ на-

1) См., напр., въ рѣчи *П. В. Владимірова*: «Историческіе и народно-бытовые сюжеты въ поэзіи М. Ю. Лермонтова» (VI-я книга Чтеній въ Историческомъ Обществѣ Нестора-Лѣтописца», 1892, и отдѣльный оттискъ).

2) I, 318—319.

3) V, 377: «...имѣете вы переводъ не съ Шекспира, а переводъ перековерканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французовъ, не умѣющихъ обнять высокое, и глупымъ ихъ правиламъ, перемѣнилъ ходъ трагедіи». Ср. отзывъ Лермонтова о французскомъ садѣ: V, 384. Ранѣе Лермонтова и одновременно съ нимъ пренебрежительно отзывался о французской литературѣ Пушкинъ. Рѣшительную антипатію ко всему французскому заявлялъ Московскій Наблюдатель.

4) Такъ, пародируя своего Демона въ «Сказкѣ для дѣтей», Лермонтовъ вѣроятно, не остался безъ вліянія подобнаго же пародированія, примѣръ котораго онъ встрѣтилъ во французской литературѣ.

шего поэта можно находить у такихъ корифеевъ, какъ Шекспиръ[1]). Доселѣ наилучше выяснено вліяніе Байрона на творчество Лермонтова. Воздѣйствіе же Руссо на нашего поэта указано лишь въ самыхъ общихъ чертахъ[2]), а равно то значительное вліяніе, какое оказалъ Шиллеръ, внушивъ Лермонтову своеобразный идеализмъ, сочетавшійся въ немъ съ демонизмомъ; мало разъяснено отношеніе творчества Лермонтова къ произведеніямъ А. де-Мюссе и другихъ поэтовъ[3]). А между тѣмъ изъ новѣйшихъ разысканій оказывается, что Лермонтовъ почерпнулъ мотивы для своей поэзіи не у одного, или у нѣсколькихъ, а у

---

1) Такъ, напр., одна изъ великихъ мыслей Шекспира повторена Лермонтовымъ въ словахъ о томъ, что источникъ душевныхъ мукъ

Находишь въ себѣ самомъ,
И небо обвинять нельзя ни въ чемъ.

Шекспиромъ Лермонтовъ интересовался и за годъ до кончины, когда хотѣлъ добыть «полнаго Шекспира по-англійски» (V, 430). Вліяніе «Отелло», сказавшееся въ «Маскарадѣ», указано *Н. И. Стороженкомъ* въ рѣчи: «Женскіе типы, созданные Лермонтовымъ» (Русскія Вѣдомости 1891, № 104). *Чуйко* (Всем. Иллюстр. 15 іюля 1891, 42) указалъ еще одинъ слѣдъ вліянія Шекспира.

2) См. указанія, сдѣланныя *Ив. Ивановымъ* въ № 288 Русскихъ Вѣдомостей 1891 г., въ статьѣ: «Лермонтовскій вопросъ», и ранѣе — въ статьѣ, предпосланной I-му тому художественнаго изданія.

3) Въ статьѣ *Галахова:* «Лермонтовъ», въ Русскомъ Вѣстникѣ 1858, т. XVI, стр. 277—311, заключающей прекрасный общій очеркъ того теченія въ западно-европейскихъ литературахъ, къ которому примкнулъ Лермонтовъ, отношеніе послѣдняго къ другимъ поэтамъ, помимо Байрона, не разъяснено въ частностяхъ указаніями на факты. Лишь въ третьей статьѣ, ib. стр. 609—610, указана вскользь въ самыхъ общихъ чертахъ аналогія героевъ Лермонтова съ героями Бенжаменъ-Констана, де-Мюссе и Шатобріана. Такъ же общи и неполны указанія у *Острогорскаго*: Этюды о русскихъ писателяхъ. III. Мотивы Лермонтовской поэзіи, М. 1891, стр. 39—43. Не выдерживаетъ критики и общій тезисъ Острогорскаго объ отношеніи творчества Лермонтова къ иностранной литературѣ. По мнѣнію Острогорскаго, «хотя нѣсколько величайшихъ иностранныхъ писателей и было знакомо Лермонтову съ ранней юности, но знакомство это было отрывочное, случайное и поверхностное, считая даже и Байрона». Что до вліянія де-Мюссе, то односторонне сосредоточилъ преимущественно на немъ вниманіе *К. Тр-н-скій* въ статьѣ, помѣщенной въ Сѣверномъ Вѣстникѣ 1891, № 8, стр. 141 и слѣд. На то, что мысли Печорина объ идеяхъ и страстяхъ напоминаютъ «Senancourt-a и Alfred de Musset», указалъ *Болдаковъ:* Сочиненія *М. Ю. Лермонтова.* Провѣренное по рукописямъ изданіе подъ редакціей и съ примѣчаніями П. М. Болдакова. Изд. Елизаветы Гербекъ. М. 1891, т. I, стр. 436.

многихъ западно-европейскихъ поэтовъ[1]) и также у писателей родной страны, Пушкина и др.

Итакъ, самыя разнородныя связи соединили творчество Лермонтова съ поэзіею Запада. Это не препятствовало однако нашему поэту горячо отзываться на нужды родной земли и вмѣстѣ стать оригинальнымъ выразителемъ національныхъ основъ и собственныхъ могучихъ душевныхъ порывовъ. Какъ истинно-даровитый поэтъ, Лермонтовъ воспринималъ изъ обще-человѣческаго творчества то, что подходило къ его личному міровоззрѣнію и настроенію и уясняло послѣднее, и часто лишь вдохновлялся заимствованною общею идеею къ созданію своеобразныхъ новыхъ построеній.

Такимъ образомъ, и творчество Лермонтова подтверждаетъ общее наблюденіе, по которому поэзія вѣчно обновляется, преобразуя старыя концепціи и сообщая имъ новый смыслъ.

Я не имѣю въ виду представить обстоятельное подкрѣпленіе всѣхъ высказанныхъ мною общихъ замѣчаній о поэзіи Лермонтова и ограничусь лишь краткимъ разъясненіемъ ихъ.

II.

«ДЕМОНЪ» И ДЕМОНИЗМЪ[2]).

Уже почти съ первыхъ моментовъ творчества Лермонтова поэзія его стала провозвѣстницею одной изъ самыхъ серьезныхъ міровыхъ темъ и затѣмъ удерживала такое направленіе до конца; въ общемъ содержаніи своемъ она можетъ быть названа глубоко-

1) Такъ, кромѣ перечисленныхъ писателей, какъ указалъ Висковатовъ, на Лермонтова оказалъ вліяніе Лессингъ (VI, 60). Отмѣтимъ, между прочимъ, въ драмѣ «Испанцы» разсужденіе Фернандо о религіяхъ (IV, 54) и убіеніе Эмиліи Фернандомъ (IV, 91), напоминающее закланіе Эмиліи Галотти Одоардомъ. *Галаховъ* уже въ статьѣ 1858 г. упомянулъ о знакомствѣ Лермонтова съ одною изъ поэмъ Мицкевича. *Спасовичъ*, Сочиненія, т. II, 358 и слѣд., говоритъ обстоятельнѣе о заимствованіяхъ Лермонтова у Мицкевича. И т. д.

2) Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора-Лѣтописца, кн. VII, 1893.

скорбнымъ сѣтованіемъ о ничтожествѣ человѣка и его существованія, о бѣдствіяхъ, наполняющихъ это существованіе рядомъ съ немногими свѣтлыми моментами его, о ничтожествѣ большей части благъ, которыми тѣшится человѣкъ, и о дисгармоніи жизни человѣка вслѣдствіе сочетанія въ немъ противорѣчій; вмѣстѣ съ тѣмъ поэзія Лермонтова была могучимъ порывомъ найти высшіе устои жизни, опираясь на которые можно возноситься надъ пошлостію и пустотою обычнаго существованія. То была поэзія «печальныхъ думъ», стремленія «къ чему-то тайному,

Къ тому, что обѣщалъ намъ Богъ,
И что бъ уразумѣть я могъ
Черезъ мышленія и годы»,

говорилъ поэтъ [1]).

Такой характеръ поэзіи Лермонтова сложился подъ вліяніемъ природныхъ задатковъ души поэта, условій, въ которыхъ протекло его дѣтство, подъ вліяніемъ полученнаго имъ воспитанія и, наконецъ, тѣхъ писателей, которыми онъ увлекался при началѣ своей поэтической дѣятельности.

Въ «пылкой душѣ» Лермонтова рано замѣчается развитіе усиленной чувствительности [2]), впечатлительности и воспріимчивости къ красотамъ природы [3]). Имѣя лишь 10 лѣтъ отъ роду,

---

1) I, 78.

2) «Когда я былъ трехъ лѣтъ, то была пѣсня, отъ которой я плакалъ... Ее пѣвала мнѣ покойная мать». I, 113—114.

3) «1830. Я думаю одинъ сонъ, когда я былъ еще 8-ми лѣтъ. Онъ сильно подѣйствовалъ на мою душу. Въ тѣ же лѣта я одинъ разъ ѣхалъ въ грозу куда-то, и помню облако, которое — небольшое, какъ бы оторванный черный клочокъ чернаго плаща — быстро неслось по небу: это такъ живо передо мною, какъ будто вижу. Когда я еще малъ былъ, я любилъ смотрѣть на луну, на разновидныя облака, которыя въ видѣ рыцарей съ шлемами тѣснились будто вокругъ нея; будто рыцари, сопровождающіе Армиду въ ея замокъ, полные ревности и безпокойства». I, 114. Упоминанія о томъ, какъ поэту нравился свѣтъ луны, имѣются и въ стихотвореніяхъ Лермонтова: напр., I, 32 и 61; въ послѣднемъ стихотвореніи луна названа «царицею лучшихъ думъ пѣвца». Указаніе на Армиду явилось, вѣроятно, подъ вліяніемъ начавшаго выходить въ 1828 г. перевода поэмы Тассо; переводъ этотъ принадлежалъ Раичу, одному изъ наставниковъ Университетскаго пансіона.

онъ навсегда полюбилъ горы Кавказа[1]). Тогда же онъ извѣдалъ — «такъ рано!» — первую любовь[2]), напоминая объ этомъ отношеніи Данте, если только справедливо то, что послѣдній разсказываетъ о своей любви къ Беатриче. Воспоминаніе объ этой первой любви долго не умирало въ мечтѣ юноши[3]), и съ того времени чувство любви въ той или иной формѣ не переставало господствовать въ душѣ Лермонтова[4]), при чемъ онъ могъ наблюдать въ себѣ самомъ непостоянство и потому впадать въ скептицизмъ относительно любви[5]). Бурныя чувствованія, подлежав-

---

1) I, 70: «Синія горы Кавказа, привѣтствую васъ! Вы взлелѣяли дѣтство мое, вы носили меня на своихъ одичалыхъ хребтахъ; облаками меня одѣвали; вы къ небу меня пріучили, и я съ той поры все мечтаю объ васъ, да о небѣ». См., далѣе, I, 75.

2) «1830 г., 8 іюля, ночь. Кто мнѣ повѣритъ, что я зналъ уже любовь, имѣя 10 лѣтъ отъ роду? Мы были большимъ семействомъ на водахъ Кавказскихъ» и т. д. I, 110—111. — Руссо влюбился впервые, когда ему было 12 лѣтъ.

3) См., напр., I, 75:

Я счастливъ былъ съ вами, ущелія горъ!
Пять лѣтъ пронеслось, все тоскую по васъ.
Тамъ видѣлъ я пару божественныхъ глазъ —
И сердце лепечетъ, воспомня тотъ взоръ:
Люблю я Кавказъ!

Ср. VI, 28.

4) Это обусловливалось отчасти тѣмъ, что «первое общество, въ которое попалъ Мишель, было преимущественно женское, и оно непремѣнно должно было имѣть вліяніе на его впечатлительную натуру». Р. Обозр. 1890, № 8, стр. 728.— Лермонтовъ «во второй разъ любилъ 12 лѣтъ въ ефремовской деревнѣ въ 1827 году, — и по нынѣ люблю», прибавилъ поэтъ въ 1829 г. (I, 31). Въ 1830 г. Лермонтовъ писалъ (I, 114): «(Мнѣ 19 лѣтъ). Я однажды (3 года назадъ) укралъ у одной дѣвушки, которой было 17 лѣтъ, и потому безнадежно любимой мною, бисерный снурокъ... Какъ я былъ глупъ»... и далѣе (I, 117):

. . . три раза я любилъ,
Любилъ три раза безнадежно.

Разъясненіе см. VI, 91 и слѣд.

5) См., напр., I, 85:

Въ старинны годы люди были
Совсѣмъ не то, что въ наши дни;
[*Коль въ мірѣ есть любовь*] любили
Чистосердечнѣе они.

Такое обвиненіе своего времени въ оскудѣніи любви нерѣдко въ поэзіи; такъ, напр., французскій поэтъ XVI в. Клеманъ Маро высказалъ то же обвиненіе.

шія удержу и слышанныя мальчикомъ фантастическіе разсказы развивали въ немъ, далѣе, мечтательность и вдумчивость.

Ту же раннюю вдумчивость начали вырабатывать въ юношѣ и другія обстоятельства его жизни въ связи съ его воспитаніемъ.

Это воспитаніе, подвергавшее мальчика въ избалованность [1]), развивавшее въ немъ характеръ гордый, своевольный и властный, чрезмѣрное самолюбіе и инстинкты необузданности [2]), вмѣстѣ съ тѣмъ не разъ наталкивало его на ограниченія, какія должна претерпѣвать личная воля въ столкновеніи съ посторонними условіями, и заставило его рано извѣдать горе изъ-за разлада въ родной семьѣ: много огорченія должна была приносить Лермонтову разлука съ отцомъ, котораго Михаилъ Юрьевичъ горячо любилъ, но который не могъ взять къ себѣ своего сына отъ знатной и богатой бабушки послѣдняго. Должны были оскорблять мальчика и предразсудки касательно бѣдности и незнатности рода, во имя которыхъ бабушка пренебрежительно относилась къ отцу поэта [3]). Бросалась, наконецъ, въ глаза впечатлительному мальчику тиранія крѣпостнаго права, внушавшая ему отвращеніе, не разъ проглядывающее въ его раннихъ произведеніяхъ. Лермонтову пришлось, такимъ образомъ, съ дѣтства столкнуться съ

---

1) По словамъ А. Шанъ-Гирея, бабушка, воспитывавшая Михаила Юрьевича, «любила безъ памяти» своего внука. Послѣдній «въ жизни не зналъ никакихъ лишеній, ни неудачъ; бабушка въ немъ души не чаяла и никогда ни въ чемъ ему не отказывала; родные и короткіе знакомые носили его, такъ сказать, на рукахъ». Русское Обозрѣніе 1890, № 8, стр. 725 и 728. Записки Екатерины Александровны *Хвостовой*, рожденной *Сушковой*, изд. второе, Спб. 1870, стр. 80: «Въ чужѣ отрадно было видѣть, какъ старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова.... она жила имъ однимъ и для исполненія его прихотей; не нахвалится бывало имъ, не налюбуется на него».

2) Нѣкоторые (напр., VI, 20—21) готовы примѣнять къ самому Лермонтову то, что послѣдній говоритъ о Сашѣ (V, 368): «горничныя дѣвушки разсказывали ему сказки про волжскихъ разбойниковъ, и его воображеніе наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятіями противообщественными».

3) См. VI, 62 и слѣд. Что Лермонтовъ любилъ отца и глубоко скорбѣлъ по поводу его кончины, хотя съ виду казался равнодушнымъ, свидѣтельствуетъ «Эпитафія», написанная въ 1830 г. (I, 73—74). См. еще V, 375. Горесть объ утратѣ матери также долго не умирала въ душѣ поэта (I, 75).

весьма серьезнымъ и важнымъ вопросомъ человѣческаго общежитія: о личности въ отношеніи къ обществу, съ которымъ она расходится. Впечатлительный мальчикъ рано пережилъ весьма много и, дѣйствительно, могъ испытать немало разочарованія. Онъ «столько любилъ и потерялъ»[1]).

И этотъ ранній опытъ долженъ былъ отразиться въ поэзіи Лермонтова извѣстными предрасположеніями, лишь только юноша «началъ марать стихи въ 1828 г.», что произошло съ поступленіемъ его въ Московскій Благородный Университетскій пансіонъ[2]).

Въ дѣтствѣ будущій поэтъ почти «ничего не читалъ»[3]), но съ 1827 г. онъ началъ увлекаться литературою и быстро подпалъ ея вліянію. Въ 1828 году, разсказываетъ А. Шанъ-Гирей[4]), «я въ первый разъ увидѣлъ русскіе стихи у Мишеля: Ломоносова, Державина, Дмитріева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковскаго, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель прочелъ мнѣ своего сочиненія стансы къ ***. Вскорѣ была написана первая (sic) поэма «Индіанка» и началъ издаваться рукописный журналъ Утренняя Заря, на манеръ Наблюдателя или Телеграфа, какъ слѣдуетъ — съ стихотвореніями и изящною словесностію».

Свидѣтельство это, въ связи съ первыми литературными опытами поэта, интересно для насъ, показывая, что Лермонтовъ, читавшій прежде всего французскихъ поэтовъ[5]), началъ увлекаться писателями родной литературы. Вскорѣ однако Лермонтовъ призналъ родную литературу бѣдною по содержанію, и въ ней лишь Пушкинъ, преимущественное вліяніе котораго замѣчается въ те-

---

1) I, 80.

2) I, 75: «1830. Замѣчаніе. Когда я началъ марать стихи въ 1828 г., «въ пансіонѣ» (зачеркнуто)...—Въ болѣе раннее время своего житья въ деревнѣ Лермонтовъ выказывалъ «способности къ искусствамъ; проявленія же поэтическаго таланта въ немъ вовсе не было замѣтно въ то время; всѣ сочиненія по заказу Capet онъ писалъ прозой, и нисколько не лучше своихъ товарищей». Р. Обозр. 1890, № 8, стр. 726.

3) I, 114.

4) Р. Обозр. 1890, № 8, стр. 727.

5) VI, 43—44.

традяхъ 1829 года, да народная словесность казались ему заслуживающими вниманія [1]).

Въ особенности произвели впечатлѣніе на Лермонтова иностранные поэты, съ которыми онъ ознакомился вначалѣ благодаря своимъ гувернерамъ, а затѣмъ и по собственному влеченію. Литературное образованіе Лермонтова вовсе не можетъ быть названо безпорядочнымъ. Изъ нѣмецкой литературы мощное воздѣйствіе на направленіе юнаго поэта оказали произведенія, порожденныя движеніемъ такъ называемыхъ «бурныхъ стремленій» и непосредственно слѣдовавшимъ творчествомъ классическаго періода, преимущественно поэзія Шиллера. Изъ англійской литературы Лермонтовъ читалъ самыхъ популярныхъ изъ писателей начала настоящаго вѣка, Байрона, Мура и Вальтеръ-Скотта [2]). Сверхъ того, и театральныя представленія пьесъ Шиллера и Шекспира [3]) не оставались, вѣроятно, безъ вліянія на литературное образованіе и литературныя симпатіи Лермонтова.

Преобладающее вліяніе на Лермонтова въ самый ранній періодъ его поэтической дѣятельности оказалъ несомнѣнно Байронъ, съ огромнымъ томомъ произведеній котораго Лермонтовъ

---

1) Въ 1830 г. Лермонтовъ писалъ: «наша литература такъ бѣдна, что я изъ нея ничего не могу заимствовать... если захочу вдаться въ поэзію народную, то вѣрно нигдѣ больше не буду ея искать, какъ въ русскихъ пѣсняхъ». I, 114. Ср. тамъ же замѣчанія Лермонтова о томъ, что въ русскихъ народныхъ сказкахъ «вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности». Въ воспоминаніяхъ *Сушковой* (Записки, 81) подъ 1830 г. читаемъ о Лермонтовѣ: «декламировалъ намъ Пушкина, Ламартина и былъ неразлученъ съ огромнымъ Байрономъ».

2) Въ 1829 г., по воспоминаніямъ *Шанъ-Гирея* (Р. Обозр. 1890, № 8, стр. 728), Лермонтовъ, подъ руководствомъ англичанина Mr. Winson-a, «началъ учиться англійскому языку по Байрону и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ сталъ свободно понимать его; читалъ Мура и поэтическія произведенія Вальтеръ-Скотта (кромѣ этихъ трехъ, другихъ поэтовъ Англіи я у него никогда не видалъ)... Изученіе англійскаго языка замѣчательно тѣмъ, что съ этого времени онъ началъ передразнивать Байрона».

3) Въ Москвѣ въ то время, когда тамъ учился Лермонтовъ, на сценѣ часто ставились «Разбойники», «Коварство и Любовь» Шиллера и «Отелло». Библ. для чт. 1859, т. CLVIII, «Бѣлинскій и Московскій университетъ въ его время (изъ студенческихъ воспоминаній)», *К. Прозорова*, стр. 8.

нѣкоторое время былъ неразлученъ, но уже и тогда литературное образованіе нашего поэта не ограничивалось узкимъ кругомъ немногихъ произведеній, и въ поэзіи Лермонтова сливалось воздѣйствіе цѣлаго ряда корифеевъ новѣйшей западно-европейской литературы. У поэтовъ, произведенія которыхъ читалъ, Лермонтовъ останавливалъ свое вниманіе преимущественно на томъ, что̀ подходило къ его личному настроенію, и онъ не только повторялъ ихъ образы и мысли, но даже выраженія[1]). Соглашая мотивы любимыхъ родныхъ и иностранныхъ поэтовъ со своими чувствами и съ лично пережитымъ, Лермонтовъ вскорѣ началъ достигать бо́льшей или меньшей оригинальности въ своей поэзіи, потому что постоянно вносилъ въ нее часть своей души, собственныя думы и душевныя движенія. Несомнѣнно, что основное настроеніе и самыхъ раннихъ стихотвореній Лермонтова, впервые обнародованныхъ нескоро послѣ смерти поэта, большею частію лишь въ послѣдніе годы, не было напускное. Иные скажутъ, какъ Шанъ-Гирей, что «скептицизмъ, мрачность и безнадежность», характеризующіе большую часть произведеній Лермонтова съ 1829 г. по 1833 г., «въ дѣйствительности были далеки отъ него. Онъ былъ характера скорѣе веселаго, любилъ общество, особенно женское, въ которомъ почти выросъ и которому нравился живостью своего остроумія и склонностію къ эпиграммѣ; часто посѣщалъ театры, балы, маскарады; въ жизни не зналъ никакихъ лишеній, ни неудачъ.... особенно чувствительныхъ утратъ онъ не терпѣлъ; откуда же такая мрачность, такая безнадежность? Не была ли это скорѣе драпировка, чтобы казаться интереснѣе, такъ какъ байронизмъ и разочарованіе были въ то время въ сильномъ ходу, или маска, чтобы морочить обворожительныхъ московскихъ львицъ?»[2]). Но, прежде чѣмъ взводить такое обви-

---

1) Лермонтовъ, избиравшій «плѣнниковъ», «корсаровъ», «узниковъ» въ герои первыхъ своихъ произведеній, выразился о своихъ первыхъ упражненіяхъ: «я какъ бы по инстинкту переписывалъ и прибиралъ ихъ». I, 75.

2) Р. Обозр. 1890, № 8, стр. 728. То же говоритъ г. *К(лючевскій)* — см. статью его «Грусть» въ Русской Мысли 1891, № 7.

ненiе, не слѣдуетъ ли отнестись довѣрчивѣе и внимательнѣе къ тому, что говоритъ поэтъ:

. . .отъ своей души спасенья
И въ самомъ счастьи нытъ.
Молю о счастiи бывало. . .
Дождался наконецъ —
И тягостно мнѣ счастье стало,
Какъ для царя вѣнецъ!
И всѣ мечты отвергнувъ, снова
Остался я одинъ,
Какъ замка мрачнаго, пустаго
Ничтожный властелинъ.

Понятно, что при такомъ душевномъ состоянiи

. . .черныхъ думъ не унесутъ
Ни радость дружескихъ минутъ,
Ни страстный пламень поцѣлуя[1]).

Надо имѣть въ виду далѣе скрытность характера Лермонтова, прикрывавшаго веселостью самое грустное настроенiе[2]).

Вопросъ долженъ, слѣдовательно, ставиться лишь о томъ, возможно ли было дѣйствительно въ *душѣ* юнаго поэта то мрачное настроенiе, которое не разъ выражается въ его поэзiи, какъ искренній вопль наболѣвшаго сердца?

Намъ кажется, что на этотъ вопросъ должно дать отвѣтъ положительный, если принять во вниманiе всѣ имѣющiяся передъ нами данныя для возстановленiя психической жизни Лермонтова до оставленiя имъ Московскаго университета. Мы видѣли, что обстоятельства жизни юнаго поэта должны были представлять ему жизнь далеко не въ одномъ розовомъ цвѣтѣ. Лермонтову пришлось испытать страшное нравственное потрясенiе вслѣдствiе тяжелой семейной драмы, разыгравшейся между его отцомъ и

1) I, 66 и 78.
2) Ср. VI, 71.

бабушкой, и, вѣроятно, слѣдуетъ вмѣстѣ съ г. Висковатовымъ усматривать признаніе самого Лермонтова въ словахъ одного изъ его драматическихъ героевъ, Юрія: «Помнишь ли ты Юрія, когда онъ былъ счастливъ, когда ни раздоры семейственные, ни несправедливости еще не начинали огорчать его? Лучшимъ разговоромъ для меня было размышленіе о людяхъ. Помнишь ли, какъ нетерпѣливо старался я узнавать сердце человѣческое, какъ пламенно я любилъ природу, какъ твореніе человѣчества было прекрасно въ ослѣпленныхъ глазахъ моихъ? Сонъ этотъ миновался, потому что я слишкомъ хорошо узналъ людей...». Довелось Лермонтову разочаровываться и въ дружбѣ, которой поэтъ такъ жаждалъ съ поступленія въ Московскій Университетскій пансіонъ, не находя отрады въ домашнемъ кругу [1]).

Въ отношеніи къ мрачному взгляду на міръ весьма важно было то, что, уже «кипя огнемъ и силой юныхъ лѣтъ», нашъ поэтъ зналъ печальное раздвоеніе въ самомъ себѣ. Съ одной стороны, «высокимъ сердце билось, въ душѣ горѣли лучи небеснаго огня», а съ другой Лермонтовъ видимо весьма рано началъ испытывать глубокое недовольство собою:

...какъ скученъ день осенній,
Такъ жизнь моя была скучна;
Такъ впечатлѣній непріятныхъ
Душа всегда была полна —
Понынѣ о годахъ развратныхъ
Не престаетъ скорбѣть она [2]).

---

1) VI, 67—68 и 50—51.

2) II, 334 и III, 49. Ср. I, 42:

Для меня бываетъ время:
Какъ о прошломъ вспомню я,
Сердце (Богъ тому судья)
Жметъ невѣдомое бремя!....

или I, 222 (1831):

Не обнажай минувшихъ дней:
Въ нихъ не откроешь ничего ты,
За что бъ меня любить сильнѣй...

А такое раздвоеніе является однимъ изъ источниковъ міровой скорби [1]).

Будучи недоволенъ не только другими, но и собою, поэтъ, хотя по склонности къ идеализаціи могъ увлекаться иными личностями, вообще началъ презирать людей. Въ 1830 г. онъ писалъ:

Зачѣмъ такъ рано, такъ ужасно
Я долженъ былъ узнать людей? [2])

Уже въ тѣ ранніе годы, когда въ Лермонтовѣ пылалъ «жаръ любви къ родинѣ», какъ и въ героѣ одной задуманной имъ драмы [3]), поэтомъ овладѣвало негодованіе при видѣ печальной жизни отчизны, гдѣ

. . . . . душно кажется
И сердцу тяжко, и душа тоскуетъ,

и онъ готовъ былъ представить, что

Настанетъ годъ, Россіи черный годъ . . . .
И пища многихъ будетъ смерть и кровь . . . [4]).

Да и общее созерцаніе жизни, неизбѣжныхъ въ ней утратъ и горестей увяданія, помимо всѣхъ личныхъ скорбей, повергало поэта въ глубокое раздраженіе, отравляло для него всѣ радости, дѣлало для него невозможнымъ полное и беззавѣтное увлеченіе даже любовью [5]). Уже тогда юношу одолѣвало убійственное представленіе о ничтожествѣ земного существованія, о томъ, что жизнь не даетъ счастья, что она — «горькій даръ», и воображенію

Тебѣ открыть мнѣ было бъ больно,
Какъ жизнь моя пуста, черна,
. . . недостоинъ я участья . . .

1) *Auerbach*, Deutsche Abende, Stuttgart, 1867, статья: «Der Weltschmerz mit Beziehung auf Nicolaus Lenau».

2) I, 82.

3) IV, 2—7; ср. VI, 54 и 32.

4) I, 21 (ср. VI, 35—36); I, 116.

5) I, 76—77.

Лермонтова рисовались страшно мрачные образы смерти, въ виду которыхъ, говоритъ поэтъ,

. . . . изрекъ я дикія проклятья
На моего отца и мать — на всѣхъ людей, *и т. д.*[1]);

земля казалась ему «гнѣздомъ разврата, безумства и печали», а человѣкъ — «земнымъ червемъ, сыномъ праха и забвенья»[2]). Мысль о смерти не разъ заявляетъ себя въ поэзіи юнаго Лермонтова съ силою, почти безпримѣрною въ писателѣ столь молодомъ, какъ, напр., въ стихотвореніи «Одиночество»:

Одинъ я здѣсь, какъ царь воздушный,
Страданья въ сердцѣ стѣснены,
И вижу, какъ, судьбѣ послушно,
Года уходятъ будто сны,
И вновь приходятъ съ позлащенной,
Но той же старою мечтой. . . .
И вижу гробъ уединенной —
Онъ ждетъ; что жъ медлить надъ землей?

Повидимому, въ Лермонтовѣ не разъ возникала мысль о самоубійствѣ[3]).

Уже въ годы юности (1829 и слѣд.) поэтъ говорилъ о «свѣтломъ призракѣ дней минувшихъ», «быломъ счастьи». Въ настоящемъ уже не было «веселости прекрасной»[4]), «безпечности, дружескихъ обѣтовъ и отваги»:

Въ сердцѣ ненависть и холодъ
Водворились![5])

---

1) I, 73; IV, 166; I, 79—82. Стихотворенія Лермонтова съ названіями «Ночь» г. *Висковатовъ* сближаетъ съ произведеніями Байрона (см., между проч., VI, 88), но ихъ слѣдуетъ сопоставлять также съ «Ночами» А. де-Мюссе.

2) I, 84. Ср. въ Гамлетѣ II, 2, 320—321: «what is this quintessence of dust?», и т. п.

3) I, 88—89; VI, 69, 83 и 101.

4) III, 50.

5) I, 37.

Мой духъ погасъ и состарѣлся . . .
. . . я теперь, какъ нищій, сиръ;
Брожу одинъ какъ отчужденный! [1])
Какъ солнце осени суровой,
Такъ пасмурна и жизнь моя.
Среди людей скучаю я [2]).

Поэтъ уже испыталъ «отчаянья порывъ» [3]), былъ «измученъ» «тоской и холодной, и нѣмой» [4]), былъ удручаемъ «грустью» [5]). Его тяготили «жизни сей оковы» [6]), и онъ какъ будто радостно готовъ былъ встрѣтить смерть. Онъ писалъ [7]):

Пора уснуть послѣднимъ сномъ,
Довольно въ мірѣ пожилъ я;
Обманутъ жизнью былъ во всемъ
И ненавидя, и любя.

Даже наружность Лермонтова нѣсколько выказывала его душевное настроеніе. И. А. Гончаровъ, напр., такъ обрисовалъ Лермонтова-студента въ своихъ воспоминаніяхъ: «Онъ казался мнѣ апатичнымъ, говорилъ мало и сидѣлъ всегда въ лѣнивой позѣ, полулежа, опершись на локоть» [8]).

Соотвѣтственно преобладанію скорби и тоски въ настроеніи Лермонтова, онъ былъ почти съ перваго же момента своего творчества чуждъ «нѣжныхъ и веселыхъ пѣсней», забылъ «сторону свѣтлыхъ вдохновеній» [9]). Въ лирикѣ его по преимуществу выражалось указанное меланхолическое настроеніе со

---

1) Тамъ же.
2) III, 50.
3) I, 38.
4) I, 74 и I, 42.
5) I, 78.
6) I, 88.
7) I, 203; ср. I, 60.
8) Вѣстникъ Европы 1887, № 4, «Изъ университетскихъ воспоминаній». *И. А. Гончарова*, стр. 489.
9) III, 49.

всѣмъ субъективизмомъ, какому благопріятствуетъ этотъ родъ поэзіи. Въ драмѣ это настроеніе достигало нѣкотораго объективированія въ сюжетахъ мрачныхъ, иногда кровавыхъ. Наконецъ, въ эпикѣ поэтъ, душа котораго «съ дѣтскихъ лѣтъ чудеснаго искала», какъ и «въ умѣ своемъ,

. . . . . создалъ міръ иной
И образовъ иныхъ существованье [1]).

И съ той поры онъ не переставалъ во всю свою жизнь находить утѣшеніе въ созданіяхъ своей мечты:

Предъ мною носятся видѣнья,
Жизнь обманувшія мою,
И не рожденный для забвенья,
Я вновь черты ихъ узнаю [2]).

Воображеніе поэта какъ бы двояко настраивалось согласно раздвоенію, которое онъ переживалъ и которое было причиною его мученій:

. . . . . я любилъ
Всѣ обольщенья свѣта, но не свѣтъ,
Въ которомъ я минутами лишь жилъ...

---

1) I, 165.

2) I, 73. Ср. I, 115 и IV, 117:

Одной тобою жилъ поэтъ,
Скрываючи въ груди мятежной
Страданья многихъ, многихъ лѣтъ,
Свои мечты, твой образъ нѣжный.

Очевидно, мечты были любовныя. Ср. извѣстное стихотвореніе «Первое января» (1840 г.) (I, 286—287), гдѣ, между прочимъ, читаемъ:

Люблю мечты моей созданье
Съ глазами полными лазурнаго огня,
Съ улыбкой розовой, какъ молодаго дня
За рощей первое сіянье.

Г. Висковатовъ относитъ (VI, 28) эту мечту къ предмету первой любви Лермонтова, но это едва ли основательно.

. . . . . всѣ образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существъ земныхъ.
О нѣтъ, все было адъ иль небо въ нихъ![1])

Это свидѣтельство поэта о фантастичности и контрастахъ образовъ, наполнявшихъ его воображеніе, мы можемъ принять съ полнымъ довѣріемъ какъ въ силу того, что̀ намъ извѣстно о личномъ характерѣ Лермонтова, такъ и въ виду другихъ примѣровъ столь же пылкой поэтической фантазіи, извѣстныхъ намъ изъ исторіи поэзіи.

Итакъ, образы особыхъ существъ носились передъ воображеніемъ юнаго поэта. Конечно, эти образы не были созданы впервые его воображеніемъ: они были первоначально вычитаны Лермонтовымъ у другихъ и затѣмъ усвояемы его пылкимъ воображеніемъ, какъ болѣе или менѣе близко подходившіе къ личной душевной жизни поэта, къ раздвоенію, которое онъ испытывалъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ «населялъ таинственные сны» тѣми «полными мукъ мгновеньями», которыя онъ переживалъ въ «свѣтѣ».

Въ поэзіи Лермонтова сохранился цѣлый рядъ набросковъ мрачныхъ сюжетовъ. Изъ этихъ поэтическихъ замысловъ Лермонтова выдѣлъ преимущественно одинъ. Онъ представляетъ особый интересъ, какъ одно изъ самыхъ любимыхъ дѣтищъ поэта и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ принадлежащій къ одной изъ самыхъ грандіозныхъ концепцій міровой литературы.

Сатана интересовалъ поэтическое творчество въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ и имѣетъ весьма длинную исторію въ литературѣ, не лишенную значительнаго интереса, если принять во вниманіе, что надъ поэтическою разработкою этого образа трудились не только народныя массы, но и такіе поэты первостепеннаго таланта, какъ Тассо, Мильтонъ, Гёте, Байронъ, не говоря

1) I, 165; ср. I, 56: Премудрой мыслію вникалъ
Я въ пѣсни ада, въ пѣсни рая...

о множествѣ второстепенныхъ, каковы Фондель, Лесажъ, Клопштокъ и др.

Бѣглый взглядъ на исторію сатаны въ литературѣ [1]) можетъ обстоятельно разъяснить намъ, изъ какихъ элементовъ сложилась личность демона у Лермонтова, и есть ли что оригинальнаго въ этомъ образѣ у нашего поэта. Пройдемъ же спѣшно вдоль длинной поэтической галлереи образовъ демона, въ которыхъ послѣдній предстаетъ въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. Оставивъ совсѣмъ въ сторонѣ болѣе древнія представленія о духѣ зла, мы ограничимся самыми краткими замѣчаніями о видоизмѣненіяхъ въ изображеніи его въ Европѣ новаго времени.

Въ средніе вѣка діаволъ долго былъ въ высшей степени грознымъ призракомъ, и одни, фантазія которыхъ подпадала болѣзненному страху, съ ужасомъ открещивались отъ рисовавшагося ихъ воображенію заклятаго врага Божія и противника всѣхъ стремящихся къ добру, и отъ этого тяжелаго кошмара не могли освободиться даже суровые аскеты, проводившіе всю жизнь въ подвигахъ благочестія и, казалось, вовсе не долженствовавшіе бояться врага рода человѣческаго; другіе же совсѣмъ преклонялись передъ мощью діавола и становились его почитателями. Діаволъ былъ героемъ множества легендъ, въ которыхъ являлся въ роли искусителя; между прочимъ, средневѣковая фантазія знала и о томъ, что діаволомъ были обольщаемы дѣвушки [2]),

---

1) Къ сожалѣнію, *Н. А. Котляревскій* обошелъ эту исторію, давъ взамѣнъ ея въ своей книгѣ мало идущій къ дѣлу общій очеркъ смѣны типовъ демоническихъ мужчинъ и ангельской доброты женщинъ. Одинъ изъ лучшихъ этюдовъ по исторіи дьявола и различныхъ легендъ о немъ принадлежитъ *A. Graf*-у и озаглавленъ: Il Diavolo; мы имѣли передъ собою Terza edizione, Milano — Frat. Treves. 1890. См. еще *Roskoff*, Geschichte des Teufels, I—II Bd., Leipz., 1869; *Baissac*, Histoire de la diablerie chrétienne, I, Le diable, Paris, и *F. T. Hall*, The Pedigree of the Devil, Lond. 1883; *Ѳ. П. Буслаевъ*, Мои досуги, ч. II, М. 1886, «Бѣсъ».

2) О такихъ легендахъ XIII в. см. у *Л. Ю. Шепелевича:* Очерки изъ исторіи средневѣковой литературы и культуры, вып. I, Харьк. 1890, стр. 15—26. Подобная вѣра держалась и въ послѣдующее время. См., напр., *U. Molitor* (эта фамилія автора стоитъ въ концѣ книжки), Tractatus pervtilis de phitonicis mu-

между прочимъ — монахини. Былъ весьма распространенъ также мотивъ о преніи діавола съ ангеломъ за грѣшную душу[1]). Но къ концу среднихъ вѣковъ въ повѣстенкахъ потѣшнаго содержанія, каковы Fableaux, діаволъ выступилъ въ самой обыденной житейской обстановкѣ, являясь участникомъ нерѣдко глупыхъ и смѣшныхъ приключеній. Въ этихъ веселыхъ разсказцахъ въ топѣ легкой насмѣшки выражается народное представленіе о діаволѣ, и послѣдній предстаетъ какъ чертенокъ-проказникъ, любящій помучить человѣка и пугнуть его, постоянно вмѣшивающійся въ дѣла людей, чтобы толкать ихъ ко злу, и нерѣдко при этомъ зло подсмѣивающійся. Діавола винятъ во всѣхъ неудачахъ и во всѣхъ преступныхъ дѣяніяхъ человѣка. Діаволъ отстаетъ-де отъ своей несчастной жертвы лишь въ томъ случаѣ, когда за послѣднюю вступятся Богородица и святые; онъ изобрѣтаетъ тысячи способовъ соблазнять человѣка и является въ различныхъ видахъ, между прочимъ и въ образѣ женщины; опасаясь, что жертва, которою онъ овладѣлъ, можетъ ускользнуть изъ его власти, діаволъ старается поскорѣе умертвить ее. Онъ обладаетъ острымъ и подвижнымъ умомъ, силенъ въ словопреніяхъ и отличный «логикъ»[2]). Народная драма послѣднихъ столѣтій средневѣковья, впадая въ фривольность, также надѣлила діавола, получавшаго въ ней все болѣе и болѣе мѣста, ролью комика и интригана, смѣялась надъ нимъ и ставила его въ комическія положенія, при чемъ иногда онъ подвергался потасовкѣ изъ-за человѣческихъ душъ. Этотъ діаволъ одновременно и страшенъ и смѣшенъ. Наружность его получила видъ, какой приписывала ему грубая народная вѣра и вслѣдъ за нею средневѣковое искусство: черти были снабжены

---

lieribus.—Ex Constan. Anno Domini: M. cccc. lxxxix. На одномъ изъ изображеній представлена женщина въ объятіяхъ дьявола, имѣющаго видъ мужчины.

1) См., напр., у *Ѳ. Д. Батюшкова:* Споръ души съ тѣломъ въ памятникахъ средневѣковой литературы, С.-Петербургъ, 1891, стр. 192.

2) См. ст. *G. Schiavo:* Fede e Superstizione nell'antica poesia francese. V. Il Diavolo въ Zeitschrift für romanische Philologie, XV (1891), s. 289—317. См. еще *Lenient,* La satire en France au moyen âge. Nouv. édit., Par. 1877, p. 89—90, 171 и слѣд., 400 и слѣд.

рогами, когтями, хвостами и лошадиными копытами; они черны и т. п.[1]).

На зарѣ Возрожденія Данте помѣстилъ Люцифера въ самомъ глубокомъ мѣстѣ преисподней, въ центрѣ вселенной, «тамъ, гдѣ льдомъ

Со всѣхъ сторонъ затерты духи злые,
Какъ пузырьки мелкая подъ стекломъ.

«Владыка царства вѣчныхъ слезъ»,

. . . . . возставъ на своего
Творца, такъ гнусенъ сталъ, какъ былъ прекрасенъ[2]).

Въ «Morgante Maggiore» Лунджи Пульчи дьяволъ Astarotte добръ, учтивъ, услужливъ и говоритъ съ полнымъ уваженіемъ о Богѣ и христіанской вѣрѣ. Въ поэмѣ Боярдо: «Влюбленный Роландъ» діаволъ почти еще отсутствуетъ[3]). У Аріосто же онъ направляетъ Градасса въ походѣ на Францію[4]). Въ поэмѣ Тассо сатана воздвигаетъ въ Сиріи и Палестинѣ цѣлый рядъ помѣхъ крестоносцамъ, хотя въ то же время долженъ подчиняться чародѣю въ родѣ Ismeno,

Предъ коимъ самъ Плутонъ дрожалъ
На тартарскомъ престолѣ;

---

1) О діаволѣ въ средневѣковомъ театрѣ см. у *Jusserand*, Le Théâtre en Angleterre, 1881, p. 50. О костюмѣ демоновъ см. еще въ статьѣ *Bapst*'а: «Etude sur les mystères au moyen âge»—Revue Archéologique, Nov.-Déc. 1891, p. 312, и отдѣльный оттискъ.

2) Inf. XXXIV, 11—12, 28, 34—36:

Là, dove l'ombre tutte eran coperte,
E trasparèn come festuca in vetro...
Lo'mperador del doloroso regno...
S'ei fu si bel com'egli è ora brutto,
E contra 'l suo Fattore alzò le ciglia;
Ben dee da lui procedere ogni lutto.

О демонологіи Данте см. *A. Graf*, Miti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo, vol. II, Torino 1893, этюдъ: «Demonologia di Dante».

3) Есть у Боярдо дьяволъ Scarapino, но онъ не играетъ видной роли.

4) Orl. Fur. XXVII.

Исменъ, какъ царь, повелѣвалъ,
Располагалъ духами,
И разрѣшалъ ихъ и вязалъ
Волшебными словами [1]).

Усвоивъ огромную власть діавольской силы, Тассо явился однимъ изъ выразителей того поворота вспять, который замѣчается во второй половинѣ XVI-го вѣка не только въ Италіи, но и въ Германіи.

Послѣ реформаціи діаволъ вновь началъ казаться могучимъ врагомъ. Лютеранство въ противоположность раціонализму гуманизма содѣйствовало усиленію вѣры въ личнаго діавола и его пособниковъ. Изображеніе діавола въ сатирѣ Фишарта «Jesuiten-hüttlein» былъ согласно съ общею видною ролью, какую послѣдователи реформаціи приписывали темной силѣ въ людскихъ бѣдствіяхъ. Протестантская публика XVI—XVII вв. съ ужасомъ созерцала на сценѣ, какъ въ сѣти діавола попалъ даже ученѣйшій докторъ Фаустъ [2]).

Въ половинѣ XVII-го вѣка голландскій католикъ Joost van den Vondel въ своемъ драматическомъ произведеніи о паденіи ангеловъ и человѣка («Luisevaer», 1654) представилъ гордаго, себялюбиваго, честолюбиваго и завистливаго Люцифера въ величавомъ видѣ героя, полнаго силы и мужества, выдвигая въ то же время въ немъ предостерегающій политическо-аллегорическій примѣръ.

Поэму Vondel'я зналъ, вѣроятно, Мильтонъ. Этотъ великій поэтъ и публицистъ первой англійской революціи и пуританства въ обрисовкѣ сатаны выказалъ огромную мощь таланта и сдѣлалъ значительный шагъ впередъ по сравненію съ обычнымъ

---

1) La Gerusalemme Liberata, C. II, ott. I: Ismeno

Fin ne la reggia sua Pluto spaventa,
E i suoi demon negli empi uffici impiega
Pur come servi, e li discioglie e lega!

2) См. піесу Марло «Doctor Faustus» и нѣмецкія театральныя представленія XVII вѣка.

представленіемъ о врагѣ всякаго добра. Мильтонъ отрѣшилъ образъ демона отъ искаженій, которымъ подвергся этотъ типъ въ народной фантазіи, и, напротивъ того, усвоилъ Сатанѣ значительную возвышенность ума и величіе, такъ что Сатана является главнымъ лицомъ въ «Потерянномъ Раѣ», а всѣ остальныя личности блѣдны по сравненію съ нимъ и отступаютъ на задній планъ. Поборникъ англійской революціи изобразилъ въ Сатанѣ неукротимо гордаго революціонера-республиканца, побѣжденнаго, но не сломленнаго, не пожелавшаго признавать высшій авторитетъ и предпочитавшаго царство въ аду рабству на небѣ. Сатана Мильтона, «непрестанно помышляя о тщетной борьбѣ съ небомъ [1]), надменно говоритъ: «Divided empire with heav'n's King I hold» [2]). Онъ надѣленъ качествами мощнаго начинателя и вождя революціи. Онъ гордъ, исполненъ пламенной ненависти и несокрушимъ въ своемъ мужествѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ не вполнѣ заглохло влеченіе къ добру: увидѣвъ невинную человѣческую чету, Сатана былъ тронутъ почти до слезъ. Онъ все-таки сохранялъ отпечатокъ своего прежняго величія. Онъ богоподобенъ, какъ и Михаилъ, и не вполнѣ лишился своего прежняго блеска. Въ немъ все еще можно узнать перваго когда-то между ангелами. И въ то же время Сатана Мильтона громаденъ, и видъ его чудовищенъ и страшенъ [3]). Въ общемъ однако образъ энергичнаго, все преодолѣвающаго Сатаны внушаетъ удивленіе читателю поэмы Мильтона и, понятно, производилъ глубокое впечатлѣніе и оказалъ значительное вліяніе на поэтическое творчество. Онъ положилъ начало представленію сатаны какъ бы съ чертами Промееея библейскаго вѣроученія и былъ первообразомъ

---

1) Paradise Lost, II, 8—9.

2) Ibid., IV, 111.

3) По словамъ Мильтона, Сатана, олицетворявшій мощь зла, «равнялся называемому въ баснословіи чудовищному великому Титанищу, или сыну земли, ополчившемуся на Юпитера, Бріарею или морскому звѣрю Левіаѳану, котораго Богъ сотворилъ огромнѣйшимъ изъ всѣхъ плавающихъ въ пучинахъ океана» (ibid., I, 196 – 202).

гордаго и непримиримаго на всю вѣчность Байронова Люцифера[1]).

Но на первыхъ порахъ такое опоэтизированіе сатаны и оттѣненіе грандіозности его характера не могло еще вполнѣ возобладать надъ обычными вѣрованіями о немъ, и въ XVIII в. демонъ долго еще представалъ въ обрисовкѣ, согласной съ вѣковыми преданіями.

Вслѣдъ за Мильтономъ и Клопштокъ въ изображеніи сатаны болѣе или менѣе возвратился къ библейскому представленію о демонахъ. Сатана и Абрамелехъ — лишь упорные противники Божіи. Но при этомъ, прославляя Бога, какъ отца любви, Клопштокъ отвергалъ вѣчность адскихъ наказаній, и у этого поэта отпадшій ангелъ Аббадона въ концѣ будетъ спасенъ и, призванный асителемъ, станетъ блаженнымъ, какъ и сатана примиряется съ Богомъ у нѣкоторыхъ новѣйшихъ поэтовъ. Кающійся Аббадона очень нравился сентиментальнымъ современникамъ Клопштока.

Демонъ Анамелехъ въ идилліи Гесснера «Смерть Авеля» — существо гораздо низшаго порядка, чѣмъ Сатана Мильтона и «глава духовъ» Байрона, не имѣетъ ни смѣлости тѣхъ демоновъ, ни всего другого, что внушаетъ удивленіе. Онъ трусливъ и дѣйствуетъ исподтишка. Такое изображеніе близко къ народнымъ представленіямъ о діаволѣ, которыя не разъ продолжаютъ выпикать и въ творчествѣ новаго времени.

Какъ въ искушеніяхъ св. Антонія Фламандской школы діаволъ предстаетъ въ видѣ рогатыхъ чудовищъ, такъ и у Cazotte'a въ повѣсти: «Le Diable Amoureux. Nouvelle Espagnole» (1772), которая читается и теперь, находимъ еще сплетеніе средневѣковыхъ мотивовъ: діаволъ, въ существѣ безобразный, искушаетъ

---

1) Вопросъ объ отношеніи поэмы Мильтона «Потерянный Рай» къ цѣлому ряду поэтическихъ произведеній на ту же тему, между прочимъ, и къ Фонделеву, разработанъ уже обстоятельно. См. хотя бы замѣтку *L. Proescholdt*'a: «Eine neue Quelle Miltons» въ Zeitschrift für Vergleichende Litteraturgeschichte, I Bd. (1886), 81—84.

Dom Alvare'a, для чего принимаетъ видъ прекрасной, обольстительной женщины и прибѣгаетъ также къ другимъ превращеніямъ. Повѣствованію придапъ аллегорическій смыслъ[1]). Діаволъ по прежнему являлся также героемъ мелкихъ шутливыхъ повѣствованій, какъ, напр., у Hagedorn'a[2]).

Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ XVIII в. онъ долженъ былъ воспринять въ себя скептическое настроеніе того времени, поднявшись, какъ представитель систематической насмѣшки и отрицанія, ступенью выше по сравненію съ средневѣковою своею ролью.

«Хромой Бѣсъ» Лесажа (1707 года), желавшаго дать широкую картину нравовъ парижскаго общества, сталъ утонченнѣе бѣса той испанской сатирическо-аллегорической повеллы «Diablo cojuelo»[3]), которая послужила однимъ изъ источниковъ для Фран-

---

1) Oeuvres badines et morales de *M. Cazotte.* Nouvelle Éd. Corrigée & augmentée. T. IV, Londres 1788, p. 280—281: «Le petit ouvrage que l'on donne aujourd'hui réimprimé & augmenté ....fut inspiré par la lecture du passage d'un auteur infiniment respectable, dans lequel il est parlé des ruses que peut employer le démon quand il veut plaire et séduire. On les a rassemblées, autant qu'on a pu le faire, dans une allégorie où les principes sont aux prises avec les passions: l'âme est le champ de bataille; la curiosité engage l'action, l'allégorie est double, et les lecteurs s'en apperceveront aisément». Въ этомъ эпилогѣ указаны мотивы, заставившіе автора значительно измѣнить содержаніе повѣсти во второмъ изданіи, гдѣ герой устоялъ противъ искушенія. Въ 1-мъ изданіи (A Naples, 1772; на дѣлѣ то было парижское изданіе), въ Avis de l'éditeur читаемъ, что это произведеніе «est très-moral». «Il semble que l'Auteur ait senti qu'un homme qui a la tête tournée d'amour est déjà bien à plaindre; mais que lorsqu'une jolie femme est amoureuse de lui, se caresse, l'obsède, le mène et veut à toute force s'en faire aimer, c'est le diable... le diable est bien malin; ...il n'est pas toujours si laid qu'on le dit» (P. vij-viij). Ср. p. 137, 144 и въ особенности p. 112: «dans toutes les occasions où nous avons besoin de secours extraordinaires pour régler notre conduite, si nous les demandons avec force, dussions-nous n'être pas exaucés»...

2) Объ источникахъ этого разсказа см. въ ст. *Spiridion Wukadinović*'a: Die Quellen von Hagedorns «Aurelius und Beelzebub» въ Vierteljahrsschrift für Literaturgeschichte, V, 4 (1892).

3) Новелла эта была написана въ 1641 г. испанскимъ драматургомъ Луисомъ Велесомъ де Гевара (род. между 1570 и 1574 гг., ум. въ 1644 г.), который любилъ, между прочимъ, демоническіе сюжеты. Наружность Асмодея описана у Лесажа такъ: бѣсъ представлялъ «une figure d'homme en manteau, de la hauteur d'environ deux pieds et demi, appuyé sur deux béquilles. Ce petit monstre boiteux avait des jambes de bouc, le visage long, le menton pointu, le teint jaune et noir,

цузскаго романиста. У испанскаго новеллиста діаволъ только чародѣй и сатирикъ. У Лесажа Асмодей понятъ шире. Это — болѣе прочихъ извѣстный въ обоихъ мірахъ и самый занятой изъ всѣхъ бѣсовъ, такъ какъ ему очень много хлопотъ въ свѣтѣ, гдѣ онъ водворяетъ роскошь, всѣ новѣйшія моды, буйство, азартныя игры и химію, карусели, танцовальныя и музыкальныя увеселенія, комедіи, устраиваетъ смѣшные браки и содѣйствуетъ разврату; это — демонъ сладострастья. Онъ изворотливѣе испанскаго и остроумнѣе въ обнаруженіи передъ своимъ спутникомъ, которому служитъ изъ благодарности, закулисной стороны человѣческой жизни; онъ зло и вмѣстѣ весело раскрываетъ всю изнанку этой жизни и людскую глупость. Онъ все видитъ, все знаетъ въ прошломъ и настоящемъ (но не въ будущемъ) и, переступая всѣ правила, смѣется надъ всѣми глупостями и пренебрегаетъ всѣми авторитетами.

Изъ-подъ пера Вольтера явилась, надъ названіемъ «Бѣднаго Чертенка» («Le Pauvre Diable», 1758), одна изъ самыхъ удачныхъ и язвительныхъ сатиръ его.

Такой же поворотъ въ изображеніи демона замѣчается и въ нѣмецкой поэзіи второй половины XVIII в. Гёте въ письмѣ къ Шиллеру 1799 г. призналъ сюжетъ Мильтоновой поэмы изъѣденнымъ червями, и автору Фауста принадлежитъ преобразованіе и обновленіе типа демона, между прочимъ, и въ направленіи Лесажа, а не только въ духѣ народныхъ представленій о цинически-пронырливомъ бѣсѣ. Библейскій демонъ съежился и сталъ насмѣшливымъ Мефистофелемъ. Послѣдній занятъ совращеніемъ съ пути истины одного изъ даровитѣйшихъ представителей рода человѣческаго, котораго старается завлечь въ свои сѣти искушенія, чтобы доказать, что и этотъ человѣкъ разстанется съ богоподобіемъ, лишь только поставить его въ соприкосновеніе съ обольщеніями со стороны зла. Новою чертою въ демонѣ, изобра-

---

le nez fort écrasé; ses yeux qui paraissaient très petits ressemblaient à deux charbons allumés; sa bouche excessivement fendue était surmontée des deux crocs de moustache rousse et bordée de deux lippes sans pareilles».

женномъ Гёте, явилось отчетливое оттѣненіе дьявольскаго отрицанія: Мефистофель — «духъ, что вѣчно отрицаетъ» [1]) и издѣвается, и въ то же время онъ подвластенъ чарамъ заклинаній. Онъ «не можетъ ничего уничтожить въ великомъ, и потому начинаетъ съ малаго». Онъ сознается, что отъ того ему немного проку, — что онъ не можетъ ничего подѣлать съ этимъ «Нѣчто, несуразнымъ міромъ» [2]), считаетъ людей жалкими [3]), но все-таки не прочь еще разъ доказать свое могущество надъ человѣкомъ, обуреваемымъ безграничными хотѣніями и не находящимъ удовлетворенія ни въ ближайшей дѣйствительности, ни въ познаваніи далекаго [4]). Во внѣшнихъ явленіяхъ своихъ Мефистофель не заключаетъ въ себѣ ничего чарующаго.

Демонъ вновь сталъ колоссальною фигурою подъ перомъ величайшаго поэта первой четверти настоящаго вѣка, Байрона, повліявшаго на весь цивилизованный міръ. Байронъ былъ могучимъ выразителемъ идей освобожденія, завѣщанныхъ интеллектуальнымъ и политическимъ движеніемъ второй половины прошлаго вѣка. Онъ протестовалъ противъ всякаго рода утѣсненія, духовнаго и политическаго, питалъ антипатію къ «тихому счастью безстрастнаго духа», къ спокойнымъ и умѣреннымъ характерамъ, любилъ изображать сильныя страсти, гордыя стремленія, своенравныя натуры съ безпокойнымъ и скептически настроеннымъ умомъ, одержимыя мрачнымъ отчаяніемъ и горькимъ негодованіемъ, имѣлъ въ себѣ нѣчто «сатанинское» («le satanique»), по выраженію Бодлэра, и сатана явился однимъ изъ типическихъ

---

1) Faust, I, 3, 984: Ich bin der Geist, der stets verneint!
Ср. ib., I, 4005: Auf Teufel reimt der Zweifel nur.
Мефистофель въ роли неумолимаго насмѣшника выступаетъ въ виршахъ, произнесенныхъ Гёте въ разговорѣ съ Luden'омъ въ 1806 г., и въ «Zahme Xenien». Объ имени Мефистофеля см. неудовлетворительную, впрочемъ, ст. *A. Rudolf*'а: «Der Name Mephistopheles» въ Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen, LXII (1879), S. 289—318.

2) Ib. 1006—1014.

3) Ib. I, Prol., 55—56.

4) Ib. 59—65.

представителей Байроновскаго протеста, что́ должно отнести отчасти ко вліянію Мильтона [1]).

Образъ «врага Бога и человѣка» представляетъ собою у Байрона въ высокой степени законченный типъ. Въ мистеріи «Каинъ», лучшемъ изъ драматическихъ произведеній Байрона, возвышенномъ, трогательномъ, но полномъ горечи и чрезвычайной смѣлости, «господинъ духовъ (master of spirits)» является непримиримымъ врагомъ Бога и всего существующаго порядка. Онъ принадлежитъ къ числу душъ, которыя

> .....дерзаютъ наслаждаться
> Своимъ безсмертьемъ и дерзаютъ также
> Всесильному въ глаза смотрѣть и прямо
> О томъ, что зло — не благо, говорить [2]).

Люциферъ, какъ и Каинъ, исполненъ недовольства существующимъ порядкомъ, горькаго негодованія, ненависти къ Всемогущему и не вѣритъ въ благость Божію. Рѣчи его дышутъ упорствомъ и сомнѣніемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ неукротимо гордъ. Все это находится въ связи съ его безпокойною натурой, отстаиваніемъ правъ и культомъ ума. Девизъ Люцифера сказался въ его совѣтѣ Каину:

> Будь независимъ. Умъ свободный можетъ
> Царить надъ міромъ. Умъ не ползать долженъ,
> Но возвышаться гордо надъ землею.

---

1) Новѣйшій этюдъ — *F. Blumenthal'я*: Lord Byron's Mystery «Cain» and ist Relation to Milton's «Paradise Lost» and Gessner's «Death of Abel» въ Städtische Ober-Realschule und Vorschule zu Oldenburg. Bericht über das 47. Schuljahr 1890—91. Авторъ игнорировалъ предшествующія монографіи объ источникахъ «Каина», напр., *Schaffner*'а Lord Byron's «Cain» und seine Quellen (Страсбургская диссертація), 1880 г. У Schaffner'а указаны монографіи о «Каинѣ», предшествовавшія его диссертаціи.

2) Souls who dare use their immortality,
Souls who dare look the omnipotent tyrant in
His everlasting face and tell him that
His evil is not good....

Уча такъ Каина, сколь рѣзко отличается Люциферъ отъ Мефистофеля, который старался прежде всего подѣйствовать усыпляющими, чарующими образами на чувство Фауста и побуждалъ послѣдняго отречься отъ умствованій и пуститься поскорѣе въ наслажденіе благами жизни:

Wir müssen das gescheiter machen,
Eh uns des Lebens Freude flieht [1]).

Люциферъ умѣетъ мастерски будить мучительныя сомнѣнія въ груди Каина и раздувать въ немъ протестъ противъ предполагаемой несправедливости Божіей. Вознесши Каина въ пространство міровъ, Люциферъ показалъ ему въ теченіе часа, какъ непзмѣримо великъ былъ міръ въ протекшія времена, какъ мелко и ничтожно настоящее и неутѣшительно будущее, и открылъ своему спутнику многія изъ тайнъ міротворенія и міровой жизни. На ряду съ высокими интеллектуальными дарованіями падшій ангелъ надѣленъ у Байрона небесной красотою и мало утратилъ изъ своей первоначальной лучезарности. Меланхолическій отпечатокъ несчастія, сообщенный его образу [2]), внушаетъ участіе къ нему [3]), и привлекательности діавола поддается не только Каинъ, но и Ада, которая говоритъ:

Пришельцу, что́ стоитъ передо мной,
Я отвѣчать не въ силахъ; не умѣю
Противиться и на него смотрю
Съ пріятнымъ, тайнымъ страхомъ; убѣжала бъ,
Но не могу. Его блестящій взглядъ
Сковалъ меня своей могучей силой;
Въ груди трепещетъ сердце ... онъ страшитъ

1) Faust, I, 3, 1085—1092 и 1464—1465.

2) Сравнивая Люцифера съ ангелами, Ада говоритъ:

Не лучезаренъ ты, быть можетъ, какъ они,
Но кажешься прекраснѣй ихъ и выше.

3) Ада говоритъ: «ты кажешься несчастнымъ», а Каинъ называетъ Люцифера «вѣчно грустнымъ».

И въ то же время ближе все и ближе
Влечетъ къ себѣ [1])....

Въ мистеріи Байрона «Heaven and Earth» (Небо и Земля) [2]) лишь мелькомъ поминается сатана. Творецъ

.....отдѣлилъ могучаго его
Отъ духовъ остальныхъ и въ славу мірозданья
Оставилъ средь небесъ вращаться одного,
Подобно солнцу межъ туманными звѣздами.
Онъ былъ прекраснѣй дня....
О, небо и земля, кто, кромѣ лишь Того,
Кто правитъ міромъ всѣмъ, кто силой и красою
Сравниться въ небѣ могъ съ могучимъ сатаною?

Но

.....его огненной волѣ
Было легче страдать, чѣмъ покорствовать долѣ.

Въ мистеріи «Небо и Земля» выведены ангелы, которые пали, поддавшись земной любви. Исходнымъ пунктомъ для Байрона послужило толкованіе повѣствованія 2-го ст. VI-й главы книги Бытія въ такомъ именно смыслѣ и апокрифическая книга Еноха [3]). Въ разсматриваемой мистеріи изображена, между прочимъ, взаимная любовь Аны и Аголибамы, принадлежавшихъ къ потомству Каина, и серафимовъ Азазіила и Саміазы; любовь земныхъ дще-

---

1) .....I cannot abhor him;
I look upon him with a pleasing fear;
And yet I fly not from him; in his eye
There is a fastening attraction which
Fixes my fluttering eyes on his; my heart
Beats quick; he awes me, and yet draws me near,
Nearer and nearer.

Ср. слова Ады: «Thou seem'st Like an ethereal night» и проч.

2) О ней см. диссертацію *G. Mayn*'a: Ueber Byron's «Heaven and Earth», Breslau (1887). Написана эта мистерія въ октябрѣ 1821 г., напечатана впервые въ 1822 г.

3) У Мильтона слѣды этой легенды — въ кн. V, ст. 447—448 «Потеряннаго Рая» и въ кн. XI, ст. 622 и слѣд.

рей эти ангелы предпочитаютъ небесной святости и блаженству, пребыванію «межъ звѣздъ и престола», раю и счастью тысячъ лѣтъ, и съ наступленіемъ потопа хотятъ унести своихъ милыхъ на одну изъ планетъ, становясь открытыми мятежниками противъ Бога. Байронъ имѣлъ въ виду чисто «человѣчный интересъ» («all the human interest») этой исторіи, каковой онъ, по его собственнымъ словамъ, «старался сообщить даже ангеламъ». Въ особенности останавливаетъ на себѣ вниманіе въ этой мистеріи прекрасная, задумчивая, кроткая, невинная, покорная и любящая робко и съ полною преданностію, Ана. Она мало

.....похожа на суровыхъ
И горделивыхъ Каина потомковъ,
За исключеньемъ дивной красоты,
Равно имъ всѣмъ низпосланной отъ Бога.

Она — образецъ чистѣйшей женственности со всею нѣжностію чувства, присущею женщинѣ. Она любитъ Бога и относится къ Его волѣ съ покорностію, — не такъ, какъ ея сестра Аголибама и остальное потомство Каина. Ану страстно обожаетъ мечтательный и сентиментальный Іафетъ, но она задумчиво возводитъ свои взоры къ звѣздамъ и любитъ Азазіила, и послѣдній возноситъ ее съ собою въ вышнія сферы, со словами:

.....Оставимъ, Ана, эту
Тюрьму изъ праха, созданную Богомъ,
Къ которой вновь стихіи подступаютъ,
Чтобъ превратить ее въ хаосъ, какъ было....
Свѣтлѣйшій міръ, чѣмъ этотъ, мы увидимъ,
Гдѣ будешь ты дышать эопромъ жизни.

Но брачный союзъ небожителей съ дочерьми праха былъ невозможенъ и не могъ принести счастья ни тѣмъ ни другимъ, и о томъ пророчески говорятъ и Іафетъ, и Ной, и Рафаилъ [1]).

1) Во второй, не написанной, части разсматриваемой мистеріи, Байронъ предполагалъ было изобразить осужденіе ангеловъ и гибель ихъ спутницъ, поглощенныхъ въ концѣ концовъ волнами потопа.

Почти одновременно съ Байрономъ ту же тему о взаимной любви ангеловъ и дочерей земли разработалъ англійскій же поэтъ Томасъ Муръ въ поэмѣ «The Loves of the angels», выпущенной въ свѣтъ до выхода Байроновой мистеріи. Мура плѣнила въ этой фабулѣ не только пригодность ея для поэтической обработки, но и возможность внесенія въ нее аллегорическаго смысла, преобразующаго судьбу души, лишающейся первоначальной чистоты и подпадающей наказаніямъ за гордость и дерзновенную попытку проникнуть во внушающія благоговѣніе тайны Божіи [1]). У Байрона исторія любви ангеловъ и дщерей человѣческихъ не развита вполнѣ: изображенъ лишь одинъ моментъ ея, — средній, тотъ, когда начиналась гибель Каинова потомства въ волнахъ потопа; у Мура же трое ангеловъ, любившихъ земныхъ дѣвъ, передаютъ полностію главнѣйшія обстоятельства своихъ отношеній съ этими дѣвами, включая и конецъ послѣднихъ, и чрезъ все это повѣствованіе сквозитъ довольно замѣтно аллегорическій смыслъ, указанный авторомъ въ предисловіи. — При сопоставленіи поэмы Мура съ Байроновой мистеріей явственно выступаетъ различіе міровоззрѣній того и другаго поэта. У Байрона постоянно проглядываетъ пессимизмъ какъ въ рѣчахъ почти всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, такъ и въ изображеніи ихъ судьбы. У Мура же ангелы, полюбившіе дщерей человѣческихъ, также наказаны Богомъ, но не ропщутъ на Него и не озлоблены противъ Него. Возлюбленная перваго ангела сразу становится блаженной, а третій ангелъ, посящійся въ пространствѣ вмѣстѣ со своею подругою подобно Дантовымъ Паоло и Франческѣ, будетъ принятъ со временемъ въ небо въ награду за вѣру въ Бога. У Мура, слѣдовательно,

1) In addition to the fitness of the subject for the poetry, it struck me also as capable of affording an allegorical medium, through which might be shadowed out (as I have endeavoured to do in the following stories) the fall of the Soul from its original purity — the loss of light and happiness which it suffers, in the pursuit of this world's perishable pleasures — and the punishments, both from conscience and Divine justice, with which impurity, pride, and presumptuous inquiry into the awful secrets of God, are sure to be visited. The Loves of the angels, a poem, By Thomas Moore, Preface.

повѣствованіе не мрачно протестующее, а примиряющее съ приговорами Промысла, благо устрояющаго, мудраго и справедливаго.

Лишь самое отдаленное отношеніе къ сюжету Лермонтовскаго «Демона» имѣетъ одинъ изъ эпизодовъ романа Мура «Lalla Rook», именно — носящій заглавіе «Paradise and the Peri», но интересно, что на сродный «Демону» сюжетъ наталкивалъ Байронъ Мура въ письмѣ отъ 28 августа 1813 г. «Я придумалъ было — писалъ Байронъ — исторію, основанную на любви Пери къ смертному, нѣчто въ родѣ «Влюбленнаго Бѣса» Казотта, но въ болѣе филантропическомъ родѣ. Въ нее однако потребовалось бы вложить пропасть поэзіи, а по части нѣжнаго чувства я не мастеръ. Вотъ причина, въ связи съ нѣкоторыми другими, побудившая меня отказаться отъ этой темы, которую я вамъ предлагаю единственно въ предположеніи, что вы могли бы ею воспользоваться» [1]).

Новый, весьма возвышенный и поэтичный, полетъ творческой фантазіи въ обработкѣ мотива о любви падшаго ангела къ женщинѣ сказался въ «мистеріи» Альфреда де-Виньи «Éloa, ou la Soeur des Anges», написанной въ 1823 г. и вышедшей въ свѣтъ въ 1824 г. [2]): Элоа, сестра ангеловъ, происшедшая изъ слезы Спасителя, пролитой при видѣ умершаго Лазаря [3]), увлекаемая любопытствомъ, спустилась въ низшую сферу, гдѣ усилилось зародившееся въ ней ранѣе состраданіе къ сатанѣ, и она

---

1) По мнѣнію г. *Тр-н-скаго*, Сѣверный Вѣстникъ 1891, № 12, стр. 102, Лермонтовъ могъ обратить вниманіе на это мѣсто «Мемуаровъ» Байрона, «которые онъ усердно перечитывалъ въ юные свои годы (1828—1832 гг.)», и «первая идея поэмы «Демона» была заимствована отсюда». Послѣднее замѣчаніе, какъ вскорѣ увидимъ, не вѣрно; можно сказать только, что въ поэмѣ Лермонтова уцѣлѣлъ слѣдъ знакомства его съ поэмою Мура въ словахъ: «какъ Пери спящая мила» и т. д.

2) *Asselineau*, Bibliographie romantique. Trois. éd., Paris MDCCCLXXIV, p. 279. Первоначально de Vigny хотѣлъ дать своей поэмѣ заглавіе «Satan».

3) Ср. у Клопштока происхожденіе Аббадоны изъ улыбки Іеговы и перенесеніе молитвы Христа на небо. У нѣмецкаго поэта имя Элоа носитъ первый изъ ангеловъ, возвышеннѣйшій и наичаще посылаемый Богомъ для исполненія Его велѣній.

согласилась раздѣлить скорбную участь послѣдняго. Въ задуманной, но не выполненной поэмѣ «Satan sauvé» de Vigny хотѣлъ представить сатану спасеннымъ любовью Элоа [1]). Этимъ вполнѣ выясняется возвышенная основная мысль поэмы de Vigny, оригинально внесенная имъ въ старую легенду [2]): поэтъ хотѣлъ символически представить всю глубину состраданія, къ какому способна высшая любовь, любовь невинной души, даже въ отношеніи къ крайнему злу, къ существу вполнѣ грѣховному, въ которомъ ангельская душа усматриваетъ лишь наиболѣе достойное жалости изъ самыхъ несчастныхъ существъ [3]); далѣе, онъ задумывалъ показать и всю силу, присущую такому состраданію, возможность для послѣдняго переродить зло любовію. Идея эта, несмотря на недостатки и промахи въ художественномъ выраженіи ея [4]), столь увлекала читателей, что поэма де-Виньи встрѣтила восторженные отзывы во Франціи [5]) и не перестаетъ доселѣ находить весьма благосклонную оцѣнку.

---

1) Тогда исполнилось бы то, о чемъ пѣли хоры небесные при появленіи Элоа:

Quand elle aura passé parmi les malheureux,
L'esprit consolateur se répandra sur eux.

Poèmes par *le comte Alfred de Vigny*. Cinquième édition. Brux. MDCCCXXXIV, p. 85.

2) Легенда о слезѣ Спасителя возникла еще въ средніе вѣка. См. *нашу* монографію: «Сказаніе о св. Граалѣ», К. 1877, стр. 197, прим. 2. Другія данныя для исторіи этой легенды будутъ указаны нами въ приготовляемой нами къ печати новой монографіи о Граалѣ.

3) Когда Элоа узнала исторію Люцифера,

La tristesse apparut sur sa lèvre glacée
Aussitôt qu'*un malheur* s'offrit à sa pensée.... (P. 86).
Et toujours dans la nuit un rêve lui montrait
Un Ange *malheureux* qui de loin l'implorait (P. 88) и т. п.

4) Таковы, напр., подробности о небожителяхъ въ родѣ слѣдующей:

Un Ange eut ces ennuis qui troublent tant nos jours....
Éloa s'écartant de ce divin spectacle,
Loin de leur foule et loin du brillant Tabernacle,
Cherchait quelque nuage où dans l'obscurité
Elle pourrait du moins rêver en liberté (P. 86—87).

5) В. Гюго, по выходѣ «Éloa», помѣстилъ восторженный отзывъ о ней въ «La Muse Française». Теофиль Готье назвалъ это произведеніе прекраснѣйшей

Въ то самое время, когда слагалась поэма Лермонтова о демонѣ, послѣдній привлекалъ вниманіе и нѣмецкихъ романтиковъ. У нихъ сатана получилъ особое истолкованіе въ смыслѣ міровой силы, какъ-бы играющей творческимъ процессомъ[1]). Immermann, представившій драматическую обработку средневѣковаго сказанія о волшебникѣ Мерлинѣ, въ которой хотѣлъ соперничать съ Гётевскимъ Фаустомъ, удѣлилъ видное мѣсто въ своей миѳической драмѣ («Merlin, eine Mythe», 1832) Сатанѣ, который предстаетъ то какъ отвратительное чудище, то какъ «прекрасный князь міра», провозвѣстникъ ликующей чувственности и чувственнаго наслажденія, богъ весны, сочетавающій въ себѣ пріятность съ величавостію [2]). Вопреки ученію Христа объ отреченіи отъ міра Сатана желалъ бы удержать пеструю, показную красоту на землѣ. Онъ овладѣлъ благочестивою, невинною дѣвушкой Кандидой, когда она, пришедши однажды къ знакомому отшельнику и оставшись за позднимъ временемъ ночевать въ одной ближней пещерѣ, отошла ко сну, позабывъ осѣнить себя крестнымъ знаменіемъ. Сатана надѣялся, что сынъ его отъ этой дѣвушки, Мерлинъ, явится противникомъ Христа и покорнымъ и крѣпкимъ орудіемъ демоническаго ученія; но онъ ошибся въ своемъ разсчетѣ, такъ какъ Мерлинъ унаслѣдовалъ на ряду съ чувственностію, демоническою мощью деміурга и обширнѣйшимъ, нечеловѣческимъ, знаніемъ,—благочестіе и мягкій нравъ своей матери,

---

поэмой, быть можетъ самой совершенной на французскомъ языкѣ. См. *Biré*, Victor Hugo avant 1830, Paris, Nantes 1883, pp. 317—324. De Vigny писалъ Гюго о своей поэмѣ: «Je le crois supérieur à tout ce que j'ai fait... Cette composition s'est beaucoup étendue sous mes doigts, elle renferme d'immenses développements».

1) Въ «Hexensabbath» Тика читаемъ: «Und was ist Luzifer? Die Kraft, die die Welt, die Bewegung, das Leben der Natur, Geist und Strömung der Materie in Bewegung setzt und durch scheinbare Vernichtung schafft, und durch scheinbare Schöpfung vernichtet».

2) *Immermann*, Merlin, eine Mythe, 683—686:

—Merlin: Ich grüsse dich, du schöner Fürst der Welt!
—Satan: So werd' ich stets den Adligen mich zeigen.
Die Missgestalt ist mir nur eigen
In der Plebejer Phantasie.

скорбѣвшей о своей участи и невинно погибшей послѣ рожденія сына, и потому мучился своимъ существованіемъ. Онъ былъ пророкъ, помышлявшій о спасеніи человѣчества, но не могшій осуществить своихъ идей, такъ какъ попытки его примирить чувственность и духъ были безуспѣшны. Мерлинъ хотѣлъ бы устранить произведенное Христомъ раздвоеніе въ мірѣ. Онъ признаетъ въ своемъ отцѣ, Сатанѣ, творца Деміурга, съ почтеніемъ называетъ его имя [1]) и, самъ того не замѣчая, дѣйствуетъ ему въ руку, но не поддается сознательно внушеніямъ его и, чуждый эгоизма, вполнѣ отдающійся міровому цѣлому [2]), поносимый Сатаною, до конца держится вѣры въ Бога. Мерлинъ весьма печально оканчиваетъ свою жизнь, поддавъ, въ ослѣпленіи своей чувственности, чарамъ магическаго слова, которое самъ же открылъ своей возлюбленной. Наиболѣе оригинально въ этой трагедіи представленіе Сатаны какъ-бы древнимъ, стѣсненнымъ въ своихъ правахъ, Титаномъ, родственнымъ кое въ чемъ гностическому Деміургу [3]).

Разсмотрѣнное произведеніе Immermann'a врядъ ли было извѣстно Лермонтову, какъ не могли повліять на зарожденіе и

---

1) Merlin, 756:

Was kümmert dich der Wahn der Laffen?
Du bist der Demiurgos, Schöpfer; wir erkennen,
Wir Wissenden dich an, und deinen Namen nennen
Wir achtungsvoll...

2) Ibid., 1637—1654. Здѣсь Мерлинъ говоритъ о себѣ, между прочимъ, слѣдующее:

Weil ich denn ganz mich an das All verschenkt',
Hat sich das All in mich zurück gelenkt,
Und in mich wachsen, welken, ruhn und schwanken
Nicht meine, nein! die grossen Weltgedanken.

3) Immermann такъ охарактеризовалъ своего Сатану: «Mein Satan ist nicht der Mephistopheles, der böse Lakai Gottes; er ist der alte berechtigte Titan, dem Unrecht geschehen, und hat etwas vom gnostischen Demiurgos». См. еще слова Мерлина Сатанѣ, V. 856 fgde:

Du kamst ja nur von ihm, und warst der Diener dessen,
Der dich zum Werke günstig auserkoren....
Er hat in dir sich als den Hass gesetzet,
Weil überschwenglich ihn die Liebe zog.... и т. п.

развитіе идеи «Демона» произведенія о Фаустѣ, явившіяся въ нѣмецкой литературѣ первыхъ 40 лѣтъ настоящаго вѣка, въ томъ числѣ «Фаустъ» Ленау, въ мысли котораго въ 1832 г. также носилось «цѣлое гнѣздо юныхъ привидѣній». Осталась, далѣе, безъ вліянія на Лермонтовскаго «Демона» поэма Ламартина «La chûte d'un ange», явившаяся позднѣе (1838), а также драматическая фантазія Крашевскаго «Szatan i kobieta» (1841). Далекъ отъ основной идеи Лермонтовскаго «Демона» и «Гимнъ Сатанѣ» повѣйшаго итальянскаго поэта Кардуччи, у котораго въ лицѣ Сатаны олицетворена «непобѣдимая сила человѣческой мысли», а также «великое начало и душа всего сущаго», и который привѣтствовалъ въ Сатанѣ «ribellione» и «forza vindice della ragione» [1]).

Въ нашей новѣйшей литературѣ А. С. Пушкинъ въ стихотвореніи «Демонъ» (1824 г.), если не ошибаемся, одинъ изъ первыхъ изобразилъ «злобнаго генія», который «тоской внезапной осѣнилъ» «часы надеждъ и наслажденій» поэта:

Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Непстощпмой клеветою
Онъ Провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ;
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ —

1) Отрывки изъ «Фауста» Ленау явились въ печати впервые въ 1835 г., цѣликомъ же вышло первое изданіе въ 1836 г. Русскій переводъ см. въ Пантеонѣ Литературы 1892, №№ 1 и 2. Въ 1833 г. Ленау писалъ, что въ Мефистофелѣ онъ хотѣлъ отложить всю свою адскую матерію, которою тотъ уже «beladen wie ein Steinesel. Wenn er nur nicht überhaupt ein Esel ist». —Гимнъ *Кардуччи* написанъ въ одну сентябрьскую ночь 1863 г., напечатанъ въ 1865 г. На русскомъ языкѣ о немъ можно прочесть въ статьѣ *О. Г.*: «Очерки новѣйшей итальянской поэзіи», Вѣстникъ Европы 1883, № 5, стр. 229—231.

И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

Быть можетъ, въ этомъ образѣ надо усматривать крайне рѣзкое обособленіе и наиболѣе яркое закрѣпленіе цѣлаго періода духовнаго развитія Пушкина, когда онъ впалъ въ юношеское разочарованіе и поддался скептицизму вопреки задаткамъ своей натуры, обладавшей неисчерпаемыми силами идеализма; быть можетъ, слѣдуетъ признать вмѣстѣ съ г. Поливановымъ [1]), что «Демонъ» Пушкина имѣетъ значеніе эскиза, который, будучи законченъ, остался отдѣльнымъ этюдомъ на пути созданія Онѣгина во II-й главѣ романа. Но весьма вѣроятно при этомъ, что Пушкинъ, при обрисовкѣ образа своего демона, имѣлъ въ виду черты Гётевскаго демона. Оттуда-то подробность объ искушеніи Провидѣнія клеветою. Не лишено, далѣе, значенія, что Веневитиновъ въ стихотвореніи, написанномъ, вѣроятно, послѣ Пушкинскаго «Демона», выразился о Гёте:

«Наставникъ нашъ, наставникъ твой».

Необходимо, наконецъ, признавать полное значеніе за тѣмъ пзъясненіемъ, которое самъ Пушкинъ давалъ созданному имъ образу демона: «Въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго... Мало по малу вѣчныя противорѣчія существенности рождаютъ въ немъ сомнѣніе... Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души. *Недаромъ великій Гёте называлъ вѣчнаго врага человѣчества духомъ отрицающимъ*... И Пушкинъ не хотѣлъ ли въ своемъ «Демонѣ» олицетворить сей духъ отрицанія или сомнѣнія и начертать въ *пріятной* картинѣ печальное вліяніе его на нравственность нашего вѣка?» Интересъ Пушкина къ «Фаусту» Гёте

1) См. ст. *Поливанова*: «Демонъ Пушкина. На основаніи новаго пересмотра рукописей поэта», въ Русскомъ Вѣстникѣ 1886, № 8, стр. 827—850, и «Сочиненія Пушкина съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики». Изданіе Льва Поливанова для семьи и школы, Т. I, М. 1887, стр. 141—145.

доказывается написанною нашимъ поэтомъ «Сценою изъ Фауста» (1825 г.), въ которой Кюхельбекеръ усматривалъ первоисточникъ основнаго построенія «Героя нашего времени». По словамъ Бѣлинскаго, эта сцена — не что иное, какъ развитіе и распространеніе мысли, выраженной Пушкинымъ въ его стихотвореніи «Демонъ».

Пушкинъ, въ своей творческой выработкѣ образа демона, не остановился на однѣхъ отрицательныхъ чертахъ характера демона. «Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья», презиравшій и ненавидѣвшій міръ, не вполнѣ утратилъ идеализмъ въ представленіи Пушкина. Въ стихотвореніи «Ангелъ» (1827 г.) «мрачный и мятежный» демонъ изображенъ въ тотъ моментъ, когда онъ узрѣлъ ангела, сіявшаго «въ дверяхъ Эдема»:

Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья
На духа чистаго взиралъ
И жаръ невольный умиленья
Впервые смутно познавалъ....

И демонъ призналъ, что для него не прошло безслѣдно созерцаніе лучезарнаго ангела:

Не все я въ мірѣ ненавидѣлъ,
Не все я въ мірѣ презиралъ.

Отсюда уже не далекъ переходъ къ тому представленію о демонѣ, которое найдемъ у Лермонтова.

Вотъ въ какихъ разнообразныхъ обрисовкахъ предстаетъ демонъ въ міровой литературѣ: онъ является то въ величавомъ видѣ вождя возстанія противъ неба въ началѣ міра или въ крупныхъ событіяхъ человѣческой исторіи (книга Бытія, Данте, Тассо, Фондель, Мильтонъ, Клопштокъ), то какъ искуситель отдѣльныхъ личностей съ цѣлью завлечь ихъ въ сѣти ада, какъ искуситель, который, по выраженію Фауста, «не будучи въ силахъ разрушать великое, началъ разрушать по мелочамъ» (цер-

ковныя легенды, Марло, Кальдеронъ, Гёте), то въ видѣ мелкаго интригана (повѣстенки и драмы среднихъ вѣковъ); въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ его изображали соблазнителемъ дѣвъ изъ желанія имѣть отъ нихъ сына, который могъ бы противопоставить отпоръ искупленію рода человѣческаго Христомъ (средневѣковые романы о Мерлинѣ и драма Иммермана), или вообще изъ злостнаго умысла лишать небо лицъ, ему дорогихъ и угодныхъ (легенды объ искушеніи дѣвъ, поэма де Виньи); въ новѣйшее время діаволъ оказывается представителемъ протеста и отрицанія во имя глубокой мысли, которой исполненъ (таковы Люциферъ Байрона и отчасти Гётевскій Мефистофель и Пушкинскій демонъ).

Ознакомившись съ исторіею сатаны въ міровой поэзіи, мы можемъ основательнѣе выяснить и оцѣнить образъ демона, созданный Лермонтовымъ.

Демонизмъ началъ занимать Лермонтова съ 15-тилѣтняго возраста (съ 1829 г.), если не ранѣе, — съ того времени, когда и нашъ юный поэтъ, проникшись недовольствомъ собою и всѣмъ остальнымъ, исполнился присущей Байронову Каину неудовлетворенности своимъ существованіемъ, боязни и ненависти къ смерти, которая должна прекратить это существованіе, призналъ, что жизнь не имѣетъ цѣны потому, что должно умереть, и пересталъ находить удовлетворительное объясненіе въ догмѣ преданія. Все это сближало Каина съ Люциферомъ, а нашего поэта съ тѣмъ и другимъ. Подобно Байронову Каину и Лермонтовъ началъ говорить, что Богъ создалъ человѣка только для страданій и смерти; и Лермонтовъ готовъ былъ усматривать въ людской судьбѣ дѣло Божіей несправедливости и протестовать противъ послѣдней подобно Люциферу и злымъ духамъ «Неба и Земли»; и Лермонтовъ готовъ былъ восклицать столь же горестно, какъ Іафетъ, послѣдними словами котораго въ мистеріи «Heaven and Earth» былъ возгласъ:

Why, when all perish, why must I remain? [1]).

Понятно послѣ этого, какъ Лермонтовъ пришелъ къ созданію своего «Демона».

Самъ поэтъ о своемъ увлеченіи этимъ любимымъ его образомъ демона сообщаетъ слѣдующее:

[Бѣсовъ вобще рисуютъ безобразныхъ].
Но я не такъ всегда воображалъ
Врага святыхъ и чистыхъ побужденій.
Мой юный умъ, бывало, возмущалъ
Могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній,
Какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно... И душа тоскою
Сжималася — и этотъ дикій бредъ
Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ [2]).

Очевидно, этотъ поэтическій образъ вызрѣвалъ въ воображеніи Лермонтова долго и постепенно.

Уже въ годъ составленія первой редакціи поэмы «Демонъ» (1829) поэтъ питалъ особый интересъ къ герою ея и началъ

---

1) См. выше и приведенное ниже заключеніе второго очерка «Демона» (III, 74). Въ раннихъ произведеніяхъ Лермонтова и въ тѣхъ выдержкахъ, которыя мы заимствовали изъ нихъ, напр., въ замѣчаніяхъ о томъ, что Богъ создалъ насъ для мученій (ср. «Каинъ», I, сц. 1, и «Небо и Земля», слова хора смертныхъ въ концѣ), мы встрѣтили не разъ совпаденіе съ идеями героевъ Байрона, являвшихся въ своихъ рѣчахъ выразителями мыслей самого Байрона, что можно сказать, напр., о Люциферѣ и Каинѣ. Мы сочли излишнимъ отмѣчать всѣ эти совпаденія въ частностяхъ.

2) II, 334—335. Ср. въ стихотв. «В. Л.» (1830: I, 89):

Нѣтъ, я не требую вниманья
На *грустный бредъ души* моей....

и въ посвященіи «Демона» В. А. Б. 1838 г. (III, 4):

И не узнаешь здѣсь простого выраженья
Тоски, мой бѣдный умъ томившей столько лѣтъ;
И примешь за игру иль сонъ воображенья
Больной души *тяжелый бредъ*....

открывать въ себѣ демонизмъ. Въ стихотвореніи «Демонъ» Лермонтовъ говоритъ:

Собранье золъ — его стихія...
.....унылъ и мраченъ онъ...
Онъ недовѣрчивость вселяетъ,
Онъ презрѣлъ чистую любовь... [1])

Быть можетъ, вслѣдъ за Пушкинымъ [2]), еще не возвысившись до гордаго отношенія Манфреда къ адской силѣ, Лермонтовъ надѣлилъ демона особою ролью, какъ-бы ролью древне-греческаго δαιμόνιον, духа, живущаго въ людяхъ, и вмѣстѣ значеніемъ голоса, немолчно смущающаго нашу душу указаніями на то, что есть мрачнаго, прискорбнаго и враждебнаго человѣку въ міропорядкѣ [3]). Лермонтовъ сдѣлалъ демона своимъ спутникомъ въ жизни и отчасти усвоилъ ему роль, какую Мефистофель игралъ въ отношеніи къ Фаусту. На первыхъ порахъ поэтъ не доходилъ еще до полнаго сближенія себя съ демономъ [4]), хотя въ Лермонтовѣ, по его собственнымъ словамъ, съ самаго ранняго дѣтства жилъ «мятежный духъ», и нашъ поэтъ, имѣя шестнадцать-семнадцать лѣтъ, отличался уже «язвительно-насмѣшливой улыбкой» [5]), и у него «былъ всегда злой умъ и рѣзкій языкъ» [6]). Два года спустя послѣ первыхъ обнаруженій интереса къ демону

---

1) I, 45.

2) См. разсмотрѣнное выше стихотвореніе послѣдняго «Демонъ» 1823 г. и примѣчаніе къ нему въ изд. Морозова, т. I, Спб. 1887, стр. 292—293.

3) Этотъ демонъ какъ-бы то же, что геній въ другомъ стихотвореніи, написанномъ въ томъ же 1829 г. («Къ Генію»: I, 31). О понятіи демоническаго см., между прочимъ, у *A. Metz*'а: Über Wesen und Wirkung der Tragödie, Berl. 1886, S. 13—15 и примѣч. 3. — Изъ Байронова «Манфреда» имѣемъ въ виду заключительныя слова Манфреда къ духу въ послѣдней сценѣ этой поэмы.

4) См. III, 49—50, посвященія 1-е и 2-е «Демона».

5) Записки Хвостовой, 78.

6) Тамъ же, 90; ср. 241 о послѣднемъ времени жизни Лермонтова. И въ концѣ своей жизни Лермонтовъ выказывалъ въ себѣ, по словамъ Панаева, «иногда что-то сатанинское и байроническое, пронзительные взгляды, ядовитыя шуточки и улыбочки, страсть показать презрѣніе къ жизни, а иногда даже задоръ бретера».

Лермонтовъ опредѣлилъ еще яснѣе значеніе, какое должно было принадлежать демонизму въ его жизни:

И гордый демонъ не отстанетъ,
Пока живу я, отъ меня
И умъ мой озарять онъ станетъ
Лучемъ чудеснаго огня.
Покажетъ образъ совершенства
И вдругъ отниметъ навсегда
И, давъ предчувствіе блаженства,
Не дастъ мнѣ счастья никогда [1]).

Въ томъ самомъ 1831 г., къ которому относится второе стихотвореніе съ заглавіемъ: «Мой Демонъ», Лермонтовъ писалъ:

Въ душѣ моей, какъ въ океанѣ,
Надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ [2]).
Никто не дорожитъ мной на землѣ,
И самъ себѣ я въ тягость, какъ другимъ.
Тоска блуждаетъ на моемъ челѣ.
Я холоденъ и гордъ, и даже злымъ
Толпѣ кажуся.... [3])

Въ 1832 г. Лермонтову не нравились люди обычные: «Всѣ люди— такая тоска: хоть бы черти для смѣха попадались» [4]). Въ 1831—1832 гг. Лермонтовъ воплотилъ черты демонизма въ горбачѣ Вадимѣ, героѣ неоконченной его повѣсти, въ которомъ изобразилъ отчасти собственную душевную жизнь [5]).

---

1) I, 218. Это стихотвореніе 1831 г. представляетъ, очевидно, передѣлку перваго, носящаго то же названіе: «Мой демонъ» и написаннаго въ 1829 г. (I, 45—46). Ср. въ поэмѣ Лермонтова 1830—31 г. обрисовку демона тѣми же чертами.— Стихотвореніе А. С. Пушкина, напечатанное въ Мнемозинѣ 1824 г. и перепечатанное въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ 1825 г., также носило заглавіе: «Мой демонъ».

2) I, 218.

3) I, 165.

4) V, 383.

5) V, 1 и III, 117.

Сопоставляя себя съ образомъ демона, какой лелѣялъ въ своемъ воображеніи, Лермонтовъ открылъ мало по малу и въ самомъ себѣ много родственнаго этому неотступному спутнику людскихъ заблужденій, скорбей и горя. Въ посвященіи ко второй редакціи «Демона» уже находимъ сближеніе автора съ демономъ[1]), и дѣйствительно, въ Лермонтовской поэзіи тѣхъ лѣтъ можно открыть немало тоновъ, сходныхъ съ настроеніемъ демона, какъ послѣдній изображенъ Лермонтовымъ. Въ нашемъ поэтѣ воплотилось отчасти самосознаніе вольнодумца XVIII-го вѣка, превозносившаго мощь разума, Вольтеровскій демонизмъ, гордая апотеоза воли человѣка[2]). Мрачно настроенный поэтъ «цѣпь предубѣжденій умомъ свободнымъ потрясалъ» и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ демонъ, «царь воздушный», чувствовалъ себя одинокимъ въ мірѣ, «привыкнувъ съ давнишнихъ дней не открывать свои желанья», хотя и «страшно жизни сей оковы намъ въ одиночествѣ влачить», былъ гордъ и

. . . . . чуждъ для свѣта,
Но чуждъ за то и небесамъ![3])

По временамъ онъ, подобно падшему ангелу, подпадалъ увлеченію земными прелестями, и въ тѣ моменты онъ могъ сказать о себѣ:

---

1) III, 55:

Какъ демонъ хладный и суровый,
Я въ мірѣ веселился зломъ;
Обманы были мнѣ не новы,
И ядъ былъ на сердцѣ моемъ.
Теперь, какъ мрачный этотъ геній,
Я близъ тебя опять воскресъ
Для непорочныхъ наслажденій,
И для надеждъ, и для небесъ.

2) V, 90: «Что можетъ противустоять твердой волѣ человѣка?.... воля.... есть отпечатокъ Божества, творческая власть, которая изъ ничего созидаетъ чудеса.... О, если бы волю можно было разложить на цифры и выразить въ углахъ и градусахъ—какъ всемогущи и всезнающи были бы мы!» («Горбачъ Вадимъ»).

3) I, 88—89; «Толпѣ» (1832): I, 228.

Я не плѣненъ небесной красотой;
Но я ищу земнаго упоенья....
И я къ высокому въ порывѣ думъ живыхъ,
И я душой летѣлъ во дни былые;
Но мнѣ милѣй страданія земныя —
Я къ нимъ привыкъ и не оставлю ихъ! [1])...

Но такія увлеченія не властвовали всецѣло поэтомъ; въ стихотвореніи «Прелестницѣ» (1830) онъ говоритъ:

...передъ идолами свѣта
Не гну колѣна я мои;
Какъ ты, не знаю въ немъ предмета
Ни сильной злобы, ни любви [2]).

Скептически относился поэтъ и къ «высокому на землѣ»:

Повѣрь — великое земное
Различно съ мыслями людей:
Свершп съ успѣхомъ дѣло злое —
Великъ, не удалось — злодѣй.... [3]).

Не удивительно, что какъ въ демонѣ было «пусто, пусто, какъ въ пустынѣ» [4]), такъ точно и въ поэтѣ водворилась «душевная пустота [5]), и въ душѣ его былъ такой же мракъ, какъ въ душѣ демона, которому «все горько сдѣлалось» [6]). Мрачно настроенное воображеніе рисовало крайне печальныя картины, и впечатлѣніе, какое онѣ вызывали, поэтъ выражаетъ въ словахъ:

Съ отчаяньемъ безсмертья долго, долго,
Жестокаго свидѣтель разрушенья,

---

1) I, 47. Ср. рѣчи Азраила III, 177, 179, 182.
2) I, 72. Ср. III, 51: Ему желанья были чужды, и т. п.
3) I, 76.
4) III, 176 и 51.
5) Ib., 50.
6) III, 52.

Я на Творца роптал, страшась молиться,
И я хотѣл изречь хулы на небо....[1])

При видѣ смерти друзей,

.....Долго, долго,
Ломая руки и глотая слезы,
Я на Творца роптал, страшась молиться!...[2]).

Демонъ Лермонтова, «полонъ скуки непонятной, скоро кинулъ міръ развратный», съ пренебреженіемъ относясь къ человѣческому обществу, въ которомъ нѣтъ постоянной любви; тамъ

.....страсти мелкой только жить,
Гдѣ не умѣютъ безъ боязни
Ни ненавидѣть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое —
Но дни бѣгутъ — и стынетъ кровь[3]).

Такъ и поэтъ находилъ, что

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви....[4]).

Демонъ, «все на свѣтѣ презирая, жилъ, не вѣря ничему и ничего не принимая»[5]). Лермонтовъ также постоянно противополагалъ свой индивидуальный міръ тираніи общественныхъ предраз-

---

1) I, 82. Ср. Байрона «Каинъ», II, сц. 2, и выше, на стр. 445, прим. 1.

2) I, 85.

3) III, 82; 183; 88; 102, 36. Ср. «Каинъ», II, сц. 1. О непостоянствѣ земной любви не разъ говорится въ поэзіи Лермонтова, напр., I, 69:

Иль женщинъ уважать возможно,
Когда мнѣ ангелъ измѣнилъ?

4) I, 273. Ранѣе Лермонтовъ говорилъ:

Любовь пройдетъ, какъ тѣнь пустаго сна.

5) III, 52 и 56.

судковъ, пошлости «глупаго, надменнаго свѣта». Какъ и Лермонтовъ, его Демонъ

Въ природу вникъ глубокимъ взглядомъ,
Душею жизнь ея обнялъ...

Онъ желалъ «въ толпѣ стихій мятежной сердечный ропотъ заглушить».

Поэтъ готовъ былъ даже гадательно переносить себя въ ситуацію, совпадающую съ отношеніемъ Демона къ Тамарѣ. Въ 1830 г. онъ писалъ къ неизвѣстной намъ личности:

Ты для меня была, какъ счастье рая
Для демона, изгнанника небесъ[1]),

а въ 1831 г.:

Быть можетъ, въ странѣ, гдѣ не знаютъ обмана,
Ты ангеломъ будешь, я демономъ стану[2]).

Довольно и этихъ выдержекъ, чтобы видѣть, какой интересный образчикъ поэтической иллюзіи представляетъ исторія замысла, приведшаго къ созданію перваго крупнаго поэтическаго произведенія Лермонтова и притомъ такого, надъ которымъ онъ наиболѣе работалъ, занимаясь имъ съ 15-лѣтняго возраста до конца жизни. Кажется, что въ теченіе своего продолжительнаго существованія въ литературѣ демонъ рѣдко встрѣчалъ до Лермонтова такого собрата въ средѣ людей, собрата, который въ такой мѣрѣ сжился бы съ дьявольскими думами и страданіями.

Образъ демона получилъ для юнаго поэта особый смыслъ, какъ олицетвореніе духа недовольства кратковременными радостями и эѳемерными благами жизни и демоническаго пессимизма, котораго былъ исполненъ самъ поэтъ въ средній періодъ своей жизни. Это недовольство лишало Лермонтова полнаго счастія, но, при всей мучительности настроенія, въ которое повергало, было

1) I, 74. Ср. въ указанномъ выше стихотвореніи «Ангелъ».

2) I, 222. Ср. ниже (стр. 480, прим. 3) выраженіе Лермонтова о своей любви, какъ о «потерянномъ раѣ».

вмѣстѣ съ тѣмъ для нашего поэта «лучемъ чудеснаго огня», «озарявшимъ» его «умъ»; оно сообщало его поэзіи энергію и значительный подъемъ.

Тотъ демонъ, котораго Лермонтовъ принялъ въ свои спутники, былъ обязанъ своею основною идеею отчасти Гётевскому, Байроновскому и Пушкинскому демону, какъ и самъ Лермонтовъ нѣсколько уподоблялся Гётевскому Фаусту разочарованіемъ даже въ наукѣ.

Но на ряду съ этимъ демонизмомъ въ душѣ поэта не умирала любовь [1]), которая доставляла моменты отрады, хотя и кратковременной. Любовь представляла контрастъ демонизму въ его исключительности, но контрастъ, который не разъ уживался съ послѣднимъ въ литературномъ преданіи, и такъ какъ Лермонтову была особливо дорога его чистая любовь къ предмету его постоянной сердечной привязанности съ лѣтъ юношества и до могилы, то неудивительно, что его по преимуществу заинтересовали тѣ фабулы о демонѣ, въ которыхъ гордый врагъ Бога подпадаетъ любви къ смертной, плѣнившей его своею душевною и внѣшнею красотою, и ищетъ успокоенія въ этомъ чувствѣ. Не удивительно, что поэтъ занялся съ чрезвычайною любовію переработкою этихъ легендъ: онъ, какъ то свойственно великимъ поэтамъ, влагалъ въ избранный сюжетъ часть собственной души и, одолѣвая его, одолѣвалъ то, что тяготило его духъ [2]). Слова Лермонтова 1841 г. о демонѣ поэмы этого имени:

. . . . . и этотъ дикій бредъ
Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ,

---

1) Ср. 115—116.

2) Ср. исторію созданія «Вертера» Гёте: написавъ этотъ романъ, Гёте отдѣлался отъ вертеризма. Недаромъ Лермонтовъ посвятилъ своего «Демона» Варварѣ Александровнѣ Лопухиной (по мужу Бахметевой), которую любилъ постоянно. См. III, 4 и 94. Ср. посвященіе передъ вторымъ очеркомъ «Демона» (III, 54—55); въ посвященіяхъ перваго очерка намекъ на любовь поэта есть, но слабѣе (III, 49—50).

Но я, разставшись съ прочими мечтами,
И отъ него отдѣлался стихами![1])

должны быть принимаемы, какъ косвенное указаніе на автобіографическое значеніе поэмы «Демонъ»[2]), вполнѣ отчетливо выступающее въ концѣ второго очерка ея (1830—1831), гдѣ Лермонтовъ говоритъ:

Я не для ангеловъ и рая
Всесильнымъ Богомъ сотворенъ;
Но для чего живу страдая,
Про это больше знаетъ Онъ.
Какъ демонъ мой, я зла избранникъ,
Какъ демонъ, съ гордою душой,
Я межъ людей безпечный странникъ,
Для міра и небесъ чужой.
Прочтя, мою съ его судьбою
Воспоминаніемъ сравни,
И вѣрь безжалостной душою,
Что мы на свѣтѣ съ нимъ одни[3]).

Въ 1841 г. поэтъ, склоняясь уже въ сторону Лесажевскаго представленія о бѣсѣ и возвысившись до болѣе реальнаго и

---

1) II, 335.

2) Ср. въ стихотвор. «Толпѣ» 1832 г. (I, 228):

Мои слова печальны, знаю,
Но смысла ихъ вамъ не понять.
Я ихъ отъ сердца отрываю,
Чтобъ муки съ ними оторвать.

3) III, 74. Ср. въ началѣ этого очерка, въ посвященіи, гдѣ читаемъ (III, 55):

Скажу ли — преданъ самовластью
Страстей печальныхъ и судьбѣ,
Я счастьемъ не обязанъ счастью,
Но всѣмъ обязанъ я тебѣ.

Далѣе слѣдуетъ то, что приведено на стр. 474, въ примѣч. 1:

Какъ демонъ хладный и суровый, *и проч.*

Ср. заключительныя строфы стихотв. А. С. Пушкина: «Къ А. П. Кернъ».

зрѣлаго выраженія своихъ идей, могъ назвать свое любимое произведеніе «безумнымъ, страстнымъ, дѣтскимъ бредомъ»[1]), но, тѣмъ не менѣе, оно имѣло глубокое значеніе въ его творчествѣ даже въ пору большей зрѣлости его таланта и сохраняетъ крупную цѣну[2]): недаромъ поэтъ съ такою любовію и такъ долго работалъ надъ «Демономъ», «кипя огнемъ и силой юныхъ лѣтъ».

Когда Лермонтовъ принялся за первые наброски своей поэмы, онъ зналъ уже и неукротимо-гордаго Мильтонова Сатану, сатану-революціонера, который предпочелъ царство въ аду рабству на небѣ, и Байроновскаго Люцифера, вѣчнаго врага Божія: и тотъ и другой величавы и въ самомъ паденіи не утратили первой красы. Оттуда-то, вѣроятно, чудная и вмѣстѣ страшная краса того демона, образъ котораго рано началъ тревожить душу поэта[3]).

---

1) См. II, 334 («Я прежде пѣлъ про демона иного» *и проч.*) и примѣч. 2 на стр. 471 и 2 на стр. 479. Готовъ также смотрѣть на «Демона» и Н. А. Котляревскій. — Русскій переводъ Лесажа вышелъ въ трехъ частяхъ подъ заглавіемъ: «Хромоногій бѣсъ. Соч. Ле Сажа. Пер. Пасынкова. Спб. 1832». Въ «Сказкѣ для дѣтей» бѣсъ названъ, впрочемъ, однажды Мефистофелемъ.

2) Такъ же точно и Гёте, написавъ «Вертера», могъ смотрѣть потомъ на вертеризмъ, какъ на пережитую точку зрѣнія, но никто не назоветъ «Вертера» ребяческимъ произведеніемъ.

3) Въ не разъ уже цитованной нами «Сказкѣ для дѣтей» 1841 г. Лермонтовъ такъ отличаетъ «великаго сатану» отъ мелкихъ бѣсовъ (II, 335):

То былъ ли самъ великій сатана,
Иль мелкій бѣсъ изъ самыхъ печиновныхъ,
Которыхъ дружба людямъ такъ нужна
Для тайныхъ дѣлъ семейныхъ и любовныхъ —
Не знаю.

Поэма Мильтона «Потерянный Рай» вышла въ русскихъ переводахъ въ С.-Петербургѣ (съ пріобщеніемъ поэмы «Возвращенный рай», 4 части, 1824) и въ Москвѣ незадолго до возникновенія перваго замысла Лермонтовскаго «Демона» и пользовалась большимъ успѣхомъ въ русской читающей публикѣ. Что Лермонтовъ былъ знакомъ съ Мильтоновой поэмою, видно изъ одного выраженія его, относящагося къ 1830 г.: первую свою любовь Лермонтовъ назвалъ «потерянным раемъ» (I, 111). См. также ниже, на стр. 491, примѣч. 3. Подробность о томъ, какъ демонъ влюбился въ монахиню, напоминаетъ повѣствованіе Мильтона о томъ, какъ Сатана, при видѣ невинности первой четы, полюбилъ ее, и эта любовь еще болѣе побудила его подчинить людей себѣ. У Мильтона есть также подробность о снахъ, которые навѣвалъ Сатана (С. III), и о состязаніи послѣдняго съ ангеломъ. Все это могло повліять на концепцію Лермонтовскаго

Зналъ Лермонтовъ и язвительнаго насмѣшника Мефистофеля [1]), и демона, который являлся Пушкину. Были извѣстны Лермонтову, далѣе, и нѣкоторые другіе литературные образы демона. Юный поэтъ не убоялся состязанія съ корифеями творчества и вышелъ изъ этого состязанія съ торжествомъ, которое тѣмъ значительнѣе, что сюжетъ, которымъ онъ занялся, представлялъ особыя трудности въ нашъ вѣкъ нерасположенія къ символизму въ поэзіи [2]).

Чѣмъ впервые было обращено вниманіе Лермонтова на сказаніе о любви демона къ смертной, притомъ обрекшей себя на служеніе Богу и соблюденіе дѣвства, мы точно не знаемъ [3]).

«Демона». Замѣтимъ еще, что не только Люциферъ Байрона грустенъ, но уже Сатана Мильтона испытывалъ «нескончаемую муку», какъ груститъ до извѣстной степени и Люциферъ народной книги о Фаустѣ и Мефистофель въ драмѣ Марло.

1) См. упоминаніе о Фаустѣ, относящееся къ 1830 г.: IV, 123. Мефистофель и Фаустъ являются также въ сатирѣ «Пиръ Асмодея» 1830 г.: I, 145.

2) Въ прошломъ столѣтіи Гёте въ письмахъ къ Шиллеру призналлъ сюжетъ Мильтоновой поэмы «abscheulich, äusserlich scheinbar und innerhalb wurmstichig und hohl». Авторъ новѣйшей оцѣнки поэзіи Лермонтова говоритъ о «Демонѣ»: «наше время не любитъ символовъ, не только субъективно-узкихъ, но и объективно-широкихъ, почему, читая эту поэму теперь, мы.... проходимъ мимо его главнаго героя съ какимъ-то предубѣжденіемъ или даже насмѣшкой» (*Н. Котляревскій*, 66). Кажется однако, что этотъ приговоръ отъ имени «нашего времени» слишкомъ преувеличиваетъ современную нелюбовь къ символизму въ поэзіи и въ частности отрицательное отношеніе къ «Демону» Лермонтова. Въ послѣднемъ передъ читателемъ выступаетъ символъ, но — весьма живой и понятный, имѣющій значеніе вполнѣ реальнаго существа, такъ какъ религіозное ученіе укореняетъ вѣру въ дѣйствительное его существованіе. Что до символизма вообще, то онъ врядъ ли можетъ быть отвергаемъ безусловно, и лишь крайности, вычурности и уродства, какими онъ отличается, напр., у нѣкоторыхъ современныхъ декадентовъ и символистовъ, неумѣстны и вредятъ въ поэзіи. Нельзя не признать вѣрными замѣчаній о символизмѣ, высказанныхъ Дидро еще въ прошломъ столѣтіи по поводу произведеній de La Grenée (См. «Salon de 1767»). Ср. еще статью *C. Meyer*'a: «Kunst und Symbol» въ Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1891, № 330 (Beilage-Nummer 279) и др. Даже въ лирикѣ символизмъ является могучею формою выраженія, болѣе дѣйствующею, чѣмъ непосредственное изліяніе чувства поэта, и потому поэты любятъ высказывать свое чувство не прямо, а заставляя его просвѣчивать сквозь какой-нибудь образъ природы или изображаемаго поэтомъ событія.

3) Утвержденіе *Висковатова*, что уже въ дѣтствѣ Лермонтова «его умъ поразило повѣрье о томъ, что духъ зла можетъ вернуться къ добру, если будетъ

Мы должны лишь ограничиться предположеніемъ, которое кажется намъ наболѣе вѣроятнымъ, именно — что исходнымъ пунктомъ

любимъ непорочною дѣвою», и что въ первыхъ очеркахъ «Демона» «сквозитъ и другое кавказское преданіе о демонѣ, полюбившемъ монахиню» (III, 117), ничѣмъ не подкрѣплено. Ни откуда не видно, чтобы такія кавказскія преданія были извѣстны Лермонтову въ 1829 г.: по крайней мѣрѣ, въ первомъ наброскѣ «Демона» не видно никакого слѣда такихъ преданій о спасеніи падшаго ангела любовію невинной дѣвушки. Во второмъ очеркѣ «Демона» изображена умирающая монахиня, шептавшая о демонѣ (III, 71):

Ты былъ любимъ и не любилъ,
Ты бъ могъ спастись, а погубилъ . . .

и, слѣдовательно, какъ-бы знавшая «преданіе о возможности для Демона возвратиться къ добру, какъ только онъ полюбитъ и будетъ любимъ непорочнымъ существомъ», — преданіе, неосновательно выводимое Висковатовымъ (III, 122) изъ словъ: «ужели небу я дороже всѣхъ» и проч.; но тамъ же прямо упоминается о невозможности исправленія «злаго духа» (III, 67):

. . . . . онъ перемѣниться
Не могъ бы. Это былъ лишь сонъ;
И поздно ль, рано ль пробудиться
На вѣки долженъ былъ бы онъ.
Умѣло зло укорениться
Въ его душѣ съ давнишнихъ дней:
Добро не ужилось бы въ ней, *и т. д.*

Ср. III, 57, 75, 80 и 84—85. Соотвѣтственно тому и себя, сближая съ демономъ, поэтъ называетъ «чужимъ для небесъ» (III, 74). Слѣдовательно, этотъ демонъ Лермонтова былъ похожъ на Сатану, соблазнившаго Элоа и лишь на мгновенье почувствовавшаго порываніе измѣниться въ своемъ существѣ. Таковъ же демонъ четвертаго очерка (см. III, 84—85). И въ пятомъ очеркѣ (1838 г.), по словамъ Висковатова (III, 96), «нѣтъ еще рѣчи Тамары, въ отвѣтъ на которую Демонъ произноситъ клятву. Въ этой рѣчи видно, что Тамара знаетъ повѣрье о томъ, что любовь непорочной дѣвы можетъ вернуть Демона къ добру. Словомъ, въ очеркѣ 1838 года ....Демонъ является еще искусителемъ, тогда какъ въ очеркѣ 1840 и 41 годовъ онъ дѣлаетъ попытку вернуться къ небесамъ, попытку безумную». Если бы вѣрно было это утвержденіе Висковатова о демонѣ послѣдняго очерка, то вотъ къ какому позднему времени пришлось бы отнести обнаруженіе идеи, источникъ которой Висковатовъ указываетъ въ кавказскихъ «сказаніяхъ о горномъ и зломъ духѣ, полюбившемъ дѣвушку, грузинку» (III, 119)! Самыми этими преданіями Лермонтовъ замѣтно воспользовался не ранѣе очерка 1838 г. Должно имѣть въ виду однако, что горный духъ грузинскихъ народныхъ сказаній не то, что демонъ, и послѣдній слабо выступаетъ въ этихъ сказаніяхъ. «Горнаго духа» Лермонтовъ такъ и называетъ. Далѣе, самъ же Висковатовъ отмѣчаетъ, что до 1838 г. въ «Демонѣ» «дѣйствіе происходило въ Испаніи» (III, 94). Висковатовъ (III, 117—118; ср. VI, 56—57) объясняетъ это тѣмъ, что «фантазія поэта въ то время была занята не Кавказомъ, а Испаніей»,

поэмы Лермонтова о демонѣ были произведенія сроднаго содержанія, не задолго до того явившіяся въ западной литературѣ; разумѣемъ поэмы: «Éloa» Альфреда де-Виньи [1]), отчасти «Marmion» Вальтеръ-Скотта [2]) и въ особенности «The loves of

---

но это замѣчаніе не вполнѣ вѣрно въ своей исключительности и нисколько не подкрѣпляетъ тезиса Висковатова о томъ, что источникомъ «Демона» послужили кавказскія преданія. Замѣтимъ еще, что въ первомъ очеркѣ совсѣмъ даже не видно пріуроченія дѣйствія къ Испаніи (III, 52); тамъ говорится только:

Въ полночь, между высокихъ скалъ,
Однажды падъ волнами моря,
Одинъ, безъ радости, безъ горя,
Бѣглецъ Эдема пролеталъ....

Что до перенесенія дѣйствія въ Испанію, то не слѣдуетъ ли спеціальную причину того искать въ одномъ изъ источниковъ, которые привели Лермонтова къ фабулѣ о любви демона къ монахинѣ? См., напр., легенду о благочестивой монахинѣ Юстинѣ, обработанную Кальдерономъ (1637 г.), о которой имѣется монографія: Calderon et Goethe ou le Faust et le Magicien Prodigieux. Mémoire de *Dr. Ant. Sanchez Moguel.* Trad. par. J.-G. Magnabal, Paris. 1883 г. Нѣмецкій переводъ этой драмы, принадлежавшій Gries'y, вышелъ въ 1816 г. Интересно, что во второмъ очеркѣ «Демона» Лермонтовъ называетъ своимъ источникомъ монастырскую легенду, «разсказъ таинственный», который «перевелъ на свой языкъ» «какой-то странникъ» (III, 60—61). Укажемъ, кстати, по поводу значенія, какое усвояется дѣвушкѣ легендъ объ исторженіи ею изъ узъ ада, что въ одной изъ балладъ Вальтеръ-Скотта дѣвушка поцѣлуемъ возвращаетъ къ жизни своего брата, убитаго ея женихомъ и явившагося къ ней изъ ада. Баллада эта могла быть извѣстна Лермонтову и въ русскомъ переводѣ, вышедшемъ въ 1827 г. («Битва при Ватерлоо, сочиненіе Вальтеръ-Скотта; съ присовокупленіемъ избранныхъ балладъ сего писателя, Москва»), но, конечно, мы не приписываемъ ей вліянія на замыселъ Лермонтова, приведшій къ созданію «Демона».

1) Что Лермонтовъ былъ знакомъ съ поэмою де-Виньи, свидѣтельствуетъ, кромѣ отголосковъ ея въ «Демонѣ», на которые будетъ указано ниже, отвѣтъ Лермонтова А. Шанъ-Гирею, приведенный послѣднимъ: Р. Обозр. 1890, № 8, стр. 747. Не отражается ли знакомство Лермонтова съ Элоа въ «Горбачѣ Вадимѣ», въ замѣчаніи объ Ольгѣ (V, 6): «это былъ ангелъ, изгнанный изъ рая за то, что слишкомъ сожалѣлъ о человѣчествѣ»?

2) Къ «Демону» Лермонтова имѣетъ нѣкоторое отношеніе тотъ эпизодъ «Марміона», въ которомъ говорится о монахинѣ (по переводу В. А. Жуковскаго):

Отступницѣ, дерзнувшей снять
Съ себя монашества обѣтъ,
И, сатанѣ продавъ за свѣтъ
Всѣ блага кельи и креста,
Забыть Спасителя Христа,

the angels» Томаса Мура[1]). Что до мистерій Байрона «Каинъ», изъ которой заимствованъ эпиграфъ ко второму очерку «Демона»[2]), «Небо и Земля» и драматической поэмы «Манфредъ», то онѣ, какъ и нѣкоторыя другія произведенія, оказали второстепенное вліяніе на замыселъ Лермонтова рѣзкимъ выраженіемъ того общаго пессимистическаго взгляда на міръ и жизнь людей, которымъ пропитаны Каинъ, Люциферъ, Манфредъ и большая часть дѣйствующихъ лицъ мистеріи «Небо и Земля»[3]), и предста-

---

и затѣмъ заживо погребенной по приговору безжалостнаго судилища. Что Лермонтовъ былъ знакомъ съ этимъ эпизодомъ, свидѣтельствуютъ тѣ стихи нашего поэта, которые составляютъ подражаніе слѣдующимъ соотвѣтствующимъ стихамъ «Мармiона», Canto II, XXXIII:

Even in the vesper's heavenly tone,
They seem'd to hear a dying groan,
And bade the passing knell to toll
For welfare of a parting soul.
Slow o'er the midnight wave it swung,
Northumbrian rocks in answer runs *и т. д.*

Въ концѣ поэмы Лермонтова «Исповѣдь» (II, 10) находимъ:

И въ эту ночь могильный звонъ
Былъ степи вѣтромъ принесенъ
Къ стѣнамъ обители другой,
Объятой сонной тишиной;
И въ храмъ высокій онъ проникъ....

Ср. душевное состояніе монахини, изображенной въ этой поэмѣ, съ описаніемъ того, какъ Тамара, стоя въ храмѣ, помышляла не о молитвѣ, а объ иномъ. Уже въ концѣ «Исповѣди» читаемъ слѣдующіе стихи (II, 11), которые, нашедши ихъ въ «Боярынѣ Оршѣ», *Спасовичъ* считаетъ навѣянными сходнымъ мѣстомъ «Валленрода» Мицкевича (Соч. *В. Д. Спасовича*, II, 358—359):

Когда жъ унылый звонъ проникъ
Въ обширный храмъ — то слабый крикъ
Раздался, пролетѣлъ и въ мигъ
Утихъ. Но тотъ, кто услыхалъ,
Подумалъ, вѣрно, иль сказалъ,
Что дважды изъ груди одной
Не вылетаетъ звукъ такой!....
Любовь и жизнь онъ взялъ съ собой.

1) Какъ видно изъ приведеннаго выше свидѣтельства Шанъ-Гирея, Лермонтовъ читалъ Мура одновременно съ Байрономъ. Совпаденія въ «Демонѣ» Лермонтова съ поэмою Мура будутъ указаны ниже.

2) III, 54.

3) Даже архангелъ Рафаилъ у Байрона не чуждъ этого пессимистическаго взгляда.

вителемъ котораго въ поэмѣ Лермонтова является Демонъ[1]). Такимъ образомъ «Демонъ» Лермонтова составляетъ творческій сплавъ мотивовъ, оставшихся въ воображеніи автора отъ впечатлѣній, произведенныхъ цѣлымъ рядомъ произведеній, съ которыми ознакомился поэтъ; при этомъ главнымъ источникомъ вдохновенія

1) Объ отношеніи Лермонтовскаго «Демона» къ Люциферу Байронова «Каина» говорили уже не разъ. См., напр., *В. Водовозова:* Новая русская литература, второе, дополненное изд., Спб. 1870, стр. 234 и слѣд. Въ послѣднее время о томъ же говорилъ *Мартьяновъ* въ статьѣ «Новыя свѣдѣнія о М. Ю. Лермонтовѣ», Историч. Вѣстникъ 1892, № 11, стр. 371—372. Ср. съ жалобою Демона на тоску 1-й монологъ Манфреда и далѣе II, 1, III, 1. Краски, которыми Демонъ разрисовывалъ Тамарѣ ожидавшее ее блаженство, напоминаютъ отчасти слова перваго духа въ той же поэмѣ «Манфредъ» и обѣщаніе Азазіила Анѣ въ концѣ мистеріи «Небо и Земля». Клятва Демона передъ Тамарой нѣсколько сходна съ клятвою голоса въ 1-й сценѣ «Манфреда». — Ср., далѣе, съ обрисовкою демона у Пушкина то, что говорится у Лермонтова (III, 82):

Онъ замѣшался межъ людей,
Чтобъ ядомъ пагубныхъ рѣчей
Убить въ нихъ вѣру въ Провидѣнье,

и отношеніе обоихъ демоновъ къ природѣ. Аналогію къ этой идеѣ о демонѣ, которую Висковатовъ считаетъ заимствованною изъ кавказскихъ преданій, представляютъ слѣдующія слова влюбленнаго бѣса-женщины у *Casotte*'а (изд. 1772, p. 45): «A peine vous vis-je sous la voûte, cette contenance héroïque, à l'aspect de la plus hideuse apparition, décida mon denchant: *Si*, dis-je à moi-même, *pour parvenir au bonheur, je dois m'unir à un mortel*, prenons un corps»... Отмѣтимъ тамъ же еще нѣкоторыя подробности, представляющія аналогію Лермонтовскому «Демону». Бѣсъ-героиня разсказа Cazotte'а, называющая себя «Fille du Ciel et des airs» (p. 80), «Sylphe d'origine et le plus considérable d'entre eux» (p. 94), выражаетъ слѣдующія гордыя мечты о счастіи, которое принесетъ ей и Альвару взаимная любовь: «Si je me réduis au simple état de femme, si je perds, par ce changement volontaire, le droit naturel des Sylphides & l'assistance de mes compagnes, je jouirai du bonheur d'aimer & d'être aimée. *Je servirai mon vainqueur;* je l'instruirai de la sublimité de son être, dont il ignore les prérogatives; *il nous soumettra* avec les éléments dont j'ai abandonné l'empire, *les esprits* de toutes les sphères. Il est fait pour être le Roi du monde & *j'en serai la Reine*, & la Reine adorée de lui» (p. 95—96). Глядя на свою возлюбленную, Альваръ, между проч., думалъ (p. 97—98): «Pourquoi une femme ne seroit-elle pas faite de rosée, de vapeurs terrestres & de rayons de lumière, des débris d'un arc-en-ciel condensés?»—Что до эпизода объ умерщвленіи жениха Тамары, то нѣкоторую аналогію тому находимъ въ сказкахъ. Такъ, въ индійскихъ сказкахъ Somadeva Bhatta, изъ Кашемира, изданныхъ Brockhaus'омъ, и въ другихъ индійскихъ сказкахъ говорится о томъ, какъ одинъ демонъ или толпа демоновъ губили искателей руки принцессы. Въ русскихъ сказкахъ говорится о девятиголовомъ змѣѣ, умерщвлявшемъ женіховъ. И т. п.

было сближеніе, въ которомъ поэтъ приравнивалъ себя къ демону, подобно послѣднему хватаясь за свою любовь, какъ за единственный выходъ изъ демоническаго пессимизма.

Наиболѣе совпаденій представляетъ поэма Лермонтова съ названной поэмою Мура: въ исторіи *одного* демона у Лермонтова повторяются подробности печальныхъ любовныхъ исторій трехъ ангеловъ Мура.

Отмѣчая черты сходства обоихъ этихъ произведеній, должно начать съ того, что какъ ангелы Мура утратили небо не въ силу прямаго возстанія противъ Бога, а лишь изъ-за любви къ земнымъ дѣвамъ, такъ и героиня «Демона» въ первомъ и второмъ очеркѣ этой поэмы въ началѣ была любима *ангеломъ* и любила его, и лишь потомъ влюбилась въ одного изъ демоновъ[1]), при томъ далеко не главнаго[2]).

Демонъ Лермонтова плѣнился Тамарой, пролетая надъ землею, какъ и первый ангелъ Мура[3]).

Демонъ смущалъ Тамару чарующими рѣчами, «мечтой пророческой и странной», внушая ей «страсть безотчетную», «тоску и трепетъ», навѣвая заманчивые сны, прежде чѣмъ предсталъ передъ нею. Такъ точно поступалъ съ красавицей, которую полюбилъ, и второй ангелъ Мура: онъ воспламенялъ фантазію дѣвы и возбуждалъ въ ней неясныя желанія въ снахъ и видѣніяхъ. Онъ говоритъ:

From the first hour she caught my sight,
I never left her—day and night
Hovering unseen around her way,

---

1) III, 50 («ангелъ любилъ смертную») и 64.

2) См. ниже.—Замѣтимъ, впрочемъ, что и въ мистеріи «Небо и Земля» Байрона дѣвы любятъ ангеловъ.

3) One morn, on earthly mission sent,...
I saw, from the blue element, и т. д.

The works of *Thomas Moore*, etc. Leipsic 1826, p. 110—111. Ср. ниже заимствованіе Лермонтовымъ изъ исторіи третьяго ангела подробности о возникновеніи любви въ демонѣ подъ вліяніемъ услышанной имъ пѣсни дѣвы.

And mid her loneliest musings near,
I soon could track each thought that lay,
Gleaming within her heart, as clear
As pebbles within brooks appear...
It was in dreams that first I stole
With gentle mastery o'er her mind—
In that rich twilight of the soul,
When Reason's beam, half hid behind
The clouds of sense, obscurely gilds
Each shadowy shape that Fancy builds—
'Twas then, by that soft light, I brought
Vague, glimmering visions to her view...
Myself the while, with braw, as yet,
Pure as the young moon's coronet,
Through every dream *still* in her sight[1])... и т. д.

Въ особенности монахиня Лермонтова своею «думой», «грустью скрытной», «печалью» (уже во второмъ очеркѣ), «невыразимою тоской, неизъяснимою заботой» походитъ на дѣвъ, которыхъ любили ангелы у Мура. Одна изъ послѣднихъ, Lilis, выказывала даже въ своей внѣшности чудное сочетаніе небеснаго и земнаго. Ея любовь обѣщала смѣшанныя услады обѣихъ сферъ:

All that the spirit seeks in heaven,
And all the senses burn for here![2]).

---

1) Ibid., p. 122. Ср. выше, въ прим. 3 на стр. 464, о *снахъ* Элоа. Уже во второмъ очеркѣ «Демона» первоначально были слѣдующіе стихи (III, 61):

. . . дѣва — взоръ яснѣй лазури —
При шумѣ капель дождевыхъ
Согласовала съ воемъ бури
Игру печальныхъ струнъ своихъ.
Но съ той минуты, какъ нечистый
Къ ней приходилъ въ ночи тѣнистой,
Она молиться ужъ нейдетъ *и т. д.*

См. еще III, 64.

2) Тамъ же.

Это была дѣвушка возвышенныхъ порываній. Она томилась жаждой все постигнуть на землѣ и на небѣ, хотя бы пришлось тотчасъ же послѣ того умереть. Она прониклась энтузіазмомъ, когда ангелъ началъ показывать ей чудеса міра, и стремленіе уносило ее все впередъ и впередъ, къ познанію тайнъ, недоступныхъ человѣческому разумѣнію[1]). Избранница перваго ангела была вполнѣ невинна, свободна отъ недостатковъ смертныхъ въ душѣ и тѣлѣ. Она была глубоко религіозна. Она мечтательно возводила взоры къ небу, неслась туда душой, желала бы быть духомъ звѣзды, особливо привлекавшей ее своимъ блескомъ и въ чистотѣ одиноко пребывавшей въ вышинѣ; эта дѣва хотѣла вознестись туда для того только, чтобы оттуда еще болѣе славить Единаго Вѣчнаго. Она полюбила Rubi не земною, а небесною любовью лишь за то, что онъ былъ ангелъ и принадлежалъ тому небу, къ которому она стремилась и возносила мольбы[2]).

Демонъ предсталъ во-очію Тамарѣ въ монастырѣ. Второй ангелъ у Мура также явился Lilis «въ священномъ мѣстѣ, избранномъ ею для молитвъ, въ гротѣ изъ чистѣйшаго мрамора»[3]).

Развязка поэмы «Демонъ» отчасти представляетъ какъ бы сліяніе развязокъ любовныхъ отношеній перваго и второго ангеловъ у Мура. Первый ангелъ пожелалъ однажды напечатлѣть поцѣлуй на устахъ Lea и едва произнесъ при этомъ таинственное слово заклинанія, которое должно было вознести его къ небу, слово, дотолѣ не выговаривавшееся ни передъ однимъ изъ существъ земли, какъ видъ Lea преобразился въ просвѣтлѣніи, и она поднялась къ звѣздѣ, къ которой столь часто уносилась прежде своею фантазіею, ангелъ же, наоборотъ, напрасно повторялъ мистическое слово — въ его устахъ оно не имѣло уже прежней силы, и онъ былъ обреченъ оставаться на землѣ[4]).

---

1) P. 123 и 125. Ср. обѣщанія демона Тамарѣ (III, 88):

«Толпу духовъ моихъ служебныхъ» *и проч.*

2) P. 112. Ср. монахиню во второмъ очеркѣ «Демона»: III, 58, 63—64.

3) P. 123.

4) P. 115—116.

Второй ангелъ лишился своей Lilis, когда предсталъ передъ нею, по ея просьбѣ, во всемъ блескѣ своего небеснаго величія; едва онъ сжалъ ее въ своихъ объятіяхъ, какъ пламень, исходившій отъ ангела, сжегъ дѣвушку, которая въ моментъ смерти напечатлѣла на его челѣ пламенный поцѣлуй [1]).

Изъ исторіи третьяго ангела и смертной, которую онъ полюбилъ, въ поэму Лермонтова вошли отдѣльныя мысли, впрочемъ — нѣсколько переработанныя въ нашемъ «Демонѣ». Такъ, доводы Демона о ничтожествѣ земныхъ благъ и чувствъ представляютъ нѣкоторое совпаденіе съ подобнымъ отзывомъ о земной любви у Мура [2]), а равно объясненіе вознесенія Тамары въ рай тѣмъ, что

---

1) P. 130—131. Ср. у Лермонтова (III, 37—38):

Могучій взоръ смотрѣлъ ей въ очи.
Онъ жегъ ее . . . . .
Смертельный ядъ его лобзанья
Мгновенно въ кровь ее проникъ . . .

Во второмъ и четвертомъ очеркѣ (III, 70 и 89):

Слабѣла, таяла, горѣла
Отъ неизвѣстнаго огня,
Какъ бѣлый снѣгъ отъ взоровъ дня . . . . .

Ср. разсужденія Висковатова III, 130—131.

2) У Мура читаемъ (P. 135):

Love was in every buoyant tone,
Such love, as only could belong
To the blest angels, and alone
Could, ev'n from angels, bring such song!
Alas, that it should e'er have been
The same in heaven at it is here,
Where nothing fond or bright is seen,
But it hath pain and peril near —
Where right and wrong so close resemble,
That what we take for virtue's thrill
Is often the first downward tremble
Of the heart's balance into ill, и т. п.

У Лермонтова (III, 102 и 36):

Безъ сожалѣнья, безъ участья
Смотрѣть на землю станешь ты,
Гдѣ нѣтъ ни истиннаго счастья *и проч.*

Она страдала и любила—
И рай открылся для любви[1]),

находитъ себѣ нѣкоторое соотвѣтствіе въ словахъ Мура:

. . . . . much doht Love
Transcend all Knowledge, ev'n in heaven!

Но есть и болѣе существенныя совпаденія. «Вдохновенная пѣвица»—монахиня Лермонтова напоминаетъ Наму Мура чудною игрою на лютнѣ («lute» и у Мура). Какъ о Zaraph'ѣ у Мура говорится:

'Twas first at twilight, on the shore
Of the smooth sea, he heard the lute
And voice of her he lov'd steal o'er
The silver waters, *и т. д.*,

такъ и о Демонѣ Лермонтова читаемъ въ первомъ и второмъ очеркахъ:

Однажды вечеромъ (въ первомъ очеркѣ: въ полночь)
межъ скалъ
И падъ сѣдой равниной моря...
Бѣглецъ Эдема пролеталъ...
Вдругъ тихій и прекрасный звукъ,
Подобный звуку лютни, внемлетъ
И чей-то голосъ.

У Мура говорится:

Въ четвертомъ очеркѣ (III, 87) читаемъ:

Ты будешь раздѣлять со мной
Вѣка безсмертнаго досуга,
И власть надъ бѣдною землей,
Гдѣ носитъ все печать презрѣнья,
Гдѣ межъ людей съ давнишнихъ лѣтъ
Ни настоящаго мученья,
Ни счастья безъ обмана нѣтъ.

1) III, 43. Въ образецъ совпаденій отдѣльныхъ выраженій отмѣтимъ у Мура (p. 122) «twilight of the soul», «This twilight world of hope and fear» (p. 135) и «сумерки души» у Лермонтова (см. ниже).

. . . . . upon the golden sand
Of the sea-shore a maiden stand,
Before whose feet the' expiring waves
Flung their last tribute with a sigh...;

такъ и у Лермонтова во второмъ очеркѣ первоначально было (III, 60):

Какъ часто дѣва у окошка
Взирала на берегъ морской...
На морѣ вихри бушевали,
И волны синія вставали...

Наконецъ, *моральный* смыслъ, на который указываетъ Муръ въ переданной имъ исторіи ангеловъ, присущъ и повѣствованію Лермонтова, хотя болѣе или менѣе полное совпаденіе замѣчается въ одномъ лишь отношеніи — въ характерахъ и стремленіяхъ дѣвъ, изображенныхъ тѣмъ и другимъ поэтомъ: любовь этихъ дѣвъ къ неземнымъ существамъ приноситъ имъ самимъ озареніе и возноситъ ихъ надъ чисто-земными помыслами.

Что до личности Лермонтовскаго Демона, то онъ не походитъ на ангеловъ Мура, а равно и на ангеловъ Байроновой мистеріи «Небо и Земля»[1]), представляющихъ сходство съ первыми. Онъ нѣсколько напоминаетъ «влюбленнаго бѣса» Cazotte'a[2]), близокъ къ Байронову Люциферу, но еще болѣе родства у него съ Сатаною Мильтона[3]) и съ демономъ Альфреда де-Виньи, также оказавшимъ значительное воздѣйствіе на поэму Лермонтова.

---

1) Равнымъ образомъ и Тамара не походитъ на Ану этой мистеріи: послѣдняя заявила, что она не менѣе любила бы Азазіила, если бы онъ и не былъ безсмертенъ.

2) См. выше, примѣч. 1 на стр. 485.

3) См. выше, на стр. 480, примѣч. 3. У Лермонтова — немало отдѣльныхъ мѣстъ и выраженій, напоминающихъ «Потерянный Рай» Мильтона. Къ указаннымъ ранѣе реминисценціямъ отмѣтимъ еще III, 83, 85, 93 и 106. Въ двухъ послѣднихъ мѣстахъ (1833 и 1838 гг.) читаемъ:

По слѣду крылъ его тащилась
Багровой молніи струя . .

Демонъ у Лермонтова, какъ и Сатана у де-Виньи, является искусителемъ дѣвы, невинная красота которой увлекаетъ его, какъ отблескъ неземной красы, и на мгновеніе въ душѣ того и другого пробуждаются тѣ добрыя чувствованія, которыя когда-то наполняли ихъ душу[1]). Такимъ образомъ, въ то время какъ у Байрона и у Мура изображено увлеченіе ангеловъ земною красотою, приводящее ихъ къ забвенію небеснаго блаженства, которымъ они дотолѣ наслаждались, у де-Виньи и въ особенности у Лермонтова, наоборотъ, демонъ, плѣненный ангельскою красотою земной дѣвы, начинаетъ испытывать порывы къ возрожденію въ себѣ прежней чистоты духа. У нашего поэта эта мысль оттѣнена весьма отчетливо. Она выступала все замѣтнѣе и замѣтнѣе при послѣдовательныхъ обработкахъ поэмы, при чемъ и демонъ пріобрѣталъ все болѣе и болѣе поэтической красы, да и возлюбленная демона въ послѣдовательныхъ редакціяхъ становилась все выше и выше въ своей духовной организаціи. Какая громадная разница между дѣвою Азраила и монахинею перваго очерка съ одной стороны и Тамарою послѣднихъ редакцій «Демона» съ другой! Лермонтовъ какъ-бы хотѣлъ олицетворить въ своемъ демонѣ тяжесть исключительнаго сомнѣнія и отрицанія, невозможность для личности успокоиться на томъ и другомъ, и испытываемую ею и послѣ разочарованія потребность найти какое-нибудь

Посла *потерянаго рая*
Улыбкой горькой попрекнулъ.

Выраженіе «посла потерянаго рая» есть и въ концѣ второго очерка (1830—1831 гг. III, 74); первоначально въ томъ же очеркѣ были также стихи (III, 62):

Изгнанникъ помнитъ свѣтъ небесъ,
Огни *потерянаго рая* . . .

Въ третьемъ очеркѣ читаемъ (III, 75):

Ты не найдешь *потерянный* свой *рай* . . .

1) Въ душѣ демона у де-Виньи подъ вліяніемъ любви добро чуть было не восторжествовало надъ зломъ:

Qui sait? le mal peut-être eût cessé d'exister?

Какъ сказано уже выше, де-Виньи задумывалъ изобразить въ концѣ спасеніе Сатаны любовью Элоа. Вѣрованіе въ возможность исправленія для діавола ведетъ свое начало съ отдаленнаго времени. См. *Graf*, l. c., 422 и слѣд.

положительное начало жизни хотя бы въ такомъ узкомъ ограниченіи послѣдняго, какъ любовь къ единому существу. Эта любовь, какъ скоро станетъ якоремъ спасенія, можетъ постепенно возвышать проникающуюся ею личность къ нравственному возрожденію, устраняя въ ней эгоизмъ гордаго отрицанія, коренящійся въ крайнемъ индивидуализмѣ. Понятно послѣ того, что Лермонтовъ отличалъ своего Демона отъ демона де-Виньи [1]), какъ разнится своимъ нравственнымъ складомъ Демонъ Лермонтова и отъ Байронова Люцифера.

Еще болѣе различія замѣчается въ героиняхъ поэмъ Лермонтова и де-Виньи. Правда, Тамара, не будучи женщиной-ангеломъ, какова Элоа, все-таки по своей духовной организаціи была изъ существъ необычныхъ:

Творецъ изъ лучшаго эѳира
Соткалъ живыя струны ихъ;
Онѣ не созданы для міра,
И міръ былъ созданъ не для нихъ [2]).

---

1) А. Шанъ-Гирей предлагалъ такой планъ «Демона»: «отнять у Демона всякую идею о раскаяніи и возрожденіи, пусть онъ дѣйствуетъ прямо съ цѣлью погубить душу святой отшельницы; чтобы борьба Ангела съ Демономъ происходила въ присутствіи Тамары, но не спящей; пусть Тамара, какъ высшее олицетвореніе нѣжной женской натуры, готовой жертвовать собой, переходитъ съ полнымъ сознаніемъ на сторону несчастнаго, но, по ея мнѣнію, кающагося страдальца, въ надеждѣ спасти его; остальное все оставить какъ есть, и стихъ:

Она страдала и любила,
И рай открылся для любви . . . .

спасаетъ эпилогъ. «Планъ твой, отвѣчалъ Лермонтовъ, недуренъ, только сильно смахиваетъ на Элоу, soeur des anges, Альфреда де-Виньи. Впрочемъ, объ этомъ можно подумать». Р. Обозр. 1890, № 8, стр. 747.

2) III, 43. Въ восхищеніи Лермонтова реальною высшею женской красотою отзывался платонизмъ. Вотъ какъ говоритъ поэтъ, описывая «подъ видомъ дѣвы горъ, созданіе земли и рая» (II, 85—86):

И кто бъ, ее увидѣвъ, молвилъ: нѣтъ!
Кто прелести небесъ, иль даже слѣдъ
Небеснаго, разсѣянный лучами
Въ улыбкѣ устъ, въ движеньи черныхъ глазъ —
Все, что такъ дружно съ первыми мечтами,

Въ этомъ отношеніи Тамара, будучи близка къ подругамъ ангеловъ Мура, не совсѣмъ далека и отъ Элоа. Первоначально уподоблялась она послѣдней и въ томъ, что демонъ завлекъ ее изображеніемъ прелести любви хотя бы и въ аду, на который вдобавокъ Богъ не обращаетъ вниманія (см. во второмъ очеркѣ):

Она. Насъ могутъ слышать!...
Дем. Мы одни!
Она. А Богъ?
Дем. На насъ не кипетъ взгляда.
Онъ небомъ занятъ, не землей!
Она. А наказанье, муки ада?

Все, что встрѣчаемъ въ жизни только разъ —
Не отличитъ отъ красоты ничтожной,
Отъ красоты земной, нерѣдко ложной?
И кто, кто скажетъ, совѣсть заглуша:
Прелестный ликъ, но хладная душа!
Когда онъ вдругъ увидитъ предъ собою
То, что сперва почелъ бы онъ душою
Освобожденныхъ отъ земныхъ цѣпей,
Слетѣвшихъ въ міръ, чтобъ утѣшать людей.

Ср. стр. 108 и образъ Тамары. Ср. о «чисто-идеальныхъ грезахъ» Лермонтова у *А. Н. Гилярова:* Платонизмъ, какъ основаніе современнаго міровоззрѣнія въ связи съ вопросомъ о задачахъ и судьбѣ философіи, М. 1887, стр. 43 и слѣд. Гиляровъ ссылается на стихотворенія: «Первое января» и «Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски». См. однако примѣч. 2 на стр. 447. Въ стихотв. «Любовь мертвеца» (1840), наоборотъ, видимъ мечту безъ платонизма:

Я видѣлъ прелесть безтѣлесныхъ,
И тосковалъ,
Что образъ твой въ чертахъ небесныхъ
Не узналъ . . . .
Ласкаю я мечту родную
Вездѣ одну;
Желаю, плачу и ревную,
Какъ въ старину.

Ясно, какъ платоническія грезы Лермонтова имѣли исходный пунктъ въ дѣйствительномъ чувствѣ и сливались съ нимъ. Ср. еще стих.: «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю» . . . (1841). — Интересный примѣръ обожанія только въ мечтѣ встрѣчается у Стендаля (Beyle'я), усиливавшагося «воплотить свою мечту».

Дем. Такъ что жъ? Ты будешь тамъ со мной!
Мы станемъ жить любя, страдая,
И адъ намъ будетъ стоить рая!
Мнѣ рай вездѣ, гдѣ я съ тобой!

Далѣе, когда демонъ обольстилъ дѣву, «она покидаетъ ангела, но скоро умираетъ и дѣлается духомъ ада»[1]). Но потомъ между Элоа и Тамарою усматривается коренное различіе. Уже при первомъ знакомствѣ съ исторіею Сатаны состраданіе, являющееся одною изъ первыхъ ступеней любви, закралось въ душу Элоа, склонной къ милосердію по самой своей природѣ, по происхожденію изъ слезы, пролитой Христомъ при видѣ умершаго Лазаря. Кромѣ того, Сатана прельщаетъ ангельскую дѣву Элоа у де-Виньи замапчивою разрисовкою утѣхъ любовнаго единенія, и ангельски-невинное существо, уже предварительно проникшись состраданіемъ, поддается прпманкѣ этой непзвѣданной имъ прелести; никакихъ другихъ увлекательныхъ обѣщаній Элоа не слышитъ отъ демона, потому что ничего лучшаго и не могъ онъ пообѣщать ей помимо того, что она уже знала и чѣмъ наслаждалась на небѣ. У Лермонтова рѣчи демона иныя. Демонъ не только противополагаетъ «повѣсти тягостныхъ лишеній, трудовъ и бѣдъ толпы людской»[2]) свою «безсмѣнную печаль», такъ что Тамара «не-

1) Это находимъ въ первомъ очеркѣ «Демона» (III, 50—51); во второмъ очеркѣ уже замѣчается нѣкоторый поворотъ къ Божію оправданію Тамары въ молитвѣ ангела, которому, казалось, сочувствовала и природа, «за душу грѣшницы младой» (III, 73—74).—Замѣтимъ, для параллели, что и развязка народной нѣмецкой драмы о Фаустѣ — трагическая; у Лессинга же торжество Сатаны надъ Фаустомъ оказывалось преждевременнымъ, и на дѣлѣ этому торжеству не суждено было состояться по волѣ Бога, о чемъ возвѣстилъ ангелъ въ прологѣ; такимъ образомъ, у Лессинга предполагалась примиряющая развязка, какъ въ «Johann Faust, ein allegorisches Drama in 5 Aufzügen» (1775, München) и у Гёте. Послѣдній однако хотѣлъ первоначально дать своей драмѣ развязку въ духѣ народной книги, что̀ доказываетъ *W. Gwinner* въ монографіи: Goethes Faustidee nach der ursprünglichen Conception aufgedeckt und nachgewiesen. Frankfurt a. Main, 1892.

2) III, 101 и 32. Приводя выдержки изъ редакціи «Демона», впервые напечатанной у Висковатова (III, 6—45) и признанной имъ за «окончательную обработку 1840—1841 гг.», мы тѣмъ еще не заявляемъ своего согласія съ мнѣніемъ

вольно и съ отрадой тайной» слушаетъ «страдальца» [1]), который не разъ

. . . . . передъ нею
Съ челомъ развѣнчаннымъ стоялъ,
Онъ отъ нея спасенья ждалъ,
Любить и вѣровать не смѣя.
Онъ такъ смотрѣлъ, онъ такъ молилъ,
Онъ, мнилось, такъ несчастливъ былъ... [2]);

помимо того, Демонъ указываетъ Тамарѣ на все ничтожество и пошлость людской жизни, на то, что на землѣ

. . . нѣтъ ни истиннаго счастья,
Ни долговѣчной красоты,
Гдѣ преступленья лишь да казни,
Гдѣ страсти мелкой только жить,
Гдѣ не умѣютъ безъ боязни
Ни ненавидѣть, ни любить [3]).

Замѣчаніемъ о полной непрочности земныхъ привязанностей Демонъ заканчиваетъ внушеніе Тамарѣ того пессимизма, который можетъ быть присущъ всякому идеализму, извѣдавшему на опытѣ всѣ обманы и горечь жизни. Послѣ того Демонъ начинаетъ обольщать воображеніе Тамары картиною иного существованія, къ которому она «присуждена», намекнувъ предварительно на высшую духовную организацію Тамары, на то, что она не можетъ удовлетвориться ничтожнымъ жребіемъ людскимъ. Послѣднее было вѣрно угадано Демономъ, и его искусныя рѣчи достигли

Висковатова объ этомъ текстѣ. Хотя Второе отдѣленіе Имп. Академіи Наукъ и приняло мнѣніе Висковатова (Журналъ Мин. Нар. Просв. 1892, № 5), но возраженія и сомнѣнія, высказанныя относительно находки Висковатова гг. Суворинымъ, Мартьяновымъ и др., не устранены, и вопросъ о послѣднемъ текстѣ «Демона» все еще требуетъ разработки.

1) III, 33—34.
2) III, 95, 24.
3) III, 102 и 36; ср. ib. 87. См. выше, на стр. 489, прим. 2.

цѣли, которую онъ имѣлъ въ виду. Сердцемъ Тамары не только овладѣваетъ глубокое состраданіе къ тому, кто казался столь несчастливымъ въ безсмѣнной и безконечной печали и мукахъ демонизма, которыхъ никакой другой поэтъ не передавалъ съ такою силою, какъ Лермонтовъ устами своего Демона; Тамару увлекаютъ не только нечеловѣческій пылъ любви Демона и сила «нездѣшней страсти», изливающаяся въ рѣчахъ, полныхъ чарующей прелести, «огня и яда», со «всѣмъ упоеньемъ безсмертной мысли и мечты»[1]); «полное гордыни» сердце Тамары окончательно плѣняютъ такія обѣщанія, очаровывающія слухъ, самое пылкое воображеніе и сердце, какъ слѣдующія:

Мы, дѣти вольнаго эѳира,
Тебя возьмемъ въ свои края,
И будешь ты царицей міра...
Пучину гордаго познанья
. . . . . *открою я тебѣ*...
И вѣчность дамъ тебѣ за мигъ...
Толпу духовъ моихъ служебныхъ
Я приведу къ твоимъ стопамъ...
И для тебя съ звѣзды восточной
Сорву вѣнецъ я золотой...
Я дамъ тебѣ все, все земное...[2]).

У Байрона и также у Мура изображено увлеченіе земною красотою до забвенія небесной. У Лермонтова видимъ, наоборотъ, увлеченіе красотою, сообщающее нѣкоторый нравственный подъемъ даже демону; Тамара же, подобно Lea и Lilis Мура, подпадаетъ любви въ порывахъ къ неземному счастію и высшему свѣту. Тамара поддается искушенію, но немедленно умираетъ,

1) III, 99, 30.

2) III, 88—89, 102—104; 36—37. Ср. IV, 240, слова Владиміра въ пьесѣ «Странный человѣкъ»: «Развѣ я повѣрю, чтобъ ты могла забыть того, кто бросилъ бы вселенную къ ногамъ твоимъ, если бъ долженъ былъ выбирать вселенную или тебя».

чтобы перейти въ тотъ самый горній міръ, мечта о которомъ плѣнила ее въ рѣчахъ Демона, и за эту, вѣроятно, мечту вѣчная, Божественная правда приняла Тамару въ свою обитель, какъ приняла Маргариту и Фауста. Въ словахъ позднѣйшихъ очерковъ:

Цѣной жестокой искупила
Она сомнѣнія свои.....
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви [1]),

не совсѣмъ ясно опредѣляется намъ причина Божія милосердія къ Тамарѣ. Оправданіе послѣдней заключается, надо думать, не исключительно въ томъ, что она въ силу нѣжности, свойственной женской натурѣ, руководилась по преимуществу любовію, но и

1) III, 43 и 123; ср. выше, на стр. 493, примѣч. 1. Сомнѣнія поминаются и на предыдущей страницѣ. Висковатовъ (III, 122) объясняетъ «сомнѣнія» Тамары и прощеніе, дарованное ей небомъ, такъ: «Тамара думаетъ, что, полюбивъ Демона, она исполняетъ волю небесъ, почему и требуетъ съ него клятвеннаго обѣщанія въ его возвращеніи на путь добра .... Вотъ потому-то небо и прощаетъ Тамарѣ ея проступокъ, и ангелъ принимаетъ ея душу. Она преступаетъ не ради грѣховнаго увлеченія, а ради самыхъ высокихъ завѣтовъ любви. Ее влекло, быть можетъ, ошибочное, но все же возвышенное стремленіе служить благу людей, пресѣчь зло, представителемъ коего являлся ей Демонъ. Правда, она не вполнѣ довѣряетъ ему:

Ужель ни клятвъ, ни обѣщаній
Ненарушимыхъ больше нѣтъ?

Это крикъ послѣдняго ужасающаго сомнѣнія. Ей хочется вѣрить въ успѣхъ добра». См. еще III, 128. Должно замѣтить однако, что, склонясь къ рѣчамъ Демона, Тамара не имѣла полной увѣренности въ томъ, что совершала доброе дѣло. Даже въ ея послѣднемъ крикѣ «мучительномъ», хотя и «слабомъ», слышались, на ряду съ любовію, «страданье» и «упрекъ съ послѣднею мольбой» (III, 38, 104). «Сомнѣнія» Тамары надо понимать въ смыслѣ «всегдашней борьбы» (III, 19) въ ея душѣ, борьбы, происходившей не только въ моментъ прямой встрѣчи съ Демономъ, но и ранѣе, когда Тамара, «тоской и трепетомъ полна» (III, 19), была занята «беззаконною» или «безпокойною мечтой» (III, 95), когда ея «тревожныя мечтанія» были «къ *нему* обращены» (III, 24), когда сердце Тамары «молилось ему», т. е. Демону (III, 19), когда ей было все «предлогъ мученью» (III, 23). Во второмъ очеркѣ первоначально были стихи (III, 73):

Увы, напрасныя моленья,
И *страстямъ* нѣтъ уже прощенья . . .

Ср. выраженіе о Тамарѣ, какъ о «грѣшницѣ» (см. выше, на стр. 495, примѣч. 1 и ниже, на стр. 505, примѣч. 4).

въ другихъ ея душевныхъ движеніяхъ, приведшихъ къ торжеству искусителя. Тамара вняла мольбамъ Демона не сразу, а съ душевной борьбой (отъ того «она страдала»), и уступила, стараясь обмануть себя клятвами его въ томъ, что онъ уже не врагъ Бога. Любовь Тамары къ Демону была нѣсколько отлична отъ чистогрѣховной любви: въ любви Тамары съ чувствомъ состраданія, хотя бы даже къ духу злобы, слившись и нѣкоторая надежда на обращеніе этого духа къ добру, и идеалистическія увлеченія міромъ вышнимъ, и такая любовь могла возвести къ высшему спасенію, при чемъ восторжествовало бы добро надъ примѣсью зла, между тѣмъ какъ, по первоначальному замыслу Лермонтова, Демонъ всецѣло овладѣвалъ предметомъ своей страсти, измѣнившимъ ради діавола даже любившему монахиню и дотолѣ любимому ею ангелу, какъ и Элоа поддалась довольно скоро Сатанѣ, оставивъ міръ ангеловъ[1]). Такъ, въ концѣ поэма Лермонтова

---

1) Несомнѣнно, что приведенная выше въ текстѣ второго очерка (III, 69 сцена бесѣды Демона съ Тамарой у Лермонтова имѣетъ своимъ прообразомъ бесѣду Элоа съ Сатаною у de Vigny (p. 116—117):

«Viens! — M'exiler du Ciel? — Qu'importe, si tu m'aimes?
Touche ma main. Bientôt dans un mépris égal
Se confondront pour nous et le bien et le mal.
Tu n'as jamais compris ce qu'on trouve de charmes
A présenter son sein pour y cacher les larmes . . .
— Je t'aime et je descends. Mais que diront les Cieux?» . . . .
Des plantes de douleur, des réponses cruelles,
Se mêlaient dans la flamme au battement des ailes . . . .
«J'ai cru t'avoir sauvé . . . .
— Si nous sommes unis, peu m'importe en quel lieu» . . .

Ср. III, 69, 96 и 102. Но какъ прекрасно переработалъ заимствованную идею Лермонтовъ, сколь значительно поднялся онъ надъ своимъ оригиналомъ! Крупный недостатокъ разсматриваемой сцены de Vigny хорошо указалъ *E. Faguet*, Dix-neuvième siècle, Par. 1892, p. 144—145: «Eloa est inférieure et presque infidèle à elle-même dans la dernière partie de son développement. Tant que le poète en est à cette conception de l'ange tombant par excès de sa pitié même, il est incomparable. Mais quant il amène Eloa en face de Satan, je ne sais si c'est moi qui ne comprends pas, mais il me semble que le poète perd de vue sa pensée même.... et quant à Eloa, ce n'est plus par pitié qu'elle tombe, c'est comme on tombe ordinairement».

стала отлична отъ произведенія де-Виньи, которое кажется нѣкоторымъ не вполнѣ яснымъ по своей идеѣ [1]).

Изъ всего сказаннаго понятно, съ какими отмѣнами является у Лермонтова образъ демона, надъ которымъ работали вѣка и первую идею поэтической переработки котораго нашъ поэтъ заимствовалъ несомнѣнно изъ западно-европейской поэзіи. Демонъ Лермонтова не діаволъ лишь вѣковаго преданія, «духъ изгнанья» [2]), «гордости», «отверженія и зла» [3]), «бѣглецъ Эдема» [4]), «мрачный искуситель» [5]), «злой духъ» [6]), который «перемѣниться не могъ бы» [7]), «лукавый» [8]); демонъ нашего поэта—не только обольщающій невинную душу чудными снами и искусными рѣчами ве-

---

1) Ср. отзывъ *Sainte-Beuve*'а: Nouveaux lundis, VI, 408. См. однако выше. Основная мысль Элоа вяжется со слѣдующею общею мыслію, въ которой, по мнѣнію *Dorison*'а [Alfred de Vigny Poëte philosophe, Par. (1893), p. 6], de Vigny объединялъ указываемыя критикою противорѣчія его произведеній: «*Cinq-Mars, Stello, Servitude et Grandeur militaires* (on l'a bien observé) sont, en effet, les chants d'une sorte de poëme épique sur la désillusion, mais ce ne sera que de choses sociales et fausses que je ferai perdre et que je foulerai aux pieds les illusions; j'élèverai sur ces débris, sur cette poussière, la sainte beauté de l'enthousiasme, de l'amour, de l'honneur, de la bonté, la miséricordieuse et universelle indulgence qui remet toutes les fautes et d'autant plus étendue que l'intelligence est plus grande».

2) III, 50, 55, 6.

3) III, 51, 74, 82 и 27.

4) III, 52.

5) Тамъ же и стр. 43.

6) III, 59 и 67; «нечистый»—III, 61.

7) III, 66.

8) III, 67, 21 и 30.—Всѣ эти эпитеты встрѣчаемъ въ первыхъ двухъ очеркахъ «Демона». Въ отношеніи къ этимъ редакціямъ вѣрно замѣчаніе Висковатова (III, 129), что «въ поэмѣ Лермонтова Демонъ отнюдь не является сатаною, т. е. главнымъ владыкою и повелителемъ тьмы и зла»; но не таковъ Демонъ позднѣйшихъ очерковъ. Послѣдній называетъ себя «богомъ рабовъ» своихъ «земныхъ» (III, 29), говоритъ о своей «власти» (III, 29 и 35), своихъ «владѣніи безконечности» (ib., 30), о братьяхъ, ему «подвластныхъ» (III, 35), обѣщаетъ сдѣлать Тамару «царицей міра» (ib., 36) и сулитъ въ концѣ (ib., 88, 37):

Толпу духовъ моихъ служебныхъ
Я приведу къ твоимъ стопамъ.

Въ одномъ мѣстѣ (III, 106) онъ прямо названъ «царемъ порока»; въ третьемъ очеркѣ (III, 75): «порока властелинъ».

личавый Сатана Мильтона; онъ не только «гордый духъ»[1]), «мрачный духъ сомнѣнья»[2]) «духъ безпокойный»[3]), и вмѣстѣ «блиставшій неземной красой»[4]), «царь познанья и свободы»[5]) подобно Байронову Люциферу, «вѣчному противнику Бога»; соблазняя невинную дѣвственную душу, какъ въ «Элоа» де-Виньи, Демонъ Лермонтова чувствуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ порывъ возвратиться къ воспоминаніямъ лучшихъ дней, что̀ не мыслимо для Байроновскаго Люцифера, хотя въ сущности такой переломъ въ характерѣ Демона былъ возможенъ для него не навсегда; онъ томится своимъ положеніемъ и очеловѣченъ до того, что испытываетъ «земныя мученія», «земную страсть» и

Роняетъ, посреди мученья,
Свинцовы слезы иногда.

У Лермонтова Демонъ, «душой измученною боленъ», охваченный мечтою[6]), еще въ большей степени, чѣмъ у всѣхъ предшествовавшихъ поэтовъ, приближенъ къ человѣческой душѣ съ высшими, но демоническими порываніями. Демонъ Лермонтова умѣетъ очаровывать эту душу, одновременно затрогивая струны самыхъ сильныхъ звуковъ и гордыхъ порывовъ и вызывая «чудной нѣжностью рѣчей» отзвуки струнъ самыхъ нѣжныхъ. Образъ демона у нѣкоторыхъ поэтовъ сближали съ Промееемъ[7]); Демонъ Лермонтова представленъ, какъ уже пережившій время,

Когда сквозь вѣчные туманы,
Познанья жадный, онъ слѣдилъ
Кочующіе караваны
Въ пространствѣ брошенныхъ свѣтилъ[8]).

---

1) III, 7.
2) III, 43.
3) III, 27; «духъ безпокойный, духъ порочный» — III, 97.
4) III, 18.
5) III, 29.
6) III, 53, 56, 59, 62, 68, 80.
7) *Graf*, Prometeo nella poesia, Torino-Roma 1880, p. 180 и слѣд. Второе изданіе этой монографіи вышло въ 1888 г.
8) III, 6.

Демонъ нашего поэта близокъ къ человѣку, изстрадавшемуся отъ «надеждъ погибшихъ и страстей»[1]). Знаніе не принесло ему отрады, зло ради зла уже опостыло, «наскучило ему»[2]); прежняя жизнь съ ея злодѣйствами казалась ему уже страшно тяжелою:

Какое горькое томленье
Всю жизнь, вѣка, безъ раздѣленья
И наслаждаться[3]) и страдать,
За зло похвалъ не ожидать,
Ни за *добро*[4]) вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вѣчною борьбой
Безъ торжества, безъ примиренья!
Всегда желѣть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видѣть,
Все противъ воли ненавидѣть,
Все безотрадно презирать!...[5]).

Вотъ это-то весьма яркое раскрытіе муки демонизма и составляетъ одну изъ крупныхъ заслугъ и одну изъ оригинальнѣйшихъ особенностей Лермонтовскаго «Демона», то новое, что внесъ Лермонтовъ въ тему, надъ которою работало столько вѣковъ. Безпросвѣтный эгоизмъ и отрицаніе не дали счастія, и Лермонтовскій Демонъ въ иные моменты уже является

. . . . . любить готовый
Съ душой открытой для добра;

---

1) III, 33.

2) III, 6.

3 и 4) Можно спросить, какое же наслажденіе испытывалъ Лермонтовскій Демонъ и какое добро онъ творилъ? Очевидно, Демонъ сливаетъ въ своемъ разсказѣ въ одну картину всю свою жизнь, начиная съ «дней райскаго блаженства»; ср. III, 50 и 53, 55 и 57.

5) III, 100 (съ отмѣною въ предпослѣднемъ стихѣ, гдѣ стоитъ: «*стараться* все возненавидѣть») и 31. То же въ сущности испытывалъ уже «печальный» Демонъ первыхъ очерковъ (ib. 51—52, 55—56, 62, 68—69, 75—76).

И мыслитъ онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора[1]). —
. . . . . и вновь
Въ нѣмой души его пустыню
Проникла молніей любовь,
И онъ опять постигъ святыню
И міръ добра и красоты....[2]).

«Полонъ жизни новой», онъ готовъ «гордо снять вѣнецъ терновый съ своей *преступной* (выраженіе самого Демона) головы и все былое бросить въ прахъ»[3]). Все это можно бы слышать изъ устъ человѣка необычайной силы страстей и воли, и всего этого можно бы ожидать въ повѣствованіи о такомъ человѣкѣ, но не о демонѣ сложившихся обычныхъ представленій. Такимъ образомъ Демонъ у Лермонтова поставленъ въ положеніе, которое гораздо драматичнѣе и интереснѣе обстановокъ, въ какихъ онъ являлся у предшествовавшихъ поэтовъ. Онъ — олицетвореніе демонизма, свойственнаго иной неугомонной человѣческой душѣ[4]), тоже одолѣваемой стремленіемъ къ «познанью и свободѣ» и вмѣстѣ «мрачнымъ духомъ сомнѣнья». Человѣкъ такой души ищетъ выхода изъ своего томительнаго состоянія, можетъ на непродолжительныя сравнительно мгновенія постигать «святыню любви, добра и красоты», но затѣмъ проклинаетъ иногда

Мечты безумныя свои,
И *остается вновь*[5]) надменный

---

1) III, 25, 52, 62, 63.
2) III, 11.
3) III, 30.
4) Ср. I, 171:

Въ ангельской душѣ все чисто, въ демонской все зло;
Лишь въ человѣкѣ встрѣтиться могло
Священное съ порочнымъ.

5) Мы позволили себѣ, для большаго соотвѣтствія съ предшествующимъ изложеніемъ, слегка измѣнить форму (не смыслъ) этого стиха.—Какъ понимать «безумныя мечты» Демона, см. III, 96; ср. стихъ: «Исчезнулъ ясный рой мечтаній» (III, 27) со стихами (ib., 25): «И входитъ онъ» и проч., и III, 84:

Одинъ, какъ прежде, во вселенной
Безъ упованья и любви!....[1]).

Затрогивая въ человѣческой душѣ стремленіе къ иной, высшей участи, убаюкивая душу и обольщая гордыми, несбыточными мечтами и «соблазна полными рѣчами», при чемъ «всѣ чувства въ ней вдругъ кипятъ», и такой демонъ, какъ Лермонтовскій, не дастъ отрады человѣку, какъ не утѣшилъ души Фауста, безгранично жаждавшаго познанія и другихъ высшихъ утѣхъ, язвительный скептикъ Мефистофель. Помимо послѣдняго, не удовлетворенный Фаустъ нашелъ успокоеніе въ незатѣйливой и простой, но вполнѣ достигающей цѣли, практической дѣятельности на общую пользу и, слѣдовательно, въ концѣ концовъ отказался отъ гордыхъ порывовъ къ божественному знанію и отъ жажды безграничнаго наслажденія прекраснѣйшими благами жизни. Гёте поставилъ демона въ соприкосновеніе съ высшею человѣческою мудростію, стремившеюся постигнуть жизнь и извѣдать все лучшее въ человѣческой жизни; Лермонтовъ — въ соприкосновеніе съ одной изъ душъ, не удовлетворяющихся обычнымъ пошлымъ существованіемъ, — такихъ, которыя поклялись «земныя страсти позабыть»[2]),

Которыхъ жизнь — одно мгновенье
Невыносимаго мученья,
Недосягаемыхъ утѣхъ[3]).

Простите, кроткія надежды
Любви, блаженства и добра.

Но, можетъ быть, мечты касались просто вѣчнаго обладанія Тамарою и счастія, которое могло быть принесено этимъ обладаніемъ.

1) III, 43. Такое окончаніе помимо приведенной выше (примѣч. 3 на стр. 481) выдержки изъ второго очерка «Демона» лучше всего другого опровергаетъ предположеніе о той идеѣ, которую будто бы хотѣлъ провести Лермонтовъ въ послѣдней редакціи своего «Демона». Ср. еще анекдотъ, приведенный у *Мартьянова:* Историч. Вѣстн. 1892, № 11, стр. 373.

2) III, 53, 68; 86: «забыть волненіе страстей».

3) III, 43. Ср. стихъ:

Онѣ не созданы для міра,

и выше, на стр. 493, примѣч. 2. Ср. еще I, 106 («Эпитафія»):

Такая личность, которой мысль и «сердце, полное гордыни»[1]), постоянно смущаютъ «неотразимая мечта», таинственныя грезы и «чудныя видѣнья» «пестрыхъ, странныхъ сновъ», повергающія въ «тоску и трепетъ», при чемъ «огонь по жиламъ пробѣгаетъ»[2]), въ концѣ концовъ можетъ не перенести «смертельнаго яда лобзанья» демона—виновника этихъ грезъ, можетъ поддаться обаянію зла, но небо словами своего ангела, какъ-бы примѣнительно къ изреченію Евангелія о прощеніи грѣшницы за ея великую любовь, оправдываетъ возвышенную натуру за ея «неземную любовь»[3]) и высшія стремленія, хотя бы въ порывѣ послѣднихъ ей пришлось пасть[4]). Такимъ образомъ, въ концѣ развитія этого поэтическаго замысла и у Лермонтова какъ-бы проводится идея, во имя которой получилъ небесное оправданіе Фаустъ у Гёте:

Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen[5]).

Итакъ, даже въ чистую, невинную душу юной дѣвушки, которой болѣе не плѣняетъ окружающая ее дѣйствительность,

---

Для чувствъ онъ жизни не щадилъ . . .
И неестественнымъ желаньямъ
Онъ отдалъ въ жертву дни свои.
И въ немъ душа запасъ хранила
Блаженства, муки и страстей.
Онъ умеръ. Здѣсь его могила.
Онъ не былъ созданъ для людей.

1) III, 97 и 26.

2) III, 64, 19 и 21.

3) III, ib. У Гёте говорится о Фаустѣ (II, V, 7308—7309):

Und hat an ihm *die Liebe* gar
Von oben Theil genommen.

4) Во второмъ очеркѣ (III, 73) монахиня названа «грѣшницей молодой» (также и въ четвертомъ: III, 93), и первоначально говорилось о молитвѣ ангела за ея душу:

Увы! напрасныя моленья,
И страстямъ нѣтъ уже прощенья . . . . .

Въ пятомъ очеркѣ (III, 97; ср. 26) Тамара названа «грѣшницей прекрасной» и «грѣшницей младой» (стр. 106). И въ окончательномъ, по мнѣнію Висковатова, текстѣ говорится о «проступкѣ» Тамары и ея «грѣшной душѣ» (III, 42).

5) Faust. Zw. Theil, V-ter Akt, 7306—7307.

успѣваютъ проникать «соблазна полныя рѣчи» демона и поселять въ ней сомнѣнія»[1]). Эти рѣчи могутъ всколебать дѣвственную душу и ея «женскія мечты» грезами о необычайномъ счастіи, и она, «покой на вѣки погубя, невольно, съ отрадой тайной» прислушивается къ обольстительнымъ рѣчамъ[2]) и становится не чуждой влеченій, сродныхъ демонизму. А что же сказать о людяхъ, которыхъ душевное состояніе вполнѣ предрасполагаетъ къ воспріятію внушеній демонизма? Они могутъ стать весьма близкими къ Демону Лермонтова. Вѣдь искуситель Тамары

. . . не былъ ада духъ ужасный,
Порочный мученикъ — о, нѣтъ!
Онъ былъ похожъ на вечеръ ясный:
Ни день, ни ночь — ни мракъ, ни свѣтъ! . . .[3]).

Въ подобномъ состояніи бываетъ и человѣческая душа:

Есть сумерки души, несчастья слѣдъ,
Когда ни мрака въ ней, ни свѣта нѣтъ.
Она сама собою стѣснена;
Жизнь ненавистна ей и смерть страшна;
И небо обвинить нельзя ни въ чемъ,
И, какъ на зло, все весело кругомъ.
Въ прекрасномъ мірѣ — жертва тайныхъ мукъ,
Въ созвучіи вселенной — ложный звукъ,

---

1) III, 42 и 43. Ср. III, 11 — о томъ, что уже въ моментъ, когда Демонъ впервые увидѣлъ Тамару, «порой темнили смутныя сомнѣнья ея небесныя черты», и III, 104 о странной улыбкѣ, застывшей на устахъ мертвой Тамары:

Что въ ней? Насмѣшка надъ судьбой,
Непобѣдимое ль *сомнѣнье?*

«Сомнѣнье» присуще и демону: III, 6.

2) Тамъ же, 34.

3) Сочиненія *М. Ю. Лермонтова.* Повѣренное по рукописямъ изданіе подъ редакціей и съ примѣчаніями *П. М. Болдакова.* Томъ второй. Изд. Елизаветы Гербекъ, М. 1891, стр. 204. Висковатовъ для послѣдняго стиха (III, 19) принялъ редакцію, встрѣченную имъ въ текстѣ, который онъ считаетъ послѣднею обработкою:

На день, на ночь, на мракъ, на свѣтъ!

Она встрѣчаетъ блескъ природы всей,
Какъ встрѣтилъ бы улыбку палачей
Приговоренный къ казни, и назадъ
Она кидаетъ безпокойный взглядъ;
Но слѣдъ волны потерянъ въ безднѣ водъ
И листъ отпавшій вновь не зацвѣтетъ [1]).

Такое настроеніе человѣческой души — порожденіе демоническаго недовольства:

---

1) II, 23 (1830—1831). Ср. I, 83:

. . . . . Страшнымъ полусвѣтомъ
Межъ радостью и горестью срединой
Мое тѣснилось сердце,

и I, 171 (1831 г.):

Есть время — леденѣетъ быстрый умъ;
Есть сумерки души, когда предметъ
Желаній мраченъ; усыпленье думъ;
Межъ радостью и горемъ полусвѣтъ;
Душа сама собою стѣснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна —
Находишь корень мукъ въ самомъ себѣ,
И небо обвинить нельзя ни въ чемъ.

См. еще III, 198 («Джуліо», 1830 г.):

Есть сумерки души во цвѣтѣ лѣтъ,
Межъ радостью и горемъ полусвѣтъ;
Жметъ сердце безотчетная тоска;
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка.
Чтобы спастись отъ этой пустоты,
Воспоминаньемъ иль игрой мечты
Умножь одну или другую ты.

Очевидно, въ началѣ 30-хъ годовъ, къ которымъ относятся второй и третій очерки «Демона», выраженное въ приведенныхъ выдержкахъ представленіе о порѣ «полусвѣта», «сумерекъ» въ человѣческой душѣ было одною изъ излюбленныхъ темъ Лермонтова. Нашъ поэтъ унаслѣдовалъ эту тему отъ западноевропейскихъ поэтовъ. Такъ, уже у Гёте Мефистофель говоритъ Фаусту о Богѣ (I, 1428—1430):

Er findet sich in einem ew'gen Glanze,
Uns hat er in die Finsternis gebracht,
Und euch taugt einzig Tag und Nacht.

О «сумеркахъ души» у Мура см. выше, на стр. 490, примѣч. 1. См. еще ниже, на стр. 508, въ прим. 2, выдержку изъ А. де Мюссэ.

Есть демонъ, сокрушитель благъ земныхъ;
Онъ радость намъ даритъ на краткій мигъ,
Чтобы ударъ судьбы сразилъ скорѣй.
Врагъ истины, врагъ неба и людей,
Нашъ слабый духъ ожесточаетъ онъ,
Пока страданья не умчатъ, какъ сонъ,
Все, что мы въ жизни цѣнимъ только разъ,
Все, что ему еще завидно въ насъ[1]).

Это тягостное состояніе переживали въ первыя десятилѣтія нашего вѣка, какъ увидимъ, многіе «сыны вѣка»[2]). Хорошо извѣ-

---

1) II, 23. Ср. выше, на стр. 473, заключительную строфу стихотворенія «Мой Демонъ» (I, 218). Иначе изобразилъ демона Печоринъ, профессоръ Московскаго университета въ началѣ 30-хъ годовъ. Онъ взглянулъ на демона съ аскетической точки зрѣнія и нѣсколько напоминаетъ въ этомъ отношеніи концепцію Иммерманна. Напечатанное *Тихонравовымъ* [Русская Старина 1875, № 7 (т. XIII), стр. 454—455] стихотвореніе Печорина начинается словами:

Прочь, о демонъ лучезарный,
Демонъ счастья и любви!
Искуситель — міръ коварный!
Вспять страдальца не зови!

Ближе къ античному представленію о демонѣ, чѣмъ Пушкинское, Лермонтовское и Печоринское, было пониманіе демона у Гёте. Послѣдній разумѣлъ подъ этимъ образомъ прирожденную силу и свойства каждой личности, какъ это видно изъ стихотворенія «Urworte. Orphisch», недалекаго по времени отъ указанныхъ выше стихотвореній нашихъ поэтовъ. Стихотвореніе Гёте было написано въ 1817 г., а напечатано впервые въ 1819 г. Въ 1820 г. Гёте прибавилъ объясненіе къ этому стихотворенію. По этому объясненію, демонъ стихотворенія «Urworte» означаетъ: «die nothwendige, bei der Geburt unmittelbar ausgesprochene, begrenzte Individualität der Person, das charakteristische, wodurch sich der Einzelne von jedem Andern, bei noch so grosser Aehnlichkeit, unterscheidet». Гёте готовъ былъ признать, что «angeborne Kraft und Eigenheit, mehr als alles Uebrige des Menschen Schicksal bestimme... der Dämon freilich hält sich durch Alles durch, und dieses ist dann die eigentliche Natur, der alte Adam und wie man es nennen mag, der so oft auch ausgetrieben, immer wieder unbezwinglicher zurückkehrt.... allein Tyche lässt nicht nach und wirkt immerfort».

2) См. въ предисловіи «Исповѣди сына вѣка» А. де Мюссэ о «сынахъ имперіи и внукахъ революціи»: «имъ оставалось только настоящее, духъ вѣка, ангелъ сумерекъ, которыя ни день, ни ночь».

далъ такую душевную муку и Лермонтовъ[1]). Его «Демонъ» собралъ въ себѣ какъ въ фокусѣ различныя составныя части ранняго пессимистическаго настроенія поэта. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ поэмѣ Лермонтова дана оригинальная переработка и сплавъ элементовъ демонизма, уловленныхъ и возсозданныхъ нѣкоторыми изъ лучшихъ западно-европейскихъ поэтовъ, при чемъ образъ демона у нашего поэта, не уступая замѣчательнымъ западно-европейскимъ обрисовкамъ этого типа, пріобрѣлъ новый интересъ и красу вслѣдствіе оттѣненія въ немъ такихъ чертъ, которыя выступали не столь отчетливо у другихъ поэтовъ.

Для Байрона Люциферъ былъ готовымъ традиціоннымъ образомъ, въ который наплучше могъ быть вмѣщенъ тотъ безотрадный пессимизмъ, какого былъ преисполненъ англійскій поэтъ. У Лермонтова демонъ столь же прекрасенъ, какъ у Мильтона и у Байрона; онъ одновременно и увлекаетъ своею красотою[2]), и наводитъ страхъ[3]), какъ Байроновъ Люциферъ, и

---

1) I, 171: вслѣдъ за строфою, начинающеюся словами: «Есть время — леденѣетъ быстрый умъ» и приведенною выше (прим. на стр. 507), читаемъ:

Я къ состоянью этому привыкъ...

2) III, 18—19 и изданіе подъ ред. Болдакова, II, 204:

Пришлецъ туманный и *тьмой*,
Красой блистая неземной...
Съ глазами полными печали
И чудной нѣжностью рѣчей.

Ср. цитованное нами признаніе Лермонтова, относящееся къ 1841 г. (II, 335):

Мой юный умъ, бывало, возмущалъ
Могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній,
Какъ царь, *тьмой* и гордый онъ *сіялъ*
Такой *волшебно-сладкой красотою*,
Что было страшно....

См., далѣе, III, 28:

Онъ передъ схимницей стоитъ:
Знакомой *блещетъ красотою*,
И утихающей грозою
Взоръ отуманенный блеститъ.

Въ бесѣдѣ съ О. А. Смирновой, А. С. Пушкинъ выразился, что Мильтоновъ «Сатана не богословскій, онъ слишкомъ греческій» (Сѣверный Вѣстникъ, 1893, № 5, стр. 179).

3) Тамара говоритъ демону (III, 34):

Невольно страхъ въ душѣ рождаешь...

умѣетъ завлекать страстными рѣчами, какъ Сатана де-Виньи, но не столь мраченъ и непреклоненъ, и пессимизмъ его не столь исключителенъ, потому что то былъ пессимизмъ самого поэта-юноши, который не успѣлъ еще извѣриться во всемъ, хотя и показывалъ видъ вполнѣ разочарованнаго человѣка. У Байрона лишь вскользь говорится о грусти Люцифера. У Лермонтова демонъ — не столько носитель зла, духа сомнѣнія и отрицанія, убивающаго пышныя грезы юности, не только олицетвореніе таинственнаго голоса, смущающаго душевный покой [1]), но и воплощеніе тоски и грусти, являющейся результатомъ разрушенія гордыхъ надеждъ и радостныхъ упованій. Быть можетъ, не безъ вліянія образа Клопштокова кающагося Аббадоны[2]). Лермонтовъ развилъ далѣе намекъ на безотрадное душевное состояніе и на проблескъ возможности раскаянія Сатаны, встрѣченный у де-Виньи[3]),

---

1) III, 98 и 28—29:

Я тотъ, ...
Чья мысль душѣ твоей шептала . . .
Я тотъ, чей взоръ надежду губитъ,
Едва надежда расцвѣтетъ . . .
Я врагъ небесъ, я зло природы . . .

Въ текстѣ, который Висковатовъ считаетъ окончательнымъ, стоитъ еще:

Я богъ рабовъ моихъ земныхъ,
Я царь познанья и свободы.

2) О знакомствѣ Лермонтова съ «Мессіадой» Клопштока свидѣтельствуютъ слѣдующіе стихи въ «Сашкѣ», относящіеся къ герою послѣдней поэмы (II, 207—208):

Что дѣлалъ Саша? — Съ неподвижнымъ взглядомъ,
Какъ бѣлый мраморъ холоденъ и нѣмъ,
Какъ Аббадона грозный, новымъ адомъ
Напуганный, но помнящій Эдемъ,
Съ поникшею стоялъ онъ головою
И на челѣ, наморщенномъ тоскою,
Качались тѣни трепетныхъ вѣтвей.

3) О сѣтованіяхъ Сатаны см. знаменитыя строфы (p. 112—114), начинающіяся стихами:

Sur la neige des monts, couronne des hameaux,
L'Espagnol a blessé l'aigle des Asturies . . .

Сатана, между прочимъ, говоритъ:

и сдѣлалъ «горькую муку», тоску [1]), грусть [2]) и жажду счастія преобладающими чертами настроенія своего демона. Послѣдній ищетъ выхода и инстинктивно угадываетъ вѣрно возможность такого выхода — въ любви [3]). Лермонтовъ, слѣдова-

---

«Maudit soit le moment où j'ai mesuré Dieu!
«Simplicité du coeur! à qui j'ai dit adieu,
«Je trembe devant toi, mais pourtant je t'adore,
«Je suis moins criminel puisque je t'aime encore;
«Mais dans mon sein flétri tu ne reviendras pas!...
«Je souffre, et mon esprit par le mal abattu
«Ne peut remonter jusqu'à tant de vertu...
..... J'aurais peut-être aimé!»

Къ стиху изъ «Элоа», какъ-бы намекающему на нѣкоторый проблескъ возможности нравственнаго возрожденія Сатаны и приведенному выше, на стр. 492, въ примѣчаніи 1, прибавимъ еще указаніе на слѣдующую (p. 114) обрисовку душевнаго состоянія Сатаны послѣ сѣтованій послѣдняго, отрывокъ изъ которыхъ только что приведенъ нами:

Le Tentateur lui-même était presque charmé,
Il avait oublié son art et sa victime,
Et son coeur un moment se reposa du crime.
Il répétait tout bas, et le front dans ses mains:
«Si je vous connaissais, ô larmes des humains!»

1) III, 34, 68, 76.

2) III, 98—99 и 29:

Я тотъ,.....
Чью *грусть* ты смутно отгадала...
И *грусть* на днѣ старинной раны
Вдругъ шевельнулася какъ змѣй.

Ср. III, 88:

И не захочешь *грусть* и волю
За рабство тихое отдать.

См. еще III, 18—19:

И взоръ его съ такой любовью,
Такъ *грустно* на нее смотрѣлъ....
.....онъ являлся ей
Съ глазами полными печали...

3) Ср. въ Lay of the Last Minstrel Вальтеръ-Скотта, гдѣ гордость и любовь выставлены, какъ противоположныя и сталкивающіяся душевныя силы. Гордость герцогини должна была смягчиться, и тогда только могла получить свободу любовь ея дочери. Уже въ самомъ началѣ поэмы горный духъ выразилъ идею, проходящую чрезъ все дѣйствіе:

тельно, предварилъ идею, которую де-Виньи хотѣлъ было развить во второй части «Элоа», — идею о великомъ воздѣйствіи чувства любви даже на демоническія натуры. Этимъ Лермонтовъ окончательно очеловѣчилъ демона, и въ такомъ изображеніи демонъ, испытывающій «умиленье», «земное первое мученье и слезы первыя», «позавидовавшій невольно неполнымъ радостямъ людей»[1]), сталъ символомъ и какъ-бы крайнимъ типомъ неудовлетворенности и тоски людской души, измученной зломъ, какое она встрѣчаетъ въ мірѣ, неудачами и неосуществимостію ея гордыхъ и безграничныхъ порывовъ, невзгодами и собственныхъ отрицаніемъ, души «пылкой»,

Непзъяснимой, своенравной,
Въ борьбѣ безумной и неравной
Не знавшей власти надъ собой . . . [2]),

но все-таки ищущей утѣшенія въ слѣдованіи голосу сердца и въ мистическихъ упованіяхъ и находящей свѣтлые, хотя и краткіе, моменты отрады въ чувствѣ любви. Любовь эта своимъ идеальнымъ мотивомъ успѣваетъ вызвать отвѣтное чувство даже въ душѣ, удалившейся отъ міра, которой внушаетъ слабую, не отрѣшенную отъ сомнѣнія, надежду на нравственное перерожденіе демона [3]). Въ этомъ увлеченіи Тамара подобно Мильтоновой Евѣ

No kind influence deign they (разум. the stars) shower
On Teviot's tide, and Branksome's tower, —
Till Pride be quell'd and Love be free.

«Love is still the Lord of all», говорится далѣе. Высокомѣріе порождаетъ сердечную пустоту, безпокойство, разладъ и вредъ, а любовь приноситъ счастіе. Въ Лермонтовскомъ демонѣ любовь преодолѣваютъ ненависть и злоба: III, 65, 85 и 27.

1) III, 53, 76, 98, 99 и 29.

2) III, 71 и 90—91.

3) Самъ поэтъ, какъ мы видѣли, совсѣмъ не вѣрилъ въ возможность для демонической натуры измѣниться къ лучшему. Не вѣрила вполнѣ Демону и Тамара (см. выше, на стр. 498, примѣч. 1). Понимать стихи (III, 24) о Тамарѣ:

То думы радостной волна
Ее охватитъ, и былое

является представительницей нѣжнѣйшей женственности, въ ея возвышенныхъ влеченіяхъ не неприступной для обольщеній демонизма. Образъ ея говоритъ преимущественно нашему сердцу; герой же поэмы — Демонъ — ставитъ также интересную загадку нашему уму, выдвигая вопросъ вѣчной важности — объ источникѣ демонизма, свойственнаго человѣческой душѣ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ Демонъ, несмотря на всю красу, какою надѣлилъ его Лермонтовъ, и несмотря на талантливость сообщенной ему обрисовки, все-таки остался нѣсколько шаблоннымъ поэтическимъ образомъ [1]). Онъ не заключаетъ въ себѣ причудливостей и нелѣпостей, въ которыя впадало иногда творчество поэтовъ романтики [2]), но, тѣмъ не менѣе, не свободенъ отъ недостатковъ, которые были присущи этому литературному теченію съ его фантастичностію и неопредѣленными страстными порывами. Потому даже Лермонтовскій Демонъ, повидимому, полный индивидуальности, юношеской горячности и энергіи, въ сущ-

---

Встаетъ изъ мрака, какъ живое,
И ясныхъ сновъ душа полна.
Тѣснятся въ ней воспоминанья,
Изъ дѣтства ранняго сказанья
Родной и милой старины,

какъ прямое, по мнѣнію Висковатова (III, 19, прим. 39), указаніе на преданія, «говорившія о возможности Демона вернуться къ добру», невозможно, потому что эти стихи встрѣчаются только въ одной рукописи, которую Висковатовъ считаетъ послѣднею редакціею «Демона» (см. III, прим. 48, на стр. 24), какъ и стихи (III, 28):

Рѣшило небо нашу встрѣчу,
Любовь и торжество мое.

1) См., напр., слова де-Виньи объ образѣ Сатаны: «Quand un contempteur des dieux paraît, comme Ajax fils d'Oïlée, le monde l'adopte et l'aime; tel est Satan, tels sont Oreste et Don Juan».

2) Правда, инымъ можетъ показаться изображеніе Демона, какъ существа, испытывавшаго въ теченіе нѣкотораго времени порывъ къ возвращенію въ прежнее состояніе душевной гармоніи, противорѣчащимъ основному характеру демонической натуры; но не должно забывать, что Лермонтовъ имѣлъ въ виду выставить въ своемъ Демонѣ преимущественно неудовлетвореніе своимъ существованіемъ, далеко однако отстоящее отъ полнаго раскаянія. Сверхъ того, необходимо принимать во вниманіе сходную обрисовку демона у нѣкоторыхъ другихъ новѣйшихъ поэтовъ, о которой см. выше.

ности—общее мѣсто поэзіи, а не живой конкретный образъ, заимствованный изъ ближайшей дѣйствительности. Въ этомъ отношеніи поэму Лермонтова можно назвать, вслѣдъ за самимъ поэтомъ, «страстнымъ бредомъ», но только не «безумнымъ» и не «дѣтскимъ».

Лишь по мѣрѣ того, какъ талантъ Лермонтова и изученіе имъ жизни становились зрѣлѣе, поэтъ находилъ и болѣе реальные образы и болѣе реальныхъ носителей демонизма и душевной истомы, составляющей «болѣзнь вѣка», постигшую и Лермонтовскаго Демона[1]).

---

1) Въ примѣчаніи къ этой статьѣ Н. П. Дашкевичъ обѣщалъ напечатать «остальные этюды о Лермонтовѣ» въ Кіевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ 1893 г., но обѣщанія не исполнилъ. Наброски, негодные, къ сожалѣнію, для печати, остались въ его бумагахъ.

Значеніе мысли и творчества Гоголя [1]).

Великій завѣтъ Гёте:

Образъ достойныхъ свято храни!

не вполнѣ соблюденъ родною страною въ отношеніи къ Гоголю.

Потому не съ чувствомъ свѣтлой, ничѣмъ не смущаемой радости при видѣ всенароднаго чествованія памяти великаго національнаго поэта, какъ было три года назадъ, въ «Пушкинскіе дни», а съ немалою грустью — должно въ томъ сознаться — довелось праздновать славу по времени второго, а по достоинству и значенію одного изъ величайшихъ нашихъ писателей недавно минувшаго XIX вѣка [2]). Такое грустное, можно сказать даже —

---

1) Чтенія въ Историч. Обществѣ Нестора-Лѣтописца, кн. XVI, вып. I—III, 1902. Рѣчь, предназначавшаяся для произнесенія при (несостоявшемся) торжественномъ чествованіи памяти Гоголя въ Университетѣ св. Владиміра и составляющая вступленіе къ болѣе подробному разсмотрѣнію произведеній и идей Гоголя. Напечатана здѣсь не въ полномъ видѣ, а въ значительномъ сокращеніи, — во избѣжаніе чрезмѣрнаго расширенія объема Гоголевскаго сборника. Полный текстъ будетъ напечатанъ впослѣдствіи. Всѣ ссылки на сочиненія Гоголя сдѣланы по X-му изданію (Сочиненія Н. В. Гоголя. Изданіе десятое. Текстъ сверенъ съ собственноручными рукописями автора и первоначальными изданіями его произведеній *Николаемъ Тихонравовымъ*; т. I—V. М. 1889 г.; т. VI и VII подъ редакціею *Н. С. Тихонравова* и *В. И. Шенрока*, М. и Спб. 1896), которое для краткости обозначается буквою С.; при ссылкахъ же на письма Гоголя, обозначаемыя буквою П., разумѣется изданіе: «Письма Н. В. Гоголя. Редакція *В. И. Шенрока*. Въ четырехъ томахъ. С.-Петербургъ. Изданіе А. Ф. Маркса» (1901).

2) Величайшимъ русскимъ поэтомъ XIX вѣка признавали Гоголя Бѣлинскій и Чернышевскій. См. нашъ этюдъ: «А. С. Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ». Бѣлинскій, усматривавшій въ «Перепискѣ» «проповѣдь невѣжества», подъ конецъ сталъ думать, что, подобно другимъ геніямъ, въ своемъ творчествѣ «Гоголь дѣйствовалъ безсознательно». *А. Н. Пыпинъ*, Бѣлинскій и его жизнь и переписка, т. II, Спб. 1876, стр. 314 и 320.

глубоко скорбное чувство вызывается не только воспоминаніемъ о печальной судьбѣ Гоголя въ годы его жизни, но и отношеніемъ къ нему отечественной критики въ послѣдующее время и даже теперь, когда исполнилось цѣлое полустолѣтіе со дня его кончины.

Печальна была участь Пушкина при его жизни, трагична была его кончина, но еще тяжелѣ, несказанно тяжелѣ былъ удѣлъ Гоголя. Въ его жизни было немного свѣтлыхъ и радостныхъ моментовъ, преобладало же въ ней вѣчное стремленіе, сначала — за предѣлы родины, а потомъ — въ иную завѣтную даль христіанскихъ стремленій [1]), «самоотверженіе» [2]), «отчужденіе отъ міра и всѣхъ его выгодъ», недовольство собой, даже самобичеваніе, холодность и вражда со стороны большей части критики и потому «испытанія и горе, напятгчайшія страданія» [3]). Одною изъ главныхъ радостей и утѣшеній Гоголя была «любовь къ соотечественникамъ», за которую онъ благодарилъ Бога, «какъ за лучшее благодѣянье» [4]). Привѣтствованный уже со второго шага въ литературѣ восторгомъ лучшихъ людей своей родины, такихъ личностей, какъ Жуковскій, Пушкинъ, князь В. Ѳ. Одоевскій, Максимовичъ, Бѣлинскій [5]), Аксаковы, а нѣкоторыми изъ произведеній, каковы «Старосвѣтскіе Помѣщики» и «Тарасъ Бульба», нравившійся «совершенно всѣмъ вкусамъ» [6]), быстро признанный за основателя и главу натуральной школы въ нашей

---

1) По словамъ Гоголя, «предъ христіаниномъ видится вѣчно даль и видится вѣчно подвигъ».

2) С., III, 460—461.

3) «Завѣщаніе».

4) Тамъ же.

5) Бѣлинскій въ своемъ письмѣ 15 іюля 1847 года (Письмо В. Г. Бѣлинскаго къ Н. В. Гоголю, съ предисловіемъ *М. Драгоманова*, Genève, 1880), говоритъ, что «любилъ» Гоголя «со всею страстью, съ какою человѣкъ, кровно связанный съ своей страною, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса».

6) Это — слова самого Гоголя въ письмѣ къ Жуковскому отъ 6 апрѣля 1837 г. См. въ ст. *А. И. Кирпичникова* въ Извѣстіяхъ Отдѣленія русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наукъ 1900, т. V, кн. 4, стр. 1201—1202: «Сомнѣнія и противорѣчія въ біографіи Гоголя».

литературѣ и слывшій одно время величайшимъ русскимъ писателемъ XIX вѣка, Гоголь довольно скоро былъ низведенъ съ этого пьедестала, началъ лишаться благоволенія западниковъ и мало по малу подвергся ожесточеннымъ нападкамъ со стороны своего прежняго горячаго почитателя — Бѣлинскаго и, съ другой стороны, не разъ оставался загадоченъ и для своихъ лучшихъ пріятелей — славянофиловъ. Послѣ изданія «Переписки съ друзьями» «почти въ глаза автору стали говорить, что онъ сошелъ съ ума» [1]). Онъ, непрерывно «томившійся и сгаравшій желаніемъ совершенства», былъ сочтенъ пережившимъ себя, обманувшимъ возлагавшіяся на него великія надежды, и сошелъ въ могилу, сохранивъ немного друзей какъ въ литературныхъ, такъ и правительственныхъ кругахъ, недовольный собой и лишь взывая къ милосердію Бога, къ Которому уже много лѣтъ стремился всею душой и Котораго молилъ о низпосланіи творческаго духа. Умеръ онъ, какъ христіанинъ-отшельникъ, истощивъ свои послѣднія силы молитвою и постомъ. Утрата великаго поэта даже не была помянута достодолжнымъ образомъ въ литературѣ въ ближайшее время [2]).

Послѣ смерти Гоголя на него продолжали взводить тяжкія обвиненія, раздававшіяся въ послѣдніе годы его жизни и отчетливо выраженныя «непстовымъ Виссаріономъ» Бѣлинскимъ. Гоголю ставили въ вину средневѣковое міросозерцаніе, неискренность и іезуитизмъ, низкопоклонство, либо осуждали его за высокомѣріе и менторскій тонъ, эксплоатированіе друзей, родныхъ, даже матери и т. п. Другіе повторяли ходившія уже при жизни

---

1) «Исповѣдь».

2) По словамъ современника (князя Д. Оболенскаго), «цензорамъ было объявлено приказаніе — строго цензуровать все, что пишется о Гоголѣ, и, повидимому, объявлено было совершенное запрещеніе говорить о Гоголѣ...». Наконецъ, даже имя Гоголя опасались употреблять въ печати и взамѣнъ его употребляли выраженіе: «извѣстный писатель» (Русск. Старина 1873, кн. 12, стр. 949). Какъ извѣстно, въ 1852 г. Тургеневъ за напечатаніе сочувственной статьи о Гоголѣ былъ подвергнутъ аресту, а затѣмъ высланъ въ свое имѣніе, с. Спасское-Лутовиново, «безъ права выѣзда».

великаго писателя грубыя сплетни либо толки о его психическомъ разстройствѣ. Въ наши дни нѣкоторые психіатры подхватили ту же тему. Они оставляютъ безъ должнаго вниманія истинную сущность душевныхъ мукъ Гоголя: его страданія—прежде всего страданія возвышенной человѣческой и въ частности русской души, не удовлетворявшейся готовыми рѣшеніями величайшихъ проблемъ человѣческой вообще и въ частности своеобразной русской жизни (оффиціальнымъ съ одной стороны и радикальнымъ съ другой) и силившейся найти собственный выходъ изъ мучительной «загадки жизни»; его скорби—горести человѣка, страстно и горячо стремившагося къ уясненію высочайшаго идеала жизни и творчества и изнемогавшаго въ представлявшейся ему невозможности вполнѣ подойти къ этому идеалу. Къ тому присоединились жестокіе нападки въ литературѣ, перепискѣ и при личныхъ встрѣчахъ. Въ этомъ корень недуговъ Гоголя, повергавшихъ его въ напряженіе [1]) нервной системы и приведшихъ къ горькому и преждевременному концу. Правильно объяснилъ такую кончину Гоголя другъ его Хомяковъ, причисливший его и Иванова къ «могучимъ и богатымъ личностямъ, которыя болѣютъ не для себя, но въ которыхъ мы, русскіе, мы всѣ, сдавленные тяжестію своего страшнаго историческаго развитія, выдавливаемъ себѣ выраженіе и сознаніе. Легко ли имъ? Какъ ни крѣпка ихъ при-

1) Только о такомъ напряженіи, по временамъ обострявшемся до нѣкоторой расшатанности, и можно говорить, не нарушая справедливости и не выходя изъ предѣловъ научной осмотрительности. О томъ, что нервы Гоголя разстраивались, говорили и врачи и онъ самъ, какъ то видно изъ его переписки. Иногда у него находимъ выраженія въ родѣ слѣдующаго: «я былъ боленъ тогда душою» (II., II, 78); но выставлять на основаніи такого временнаго напряженія нервовъ, моментовъ уныній и чрезмѣрнаго религіознаго усердія утвержденіе о психической болѣзни Гоголя значитъ заходить слишкомъ далеко. Черты того, что называютъ «религіозною маніею» и «мистическимъ самомнѣніемъ», можно постоянно наблюдать въ Гоголѣ: напр., уже послѣ перваго возвращенія изъ-за границы Гоголь говорилъ «о невидимой рукѣ Всевышняго, его хранящей»; въ маѣ 1836 г. Гоголь писалъ: «всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе» (II., I, 378). Онъ рано сталъ осуждать свои произведенія и уже въ августѣ 1838 г. жаловался на то, что работа надъ «Мертвыми Душами» идетъ вяло.

рода, а все-таки она не долго выдерживаетъ свою внутреннюю работу». Къ Гоголю примѣнимо также то, что сказалъ о себѣ французскій писатель Lamennais: «Mon âme est née avec une plaie».

Большинство глядѣло и глядитъ на личность и дѣятельность Гоголя иначе. На ряду съ толками о душевной болѣзни Гоголя [1]) продолжаются разговоры о «насильственности мистическихъ настроеній, которыя прививалъ къ себѣ Гоголь вопреки протестамъ своего здраваго смысла» [2]).

Не перестаютъ повторяться увѣренія въ томъ, что этотъ писатель «искреннимъ, глубокимъ знатокомъ европейской мысли не могъ быть уже вслѣдствіе крайне скуднаго своего образованія, которое впослѣдствіи чрезвычайно туго пополнялось» [3]); либо

---

1) По словамъ г. Шенрока, «Переписка» Гоголя съ друзьями — «сочиненіе, порожденное, очевидно, болѣзненнымъ настроеніемъ и узкимъ взглядомъ на жизнь». Починъ, М. 1895, стр. 108.

2) *Old Gentleman*, Листки — Россія, 1901, № 948. Однако искренность, а не насильственность настроеній Гоголя и въ «Перепискѣ съ друзьями» не можетъ подлежать сомнѣнію.

3) *Алексѣя Н. Веселовскаго*, Западное вліяніе въ русской литературѣ, 2-е изд., Москва, 1896, стр. 210. Между тѣмъ Гоголь былъ человѣкомъ довольно разносторонняго образованія. Въ особенности хорошее знакомство его съ искусствомъ и въ частности съ литературой Запада не подлежитъ сомнѣнію. Интересъ къ изящнымъ искусствамъ онъ развилъ въ себѣ еще въ Нѣжинѣ (см. *Николая М.*, Опытъ біографіи Гоголя, стр. 14). Тамъ же онъ въ концѣ довольно хорошо ознакомился съ нѣмецкимъ языкомъ и читалъ въ оригиналѣ, между прочимъ, Шиллера (см. *А. И. Кирпичникова*, Сомнѣнія и противорѣчія въ біографіи Гоголя — Извѣстія Отд. русск. яз. и слов. 1900, т. V, кн. 2, стр. 598—600), въ которомъ чтилъ по преимуществу поэта идеализма (С., III, 129: «Чичиковъ въ небесахъ и къ Шиллеру заѣхалъ въ гости»), и этотъ поэтъ оказалъ, повидимому, значительное вліяніе на мысль Гоголя. Лучше, говорятъ, былъ знакомъ тогда Гоголь съ французскимъ языкомъ. Вообще Гоголь и тогда уже началъ усиленно стремиться пополнить пробѣлы своего образованія, какъ видно хотя бы изъ словъ письма его, относящагося къ концу 1827 г.: «Все это время я занимаюсь языками. *Успѣхъ вѣнчаетъ*, слава Богу, *мои начинанія*. Но это еще ничто въ сравненіи съ предполагаемымъ: въ остальные полгода я положилъ себѣ за непремѣнное — окончить совершенно изученіе трехъ языковъ. *На успѣхъ я не могу пожаловаться*. Отъ него и отъ своего *непоколебимаго намѣренія* я много надѣюсь» (П., I, 95). См. еще письмо, относящееся приблизительно къ тому же времени и напечатанное *В. А. Чаговцемъ* въ Гоголевскомъ Сборникѣ, изд. Ист. Общ. Нестора-Лѣтописца, а также данныя объ успѣхахъ Гоголя въ

заявленія психологовъ, что «геніальность Гоголя находилась въ вопіющемъ противорѣчіи съ важнѣйшими наиспльнѣе выраженными сторонами его натуры и особенностями его ума. . . . онъ, *какъ умъ*, боялся мысли, отворачивался отъ свѣта, отъ радостей — познанія, былъ *ленивъ — учиться* и *совершенствоваться*, — его умъ, огромный, проницательный и тонкій, страдалъ какою-то странною неподвижностью и свѣтобоязнью... Съ однимъ только необыкновеннымъ художественнымъ дарованіемъ Гоголя его геній находился въ полной гармоніи» [1]).

Нѣжинѣ по языкамъ, сообщенныя въ Гоголевскомъ Сборникѣ, изд. подъ ред. *М. Н. Сперанскаго*, К. 1902, стр. 295—296, 302 и слѣд., 409—410. О чтеніи иностранныхъ авторовъ учениками Гимназіи высшихъ наукъ есть также интересныя свѣдѣнія въ дѣлѣ о «вольнодумствѣ» Ландражина. Изъ числа восьми отнятыхъ у учениковъ тетрадокъ съ выписками изъ разныхъ иностранныхъ авторовъ одна принадлежала Гоголю, а другая, содержавшая извлеченіе изъ Руссо и Юма,— пріятелю Гоголя, Высоцкому. Въ Петербургѣ Гоголь пополнилъ свое знакомство съ выдающимися произведеніями западно-европейскихъ литературъ: въ томъ можно вѣрить, между прочимъ, «Запискамъ Смирновой» (I, 138), потому что сообщаемыя послѣднею свѣдѣнія подтверждаются изученіемъ сочиненій и писемъ Гоголя. Списокъ упоминаемыхъ имъ авторовъ, которыхъ онъ, надо думать, прочелъ или изучилъ, весьма значителенъ. Есть также косвенные слѣды знакомства съ авторами, Гоголемъ не называемыми, между прочимъ, съ нѣкоторыми знаменитыми мыслителями. Въ ряду поэтовъ любимцами Гоголя были изъ иностранныхъ такіе корифеи, какъ Гомеръ, Данте, Шекспиръ, съ которымъ Гоголь не разставался въ дорогѣ, Мольеръ и т. д. Воздерживаемся здѣсь отъ перечисленія другихъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о пытливости ума Гоголя, отрицаемой г. Овсянико-Куликовскимъ и другими, и о широтѣ историческаго, историко-этнографическаго, историко-литературнаго и философскаго образованія этого писателя, которую надѣемся освѣтить въ послѣдующемъ изложеніи.

1) *Овсянико-Куликовскій*, Н. В. Гоголь — Вѣстникъ Воспитанія 1902, № 12. Подобныя сужденія, рядомъ съ которыми надо поставить обвиненіе въ «пробѣлахъ соціальнаго образованія» (Алферовъ) и т. п., должны были бы вызвать аналогичное отношеніе и къ Бальзаку, который, дѣйствительно, возбуждаетъ въ иныхъ сомнѣніе въ силу своихъ соціальныхъ и политическихъ идей, какъ убѣжденный теоретикъ и защитникъ абсолютизма, мало сочувствовавшій принципамъ 1789 г. Бальзакъ, тѣмъ не менѣе, подобно Гоголю, остается однимъ изъ основателей литературы, справедливо называемой новѣйшею, и къ нему также врядъ ли справедливо примѣнять предположеніе о лѣности, косности и свѣтобоязни его ума. Равнымъ образомъ Бѣлинскій замѣтилъ въ своемъ предпослѣднемъ письмѣ о Жоржъ-Зандѣ: «Посмотрите на Ж. Зандъ въ тѣхъ ея романахъ, гдѣ рисуетъ она свой идеалъ общества: читая ихъ, думаешь читать «Переписку Гоголя» (*Пыпинъ*, Бѣлинскій, II, 320).

Теперь иные отрицаютъ даже первостепенное значеніе художественной дѣятельности Гоголя, какъ важнаго поворотнаго пункта въ исторіи русской литературы XIX вѣка, и за таковой принимаютъ дѣятельность Бѣлинскаго и его послѣдователей.

Конечно, въ Гоголѣ не мало такого, что роднитъ его съ предшествовавшими вѣками русскаго и западно-европейскаго прошлаго, но оцѣнка, упускающая изъ виду несомнѣнно чрезвычайное значеніе этого писателя для второй половины XIX в., столь же односторонняя, какъ и положенная въ основу этого сужденія о Гоголѣ критика его личности и міровоззрѣнія, представленная Бѣлинскимъ въ пресловутомъ письмѣ къ автору «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями» 15 іюля 1847 г. Бѣлинскій, одинъ изъ литературныхъ вождей и главъ крайней партіи, въ высшей степени страстный и раздражительный, не могъ отнестись съ должнымъ безпристрастіемъ и справедливостью къ человѣку, котораго считалъ главнымъ орудіемъ противоположной партіи, славянофильской [1]). Бѣлинскій не замѣтилъ, что Гоголь, выработавшій собственное мощное міровоззрѣніе, возвышался надъ обоими боровшимися лагерями, не примыкая вполнѣ ни къ тому, ни къ другому, подобно Жуковскому и Пушкину, и что авторъ «Мертвыхъ Душъ» скорѣе продолжалъ нравственно-политическія воззрѣнія Пушкина 30-хъ годовъ, чѣмъ повторялъ идеи московскихъ славянофиловъ и въ частности своихъ пріятелей, Шевырева и Погодина. Недаромъ Пушкинъ оставался для

1) Приступая къ разсмотрѣнію и оцѣнкѣ отношенія Бѣлинскаго къ Гоголю съ 1847 г., необходимо имѣть въ виду, что говорилъ о себѣ самъ Бѣлинскій въ своихъ письмахъ, приведенныхъ въ статьѣ *Н. А. Котляревскаго:* «Нѣсколько отрывковъ изъ неизданной переписки Бѣлинскаго» (по матеріаламъ, сообщеннымъ *А. Н. Пыпинымъ*, — въ сборникѣ: Помощь голодающимъ, М. 1892). «Ты знаешь мою натуру, писалъ Бѣлинскій 8 сентября 1841 г.: она вѣчно въ крайностяхъ и никогда не попадаетъ въ центръ идеи. Я съ трудомъ и болью разстаюсь съ старою идеей, отрицаю ее до-нельзя, а въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. И такъ, я теперь въ новой крайности».... Въ письмѣ Бѣлинскаго отъ 23 ноября 1842 г. читаемъ: «Лучшая сторона моя — чувство, сильное до изступленія и дикости, но безтолковое, чуждое всякой дѣйствительности». Эти качества Бѣлинскаго на ряду съ благородствомъ его стремленій и выразились во всей своей красѣ въ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю.

Гоголя величайшею святынею до конца его дней, и ореолъ этого великаго учителя и друга молодости Гоголя не померкъ въ его глазахъ и послѣ грозныхъ увѣщаній фанатическаго поборника аскетическаго идеала, о. Матѳея.

Теперь уже не столь рѣзокъ, какъ во дни Гоголя, споръ, который вели западники и славянофилы, но въ сужденіяхъ о Гоголѣ, ставшемъ отчасти жертвою того спора и страстныхъ упрековъ Бѣлинскаго, отзывается иногда прежнее ожесточеніе, тѣмъ болѣе, что вѣковая распря все еще не пришла къ концу, и многіе готовы повторить слова автора «Соціально-педагогическихъ условій развитія русскаго народа» (Щапова), что «спасенье» русской «литературы» заключалось «въ реально-критическомъ скептицизмѣ Бѣлинскаго».

Столь близорукой и односторонней оказывалась въ большинствѣ случаевъ отечественная критика, занимавшаяся оцѣнкой личности и творчества автора «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ» преимущественно съ точки зрѣнія тѣхъ или иныхъ общественныхъ идей и предрасположеній. Во дни Гоголя сначала «лицемѣрно-безчувственный современный судъ» называлъ «ничтожными и низкими имъ лелѣянныя созданья», отводилъ «ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество», придавалъ ему качества имъ же изображенныхъ «героевъ» [1]). Потомъ стали преобладать неблагопріятныя оцѣнки личности и мысли Гоголя подъ вліяніемъ его «Переписки съ друзьями». Лишь немногіе изъ русскихъ критиковъ подходили къ болѣе правильному уразумѣнію его значенія.

Впервые со всею отчетливостію начала выяснять это значеніе свѣдущая критика иностранная, обладавшая бо́льшимъ запасомъ данныхъ для сравненія и болѣе широкимъ кругозоромъ. Она поняла [2]), что заслуга Гоголя не ограничивается признан-

---

1) С., III, 131.

2) Отмѣтимъ прежде всего отзывъ въ 1845 г. Сентъ-Бэва, перепечатанный въ *C.-A. Sainte-Beuve*, Premiers Lundis, t. III, Par. 1879, p. 24—38, по поводу повѣстей переведенныхъ Л. Віардо. Краткую передачу этого отзыва см. въ ст.

нымъ всѣми подвигомъ его въ дѣлѣ пробужденія русскаго общественнаго самосознанія и развитія интереса и любви къ правдивому воспроизведенію русской жизни, но гораздо шире: Гоголь долженъ занять почетное мѣсто и въ міровой литературѣ, какъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ представителей высшаго художественнаго реализма и изобразителей нравственной природы человѣка, отправлявшихся отъ тщательнаго наблюденія надъ этою природою и изученія даже мельчайшихъ ея изгибовъ въ связи съ характерами, нравами и наружностью и оставившихъ геніальныя изображенія человѣка. Въ силу того Гоголь явился однимъ изъ обновителей искусства въ XIX вѣкѣ, какъ въ XIV столѣтіи таковыми были Боккаччіо и Чаусеръ, а въ концѣ XVI-го и началѣ XVII-го Шекспиръ и Сервантесъ.

И дѣйствительно, этому писателю принадлежитъ универсальное значеніе, превышающее ставшіе уже отчасти невозвратнымъ прошлымъ интересы и потребности времени и среды, для которыхъ ближайшимъ образомъ трудился Гоголь. Недаромъ онъ самъ подъ конецъ своей жизни раздвигалъ предѣлы своего творчества, «обративъ вниманіе на познаніе тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ» [1]).

Великое значеніе мысли Гоголя основано на томъ, что онъ принадлежитъ къ небольшой группѣ душъ, непрестанно «алчущихъ» и «жаждущихъ» откровенія истины [2]). Онъ уже съ ранней юности слѣдовалъ «вѣчно-неумолкаемымъ желаніямъ души», ко-

---

В. Г.: «Гоголь и иностранцы» — Новое Время 1902, № 9328). Въ концѣ своей статьи Сентъ-Бэвъ, не разъ сравнивавшій Гоголя съ западными писателями, между прочимъ съ Шекспиромъ, называетъ Гоголя «un homme de vrai talent, observateur sagace et inexorable de la nature humaine». *Де-Вогюэ* намѣтилъ ту точку зрѣнія, которую, исправивъ, развилъ теперь *А. Н. Пыпинъ* въ своей рѣчи: «Значеніе Гоголя въ созданіи современнаго международнаго положенія русской литературы»; см. также Archiv f. slavische Philologie XXV Bd. (1903), zweites Heft: *A. N. Pypin*, «Die Bedeutung Gogol's in der russischen Literatur»).

1) «Исповѣдь».

2) Выраженіе «алчущія души» примѣнено *И. И. Ивановымъ* въ статьѣ подъ этимъ названіемъ, помѣщенной въ Русской Мысли 1900, № 3, къ Паскалю, Руссо и Гоголю. Это—«люди съ особенною психологіей и съ едва постижимой для другихъ чуткостью совѣсти», «съ душой, самоотверженно и одиноко ищущей

торыя, по его мнѣнію, «одинъ Богъ вдвинулъ» въ него, «претворивъ» его «въ жажду, ненасытимую бездѣйственною разсѣянностью свѣта» [1]). Гоголя томила «жажда знать душу человѣка», почерпнуть въ такомъ познаніи опредѣленіе добра, котораго алкала его душа [2]), и обрѣсти смыслъ человѣческой жизни этимъ путемъ, который въ самомъ дѣлѣ нужно признать однимъ изъ наиболѣе вѣрныхъ. То было начало исканій, замѣчаемыхъ у многихъ великихъ русскихъ поэтовъ (у Жуковскаго, у Пушкина и у Лермонтова) и составившихъ отличительную черту послѣдующихъ выдающихся писателей Русской земли XIX вѣка [3]). Въ Гоголѣ этотъ процессъ совершался съ наибольшею яркостью и томительностью. Гоголю эти страстные поиски «познанія души человѣка» причиняли столько душевныхъ мукъ, что внимательно и безъ предвзятости изучающій его жизнь не можетъ не проникаться глубочайшимъ участіемъ на ряду съ леденящимъ душу ужасомъ передъ единственными въ своемъ родѣ страданіями одной изъ возвышеннѣйшихъ душъ въ міровой литературѣ. Дологъ и труденъ былъ путь восхожденія этой души, и еще въ поздніе годы Гоголь писалъ: «еще строюсь и создаюсь въ характерѣ» [4]). Это построеніе въ себѣ новаго человѣка было уже близко къ концу, какъ вдругъ было прервано неумолимою смертью, въ виду которой, охваченный предсмертнымъ раздумьемъ, глубоко

общечеловѣческаго блага, жаждущей высшихъ истинъ, будто хлѣба насущнаго, и раскрывающей передъ нами возможную красоту и силу человѣческой природы».

1) П., I, 124. Ср. ib., 74: «Тайны сердца, жадныя (малороссизмъ, вм. жаждущія) откровенія»...

2) П., II, 452: «За *алканіе* добра... вы умѣли простить мнѣ»...

3) Позитивизмъ отрицалъ значеніе этого самонаблюденія, но теперь насталъ поворотъ всюду, въ томъ числѣ и у насъ. Во вступительной статьѣ редактора *Перцова* къ журналу Новый Путь читаемъ:

«Писаревъ! Писаревъ! Если бы ты могъ все это видѣть, читать,—ты, убѣжденный, что всякій развратъ эстетики уничтоженъ тобою разъ навсегда!...

«Мы поняли, что осмѣянный отцами мистицизмъ есть единственный путь къ твердому, свѣтлому пониманію міра, жизни, себя...

«Гоголь, Достоевскій, Владиміръ Соловьевъ — вотъ наша родословная»...

4) П., II, 398; III, 452: «Никогда еще не сгаралъ я такимъ желаніемъ учиться».

несчастный своею неудовлетворенностью, поэтъ предалъ огню свои послѣднія завѣтныя думы, выразившіяся въ заключительной редакціи «Мертвыхъ Душъ», какъ не разъ и до того уничтожалъ свои труды, казавшіеся ему не вполнѣ достойными высокаго назначенія искусства.

Тѣмъ не менѣе, и лишившееся такъ своего завершенія творчество Гоголя сохраняетъ въ себѣ великую цѣнность. Его значеніе основано на искреннемъ, вполнѣ художественномъ, крайне выпукломъ выраженіи того міросозерцанія, которому этотъ поэтъ оставался вѣренъ во всю свою жизнь, хотя, конечно, оно достигло полной зрѣлости не сразу.

Гоголь всю свою жизнь провелъ въ непрерывныхъ поискахъ, начиная уже съ «Ганца Кюхельгартена»; мысль его постоянно работала въ двухъ направленіяхъ — аналитическомъ и синтетическомъ. Безцвѣтность и пошлость окружающаго томили его душу уже съ лѣтъ пребыванія въ Нѣжинѣ, и онъ изображалъ эти качества наблюдаемой имъ жизни. Художественныя воспроизведенія послѣдней были преимущественно отрицательнымъ выраженіемъ того *положительнаго* процесса, который совершался во всю жизнь въ этомъ великомъ художникѣ неустаннаго стремленія «впередъ и впередъ», въ работѣ синтеза его мысли. Художникъ тѣмъ выше, чѣмъ, между прочимъ, выше и крѣпче его обобщающая мысль. Гоголь былъ поэтъ не только широкаго анализа, но и синтеза, въ свое время односторонне понятый, какъ то нерѣдко бываетъ; ему предстоитъ найти болѣе вѣрную оцѣнку лишь въ будущемъ.

Устойчивостью основъ своего міросозерцанія и творчества Гоголь отличается отъ Пушкина и Лермонтова и напоминаетъ своего старшаго сверстника и друга В. А. Жуковскаго, хотя въ противоположность послѣднему не всегда былъ свободенъ отъ нѣкоторыхъ колебаній въ своей вѣрѣ и «пришелъ ко Христу» раціоналистическимъ путемъ [1]). Сходясь съ Жуковскимъ въ рели-

1) «*Повѣркой разума* повѣрилъ я то, что другіе понимаютъ ясной вѣрой и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно».

гіозномъ оптимизмѣ, въ особомъ вниманіи къ высшимъ порываніямъ души и отчасти въ общественныхъ взглядахъ [1]), Гоголь иначе понималъ задачи поэзіи. По взгляду Жуковскаго преимущественное назначеніе послѣдней — воспѣваніе неземнаго міра и неземныхъ стремленій: «поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли», говоритъ умирающій Камоэнсъ у Жуковскаго. Въ *поэзіи* Гоголя Богъ и міръ иной также иногда чувствуются, но — въ отдаленной перспективѣ; на первомъ же мѣстѣ, какъ предметъ изображенія, пребываетъ вполнѣ реальный человѣкъ во всей своей цѣлостности. Изученіе душевнаго міра, какъ двигательнаго начала всей внѣшней жизни этого человѣка, составляло постоянное средоточіе эстетическихъ идей Гоголя, стремившагося «покрѣпче всматриваться въ душу человѣка, зная, что въ ней ключъ всего». Какъ видно изъ этихъ словъ, психологизмъ у Гоголя тѣсно вязался съ реализмомъ его поэзіи [2]).

«Внутренно я не измѣнялся никогда въ главныхъ моихъ положеніяхъ», писалъ Гоголь въ 1844 году. «Отъ ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой я иду». Эта дорога — путь постояннаго изученія людей и въ частности самонаблюденія съ цѣлью поднятія нравственнаго уровня человѣка и по возможности отрѣшенія его отъ «коры земности», которая бросалась въ глаза Гоголю уже съ самыхъ раннихъ лѣтъ его творчества [3]). «Страсть наблюдать за человѣкомъ» была «питаема» Гоголемъ «еще съпзмала». Онъ, по его словамъ, «прежде, чѣмъ сдѣлался писатель, уже имѣлъ охоту къ наблюденію внутреннему надъ человѣкомъ и надъ душой человѣческой» [4]). «Любопытнаго много

---

1) Русскій строй казался Гоголю предпочтительнѣе существующаго въ западной Европѣ: первый «открываетъ властелину широкій кругъ его благотворныхъ дѣйствій» (С., IV, 42).

2) С., IV, 150. Ср. The modern langu. notes, 1902, № 5, рец. на книгу *Pellissier*, который и самъ говоритъ: «Le psychologisme n'est vraiment qu'un naturalisme de la vie mentale».

3) Письмо 1844 г. къ С. Т. Аксакову (П., II, 435). П., I, 75: «Они задавили корой своей земности»...

4) С. IV, 280—281. «Отъ малыхъ лѣтъ была во мнѣ страсть замѣчать за

открываетъ дѣтскій любопытный взглядъ... Все, что́ носило на себѣ напечатлѣніе какой-нибудь замѣтной особенности, все останавливало.... и поражало... ничто не ускользало отъ свѣжаго, тонкаго вниманія» [1]). Юноша «уносился мысленно въ бѣдную жизнь». Потомъ изученіе стало еще внимательнѣй: «мудръ тотъ, кто не гнушается никакимъ характеромъ, но, вперя въ него испытующій взглядъ, извѣдываетъ его до первоначальныхъ причинъ» [2]). Въ концѣ кругъ и методъ наблюденія расширились еще болѣе, и Гоголь такъ говоритъ объ этомъ: «человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ моихъ наблюденій. Я оставилъ на время все современное; я обратилъ вниманіе на узнаніе тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевидцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. Все, гдѣ только выражалось познаніе людей и душа человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустынника, меня занимало» [3])...

Разумѣется, Гоголь не сразу оказался при этомъ «мужемъ, воспитаннымъ суровой внутренней жизнью и свѣжительной трезвостью уединенія», потому что уединялся въ мірѣ постепенно [4]). Но и «послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ, и опытовъ, и размышленій» онъ «пришелъ къ тому, о чемъ помышлялъ во время дѣтства, что назначеніе человѣка — служить, и вся наша жизнь есть служба» [5]). Свою службу онъ уже въ юности ставилъ въ томъ, чтобы «разсѣевать благо и работать на пользу міра» [6]), потому что измлада, одушевляемый благородными чувствами, «всю свою

человѣкомъ, ловить душу его въ малѣйшихъ чертахъ и движеніяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманія людьми».

1) С., III, 107.

2) С., III, 243.

3) С.

4) Правда, уже въ Нѣжинѣ Гоголь «уединялся совершенно отъ всѣхъ» (П., I, 74), но это еще не было тѣмъ обособленіемъ, какое видимъ позднѣе.

5) С., III, 224.

6) П., I, 124.

жизнь обрекъ благу» [1]). Въ теченіе всей своей жизни онъ былъ проникнутъ возвышеннымъ нравственнымъ настроеніемъ, и оно также являлось началомъ, объединявшимъ всѣ періоды его литературной дѣятельности, наравнѣ съ трезвостію наблюденія, добрымъ смѣхомъ и «незримыми, невѣдомыми міру слезами». Гоголь проливалъ эти слезы какъ въ тѣ годы, когда началъ достигать громкой славы, такъ и тогда, когда приготовлялъ къ изданію «переписку съ друзьями», въ сильной степени подорвавшую эту славу. Уже въ первые годы своего творчества Гоголь начиналъ чувствовать трагизмъ жизни и ужасъ его; тайная грусть и тогда не покидала его; иногда онъ преодолѣвалъ ее [2]), но въ другіе моменты «не зналъ, куда дѣваться отъ тоски, и напрасно искалъ развлеченій» [3]).

Такимъ образомъ, Гоголь пребывалъ постоянно вѣренъ себѣ, и особаго перелома, усматриваемаго иными, въ немъ не произошло за исключеніемъ постепеннаго сосредоточенія въ религіозности подъ вліяніемъ раздумья, усиливавшагося съ годами, между прочимъ — о постигавшихъ его утратахъ друзей. Ростъ самой этой религіозности совершался вполнѣ естественно изъ зерна, зароненнаго въ поэта отъ природы и уже въ юности развившагося до признанія водительства Божія, о которомъ позже онъ выразился такъ: «безъ Божьей воли ничего не дѣлается. А воля Божья разумна» [4]); тогда онъ призналъ, что Христосъ «всѣхъ напумнѣй».

Уже въ первомъ своемъ печатномъ произведеніи, въ сожженной вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ (1829 г.) поэмѣ «Ганцъ

---

1) П., I, 98: «Всегда чувства благородныя наполняютъ меня, никогда не унижался я въ душѣ и всю жизнь свою обрекъ долгу».

2) П., I, 340: «У насъ на душѣ столько грустнаго и заунывнаго, что если позволять всему этому выходить наружу, то это чортъ знаетъ что такое будетъ. Чѣмъ сильнѣе подходитъ къ сердцу старая печаль, тѣмъ шумнѣе должна быть веселость».

3) П., I, 465: «Не зналъ, куда дѣваться отъ тоски, и напрасно искалъ развлеченій».

4) П., III, 200.

Кюхельгартенъ», Гоголь выказалъ основныя черты своего душевнаго склада, сейчасъ нами обрисованнаго, — возвышенный идеализмъ, наклонность къ самоанализу, неудовлетворенность обыденнымъ, будничнымъ существованіемъ и стремленіе выйти изъ его стѣсняющихъ предѣловъ, не отрѣшающееся однако отъ идеи служенія другимъ. Закончилъ Гоголь тѣмъ же изученіемъ себя и также стремленіемъ вдаль, но не въ буквальномъ, а въ переносномъ, нравственномъ смыслѣ. Исколесивъ не разъ западъ и югъ Европы, посѣтивъ Палестину, въ которую такъ долго рвалась его душа, Гоголь пересталъ въ послѣдніе годы стремиться на чужбину, но въ сущности оставался тѣмъ же Ганцемъ, только поднявшимся на много и много ступеней выше надъ Чайльдъ-Гарольдовымъ порываніемъ вдаль. «Ни за что-бъ я не выѣхалъ изъ Москвы, которую такъ люблю», писалъ Гоголь 15 сентября 1850 г. «Да и вообще Россія все мнѣ становится ближе и ближе; кромѣ свойства родины, есть въ ней что-то еще выше родины, точно какъ-бы это та земля, откуда ближе къ родинѣ небесной» [1]).

Въ годы, протекшіе между этими двумя рубежами творческой дѣятельности Гоголя, онъ осуществлялъ программу, которая такъ изложена въ сейчасъ указанномъ письмѣ къ Стурдзѣ: «Много, много есть того, что́ позабыто, но не должно позабываться, что́ нужно выставить въ живыхъ, говорящихъ примѣрахъ, — словомъ много того, о чемъ нужно напомнить нынѣшнему современному человѣку, и что́ принимается умами многихъ только тогда, когда скажется въ высокомъ настроеніи поэтической силы». Вѣдь «есть много тайнъ въ глубинѣ души человѣка, которыхъ еще не открылъ человѣкъ» [2]).

---

1) П., IV, 352. Ранѣе, какъ вѣрно указалъ г. Шенрокъ, Гоголь приблизительно въ такомъ же смыслѣ выражался о Римѣ. См., между прочимъ, строки о «красавицѣ Италіи» 1837 г.: «Никто въ мірѣ ея не отниметъ у меня. Я родился здѣсь. Россія, Петербургъ, снѣга, подлецы, департаментъ, каѳедра, театръ — все это мнѣ снилось» и т. д.

2) П., II, 215.

Въ этихъ словахъ находимъ краткое опредѣленіе задачи, въ выполненіи которой Гоголь справедливо усматривалъ возвышенный подвигъ. Онъ вполнѣ вѣрно понялъ одну изъ величайшихъ задачъ поэзіи — наблюденіе надъ человѣческой душой и воссозданіе ея различныхъ изъяновъ и лучшихъ сторонъ съ цѣлью воздѣйствія на людей и вспомоществованія осуществленію ими «высокаго назначенія человѣка»[1]).

Въ такомъ изученіи и творческомъ воспроизведеніи души и вообще дѣйствительности Гоголь выказалъ въ себѣ истинную геніальность и великій талантъ художественнаго изображенія, что замѣтилъ и провозгласилъ-было уже Бѣлинскій. Называли Гоголя геніемъ и другіе современники его, напр., Соллогубъ и Никитенко.

По мѣткому опредѣленію Шопенгауэра, геніальность[2]) — не что иное, какъ совершеннѣйшая объективность. Исходя изъ этого опредѣленія, устанавливаютъ, что геніальныя натуры познаютъ явленія съ возможнымъ приближеніемъ къ ихъ дѣйствительной сущности, а люди ограниченные узко истолковываютъ факты на свой ладъ и потому создаютъ себѣ превратное представленіе о мірѣ. Здоровый реализмъ, говоритъ Türck[3]), разумѣніе, вникающее въ глубь, въ дѣйствительность и истину, въ сущность вещей, приводитъ къ истинному идеализму, къ постиженію идей великихъ, господствующихъ надъ всѣмъ сущимъ, которыя всѣ сводятся къ идеѣ высшаго, совершеннѣйшаго бытія. Всѣ эти черты генія, а равно и тѣ, которыя были намѣчены уже Кантомъ, цѣлостность эстетической идеи, созданіе собственныхъ правилъ для искусства, а слѣдовательно, и оригинальность[4]), вполнѣ усматриваются въ

---

1) П., I, 75 о нѣжинскихъ обитателяхъ: «они задавили... высокое назначеніе человѣка».

2) Вопросъ о геніальности въ послѣднее время вновь началъ привлекать вниманіе изслѣдователей. Изъ новѣйшихъ трудовъ надлежитъ отмѣтить книгу *O. Schlapp*, Kants Lehre vom Genie, Göttingen, 1901, разъяснившую ученіе Канта, сохранившее цѣну и послѣ цѣлаго ряда новыхъ работъ по этому вопросу.

3) *H. Türck*, Der geniale Mensch, Fünfte Auflage, Berl. 1901.

4) По смыслу Кантова опредѣленія, геній заявляетъ себя цѣлостною эсте-

Гоголѣ и въ главной особенности его творчества. Онъ самъ такъ характеризуетъ это творчество и участіе мысли въ послѣднемъ: «Полное воплощеніе въ плоть, это полное округленіе характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу въ умѣ своемъ весь этотъ прозаическій существенный дрязгъ жизни, когда, содержа въ головѣ всѣ крупныя черты характера, соберу въ тоже время все тряпье до малѣйшей булавки, словомъ когда соображу все отъ мала до велика, ничего не пропустивши». Такъ было въ силу «способности больше выводить, чѣмъ выдумывать». «Вслѣдствіе устройства головы моей, я могу работать только вслѣдствіе глубокихъ соображеній и обдумываній»[1]). По словамъ С. Т. Аксакова, которому не можемъ не довѣрять, «ясность и глубина взгляда и вѣрность суда даже въ предметахъ, мало ему извѣстныхъ, были отличительными качествами Гоголя».

Въ сферѣ художественнаго творчества геніальность проявляетъ себя, между прочимъ, способностью своеобразно и вмѣстѣ ярко и рельефно объективировать характерныя явленія жизни. При этомъ велики только тѣ умы, въ которыхъ отражается міровое цѣлое, обогащая человѣческій духъ. Геніальные поэты выдвигаютъ на видъ и вводятъ въ общее сознаніе не только возвышенныя общечеловѣческія, всѣмъ присущія въ большей или меньшей степени стремленія, каковы, напр., воплощенныя въ Гамлетѣ, Фаустѣ, но и прямо противоположныя таковымъ, также свойственныя въ сильной степени человѣческой натурѣ,— то, что̀ можно бы назвать возвышеннымъ въ обратномъ смыслѣ. Гоголь геніально выразилъ эту двойственность человѣческой природы, тѣ «двѣ души», которыя находили въ ней величайшіе представители творчества, Сервантесъ, Шекспиръ и Гёте[2]).

тическою идеею, самъ даетъ правила искусству, а не подчиняется готовымъ, слѣдовательно, оригиналенъ. Jean Paul Richter и Шиллеръ дополнили это опредѣленіе, выдвигая на видъ, что геній охватываетъ «цѣлое жизни», проникнутъ Total-идеей.

1) П., II, 260.

2) О двухъ типахъ писателей говоритъ самъ Гоголь въ одномъ изъ лирическихъ отступленій въ «Мертвыхъ Душахъ».

Гоголь былъ надѣленъ колоссальнымъ «талантомъ» «изображать бѣдность нашей жизни»[1]), не обманываясь внѣшностію общества, хотя бы и самою блестящею, открывать во всемъ слабыя стороны и соціальныя язвы. Онъ изображалъ стремленіе къ господству и борьбу эгоизма, ограниченности и пошлости за преобладаніе въ человѣческомъ мірѣ, но также и невозможность для нихъ вполнѣ одолѣть лучшія побужденія.

Обыденная дѣйствительность никогда и нигдѣ надолго не удовлетворяла Гоголя по выходѣ его изъ дѣтства и ранней юности, и онъ не мирился съ нею[2]). Кажущееся согласіе съ нею въ «Перепискѣ съ друзьями» имѣетъ совсѣмъ иной смыслъ, болѣе глубокій, чѣмъ какой находятъ въ ней вслѣдъ за Бѣлинскимъ. Приглядѣвшись повнимательнѣй, нельзя не замѣтить, что это примиреніе было обманчиво и давало Гоголю лишь удобную форму для развитія морали, въ сущности возвышенной и благородной, хотя и не имѣвшей вида, моднаго въ XIX вѣкѣ. То была мораль культуры, основанной на духовномъ подъемѣ личности и *внутренно* отличной отъ той, которою гордился XIX-й вѣкъ въ Европѣ и Америкѣ и въ которой Гоголь сталъ разочаровываться уже со времени ближайшаго знакомства съ Петербургомъ[3]), а

---

1) С., III, 279.

2) Кромѣ приведенныхъ выше выдержекъ, можно бы подыскать не мало другихъ. См. напр., II., I, 396: «на Руси есть такая изрядная коллекція гадкихъ рожъ, что не въ терпежъ мнѣ пришлось глядѣть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, когда объ нихъ вспомню». См. еще II., II, 255—256: «вездѣ можетъ постигнуть тебя тяжелая, можетъ быть даже жестокая тоска»; 378: «Есть какая-то повсюдная нервически душевная тоска».

3) Это разочарованіе сквозитъ уже начиная съ первыхъ писемъ изъ Петербурга; см., напр., II., I, 117: «Тишина необыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народѣ, все служащіе да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все подавлено, все погрязло въ безцѣльныхъ, ничтожныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ»... То же отрицательное отношеніе къ столицѣ находимъ и въ послѣднихъ письмахъ, писанныхъ, когда заканчивалось постоянное пребываніе Гоголя въ Петербургѣ: «грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее столицу... Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, признакъ глубокаго, упорнаго невѣжества, разлитаго на наши классы» (II., I, 377).

затѣмъ и съ Западною Европой. Обличеніемъ золъ современной культуры и провозглашеніемъ новыхъ началъ возрожденія Гоголь вошелъ въ небольшую группу передовыхъ вождей человѣчества, какими явились въ XVIII в. Руссо и Шиллеръ, въ XIX-мъ в. Уордсуортъ и нѣкоторые другіе англійскіе писатели до Рескина включительно, а у насъ послѣ Гоголя гр. Л. Н. Толстой.

Гоголь открылъ въ европейскихъ литературахъ XIX в. съ особою страстностью исканіе новыхъ путей къ возрожденію истинной человѣчности. «Вѣчное движенье и блескъ» «настоящей Европы», заманчиво мелькавшіе вдали; «Парижъ, это вѣчное, волнующееся жерло, водометъ, мечущій искры новостей, просвѣщенья, моду, изыскаинаго вкуса и мелкихъ, но сильныхъ законовъ, отъ которыхъ не властны оторваться и сами порицатели ихъ; великая выставка всего, что производитъ мастерство, художество и всякій талантъ, скрытый въ невидныхъ углахъ Европы, трепетъ и любимая мечта двадцатилѣтняго человѣка, размѣнъ и ярмарка Европы! самое сердце Европы, гдѣ, идя, подымаешься выше, чувствуешь, что членъ великаго всемірнаго общества»! — «многое» изъ всего этого, когда Гоголь приглядѣлся къ нему повнимательнѣе, показалось нашему поэту «не въ томъ видѣ, какъ было прежде»[1]). «Всѣ европейскія государства, замѣчаетъ онъ, теперь болѣютъ необыкновенной сложностью всякихъ законовъ и постановленій. Повсюду замѣтно одно замѣчательное явленіе, а именно: законы собственно гражданскіе выступили изъ предѣловъ и ворвались въ области, имъ не принадлежащія»[2]). Какъ и князь его отрывка «Римъ», Гоголь «во многомъ разочаровался... Онъ видѣлъ, какъ вся эта многосторонность и дѣятельность жизни Парижа исчезала безъ выводовъ и плодоносныхъ душевныхъ осадковъ. Въ движеньѣ вѣчнаго его кипѣнья и дѣятельности видѣлась теперь ему страшная недѣятельность, страшное царство словъ вмѣсто дѣлъ. Онъ видѣлъ, какъ

1) С., II, 134—139.
2) С., IV, 162.

всякій французъ, казалось, только работалъ въ одной разгоряченной головѣ; какъ это журнальное чтеніе огромныхъ листовъ поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; какъ всякій французъ воспитывался этимъ страннымъ вихремъ книжной, типографски движущейся политики и, еще чуждый сословія, къ которому принадлежалъ, еще не узнавъ на дѣлѣ всѣхъ правъ и отношеній своихъ, уже приставалъ къ той или другой партіи, горячо и рѣзко принимая къ сердцу всѣ интересы, становясь свирѣпо противъ своихъ супротивниковъ, еще не зная въ глаза ни интересовъ своихъ, ни супротивниковъ... и слово *политика* опротивѣло, наконецъ... Въ движеньѣ торговли, ума, вездѣ, во всемъ видѣлъ онъ только напряженное усиліе и стремленіе къ новости. Одинъ сплился передъ другимъ, во что бы то ни стало, взять верхъ хотя бы на одну минуту... Вездѣ почти дерзкая увѣренность и нигдѣ смиреннаго сознанія собственнаго невѣдѣнія... И показалась ему теперь низкою роскошь XIX столѣтія, мелкая ничтожная роскошь... нынѣшнія мелочныя убранства, ломаемыя и выбрасываемыя ежегодно безпокойною и странною модою, страннымъ, непостижимымъ порожденьемъ XIX вѣка, предъ которымъ безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что̀ колоссально, величественно, свято. При такихъ разсужденіяхъ невольно приходило ему на мысль: не отъ того ли сей равнодушный хладъ, обнимающій нынѣшній вѣкъ, торговый, низкій разсчетъ, ранняя притупленность еще не успѣвшихъ развиться и возникнуть чувствъ?... И увидѣлъ онъ теперь, какъ близорука была молодежь, и какъ близоруки бываютъ политики, упрекающіе народъ въ безпечности и лѣни»[1]).

Мы слышимъ въ этихъ строкахъ приблизительно ту же скорбь объ утратѣ истиннаго величія, «спокойной торжественностью тишины»[2]) и простоты новѣйшими культурами, какая

---

1) С., II, 139—140, 147—148, 153.

2) Тамъ же, 149.

вдохновляла ранѣе названныхъ нами великихъ обличителей внутренняго упадка новѣйшей культуры. Не заманчивый для юноши, въ существѣ же ложный «блескъ и шумъ»[1]) ея, но другія перспективы рисовались нашему поэту. Покидая въ 1835 г. надолго свое отечество, отправляясь «разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, «свои будущія творенья, Гоголь, глубоко огорченный «ожесточеніемъ» противъ «Ревизора», «любилъ между тѣмъ сильно свое отечество и своихъ же соотечественниковъ»[2]). Эта любовь все болѣе и болѣе зрѣла и крѣпла въ «чудномъ далекѣ», на чужбинѣ и преображалась въ мечты о свѣтломъ будущемъ родины, дорогой сердцу поэта. «У! Какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль, Русь!»...

Стремясь всею душою постоянно «впередъ», въ эту «чудную даль», великій поэтъ, со всею трезвостію, присущею ему, зналъ также и понималъ, какъ недостаточно быть лишь метафизикомъ, и удѣлялъ все должное вниманіе и печальной дѣйствительности.

---

1) Тамъ же, 149.
2) П., I, 377—378.

Романтическій міръ Гоголя[1]).

Въ изученіи, пониманіи и воспроизведеніи дѣйствительности Гоголь постоянно выказывалъ удивительную наблюдательность[2]), оригинальность[3]) и самобытность. Это одинъ изъ первыхъ по времени и достоинству русскихъ вполнѣ самобытныхъ поэтовъ, стоявшихъ на уровнѣ литературнаго развитія, достигнутомъ Западною Европою, но шедшихъ своею дорогою. Этою чертой, характеризующею геніальныя натуры, Гоголь, продолжавшій дѣло Пушкина, поднялся отчасти надъ послѣднимъ, какъ и надъ Лермонтовымъ и надъ Тургеневымъ. Ею же опредѣляется мѣсто Гоголя въ міровой литературѣ. Это одинъ изъ самыхъ раннихъ и лучшихъ представителей новаго реализма въ европейскихъ литературахъ XIX вѣка и при томъ реализма русскаго, сочетающагося со своеобразнымъ романтизмомъ.

---

1) Чтенія въ Историч. Обществѣ Нестора-Лѣтописца, кн. IX, вып. I, 1906.

2) Приведемъ слова Пушкина: «Я просто пораженъ наблюдательностью нашего молчальника-хохла, — хохолъ все видитъ, все слышитъ, схватываетъ неуловимые оттѣнки, особенно все смѣшное. Но онъ не только смѣется: онъ бываетъ и грустенъ; онъ разсмѣшитъ, но заставитъ и плакать. И помяните мое слово — раньше десяти лѣтъ будетъ русскимъ Сократомъ». Въ этихъ словахъ, если только они вѣрно воспроизведены, Пушкинъ со свойственною ему удивительною мѣткостію сужденія очертилъ особенность таланта Гоголя вплоть до Сократовской мудрости, за которую потомъ досталось Гоголю отъ софистовъ XIX-го вѣка.

3) Теперь уже въ достаточной степени установлены соотношенія произведеній Гоголя съ произведеніями какъ западно-европейскихъ литературъ, такъ и русской. Анализъ этихъ соотношеній показываетъ, что, при кажущейся внѣшней зависимости нѣкоторыхъ произведеній Гоголя отъ образовъ, картинъ и даже мелочей, закрѣпленныхъ творчествомъ до него, внутренно первыя не утрачиваютъ отъ того своей оригинальности, вполнѣ согласуясь съ душевною жизнью нашего поэта и входя въ нее какъ-бы путемъ подбора.

Послѣдній былъ постоянно присущъ нашему поэту.

Въ молодости Гоголь на ряду съ рано развившеюся въ немъ наклонностію къ наблюденію и реализму примыкалъ нѣкоторое время въ сильной степени и къ модному тогда романтизму, родному и чужому. Потомъ, удержавъ нѣкоторыя изъ основныхъ ученій этого романтизма, Гоголь поднялся до романтизма болѣе оригинальнаго.

Здѣсь не мѣсто входить въ разборъ опредѣленій романтизма, представленныхъ различными критиками. Мы ограничимся краткимъ изъясненіемъ этого историко-литературнаго термина, кажущимся намъ наиболѣе вѣроятнымъ. Подъ романтизмомъ мы понимаемъ постоянное, крайне индивидуалистическое и субъективное, смутное и безграничное недовольство, неудовлетворенность прозаическимъ пониманіемъ жизни и обычнымъ, шаблоннымъ воспропзведеніемъ ея, стремленіе къ невѣдомому, иногда таинственному, — въ ширь, даль и безпредѣльность, и потому витаніе преимущественно въ области чувства и воображенія[1]). Подъ такое изъясненіе романтизма подойдутъ столь несходные и въ иномъ даже прямо противоположные другъ другу представители его, какъ сентиментальный романтикъ Жуковскій и Ламартинъ съ одной стороны и Байронъ и Лермонтовъ съ другой.

Къ романтизму предрасполагала Гоголя уже его душевная организація, черты которой можно наблюдать на протяженіи всей его жизни: предрасполагали его «сердце, можетъ быть единственное, по крайней мѣрѣ рѣдкое въ мірѣ, чистая, пламенѣющая любовью ко всему высокому и прекрасному душа», его «гордость» и «гордые помыслы юности, проистекавшіе, однакожъ, изъ чистаго источника, изъ одного только пламеннаго желанія быть полезнымъ»[2]). Изначала это было существо особое, во мно-

---

1) Возраженія *М. А. Тростникова* въ статьѣ: «О романтизмѣ вообще и романтизмѣ Жуковскаго въ частности» (Педагогическій Сборникъ, 1903, №№ 1 и 2) будутъ разсмотрѣны мною въ другомъ мѣстѣ, — въ ряду мнѣній о сущности романтизма.

2) П., I, 130, 137, 136; ср. 139.

гомъ отличное отъ обычныхъ людей, жившее особою внутреннею жизнью. На 19-мъ году жизни Гоголь просилъ у матери прощенія «въ словахъ и поступкахъ, которые никогда не выливались отъ сердца, но которые были невольныя выскочки словъ; когда въ умѣ бродили другія мысли, вы знали, что я былъ часто болтливый и въ одно время раздумчивый, если чего мой разговоръ не касался»[1]).

Недаромъ и позднѣе К. Аксаковъ отмѣтилъ въ Гоголѣ, что, «будучи погруженъ въ совсѣмъ другія мысли, разбуженный какъ будто отъ сна, онъ иногда самъ не зналъ, что отвѣчать и что говорить, лишь бы только отдѣлаться отъ докучливаго вопроса»... Эта особенность Гоголя была обусловлена тѣмъ, что онъ весьма рано выработалъ свой особенный внутренній міръ и постоянно съ точки зрѣнія послѣдняго обсуждалъ міръ, его окружавшій и пребывавшій внѣ его. Потому-то уже въ Нѣжинѣ Гоголь, по его собственнымъ словамъ[2]), «почитался загадкой для всѣхъ»[3]). Свои «долговременныя думы» онъ «затаилъ въ себѣ. Не довѣрчивый ни къ кому, скрытный», онъ «никому не повѣрялъ своихъ тайныхъ помышленій»[4]). Много лѣтъ спустя онъ сознавался: «Мнѣ всегда приписывали скрытность. Отчасти она есть во мнѣ»[5]). Гоголь имѣлъ друзей во всѣ періоды своей жизни, но въ общемъ это была натура, склонная не столько къ экспансивности, сколько къ уединенію.

Вотъ объясненіе одного изъ казавшихся несимпатичными качествъ Гоголя, которыми не разъ попрекали его, забывая, — скажемъ его собственными словами, — что «тотъ, кто созданъ сколько-нибудь творить въ глубинѣ души... тотъ долженъ быть страненъ во многомъ»[6]). Гоголь же постоянно творилъ въ глубинѣ души и потому бывалъ страненъ, но, встрѣчаясь съ этими стран-

1) П., I, 87.
2) П., I, 98.
3) Тамъ же.
4) Тамъ же, 89.
5) П., II, 419.
6) П., II, 215.

ностями его, не надо забывать, что корень ихъ — въ «вѣчно неумолкаемыхъ желаніяхъ души, которыя, говорилъ Гоголь, одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворивъ меня въ жажду, не насытимую бездѣйственною разсѣянностью свѣта»[1]). «Неугасимо горитъ во мнѣ стремленіе», писалъ Гоголь полтора года спустя[2]).

«Вѣчно-неумолкаемыя желанія души» и «ненасытимая жажда», постоянно отличавшія Гоголя, — непремѣнная принадлежность романтика, какъ и невозможность «навострить лыжи въ скромность недальнихъ чувствъ и удовольниться ничтожностью, почти вѣчною»[3]), а равно и мечтательность, которую признавалъ въ себѣ и самъ Гоголь[4]) и которую усматривали въ немъ и другіе[5]). Оттуда отчасти постоянное недовольство Нѣжиномъ, порыванія въ Петербургъ, а по оставленіи Нѣжина помыслы о заграничной поѣздкѣ[6]) и постоянныя странствованія потомъ до 1848 г. включительно. Въ связь съ романтическими предрасположеніями надо поставить и «проклятое желаніе быть оригинальнымъ»[7]).

Вмѣстѣ съ тѣмъ это была личность, способная къ подвигамъ крѣпкой воли[8]) и шедшая «къ достиженію своей цѣли съ неизмѣнною непоколебимостью»[9]). «Намѣшки, намеки болѣе заставятъ укрѣпнуть (sic) въ предположенномъ начертаніи»[10]). Гоголь

---

1) П., I, 124.

2) П., I, 172.

3) П., I, 79.

4) П., I, 78: «Этимъ богатствомъ я всегда буду надѣленъ. Оно не оставитъ меня во все дленіе жизни».

5) Въ юношескихъ письмахъ Гоголя нерѣдко ведется рѣчь о томъ.

6) П., I, 105: «Я ѣду въ Петербургъ въ началѣ зимы, а оттуда Богъ знаетъ куда меня занесетъ; весьма можетъ быть, что попаду въ чужіе края, что обо мнѣ не будетъ ни слуху, ни духу нѣсколько лѣтъ» и т. д.

7) П., I, 237.

8) На первыхъ порахъ Гоголь называлъ это упрямствомъ: «корень характера — злое упрямство» (П., I, 85). Въ слѣдующемъ письмѣ опять читаемъ о «настойчивомъ упрямствѣ, которое рѣзко означило характеръ мой» (П., I, 86). «Упрямство» признавалъ въ себѣ Гоголь и въ письмѣ 13 августа 1829 г. (П., I, 130); 1834 г.: «мое упрямство требуетъ этого» (П., I, 302).

9) П., I, 86.

10) П., I, 90.

говоритъ намъ, что «всегда достигалъ своихъ намѣреній»[1]). Онъ возлагалъ надежды на свою «неусыпность, желѣзное терпѣніе, непоколебимое намѣреніе къ достиженію цѣли, съ которымъ можно все побѣждать»[2]), на «свою настойчивостъ и терпѣніе, которыми прежде мало обладалъ»[3]). Послѣ перваго крупнаго «перелома» въ нравственномъ складѣ своемъ Гоголь писалъ: «какая неуклонная твердость и мужество въ душѣ моей»[4])! Эту твердость, по его словамъ, онъ проявилъ и защищаясь отъ любви: «у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня отъ желанія заглянуть въ пропасть»[5]). «На что человѣку дается характеръ и желѣзная сила души? къ чорту лѣнь, да и концы въ воду»![6]). «Я далъ себѣ слово, и твердое слово; стало быть, все кончено: нѣтъ гранита, котораго бы не пробили человѣческая сила и желаніе»[7]).

Какъ натура романтическая, индивидуалистическая, Гоголь стремился постоянно къ славѣ на романтическій ладъ. «Я не знаю, отчего я теперь такъ жажду современной славы», писалъ онъ въ 1833 г.[8]).

Романтическія порыванія, обусловленныя сейчасъ указанными предрасположеніями, развились въ Гоголѣ уже въ годы дѣтства и юности. Сообщая касательно слышаннаго отъ матери разсказа о страшномъ судѣ, Гоголь такъ вспоминалъ о томъ: «это потрясло и разбудило во мнѣ всю *чувствительность*, это заронило и произвело впослѣдствіи во мнѣ *самыя высокія мысли*»[9]).

Въ Нѣжинѣ Гоголь рано развилъ въ себѣ эстетическое чув-

---

1) П., I, 94.
2) Тамъ же, 95.
3) П., I, 107.
4) П., I, 172.
5) П., I, 232.
6) П., I, 276.
7) П., I, 306.
8) П., I, 245.
9) П., I, 260.

ство [1]) и соотвѣтственный идеалъ, въ сравненіи съ которымъ окружавшая его дѣйствительность должна была казаться ему столь же неприглядною, какъ и Ганцу Кюхельгартену его обычная обстановка. «Я отказываю себѣ, читаемъ въ одномъ изъ нѣжинскихъ писемъ, въ самыхъ крайнихъ нуждахъ, съ тѣмъ чтобы имѣть возможность поддержать себя въ такомъ состояніи, въ какомъ нахожусь, чтобы имѣть возможность удовлетворить моей *жаждѣ видѣть и чувствовать прекрасное* [2]). Для него-то я съ трудомъ величайшимъ собираю все годовое свое жалованье, откладывая самую часть на нужнѣйшія издержки. За Шиллера, котораго я выписалъ изъ Лемберга, далъ я 40 рублей: деньги, весьма немаловажныя по моему состоянію; но я награжденъ съ излишкомъ и теперь *нѣсколько часовъ въ день провожу съ величайшею пріятностью*. Не забываю также и русскихъ, и выписываю, что только выходитъ отличнаго... Удивительно, какъ сильно можетъ быть влеченіе къ хорошему! Иногда читаю объявленіе о выходѣ въ свѣтъ творенія прекраснаго... Мечтаніе достать его смущаетъ сонъ мой... Не знаю, что бы было со мною, ежели бы я еще не могъ чувствовать отъ этого радости: я бы умеръ отъ тоски и скуки». Въ радужныхъ краскахъ 18-лѣтнему Гоголю, страстному любителю природы, рисовалось при этомъ лишь деревенское житье: «опять увижу васъ и снова развеселюсь во всю Ивановскую. Не могу надивиться, какъ весела, какъ разнообразна жизнь наша»! [3]). «Можетъ быть, нѣтъ въ мірѣ другого, влюбленнаго съ такимъ изступленіемъ въ природу какъ я» [4]), писалъ потомъ Гоголь. «Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю всѣ движенія ея, и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе открываю въ ней неуловимыхъ прелестей». Зарождалось въ тѣ годы и романтическое стремленіе къ славѣ. Гоголь боялся, какъ бы «не-

---

1) Оттуда, между проч., любовь къ живописи, сказавшаяся въ занятіяхъ рисованіемъ, и къ архитектурѣ (см. П., I, 158, прим. 3, и 142, прим. 1).

2) Слово «прекрасное» подчеркнуто самимъ Гоголемъ.

3) П., I, 69—70.

4) П., I, 223.

умолимое веретено судьбы» не «зашвырнуло» его «съ толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) въ самую глушь ничтожности», и не «отвело черной квартиры неизвѣстности въ мірѣ»[1]). «Я кипѣлъ принести хотя малѣйшую пользу. Тревожныя мысли, что я не буду мочь, что мнѣ преградятъ дорогу, что не дадутъ возможности принесть государству малѣйшую пользу, бросали меня въ глубокое уныніе. Холодный потъ проскакивалъ на лицѣ моемъ при мысли, что, можетъ быть, мнѣ доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дѣломъ — быть въ мірѣ и не означить своего существованія — это было для меня ужасно»...

Эти предрасположенія къ романтическимъ настроеніямъ укрѣплялись знакомствомъ съ романтическими произведеніями, начинавшими уже наводнять нашу литературу. Нѣсколько лѣтъ спустя Гоголь писалъ Шевыреву: «Я васъ люблю почти десять лѣтъ, съ того времени, когда вы стали издавать «Московскій Вѣстникъ», который я началъ читать, будучи еще въ школѣ, и ваши мысли подымали изъ глубины души моей многое, которое еще донынѣ не развернулось». И такъ въ Гоголѣ началъ возникать романтическій индивидуализмъ, подъ которымъ надо разумѣть усвоеніе первенствующаго значенія душевному міру личности и сосредоточеніе въ послѣдней высшихъ интересовъ и задачъ. Въ литературѣ XIX-го вѣка начало индивидуализму положилъ именно романтизмъ, унаслѣдовавшій эти индивидуалистическія влеченія еще отъ XVIII-го вѣка, но значительно усилившій ихъ, между прочимъ, подъ вліяніемъ возрожденія христіанскаго настроенія. Вѣдь христіанство искони развивало своеобразный индивидуализмъ, вполнѣ мирящійся со служеніемъ ближнимъ и любовью къ нимъ. Индивидуализмъ Гоголя примыкалъ къ такому христіанскому самоуглубленію, сохраняя въ то же время всѣ существенныя черты романтическаго самососредоточенія личности[2]).

1) II., I, 78; затѣмъ — 89.

2) Уже 16-лѣтнимъ юношею Гоголь, потерявъ отца, «перенесъ сей ударъ

Гоголь былъ христіански-романтическимъ индивидуалистомъ. Въ личной своей жизни онъ рано сталъ отдѣлять себя отъ «толпы самодовольной черни»[1]), отъ «существователей», которые «задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольствія высокое назначеніе человѣка»[2]); Гоголь называлъ себя «иноземцемъ, забредшимъ на чужбину искать того, что только находится въ одной родинѣ»[3]), «уединялся совершенно отъ всѣхъ, оспротѣлъ и сдѣлался чужимъ въ Нѣжинѣ»[4]), «затаилъ въ себѣ одномъ свои упрямыя предначертанія»[5]). Съ 17-го года своей жизни[6]) Гоголь былъ занятъ прежде всего нетерпѣливымъ и неустаннымъ стремленіемъ впередъ, — къ тому, что онъ называлъ сначала неопредѣленно «счастіемъ», уже и тогда разумѣя подъ послѣднимъ развитіе своихъ «силъ для поднятія труда важнаго, благороднаго на пользу отечества, для счастія гражданъ, для блага жизни себѣ подобныхъ»[7]). Потомъ, на 20-мъ году жизни, отрекшись отъ личнаго счастія, Гоголь сталъ цѣль своихъ стремленій именовать «воспитаніемъ» себя для блага другихъ. Уже въ 1829 г. Гоголь

съ твердостью истиннаго христіанина», «благословлялъ священную вѣру», въ которой находилъ «источникъ утѣшенія и утоленія своей горести» (П., I, 26), и въ то же время говорилъ, что совершитъ «свой путь въ семъ мірѣ, и ежели не такъ, какъ предназначено всякому человѣку, по крайней мѣрѣ буду стараться сколько возможно быть таковымъ» (П., I, 34), слѣдовательно, задавался выработкою въ себѣ человѣчности.

1) П., I, 78.

2) П., I, 75.

3) П., I, 74. Ср. сходную идею Лермонтова.

4) Тамъ же.

5) П., I, 90.

6) П., I, 55 (17 января 1827): «Зачѣмъ намъ такъ хочется скоро видѣть наше счастіе? Зачѣмъ намъ дано нетерпѣніе? мысль о немъ и днемъ и ночью мучитъ, тревожитъ мое сердце: душа моя хочетъ вырваться изъ тѣсной своей обители, и я весь — нетерпѣнье». П., I, 90: «*около трехъ* лѣтъ неуклонно держится одной цѣли».

7) П., I, 68; ср. I, 124: «работать на пользу міра». См. еще I, 89: «Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лѣтъ почти непониманія я пламенѣлъ неугасимою ревностью сдѣлать жизнь свою нужною для блага государства»; «буду истинно полезенъ для человѣчества»; 128: «для счастія и блага себѣ подобныхъ»...

писалъ: Богъ «указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы тамъ *воспиталъ* свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькимъ ступенькамъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состояніи разсѣевать благо и работать на пользу міра»[1]). Въ маѣ 1836 г. Гоголь повторялъ въ сущности то же воззрѣніе на задачу своей личной жизни: «...всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое *воспитаніе*»[2]).

Въ своемъ творчествѣ Гоголь, не чуждый высокопарности въ юности[3]), рано началъ слѣдовать принципу Мольера: «il faut peindre d'après nature», но при этомъ его постоянно занималъ психологизмъ личности, и нерѣдко самъ поэтъ заявлялъ себя романтическимъ лиризмомъ согласно съ принятымъ имъ отъ романтиковъ ученіемъ, что «литература вовсе не есть слѣдствіе ума, а слѣдствіе чувства, — такимъ самымъ образомъ, какъ и музыка, какъ и живопись»[4]). Субъективный лиризмъ однако не помѣшалъ Гоголю рано выработать трезвый взглядъ на міръ и людей. «Свѣтъ скоро хладѣетъ въ глазахъ мечтателя. Онъ видитъ надежды, его подстрекавшія, несбыточными, ожиданія неисполненными, и жаръ наслажденія отлетаетъ отъ сердца»... писалъ 17-лѣтній Гоголь[5]), и послѣ того всякій разъ все менѣе и менѣе предавался «задумчивости»[6]) и мечтамъ[7]). Въ 20 лѣтъ онъ пи-

---

1) П., I, 124; 171—172: «Иному во всю жизнь не случалось имѣть такого разнообразія. Время это было для меня наилучшимъ *воспитаніемъ*, какого, я думаю, рѣдкій царь могъ имѣть. Неугасимо горитъ во мнѣ стремленіе, но это стремленіе — польза».

2) П., I, 378.

3) Потомъ онъ осмѣивалъ ее въ Кукольникѣ (см. П., I, 211).

4) П., I, 343.

5) П., I, 43. См. далѣе I, 60: «лѣта кипучаго возраста охлаждались безпрерывно измѣнчивою невѣрностью счастія настоящаго. Я холодѣлъ постепенно и разучался принимать жарко къ себѣ все сбывающееся»; I, 72: «Всегда нужно проклятой судьбѣ на самомъ удовольствіи покоя зачернить начатокъ свѣтлыхъ дней ѣдкостью горя». См. еще I, 97—98 о вынесенномъ горѣ отъ людей.

6) П., I, 58: «въ часы задумчивости»; I, 87: «раздумчивый».

7) П., I, 58: «Къ числу мечтательностей своихъ»...; I, 63: «мечта»; I, 71: «только мечта» и проч.; I, 78: «ужели нельзя хотя помечтать о будущемъ»;

салъ: «я имѣю достаточный запасъ сомнѣнія во всемъ, могущемъ случиться»[1]). Уже въ лѣта юности свойственное послѣдней «кипучее желаніе веселости таилось» въ Гоголѣ «подъ видомъ иногда для другихъ холоднымъ, угрюмымъ, и другимъ казался» онъ «печальнымъ, они хотѣли видѣть» въ немъ «признаки сентиментальной мечтательности»[2]). Уже тогда, какъ и въ послѣдніе годы своей жизни, онъ былъ «съ виду холодный, но въ сердцѣ пламенный къ чувствамъ дружбы»[3]), предавался иногда «пасмурнымъ думамъ»[4]), между прочимъ, о «невѣрности счастія»[5]); «подъ внѣшнимъ видомъ упрямства могло биться сердце, отворотившееся всего, носящаго названіе злого»[6]). Гоголь довольно рано

...радость жизни пережилъ
и грусть зазвалъ на новоселье,

сталъ «угрюмъ» и «тосковалъ въ тишинѣ одинъ»[7]).

Еще не достигши 20 лѣтъ, Гоголь впадалъ иногда въ хандру[8]), и такое настроеніе повторялось въ немъ не разъ потомъ, нисколько ни свидѣтельствуя о болѣзненности его духовной организаціи, хотя онъ и жаловался иногда, что былъ боленъ душою[9]). Мрачное настроеніе было вызываемо большею частью

I, 86: «утружденныя мечты»; I, 98: Гоголь возражаетъ противъ указанія на его мечтательность: «нѣтъ, я слишкомъ много знаю людей, чтобы быть мечтателемъ».

1) П., I, 121. Ср. *П. Анненкова*, Воспоминанія о Гоголѣ: «Извѣстно, что житейской мудрости въ немъ было почти столько же, сколько и таланта» (Библ. для Чт. 1857, № 2, стр. 124).

2) П., I, 58.

3) П., I, 60.

4) П., I, 71.

5) П., I, 72.

6) П., I, 86.

7) См. стихотв.: «Непогода» — С., VI, 1 и 542—543.

8) П., I, 91 (октябрь 1827 въ Нѣжинѣ): «вообразите себя въ совершенномъ уединеніи, гдѣ рѣдко улыбка заглядываетъ въ лицо». См. затѣмъ первое петербургское письмо (П., I, 114): «На меня напала хандра, или другое подобное, и я уже около недѣли сижу, поджавши руки, и ничего не дѣлаю. Не отъ неудачъ ли это, которыя меня совершенно обравнодушили ко всему»?

9) Напр., уже въ августѣ 1829 г.: «тѣло мое совершенно здорово; одна только бѣдная душа моя страдаетъ... время, здѣсь проведенное, было бы для

житейскими неудачами[1]), или же вообще романтическимъ міровоззрѣніемъ Гоголя, приближавшимся къ представленному выше опредѣленію романтизма. Всякій разъ однако Гоголь торжествовалъ надъ мрачнымъ настроеніемъ, обращаясь къ оптимизму, вытекавшему изъ религіозно-философскаго міросозерцанія[2]). Идея водительства со стороны Промысла Божія во всѣхъ даже мельчайшихъ обстоятельствахъ жизни рано начинаетъ выступать со всею отчетливостью въ перепискѣ Гоголя[3]).

Дѣло въ томъ, что онъ сочетавалъ въ себѣ и въ своей философской мысли романтическій индивидуализмъ съ подчиненіемъ личности категорическому императиву Канта и Шиллера.

Какъ извѣстно, однимъ изъ самыхъ типичныхъ выраженій романтизма является личность Байронова Манфреда, мятежнаго героя, ведущаго борьбу съ цѣлымъ міромъ и съ силой, создавшей этотъ міръ и въ частности человѣка. Не зная предѣловъ въ своей

меня очень пріятно, если бы я только также былъ здоровъ душою, какъ теперь тѣломъ (П., I, 134, 135). 1-го сентября 1830 г.: «Я пишу такъ несвязно и мало, и неудовлетворительно, что вы безъ сомнѣнія не будете довольны; но теперешнее письмо мое есть выраженіе душевныхъ безпокойствъ» (П., I, 162).

1) См. указаніе на неудачи выше, на стр. 545, въ прим. 7. См. далѣе П., I, 134: «Объ одномъ только прошу Бога, чтобъ ниспослалъ вамъ драгоцѣнное *спокойствіе*, которое *не можетъ обитать въ груди моей*. По крайней мѣрѣ я теперь въ силахъ занять въ Петербургѣ предлагаемую должность и надѣюсь, что новыя занятія дадутъ силу душѣ моей быть *равнодушнѣе и невнимательнѣе къ мірскимъ горечамъ*». Годъ спустя Гоголь опять упоминаетъ о крайности и нуждѣ и голодѣ и всѣхъ непріятностяхъ въ свѣтѣ» (П., I, 161—162).

2) Напр., П., I, 162: «мнѣ вѣрится, что Богъ особенное имѣетъ надъ нами попеченіе»; 171: «Вѣрьте, что Богъ ничего намъ не готовитъ въ будущемъ, кромѣ благополучія и счастія»; 197: «Кто можетъ постигнуть вышнія намѣренія? не нужно поэтому и намъ сокрушаться: сегодня ненастье, завтра будетъ хорошая погода».

3) См., напр., П., I, 124—125: «Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго. Не явный ли былъ здѣсь надо мною Промыслъ Божій? не явно ли Онъ наказывалъ меня этими всѣми неудачами, въ намѣреніи обратить на путь истинный?» Въ слѣдующемъ письмѣ проскальзываетъ интересное признаніе: «напрасно *старался* я увѣрить самого себя, что принужденъ былъ повиноваться волѣ Того, Который управляетъ нами свыше». Ср. еще 134...: «какъ будто отъ самого Бога посѣщаетъ меня мысль»... См., далѣе, стр. 162, 172, 216.

мысли, Манфредъ долженъ мириться съ ограниченнымъ существованіемъ и потому не можетъ быть чтителемъ Божества, поставившаго его въ такія противорѣчія, и подобно Фаусту направляется въ сторону адской силы, кажущейся олицетвореніемъ протеста разума противъ слѣпой вѣры.

Гоголь уже въ годы процвѣтанія романтизма, предваряя конецъ XIX в., силою своего проницательнаго ума, понялъ тщету усилій науки постигнуть міровую загадку и суетность романтическаго протеста противъ кажущихся намъ непонятными вѣчныхъ законовъ міровой жизни. Оттуда отзывъ о Байронѣ, какъ о поэтѣ, «такъ чудно обхватившемъ гигантскою мрачною душою всю жизнь міра и такъ дерзостно насмѣявшемся надъ нею, можетъ быть, отъ безсилія передать ея индивидуальную свѣтлость и величіе», и — какъ о «гордо одинокой душѣ, исполински замышлявшей заключить въ себѣ, въ замѣну отвергнутаго, собственный, ею же созданный нестройный и чудный міръ»[1]). Оттуда же отсутствіе у нашего поэта рѣзко очерченныхъ мятежныхъ типовъ протеста въ родѣ Чацкаго, Онѣгина, Печорина и т. п. Тѣмъ менѣе у Гоголя могли быть возможны демоническіе типы. Личность Андрея въ «Тарасѣ Бульбѣ», какъ увидимъ, — иного пошиба и не есть выраженіе идеаловъ самого Гоголя.

Будучи воспитанъ съ дѣтства въ духѣ христіанства, Гоголь въ противоположность Ницше не видѣлъ иллюзіи въ нравственныхъ нормахъ; въ морали любви къ ближнимъ, имѣющей религіозное основаніе, Гоголь не усматривалъ преграды свободному развитію личности во всѣхъ направленіяхъ, какъ Ницше. Гоголь собственными усиліями подошелъ къ признанію Божественнаго начала жизни, а также къ исповѣданію нравственнаго долга, и старался подчинить послѣднему какъ свою жизнь, такъ и свое творчество, въ особенности со времени окончательнаго установленія идеи «Мертвыхъ Душъ».

---

1) С., VI, 2—3 («О поэзіи Козлова», статья, написанная не ранѣе 1829 г. можетъ быть, въ 1835 или въ 1836 г.; тамъ же, 544—545).

Но, пока Гоголь подошелъ къ окончательному подчиненію романтическаго индивидуализма нравственной идеѣ и къ одухотворенію ею реализма, онъ долженъ былъ пройти стадію преобладающаго увлеченія романтизмомъ.

Это мы замѣчаемъ въ послѣдній годъ пребыванія Гоголя въ Нѣжинѣ и въ годы, слѣдовавшіе за оставленіемъ Нѣжина, словомъ—въ годы созданія «Ганца Кюхельгартена», «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки» и нѣкоторыхъ повѣстей «Миргорода».

Въ эти годы печальная дѣйствительность удручала Гоголя въ такой же мѣрѣ, какъ и потомъ. «Неправосудіе, величайшее въ свѣтѣ несчастіе, болѣе всего разрывало сердце»[1]) поэта. Но и другія явленія жизни рисовались ему въ неприглядномъ освѣщеніи. Ему не нравились нѣжинскіе «существователи», которые «задавили корою своей земности, ничтожнаго самодоволія великое назначеніе человѣка»[2]), люди «недалыихъ чувствъ», которые «удовольнились ничтожностью, почти вѣчною»[3]). Гоголь испытывалъ «мертвое усыпленіе, ядовитое истомленіе, вслѣдствіе петерпѣнія и скуки», находясь подъ «игомъ школьнаго педантизма»[4]) въ Нѣжинѣ, но и Петербургъ повергъ его весьма скоро въ подобное же разочарованіе. «Каждая столица, писалъ Гоголь, вообще характеризуется своимъ народомъ, набрасывающимъ на нее печать національности; на Петербургѣ же нѣтъ никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ; а русскіе, въ свою очередь, объиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ»[5]). Петербургское чиновничество теряло время на глупыя занятія, «переписывая старыя бредни и глупости господъ столоначальниковъ и проч.»[6]). Гоголь негодовалъ на то, что ему пришлось

---

1) П., I, 89.
2) П., I, 75.
3) П., I, 79.
4) Тамъ же.
5) П., I, 117.
6) П., I, 122.

«пресмыкаться въ столицѣ между служащими, издерживающими жизнь такъ безплодно»[1]). «Смѣшны мнѣ очень петербургскіе молодые люди: они безпрестанно кричатъ, что они служатъ совершенно не для чиновъ и не для того, чтобы выслужиться... Еще глупѣе тѣ, которые оставляютъ отдаленныя провинціи» и т. д.[2]).

Словомъ, проза жизни постоянно обращала на себя вниманіе и приводила поэта въ огорченіе. Былъ онъ недоволенъ также и самимъ собою. Уже въ Нѣжинѣ Гоголю приходилось задумываться о своемъ характерѣ, встрѣчая самые разнородные, иногда весьма не лестные отзывы о немъ со стороны разныхъ лицъ[3]). Въ первый же годъ пребыванія въ Петербургѣ самонаблюденіе и самокритика усиливаются и вызываютъ иногда печальныя признанія[4]), и Гоголь уже съ того времени начинаетъ приводить въ связь «работу на пользу міра» съ заботой надъ претвореніемъ самого себя: Богъ «указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы тамъ *воспиталъ* свои *страсти* въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда былъ бы въ состояніи разсѣевать благо и работать на пользу міра»[5]).

Въ этомъ признаніи для насъ интересно приведеніе въ связь нравственнаго подъема съ удаленіемъ «въ землю чуждую» и «воспитаніемъ» тамъ страстей «въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности».

Это чисто романтическая греза[6]), — отчасти та самая,

---

1) П., I, 124.

2) П., I, 125.

3) См., напр., письмо отъ 1 марта 1828 г.

4) П., I, 127 и 130; 134.

5) П., I, 124. Ср. I, 167: «обработывающій себя въ тишинѣ для благородныхъ подвиговъ».

6) Самъ Гоголь, вспоминая впослѣдствіи о своей первой заграничной поѣздкѣ, писалъ: «Можетъ быть, это было, просто, то непонятное поэтическое влеченіе, которое тревожило иногда и Пушкина, ѣхать въ чужіе края»... (С. IV, 260).

которою увлекся-было и поэтическій герой юношеской поры творчества Гоголя, Ганцъ Кюхельгартенъ.

Ганцъ, подобно Гоголю, задавался вопросами:

. . . . . ужели
Мнѣ здѣсь душою погибать?
И не узнать иной мнѣ цѣли?
И цѣли лучшей не сыскать?
Себя обречь безславно въ жертву?
При жизни быть для міра мертву?
Душой ли, славу полюбившей,
Ничтожность въ мірѣ полюбить? и т. д. [1])

Подобно Ганцу, и Гоголь

Въ страну чужую путь направилъ [2]),

потому что

Ему казалось душно, пыльно
Въ сей позаброшенной странѣ,
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней сторонѣ [3]).

Гоголя, какъ и Ганца, волновали

Доселѣ бывшія загадкой
Разнообразныя мечты [4]).

Но только Гоголя манила чарующимъ призракомъ не столько

Земля классическихъ, прекрасныхъ созданій
И славныхъ дѣлъ, и вольности земля [5]),

и не страна Пери, сколько Германія,

Страна высокихъ помышленій!
Воздушныхъ призраковъ страна!

---

1) C., V, 22.
2) Ib., 28.
3) Ib., 15.
4) Ib., 12.
5) C., V, 13.

О, какъ тобой душа полна!
Тебя обнявъ, какъ нѣкій геній,
Великій Гетте бережетъ
И чуднымъ строемъ пѣснопѣній
Свѣваетъ облако заботъ,

пѣлъ Гоголь въ концѣ своей поэмы о Кюхельгартенѣ. Въ такихъ прочувственныхъ стихахъ онъ «съ невольнымъ умиленьемъ пѣсню тихую» свою слагалъ «съ неразгаданнымъ волненьемъ» про «Германію свою»[1]), т. е. Германію, какая въ то время рисовалась мечтамъ его и многихъ французовъ, Германію великаго Гёте и тѣхъ другихъ писателей ея, которыми увлекался и Кюхельгартенъ, какъ то видно изъ описанія комнаты послѣдняго:

Лежитъ, въ густой пыли, тамъ давній
Платонъ и Шиллеръ своенравный,
Петрарка, Тикъ, Аристофанъ,
Да позабытый Винкельманъ[2]).

Авторъ Кюхельгартена, создавшій послѣдняго
Въ уединеніи, въ пустынѣ,
Въ никѣмъ незнаемой глуши[3]),

надѣялся «въ тишинѣ, въ уединеніи»[4]) Германіи подняться на высшую ступень, «откуда бы былъ въ состояніи разсѣевать благо», какъ и Ганцъ, «земной поклонникъ красоты»[5]) мечтавшій о «земли роскошныхъ краяхъ» въ своемъ «тѣсномъ углу»[6]):

Лучистой, дальнею звѣздой
Его влекла, тянула слава[7]).

---

1) С., V, 43.
2) С., V, 27.
3) С., V, 53. Не заключаютъ ли эти стихи намека на писаніе «идиллій» въ Васильевкѣ вскорѣ послѣ «конца ученья» и разлуки «съ семьей своихъ товарищей», о которой говорится въ концѣ XVIII картины?
4) II., I, 124.
5) С., V, 42.
6) Тамъ же, 22—23.
7) Тамъ же, 37.

Потомъ, 9 лѣтъ спустя, Гоголь разочаровался въ Германіи. «Я сомнѣваюсь», писалъ Гоголь въ 1838 г., «та ли теперь эта Германія, какою ее мы представляемъ себѣ. Не кажется ли она намъ такою въ сказкахъ Гофмана? Я по крайней мѣрѣ въ ней ничего не видѣлъ, кромѣ скучныхъ табльдотовъ и вѣчныхъ, на одно и то же лицо состряпанныхъ кельнеровъ и безконечныхъ толковъ о томъ, изъ какихъ блюдъ былъ обѣдъ и въ которомъ городѣ лучше ѣдятъ; а та мысль, которую я носилъ въ умѣ объ этой чудной и фантастической Германіи, исчезла, когда я увидѣлъ Германію въ самомъ дѣлѣ, такъ, какъ исчезаетъ прелестный голубой колоритъ дали, когда мы приближаемся къ ней близко. Я знаю, есть эта земля, гдѣ все чудно и не такъ, какъ здѣсь; но къ этой землѣ не всякіе знаютъ дорогу»[1]).

Одновременно съ Германіей Гоголя уже влекла и Италія:

Земля любви и море чарованій!
Блистательный мірской пустыни садъ!
Тотъ садъ, гдѣ въ облакѣ мечтаній
Еще живутъ Рафаэль и Торкватъ!
Узрю-ль тебя я, полный ожиданій?

вопрошалъ поэтъ въ стихотвореніи «Италія», вышедшемъ въ свѣтъ двумя мѣсяцами ранѣе «Ганца Кюхельгартена» и выражавшемъ также тоску души поэта, охваченной всецѣло эстетическими порываніями романтизма[2]).

Ганцъ — вполнѣ романтическій герой, созданный въ значительной степени подъ вліяніемъ душевныхъ томленій самого поэта[3]). Характеристика Ганца даетъ право считать его романтикомъ:

---

1) П., I, 542—543.

2) С., V, 44—45.

3) Какъ давно уже выяснено, «Ганцъ Кюхельгартенъ» написанъ подъ вліяніемъ поэмы Фосса «Лупзы», но, что касается личностей жениховъ, Вальтера у Фосса и Ганца у Гоголя, то онѣ не сходны, и Ганцъ своими стремленіями рѣзко отличается отъ нѣмецкаго оригинала, будучи созданъ Гоголемъ самостоятельно, не безъ воздѣйствія, впрочемъ, другихъ образцовъ.

Мой Ганцъ страхъ боленъ; день и ночь
Все ходитъ къ сумрачному морю;
Все не по немъ, всему не радъ,
Самъ говоритъ съ собой, къ намъ скученъ;
Спросить — отвѣтитъ не впопадъ,
И весь ужасно какъ измученъ,

сѣтуетъ невѣста Ганца Лупза, впервые знакомя читателя съ личностію своего жениха[1]). Объясненіе данной обрисовки представляетъ далѣе самъ поэтъ:

Волнуемъ *думой не понятной*,
Нашъ Ганцъ разсѣянно глядѣлъ
На міръ великій, необъятный,
На свой незнаемый удѣлъ[2]).

. . . . . тайная печаль
Имъ овладѣла; взоръ туманенъ;
И часто смотритъ онъ *на даль*,
И *безпокоенъ* весь и страненъ.

Чего-то смѣло ищетъ умъ,
Чего-то тайно негодуетъ;
Душа, въ волненьи *темныхъ* думъ,
О чемъ-то, *скорбная*, *тоскуетъ*.

Онъ какъ прикованный сидитъ,
На море буйное глядитъ;
Въ мечтаньи все кого-то слышитъ
При стройномъ шумѣ ветхихъ водъ...

Или въ долинѣ ходитъ *думный*;
Глаза торжественно блестятъ,

---

1) С., V, 8—9. Потомъ она говоритъ Ганцу (стр. 20):
Зачѣмъ одинъ съ какой-то книгой
Ты ночь сидишь?...
Зачѣмъ дичишься всѣхъ?
Зачѣмъ грустишь?

2) С., V, 9.

Когда несется вѣтеръ шумный
И громы жарко говорятъ...
Иль въ часъ полночи, въ часъ мечтаній
Сидитъ за книгою преданій...
Глаголятъ въ нихъ вѣка сѣдые...[1])
Назадъ далеко онъ живетъ,
Чудесной мыслью очарованъ...[2])
Души прекрасной впечатлѣнья
На немъ лежали; но чего,
Въ волненьяхъ сердца своего,
Искалъ онъ *думою неясной*,
Чего желалъ, чего хотѣлъ,
Къ чему такъ пламенно летѣлъ
Душой и жадною, и страстной,
Какъ будто міръ желалъ обнять, —
Того и *самъ не могъ понять*.
. . . . сердце жаждало прильнуть
Къ своей мечтѣ, *мечтѣ не ясной*[3]).

Изъ этихъ характеристикъ ясно, что Ганцъ, «и день и ночь мечтами скованъ», страдалъ отъ какихъ-то неясныхъ думъ, печальныхъ сомнѣній и «тоски»[4]) по славѣ въ мірѣ, въ которомъ онъ хотѣлъ «отмѣтить существованіе» свое, и по дальней сторонѣ, которая рисовалась ему въ чарующихъ очертаніяхъ античныхъ Аѳинъ и роскошной природы Востока[5]); родная же страна, «уголъ тѣсный, и лѣсъ, и поле, лугъ», въ сопоставленіи съ тѣми «райскими мѣстами», казались ему «пустыней»[6]).

---

1) С., V, 11. Ср. 21: На башнѣ бьетъ часъ полночный.
Такъ, это часъ, часъ думъ урочный,
Какъ Ганцъ одинъ всегда сидитъ.
2) С., V, 12.
3) С., V, 15.
4) С., V, 20
5) Картины III и IV.
6) С., V, 22—23.

Во всѣхъ этихъ «мечтахъ» юнаго Ганца нельзя не узнать вліянія тѣхъ книгъ, въ особенности Шиллера, Тика и Винкельмана, съ которыми онъ проводилъ время, а также и не названныхъ Гоголемъ поэтовъ романтизма. Такъ, прощаніе Ганца съ родиной напоминаетъ отдѣльными чертами такую же разлуку Чайльдъ-Гарольда, стихи:

Шуми-жъ, мой океанъ широкій!
Неси корабль мой одинокій! [1]);

картина Аѳинъ составилась не безъ вліянія той же поэмы Байрона [2]), а райскія мѣста Востока разрисованы красками поэмы Мура. Картина (VII-я) спокойнаго, тихаго вечера, быть можетъ, нарисована не безъ вліянія соотвѣтственнаго мѣста «Потеряннаго Рая» и т. д. Но интереснѣе всего, что нашъ поэтъ, въ такой сильной степени испытывавшій вліяніе корифеевъ романтики, изобразивъ «мечтательнаго Ганца» [3]), самъ же и почти тотчасъ же развѣнчалъ «мрачный, неспокойный видъ» «души глубокой» [4]), и то

Перо, которымъ, полнъ отваги,
Передавалъ свои мечты [5])

Гоголь, изобразило намъ, какъ при видѣ «печальныхъ древностей Аѳинъ»,

Облокотясь на мраморъ хладный,
Напрасно путникъ алчетъ жадный
Въ душѣ былое воскресить...
Невыразимая печаль
Мгновенно путника объемлетъ;
Души онъ нѣжный ропотъ внемлетъ;

---

1) С., V, 23.

2) Не вполнѣ преклоняющійся взглядъ Гоголя на Байрона см. въ письмахъ къ Пушкину 21 августа 1831 и др. II., I, 186, 232 («Да зачѣмъ ты нападаешь на Пушкина, что онъ прикидывался? мнѣ кажется, что Байронъ скорѣе»), 274.

3) С., V, 35.

4) С., V, 24.

5) С., V, 27.

Ему и горестно, и жаль,
Зачѣмъ онъ путь сюда направилъ.
Не для истлѣвшихъ ли могилъ
Кровъ безмятежный свой оставилъ,
Покой свой тихій позабылъ?

Увы! «Воздушныя мечты», волновавшія «сердце зерцаломъ чистой красоты», «и убійственно, и хладно разворожились»:

Безжалостно и безпощадно
Предъ нимъ захлопнули вы дверь,
Сыны существенности жалкой [2]),
Дверь въ тихій міръ мечтаній, жаркой!
И грустно, медленной стопой
Рупны путникъ покидаетъ [2]).

Онъ понялъ свое заблужденіе, тщету увлеченья «пустымъ блескомъ», вѣры въ «свѣтъ ненавистный, слабоумный» и въ «злыя предпріятья» людей, влеченія къ «ложному чаду» и «горькой блестящей отравѣ» славы:

Какъ гробы холодны они;
Какъ тварь презрѣннѣйшая, низки;
Корысть и почести одни
Имъ лишь и дороги и близки.
Они позорятъ дивный даръ
И попираютъ вдохновенье,
И презираютъ откровенье;
Ихъ холоденъ притворный жаръ,
И гибельно ихъ пробужденье; и т. д. [3]).

Ганцъ называетъ себя теперь «безумнымъ, безтолковымъ».

И спалъ страданій тяжкій сонъ
Съ его души; живой, спокойный,

---

1) Ср. II., I, 75: «ты знаешь всѣхъ нашихъ *существователей*».
2) С., V, 32—33.
3) С., V, 37.

Переродился снова онъ,
На время бурей возмущенъ...
И васъ, коварныя мечты,
Боготворить ужъ онъ не станетъ[1]).

Подъ «коварными мечтами» разумѣются тѣ, которыя

Взволнуютъ жаждой яркой доли,
А нѣтъ въ душѣ желѣзной воли,
Нѣтъ силъ стоять средь суеты...

Гоголь осудилъ, очевидно, въ лицѣ Ганца романтическихъ мечтателей эстетическаго пошиба, которому былъ не причастенъ и самъ даже позднѣе. Онъ понялъ, въ концѣ работы надъ исторіей Ганца, что грезы, основанныя на суетныхъ ожиданіяхъ отъ міра и людей, которымъ раньше онъ и самъ предавался, не создадутъ еще истиннаго счастія. Оно возможно лишь тогда,

Когда въ порѣ самопознанья,
Въ порѣ могучихъ силъ своихъ,
Тотъ, небомъ избранный, постигъ
Цѣль высшую существованья;
Когда не грезъ пустая тѣнь,
Когда не славы блескъ мишурный
Его тревожатъ ночь и день,
Его влекутъ въ міръ шумный, бурный;
Но мысль и крѣпка и бодра
Его одна объемлетъ, мучитъ
Желаньемъ блага и добра,
Его трудамъ великимъ учитъ;
Для нихъ онъ жизни не щадитъ[2]).

---

1) С., V, 41—42.

2) С., V, 38. Ср. П., I, 127—128: «Нѣтъ, мнѣ нужно передѣлать себя, *переродиться*, оживиться новою жизнью, расцвѣсть силою души въ *вѣчномъ трудѣ* и дѣятельности, и если я не могу быть счастливъ, по крайней мѣрѣ всю жизнь посвящу для счастія и блага себѣ подобныхъ».

Въ этихъ стихахъ мы слышимъ прощанье юнаго поэта съ первою порою его романтизма, съ юношески незрѣлыми, неопредѣленными и неясными порываніями и чаяніями, съ грезою о личномъ счастіи[1]) и рѣшеніе принять за путеводное начало не грезы о славѣ, но *мысль крѣпкую* совмѣстно съ «желаніемъ блага и добра», при которой подъемлются «великіе труды» безкорыстные. Гоголь «переродился», какъ его Ганцъ. Въ немъ совершился приблизительно такой же, какъ и въ Ганцѣ, «переломъ», какъ выразился самъ поэтъ въ письмѣ къ матери отъ 24 іюля 1829 г.[2]) послѣ неудачи, постигшей его идиллію, подвергшуюся разгрому со стороны критики.

Такимъ образомъ, Гоголь началъ свою литературную дѣятельность въ печати съ чисто-эстетическаго романтизма, усвоившаго, между прочимъ, нѣкоторыя черты одной изъ лучшихъ и возвышеннѣйшихъ формъ того движенія — байронической. Оттуда неудовлетворенность заурядным существованіемъ, какая снѣдала душу Ганца и толкала его въ дальнія страны, въ мѣста высшей античной культуры и красотъ роскошной природы, къ чему такъ долго питалъ влеченіе самъ Гоголь[3]), начиная съ первой поѣздки въ Германію вплоть до возвращенія изъ Святой Земли.

Ганцъ вернулся на родину «печальный, извѣдавъ и узнавъ много истинъ», вернулся въ прежнюю обстановку

. . . . . въ тишинѣ укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной
И шуму свѣта не внимать[4]).

---

1) П., I, 127: «нѣтъ, я никогда не буду счастливъ для себя».

2) Тамъ же: «Этотъ переломъ для меня необходимъ».

3) Гоголь собирался за границу еще до выѣзда въ Петербургъ, съ осени 1828 г. См. П., I, 105 и 106: «Я ѣду въ Петербургъ непремѣнно въ началѣ зимы, а оттуда Богъ знаетъ куда меня занесетъ; весьма можетъ быть, что попаду въ чужіе края... Можетъ быть, и весьма вѣроятно, что въ самомъ дѣлѣ я отлучусь и слишкомъ далеко (это и есть мое намѣреніе).

4) С., V, 37—38.

Гоголь также возвратился въ Петербургъ послѣ кратковременной поѣздки за границу, причемъ «Богъ унизилъ гордость» его, и его «измѣнили и передѣлали горя»; онъ чувствовалъ себя «теперь въ силахъ занять въ Петербургѣ предлагаемую должность[1]) и «надѣялся, что новыя занятія дадутъ силу душѣ быть равнодушнѣе и невнимательнѣе къ мірскимъ горечамъ»[2]). И дѣйствительно, теперь Гоголь, «посвятившій себя всего пользѣ, обработывающій себя въ тишинѣ для благородныхъ подвиговъ»[3]), сталъ значительно выше тѣхъ горестей, начавъ уразумѣвать свое истинное призваніе преимущественно къ высшему труду въ свѣтломъ мірѣ мысли и творчества. «Литературныя мои занятія и участіе въ журналахъ, писалъ Гоголь 3 іюня 1830 г., я давно оставилъ, хотя одна изъ статей моихъ доставила мнѣ мѣсто, нынѣ мною занимаемое. Теперь я собираю матеріалы только и въ тишинѣ обдумываю свой обширный трудъ... Занятій моихъ литературныхъ хотя я и не прекратилъ, однакожъ, какъ они готовятся не для журнала, то и появятся не прежде, какъ по истеченіи довольно продолжительнаго времени... Послѣ обѣда въ 5 часовъ отправляюсь я въ классъ, въ Академію Художествъ, гдѣ занимаюсь живописью, которую я никакъ не въ состояніи оставить, — тѣмъ болѣе, что здѣсь есть всѣ средства совершенствоваться въ ней, и всѣ они, кромѣ труда и старанія, ничего не требуютъ»[4]). «Въ тиши уединенія я готовлю запасъ, котораго, порядочно не обработавши, не пущу въ свѣтъ», извѣщалъ Гоголь мать и годомъ раньше, уже 24-го іюля 1829 г., тотчасъ же послѣ неудачи, постигшей «Ганца Кюхельгартена»[5]).

Очевидно, немедленно по созданіи послѣдняго, Гоголь началъ окончательно лелѣять мелькавшую у него и ранѣе мысль о

---

1) II., I, 137, 112. Ср. II., I, 131: «Я въ Петербургѣ могу имѣть должность, которую и прежде хотѣлъ, но какія-то глупыя людскія предубѣжденія и предразсудки меня останавливали».

2) II., I, 134.

3) II., I, 167.

4) II., I, 157, 160, 158.

5) II., I, 128.

романтическихъ разсказахъ изъ хорошо знакомой ему малороссійской жизни, на основѣ «повѣрій въ нѣкоторыхъ нашихъ хуторахъ, разныхъ повѣстей, разсказываемыхъ простолюдинами, въ которыхъ участвуютъ духи и нечистые»[1]), «страшныхъ сказаній, преданій, разныхъ анекдотовъ, и проч., и проч.»[2]). Въ эти разсказы должны были войти и «обычаи и нравы малороссіянъ нашихъ», между прочимъ сохранившіеся «у самыхъ закоренѣлыхъ, самыхъ древнихъ, самыхъ наименѣе перемѣнившихся малороссіянъ»[3]). Какъ нѣкогда Боккаччіо, и Гоголя занимали самые разнообразные «анекдоты и исторіи: смѣшные, забавные, печальные и ужасные»[4]).

Такимъ образомъ, послѣ эстетическаго романтизма, носившаго космополитическій характеръ[5]), вниманіе Гоголя привлекли, согласно съ постоянною наклонностію его къ реализму, романтическіе сюжеты родной страны и старины, и Гоголь перешелъ къ болѣе зрѣлой романтикѣ, находившей твердую опору въ народности[6]) и, слѣдовательно, болѣе реальной. Стремленіе къ реализму выступаетъ ясно уже въ просьбахъ касательно сообщенія *точныхъ* свѣдѣній о малороссійскихъ нарядахъ[7]) и т. п.

---

1) П., I, 123 (22 мая 1829 г.).

2) П., I, 120 (30 апрѣля 1829 г.).

3) П., I, 119 (30 апрѣля 1829 г.), 145 (2 февраля 1830 г.).

4) П., I, 145.

5) Космополитизмъ ожилъ на время въ Гоголѣ, когда послѣдній сталъ заниматься всеобщей исторіею: «Главное дѣло — всеобщая исторія, а прочее — стороннее», писалъ Гоголь 10 января 1833 г. (П., I, 234); заниматься русскою исторіею у него тогда не было «желанія» (П., I, 303).

6) По поводу сказокъ Жуковскаго и Пушкина Гоголь, посылая первому экземпляръ I-го тома «Вечеровъ на хуторѣ», писалъ 10 сентября 1831 г.: «Мнѣ кажется, что теперь воздвигается огромное зданіе чисто-русской поэзіи... Какъ прекрасенъ удѣлъ вашъ, великіе зодчіе!». П., I, 189; ср. I, 196 (2 ноября 1831 г.): «У Жуковскаго тоже русскія народныя сказки, однѣ экзаметрами, другія просто четырехстопными стихами, и — чудное дѣло! — Жуковскаго узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэтъ, и уже чисто-русскій; ничего германскаго и прежняго».

7) П., I, 119: «названіе *точное* и *вѣрное* платья, носимаго до временъ гетманскихъ»...; 128: «мнѣ нужна точность»...; 145: «не пренебрегайте ничѣмъ: все имѣетъ для меня цѣну»; 167: «Если бы я писалъ что-нибудь въ этомъ родѣ,

Выраженіемъ этого новаго романтизма Гоголя явились «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», первая часть которыхъ была сдана въ печать въ маѣ 1831 г. Гоголь работалъ надъ ними не спѣша, со свойственною ему добросовѣстностію: «занятія мои, которыя еще большую принесутъ мнѣ извѣстность, совершаются мною втиши, въ моей уединенной комнаткѣ: для нихъ теперь времени много», писалъ Гоголь[1]) черезъ годъ послѣ перваго извѣщенія о томъ, что онъ «собираетъ матеріалы только и въ тишинѣ обдумываетъ свой обширный трудъ»[2]), и спустя два года съ лишнимъ послѣ первоначальнаго замысла. Первымъ изъ этихъ разсказовъ въ печати явился «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала», помѣщенный въ «Отечественныхъ Запискахъ» Свиньина подъ заглавіемъ «Басаврюкъ», какое произвольно далъ этой повѣсти редакторъ журнала.

По внѣшности въ этой своей новой работѣ Гоголь съ перваго взгляда примыкалъ къ фантастикѣ романтизма во вкусѣ Жуковскаго. На это предрасположеніе какъ будто намекаетъ онъ самъ въ письмѣ къ послѣднему отъ 10 сентября 1831 г.: «...съ какимъ бы я... восторгомъ... ловилъ бы жаднымъ ухомъ сладчайшій нектаръ изъ устъ вашихъ, пріуготовленный самими богами изъ тьмочисленнаго количества вѣдьмъ, чертей и всего любезнаго нашему сердцу»[3]). Но разсказъ о Шпонькѣ представлялъ уже нѣчто совершенно отмѣнное, какъ равно отличались и «Повѣсти, служащія продолженіемъ Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», и получившія названіе «Миргорода». Правда, онѣ также были написаны не передъ самымъ появленіемъ въ свѣтъ, а исподоволь: посылая экземпляръ ихъ матери 12 апрѣля 1835 г., Гоголь

то вѣрно бы я избралъ для этого Малороссію, которую я знаю, нежели страны и людей, которыхъ я не знаю ни нравовъ, ни обычаевъ, ни занятій». Гоголю были посылаемы матерью принадлежности малороссійскаго костюма въ натурѣ. См., напр., П., I, 246 (мартъ 1833 г.).

1) П., I, 174—175 (16 апрѣля 1831 г.).

2) См. цитованное выше (стр. 559, пр. 4) письмо отъ 3-го іюня 1830 г.; ср. 164.

3) П., I, 188.

писалъ, что это — «довольно давнія» произведенія его[1]). И онѣ въ своихъ первыхъ очертаніяхъ относились къ порѣ, когда авторъ находился еще подъ значительнымъ постороннимъ вліяніемъ. Въ литературахъ того времени были въ ходу романтическія сказочныя повѣствованія, въ которыхъ поэты отдавались игрѣ воображенія, напоминавшей фантастику сновидѣній и беззаботность, съ какою дѣти готовы перелетать отъ одного отождествленія къ другому. Въ «Вечерахъ на хуторѣ» есть еще, какъ и въ «Ганцѣ», припоминанія изъ произведеній иностранныхъ литературъ. Такъ, «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала» напоминаетъ разсказъ Тика «Чары любви»[2]). «Страшная Месть» представляетъ нѣкоторыя сходства съ повѣстью того же Тика «Пьетро Апоне»[3]). Въ описаніи собранія вѣдьмъ встрѣчаются какъ будто черты Вальпургіевой ночи Гёте. Замѣчаются слѣды вліянія и русской художественной литературы наряду съ весьма многочисленными параллелями въ народной словесности[4]). Напр., изображеніе Петруся: «часто дико подымается, поводитъ руками, вперяетъ во что-то глаза свои, какъ будто хочетъ уловить его...»[5]) сходно съ изображеніемъ Гирея въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» Пушкина. Повѣсть «Тарасъ Бульба» вылилась не только изъ занятій автора южно-русской исторіею и поэзіею[6]), но и изъ чтенія Вальтеръ-Скотта, за вторичное перечитываніе котораго цѣликомъ принялся Гоголь осенью 1836 г.[7]). Описаніе боя во

---

1) П., I, 344.

2) С., I, 527.

3) Русская Старина 1902, № 3, ст. «Страшная Месть Гоголя» и повѣсть Тика «Пьетро Апоне».

4) Къ даннымъ, подобраннымъ въ статьѣ *Н. И. Петрова*: «Южно-русскій народный элементъ въ раннихъ произведеніяхъ Гоголя» (Чт. въ Ист. Общ. Нестора Лѣт., кн. XVI), можно бы прибавить множество другихъ, опущенныхъ авторомъ.

5) С., I, 49.

6) См. ст. *И. М. Каманина*: «Научныя и литературныя произведенія Гоголя по исторіи Малороссіи» — Чтенія въ Ист. Общ. Нестора Лѣт., кн. XVI, К. 1902 и отдѣльный оттискъ.

7) П., I, 396: «Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтера Скотта».

время вылазки поляковъ изъ Дубна запечатлѣно чертами Гомеровскаго эпоса, и т. д. Тѣмъ не менѣе литературныя воздѣйствія на повѣсти Гоголя изъ малороссійскаго быта и исторіи уже не особенно значительны и не простирались на внутреннюю сторону художественныхъ замысловъ, выказывающую огромную долю самостоятельнаго таланта нашего художника.

Гоголь явился однимъ изъ первыхъ дѣятелей по сооруженію «огромнаго зданія чисто-русской поэзіи»[1]) и обновленію нашей литературы чисто-народнымъ содержаніемъ, — обновленію, къ которому направлялась русская литература уже съ конца XVIII-го вѣка, но которое дотолѣ не было въ такой степени осуществляемо ни Жуковскимъ, ни даже Пушкинымъ. Въ этомъ дѣлѣ Гоголемъ заправляла несомнѣнная любовь къ родинѣ, тоска по ней и малороссійскій патріотизмъ[2]). Все это, отрицаемое Кирпичниковымъ[3]), ясно сказывается въ перепискѣ Гоголя и въ его повѣстяхъ изъ украинской жизни.

---

1) П., I, 189; см. на стр. 560, прим. 6.

2) См., между прочимъ, послѣднюю (XIX-ю) главу книжки *Шенрока:* «Ученическіе годы Гоголя, изданіе второе, исправленное и дополненное, М. 1898»: «Національныя симпатіи Гоголя; ихъ зарожденіе и укрѣпленіе подъ вліяніемъ впечатлѣній молодости», и статью *О. А. Мончаловскаго:* «Украинофильство Гоголя» — въ Научно-литературномъ сборникѣ Галицко-русской Матицы, т. III, кн. 3, Львовъ 1904 года.

3) Извѣстія Отд. р. яз. и слов. 1900, кн. 2, стр. 608.

Отзывъ о трудѣ В. И. Шенрока:

Письма Н. В. Гоголя. Т. I—IV. С.-Петербургъ. Изданіе А. Ф. Маркса [1]).

Рядъ великихъ и вмѣстѣ почти во всемъ истинно-оригинальныхъ русскихъ писателей XIX-го вѣка открывается Гоголемъ: онъ первый вполнѣ отчетливо и всесторонне началъ изображать неприглядную русскую дѣйствительность и одновременно стремиться къ уясненію высшихъ идеаловъ, рисующихся обыкновенно не вполнѣ ясными чертами душѣ русскаго человѣка, напримѣръ, идеала нравственнаго самоусовершенствованія, либо идеала самопожертвованія [2]). Изъ русскихъ писателей Гоголь первый создалъ поэтическія произведенія, встрѣтившія довольно скоро признаніе и за предѣлами ихъ родины, — не только въ славянскихъ, но и въ другихъ странахъ [3]), въ качествѣ цѣнныхъ въ высокой степени и самобытныхъ созданій русскаго творчества.

Все это объясняется въ значительной мѣрѣ мощью личности Гоголя, сравнительно мало подпадавшаго подавляющимъ иноземнымъ вліяніямъ и претворявшаго послѣднія въ свое истинное достояніе, какъ то и подобаетъ геніальнымъ натурамъ. Личность Гоголя была до такой степени оригинальна, что ее мало пони-

---

1) Отчетъ о присужденіи премій имени графа Д. Н. Толстого въ 1903 г.

2) Послѣдній воплощенъ Гоголемъ уже въ женѣ Бульбы и въ самомъ Тарасѣ. *R. M. Meyer* въ обзорѣ нѣмецкой литературы XIX в. выразился, что Гоголь — der erste «moderne» Autor Россіи.

3) «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» и «Тарасъ Бульба» вызывали почти всеобщее одобреніе.

мали и считали странною даже нѣкоторые изъ его ближайшихъ друзей. «Біографія Гоголя заключаетъ въ себѣ особую, исключительную трудность, можетъ быть, единственную въ своемъ родѣ», писалъ С. Т. Аксаковъ годъ спустя послѣ смерти поэта. «Натура Гоголя, лирически художническая, безпрестанно умѣряемая христіанскимъ анализомъ и самоосужденіемъ, проникнутая любовію къ людямъ, непреодолимымъ стремленіемъ быть полезнымъ, безпрестанно воспитывающая себя для достойнаго служенія истинѣ и добру, — такая натура въ вѣчномъ движеніи, въ борьбѣ съ человѣческими несовершенствами — ускользала не только отъ наблюденія, но даже иногда отъ пониманія людей самыхъ близкихъ къ Гоголю. Они нерѣдко убѣждались, что иногда не вдругъ понимали Гоголя, и только время открывало, какъ ошибочны были ихъ толкованія, какъ чисты и искренни его слова и поступки».

Объяснять странности послѣднихъ психическою болѣзнью Гоголя, къ чему склонялись иные уже въ его дни и что продолжаютъ повторять теперь, значило бы отдѣлываться легкимъ, малообоснованнымъ и малопригоднымъ предположеніемъ.

Истинно-научное отношеніе къ предмету требуетъ, прежде чѣмъ обращаться къ подобнымъ обвиненіямъ, присматриваться повнимательнѣе къ изучаемой личности, исходя изъ того наблюденія, что не всѣ личности подходятъ подъ обычную мѣрку и геніальныя натуры могутъ быть подогнаны подъ нее менѣе всѣхъ другихъ.

При изученіи душевнаго склада Гоголя обильная переписка, оставшаяся послѣ этого писателя, является матеріаломъ первостепенной важности. Это замѣтилъ уже первый біографъ Гоголя, П. А. Кулишъ, который не даромъ включилъ его письма въ послѣдніе два тома своего изданія сочиненій этого поэта.

Въ настоящее время, благодаря В. И. Шенроку, читатели Гоголя имѣютъ передъ собою новое изданіе тѣхъ писемъ, превосходящее своими размѣрами почти на одну треть первое собраніе писемъ Гоголя, напечатанное Кулишемъ.

Принявъ на себя нелегкій трудъ этого новаго изданія, г. Шенрокъ, безъ сомнѣнія, руководился, подобно Кулишу, справедливою мыслью о важности этого матеріала, на которую и самъ онъ указывалъ ранѣе [1]), отступая отъ взгляда изслѣдователей, умаляющихъ значеніе писемъ Гоголя. Въ числѣ этихъ изслѣдователей оказался такой авторитетный ученый, какъ О. Ѳ. Миллеръ, по мнѣнію котораго Гоголь, «при сильно развитомъ воображеніи, говоря о себѣ, невольно вдавался въ преувеличенія и даже въ выдумки, составлявшія своего рода самообманъ его непомѣрнаго самолюбія» [2]). Г. Шенрокъ, напротивъ, считаетъ Гоголя искреннимъ въ перепискѣ, правильно оцѣнивая въ то же время стиль его писемъ, не чуждый резонерства и реторики: «резонерство и реторика, обнаружившіяся еще въ дѣтской перепискѣ Гоголя и потомъ проявлявшіяся изрѣдка въ письмахъ (въ разсужденіяхъ о многихъ отвлеченныхъ и особенно религіозныхъ и другихъ важныхъ вопросахъ), наконецъ дошедшія до поразительныхъ размѣровъ въ «Выбранныхъ Мѣстахъ изъ переписки съ друзьями», были въ сущности не чужды его натурѣ и отчасти еще рано усвоены Гоголемъ извнѣ, но до поры до времени сдерживались и подавлялись могучимъ талантомъ и живою юношескою впечатлительностью, пока съ наступленіемъ возраста менѣе пылкаго и легче поддающагося сухой разсудочности, въ свою очередь, не заглушили его» [3]). Само собою разумѣется, что признаніе реторизма въ нѣкоторыхъ письмахъ Гоголя и необходимости провѣрки ихъ другими данными въ отношеніи фактическихъ подробностей

---

1) Матеріалы для біографіи Гоголя, т. I, М. 1892, стр. 17—18: «если въ настоящее время возможно какое-нибудь болѣе обстоятельное разъясненіе личности Гоголя, то преимущественно на основаніи писемъ, которыя не только сами по себѣ представляютъ обильный и въ высшей степени цѣнный матеріалъ для знакомства съ задушевными мыслями и чувствами Гоголя, но, будучи сопоставлены съ разными мѣстами въ его сочиненіяхъ, могли бы, конечно, еще теперь раскрыть многое, на что прежде не обращалось достаточно вниманія».

2) Русская Старина 1875, № 9: *О. Миллеръ*, Николай Васильевичъ Гоголь. Гоголь въ своихъ письмахъ (1820—1842), стр. 104.

3) Матеріалы, I, 120—121.

и общей оцѣнки людей и явленій [1]), не исключаетъ высокой важности этихъ писемъ, какъ матеріала для изученія ихъ автора.

Повторяемъ, переписка Гоголя является главнымъ пособіемъ и весьма часто единственнымъ ключемъ къ пониманію оригинальной личности этого великаго писателя, особенностей его міровоззрѣнія и творчества, обусловленнаго послѣднимъ. Письма Гоголя — почти единственный источникъ для раскрытія той «душевной драмы», которую переживалъ Гоголь и которая примѣчательна въ высокой степени.

Неудивительно, что печатное собраніе писемъ Гоголя, явившееся весьма скоро послѣ его смерти въ изданіи Кулиша, постоянно пополнялось матеріалами, вновь помѣщавшимися въ журналахъ и историко-литературныхъ ежегодникахъ, при чемъ впервые выникавшія на свѣтъ письма были снабжаемы со стороны издателей болѣе или менѣе обстоятельными примѣчаніями.

Мало по малу составился цѣлый рядъ такихъ прибавленій къ изданію Кулиша, а это послѣднее не могло болѣе удовлетворять изслѣдователей не только вслѣдствіе своей неполноты, но также и въ силу «тѣхъ пропусковъ и сокращеній, которые такъ

---

1) Въ послѣднее время эта провѣрка была выполнена въ отношеніи къ цѣлому ряду писемъ Гоголя покойнымъ *А. И. Кирпичниковымъ* въ статьяхъ: «Сомнѣнія и противорѣчія въ біографіи Гоголя» — Извѣстія Отд. русск. яз. и словесн. Имп. Ак. Наукъ, т. V (1900 г.), кн. 2 и 4, т. VII (1902), кн. 1. *Н. Ѳ. Сумцовъ*, Къ вопросу о творчествѣ Гоголя (Харьковскій Университетскій Сборникъ въ память В. А. Жуковскаго и Н. В. Гоголя. Харьк. 1903 г., стр. 149—150), замѣтилъ, что письма Гоголя — «матеріалъ важный, но въ приложеніи къ Гоголю чрезвычайно скользкій», такъ какъ «въ письмахъ Гоголя множество противорѣчій, много такого, что вызываетъ сомнѣніе и требуетъ большой и осторожной провѣрки. Многія письма написаны съ несомнѣннымъ разсчетомъ на то, что они будутъ многими прочитаны... Особенно осторожно нужно относиться къ тѣмъ письмамъ Гоголя, весьма многочисленнымъ, гдѣ онъ выставляетъ свои пороки, недостатки — или осуждаетъ себя и кается». Всѣмъ этимъ врядъ ли умаляется значеніе писемъ Гоголя, какъ первостепеннаго источника для исторіи его внутренней жизни, даже въ томъ случаѣ, если признать вмѣстѣ съ г. Сумцовымъ, что эти письма «производятъ тяжелое впечатлѣніе по нравственной туманности, назойливому однообразному дидактизму, мѣстами по очевидному самомнѣнію и лицемѣрію... Для Гоголя письмо — или проповѣдь, или самобичеваніе».

часто попадаются въ письмахъ, напечатанныхъ Кулишемъ, едва ли не руководившимся при этихъ пропускахъ, между прочимъ, и своими панегиристическими отношеніями къ Гоголю»[1]), а равно вслѣдствіе частой невѣрности произвольно поставленныхъ датъ.

Въ виду всего этого сводному изданію писемъ Гоголя, выпущенному г. Шенрокомъ и содержащему, по заявленію издателя, «всѣ до сихъ поръ опубликованныя письма Н. В. Гоголя», должно бы принадлежать почетное мѣсто въ ряду трудовъ послѣдняго времени, посвященныхъ изученію и изданію матеріаловъ для біографіи нашихъ великихъ писателей, и нельзя не поблагодарить г. Шенрока за то, что онъ, завершивъ изданіе сочиненій Гоголя, начатое Н. С. Тихонравовымъ, собралъ воедино и извѣстныя доселѣ письма Гоголя, снабдивъ ихъ введеніями и примѣчаніями.

Но для вполнѣ вѣрной оцѣнки указанной заслуги г. Шенрока должно предварительно рѣшить вопросы: 1) о степени полноты разсматриваемаго изданія; 2) о системѣ, принятой въ немъ; 3) о точности въ воспроизведеніи подлинниковъ и, наконецъ, 4) объ удовлетворительности объясненій, предложенныхъ издателемъ. Лишь послѣ разсмотрѣнія изданія г. Шенрока во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, возможно будетъ составить надлежащее заключеніе о достоинствахъ и недостаткахъ его труда.

I.

Полнота собранія матеріала въ изданіи г. Шенрока.

Несомнѣнно, что издатель отнесся весьма любовно къ своей задачѣ, къ выполненію которой былъ подготовленъ какъ нельзя лучше своими предшествовавшими трудами по изученію Гоголя. Мы готовы повѣрить г. Шенроку на слово въ томъ, что «относительно полноты настоящаго изданія сдѣлано возможное, при

1) *О. Миллеръ*, о. с., 99.

чемъ въ него вошли нѣкоторыя, нигдѣ до сихъ поръ не напечатанныя письма». Но, «несмотря на то», какъ признался самъ г. Шенрокъ, и его изданіе «не можетъ быть названо безусловно полнымъ, такъ какъ возможно, что нѣкоторыя письма и понынѣ продолжаютъ оставаться подъ спудомъ»[1]).

Правда, юбилейная литература, посвященная Гоголю, выдвинула на свѣтъ сравнительно немного писемъ его, не вошедшихъ въ изданіе г. Шенрока[2]), но, тѣмъ не менѣе, врядъ ли вѣрно преждевременное утвержденіе г. Шенрока, что «не появившихся въ печати писемъ должно быть очень немного». Хотя собраніе писемъ Гоголя въ изданіи Шенрока по объему на одну треть больше изданнаго Кулишемъ, но, принимая во вниманіе многочисленность лицъ, съ которыми переписывался Гоголь, и разбросанность его корреспонденціи, можно ожидать, что въ будущемъ выникнетъ на свѣтъ еще немалое количество писемъ Гоголя, которыми обогатятся послѣдующія изданія ихъ. Такъ, напр., въ изданіи г. Шенрока мы не находимъ писемъ Гоголя къ извѣстному архим. Ѳеодору (Бухареву), а между тѣмъ книга послѣдняго о «Выбранныхъ Мѣстахъ изъ переписки съ друзьями» не могла не вызвать переписки Гоголя съ авторомъ, и послѣдняя, по слухамъ, не исчезнула безслѣдно; и т. д.

На ряду съ неполнотою собранія писемъ Гоголя въ изданіи г. Шенрока, объясняющеюся, быть можетъ, отчасти тѣмъ, что собиратель исчерпалъ не всѣ средства къ сосредоточенію въ

---

1) Письма Н. В. Гоголя (впредь мы будемъ обозначать это изданіе лишь буквою П.), I, предисловіе, I.

2) Отмѣтимъ прежде всего интересное юношеское письмо Гоголя къ матери, посланное изъ Нѣжина зимою 1827—1828 гг. и напечатанное г. Чаговцемъ въ сборникѣ «Памяти Гоголя», изданномъ Историческимъ Обществомъ Нестора-Лѣтописца (= Чтенія въ Истор. Общ. Нестора-Лѣтописца, кн. XVI, вып. 1—3, К. 1902, отд. III, стр. 57—58). См. далѣе «одно изъ *послѣднихъ* писемъ Гоголя» (по опредѣленію проф. М. Н. Сперанскаго), напечатанное въ «Гоголевскомъ Сборникѣ, изданномъ состоящей при Историко-Филологическомъ Институтѣ кн. Безбородко Гоголевской Комиссіей подъ ред. проф. М. Сперанскаго», К. 1902, стр. 9—10. Въ № 1 Литературнаго Вѣстника 1902 г. напечатано письмо Гоголя «съ автографа изъ собранія П. Я. Дашкова»; и т. д.

своемъ изданіи возможно большаго количества не опубликованныхъ доселѣ писемъ, надлежитъ отмѣтить нѣкоторое также излишество: стараясь внести въ свое изданіе «всѣ до сихъ поръ опубликованныя письма Н. В. Гоголя», г. Шенрокъ включилъ туда матеріалы, которые не могутъ быть причислены собственно къ письмамъ. Такова, напр., замѣтка, вписанная въ альбомъ старшаго лицейскаго товарища Гоголя, Любича-Романовича (1826 г.)[1]), «дружеское шутливое пари» (1835 или 1836)[2]), строки, написанныя за нѣсколько дней до кончины, и т. п. Появленіе этихъ замѣтокъ и записокъ въ ряду «писемъ Н. В. Гоголя», тѣмъ удивительнѣе, что онѣ были незадолго передъ тѣмъ напечатаны тѣмъ же издателемъ въ общедоступныхъ изданіяхъ, что̀ отмѣтилъ онъ самъ въ примѣчаніяхъ къ указаннымъ перепечаткамъ.

II.

Распредѣленіе писемъ Гоголя въ изданіи г. Шенрока.

По словамъ издателя, «порядокъ въ изданіи писемъ принятъ строго-хронологическій, какъ единственный, удовлетворяющій требованіямъ научныхъ изслѣдованій»: при такомъ только распредѣленіи «представляется возможность слѣдить за постепеннымъ развитіемъ духовной жизни писателя, что̀ особенно важно при изученіи Гоголя»[3]).

Совершенно вѣрно, что, при изученіи роста личности и творчества Гоголя, какъ и другихъ великихъ писателей, однимъ изъ интереснѣйшихъ вопросовъ, связанныхъ съ такимъ изслѣдованіемъ, является выслѣживаніе постепеннаго духовнаго развитія писателя, и распредѣленіе въ соотвѣтственномъ порядкѣ столь важнаго въ этомъ отношеніи матеріала, какимъ оказываются письма, должно быть признано наиболѣе цѣлесообразнымъ.

---

1) П., I, 43.
2) П., I, 337.
3) П., I, предисловіе, IV.

Но при этомъ возникаетъ прежде всего вопросъ о правильности того или иного указанія періодовъ, на которые распадается душевная жизнь извѣстнаго писателя, и о хронологическихъ граняхъ этихъ періодовъ.

Г. Шенрокъ принимаетъ какъ-бы цѣлый рядъ такихъ періодовъ жизни Гоголя, потому что дѣлитъ собранный матеріалъ на слѣдующіе отдѣлы: «I. Полтавскія и нѣжинскія письма; II. Петербургскія письма: 1829—1830 годовъ; 1831 г.; 1832 г.; 1833 и 1834 гг.; 1835 г.; 1836 г.; III. Заграничныя письма: 1836—1839 гг.; IV. Письма изъ Россіи: 1839—1840; V. Письма изъ-за границы (1840—1841); VI. Письма изъ Россіи (1841—1842); VII. Заграничныя письма (1842—1848), и VIII. Письма послѣднихъ лѣтъ изъ Россіи (1848—1852)».

При разсмотрѣніи этого подраздѣленія прежде всего обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что принципъ, по которому оно произведено, не проведенъ систематически: письма Гоголя распредѣлены то по мѣстамъ написанія, то какъ будто по періодамъ жизни Гоголя, смѣны которыхъ не всегда же совпадали съ перемѣнами мѣстъ его жительства, да и общія наименованія писемъ по тѣмъ или инымъ мѣстностямъ, откуда они были высланы, не всегда выдержаны: такъ, названіе «нѣжинскихъ» не подходитъ къ письмамъ второй половины 1828 г.[1]), названіе «петербургскихъ» не можетъ быть дано письмамъ, написаннымъ къ матери изъ-за границы въ 1829 г.[1]), и т. д. Далѣе, дѣленіе, принятое г. Шенрокомъ, кажется намъ по мѣстамъ слишкомъ дробнымъ и не вполнѣ соотвѣтствующимъ процессамъ духовной жизни Гоголя, примѣнительно къ которымъ и должно было быть установлено распредѣленіе его писемъ.

Безспорно, могутъ быть выдѣляемы періоды жизни Гоголя: Полтавскій и Нѣжинскій какъ время его дѣтства и юности, Петербургскій 1829—1836 гг., какъ время, въ которое начало окончательно слагаться міровоззрѣніе Гоголя, какъ писателя, но

1) II., I, 104—109.
2) II., I.

подраздѣлять Петербургскій періодъ на шесть стадій, а послѣдующіе годы — время зрѣлости мысли и таланта Гоголя — на нѣсколько періодовъ нѣтъ, кажется, достаточныхъ основаній.

Послѣдовательные фазисы духовной жизни Гоголя въ Петербургскій періодъ не совпадали съ календарнымъ дѣленіемъ лѣтъ. Со времени же сценической постановки «Ревизора» и потрясеній, испытанныхъ поэтомъ вслѣдствіе постигшей его тогда неудачи, мысль Гоголя получила окончательную выработку и приняла то направленіе, въ которомъ и стала работать далѣе, постепенно углубляясь и расширяясь. Подраздѣлять жизнь и творчество Гоголя съ 1836 г. до кончины его, предполагая въ немъ, какъ то дѣлаютъ нѣкоторые, рѣзкій переломъ въ началѣ 40-хъ годовъ[1]), врядъ ли правильно, если придерживаться данныхъ, содержащихся въ перепискѣ Гоголя.

Перелома въ мысли его, который оправдывалъ бы такое разсѣченіе духовной дѣятельности Гоголя, не было. Это давно уже замѣтили нѣкоторые изслѣдователи, между прочимъ А. Н. Пыпинъ. Отправляясь отъ такого взгляда, давно уже говорили: «Критики и біографы Гоголя еще ничего не сдѣлали, доказавъ, что въ его жизни не было «перелома», что мотивы заблужденій, погубившихъ его талантъ, встрѣчаются въ самую блестящую эпоху творчества и замѣтны даже въ дѣтскихъ письмахъ къ матери. Это доказываетъ только, что всякимъ чувствомъ и убѣжденіемъ можно «пересолить», всякимъ предметомъ можно отравиться. Надобно выяснить роль общества въ заблужденіяхъ Гоголя; надо показать, какъ оно всѣмъ своимъ строемъ наталкивало Гоголя на пагубную дорогу и, давъ ему элементы для поэтическаго творчества, подъ конецъ заключивъ Гоголя въ пустоту общественнаго содержанія, отняло у него «божественное пламя таланта»[2]). Съ точки зрѣнія послѣдователей такого мнѣнія про-

1) Усматривая крутой переломъ въ Гоголѣ, жизнь послѣдняго дѣлятъ на два періода, принимая гранью 1842 годъ.

2) *Ѳ. Уманецъ*, Неизданныя письма Н. В. Гоголя — Древняя и Новая Россія 1879, № 1, стр. 59.

цессъ духовной жизни Гоголя представляется постепеннымъ возрастаніемъ «пересола» и «самоотравленіемъ», но во всякомъ случаѣ цѣлостнымъ. Въ этомъ процессѣ, конечно, не сразу достигли завершенія излюбленныя идеи и чувства Гоголя; въ развитіи ихъ была извѣстная послѣдовательность, но установить предѣльныя грани смѣнъ, принимаемыхъ, повидимому, г. Шенрокомъ, трудно. Лишь моментъ рокового столкновенія Гоголя съ Бѣлинскимъ выдѣляется какъ нѣсколько-поворотный пунктъ въ развитіи міросозерцанія, выступившаго со всею отчетливостію въ «Перепискѣ съ друзьями».

Такимъ образомъ, распредѣляя письма Гоголя по главнымъ эпохамъ жизни послѣдняго, удобнѣе было бы принять годы 1829-й, 1836-й и 1848-й, или, лучше сказать, переѣздъ Гоголя изъ Малороссіи въ Петербургъ, второй отъѣздъ за границу и нѣкоторую временную растерянность послѣ столкновенія съ Бѣлинскимъ, какъ замѣтные пункты поворотовъ въ душевной жизни Гоголя, а слѣдовательно, и въ его письмахъ.

На ряду съ распредѣленіемъ писемъ Гоголя по періодамъ жизни послѣдняго особую трудность представляетъ расчисленіе по годамъ тѣхъ изъ нихъ, которыя не имѣютъ опредѣленной даты, а такихъ немало, благодаря извѣстной небрежности Гоголя въ перепискѣ.

«Извѣстно, говоритъ г. Шенрокъ, что въ числѣ писемъ Гоголя встрѣчается значительное количество не имѣющихъ годовой, а иногда и вовсе какой бы то ни было даты, что, конечно, не могло не представлять огромнаго камня преткновенія для перваго издателя писемъ, безъ сомнѣнія, затратившаго бездну упорнаго труда и остроумія не только на весьма нелегкое и неблагодарное дѣло отыскиванія и собиранія писемъ (это надо испытать для того, чтобы вполнѣ оцѣнить), но особенно на достиженіе стройнаго порядка среди невообразимаго хаоса, который представляла груда еще не разсортированныхъ писемъ. Если въ настоящее время, по прошествіи почти уже полустолѣтія, когда въ печати явилось огромное множество писемъ, не

бывшихъ въ рукахъ Кулиша, и собрано не мало новыхъ матеріаловъ, все-таки не малую трудность представляетъ безусловно точное выясненіе датъ, — то можно представить себѣ, какой грандіозный трудъ выпалъ на долю Кулиша. Достаточно сказать, что именно эта сторона работы потребовала и отъ насъ теперь особенно много упорныхъ усилій, при чемъ мы все-таки вынуждены были въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ особенности въ отношеніи небольшихъ записокъ и короткихъ малосодержательныхъ писемъ, не имѣющихъ въ себѣ никакихъ опредѣленныхъ указаній, ограничиваться лишь приблизительнымъ разъясненіемъ времени, къ которому они должны быть отнесены». «Очень много трудностей въ отношеніи датъ представляетъ переписка Гоголя съ 1848 г., когда число писемъ значительно сокращается и самыя письма часто не заключаютъ въ себѣ указаній на какіе-либо опредѣленные факты, и притомъ уменьшается, съ другой стороны, количество писемъ корреспондентовъ Гоголя, а письма къ нему Смирновой становятся до того однообразными, что почти совсѣмъ не помогаютъ установленію точныхъ датъ [1])».

Послѣ Кулиша подвинулъ впередъ установленіе точной даты нѣкоторыхъ писемъ, не имѣющихъ таковой, А. И. Кирпичниковъ [2]), и г. Шенрокъ призналъ «очень вѣроятнымъ» предположеніе послѣдняго касательно письма, ошибочно помѣченнаго издателями 9-мъ іюня 1831 г., между тѣмъ какъ оно относится къ 1832 г. [3]).

Г. Шенрокъ, работавшій послѣ указанныхъ предшественниковъ надъ размѣщеніемъ писемъ Гоголя по годамъ, пытался сдѣлать нужныя исправленія и достигнуть большей точности въ опредѣленіи датъ, но, къ сожалѣнію, какъ самъ сознается, онъ «большею частью» повторялъ даты, поставленныя Кулишемъ [4]), и, подобно послѣднимъ, иныя изъ пріуроченій, находя-

1) П., I, Предисл., IV, VIII.

2) См. указанныя выше статьи *Кирпичникова*, напр. Извѣстія Отд. р. яз. и слов. И. А. Н., т. V, кн. 2, стр. 593—596.

3) П., IV, 475. Письмо, о которомъ идетъ рѣчь, помѣщено въ П., I, 180.

4) Извѣстія Отд. р. яз. и слов. И. А. Н., VII (1902), кн. 2, стр. 70.

щихся въ изданіи г. Шенрока, остаются неубѣдительными и нуждаются въ поправкахъ со стороны критики посторонней.

Нѣкоторыя изъ такихъ поправокъ, относящихся къ изданію Кулиша и вмѣстѣ къ разсматриваемому здѣсь, потому что, какъ сказано только что, г. Шенрокъ принималъ неоднократно даты, находящіяся у Кулиша, предложены уже въ статьѣ г. Заболотскаго: «Опытъ обзора матеріаловъ для біографіи Н. В. Гоголя въ юношескую пору»[1]). Г. Шенрокъ въ замѣчаніяхъ, которыя присоединилъ къ этой статьѣ[2]), «высказываетъ нѣсколько соображеній по поводу цѣнныхъ замѣтокъ г. Заболотскаго». Онъ признаетъ, что «въ отдѣлѣ дѣтскихъ писемъ Гоголя по крайнему недостатку данныхъ нерѣдко встрѣчается цѣлый лабиринтъ затрудненій и при томъ въ отношеніи данныхъ слишкомъ микроскопическаго свойства. Встрѣчаясь съ этими затрудненіями, мы не высказывали своихъ соображеній pro и contra въ нашихъ примѣчаніяхъ — въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не было положительныхъ основаній для измѣненія даты. Теперь, въ виду замѣтокъ г. Заболотскаго, считаемъ, напротивъ, необходимымъ войти отчасти въ мелочныя подробности и высказать всѣ относящіяся къ затронутымъ вопросамъ соображенія».

Нѣкоторыя изъ замѣтокъ г. Заболотскаго г. Шенрокъ оспариваетъ. «Наиболѣе спорнымъ и запутаннымъ» г. Шенрокъ считаетъ вопросъ касательно письма къ Павлу Петровичу Косяровскому отъ 2 сентября безъ годовой даты[3]). Г. Заболотскій относитъ это письмо къ 1828 г., а не къ 1827 (какъ значится въ изданіяхъ Кулиша и г. Шенрока). Послѣдній въ концѣ своего разбора доказательства, приведеннаго г. Заболотскимъ, замѣчаетъ: «впрочемъ вопросъ крайне запутанный, и для исправленія Кулишевской даты въ данномъ случаѣ по меньшей мѣрѣ отнюдь не находимъ твердыхъ основаній». Намъ кажется, однако, что таковыя имѣются. По словамъ г. Шенрока, «мы не имѣемъ

1) Изв. Отд. р. яз. и слов. И. Ак. Н., VII (1902), кн. 2, стр. 40—44.
2) Тамъ же, 70—78.
3) II., I, 81—82.

никакихъ данныхъ въ пользу предположенія, что Павелъ Петровичъ Косяровскій былъ въ Васильевкѣ *и лѣтомъ 1828 г.*», но въ письмѣ Гоголя отъ 16 мая 1828 г. къ матери читаемъ: «Отъ всей души радъ, что Петръ Петровичъ и Павелъ Петровичъ теперь у насъ. Какъ бы мнѣ желательно ихъ увидѣть еще у насъ дома»[1])! Правда, черезъ нѣсколько строчекъ какъ будто говорится о предстоявшемъ скоромъ отъѣздѣ Косяровскихъ изъ Васильевки: «вы меня такъ напугали скорымъ ихъ выѣздомъ, что я не знаю, застало ли бы письмо мое ихъ. Ахъ, если бы они подождали мѣсяца два! Зачѣмъ уѣзжать въ такое прекрасное время?» Гоголь не терялъ надежды на возможность провести лѣто 1828 г. въ Васильевкѣ вмѣстѣ съ обоими дядями: «Мнѣ все кажется, что мы проведемъ вмѣстѣ это время всѣ и многолюднѣе, и шумнѣе, и веселѣе, чѣмъ когда-либо. Дай Богъ, чтобы это сбылось!». Можно думать, что надежда юноши исполнилась: въ указываемомъ г. Заболотскимъ письмѣ отъ 8 сентября 1828 г., дата котораго по словамъ г. Шенрока[2]), «не подлежитъ сомнѣнію», «явно говорится объ *очень недавнемъ отъѣздѣ*» Петра Петровича Косяровскаго изъ Васильевки, какъ замѣтилъ самъ г. Шенрокъ[3]).

Второе возраженіе г. Шенрока касается «письма къ Петру Петровичу Косяровскому отъ 9 сентября безъ годовой даты». Г. Заболотскій полагаетъ, что оно относится не къ 1828 г., къ которому его отнесъ сынъ Косяровскаго при печатаніи этихъ писемъ въ «Русской Старинѣ» въ 1875 г. и вслѣдъ за нимъ г. Шенрокъ, «а къ тридцатымъ годамъ». И это возраженіе г. Шенрока не вполнѣ рѣшительно и заканчивается признаніемъ «положительныхъ достоинствъ» «за вѣскими соображеніями» г. Заболотскаго «и попыткой разобраться въ столь запутанныхъ вопросахъ»[4]). И дѣйствительно, вѣскость и положительность присущи аргументаціи г. Заболотскаго и въ разборѣ вопроса о

1) II., I, 102.
2) Изв., VII, 2, 74.
3) Тамъ же, 75.
4) Тамъ же, 76.

письмѣ отъ 9 сентября; указанія же г. Шенрока, «отнюдь не думающаго, по его словамъ, дѣлать упрековъ г. Заболотскому», не могутъ склонить въ пользу даты 1828 г., принятой издателями. Письмо отъ 9 сентября врядъ ли можетъ быть признано «припиской о забытомъ обстоятельствѣ», врядъ ли «было отправлено вмѣстѣ съ письмомъ отъ 8 сентября». Далѣе, судя по письму съ *несомнѣнной* датой 8 сентября 1828 г., отъѣздъ Петра П. Косяровскаго изъ Васильевки въ 1828 г., какъ замѣтилъ и г. Шенрокъ, произошелъ не за «два дня» до 9-го сентября, о которыхъ говорится въ письмѣ отъ этого послѣдняго числа, а значительно раньше: Гоголь извиняется передъ дядей, очевидно, въ отвѣтъ на письмо послѣдняго и, между прочимъ, пишетъ: «разъ засталъ я нашу рѣдкую маменьку въ слезахъ надъ письмомъ вашимъ, въ которомъ, по словамъ ея, заключался упрекъ на молчаніе, между тѣмъ какъ она *давно уже* отправила письмо къ вамъ»; письмо же отъ 9 сентября производитъ впечатлѣніе написаннаго *вскорѣ*, можетъ быть даже, именно черезъ нѣсколько дней послѣ разлуки. Болѣзнь сестеръ, не упомянутая въ этомъ письмѣ и о которой Гоголь сообщалъ Плетневу въ письмѣ отъ 11 сентября 1832 г., могла выясниться послѣ отправки письма 9 сентября и т. д.

Пытаясь отстоять унаслѣдованную отъ прежнихъ издателей датировку писемъ къ Косяровскому отъ 2 и 9 сентября и въ то же время признавая «вѣскость соображеній» критика, отвергающаго эту датировку, г. Шенрокъ затѣмъ, по его собственнымъ словамъ, «долженъ согласиться съ нимъ не только относительно двухъ оспариваемыхъ имъ (т. е. г. Заболотскимъ) датъ у Кулиша (и у послѣдовавшаго за Кулишемъ г. Шенрока), но и относительно одного письма безъ даты». При этомъ г. Шенрокъ оправдывается тѣмъ, что у Кулиша «*всюду* сомнительныя данныя, выставленныя лишь по предположенію, заключены въ скобки и *только* въ письмахъ къ матери онъ поступалъ иначе», и г. Шенрокъ «не рѣшался измѣнять тѣ даты, которыя безъ скобокъ. Теперь, когда, по полученіи отъ племянника Гоголя, В. Я.

Головни (къ сожалѣнію, сильно запоздаломъ) многихъ подлинныхъ писемъ къ матери, установлено, что этимъ датамъ не всегда можно вѣрить, онъ «долженъ согласиться» и т. д.[1]). Изъ этого оправданія, которое ранѣе было предпослано г. Шенрокомъ и въ самомъ изданіи писемъ Гоголя[2]), видно, что, во всякомъ случаѣ, г. Шенрокъ приступилъ къ своему изданію спѣшно, безъ надлежащаго изученія и не дождавшись подлинниковъ писемъ, которые могъ бы добыть, и полагался на предыдущихъ издателей, откуда произошли не только вовсе не «незначительныя неточности» въ датировкѣ, о которыхъ онъ говоритъ въ предисловіи.

Къ только что указаннымъ промахамъ въ распредѣленіи писемъ можно бы прибавить другія плохо и неубѣдительно обоснованныя датировки.

III.

Степень точности воспроизведенія подлинныхъ текстовъ писемъ Гоголя въ изданіи г. Шенрока.

При изданіи текстовъ особую важность представляетъ точное воспроизведеніе ихъ. Въ этомъ отношеніи изданіе г. Шенрока оставляетъ желать многаго.

Г. Шенрокъ «въ видахъ достиженія надлежащей исправности текста» «поставилъ своей непремѣнной задачей провѣрку всѣхъ писемъ по подлинникамъ». Ему удалось это выполнить, однако, не безусловно, хотя и въ «огромномъ большинствѣ случаевъ». Такъ, въ его «распоряженіи были письма Гоголя къ матери (въ количествѣ 91 письма, полученныхъ отъ племянника Гоголя В. Я. Головни, и около десяти писемъ, находящихся въ

---

1) Изв., VII, 2, 76.

2) П., I, Предисл., V. Въ примѣчаніи на той же страницѣ издатель указываетъ на «также сравнительно позднее полученіе писемъ къ Н. Н. Шереметевой и къ М. П. Погодину», вслѣдствіе чего «нѣкоторые варіанты и письма пришлось отнести въ приложеніе».

Московскомъ Публичномъ и Румянцевскомъ Музеѣ)», къ А. А. Иванову, къ Н. Я. Прокоповичу, къ М. А. Максимовичу, къ А. О. Смирновой, къ П. А. Плетневу, къ А. С. Данилевскому и проч. [1]), но немало г. Шенрокъ напечаталъ или, лучше сказать, перепечаталъ и такихъ писемъ, оригиналовъ которыхъ не видалъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказалось невозможнымъ добыть эти оригиналы. Издатель сообщаетъ иногда о томъ, иногда же умалчиваетъ о причинахъ, по которымъ не ознакомился съ подлинниками тѣхъ или иныхъ писемъ. Потому читатель остается въ невѣдѣніи, прилагалъ ли г. Шенрокъ стараніе получить для провѣрки текста и всѣ тѣ письма, которыя перепечаталъ изъ прежнихъ изданій безъ сличенія съ оригиналами [2]). Очень жаль, что г. Шенрокъ не предпослалъ своему изданію систематическаго перечня всѣхъ извѣстныхъ ему лицъ и учрежденій, во владѣніи которыхъ находятся теперь письма Гоголя, и не помѣстилъ при каждомъ изъ писемъ точныхъ свѣдѣній о текстѣ (рукописномъ или печатномъ), послужившемъ оригиналомъ для перепечатки въ изданіи г. Шенрока.

Во всякомъ случаѣ далеко не всѣ письма Гоголя явились у г. Шенрока въ воспроизведеніи, за точность котораго онъ могъ бы ручаться.

Но даже и тѣ, подлинники которыхъ г. Шенроку удалось видѣть, воспроизведены у него съ нарушеніемъ правилъ научной точности. Изданіе писемъ Гоголя, предпринятое г. Шенрокомъ, врядъ ли предназначалось для очень большой публики, и, слѣдовательно, не представлялось никакой надобности въ подгонкѣ писемъ Гоголя къ обычному правописанію и словоупотребленію. Г. же Шенрокъ почему-то иного мнѣнія, заявляя, напр., въ предисловіи: «мы рѣшительно отвергаемъ ни къ чему не ведущее соблюденіе яко-бы Гоголевскаго правописанія, котораго въ сущ-

1) См. II., I, Предисл., I—II.

2) См., напр. II., II, 317, прим. 2. Страницы II и III предисловія не разъясняютъ вопроса.

ности и не было (съ основательностью этого принципа единогласно согласились всѣ рецензенты редактированныхъ нами VI и VII томовъ X изданія сочиненій Гоголя), и только мѣстахъ въ двухъ—трехъ отмѣтили выдающіяся странности»[1]). Намъ не ясны принципы, которыми руководился въ этомъ случаѣ издатель. Произведенія писателя, печатаемыя для болѣе или менѣе значительнаго круга читателей,—одно, а его переписка, представляющая главнымъ образомъ историческій матеріалъ, цѣнный прежде всего для его біографовъ и вообще для изслѣдователей,—дѣло совсѣмъ другое, въ особенности если въ ней немало «странностей», какъ назвалъ г. Шенрокъ Гоголевскія отклоненія отъ обычнаго правописанія. Если для изученія психическихъ процессовъ, имѣвшихъ мѣсто въ авторѣ писемъ, признано умѣстнымъ и нужнымъ тщательное воспроизведеніе самыхъ мелочныхъ варіантовъ, при чемъ издатель, по его собственнымъ словамъ, «не останавливался даже передъ педантическою точностью»[2]), напр. передъ оговорками касательно недописанныхъ словъ, описокъ и т. п., то непонятно, какое нашлось основаніе для принципіальнаго отрицанія значенія точной передачи оригиналовъ со всѣми особенностями орѳографіи, иногда повторяющимися, можно сказать—до конца жизни автора. Несомнѣнно, что Гоголь нерѣдко нарушалъ правила орѳографіи и впадалъ въ «безграмотность», если считать таковою отсутствіе принятыхъ знаковъ препинанія въ его письмахъ, но иногда у него замѣчается систематическое употребленіе того или иного написанія.

Какъ бы то ни было, неточности въ изданіи г. Шенрока не ограничиваются внесеніемъ поправокъ въ Гоголевское правописаніе. Онѣ простираются на передачу словъ[3]) и цѣлыхъ фразъ[4]).

---

1) П., I, Предисл., VIII—IX.

2) П., I, Предисл., VIII.

3) Напр., г. Шенрокъ вмѣсто «самодоволія» поставилъ въ текстѣ «самодовольствія».

4) Чтенія въ Ист. Общ. Нестора-Лѣт., кн. XVI, вып. 1—3, отд. III, стр. 55—56. Г. *Якушкинъ* въ рецензіи на изданіе г. Шенрока, Р. Вѣдомости 1901 г., № 348, также замѣтилъ: «Очень тщательно (sic) воспроизводя текстъ

На это справедливо жаловался г. Чаговецъ. Сличивъ письма Гоголя въ изданіи г. Шенрока съ оригиналами, пожертвованными сестрою поэта О. В. Головней Историческому Обществу Нестора-Лѣтописца, мы присоединяемся къ замѣчаніямъ г. Чаговца и отмѣтимъ съ своей стороны рядъ неточностей въ воспроизведеніи этихъ писемъ.

Записка Гоголя къ матери отъ 28 апрѣля 1831 г.[1]) не заключаетъ помѣтки года, которая стоитъ у г. Шенрока, равно у послѣдняго «прибитіи» исправлено въ «прибытіи». Подпись не содержитъ полнаго имени, такъ что и въ приложеніяхъ въ концѣ изданія, гдѣ приводятся варіанты и дополненія[2]), находимъ неточности.

Письмо къ матери отъ 3 декабря 1832 г.[3]) напечатано съ постоянными *не оговоренными* поправками въ правописаніи; именно читаемъ:

у г. Шенрока:	а въ оригиналѣ:
опекунскомъ	Опекунскомъ
нечего	нѣчего
безпокопться	беспокоптся
вамъ	Вамъ
губернское	Губернское
, что	что
требуетъ	требуитъ
соберетесь	не соберетесь
губернаторъ	Губернаторъ
; что вы	что вы
неурожая	неурожаю
, и васъ	и васъ

Гоголя, изданіе иногда исправляетъ этотъ текстъ тамъ, гдѣ очень можно было бы обойтись безъ такого исправленія (напр., см. I томъ, стр. 124; II т. — 259), хотя и оговореннаго».

1) II., I, 178.

2) II., IV, 458.

3) II., I, 229—230.

; положенное вами	вами положенное [1])
Впрочемъ	впрочемъ
; и потому, вы, вѣрно	. И потому вы вѣрно
; и тѣмъ	и тѣмъ
; —ѣздить	ѣздить
губернатору,	Губернатору.
поле	Поле
клѣткахъ	клеткахъ
быть	(нѣтъ) и т. п.

Изъ этого примѣра видно, что г. Шенрокъ позволилъ себѣ постоянно исправлять правописаніе Гоголя, слѣдовавшее иногда систематически извѣстнымъ правиламъ: такъ наименованія должностныхъ лицъ и учрежденій Гоголь начиналъ прописными буквами. Нѣкоторыя изъ ошибокъ, вѣроятно, слѣдуетъ приписать небрежности письма, сказывающейся и въ передѣлкахъ, поправкахъ и помаркахъ, не всегда разборчиво написанныхъ, откуда иногда различныя чтенія. Г. Шенрокъ не стѣсняется исправлять всѣ погрѣшности, допущенныя, по его мнѣнію, Гоголемъ: подгоняетъ правописаніе послѣдняго къ нынѣшнему, измѣняетъ порядокъ словъ и опускаетъ либо прибавляетъ тѣ или иныя слова. Приводить полностью въ дальнѣйшемъ изложеніи всѣ такого рода отступленія г. Шенрока отъ оригиналовъ писемъ, бывшихъ у насъ подъ руками благодаря любезности О. В. и В. Я. Головни, которымъ считаемъ долгомъ выразить здѣсь признательность, находимъ излишнимъ. Въ дальнѣйшемъ перечнѣ допущенныхъ г. Шенрокомъ отклоненій мы ограничимся указаніемъ лишь наиболѣе существенныхъ отмѣнъ, оставляя въ сторонѣ почти всѣ поправки въ орѳографіи, выраженіяхъ и т. п.

Въ сейчасъ указанномъ письмѣ варіантъ, находящійся у Кулиша: «на палкѣ» правильнѣе стоящаго у г. Шенрока: «на полкѣ»; равнымъ образомъ варіантъ изданія въ «Вѣстникѣ

---

1) Такъ стоитъ въ текстѣ, напечатанномъ въ Вѣстникѣ Европы 1896, VI, 733, и это чтеніе правильно.

Европы»: «начато» правильнѣе, чѣмъ Шенроковскій: «напечатано». Въ адресѣ передъ словами «Адмиралтейской части» опущено у г. Шенрока: «II-й»[1]). Не отмѣчены, наконецъ, зачеркнутыя слова и не указано, что на письмѣ имѣется такая надпись: «Безцѣнной Маминькѣ Маріи Ивановнѣ Гоголь-Яновской».

Въ мартовскомъ письмѣ 1833 г. къ матери[2]) годовая дата не выставлена, число марта написано не совсѣмъ разборчиво вслѣдствіе неясной поправки; кажется, 23 исправлено въ 26, какъ стоитъ въ «Вѣстникѣ Европы», у г. же Шенрока: 23.

Въ письмѣ отъ 22 ноября 1833 г.[3]) годъ не выставленъ въ оригиналѣ; г. Шенрокомъ выбраны неподходящія чтенія: правильнѣе читать согласно съ Кулишомъ «пановъ», а не «поповъ»; вмѣсто «Но слѣдующій» у г. Шенрока напечатано: «на слѣдующій», вмѣсто «Маминька» — «маменька»[4]). Въ концѣ не прочитано слово.

Въ оригиналѣ апрѣльскаго письма къ матери 1834 г.[5]) нѣтъ годовой даты; стоитъ, какъ у Кулиша, «съ наступающими праздниками», а не «съ наступающимъ праздникомъ», какъ напечаталъ г. Шенрокъ, «хотя» — какъ у Кулиша, а не «хоть», какъ у г. Шенрока,— дважды написано «Маминька», а не «маменька»;— «они вѣрно написали вамъ», а у г. Шенрока: «онѣ бы, вѣрно, и написали вамъ».

Въ слѣдующемъ письмѣ къ матери[6]) у г. Шенрока вмѣсто слова «занимательная» напечатано «замѣчательная», не отмѣчено слово («нужно?»), не прочитанное вслѣдъ за выраженіемъ: «особеннымъ родомъ».

---

1) Въ письмѣ къ Максимовичу (II., I, 231) также: «второй Адмиралтейской части».

2) II., I, 246—247.

3) II., I, 264—266.

4) «Маменька» встрѣчаемъ впервые въ письмѣ изъ Лозанны отъ 21 сентября 1836 г., но въ двухъ другихъ мѣстахъ того же письма все еще написано: «маминька».

5) II., I, 292—293.

6) II., I, 294.

Въ письмѣ отъ 15 декабря 1834 г.[1]) вмѣсто «сестру» напечатано «сестрицу».

Въ письмѣ отъ 22 сентября 1835 г.[2]) слово «прежнія» написано цѣликомъ, какъ напечатано въ «Вѣстникѣ Европы», а не недокончено, какъ утверждаетъ г. Шенрокъ вслѣдъ за Кулишомъ; въ оригиналѣ стоитъ «не теперь», а у г. Шенрока «теперь»; наконецъ, въ оригиналѣ «Еким».

Въ примѣчаніи 7-мъ къ письму отъ 1 октября 1835 г. можно бы ограничиться послѣднею фразою, потому что именно слово «Чернышу» неразборчиво. «Николай» написано такъ, что подходитъ къ малороссійской формѣ «Микола».

Въ письмѣ отъ 19 ноября 1835 г. находимъ «желая», а не «желаю».

Въ письмѣ отъ 19 февраля 1836 г. чтеніе Кулиша «другому» вѣрнѣе, чѣмъ «другой», какъ напечатано у г. Шенрока; слово «почтительный» такъ неразборчиво, что трудно настаивать на такомъ чтеніи, и, кажется, вѣрнѣе читать «послушный», какъ стоитъ въ слѣдующемъ письмѣ.

Въ оригиналѣ письма отъ 22 февраля 1836 г.[3]) не «заплатать», какъ стоитъ у г. Шенрока, а малороссійское слово «залатать»[4]); «слѣдовалъ», а не «слѣдую».

Въ письмѣ отъ 21 сентября 1836 г.[5]) правленъ варіантъ «Вѣстника Европы» («писали»), а не чтеніе («написали»), принятое г. Шенрокомъ вслѣдъ за Кулишомъ; далѣе въ оригиналѣ стоитъ «сообщил», а не «сообщаете», какъ напечатано у г. Шенрока; «крушиться», какъ прочелъ Кулишъ, а не «кручиниться», какъ написалъ г. Шенрокъ.

И т. д., и т. д.

---

1) П., I, 328.
2) П., I, 351.
3) П., I, 366.
4) Если исправлено это слово, то почему не исправлена форма «церкву» (П., I, 389)?
5) П., I, 397.

Думаемъ, что всѣ эти данныя склоняютъ къ предположенію о спѣшности работы г. Шенрока. Во всякомъ случаѣ указанныя небрежности въ его изданіи не позволяютъ признать послѣднее вполнѣ удовлетворяющимъ требованіямъ строгой научности.

IV.

Объясненія къ письмамъ Гоголя, составленныя г. Шенрокомъ.

Не ограничиваясь перепечаткою опубликованныхъ доселѣ писемъ Гоголя и изданіемъ нѣкоторыхъ, собранныхъ вновь, г. Шенрокъ предпослалъ каждому изъ отдѣловъ, на которые распредѣлилъ эти письма, краткіе общіе очерки внѣшней и внутренней жизни Гоголя въ годы, къ которымъ относятся письма, собранныя въ извѣстномъ отдѣлѣ, и сверхъ того, присоединилъ объяснительныя примѣчанія къ каждому изъ писемъ въ отдѣльности. Въ этихъ поясненіяхъ находимъ указанія варіантовъ. «Послѣдніе, по словамъ г. Шенрока, могутъ быть очень полезны какъ въ *отрицательномъ смыслѣ*, устраняя возможность многихъ произвольныхъ догадокъ и предположеній, на которыя особенно падки люди, подходящіе къ изученію писателя съ предвзятыми намѣреніями и взглядами, такъ особенно въ *положительномъ*, начиная отъ мелочей — въ родѣ ассигновки на раздачу бѣднымъ, сначала на большую сумму, затѣмъ на уменьшенную, — до тонкихъ психологическихъ соображеній по разнымъ поводамъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ варіанты, безспорно, ближе вводятъ въ душевное состояніе автора и въ самый процессъ его мысли»[1]). «Затѣмъ, ради существенной важности вопроса о томъ, насколько и когда можно считать Гоголя искреннимъ, чтобы поставить въ данномъ случаѣ сужденія на болѣе твердую и правильную почву», г. Шенрокъ «усиленно приводитъ въ примѣчаніяхъ относящіяся сюда сопоставленія, а болѣе важныя изъ нихъ позволялъ себѣ напоминать, чтобы они не промелькнули безслѣдно»[2]). Такимъ

1) П., I, Предисл., IX.
2) Тамъ же, X.

образомъ, г. Шенрокъ неоднократно указывалъ на совпаденія въ письмахъ Гоголя съ тѣми или иными подробностями его произведеній. Эти сближенія не лишены цѣны, но были бы еще полезнѣе читателю, если бы издатель высказывалъ и свои соображенія по поводу отмѣчаемыхъ имъ совпаденій. Это можно сказать, напр., о сопоставленіяхъ раннихъ петербургскихъ писемъ Гоголя съ его «Авторскою Исповѣдью» [1]), благодаря чему выясняются весьма интересные факты очень ранняго появленія въ Гоголѣ мыслей, выступившихъ гораздо рельефнѣе въ годы, къ которымъ относятъ развитіе душевной болѣзненности въ Гоголѣ. Г. Шенрокъ, однако, «въ виду фактическаго характера» своихъ «замѣчаній», полагалъ, что ему «не можетъ быть сдѣланъ упрекъ въ навязываніи своихъ взглядовъ и мнѣній».

Внимательному читателю изданія Шенрока остается провѣрить, дѣйствительно ли авторъ введеній и примѣчаній къ письмамъ Гоголя можетъ быть свободенъ отъ этого упрека, и каковы предлагаемыя имъ объясненія: вѣрны ли они и вносятъ ли что-нибудь цѣннаго новаго въ пониманіе личности, міровоззрѣнія и произведеній Гоголя? Мы вправѣ ставить эти вопросы, между прочимъ, и потому, что г. Шенрокъ давно уже занимается біографіею Гоголя и его произведеніями.

Къ сожалѣнію, на поставленные только что вопросы приходится иногда давать отвѣты не положительные, а отрицательные.

Заботясь, какъ бы не подвергнуться «упреку въ навязываніи своихъ взглядовъ и мнѣній», г. Шенрокъ, тѣмъ не менѣе, не соблюлъ должнаго безпристрастія. Такъ, въ одномъ изъ примѣчаній г. Шенрокъ говоритъ: «Презирая «вялыхъ профессоровъ», Гоголь, однако же, собирался читать лекціи по чужимъ профессорскимъ запискамъ» [2]). Это заключеніе, на нашъ взглядъ, не вытекаетъ изъ словъ Гоголя въ письмѣ къ Погодину отъ 23 іюля

1) II., I, 124, прим. 3.
2) II., I, 315, примѣч.

1834 г.: «Я на время рѣшился занять здѣсь каѳедру исторіи, и именно среднихъ вѣковъ. Если ты этого желаешь, то я пришлю тебѣ нѣкоторыя свои лекціи, съ тѣмъ только, чтобы ты взамѣнъ прислалъ мнѣ свои. Весьма недурно, если бы ты отнялъ у какого-нибудь студента тетрадь записываемыхъ имъ твоихъ лекцій, особенно о среднихъ вѣкахъ, и прислалъ бы черезъ Рѣдкина мнѣ теперь же»[1]). Можно только думать, что Гоголь просто хотѣлъ ознакомиться съ пріемами преподаванія Погодина, но отсюда еще далеко до присваиванія лекцій послѣдняго, тѣмъ болѣе, что Гоголь предполагалъ послать Погодину взамѣнъ и свои лекціи. Вдобавокъ онъ собирался печатать свой курсъ впослѣдствіи, какъ это видно изъ письма отъ 2 ноября: «Пожалуйста, печатай скорѣе хотя новую исторію, которую ты, какъ говоришь, составилъ. Я самъ замышляю дернуть исторію среднихъ вѣковъ, — тѣмъ болѣе, что у меня такія роятся о ней мысли.... Но я не раньше, какъ черезъ годъ, пріймусь писать»[2]).

Въ послѣдующемъ изложеніи намъ придется не разъ еще отмѣчать нарушеніе г. Шенрокомъ обѣщанія не «навязывать своихъ взглядовъ и мнѣній». Покамѣстъ мы ограничимся приведеннымъ примѣромъ и займемся теперь разсмотрѣніемъ комментаріевъ г. Шенрока въ послѣдовательномъ порядкѣ періодовъ, которые можно усматривать во внутренней жизни Гоголя.

1. Время дѣтства и ранней юности (до окончанія курса Гимназіи высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ).

Общая характеристика данныхъ, въ письмахъ Гоголя, относящихся къ этому періоду его жизни, и самого Гоголя по его письмамъ намъ кажется блѣдною, неполною и скудною[3]).

---

1) Тамъ же, 314—315.

2) Тамъ же, 325.

3) Ср. характеристику, данную въ этюдѣ *М. Н. Сперанскаго:* Гимназія высшихъ наукъ. Нѣжинскій періодъ жизни Гоголя, К. 1902. См. еще въ ст. *В. В. Каллаша:* «Н. В. Гоголь и его письма» — Русская Мысль 1902, №№ 2, 3 и 6.

Прежде всего не выяснено, насколько вѣрно и разносторонне этотъ матеріалъ освѣщаетъ личность автора писемъ и окружавшія его условія и обстановку.

А между тѣмъ личность Гоголя уже въ то раннее время его жизни предстаетъ со свойственными ей чертами характера, нерѣдко ставимыми ей въ вину: скрытностію[1]), «нерѣшительностью, неувѣренностью въ себѣ» на ряду съ «огнемъ гордаго самосознанія»[2]), тщеславіемъ[3]) и вмѣстѣ «униженнымъ смиреніемъ»[4]). Юный Гоголь со свойственнымъ юности самообольщеніемъ еще вѣрилъ въ себя и нерѣдко смотрѣлъ свысока на все окружающее; самопознаніе юноши было еще невелико. Потому, конечно, и письма этого періода не могли выдавать всего богатства внутренней жизни юноши[5]), которое однако сквозитъ въ его неоднократныхъ намекахъ на присущую ему энергію, настойчивость, отожествляемую имъ съ упрямствомъ, благородный энтузіазмъ къ прекрасному и великому, стремленіе постоянно расширять свои знанія и не терять понапрасну ни одной минуты въ жизни: «я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сдѣлавъ блага»[6]).

Съ точки зрѣнія возвышенныхъ требованій и идеала ничтожными уже тогда должны были казаться Гоголю какъ общество школы, такъ и другіе люди, съ которыми онъ встрѣчался. Оттуда, быть можетъ, излишне строгій иногда судъ о школѣ[7]), о нѣжинцахъ, о товарищахъ и знакомыхъ. Но въ правѣ ли мы пред-

---

1) См. хотя бы II., I, 89.

2) II., I, 68, Ср. II., I, 130: о «дерзкой самонадѣянности» и 136: о «гордыхъ помыслахъ юности».

3) II., I, 24: «Вы, я думаю, не допустите погибнуть *столько* себя прославившимъ рисункамъ»; I, 54: «Думаю, удивитесь вы успѣхамъ моимъ...».

4) II., I, 130.

5) Г. Шенрокъ говоритъ, что Петру Петровичу Косяровскому «были повѣрены тайныя мечты и широкіе замыслы» (стр. 6), но поэтъ выражался о послѣднихъ слишкомъ неопредѣленно.

6) II., I, 89.

7) Тамъ же, 97.

полагать ходульность въ такихъ отзывахъ, напыщенность и риторизмъ?

Во всякомъ случаѣ достопримѣчательно, что будущій обличитель пошлости и поборникъ простоты и непосредственности культуры уже въ годы пребыванія въ Нѣжинѣ испытывалъ «ядовитое истомленіе, вслѣдствіе нетерпѣнія и скуки», тяготился «игомъ школьнаго педантизма»[1]), находилъ болѣе полное удовлетвореніе въ деревенской жизни и въ исторіи родного края[2]) и «никогда не угашалъ вѣчнаго огня привязанности къ родинѣ[3]) и роднымъ»,

---

1) П., I, 97.

2) Врядъ ли возможно согласиться съ замѣчаніемъ г. Шенрока о письмахъ 1829—1830 годовъ: «Гоголя живо занимаютъ *теперь* (курсивъ нашъ) украинскія думы и пѣсни, сказки и повѣрья, народныя игры, старинные обычаи, обряды и костюмы» (П., I, 113). Можно предложить вопросъ: не было ли этого и раньше? Самъ же г. Шенрокъ издалъ (Сочиненія Н. В. Гоголя. Изданіе десятое. Текстъ свѣренъ съ собственноручными рукописями автора и первоначальными изданіями его произведеній *Н. Тихонравовымъ* и *В. Шенрокомъ*, т. VII, Спб. 1896, стр. 873 и слѣд.—Въ дальнѣйшихъ ссылкахъ мы будемъ обозначать это X-е изданіе сочиненій Гоголя буквою С) описаніе «Книги всякой всячины, или подручной энциклопедіи составл. Н. Г. — Нѣжинъ 1826», въ которую занесены не только выдержки изъ писемъ отъ домашнихъ (см. П., I, 123, прим. 1), свидѣтельствующія объ интересѣ Гоголя къ украинскому фольклору, во время пребыванія въ Петербургѣ, но и другія записи, выказывающія любовь Гоголя къ Малороссіи, напр., слова для «Лекс. Малор.», и «этотъ отдѣлъ ведется подъ всѣми буквами «Энциклопедіи», кромѣ буквы Ѣ». На стр. 80-й и первой половинѣ 81-й записаны выбранные изъ разныхъ произведеній «эпиграфы», характеризующіе литературное чтеніе Гоголя въ школѣ, между прочимъ—изъ Енеиды Котляревскаго (см. *М. Н. Сперанскаго*, Замѣтки къ исторіи «Энеиды» *И. П. Котляревскаго*, Львъ. 1902) и т. д. Но, конечно, замыслъ написать «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» созрѣлъ у Гоголя въ Петербургѣ.

3) П., I, 43. Въ іюнѣ 1824 г. Гоголь писалъ родителямъ: «Я вамъ писалъ о пріятномъ путешествіи, которое мы скоро предпримемъ, о радостномъ нашемъ свиданіи, о удовольствіяхъ, которыя я буду вкушать. Развѣ это такой мелочный предметъ, который должно оставить безъ вниманія? Вѣрьте, любезные родители, что вся, такъ-сказать, жизнь моя основана на этомъ. Сіе блаженное время я почитаю центромъ моихъ желаній, источникомъ моихъ удовольствій»... «Уже вижу все милое сердцу, вижу васъ, вижу милую родину, вижу тихій Псёлъ, мерцающій сквозь легкое покрывало, которое я скоро сброшу, насладясь истиннымъ счастіемъ, забывъ протекшія быстро горести. Одна счастливая минута можетъ вознаградить за годы скорбей» (П., I, 20—21). Спустя годъ съ лишнимъ (30 сентября 1825 г.) онъ выражалъ то же сосредоточеніе привязанностей на родномъ домѣ: «Я только какъ-то и оживляюсь вашимъ

причемъ однако на 18-мъ году жизни сталъ проникаться нетерпѣніемъ скорѣе «видѣть счастіе: зачѣмъ намъ дано нетерпѣніе? мысль о немъ и днемъ и ночью мучитъ, тревожитъ мое сердце: душа моя хочетъ вырваться изъ тѣсной своей обители»[1])... Все это въ значительной степени объясняетъ послѣдующую литературную дѣятельность Гоголя, его романтическое настроеніе, выборъ темъ первыхъ произведеній изъ сельской либо изъ прошлой жизни родного края и, наконецъ, веселье, чарующую живость и прелесть его «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки». Гоголь всѣмъ своимъ предшествующимъ развитіемъ былъ подготовленъ къ произведеніямъ, прославившимъ его послѣ первыхъ же ша-

---

письмомъ, котораго я теперь ожидаю съ нетерпѣніемъ. Надѣюсь, что вы меня извѣстите о нашемъ краѣ хотя немного; но родной и дымъ пріятенъ» (II., I, 36). Не задолго до конца предпослѣдняго года пребыванія въ Нѣжинѣ, въ мартѣ 1827 г. Гоголь писалъ матери: «Весна приближается — время самое веселое, когда весело можемъ провесть его. Это напоминаетъ мнѣ времена дѣтства, мою жаркую страсть къ садоводству. Это-то время было обширный кругъ моего дѣйствія. Живо помню, какъ бывало, съ лопатою въ рукѣ, глубокомысленно раздумываю надъ изломанною дорожкою... Признаюсь, я бы желалъ когда-нибудь быть дома въ это время. Я и теперь такой же, какъ и прежде, жаркій охотникъ къ саду. Но мнѣ не удастся, я думаю, долго побывать въ это время. Не смотря на все, я никогда не оставлю сего изящнаго занятія» (II., I, 68). И дѣйствительно, Гоголь до конца жизни любилъ это занятіе. Въ самомъ концѣ того же года опять встрѣчаемъ выраженіе страстнаго порыванія въ деревню (26 іюня 1827 г.): «Уже два дня эпипажъ стоитъ за мною. Съ нетерпѣньемъ лечу освѣжиться, ожить отъ мертваго усыпленія годичнаго въ Нѣжинѣ, отъ ядовитаго истомленія, вслѣдствіе нетерпѣнія и скуки. Возвратясь, начну живѣе и спокойнѣе носить иго школьнаго педантизма, пока уроченное время, со всѣми своими мучительными ожиданіями и нетерпѣніемъ, не предстанетъ снова истомленному» (II., I, 79). Въ письмѣ изъ С.-Петербурга отъ 2 февраля 1830 г. находимъ приблизительно то же стремленіе въ деревню: «Часто наводитъ на меня тоску мысль, что, можетъ быть, долго еще не удастся мнѣ увидѣться съ вами. Какъ бы хотѣлось мнѣ хотя на мгновеніе оторваться отъ душныхъ стѣнъ столицы и подышать хотя на мгновеніе воздухомъ деревни: но неумолимая судьба истребляетъ даже надежду на то. Какъ подумаю о будущемъ лѣтѣ, теперь даже томительная грусть залегаетъ въ душу. Вы помните, я думаю, какъ я всегда рвался въ это время на вольный воздухъ, какъ для меня убійственны были стѣны даже маленькаго Нѣжина» (II., I, 145). См. еще II., I, 175: «въ деревнѣ, въ домашнемъ кругу, столько можно найти удовольствій веселости, какихъ не представитъ ни одна столица» и т. д. Ср. еще II., I, 341.

1) II., I, 55.

говъ его на литературномъ поприщѣ, и обстоятельство, указываемое имъ въ письмѣ изъ Петербурга отъ 30 апрѣля 1829 г.: «здѣсь такъ занимаетъ все малороссійское»[1]), имѣло значеніе лишь мотива, завершившаго остальные.

Равнымъ образомъ, въ годы юности Гоголя зарождались и многіе другіе задатки его дальнѣйшей литературной дѣятельности. Будущій драматургъ и тщательный наблюдатель дѣйствительности уже замѣтенъ въ юномъ страстномъ любителѣ театра; послѣдній былъ постоянно его «любимымъ развлеченіемъ»[2]). Будущій широко *образованный писатель заявлялъ себя уже въ юности* жаждой образованія и постояннымъ писательствомъ.

Нѣжинскія письма Гоголя знакомятъ насъ съ первыми стадіями изученія имъ западныхъ языковъ и литературъ, литературы русской и начинавшей развиваться ново-украинской. Эти изученія происходили одновременно и параллельно и сообщали значительную разносторонность литературнымъ вкусамъ юноши.

«Я теперь со всякимъ стараніемъ предаюсь французскому языку», писалъ Гоголь уже въ 1822 г.[3]). Прибывъ въ Нѣжинъ въ послѣдній годъ ученья тамъ, Гоголь «укоренился въ свое мѣстопребываніе съ новою твердостью, съ новою силою, крѣпостью къ своимъ занятіямъ»[4]). Въ этотъ послѣдній годъ житья въ Нѣжинѣ Гоголь пребывалъ «въ твердомъ, постоянномъ занятіи и въ глубокомъ обдумьи будущей должности и новаго бытія въ дѣятельномъ мірѣ, для блага котораго посвящена» была его «жизнь»[5]). Онъ не помышлялъ еще при этомъ отдать себя писательскому призванію: «Я перебиралъ въ умѣ всѣ состоянія, всѣ должности въ государствѣ и остановился на одномъ—на юстиціи. Я видѣлъ, что здѣсь работы будетъ болѣе всего, что здѣсь только

---

1) II., I, 121. Это признавалъ и самъ г. Шенрокъ въ «Матеріалахъ», I.

2) «Театръ нашъ готовъ совершенно, а съ нимъ вмѣстѣ—сколько удовольствій!» писалъ однажды Гоголь (II., I, 57).

3) II., I, 14.

4) Тамъ же, 86.

5) Тамъ же, 93.

я могу быть благодѣяніемъ, здѣсь только буду истинно полезенъ для человѣчества»[1]) и т. д. «Я теперь совершенный затворникъ», читаемъ въ одномъ изъ слѣдующихъ писемъ[2]).

Гоголь изучалъ писателей родныхъ и иностранныхъ, въ числѣ послѣднихъ — Мольера, Флоріана и Коцебу[3]). Но въ особенности обращаетъ на себя вниманіе увлеченіе его Шиллеромъ. Въ виду несомнѣннаго вліянія этого поэта на мысль Гоголя[4]), жаль, что, повторяя[5]) примѣчаніе Кулиша: «Прокоповичъ говорилъ мнѣ, что у Гоголя скоро не стало терпѣнія добиваться смысла въ языкѣ Шиллера, и что то было только минутное увлеченіе», г. Шенрокъ оставилъ безъ критики это врядъ ли вполнѣ достовѣрное извѣстіе. Вообще біографы до послѣдняго времени преувеличиваютъ плохое знакомство Гоголя съ иностранными языками. Дѣйствительно, до поѣздки за границу Гоголь не владѣлъ разговорною рѣчью на иностранныхъ языкахъ, какъ то показываетъ хотя бы его письмо изъ Гамбурга отъ 16-го іюня 1836 г.: «Въ Ахенѣ я займусь мѣсяца два языками, потому что мнѣ чрезвычайно трудно изъясняться»[6]). Но съ книжною рѣчью, по крайней мѣрѣ — на двухъ иностранныхъ языкахъ, французскомъ и нѣмецкомъ, Гоголь былъ хорошо знакомъ уже въ Петербургѣ. Къ сожалѣнію, г. Шенрокъ оставилъ безъ объясненія весьма интересныя мѣста писемъ Гоголя, имѣющія отношеніе къ вопросу о знакомствѣ Гоголя съ иностранными языками и вообще объ образованіи его.

Наконецъ, въ юношескихъ письмахъ Гоголя рано замѣчаются

---

1) Тамъ же, 89.

2) Тамъ же, 94.

3) Тамъ же, 59, 61.

4) Это можно сказать, напр., объ идеѣ Шиллера касательно воспитанія человѣчества, касательно послѣдней цѣли, достиженія которой человѣкъ могъ бы желать. Шиллеръ ставилъ духовное освобожденіе личности единственно возможною цѣлью культуры, вмѣстѣ съ которою человѣчество можетъ достигнуть «человѣчности». Нравственно-эстетическую культуру личности выше всего ставилъ и Гоголь.

5) II., I, 69, примѣч. 5.

6) Тамъ же, 385.

слѣды его живого литературнаго интереса: напр., юный Гоголь просилъ о присылкѣ ему книгъ и журналовъ [1]).

Всѣ эти занятія литературой совпадали въ юношѣ со стремленіемъ къ собственному сочинительству. Мать поощряла сына къ писательству, выказывая живой интересъ къ его сочиненіямъ и прося привозить ихъ [2]). Въ концѣ 1826 г. Гоголь какъ-будто уже прошелъ первую стадію литературныхъ опытовъ и вступалъ во вторую. «Сочиненій моихъ вы не узнаете, писалъ онъ тогда: новый переворотъ постигнулъ ихъ. Родъ ихъ теперь совершенно особенный» [3]). Жаль, что г. Шенрокъ не присоединилъ объяснительныхъ примѣчаній къ этимъ неопредѣленнымъ упоминаніямъ [4]).

Осмѣпвая напыщенность, отъ которой самъ былъ прежде не свободенъ [5]), Гоголь сталъ романтикомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, соединяя романтическій идеализмъ съ южно-русскимъ реализмомъ. Первоначально Гоголевскій реализмъ совпадалъ съ недовольствомъ окружающимъ и съ сатиризмомъ и насмѣшливостью, рано развившимися въ юношѣ, что́ и отмѣтилъ г. Шенрокъ [6]), говоря: «Послѣ смерти отца, весной 1825 года,

---

1) II., I, 22: «Вы писали мнѣ про стихи, которые я точно забылъ: 2 тетради съ стихами и одна «Эдипъ», которыя, сдѣлайте милость, пришлите мнѣ скорѣе. Также вы писали про одну новую балладу и про Пушкина поэму «Онѣгина»; то прошу васъ, нельзя ли мнѣ и ихъ прислать? Еще нѣтъ ли у васъ какихъ-нибудь стиховъ? то и тѣ пришлите» и др.

2) См., напр., II., I, 47.

3) Тамъ же, 54.

4) Ср. у *П. В. Владимірова:* Изъ ученическихъ лѣтъ Гоголя. К. 1890, стр. 12—14.

5) II., I, 47, прим. 3.

6) II., I, 5. Употребленное г. Шенрокомъ не совсѣмъ опредѣленное выраженіе: «нѣсколько позднѣе» могло бы быть замѣнено болѣе точными указаніями. Въ письмѣ къ Высоцкому отъ 17 января 1827 г. (II., I, 55) читаемъ: «Глупости людскія рано сроднили насъ; вмѣстѣ мы осмѣпвали ихъ». См. далѣе II., I, 45 (20 августа 1826): «Говорилъ бы вамъ о своихъ, но совершенно ничего нѣтъ, все пусто, и Нѣжинъ нашъ заснулъ въ бездѣйствіи». См. еще насмѣшливую выходку въ письмѣ, написанномъ вскорѣ послѣ того: «Каковы у насъ дѣла хозяйственныя? Павелъ Петровичъ пишетъ, что отыскалась на томъ баштанѣ, что за прудомъ (который весь высохъ), дыня съ пупкомъ, а не съ хвостомъ.

характеръ и содержаніе писемъ совершенно измѣняются... увлеченія книгами, рисованьемъ, театромъ становятся серьезнѣе и значительно расширяются. Нѣсколько позднѣе въ Гоголѣ начинаетъ замѣтно обозначаться наклонность къ юмору и сатирѣ» и т. д. Въ чемъ именно начала «замѣтно обозначаться наклонность къ юмору», г. Шенрокъ не указалъ [1]), а между тѣмъ это было бы тѣмъ желательнѣе, что юморъ является большей частью достояніемъ болѣе зрѣлаго возраста и міросозерцанія [2]). Правда, уже и въ Нѣжинскій періодъ Гоголь «удивлялся, какъ люди, жадные счастья, немедленно убѣгаютъ, встрѣтившись съ нимъ». Но лишь подъ самый конецъ пребыванія въ Нѣжинѣ Гоголь отчетливо подвелъ итоги тому, какъ много онъ «понспыталъ горя и нужды.... былъ принимаемъ зломъ. Врядъ ли кто вынесъ столько неблагодарностей, несправедливостей, глупыхъ, смѣшныхъ притязаній, холоднаго презрѣнія и проч.». «Я все выносилъ, говоритъ Гоголь, безъ упрековъ, безъ роптанія, никто не слыхалъ жалобъ, я даже всегда хвалилъ виновниковъ моего горя... я слишкомъ много знаю людей, чтобы быть мечтателемъ. Уроки, которые я отъ нихъ получилъ, останутся на-вѣкъ неизгладимыми, и они — вѣрная порука моего счастія. Вы увидите, что со временемъ за всѣ ихъ худыя дѣла я буду въ состояніи заплатить благодѣяніями, потому что зло ихъ мнѣ обратилось въ добро» [3]). Къ сожалѣнію, г. Шепрокъ воздержался отъ разъясненій и касательно этихъ чрезвычайно важныхъ признаній Гоголя, хотя, вѣроятно, ему извѣстны данныя для этихъ разъясненій.

Удивляясь сему необыкновенному феномену, хотѣлъ бы я знать причину» (II., I, 8). Гоголь сочинялъ въ Нѣжинѣ насмѣшливые стихи (II., I, 62, прим. 9) и піесы (тамъ же, 65) и съ презрѣніемъ глядѣлъ на «существователей, всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ» (II., I, 75).

1) Г. Шенрокъ, можетъ быть, имѣлъ въ виду двѣ главы изъ малороссійской повѣсти «Страшный Кабанъ» (С., V, 48—60), но принадлежность ихъ къ этому времени—недоказанное предположеніе (См. С., VII, 952). Въ нѣжинскихъ письмахъ Гоголя есть упоминанія о сочиненіяхъ послѣдняго, но г. Шенрокъ оставилъ эти упоминанія безъ разъясненій.

2) Объ опредѣленіяхъ юмора см. въ нашемъ этюдѣ «Значеніе мысли и творчества Гоголя» (выше, стр. 515 сл.).

3) II., I, 58 и 97—98.

Сводя во-едино всѣ приведенные факты, можно, кажется, сказать, что, оставляя Нѣжинъ, Гоголь былъ одновременно и романтикомъ, стремившимся въ неясную и туманную даль, и реалистомъ, начинавшимъ склоняться къ юмору. Онъ вынесъ стремленіе къ «постоянному пріобрѣтенію знаній»[1]) и къ литературнымъ занятіямъ. Передъ нимъ лишь начиналъ раскрываться необъятный горизонтъ жизни, и выработка болѣе или менѣе полнаго и зрѣлаго міросозерцанія предстояла въ сравнительно далекомъ будущемъ.

2. Время начальной литературной дѣятельности Гоголя (космополитическаго романтизма до „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки").

Мѣсяцы, въ которые Гоголь писалъ поэму «Ганцъ Кюхельгартенъ» (вторая половина 1828 г. и первая 1829 г.[2]) и напоминалъ этого своего героя (до возвращенія изъ первой заграничной поѣздки), не выдѣлены г. Шенрокомъ, а между тѣмъ ихъ, какъ особый замѣтный періодъ въ развитіи міросозерцанія Гоголя, надлежитъ разсматривать въ отдѣльности. Этотъ періодъ можно полагать съ того момента, когда у Гоголя началъ слагаться планъ заграничной поѣздки. Въ одномъ изъ писемъ сохранился отчетливый намекъ объ этомъ планѣ[3]), но г. Шенрокъ не говоритъ о томъ ни слова въ примѣчаніяхъ, и лишь во введеніи къ «Письмамъ 1829—1830 годовъ» замѣчаетъ вскользь, впадая въ противорѣчіе съ самимъ собою, что Гоголь увлекся «новымъ юношескимъ порывомъ» и что его поѣздка за границу была «результатомъ давно лелѣянныхъ юныхъ фантастическихъ

---

1) Тамъ же, 106—107.

2) См. этюдъ *И. В. Шаровольскаго:* Юношеская идиллія Гоголя, помѣщенный въ XVI-й книгѣ Чтеній въ Ист. Общ. Нестора-Лѣт. и вышедшій также отдѣльно.

3) П., I, 106 (8 сентября 1828 г.): «Можетъ быть, и весьма вѣроятно, что въ самомъ дѣлѣ я отлучусь и слишкомъ далеко *(это и есть мое намѣреніе)*, обо мнѣ не будетъ и слуху...».

грезъ»[1]). Конечною же гранью разсматриваемаго періода можно считать время послѣднихъ отголосковъ Кюхельгартеновскаго настроенія по возвращеніи Гоголя изъ-за границы (приблизительно до 10 декабря 1829 г.), совпадающихъ съ началомъ созданія «Вечеровъ на хуторѣ» и въ частности первой изъ этихъ повѣстей, озаглавленной «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала»[2]).

Сопоставленіе писемъ Гоголя за это время (за вторую половину 1828-го года и за 1829-й) съ «Ганцемъ Кюхельгартеномъ» доставило бы чрезвычайно интересный матеріалъ для біографіи Гоголя, но, къ сожалѣнію, г. Шенрокъ въ примѣчаніяхъ къ этимъ письмамъ совсѣмъ не коснулся любопытныхъ соотношеній, дающихъ возможность разграничить Wahrheit und Dichtung въ поэмѣ Гоголя и въ его душевной жизни въ первые моменты его вступленія въ свѣтъ[3]).

Въ Гоголѣ совершался въ то время «переломъ», о которомъ онъ говоритъ въ письмѣ отъ 24-го іюля 1829 г.[4]) и который незадолго до того былъ поэтически изображенъ имъ въ судьбѣ Ганца Кюхельгартена, послѣ двухлѣтняго странствованія покончившаго съ неяснымъ грезами и «коварными мечтами» юношескаго романтизма и обрѣтшаго новыя рѣшенія. Въ письмахъ Гоголя, относящихся ко времени его первой заграничной поѣздки,

---

1) П., I, 113.

2) Напечатана въ февральской и мартовской книжкахъ Отечественныхъ Записокъ *Свиньина* 1830 г. Первый намекъ на интересъ Гоголя къ сюжетамъ «Вечеровъ» находимъ въ письмѣ его къ матери отъ 30 апрѣля 1829 г., гдѣ Гоголь выражалъ такую просьбу: «теперь васъ прошу... сдѣлать для меня величайшее изъ одолженій. Вы имѣете тонкій, наблюдательный умъ, вы много знаете обычаи и нравы малороссіянъ нашихъ, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мнѣ ихъ въ нашей перепискѣ. Это мнѣ очень, очень нужно.... Еще нѣсколько словъ о колядкахъ, Иванѣ Купалѣ, о русалкахъ» (II., I, 119—120). 24-го іюля работа надъ «Вечерами», повидимому, уже была въ ходу: «Въ тиши уединенія я готовлю запасъ, котораго, порядочно не обработавши, не пущу въ свѣтъ» (тамъ же, 128), сообщалъ Гоголь матери.

3) Въ книжкѣ: «Ученическіе годы Гоголя», изд. второе, М. 1898, стр. 120 и слѣд., г. Шенрокъ отмѣтилъ нѣкоторыя совпаденія въ идилліи и въ письмахъ 1827 года.

4) П., I, 127.

содержатся весьма интересныя данныя для характеристики этого перелома, дающія, какъ сказано, неоцѣненный матеріалъ для біографіи Гоголя.

Гоголь признавался «отъ чистаго сердца» (и этому мы можемъ повѣрить вполнѣ), что «имѣлъ дурной характеръ, испорченный и избалованный нравъ», что «сердцу, можетъ, единственному, по крайней мѣрѣ рѣдкому въ мірѣ, душѣ чистой, пламенѣющей жаркой любовью ко всему высокому и прекрасному, Богъ далъ грубую оболочку, одѣлъ все это въ страшную смѣсь противорѣчій, упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженнаго смиренія» [1]). Юноша давалъ обѣты, исполнившись новой душевной силы, какъ бы вступить на новый путь: «передѣлать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвѣсть силою души въ вѣчномъ трудѣ и дѣятельности».

Эти горькія признанія въ высшей степени важны для пониманія нравственнаго склада личности Гоголя и всей послѣдующей личной его жизни, постоянно уже съ той поры направлявшейся къ неустанной работѣ надъ собою для претворенія «грубой оболочки», которую находилъ въ себѣ поэтъ, и для преодолѣванія замѣчаемыхъ имъ въ себѣ «противорѣчій». Уже тогда начиналась значительная ломка гордости, несомнѣнно составлявшей одно изъ прирожденныхъ качествъ Гоголя [2]). Уже тогда душа «несчастнаго поэта была «изрыта и опустошена бурями», и онъ могъ бы «разсказать тяжкую повѣсть о себѣ», и вмѣстѣ съ тѣмъ его «бренный разумъ» былъ «не въ силахъ постичь великихъ опредѣленій Всевышняго» [3]).

Величіе этой души сказалось уже и тогда въ повтореніи ею, несмотря на всю угнетавшую ее сумятицу, обѣта, впервые даннаго еще въ ранней юности: отрекшись отъ личнаго счастья, «всю

1) Тамъ же. Ср. I, 260: «Я помню: я ничего сильно не чувствовалъ, я глядѣлъ на все, какъ на вещи, созданныя для того, чтобы угождать мнѣ». См. затѣмъ I, 130.

2) II., I, 139: «не думайте найти во мнѣ хотя искру гордости. Если я прежде казался таковымъ, то теперь не покажусь, вѣрно, имъ».

3) II., I, 130.

жизнь посвятить для счастія себѣ подобныхъ»[1]). Обѣтъ этотъ былъ исполненъ ненарушимо поэтомъ въ теченіе всей послѣдующей его жизни, въ которой, дѣйствительно, не было личнаго счастія.

Но, конечно, эта душа, какъ указалъ самъ Гоголь, была надѣлена «противорѣчіями», и они выступаютъ въ разсматриваемыхъ письмахъ, напр., въ тѣхъ постоянно измѣнявшихся объясненіяхъ, какія давалъ Гоголь своей матери относительно своей первой заграничной поѣздки, ради которой онъ допустилъ непзвинительный въ глазахъ другихъ поступокъ — «воспользовался деньгами, присланными для уплаты въ Опекунскій совѣтъ».

Изъ примѣчаній, разсѣянныхъ г. Шенрокомъ въ различныхъ мѣстахъ этого отдѣла писемъ, какъ будто вытекаетъ, что Гоголь для оправданія своего поступка прибѣгалъ неоднократно къ «невѣрнымъ объясненіямъ»[2]), изворачиваясь передъ матерью: г. Шенрокъ, напр., приводитъ безъ всякихъ оговорокъ пояснепія А. С. Данилевскаго о томъ, что «не было ничего подобнаго» тому, что сообщалъ Гоголь[3]).

Несомнѣнно, что въ данномъ событіи мы имѣемъ дѣло съ психическимъ фактомъ, требующимъ весьма тонкой критики—во всякомъ случаѣ болѣе вдумчивой, чѣмъ простое констатированіе факта: «для объясненія побудительной причины, вызвавшей поѣздку, Гоголь ссылается то на неудачу, то на любовь, то на болѣзнь, не заботясь даже о послѣдовательности въ объясненіяхъ»[4]), или же замѣчаніе къ словамъ письма Гоголя о столицѣ въ лѣтнее время, которая «пуста и мертва, какъ могила, когда почти живой души не остается въ обширныхъ улицахъ, когда громады домовъ, съ вѣчно-раскаленными крышами, однѣ только кидаются въ глаза, и ни деревца, ни зелени, ни одного прохладнаго мѣстечка, гдѣ бы можно было освѣжиться! Немудрено,

1) Тамъ же, 127—128.
2) II., I, 113.
3) Тамъ же, 121, прим. 4; 137, прим. 2.
4) Тамъ же, 126, прим. 1.

когда прошлый годъ со мною произошло такое странное, безразсудное явленіе; я былъ утопающій, хватившійся за первую попавшуюся ему вѣтку» [1]). Поѣздка Гоголя была вызвана цѣлымъ рядомъ тонкихъ психическихъ процессовъ, изъяснить которые было весьма не легко, о чемъ свидѣтельствуетъ письмо, высланное два дня спустя по возвращеніи изъ Гамбурга: «Я не въ силахъ теперь извѣстить васъ о главныхъ причинахъ, сошедшихся, которыя бы, можетъ быть, оправдали меня, хотя въ нѣкоторомъ отношеніи. Чувства мои переполнены; я не могу перевести дыханія» [2]). Потому г. Шенрокъ справедливо выразился во вступительномъ замѣчаніи, что и самъ Гоголь «едва ли могъ дать себѣ ясный прозаическій отчетъ въ томъ, что явилось результатомъ давно лелѣянныхъ юныхъ фантастическихъ грезъ» [3]). Могла имѣть долю участія и любовь, о которой говорится въ письмѣ отъ 24 іюля 1829 г. [4]). Г. Шенрокъ относится съ недовѣріемъ и къ упоминанію о любви Гоголя въ письмѣ отъ 10 марта 1832 г. [5]), но вѣдь симпатіи Гоголя къ Россетъ, впослѣдствіи Смирновой, были вполнѣ возможны въ 1831—1832 гг. [6]). Въ примѣчаніи къ словамъ письма къ А. С. Данилевскому отъ 20 декабря 1832 г.: «Очень понимаю и чувствую состояніе души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю *благодаря*, что это пламя меня бы превратило въ прахъ въ одно мгновеніе. Я бы не нашелъ себѣ въ прошедшемъ наслажденья; я силился бы превратить это въ настоящее и

---

1) II., I, 145; въ прим. 5 г. Шенрокъ говоритъ: «Здѣсь, слѣдовательно, Гоголь даетъ новое и, конечно, искреннее объясненіе своей первой заграничной поѣздки, хотя, конечно, здѣсь указывается лишь одна изъ причинъ, обусловливавшихъ тогдашнее смутное настроеніе его души».

2) II., I, 138.

3) Тамъ же, стр. 113. Ср. выше.

4) Не къ этому ли времени относится первый набросокъ статьи «Женщина» (С., V, 61—65)? Вспомнимъ роль любви и въ «Ганцѣ Кюхельгартенѣ». Въ основныхъ идеяхъ статьи о женщинѣ и разсказа о любви, содержащагося въ названномъ письмѣ, есть нѣкоторыя совпаденія.

5) II., I, 207.

6) О посылкѣ ей экземпляра «Вечеровъ» см. II., I, 188.

былъ бы самъ жертвою этого усилія. И потому-то, къ спасенію моему, у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня отъ желанія заглянуть въ пропасть. Ты счастливецъ, тебѣ удѣлъ вкусить первое благо въ свѣтѣ—любовь; а я... Но мы, кажется, своротили на байронизмъ», г. Шенрокъ говоритъ: «Эти слова важны потому, что здѣсь Гоголь самъ опровергаетъ свои слова въ письмѣ къ матери отъ 24 іюля 1829 г. о какой-то фантастической любви своей»[1]), но спрашивается: почему Гоголь упоминаетъ о твердой волѣ, «два раза отводившей его отъ желанія заглянуть въ пропасть»? Г. Шенрокъ оставилъ это выраженіе безъ разъясненія.

Непонятно также, какъ г. Шенрокъ уже въ предисловіи къ «письмамъ 1828—1830 годовъ» могъ сказать: «познакомившись съ Дельвигомъ и ставъ сотрудникомъ его «Литературной Газеты», Гоголь мало-по-малу знакомится съ Жуковскимъ, Плетневымъ, Пушкинымъ и изъ душнаго департамента переносится въ свѣтлый міръ мысли и чувства, вступивъ въ дружеское общеніе съ первоклассными представителями современной литературы»[2]). Вѣдь въ примѣчаніи къ словамъ письма отъ 10 февраля 1831 года: «Мнѣ любо, когда не я ищу, но моего ищутъ знакомства» г. Шенрокъ говоритъ: «Въ это время Гоголь уже былъ сотрудникомъ Литературной Газеты Дельвига и былъ знакомъ съ Дельвигомъ; см. въ «Воспоминаніяхъ о В. И. Далѣ» Мельникова (Печерскаго) въ Русскомъ Вѣстникѣ, 1873, III, 295—296, и въ статьѣ Гаевскаго о Дельвигѣ (Современникъ, 1854, IX, 7—8), и хотя 14 января того же года Дельвигъ уже умеръ, но Гоголь *вскорѣ* познакомился съ Плетневымъ, Жуковскимъ и другими»[3]); равнымъ образомъ самъ же г. Шенрокъ[4]) признаетъ, что знакомство Гоголя съ Пушкинымъ «слѣдуетъ отнести къ маю 1831 г.». Слѣдовательно, настоящее вступленіе Гоголя «въ

1) Тамъ же, 232.
2) Тамъ же, 114.
3) Тамъ же, 172, прим.
4) Тамъ же, 183, прим. 1.

дружеское общеніе съ первоклассными представителями современной литературы» произошло не въ 1829 и 1830 гг., а въ 1831 г., и упоминаніе о томъ въ предисловіи къ письмамъ Гоголя 1829 и 1830 гг. излишне.

Время перваго — юношескаго — романтизма, носившаго подобно романтизму Ганца Кюхельгартена въ значительной степени космополитическій характеръ, протекло безъ такого общенія, доставившаго Гоголю свѣтлые моменты радостнаго сознанія своего истиннаго призванія. Это признаніе выяснилось, когда на смѣну юношескаго романтизма въ Гоголѣ выступилъ болѣе зрѣлый романтизмъ — украинофильскій.

3. Годы украинофильскаго романтизма Гоголя и перваго обращенія послѣдняго къ реализму (1829—1834).

«Переломъ», происшедшій въ юномъ Гоголѣ послѣ цѣлаго ряда неудачъ и огорченій, начавшись лѣтомъ 1829 г., закончился къ 1830-му году душевнымъ успокоеніемъ на нѣсколько лѣтъ, и 10 февраля 1831 г. совсѣмъ уже окрѣпшій нравственно поэтъ писалъ матери: «какъ благодарю я Вышнюю Десницу за тѣ непріятности и неудачи, которыя довелось испытать мнѣ! Ни на какія драгоцѣнности въ мірѣ не промѣнялъ бы ихъ. Чего не извѣдалъ я въ то короткое время! Иному во всю жизнь не случалось имѣть такого разнообразія. Время это было для меня наилучшимъ воспитаніемъ, какого я думаю рѣдкій царь могъ имѣть. Зато какая теперь тишина въ моемъ сердцѣ! Какая неуклонная твердость и мужество въ душѣ моей! Неугасимо горитъ во мнѣ стремленіе, но это стремленіе—польза»[1]). «Спокойствіе въ моей груди величайшее», читаемъ въ слѣдующемъ письмѣ[2]).

Ясно отсюда, какъ неосновательно замѣчаніе г. Шенрока въ «Краткомъ обзорѣ содержанія писемъ Гоголя въ 1836 г.»:

---

1) II., 1, 171—172.
2) II., I, 175.

«Уже въ эту пору въ его письмахъ начинаютъ проявляться аскетическіе взгляды и впервые заходитъ рѣчь о внутреннемъ «воспитаніи» и о благодарности Провидѣнію за ниспосланныя «непріятности и огорченія»[1]). Въ примѣчаніи къ словамъ письма отъ 16 іюня 1836 г.: «О, какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны для меня были всѣ непріятности и огорченія!» г. Шенрокъ говоритъ: «Нѣкоторые полагали (въ томъ числѣ г. Авенаріусъ), что мистицизмъ явился у Гоголя только послѣ смерти Пушкина, но онъ замѣчается ясно еще въ 1835 г. (см. Вѣстн. Евр. 1885, т. VIII, стр. 773) и здѣсь, а это писано было при жизни Пушкина»[2]). Дѣйствительно, въ іюлѣ 1835 г. Гоголь писалъ: «что-то будетъ, то будетъ, а вѣрно будетъ такъ, какъ лучше. Все, что́ ни случалось доброе и злое, было для меня хорошо»[3]), но взглядъ на невзгоды житейскія, какъ на орудіе воспитанія, употребляемое Вышней Десницей, какъ мы сейчасъ видѣли, высказывался Гоголемъ уже въ 1829 г., т. е. задолго до 1836 г. Въ одномъ изъ писемъ 1833 г. есть даже выраженіе «наука жизни»[4]).

Равнымъ образомъ, въ разсматриваемые теперь нами годы съ 1832 г. мы слышимъ отъ Гоголя и частыя жалобы на нездоровье въ родѣ слѣдующихъ: «Совершеннаго здоровья не надѣюсь скоро дождаться»[5]); «Что-то значитъ хилое здоровье!»[6]); «Удивительно равнодушенъ ко всему. Всему этому, я думаю, причина мое болѣзненное состояніе»[7]); «Творческая сила меня не посѣщаетъ до сихъ поръ»[8]). Въ письмахъ 1833 г. находимъ цѣлый рядъ сѣтованій о бездѣйствіи и непроизводительности: «Я сижу, какъ дуракъ, при непостижимой лѣни мыслей! Это ужасно!»;

---

1) Тамъ же, 360.
2) Тамъ же, 384, прим. 10.
3) Тамъ же, 349.
4) Тамъ же, 260.
5) Тамъ же, 220.
6) Тамъ же, 221.
7) Тамъ же, 227.
8) П., I, 235 и 237.

«Я стою въ бездѣйствіи, въ неподвижности. Мелкаго не хочется; великое не выдумывается. Однимъ словомъ, умственный запоръ. Пожалѣйте обо мнѣ и пожелайте мнѣ»[1]).—«...Ничего рѣшительно не дѣлаю. Умъ въ страшномъ бездѣйствіи; мысли такъ растеряны, что не могутъ собраться въ одно цѣлое»[1]). — «Я такъ теперь остылъ, очерствѣлъ, сдѣлался такой прозой, что не узнаю себя. Вотъ скоро будетъ годъ, какъ я ни строчки. Какъ ни принуждаю себя, нѣтъ, да и только»... «скудельный составъ мой часто одолѣваемъ недугомъ и крайне дряхлѣетъ»[2]). «Пошлетъ ли всемогущій Богъ мнѣ вдохновенье — не знаю»[3]). Г. Шенрокъ замѣтилъ по поводу этихъ словъ: «1833 годъ былъ очень не производителенъ для Гоголя въ отношеніи творчества»[4]). Ср. однако данныя о творчествѣ Гоголя въ 1833 г.[5]), приведенныя въ другомъ мѣстѣ самимъ г. Шенрокомъ. «Старосвѣтскіе Помѣщики»—несомнѣнно, chef d'oeuvre Гоголевскаго творчества, и г. Шенрокъ готовъ отнести это произведеніе къ 1833 г., хотя говоритъ, что «положительныхъ данныхъ для рѣшенія этого вопроса нѣтъ». Это послѣднее замѣчаніе опровергается нѣсколько выраженіемъ Гоголя въ письмѣ къ матери отъ 17 ноября 1831 г.: «Жаль, что у насъ нѣтъ сосѣдей какихъ-нибудь старосвѣтскихъ людей»[6]). Г. Шенрокъ въ разсматриваемомъ изданіи писемъ Гоголя справедливо обратилъ вниманіе на это выраженіе, отмѣтивъ его курсивомъ[7]). Дѣйствительно, оно является какъ будто terminus a quo въ исторіи замысла повѣсти о «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ».—Во 2-хъ, о комедіи «Владиміръ 3-ьей степени» 20 февраля того же 1833 года Гоголь писалъ: «Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бѣлой толстой тетради: «Владиміръ 3-ьей степени»,

---

1) Тамъ же, 240.
2) Тамъ же, 254.
3) Тамъ же, 255.
4) Тамъ же, прим. 1.
5) С., VII, 954.
6) П., I, 197.
7) Тамъ же, 179, прим. 2.

и сколько злости, смѣха и соли!... Но вдругъ остановился, увидѣвши, что перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А чтб изъ того, когда піеса не будетъ играться: драма живетъ только на сценѣ»[1]). Наконецъ, самъ г. Шепрокъ призналъ все-таки и въ разсматриваемомъ изданіи, что «1833 годъ былъ... богатъ художественными замыслами»[2]). Не забудемъ еще, что въ томъ году Гоголь занимался исторіею Малороссіи и всеобщею исторіею[3]), и эти занятія на ряду съ преподавательскою дѣятельностію должны были отнимать у него массу времени, энергіи и труда. Изъ всего этого видно, съ какою осторожностію надо относиться къ нѣкоторымъ свидѣтельствамъ Гоголя о самомъ себѣ даже въ такое время расцвѣта силъ, какими были разсматриваемые годы, а тѣмъ болѣе подъ конецъ его жизни, когда его силы были значительно подорваны. Гоголь уже съ дѣтства не отличался крѣпостію здоровья, а напряженные труды и душевныя безпокойства въ силу кризисовъ, которые переживала его мысль, усиливали недомоганія. Потому понятно, что онъ не могъ работать съ такою быстротою, съ какою желалъ бы, и жаловался уже въ 24 года: «Какъ-то не такъ теперь работается! Не съ тѣмъ вдохновенно-полнымъ наслажденіемъ царапаетъ перо бумагу. Едва начинаю, и что-нибудь совершу изъ исторіи, уже вижу собственные недостатки: то жалѣю, что не взялъ шире, огромнѣе объемъ, то вдругъ зиждется новая система и рушитъ старую. Напрасно я увѣряю себя, что это только начало, эскизъ, что оно не нанесетъ пятна мнѣ, что судья у меня одинъ только будетъ, и тотъ одинъ — другъ. Но не могу, не въ силахъ... Чортъ поберп пока трудъ мой, набросанный на бумагѣ, до другого, спокойнѣйшаго времени»[4]). Прежде

1) П., I, 245. Ср. С., VI, 545 и слѣд.

2) Тамъ же, 234.

3) Уже въ первомъ изъ писемъ 1833 г., помѣщенныхъ въ изданіи г. Шепрока (10 января — П., I, 234), Гоголь писалъ Погодину: «Но всему мы должны быть соединены тѣсно другъ съ другомъ. Однородность занятій, замѣтьте, и у васъ, и у меня. Главное дѣло — всеобщая исторія, а прочее стороннее».

4) П., I, 244—245.

всего переутомленіемъ надо объяснять и то состояніе, которое Гоголь называлъ въ себѣ лѣнью; напр., — въ одномъ письмѣ 1833 г.: «все таковъ, какъ прежде, хотя лѣнивъ, нестерпимо лѣнивъ»[1]); въ письмѣ 1834 года: «лѣнь проклятая одолѣла, и я сѣлъ на одномъ приступѣ: лѣтомъ я ничего больше не дѣлаю, кромѣ лежанія; къ тому же еще и болѣзнь меня безпокоитъ»[2]). Въ іюлѣ 1835 г. «здоровье, кажется, уже отъ однихъ переѣздовъ поправилось»[3]), но, тѣмъ не менѣе, Гоголь писалъ: «Тупая теперь такая голова сдѣлалась, что мочи нѣтъ. Языкомъ ворочаешь такъ, что унять нельзя, а возьмешься за перо — находитъ столбнякъ»[4]).

Не взирая на тягостное состояніе, которое, такимъ образомъ, Гоголь испытывалъ по временамъ отъ неудачъ и мнимаго безсилія въ творчествѣ, онъ не падалъ духомъ, потому что въ немъ уже тогда сложился оптимизмъ, приближающійся къ тому, который такъ наполняетъ его письма въ годы, когда слагалась его «Переписка съ друзьями»: «Живите какъ можно веселѣе, читаемъ въ одномъ изъ писемъ, прогоняйте отъ себя непріятности, по крайней мѣрѣ не смущайтесь ими: все пройдетъ, все будетъ хорошо. Неужели вы не замѣчаете чудной воли высшей? Все это дѣлается единственно для того, чтобы мы болѣе поняли послѣ свое счастіе»[5]).

Вмѣстѣ съ тѣмъ Гоголь началъ приходить къ ясному сознанію своего истиннаго призванія, чего не отмѣтилъ г. Шенрокъ въ «Краткомъ обзорѣ содержанія писемъ 1831 г.» «Я, писалъ Гоголь 16 апрѣля 1831 г., душевно былъ радъ оставить... ничтожную мою службу, ничтожную, я полагаю, для меня, потому что иной, Богъ знаетъ, за какое благополучіе почелъ бы занять

---

1) Тамъ же, 258.
2) Тамъ же, 301.
3) Тамъ же, 348.
4) Тамъ же, 350.
5) Тамъ же, 172.

оставленное мною мѣсто. Но путь у меня другой, дорога прямѣе, и въ душѣ болѣе силы идти твердымъ шагомъ»[1]).

На первыхъ порахъ Гоголь усматривалъ свой путь въ творчествѣ преимущественно изъ области украинской жизни въ ея настоящемъ и прошломъ.

Г. Шенрокъ объясняетъ обращеніе Гоголя къ украинскимъ сюжетамъ такъ: «чувство неудовлетворенности ожиданія, обостряемое безпощадными неудачами со всѣхъ сторонъ, заставляетъ Гоголя съ упоеніемъ переноситься мыслями въ ту самую родную Малороссію, откуда еще недавно его мысль такъ страстно стремилась на негостепріимный сѣверъ»[2]).

Врядъ ли однако процессъ этихъ занятій Гоголя былъ вызванъ «чувствомъ неудовлетворенности ожиданія». Г. Шенрокъ оставилъ безъ должнаго вниманія чисто-литературные въ этомъ случаѣ воздѣйствія[3]), замыслы и интересы Гоголя къ роднымъ сюжетамъ, на которые намекаетъ самъ Гоголь въ письмѣ отъ 30-го апрѣля 1829 г., и влеченіе къ малороссійскимъ темамъ, проявлявшееся еще въ Нѣжинѣ[4]), что признаетъ и г. Шенрокъ. Да и въ то время, когда Гоголь началъ просить о присылкѣ различныхъ свѣдѣній о Малороссіи, онъ едва ли еще занимался «Вечерами». О перемѣщеніи въ Малороссію онъ не думалъ, какъ видно изъ письма отъ 2 апрѣля 1830 г.[5]). Быть можетъ, не вполнѣ также точно указаніе на интересъ Гоголя къ «думамъ и пѣснямъ» въ 1829—30 гг. На эти произведенія народной словесности Гоголь началъ обращать усиленное вниманіе позднѣе[6]). Покамѣстъ его занимали колядки[7]) и хороводныя пѣсни[8]). Въ

1) П., I, 174.

2) Тамъ же, 113.

3) Ср. въ ст. *Каллаша* въ Кіевской Старинѣ 1900, № 5.

4) См. «Главу изъ историческаго романа» (С., V, 130—140), которую Гоголь, по его собственнымъ словамъ, «писалъ, бывши еще въ Нѣжинской гимназіи», для матери (П., I, 184); ср. С., VII, 952.

5) П., I, 152.

6) Интересъ къ пѣснямъ замѣчается въ Гоголѣ еще и въ 1835 г.: П., I, 352.

7) Тамъ же, I, 120.

8) Тамъ же, 123.

письмѣ же отъ 19 сентября 1831 г. говорится уже о пѣсняхъ вообще: «А сказки, пѣсни, происшествія можете посылать въ письмахъ или небольшихъ посылкахъ»[1]).

Мало-по-малу украинскій патріотизмъ Гоголя разгорѣлся до того, что 2-го іюля 1833 г. онъ писалъ Максимовичу: «Бросьте въ самомъ дѣлѣ кацапію, да поѣзжайте въ гетманщину. Я самъ думаю то же сдѣлать и на слѣдующій годъ махнуть отсюда. Дурни мы право, какъ разсудишь хорошенько! Для чего и кому мы жертвуемъ всѣмъ? Ѣдемъ! Сколько мы тамъ насобираемъ всякой всячины! все выкопаемъ»[2]). «Я тоже думалъ: туда, туда! въ Кіевъ, въ древній, въ прекрасный Кіевъ! Онъ нашъ, онъ не пхъ — не правда ли? тамъ или вокругъ него дѣялись дѣла старины нашей... Тамъ можно обновиться всѣми силами»[3]).

Полюбивъ родную старину болѣе, чѣмъ когда-либо прежде, Гоголь «принялся за исторію нашей единственной, бѣдной Украйны»[4]). Теперь только онъ оцѣнилъ все значеніе историческихъ пѣсенъ Малороссіи по сравненію со скудными ея лѣтописями, которыя не давали ему того, чего онъ искалъ, хорошо понимая задачи истинной исторіи: «Я къ нашимъ лѣтописямъ охладѣлъ, напрасно силясь въ нихъ отыскать то, что̀ хотѣлъ бы отыскать. Нигдѣ ничего о томъ времени, которое должно бы быть богаче всѣхъ событіями»[5]). Очевидно, Гоголь отдавалъ предпочтеніе пѣснямъ не потому только, что, какъ говоритъ г. Шенрокъ[6]), въ сравненіи съ ними «лѣтописи казались ему слишкомъ черствыми и прозаическими». О черствости лѣтописей Гоголь писалъ Максимовичу: «Моя радость, жизнь моя, пѣсни! Какъ я васъ люблю! Что̀ всѣ черствыя лѣтописи[7]), въ которыхъ я

1) Тамъ же, I, 191.
2) Тамъ же, I, 254.
3) Тамъ же, I, 268.
4) Тамъ же, I, 263.
5) П., I, 278. Разумѣется время до уніи.
6) П., I, 234.
7) Въ письмѣ къ Срезневскому читаемъ: «ни одного (польскаго) лѣтописца съ нечерствою душою, мыслями...» (II., I, 278); «каждый звукъ пѣсни мнѣ говоритъ живѣе о протекшемъ, нежели наши вялыя и короткія лѣтописи»...

теперь роюсь, предъ этими звонкими, живыми лѣтописями!... Вы не можете представить, какъ мнѣ помогаютъ въ исторіи пѣсни. Даже не историческія, даже похабныя; онѣ все даютъ по новой чертѣ въ мою исторію, все разоблачаютъ яснѣе и яснѣе, увы! прошедшую жизнь и, увы! прошедшихъ людей... Прощайте, милый, дышащій прежнимъ временемъ землякъ»...[1]).

Ясно изъ этихъ строкъ, что Гоголь увлекался прошлымъ Украины, изученіе котораго дѣйствовало на него успокоительно въ пору душевныхъ тревогъ. «Ничто такъ не успокоиваетъ, какъ исторія», писалъ онъ Максимовичу[2]). Слѣдовательно, не вполнѣ вѣрно утвержденіе г. Шенрока[3]), что Гоголь, дѣлившій «свои задушевные интересы между исторіей и драмой (собственно комедіей)», «скоро долженъ былъ убѣдиться, что въ этомъ соперничествѣ исторія обыкновенно отступала у него на второй планъ». Это замѣчаніе вѣрно лишь въ отношеніи всеобщей исторіи и касательно момента письма къ Погодину 20 февраля 1833 г., въ которомъ читаемъ: «за комедію не могу приняться. Примусь за исторію — передо мною движется сцена, шумитъ аплодисментъ, рожи высовываются изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ зубы, и — исторія къ чорту. И вотъ почему я сижу при лѣни мыслей»[4]). Въ январѣ же 1834 г. онъ писалъ[5]) Погодину: «Я весь теперь погруженъ въ исторію малороссійскую и всемірную; и та и другая у меня начинаетъ двигаться». Въ особенности плѣняла Гоголя малороссійская исторія богатствомъ своихъ событій и драматизмомъ: «Народъ, котораго вся жизнь состояла изъ движеній, котораго невольно (еслибъ онъ даже былъ совершенно недѣятеленъ отъ природы) сосѣди, положеніе земли, опасность бытія выводили на дѣла и подвиги, этотъ народъ... Я

1) II., I, 264.

2) Тамъ же, I, 263. Немного погодя онъ опять писалъ о занятіяхъ исторіею: «Это сообщаетъ мнѣ какой-то спокойный и равнодушный къ житейскому характеръ» (тамъ же, I, 274).

3) II., I, 234.

4) Тамъ же, I, 245.

5) II., I, 274.

недоволенъ польскими историками: они очень мало говорятъ объ этихъ подвигахъ... Если бы крымцы и турки имѣли литературу, я былъ бы увѣренъ, что ни одного самостоятельнаго тогда народа въ Европѣ не была бы такъ интересна исторія, какъ казаковъ»[1]).

Возвеличивая «древній, прекрасный Кіевъ», «спокойное, уютное и святое мѣсто»[2]), Гоголь въ тѣ годы не особенно долюбливалъ Москву: «Что жъ, ѣдешь, или нѣтъ? спрашивалъ онъ Максимовича 12 марта 1834 г.; — влюбился же въ — эту старую, толстую бабу — Москву, отъ которой, кромѣ щей да матерщины, ничего не услышишь!»[3]). Предубѣжденіе относительно Москвы отзывалось еще и потомъ въ Гоголѣ. Такъ, 20 февраля 1835 г. онъ писалъ: «Я сомнѣваюсь, бывало ли когда-нибудь въ Москвѣ единодушіе... Москва невинна въ немъ»[4]). Оставшись по неволѣ въ «чухонскомъ» Петербургѣ, Гоголь сообщалъ, что его душа «сильно тоскуетъ за Украйной»[5]). Да и вообще Русь представлялась Гоголю «старою, рыжею бородою», которой онъ задавалъ вопросъ: «когда ты поумнѣешь?»[6]).

Этимъ же разсматриваемымъ нами теперь годамъ созрѣванія идей Гоголя принадлежатъ зачатки основныхъ мыслей послѣдующаго періода творчества этого писателя, т. е. времени созданія «Мертвыхъ Душъ». Такова, напр., его основная моралистическая тенденція, скрывающаяся подъ обозначеніемъ «науки жизни»[7]). Гоголь началъ уже въ эти годы считать себя учителемъ жизни, хорошо узнавъ людей, что онъ доказывалъ, какъ замѣтилъ г. Шенрокъ, «проницательностію и глубокой справедливостью своихъ совѣтовъ матери»[8]). Это видно, напр., изъ его письма къ матери отъ 2 октября 1833 г. о воспитаніи сестры,

1) Тамъ же, I, 278.
2) Тамъ же, I, 268 и 308.
3) II., I, 281.
4) II., I, 335.
5) II., I, 318.
6) II., I, 230.
7) II., I, 260.
8) II., I, 283.

гдѣ, между прочимъ, читаемъ: «я вижу яснѣе и лучше многое, нежели другіе. Въ немногіе годы я много узналъ, особливо по этой части. Я пзслѣдовалъ человѣка отъ его колыбели до конца, и отъ этого ничуть не счастливѣе. У меня болитъ сердце, когда я вижу, какъ заблуждаются люди. Толкуютъ о добродѣтели, о Богѣ, и между тѣмъ не дѣлаютъ ничего. Хотѣлъ бы, кажется, помочь имъ, но рѣдкіе, рѣдкіе пзъ нихъ имѣютъ свѣтлый природный умъ, чтобы увидѣть истину моихъ словъ»[1]). Уже тогда Гоголь стыдился своихъ прежнихъ произведеній, напр., «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», о которой онъ писалъ Максимовичу, что о ней «совсѣмъ-было позабылъ» и «стыдится назвать ее своею»[2]). Отказываясь прислать что-нибудь Максимовичу въ задуманный послѣднимъ альманахъ «Денницу», Гоголь обѣщалъ ему 9 ноября 1833 г.: «Я вамъ въ другой разъ непремѣнно приготовлю, что вы хотите. Но не теперь. Еслибъ вы знали, какіе со мною происходили страшные перевороты, какъ сильно растерзано все внутри меня! Боже, сколько я пережегъ, сколько перестрадалъ!»[3]). Повидимому, въ Гоголѣ начинался новый кризисъ. Но и пзъ этого новаго колебанія нашъ писатель вышелъ побѣдителемъ, благодаря чудной эластичности своей натуры. Для него «всѣ непріятности и огорченія... имѣли въ себѣ что-то эластическое; касаясь ихъ, говоритъ Гоголь, мнѣ казалось, я отпрыгивалъ выше, по крайней мѣрѣ чувствовалъ въ душѣ своей крѣпче отпоръ»[4]).

4. а. Годы созрѣванія мысли и творчества Гоголя (съ лѣта 1834 г. до неудачи „Ревизора“ и отъѣзда за границу въ 1836 г.).

Послѣ второго кризиса, ознаменовавшаго 1833 годъ и закончившаго четырехлѣтіе перваго, чисто-романтическаго подъема

1) П., I, 261.
2) П., I, 262.
3) П., I, 263.
4) П., I, 384.

творческой дѣятельности Гоголя[1]), послѣдній вновь началъ проникаться спокойствіемъ въ отношеніи къ житейскимъ невзгодамъ[2]), и 27-го іюня 1834 г. писалъ Максимовичу: «Ради Бога, не предавайся грустнымъ мыслямъ, будь веселъ, какъ веселъ теперь я, рѣшившій, что все на свѣтѣ трынъ-трава. Терпѣніемъ и хладнокровіемъ все достанешь... умоляю еще разъ беречь свое здоровье; а это сбереженіе здоровья состоитъ въ слѣдующемъ секретѣ: быть какъ можно болѣе спокойнымъ, стараться бѣситься и веселиться сколько можно, до упадку, хотя бываетъ и не всегда весело, и помнить мудрое правило, что все на свѣтѣ трынъ-трава и — — (слѣдуютъ два непечатныя слова). Въ этихъ немногихъ, но значительныхъ словахъ заключается вся мудрость человѣческая»[3]). Другими словами: Гоголь пришелъ къ мысли о томъ, что, вооружившись терпѣніемъ и хладнокровіемъ и сохраняя спокойствіе, не слѣдуетъ принимать къ сердцу житейскія невзгоды. Въ слѣдующемъ письмѣ Гоголь повторялъ тотъ же совѣтъ, при чемъ смыслъ его наставленій становится яснѣе: Гоголь склонялъ «быть поравнодушнѣе ко всему кажущемуся тебѣ съ перваго взгляда непріятнымъ; смотри на міръ такъ, какъ смотритъ на него поэтъ, у котораго онъ подъ ногами и употребляется на обтирку ногъ его». По мнѣнію Кулиша, Гоголь въ приведенныхъ словахъ разумѣлъ Пушкина, сказавшаго:

---

1) Объ этой дѣятельности см. предыдущую статью (стр. 536 сл.).

2) II., I, 274—275 (11 января 1834 г.): «это (занятіе исторіей) сообщаетъ мнѣ какой-то спокойный и равнодушный къ житейскому характеръ, а безъ этого я бы былъ страхъ сердитъ на всѣ эти обстоятельства». Не слѣдуетъ ли заключить изъ этого, что въ 1833 г. Гоголя вывели изъ спокойствія житейскія обстоятельства? Къ сожалѣнію, г. Шенрокъ оставилъ безъ разъясненія тревожное состояніе Гоголя въ 1833 г. Что все дѣло сводилось къ житейскимъ невзгодамъ, подтверждается и письмомъ къ Максимовичу отъ 14 августа 1834 г., въ которомъ Гоголь, потерпѣвшій неудачу въ хлопотахъ о назначеніи въ университетъ св. Владиміра, писалъ: «я, который долженъ остаться въ чухонскомъ городѣ, плюю на все и говорю, что все на свѣтѣ трынъ-трава... а признаюсь, грусть хотѣла-было сильно подступить ко мнѣ, но я далъ ей, по выраженію твоему, такого пидлесня, что она задрала ноги».

3) II., I, 306 и 308.

Душевныхъ нашихъ мукъ не стоитъ міръ[1]).

22 марта 1835 г. Гоголь писалъ: «Ей Богу, мы всѣ страшно отдалились отъ нашихъ первозданныхъ элементовъ. Мы никакъ не привыкнемъ глядѣть на жизнь, какъ на трынъ-траву, какъ всегда глядѣлъ казакъ»[2]). Гоголь совѣтовалъ «упиваться весною, а съ нею и спокойствіемъ и ясностью жизни, потому что для прекрасной души нѣтъ мрака въ жизни»[3]). Въ письмѣ отъ 1 октября 1835 г. читаемъ: «Я здоровъ и спокоенъ; прочее все пустое и трынъ-трава»[4]). Это воззрѣніе Гоголя не означало наклонности къ квіетизму. Напротивъ, Гоголь не уставалъ въ трудѣ надъ выработкою своихъ воззрѣній и писалъ: «Я съ каждымъ мѣсяцемъ и съ каждымъ днемъ вижу новое, и вижу свои ошибки... предо мною раздвигается природа и человѣкъ»[5]). Изложенный взглядъ Гоголя на жизнь согласовался съ его прежнимъ христіанскимъ оптимизмомъ, который теперь получилъ существенную поправку. Послѣдняя сводилась къ признанію значенія нашихъ личныхъ усилій. «Богу никакъ нельзя приписать нашихъ неудачъ», писалъ Гоголь матери 10 іюля 1834 г. «Богъ милостивъ и всякому, кто трудится съ благоразуміемъ и съ осмотрительностью принимается за дѣло, онъ всегда оказываетъ всемогущую помощь. «Береженаго и Богъ бережетъ», говоритъ старинная пословица... я вижу ясно Божію помощь»[6]). При этомъ Гоголь придавалъ уже значеніе молитвамъ и благодарилъ мать за молитвы, которыя она возсылала о немъ[7]).

Съ указаннымъ міровоззрѣніемъ Гоголя согласовалось и преобладающее значеніе, какое онъ удѣлялъ въ эти годы смѣху:

---

1) П., I, 310.
2) П., I, 340.
3) П., I, 341.
4) П., I, 352.
5) П., I, 327.
6) П., I, 311; ср. тамъ же, 367: «я потвердилъ старую свою истину, которой я всегда слѣдовалъ, что человѣкъ долженъ возлагать надежду только на Бога и на себя» (текстъ этихъ словъ исправленъ нами по оригиналу).
7) П., I, 293.

«Да чтобы смѣху, смѣху, особенно при концѣ! Да и вездѣ недурно нашпиговать имъ листки. И, главное, никакъ не колоть въ бровь, а прямо въ глазъ»[1]). «Смѣяться, смѣяться давай теперь побольше. Да здравствуетъ комедія!»[2]). Гоголь называлъ себя теперь «писателемъ современнымъ, писателемъ комическимъ, писателемъ нравовъ»[3]).

Съ этимъ временемъ нѣкотораго новаго успокоенія (лѣтомъ 1834 г.) совпадаетъ заключеніе романтическаго періода и работы надъ «Миргородомъ», разрѣшеннымъ къ печати 29 декабря 1834 г., и надъ «Ревизоромъ»[4]). Въ 1835 г. Гоголь началъ писать «Мертвыя Души» и въ октябрѣ дошелъ до III-й главы, но идея ихъ еще не вызрѣла тогда[5]). Сверхъ того, онъ хотѣлъ еще заняться какой-нибудь комедіей — «куда смѣшнѣе чорта!»[6]).

Вообще въ разсматриваемые годы Гоголь значительно расширилъ свой кругозоръ, и въ этомъ отношеніи была весьма плодотворна для него и профессорская дѣятельность, несмотря на то, что она не удалась поэту. Относительно ея г. Шепрокъ замѣтилъ: «Лекціи Гоголя, какъ извѣстно, были, кромѣ двухъ, весьма неблистательны, да и взгляды на обязанности профессоровъ, высказываемые имъ въ письмахъ къ Максимовичу, къ Погодину и пр., уже сами по себѣ достаточно объясняютъ причину его неуспѣховъ на каѳедрѣ»[7]). Конечно, Гоголь очутился въ довольно смѣшномъ положеніи, занявъ университетскую каѳедру и собираясь à la Хлестаковъ «хватить среднюю исторію томиковъ въ 8 или 9, если Богъ поможетъ»[8]). Онъ самъ потомъ призналъ, что «эти полтора года — годы» его «безславія, потому что общее мнѣніе

1) П., I, 324.
2) П., I, 357.
3) П., I, 370.
4) Гоголь писалъ изъ Петербурга 14 августа 1834 г.: «На театръ здѣшній я ставлю пьесу (разумѣется «Женитьба»)..., да еще готовлю изъ подъ полы другую» (П., I, 319).
5) П., I, 353—7 октября.
6) П., I, 354.
7) П., I, 327, пр. 1.
8) П., I, 332, 331.

говоритъ, что я не за свое дѣло взялся». Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ его письмѣ читаемъ, что онъ «неузнанный взошелъ на каѳедру и неузнанный» сошелъ «съ нея»; однако въ тѣ «полтора года много вынесъ оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души... высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали» его [1]). Этому мы можемъ повѣрить вполнѣ и полагаемъ, что Гоголя какъ профессора не понимали надлежащимъ образомъ. Онъ былъ не неправъ, думая, что и при учености можно быть въ сущности невѣждой [2]). Во всякомъ случаѣ въ годы профессорства Гоголь пріобрѣлъ болѣе широкій кругозоръ. Между прочимъ у него замѣчается въ то время интересъ къ «славянщинѣ, исторіи и литературѣ» [3]) и уменьшеніе чрезмѣрности украинофильства [4]).

Творчество Гоголя все еще не дошло до полной зрѣлости, и лишь достигли полной выработки его теоретическія воззрѣнія въ духѣ романтизма: мы слышимъ возвышенную квалификацію «высокихъ мыслей», посѣщавшихъ поэта: онѣ названы «небесными гостьями, наводившими божественныя минуты». Поэтъ «опустилъ ихъ на дно души до новаго пробужденія: когда вы исторгнетесь, писалъ онъ, съ большею силою, и не посмѣетъ устоять безстыдная дерзость ученаго невѣжи, ученая и неученая чернь» [5]). Очевидно, самосознаніе поэта возросло.

б. Годы зрѣлости мысли и творчества Гоголя (1836—1847).

«Пора уже мнѣ творить съ большимъ размышленіемъ», писалъ Гоголь Погодину 10 мая 1836 г., незадолго до второго своего выѣзда за границу [6]). Эта мысль можетъ быть признана девизомъ поры зрѣлаго творчества Гоголя, наступившей послѣ «неудовольствія» со стороны «всѣхъ сословій». Эти неудовольствія

---

1) II., I, 357.
2) II., I, 357.
3) II., I, 365; ср. тамъ же 295 и 362.
4) Гоголь говорилъ еще о землячествѣ: II., I, 369.
5) II., I, 357.
6) Ср. II., I, 384 (16 іюня 1836 г.): «пора, пора, наконецъ, заняться дѣломъ».

со стороны «соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь», были испытаны Гоголемъ при постановкѣ «Ревизора»; послѣдній «надѣлалъ чрезвычайно много шума, пріобрѣлъ» автору «новыхъ благопріятелей и еще бо́льшее число неблагопріятелей»[1]). «Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ», «уединюсь и займусь», читаемъ въ томъ же письмѣ[2]).

Всѣ эти рѣшенія, ознаменовавшія начало новаго періода въ жизни и творчествѣ Гоголя, были приняты имъ послѣ испытаннаго вновь глубокаго потрясенія «вслѣдствіе разныхъ волненій, досадъ и прочаго». Въ «тревожномъ состояніи», имъ пережитомъ, мысли поэта, впавшаго въ тоску[3]), «такъ разсѣялись», что онъ, по его словамъ, былъ «не въ силахъ собрать ихъ въ стройность и порядокъ». Онъ чувствовалъ необходимость «поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься, и потомъ, избравши нѣсколько постояннѣе пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе»[4]), тѣмъ болѣе, что онъ былъ «многимъ недоволенъ» и въ «Ревизорѣ»[5]).

Согласно съ указаннымъ поворотомъ въ мысли Гоголя, съ той поры въ его творчествѣ начинаетъ преобладать не чувство[6]) и фантазія, а рефлексія, умѣряющая тѣ объ душевныя силы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ напряженные труды и потрясенія, испытанныя въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ юности, не прошли даромъ, и не удивительно, что хилый уже отъ рожденія Гоголь начинаетъ все чаще и чаще жаловаться на болѣзни.

Но, руководясь оптимизмомъ, выработаннымъ, какъ мы видѣли, ранѣе, поэтъ-христіанинъ мужественно переноситъ впредь

---

1) II., I, 380.

2) II., I, 371—372.

3) II., I, 370: «размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники»; 375: «не хочу показаться вамъ скучнымъ»; 378: «ѣду разгулять свою тоску». Ср. о «тоскѣ» выше стр. 590 и ниже стр. 619.

4) II., I, 371—372.

5) II., I, 375.

6) II., I, 343: «Литература вовсе не есть слѣдствіе ума, а слѣдствіе чувства».

всѣ невзгоды [1]), и слова его въ письмѣ, написанномъ незадолго до выѣзда за границу: «Все, что ни дѣлалось со мною, все было спасительно для меня. Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ Высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе, и нынѣ я чувствую, что неземная воля направляетъ путь мой. Онъ, вѣрно, необходимъ для меня» [2]), являются какъ бы основной темой всѣхъ болѣе пространныхъ разсужденій, которыя наполнятъ не разъ письма Гоголя во всѣ послѣдующіе годы его жизни, начиная съ перваго же письма, высланнаго послѣ переѣзда границы. Въ этомъ письмѣ (16 іюня 1836 г.) также читаемъ: «О, какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны для меня были всѣ непріятности и огорченія!... нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества... послано свыше, тѣмъ же Великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое» [3]).

Со времени переѣзда за границу Гоголь сразу начинаетъ говорить объ особомъ своемъ призваніи и о высокомъ значеніи своей внутренней жизни: «Мнѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. Львиную силу чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ... Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни». «Все написанное до сихъ поръ» показалось Гоголю «давнею тетрадью ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣнь, на другой нетерпѣніе и поспѣшность, робкая, дрожащая рука начинающаго и смѣлая замашка шалуна, вмѣсто буквъ выводящая крючки, за которую бьютъ по рукамъ. Изрѣдка, можетъ быть, выберется страница, за которую похвалитъ только

1) П., I, 384: «Знаю, что мнѣ много встрѣтится непріятнаго, что я буду терпѣть и недостатокъ, и бѣдность, но ни за что на свѣтѣ не возвращусь скоро».

2) П., I, 378.

3) П., I, 384.

учитель провидящій въ нихъ зародышъ будущаго. Пора, пора наконецъ заняться дѣломъ». Понятно, что переживавшій такія мысли и чувства Гоголь смотрѣлъ на этотъ моментъ своей жизни, какъ на «великій переломъ, великую эпоху жизни» своей [1]).

Соотвѣтственно этому перелому измѣнился и планъ «Мертвыхъ Душъ», «которыхъ» Гоголь «было началъ въ Петербургѣ» и которыя составили главный предметъ занятій поэта во все послѣдующее время его жизни: онъ «все начатое передѣлалъ вновь, обдумалъ болѣе весь планъ и теперь велъ его спокойно какъ лѣтопись». Гоголю теперь въ «Мертвыхъ Душахъ» рисовался «огромный, оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! *Вся Русь* явится въ немъ» [2]), между тѣмъ какъ прежде авторъ предполагалъ «въ этомъ романѣ показать *хотя съ одного боку* всю Русь» [3]). Создавшій рядъ уже весьма цѣнныхъ произведеній думалъ теперь о «Мертвыхъ Душахъ», что «это будетъ» его «первая порядочная вещь, — вещь, которая вынесетъ имя» его [4]).

И на чужбинѣ Гоголь былъ полонъ живыми воспоминаніями и впечатлѣніями далекой родины, необходимыми для успѣшнаго выполненія той грандіозной картины, мысль о которой лелѣялъ. «Теперь передо мною чужбина, вокругъ меня чужбина; но въ сердцѣ моемъ Русь, — одна только прекрасная Русь», писалъ Гоголь Погодину 10 сентября 1836 г. [5]). 17 дней спустя въ письмѣ къ Прокоповичу поэтъ уже готовъ былъ восхищаться

---

1) П., I, 383—384; ср. 425: «я на «Ревизора» — плевать. Мнѣ страшно вспомнить обо всѣхъ моихъ мараньяхъ. Они въ родѣ грозныхъ обвинителей являются глазамъ моимъ» и т. д.

2) П., I, 414.

3) П., I, 354: 7 октября 1835 г. Г. Шенрокъ справедливо замѣтилъ (П., I, 414, пр. 3): «Здѣсь, очевидно, планъ Гоголя уже значительно расширился». Ср. П., I, 415: «Огромно велико мое твореніе, и не скоро конецъ его» и 416: «Хотѣлось бы мнѣ страшно вычерпать этотъ сюжетъ со всѣхъ сторонъ. У меня много есть такихъ вещей, которыя бы мнѣ никакъ прежде не представились».

4) П., I, 414.

5) П., I, 396. Ср. I, 412: «Я даже сдѣлался болѣе русскимъ, чѣмъ французомъ, въ Веве, и это все произошло оттого, что я началъ здѣсь писать и продолжать моихъ «Мертвыхъ Душъ», которыхъ было оставилъ...».

неприглядною родиною предпочтительно передъ красотами западной природы: «Что тебѣ сказать о Швейцаріи? Все виды да виды, такіе, что мнѣ уже отъ нихъ наконецъ становится тошно, и если бы мнѣ попалось теперь наше подлое и плоское русское мѣстоположеніе, съ бревенчатою избою и сѣренькимъ небомъ, то я бы въ состояніи имъ восхищаться»[1]). По прошествіи двухъ мѣсяцевъ опять находимъ отчетливое упоминаніе о томъ, что душою поэтъ виталъ въ родномъ краю: «мнѣ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи: передо мною все наше, наши помѣщики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, — словомъ вся православная Русь. Мнѣ даже смѣшно, какъ подумаю, что я пишу «Мертвыхъ Душъ» въ Парижѣ»[2]). Напрасно потому г. Шенрокъ увѣряетъ, что «во время путешествія Гоголь отдается захватывающей его новизнѣ впечатлѣній, и открывшійся передъ нимъ незнакомый міръ отвлекаетъ его на время отъ грустныхъ воспоминаній и аскетическихъ думъ»[3]).

Такія думы можно открыть, напримѣръ, въ христіанскомъ стоицизмѣ, который Гоголь старался внушить своей матери по поводу понесенной ею утраты въ лицѣ умершаго Трушковскаго. Этотъ стоицизмъ былъ лишь дальнѣйшимъ развитіемъ спокойнаго отношенія къ житейскимъ невзгодамъ, къ которому Гоголь силился прійти въ предыдущемъ періодѣ своей жизни и которое, какъ мы видѣли, онъ пытался уже тогда привить другимъ. Уже въ письмѣ изъ Лозанны отъ 21 сентября 1836 г.[4]) читаемъ поученія, которыя будутъ разрастаться болѣе и болѣе въ послѣдующихъ письмахъ Гоголя до 1848 г., и встрѣчаемъ довольно рѣзкія выраженія: «Ваши догадки (не разсердитесь, маминька) всегда были не впопадъ» и т. п.[5]).

---

1) П., I, 401.
2) П., I, 415.
3) П., I, 360.
4) П., I, 397.
5) Замѣтимъ кстати, что въ подлинникѣ передъ словами: «наблюдаютъ діэту» стоитъ выраженіе: «при этомъ», пропущенное у г. Шенрока. Ср. П., I, 419.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Гоголь какъ бы сразу провидѣлъ, что впереди ему оставалось немного радостей и будущее сулило мало новаго: «Увы, писалъ онъ Прокоповичу 27 сентября 1836 г., мы приближаемся къ тѣмъ лѣтамъ, когда наши мысли и чувства поворачиваютъ къ старому, къ прежнему, а не къ будущему. Какъ быть! но прекрасно старое»[1]). И одновременно съ этимъ прорывалось мистическое сознаніе своего высокаго и вмѣстѣ тяжелаго предназначенія: «Еще одинъ Левіаѳанъ затѣвается. Священная дрожь пробираетъ меня заранѣе, какъ подумаю о немъ; слышу кое-что изъ него? божественныя вкушу минуты... Еще возстануть противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ. Но что жъ мнѣ дѣлать! Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. *Терпѣніе!* Кто-то незримый пишетъ передо мною могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть, съ глазами влажными отъ слезъ произнесутъ примиреніе моей тѣни»[2]). Гоголь ожидалъ бурь въ будущемъ и готовился *терпѣливо* встрѣтить ихъ.

Но поэта уже начинали одолѣвать физическіе недуги[3]), и онъ начиналъ обнаруживать значительную податливость ко внѣшнимъ физическимъ воздѣйствіямъ, и не безъ связи со всѣмъ этимъ появлялись по временамъ приступы тоски. «Наконецъ и въ Вене сдѣлалось холодно», писалъ Гоголь въ ноябрѣ 1836 г. В. А. Жуковскому. «Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не могъ найти. Мнѣ тогда представился Петербургъ, наши теплые домы; мнѣ тогда живѣе представились вы, вы въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ встрѣчали меня приходившаго къ вамъ и брали меня за руку, и были рады моему приходу... И мнѣ сдѣлалось страшно скучно. Меня не веселили мои «Мертвыя Души», я даже не имѣлъ въ запасѣ столько веселости, чтобы продолжать ихъ. Докторъ мой отыскалъ во мнѣ признаки ипохондріи, происходив-

1) II., I, 400; ср. 421.
2) II., I, 415—416; ср. 425.
3) См., напр., жалобы на желудокъ: II., I, 401, 412.

шей отъ геморроидъ, и совѣтовалъ мнѣ развлекать себя; увидѣвши же, что я не въ состояніи былъ этого сдѣлать, совѣтовалъ перемѣнить мѣсто»[1]). И т. д.

Было бы слишкомъ долго и, быть можетъ, утомительно для читателей настоящаго разбора подбирать разраставшійся все болѣе и болѣе въ письмахъ Гоголя матеріалъ для характеристики процессовъ его душевной жизни, намѣченныхъ вскользь въ предыдущемъ изложеніи, и мы не станемъ вдаваться въ анализъ послѣдующихъ писемъ, относящихся къ выдѣленному сейчасъ періоду дѣятельности Гоголя, а также къ послѣднимъ годамъ его жизни (1848—1852): это будетъ умѣстнѣе въ спеціальномъ трудѣ, посвященномъ нами памяти Гоголя.

Полагаю, что и представленныхъ доселѣ выборокъ данныхъ и разборовъ присоединенныхъ г. Шенрокомъ объясненій этихъ данныхъ достаточно, чтобы видѣть, съ одной стороны, какой богатый и цѣнный матеріалъ содержится въ разсматриваемомъ изданіи, а съ другой—насколько, на ряду съ вѣрными и удачными наблюденіями надъ этимъ матеріаломъ, у г. Шенрока встрѣчаются замѣчанія, не совсѣмъ правильныя и не совсѣмъ удовлетворительныя какъ въ частностяхъ, такъ и въ общемъ взглядѣ на личность Гоголя. Безъ сомнѣнія, послѣднему было присуще множество недостатковъ, но не все въ его характерѣ было такъ дурно и болѣзненно, какъ кажется многимъ, и иные изъ бросающихся въ глаза недостатковъ и странностей оказываются, при ближайшемъ разсмотрѣніи, необходимою принадлежностью высшаго духовнаго склада, какимъ былъ надѣленъ творецъ цѣлаго ряда дивныхъ художественныхъ созданій.

V.

Общее заключеніе объ изданіи г. Шенрока.

Идея труда г. Шенрока, задавшагося новымъ распредѣленіемъ, перепечаткою и объясненіемъ всѣхъ доселѣ изданныхъ

1) II., I, 414; ср. 420.

писемъ Гоголя съ присоединеніемъ «нѣкоторыхъ, нигдѣ до сихъ поръ не напечатанныхъ», заслуживаетъ полной признательности со стороны всѣхъ дорожащихъ успѣхами изученія великихъ русскихъ писателей XIX-го вѣка, въ ряду которыхъ Гоголь занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ.

Но изданіе за-ново переписки Гоголя было сопряжено съ весьма многими затрудненіями по причинѣ разбросанности, указываемой самимъ г. Шенрокомъ «крайней трудности добыванія подлинныхъ писемъ, а также сложности работы по изданію писемъ, являющемуся во многомъ дѣломъ, отличнымъ отъ редактированія чисто-литературныхъ произведеній писателя. Вслѣдствіе всего этого покойный издатель сочиненій Гоголя Н. С. Тихонравовъ не взялъ на себя столь нелегкаго дѣла по воспроизведенію писемъ этого поэта. Г. же Шенрокъ не убоялся трудностей. Къ сожалѣнію, выполненіе принятой имъ на себя важной задачи въ отношеніи къ письмамъ Гоголя далеко отъ безукоризненности и ни въ какомъ случаѣ не можетъ назваться образцовымъ.

Г. Шенрокъ затратилъ, безъ сомнѣнія, много упорнаго труда на собираніе оригиналовъ писемъ, на провѣрку печатнаго текста ихъ и на хронологическое пріуроченіе тѣхъ изъ нихъ, которыя лишены даты, но не достигъ ни полноты въ своемъ изданіи, ни надлежащей точности, ни правильности въ объясненіяхъ. Повидимому, г. Шенрокъ посвятилъ этой работѣ не все то количество времени, какое было необходимо для успѣшнаго завершенія ея, и спѣшилъ. Оттуда отчасти небрежность въ провѣркѣ напечатанныхъ ранѣе текстовъ по оригиналамъ писемъ; оттуда утвержденія, либо слабо обоснованныя, либо прямо невѣрныя, въ общихъ обзорахъ группъ, на которыя распредѣлены издателемъ письма Гоголя; оттуда, наконецъ, невѣрныя и сомнительныя пріуроченія нѣкоторыхъ изъ писемъ, не содержащихъ годовой даты. Прискорбнѣе всего, что издатель отнесся къ матеріалу, бывшему въ его распоряженіи, не какъ ученый, тщательно и точно воспроизводящій обнародываемые имъ документы, а какъ преподаватель словесности, усердно выправляющій ученическіе промахи въ

стилѣ и правописаніи. Оттого иногда текстъ писемъ Гоголя, напечатанный г. Шенрокомъ, не можетъ быть признанъ воспроизведеннымъ съ соблюденіемъ правилъ научнаго обращенія съ источниками. Это тѣмъ досаднѣе, что, конечно, изданные г. Шенрокомъ тексты писемъ сослужатъ долгую службу и будутъ настольною книгою при изученіи жизни, воззрѣній и творчества Гоголя, потому что въ письмахъ послѣдняго содержится наилучшее объясненіе многихъ особенностей въ ходѣ развитія этого великаго юмориста — обличителя пошлости человѣческой жизни и страстнаго провозвѣстника нравственнаго обновленія личности.

Въ виду всего этого слѣдуетъ признать изданіе г. Шенрока не вполнѣ соотвѣтствующимъ требованіямъ строгой научности, но, тѣмъ не менѣе, заслуживающимъ поощренія.

В. И. Красовъ, полузабытый лирикъ и словесникъ 30-хъ и 40-хъ годовъ [1]).

Въ ряду дѣятелей прошлаго, воспоминаніе о которыхъ было оживлено въ 1884 году празднованіемъ полувѣковаго юбилея университета св. Владиміра, оказалось нѣсколько такихъ, которые, занимая преподавательскія каѳедры, видную долю своего труда и вдохновенія удѣляли также поэзіи и оставили по себѣ слѣдъ не только въ нашей наукѣ, но и въ литературѣ художественной.

Въ предлагаемомъ вниманію читателей очеркѣ мы попытаемся возсоздать жизнь, характеръ и послѣдовательное развитіе творчества одного изъ такихъ поэтовъ, занимавшихъ профессорскія каѳедры въ университетѣ св. Владиміра и пользовавшихся въ свое время также литературною извѣстностью, — Василія Ивановича Красова [2]).

Намъ думается, и личность, и произведенія этого полузабытаго теперь поэта заслуживаютъ вниманія не однихъ специали-

---

1) Извлечено изъ чернового наброска автора.

2) Одиннадцать лѣтъ назадъ, къ празднованію юбилея университета св. Владиміра, мы представили общую характеристику литературной дѣятельности Красова, принадлежавшаго къ преподавателямъ первой поры этого университета. См. «Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей Императорскаго университета св. Владиміра (1834—1884). Составленъ и изданъ подъ редакціей ордин. проф. *В. О. Иконникова*», К. 1884, гдѣ намъ принадлежатъ стр. 332—346, стр. же 325—332, заключающія біографическій очеркъ, принадлежатъ В. С. Иконникову. Въ настоящей статьѣ мы изображаемъ художника Красова въ связи съ его поэтическою дѣятельностью, между прочимъ, — на основаніи нѣкоторыхъ новыхъ матеріаловъ, явившихся въ литературѣ послѣднихъ лѣтъ.

стовъ и любителей книжной старины, но и болѣе широкаго круга читателей, интересующихся близкимъ прошлымъ нашего интеллектуальнаго и художественнаго развитія.

Поэтъ, который займетъ наше вниманіе, не былъ баловнемъ судьбы при жизни и довольно скоро затерялся въ неизвѣстности; и та же участь постигла его произведенія, не смотря на то, что они были собраны и изданы отдѣльною книжкою вскорѣ послѣ его смерти[1]); теперь они совсѣмъ забыты.

Тѣмъ не менѣе нельзя отказать въ интересѣ какъ личности поэта, такъ и его произведеніямъ.

Личность поэта, котораго любили и цѣнили такіе люди, какъ Станкевичъ и Бѣлинскій, котораго помянулъ теплымъ словомъ извѣстный поэтъ Боденштедтъ, не можетъ не внушать намъ интереса, хотя бы уже потому, что знакомство съ нею пополняетъ характеристику того замѣчательнаго въ исторіи нашего умственнаго и литературнаго развитія кружка, къ которому принадлежалъ Красовъ. Послѣдній характеризуетъ собою, далѣе, умственные и эстетическіе интересы передовой молодежи того времени, въ которое впервые пробудились поэтическій талантъ Лермонтова и мысль лучшихъ людей 40-хъ и послѣдующихъ годовъ, вѣянія въ томъ городѣ и университетѣ, въ которыхъ сложился умственный и моральный объемъ этихъ людей неопредѣленнаго и грустнаго идеализма.

Въ этомъ же отношеніи заслуживаютъ вниманія и произведенія Красова, не лишенныя, сверхъ того, и поэтическихъ достоинствъ.

Они находятъ объясненіе не только въ литературномъ теченіи, къ которому примкнулъ Красовъ, но также въ его жизни и

---

1) Стихотворенія В. И. Красова. Изданіе П. Шейна, М. 1859. XVIII и 194 стран. Къ сожалѣнію, хронологическій распорядокъ стихотвореній Красова въ изданіи Шейна не совсѣмъ вѣренъ. Такъ, стихотвореніе «Клара Моврай» отнесено неосновательно къ 1840 г., какъ то видно изъ упоминанія о немъ уже въ Московскомъ Наблюдателѣ 1839 г.—Нѣкоторыя стихотворенія Красова перепечатаны въ сборникѣ *Гербеля* «Русская Поэзія».

характерѣ. Поэзія Красова, была обусловлена въ значительной степени его личностью и судьбою, въ особенности же — вліяніями, которымъ онъ подпадалъ. Къ изображенію всѣхъ этихъ факторовъ мы прежде всего и обратимся.

По справедливому замѣчанію Анненкова, «жизнь этого человѣка могла бы составить содержаніе весьма поучительнаго разсказа»; но, къ сожалѣнію, данныхъ для біографіи Красова извѣстно все еще не такъ много, и намъ приходится ограничиться лишь общимъ очеркомъ жизни Красова, въ надеждѣ, что нашъ недостаточный очеркъ вызоветъ обнародованіе еще новыхъ данныхъ.

Красовъ былъ сынъ протоіерея г. Кадникова, Вологодской губ., и родился въ 1810 г. Во время прохожденія семинарскаго курса онъ хорошо изучилъ языки греческій и латинскій и тогда же началъ писать стихи.

Поэтъ вспоминалъ потомъ съ любовью объ этихъ дѣтскихъ и юношескихъ годахъ своей жизни и какъ-бы грустилъ о томъ, что навѣки прошелъ тотъ волшебный сонъ («Бабушка», «Воспоминаніе»).

Въ 1831 г., слѣдовательно, годомъ позже Лермонтова[1]), Красовъ поступилъ въ Московскій университетъ, въ которомъ начался тогда періодъ процвѣтанія. Тамъ онъ слушалъ лекціи, между прочимъ, Н. И. Надеждина (съ 1832 г.), вліявшаго и своими лекціями, и литературною критикою, М. Т. Каченовскаго, М. П. Погодина, который пользовался тогда извѣстностью какъ ученый и литераторъ[2]), С. П. Шевырева, но рядомъ съ которыми было немало профессоровъ отсталыхъ, бездарныхъ и небрежно относившихся къ своему дѣлу. Мерзлякова, писавшаго романсы и пѣсни, которыми увлекались и студенты, уже не было

---

1) Лермонтовъ сталъ студентомъ съ 1 сентября 1830 г.

2) *Ѳ. И. Буслаевъ.* Мои воспоминанія. Вѣстн. Евр. 1890, № 10, стр. 747.

въ живыхъ; но подъ вліяніемъ его, быть можетъ, продолжали увлекаться родными пѣснями[1]).

На томъ же курсѣ, гдѣ Красовъ, оказались такіе знаменитые дѣятели русской мысли и просвѣщенія, какъ Станкевичъ, Константинъ Аксаковъ, Сергѣй Строевъ, Александръ Ефремовъ, а между слушателями—И. А. Гончаровъ; на слѣдующемъ—Бодянскій; тогда же были въ числѣ студентовъ Бѣлинскій и Герценъ; словомъ — рѣдкое стеченіе талантовъ. Увольнившійся изъ Московскаго университета въ іюлѣ 1832 г.[2]) Лермонтовъ, въ силу склада своего характера и направленія, стоялъ особнякомъ[3]). Этотъ рельефно-выдававшійся изъ ряда другихъ и сторонившійся юноша заинтересовалъ Красова, какъ и другихъ; но попытка сблизиться съ Лермонтовымъ оказалась тщетной.

Въ годы, когда состоялъ студентомъ Красовъ, лучшее юношество словеснаго факультета Московскаго университета безъ различія курсовъ было исполнено восторженности и мечтательности, какъ-бы въ соотвѣтствіе лекціямъ, въ которыхъ бывало немало паѳоса и моральныхъ сентенцій и которыя внушали живой интересъ. О томъ сохранились воспоминанія. К. С. Аксаковъ говоритъ: «Нельзя безъ удовольствія и уваженія вспомнить, какою любовью къ просвѣщенію было одушевлено тогда юношество. Прекрасное, золотое время! Время благородныхъ увлеченій!». Лермонтовъ такъ вспоминалъ о Московскомъ университетѣ:

Святое мѣсто!... Помню я, какъ сонъ,
Твои каѳедры, залы, коридоры,
Твоихъ сыновъ заносчивые споры
О Богѣ, о вселенной....[4]).

---

1) О преподаваніи словесности въ то время въ Московскомъ университетѣ, см. статью *Н. С. Тихонравова:* «И. С. Тургеневъ въ Московскомъ университетѣ 1833—34 гг.» — Вѣстн. Евр. 1894, № 2.

2) *Висковатовъ.* Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ, М. 1891 (Сочин., т. VI), стр. 113 и слѣд.

3) См. соображенія о томъ въ ст. *А. Н. Пыпина:* «Лермонтовъ и Кольцовъ» Вѣстн. Евр. 1896, № 1.

4) См. далѣе: ....Пришли, шумятъ... Профессоръ длинный, и т. д. («Сашка»).

Гончаровъ отзывается о своихъ «университетскихъ годахъ»: «Благороднѣе, чище, выше этихъ воспоминаній у меня, да пожалуй и у всякаго студента, въ молодости не было». «Нашъ университетъ, въ Москвѣ, былъ святилищемъ не для однихъ насъ, учащихся, но и для ихъ семействъ и для всего общества». «Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, надъ которою простиралось вѣчно-ясное небо, безъ тучъ, безъ грозъ и безъ внутреннихъ потрясеній, безъ всякихъ исторій, кромѣ всеобщей и россійской, преподаваемыхъ съ каѳедръ. Если же и бывали какія-нибудь исторіи, въ которыхъ замѣшаны бывшіе до насъ студенты, то мы тогда ничего объ этомъ не знали. Мы вступили на серьезный путь науки и не только серьезно, искренно, но даже съ педантизмомъ относились къ ней»[1]). Университетская молодежь живо интересовалась вопросами, волновавшими тогда литературу. По словамъ Прозорова[2]), «и между студентами были свои классики и свои романтики, сильно ратовавшіе между собою на словахъ». Первогодичные студенты увлекались Грибоѣдовымъ. «Пушкинъ приводилъ насъ въ неописанный восторгъ. Между младшими студентами самымъ ревностнымъ поборникомъ романтизма былъ Бѣлинскій»... Въ 11-мъ № «случайныя сходки и споры студентовъ приняли серьезный и какъ-бы оффиціальный характеръ. Изъ студентовъ составилось литературное общество подъ названіемъ литературныхъ вечеровъ, на которыхъ читались собственныя сочиненія, переводы и высказывались сужденія о журнальныхъ статьяхъ и о лекціяхъ преподавателей. Главными учредителями этихъ вечеровъ были Н. Б. Чистяковъ и В. Г. Бѣлинскій, сочинившій собственную драму въ романтическомъ духѣ». По разсѣяніи членовъ литературнаго общества въ 11 №, образовался литературный кружокъ у своекоштнаго студента Станкевича, который

1) «Изъ университетскихъ воспоминаній», Вѣстн. Евр. 1887, № 4, стр. 490, 491, 498.

2) Библ. для Чт., т. CLVIII (1859), ст. «Бѣлинскій и Московскій университетъ въ его время. Изъ студенческихъ воспоминаній».

жилъ тогда у профессора Павлова [1]). — Словомъ, Красовъ очутился въ весьма симпатичной средѣ, жившей молодыми порывами ко всему возвышенному и прекрасному, полной идеализма и романтическихъ грезъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

Во время пребыванія въ Московскомъ университетѣ Красовъ вращался преимущественно въ знаменитомъ кружкѣ московской университетской молодежи, группировавшемся въ началѣ 30-хъ годовъ около Н. В. Станкевича, одного изъ замѣчательнѣйшихъ представителей тѣхъ стремленій, которыхъ были исполнены лучшіе люди 40-хъ годовъ. Къ этому кружку примыкали К. Аксаковъ, Кирѣевскіе, Владиміръ Пассекъ и др. Подъ вліяніемъ этого кружка явилась и въ Красовѣ любовь къ поэзіи. Важно было, что въ этомъ кружкѣ, по воспоминаніямъ К. Аксакова, негодовали на «усилившуюся фабрикацію стиховъ, неискренность печатнаго лиризма», желали «простоты и искренности», нападали на всякую фразу и эффектъ. «Кружокъ Станкевича отличался самостоятельностью мнѣнія, свободнаго отъ всякаго авторитета... Кружокъ этотъ, будучи свободомысленъ, не любилъ ни фрондёрства, ни либеральничанья, боясь, вѣроятно, той же неискренности, той же претензіи, которыя были ему ненавистнѣе всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало; этотъ кружокъ желалъ правды, серьезнаго дѣла, искренности и истины». Самъ Станкевичъ, средоточіе и глава кружка, былъ человѣкъ «необыкновеннаго и глубокаго ума. Главный интересъ его была чистая мысль».

Со Станкевичемъ, вступившимъ въ университетъ годомъ раньше (одновременно съ Лермонтовымъ), но затѣмъ очутившимся на одномъ курсѣ съ Красовымъ [2]), послѣдній сошелся, повидимому, довольно скоро. И у него была пылкая, нѣжная душа, какъ у

---

1) У Станкевича бывали Ключниковъ, санскритологъ Петровъ, К. Аксаковъ, Красовъ, а потомъ началъ бывать и Бѣлинскій.

2) Второй курсъ, на которомъ былъ Станкевичъ, когда Красовъ былъ на первомъ, не былъ переведенъ на третій по случаю холеры: Вѣстн. Евр. 1887, № 4, стр. 498, «Изъ университ. воспоминаній» *И. А. Гончарова*.

Станкевича, пылкое чувство, хотя нѣсколько узкое. Станкевичу посвящено самое раннее изъ напечатанныхъ стихотвореній Красова, написанное въ 1832 г. Это посвященіе находилось, быть можетъ, въ связи съ занятіями Станкевича русскою исторіею или же съ посѣщеніемъ Куликова поля обоими юношами [1]). Быть можетъ, подъ вліяніемъ своего друга Красовъ занялся германской поэзіею, изученіе которой такъ возбудительно подѣйствовало на мысль и чувство Станкевича. Красовъ выработалъ свой стиль («хорошо знаетъ по-русски», писалъ о немъ впослѣдствіи Погодинъ Максимовичу) и рано проявилъ поэтическій талантъ, а также рано извѣдалъ юношескія увлеченія [2]).

Изъ русскихъ лириковъ въ то время славились: пѣвецъ добродѣтели и возвышенныхъ чувствъ дружбы, любви, патріотизма и чистосердечной вѣры, чуждый живой связи съ жизнью Жуковскій, представитель сентиментальнаго оптимизма и мечтательной романтики, послѣдователь нравственныхъ принциповъ моралистовъ прошлаго вѣка и Александровскаго времени, нашедшій примиреніе съ жизнью и ея диссонансами въ спокойствіи, которое приносила ему вѣра, нашедшій удовлетвореніе въ современности во имя оптимизма славянофильскихъ представленій православія и самодержавія; Пушкинъ, искавшій удовлетворенія въ эстетическомъ созерцаніи, своею поэзіею павѣвавшій спокойствіе; зачѣмъ — члены Пушкинскаго кружка Дельвигъ, въ поэзіи котораго, по выраженію Кюхельбеккера [3]), было много «свѣжести, истиннаго чувства, поэтической чистоты, разнообразія», Баратынскій и Языковъ. Два послѣдніе были эпигонами Пушкинской школы. Въ ихъ поэзіи проявлялся довольно рѣзко душевный разладъ. «Задумчивая» поэзія меланхолическаго элегика Баратынскаго, не чувствовавшая влеченія къ современной жизни, любившая созерцательную жизнь, была скорбна и уныла. Она

---

1) Станкевичъ былъ родомъ изъ деревни Удеревки, Воронежской губ.

2) Объ увлеченіяхъ Красова см. въ біографіи Станкевича, *Анненкова*, стр. 48; подобныя увлеченія были свойственны и другимъ членамъ того кружка.

3) См. дневникъ его въ Русск. Стар. 1891, № 10, стр. 89.

была посвящена служенію истинѣ и красотѣ въ отрѣшеніи отъ дѣйствительности, воспѣванію уединенія и деревенскаго мирнаго труда. Языковъ, первоначально пѣвецъ веселаго наслажденія жизнію, сталъ подъ конецъ проповѣдникомъ покаянія и провозглашалъ славянофильское возвеличеніе родины. Къ старой Пушкинской школѣ по своему гармоническому стиху и живописности, цвѣтистости рѣчи принадлежалъ Подолинскій, говорившій о несчастіяхъ, разочарованности, но однообразно, вяло и безъ силы. Новые — Тимофѣевъ и Бернетъ — не снискали широкаго признанія.

На развитіе таланта Красова вліяли изъ отечественныхъ поэтовъ Карамзинъ, Жуковскій и Козловъ, которые, какъ выражались въ 30-хъ годахъ, «свели насъ въ міръ таинственный и новый и познакомили насъ съ романтизмомъ», — затѣмъ Пушкинъ [1]).

Но въ самой Москвѣ въ то время происходило оживленное литературное движеніе.

Наибольшее воздѣйствіе оказывало на Красова общеніе со Станкевичемъ. Послѣдніе два года студенческой жизни Станкевича и нѣкоторое время потомъ Красовъ, наряду съ Бѣлинскимъ, былъ однимъ изъ самыхъ задушевныхъ его пріятелей. Правда, Станкевичъ не вполнѣ удовлетворялся этой дружбой и былъ, повидимому, не особенно высокаго мнѣнія о мысли Красова, значительно возвышаясь надъ нимъ и своими знаніями, и широтою взглядовъ; иногда онъ прямо руководилъ своего друга, какъ то видно изъ писемъ Станкевича; но тѣмъ не менѣе Станкевичъ считалъ Красова талантливымъ человѣкомъ, которому природа дала силы «въ обиліи на все доброе и прекрасное», и любилъ его за это. Друзей соединяла тонкая чувствительность, возвышенность настроенія и общая любовь къ поэзіи. Упоминанія о

---

1) Ср. стихотвореніе Красова «Къ вечерней звѣздѣ» съ стихотвореніемъ Пушкина, элегіей: «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда». О мотивѣ обращенія къ вечерней звѣздѣ см. интересныя замѣчанія *Н. Ѳ. Сумцова*: «Этюды объ А. С. Пушкинѣ», Р. Филол. Вѣстн. 1893, № 2, стр. 375—382.

Красовѣ въ перепискѣ Станкевича начинаются съ 1833 г. Красовъ засиживался иногда у Станкевича до поздней ночи, такъ что ему приходилось весьма часто ночевать у друга; иной разъ Станкевичъ посылалъ за нимъ. Они читали вмѣстѣ родныхъ и иностранныхъ поэтовъ, напр. Козлова и Шиллера, и дѣлились своими чаяніями, надеждами, помыслами. Красовъ былъ однимъ изъ немногихъ, которымъ Станкевичъ повѣрялъ плоды своего вдохновенія и тайны своего сердца, между прочимъ исторію своей первой любви. Незадолго до выпускныхъ экзаменовъ, въ ночь передъ пасхальной заутреней, Станкевичъ и Красовъ не ложились; они читали Шиллера. Въ моментъ оставленія университета съ окончаніемъ курса Станкевичъ писалъ своему петербургскому другу: «Общество, въ которомъ я бесѣдую еще о старыхъ предметахъ, согрѣвающихъ душу, ограничивается Бѣлинскимъ и Красовымъ; эти люди способны вспыхнуть, прослезиться отъ всякой прекрасной мысли, отъ всякаго благороднаго подвига!» По выходѣ изъ университета Станкевичъ продолжалъ переписываться по временамъ съ Красовымъ. Въ августѣ 1835 г. онъ писалъ: «Какъ же я радъ, что мнѣ нетрудно будетъ ждать зимы, чтобы поговорить съ моимъ Красовымъ; что пріѣхавши въ Москву, я ту жь минуту найду тебя, вѣтрогона, и притащу къ себѣ за шиворотъ и задушу вопросами и отвѣтами, разсказами о быломъ и не сбывшемся, о томъ, чего не будетъ и не должно быть. Ты, въ свою очередь, тоже наговоришь мнѣ много». Послѣднее изъ напечатанныхъ писемъ Станкевича къ Красову помѣчено 5 мая 1836 г. Жизнь развела потомъ обоихъ въ разныя стороны; а еще болѣе раздѣлило ихъ обнаружившееся въ позднѣйшее время различіе ихъ міровоззрѣній. Станкевичъ быстро подвигался въ своемъ умственномъ развитіи и оставилъ далеко за собой Красова. Тѣсныя узы дружбы по необходимости ослабѣли, но не были совсѣмъ порваны, и Станкевичъ вспомнилъ о Красовѣ незадолго до своей кончины въ письмѣ къ Грановскому изъ Флоренціи отъ 1 февраля 1840 г. «Ты не могъ передать письма моего нашему бѣдному поэту. Я два года не слыхалъ

объ немъ». Красовъ, съ своей стороны, напечаталъ по смерти своего друга стансы къ нему въ Отечественныхъ Запискахъ 1842 г.

Сопоставляя произведенія Красова съ письмами Станкевича, относящимися къ періоду до отъѣзда послѣдняго заграницу, можно найти немало совпаденій, и нельзя не признать, что настроенье Станкевича во многомъ напоминаетъ существенные мотивы поэзіи Красова: видно, что въ то время было много общаго въ характерѣ обоихъ, и поэтическое міросозерцаніе Красова вырабатывалось подъ вліяніемъ сообщества съ Станкевичемъ. И Станкевичъ въ ранніе годы отдавался мечтѣ и высоко цѣнилъ ее. «Храни, писалъ онъ одному изъ своихъ друзей, только то, что у васъ называютъ мечтами, а здѣсь — сокровищемъ души, святынею сердца». Въ другомъ письмѣ читаемъ: «Наше искусство не высоко; но театръ и музыка располагаютъ мечтать о немъ, о его совершенствѣ, о прелести изящнаго, дѣлать планы эфемерные, скоропреходящіе... но тѣмъ не менѣе занимательные.

Nur der Irrthum ist das Leben!

А можетъ быть, то только и есть Wahrheit, что мы называемъ Irrthum. Впрочемъ, если и нѣтъ, то наше мечтательное счастье лучше дѣйствительнаго уже и потому, что мы, вѣроятно, наслажденія въ этомъ такъ называемомъ счастіи не нашли». Въ 1835 г. Станкевичъ уже говоритъ о «старыхъ, давно погибшихъ мечтахъ, всѣхъ надеждахъ, такъ скоро улетѣвшихъ». «Могу заниматься и работать, писалъ онъ, но уже безъ надежды на человѣческое счастье. Безъ надежды? ...она остается и въ самомъ печальномъ отказѣ, Resignation; но какая же надежда?» «Грустно сознать, что тебѣ нечего ждать отъ жизни, что лучшая, любимая мечта твоя, съ которою ты сжился, погибла навсегда». У Станкевича встрѣчаемъ до извѣстной степени ту же невозможность отдаться вполнѣ какому-нибудь позднѣйшему чувству,

какую выразилъ и Красовъ въ своей поэзіи. И Станкевичъ закончилъ одно изъ своихъ стихотвореній словами:

И мнѣ ль любить, какъ я любилъ?
Я ль пламень счастія разрушу?
Мой другъ! двѣ жизни я отжилъ
И затворилъ для міра душу[1]).

Въ моменты тяжкой душевной борьбы Станкевичъ искалъ утѣшенія въ религіозномъ чувствѣ и молитвѣ. Это находилось въ связи, быть можетъ, съ увлеченіемъ философіею Шеллинга, талантливымъ поборникомъ и популяризаторомъ которой въ Московскомъ университетѣ былъ въ то время Н. И. Надеждинъ. Послѣдній выяснялъ «идею безусловной красоты, являющейся подъ схемою гармоніи жизни», говорилъ «объ ея осуществленіи въ Богѣ подъ образомъ вѣчной отчей любви къ творенію и проявленіи въ духѣ человѣческомъ стремленьемъ къ безконечному, божественнымъ восторгомъ, а въ душѣ художника образованіемъ идеаловъ». Станкевичъ увлекался лекціями Надеждина подобно Бѣлинскому и обрабатывалъ записи этихъ лекцій[2]).

Мы отмѣтимъ, далѣе, и другія черты сходства поэзіи Красова съ настроеніемъ Станкевича въ періодъ постояннаго и потомъ временнаго проживанія послѣдняго въ Москвѣ. Но Станкевичъ обладалъ умѣньемъ надлежаще анализовать свое душевное состояніе, разоблачать бредъ своей фантазіи; онъ возвышался надъ сомнѣніями и скорбями юности и выработалъ въ послѣднее время своей жизни, еще болѣе кратковременной, чѣмъ жизнь Красова, — свѣтлое и бодрое душевное настроеніе. Красовъ пошелъ иною дорогой и остановился въ развитіи своей личности

1) Ср. стр. 150—151 біографіи Станкевича, написанной *Анненковымъ* (1-ое изданіе вышло въ Москвѣ въ 1857 г.).

2) Библ. для Чтенія, т. CLVIII (1859 г.), ст. *Прозорова*, стр. 11.—Бѣлинскій, не кончивъ университетскаго курса, былъ сотрудникомъ и правою рукою Надеждина, издававшаго въ то время журналъ «Телескопъ» (*Буслаевъ*, Мои воспоминанія, Вѣстн. Евр. 1890, № 10, стр. 663).

на томъ моментѣ психической жизни, который Станкевичъ пережилъ довольно скоро.

Объясненіе этого найдемъ не только во вліяніи того вѣянія, могучимъ выразителемъ котораго въ время, близкое къ началу поэтической дѣятельности Красова, въ западно-европейской литературѣ былъ Байронъ, оказавшій несомнѣнное вліяніе на нашего поэта, а въ русской — Лермонтовъ, которымъ также, повидимому, увлекся впослѣдствіи Красовъ. Но, повторяемъ, поэзіи Красова даютъ объясненіе также его жизнь и характеръ.

Красовъ, какъ и Станкевичъ, рано началъ печатать свои произведенія въ журналахъ. Если вѣрить разсказу Боденштедта, Красовъ началъ печатать свои стихотворенія въ журналахъ подъ вліяніемъ стѣсненнаго матеріальнаго положенія. «Во время студенческой жизни въ Москвѣ положеніе его было, повидимому, незавидное, такъ какъ ему приходилось по большей части зарабатывать себѣ средства къ жизни уроками. Когда же вслѣдствіе продолжительной болѣзни, лишившей его всякаго заработка, онъ не могъ однажды нѣсколько мѣсяцевъ платить за столъ и квартиру, то это вызвало самыя непріятныя сцены съ его пожилой и сварливой хозяйкой, которая, забравъ у него во время болѣзни въ обезпеченіе всю одежду и всѣ сколько-нибудь цѣнныя вещи, хотѣла наконецъ выселить его среди зимы на улицу, въ одномъ халатѣ и туфляхъ.... Докторъ Дитрихъ, возлагавшій на Красова большія надежды, помогъ ему выйти изъ его временно-стѣсненнаго положенія, и послѣдствіемъ этого было то обстоятельство, что Красовъ рѣшился напечатать въ журналахъ нѣкоторыя свои стихотворенія, при чемъ вновь понадобилось содѣйствіе добрыхъ людей, чтобы обезпечить ему хорошій гонораръ; но уже первыя произведенія его музы обратили на себя вниманіе публики, такъ что ему было уже нетрудно помѣщать свои послѣдующія работы» [1]).

---

1) Русск. Стар. 1887, № 5, «Поэтъ и профессоръ Фридрихъ Боденштедтъ», стр. 426—427.

Стихотворенія Красова печатались въ Телескопѣ [1]) и Молвѣ Надеждина, для котораго работалъ и Бѣлинскій, начавъ тамъ свою литературную дѣятельность, и постояннымъ сотрудникомъ котораго былъ также Станкевичъ, въ 1831—35 гг., печатавшій въ Телескопѣ стихотворенія (?). Помѣщались произведенія Красова и въ Московскомъ Наблюдателѣ 1832—35 гг.

Въ нихъ отражается духовная жизнь поэта. Тяжелая борьба, которую онъ испытывалъ, какъ-будто развивала въ немъ грусть и заставляла рано переживать многое, такъ что какъ-будто не удивительно то разочарованіе, съ которымъ встрѣтимся въ позднѣйшей поэзіи Красова.

Не смотря на строгость экзаменовъ и неособенную, повидимому, старательность [2]), Красовъ, одновременно со Станкевичемъ и Ефремовымъ, вышелъ изъ Московскаго университета въ іюлѣ 1834 г. со степенью кандидата словесныхъ наукъ. Онъ вынесъ изъ университета нѣкоторое знаніе новыхъ языковъ [3]), достаточное знакомство съ новѣйшею поэзіею Запада и интересъ къ свѣжимъ научнымъ вопросамъ по словесности.

Осенью 1835 г. Красовъ возвратился въ Москву. Профессора его были хорошаго мнѣнія о немъ и Погодинъ рекомендовалъ Красова Максимовичу уже въ ноябрѣ 1835 г. въ качествѣ годнаго въ адъюнкты.

На первыхъ порахъ однако Красовъ не удостоился оффиціальнаго назначенія. По словамъ Боденштедта [4]), «вскорѣ по

1) Въ Телескопѣ напечатаны съ полною подписью фамиліи автора слѣдующія стихотворенія Красова: «Куликово поле» (Н. В. С.) (1832, № 19); *** (1835, ч. XXVI, стр. 389); «Пѣсня» (ib. 390); «Молитва» («страдалицы» прибавлено въ оглавленіи — ib. 497); «Три стихотворенія: I. Звуки. II. Грусть. III. Она» (ib. 498—499); «Къ ***» (ib. 534—535).

2) Погодинъ выразился о Красовѣ: «ретивъ.... за терпѣливость на трудъ отвѣчать нельзя, а впрочемъ очень хорошъ».

3) Красовъ не говорилъ однако ни по-французски, ни по-нѣмецки. Боденштедтъ говоритъ: «Красовъ владѣлъ французскимъ языкомъ хуже, нежели я русскимъ; поэтому мы говорили съ нимъ всегда по-русски». Р. Стар. 1887, № 5, стр. 425.

4) Тамъ же, стр. 427.

окончаніи курса онъ получилъ мѣсто домашняго учителя въ Малороссіи, и тутъ, живя среди народа, столь богатаго пѣснями, онъ получилъ новый толчекъ къ поэтическому творчеству». По собственнымъ словамъ поэта, онъ «долго кочевалъ за Десной».

3 апрѣля 1837 г. Красова назначили исправляющимъ должность старшаго учителя русской словесности въ Черниговскую гимназію, а 29 сентября того же года онъ былъ переведенъ въ Кіевъ въ университетъ св. Владиміра, по ходатайству Погодина (?), исправляющимъ должность адъюнкта русской словесности.

Здѣсь, раздѣляя преподаваніе словесности съ М. А. Максимовичемъ, Красовъ читалъ теорію краснорѣчія и изъясненіе свойствъ русскаго языка. Красовъ буквально оправдалъ рекомендацію Погодина. Онъ выказалъ врожденное чувство изящнаго и даръ слова, но — не болѣе.

Его лекціи изобличали вліяніе Надеждина; онѣ не были строго научны и систематичны; онѣ были лишь оживленны и поэтичны: въ нихъ отражалось восторженное настроеніе поэта. Слушавшій эти лекціи М. К. Чалый такъ характеризуетъ ихъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ»: «Красовъ читалъ теорію краснорѣчія», слѣдуя обычаю «московской школы», à la Мерзляковъ [1]), подъ вліяніемъ минуты, съ необыкновеннымъ жаромъ, но безъ обдуманнаго плана и предварительнаго подготовленія. Ему недоставало ни свѣдѣній, ни терпѣнія къ пріобрѣтенію познаній. Восторженное состояніе, въ которомъ онъ находился постоянно, было скорѣе дѣломъ фантазіи, болѣзненно развитой на счетъ другихъ душевныхъ силъ. Дилетантизмъ, не терпимый въ наукѣ, въ школѣ московскихъ словесниковъ пріобрѣлъ, такъ сказать, право гражданства: науку о словѣ они третировали не какъ науку, а какъ искусство красно говорить. Подложный жаръ, звучныя фразы, искусственный пафосъ, театральные жесты — замѣняли у нихъ спокойное, строго-научное изложеніе предмета.

---

1) Замѣтимъ, что когда слушалъ лекціи Красовъ, Мерзлякова уже не было въ живыхъ.

Не одинъ лишь Красовъ, но и позднѣйшіе послѣдователи Шевырева были лишь «докторами чувствительности»[1]). Быть можетъ, отзывъ Чалаго о Красовѣ такъ же слишкомъ суровъ, какъ слишкомъ строго и приведенное имъ сужденіе г. Авсѣенка о профессорѣ Селинѣ.

Въ торжественномъ собраніи университета, 20 октября 1838 г., Красовъ прочелъ рѣчь: «О современномъ направленіи просвѣщенія». Рѣчь эта была написана имъ первоначально для произнесенія другимъ лицомъ при предстоявшемъ въ томъ году торжествѣ открытія Немировской гимназіи, именно для произнесенія при открытіи этой гимназіи, имѣвшемъ произойти 7 августа 1838 г., взамѣнъ рѣчи: «Объ отличительныхъ чертахъ и преимуществахъ русскаго образованія», приготовленной для того торжества учителемъ исторіи и статистики В. Ордою, переведеннымъ изъ Кіевской 2-й гимназіи въ Немировскую съ назначеніемъ исправляющимъ должность инспектора. Тема для послѣдней рѣчи (основная мысль) дана была попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа Е. Ф. фонъ-Брадке, при чемъ послѣдній выразилъ желаніе, чтобы Орда посовѣтовался съ проф. М. А. Максимовичемъ, «у котораго особенный тактъ для подобныхъ вещей»[2]). Максимовича во время этого распоряженія не было въ Кіевѣ, и рѣчь Орды «была отдана на предварительное разсмотрѣніе адъюнкта Красова, который, чтобы не марать рѣчь г. Орды, написалъ новую». По приказанью помощника попечителя А. К. Карлгофа, обѣ рѣчи были препровождены «на окончательное разсмотрѣніе, исправленіе и одобреніе» М. А. Максимовича[3]). Послѣдній отдалъ предпочтеніе рѣчи Орды, которая и

---

1) Кіевск. Старина 1889, № 11, стр. 276.

2) Фонъ-Брадке разумѣлъ, вѣроятно, между прочимъ, рѣчь М. А. Максимовича: «О русскомъ просвѣщеніи», говоренную въ собраніи Московскаго университета на актѣ 1832 г.: Телескопъ 1832, ч. VII, № 2, стр. 169—190, и отд. (?).

3) О дружбѣ Карлгофа и его жены съ Максимовичемъ см. на стр. 740 и 741 записокъ *Карлгофъ* подъ заглавіемъ: «Жизнь прожить — не поле перейти», въ Русск. Вѣстн. 1881, № 10.

была произнесена и затѣмъ напечатана, послѣ новаго пересмотра, опять порученнаго Максимовичу [1]).

Поэтъ-мечтатель не былъ способенъ къ усидчивому и терпѣливому труду и потому не возмогъ и не съумѣлъ воспользоваться льготой, которая была въ 1838 г. предоставлена ему и Домбровскому.

И того и другого допустили къ защищенію диссертаціи на степень доктора прямо, помимо испытанія и представленія разсужденія на степень магистра. Красовъ, для пріобрѣтенія степени доктора общей словесности, подалъ часть задуманнаго имъ и одобреннаго факультетомъ разсужденія на тему: «О направленіяхъ поэзіи у нѣмцевъ и англичанъ съ конца XVIII столѣтія и о вліяніи ихъ на нашу отечественную поэзію» [2]). Красовъ въ диссертаціи, которую представилъ, выполнилъ только часть этой общей темы и коснулся лишь нѣмецкой и англійской словесности, за недостаткомъ времени оставивъ въ сторонѣ вліяніе той и другой на русскую. Первое отдѣленіе философскаго факультета, въ засѣданіи 20 декабря 1838 г., признало диссертацію Красова удовлетворительною, ограничившись тѣмъ, что было изложено въ ней, и смотря на нее, какъ на разсужденіе о нѣмецкой и англійской словесности. Оно нашло диссертацію достаточно свидѣтельствующею о «знакомствѣ съ словесностью нѣмецкою и англійскою и о способности въ литературной критикѣ» и вообще удовлетворительною для полученія степени доктора. Но когда затѣмъ Красовъ былъ допущенъ къ публичному защищенію тезисовъ (24 декабря 1838 г.), то отвѣты его были признаны неудовлетворительными, «потому что, какъ говоритъ представленіе, состояли по большой части изъ однѣхъ общихъ и неопредѣлен-

1) См. замѣтку *В. Н. Науменка:* «Къ исторіи открытія Немировской гимназіи» — Кіевск. Стар. 1888, № 12, стр. 117.

2) Не отрывокъ ли изъ этого разсужденія Красова былъ помѣщенъ, безъ имени автора, въ одномъ изъ журналовъ подъ заглавіемъ: «О ходѣ словесности въ Англіи съ начала XIX в. и ея вліяніи на другія словесности»? — По поводу выбранной Красовымъ темы обратимъ вниманіе на то, что въ Телескопѣ были нерѣдки статьи въ родѣ: «О современномъ направленіи въ поэзіи».

ныхъ мыслей»[1]), хотя Красовъ обнаружилъ несомнѣнное эстетическое чувство и знакомство съ произведеніями главнѣйшихъ поэтовъ Германіи и Англіи. Факультетъ отказался ходатайствовать объ утвержденіи Красова въ степени доктора [2]).

Послѣ этой неудачи и временнаго закрытія университета въ началѣ 1839 г. Красовъ подалъ прошеніе объ увольненіи отъ службы при университетѣ и въ то же время просилъ ходатайства попечителя предъ министромъ о перемѣщеніи на каѳедру словесности въ Петербургскій университетъ или о предоставленіи ему мѣста учителя словесности въ одной изъ петербургскихъ гимназій; но ему отвѣтили, что ни въ Петербургскомъ университетѣ, ни въ гимназіяхъ не оказалось свободныхъ вакансій»[3]).

Красовъ оставилъ тогда Кіевъ и «возвратился въ Москву, говорятъ, съ какимъ-то обозомъ, въ одной плохой шинелишкѣ и питаясь на пути черпымъ хлѣбомъ».

Въ Москвѣ и провелъ Красовъ послѣдній періодъ своей жизни, получивъ сначала частное мѣсто, а затѣмъ состоя препо-

---

1) Съ этимъ нѣсколько согласенъ разсказъ, переданный *Чалымъ* въ «Воспоминаніяхъ» его (Кіевск. Стар. 1889, № 11, стр. 264—264), быть можетъ, не лишенный прикрасъ, подобно многимъ *преданіямъ*. «Ректоръ Неволинъ, говоритъ преданіе, предложилъ Красову вопросъ: что такое изящное? Врагъ всяческихъ научныхъ опредѣленій, восторженный поэтъ отвѣчалъ одними лишь примѣрами и сравненіями. Вообразите, говоритъ, море во время бури, нависшія надъ пропастью скалы, озаренныя блескомъ молній..., прочтите стихотвореніе Пушкина:

Ты видѣлъ дѣву на скалѣ
Въ одеждѣ бѣлой надъ волнами,
Когда, бушуя въ бурной мглѣ,
Играло море съ берегами; и проч.

Однимъ словомъ, сказалъ въ заключеніе Красовъ, прекраснаго опредѣлить невозможно; его только можно чувствовать.

— Нельзя же, г. Красовъ, быть докторомъ чувствительности, замѣтилъ съ ядовитой улыбочкой Константинъ Алексѣевичъ и тѣмъ заключилъ преніе». — Прибавимъ къ этому, что, какъ мы слышали отъ лица близкаго къ тому времени, на вопросъ о Шекспирѣ Красовъ отвѣтилъ нѣсколькими восклицаніями.

2) Исторія Имп. университета св. Владиміра, *М. Ф. Владимірскаго-Буданова*, К. 1884, стр. 219—220.

3) Ibid., 220.

дателемъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ Москвѣ же онъ и женился впослѣдствіи.

Въ Москвѣ уже не было Станкевича, который скончался въ городкѣ Новп въ ночь съ 24 на 25 іюня 1840 г. Красовъ вновь вошелъ въ дружескій кружокъ московскихъ литераторовъ. «Надъ этимъ кружкомъ невидимо парила еще тѣнь Станкевича, говоритъ И. И. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ подъ 1839 г.; каждый благоговѣйно вспоминалъ объ немъ; у Бѣлинскаго слезы дрожали на глазахъ, когда онъ разсказывалъ мнѣ объ немъ и знакомилъ меня съ его нѣжною, тонкою, симпатическою личностью. Станкевичъ былъ душою нашего кружка, прибавлялъ онъ въ заключеніе; теперь уже не то.... Самое цвѣтущее время нашего кружка прошло! Онъ своею личностью одушевлялъ и поддерживалъ насъ»[1]). Красовъ уже могъ имѣть нѣкоторый авторитетъ въ этомъ кружкѣ какъ поэтъ.

Въ началѣ 1839 г. Красовъ достигъ нѣкотораго успѣха въ журналистикѣ.

Нѣкій М. укралъ у Бѣлинскаго тетрадь стиховъ Красова, которая попала въ руки Сенковскаго[2]). Послѣдній напечаталъ нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній въ первыхъ книгахъ своего журнала Библіотека для Чтенія за 1839 г., не зная имени ихъ сочинителя, и стихотворенія эти встрѣтили громкій успѣхъ[3]). Вскорѣ обнаружилось и имя автора этихъ стихотвореній, которое было сообщено редакторомъ въ смѣси. Въ XXXIII томѣ Библіотеки для Чтенія 1839 г., отд. VI, стр. 50—51, чи-

---

1) *И. И. Панаевъ.* Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ, Спб. 1876, стр. 195—196. «Смерть Станкевича, писалъ Бѣлинскій Боткину нѣсколько лѣтъ спустя, — поразила меня сухо, мертво; но если бы ты зналъ, какъ это сухое страданіе тяжело!».

2) *Панаевъ*, стр. 368, письмо Бѣлинскаго къ Панаеву изъ Москвы 25 февраля 1839 г.: «Представьте себѣ—какое горе. У меня украдена ученикомъ Межеваго Института, нѣкіимъ М., тетрадь стиховъ Красова и попала въ руки Сенковскаго, который и распоряжается ею какъ своею собственностью. Нельзя ли объ этомъ намекнуть въ Литературныхъ Прибавленіяхъ?».

3) См., между прочимъ, въ воспоминаніяхъ *Кармофъ*.

таемъ: «Любители хорошей поэзіи съ удовольствіемъ узнаютъ, что авторъ прекрасныхъ стиховъ, приписанныхъ нами г. Бернету[1]) въ январской книгѣ Библіотеки для Чтенія и тѣхъ, которые помѣщены были въ февральской книжкѣ безыменно, съ вызовомъ къ ихъ даровитому сочинителю объявить свое имя, принадлежатъ всѣ г. Красову, живущему въ Кіевѣ. Три новыя піесы того же поэта были напечатаны въ предыдущей книжкѣ, уже съ подписью его имени, и въ нынѣшней читатели найдутъ также одну піесу г. Красова, обнаруживающую въ молодомъ кіевлянинѣ превосходный стихотворный талантъ: гладкостью, звучностью и блескомъ своимъ стихи этой піесы дѣйствительно могутъ соперничать съ изящнымъ стихомъ Бенедиктова». Въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія 1839 г., т. XXIV, отд. VI, стр. 179, читаемъ: «Г. Красовъ подарилъ русскую публику тремя прелестными піесами, которыя нимало не уступаютъ прежде явившимся, именно: «Пажъ Генриха Второго», «Элегія» и «Вечерняя Звѣзда» (Библ. для Чт., № 7). Мы замѣчаемъ у этого поэта прелесть разсказа и какую-то совсѣмъ особенную нѣжность и непринужденность изложенія чувствъ и мыслей. Искренно желаемъ, чтобы онъ не довольствовался легкими опытами и произвелъ что-либо, могущее доставить ему прочную извѣстность».

Уже затихала та московская литература, на которую «я смотрѣлъ всегда съ большимъ уваженіемъ, говоритъ И. И. Панаевъ[2]). Направленіе ея выражалось «Телеграфомъ», «Телескопомъ», «Молвою» и наконецъ «Московскимъ Наблюдателемъ», редакцію котораго только что принялъ на себя Бѣлинскій; тогда выступили въ Москвѣ на литературное поприще молодые люди, только что вышедшіе изъ Московскаго университета, съ горя-

1) Жуковскій 2-й подъ псевдонимомъ Бернета выдвинулся въ 1836 г. «Его четыре стихотворенія, напечатанныя въ Библ. для Чтенія, многимъ понравились и сдѣлали ему литературное имя». Воспоминанія *Кармофъ*, Русск. Вѣстн. 1881, № 10, стр. 714.

2) Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ, стр. 158.

чею любовію къ дѣлу, съ благородными убѣжденіями, талантами.... Это было самое блестящее время московской литературной дѣятельности».

Теперь это время уже проходило....

Вмѣстѣ съ другими членами московскаго кружка, къ которому принадлежалъ, Красовъ сталъ сотрудникомъ Отечественныхъ Записокъ, гдѣ преимущественно помѣщалъ свои стихотворенія съ 1840 по 1843 гг. Лишь немногія изъ его произведеній того времени были напечатаны въ Галатеѣ, Кіевлянинѣ[1]) и Москвитянинѣ.

Когда загремѣла слава Лермонтова, товарища Красова по университету, Красовъ долженъ былъ обратить особое вниманіе на произведенія Лермонтова[2]). Быть можетъ, также и на Клюшникова, -о-, съ стихотвореніями котораго можно сближать поэзію Красова и который, по словамъ Панаева, «бывалъ въ кружкѣ В. П. Боткина, гдѣ бывалъ и Б—нъ (Бакунинъ?), и Катковъ». «Пушкинъ, говоритъ Панаевъ, — къ великому, впрочемъ, сожалѣнію Бѣлинскаго и его друзей, не совсѣмъ подходилъ подъ его теорію (искусства); въ немъ не отыскивался элементъ примиренія, и потому стихотворенія Клюшникова (-о-), въ которыхъ ясно выражался этотъ элементъ, были признаны Бѣлинскимъ и его кружкомъ, хотя уступающими Пушкину по обработкѣ и формѣ, но несравненно болѣе глубокими по мысли». Бѣлинскій писалъ Панаеву 10 августа 1838 г. изъ Москвы: «Когда вы пріѣдете въ Москву, ...еще я познакомлю васъ съ Клюшниковымъ.... очень интересный человѣкъ»[3]). Иногда Красовъ еще увлекался старыми грезами. Фантазія рисовала чудное видѣнье «печальнаго генія красоты», «съ красой безъ имени и тайной на устахъ»; ея не уловили ни звуки, ни рѣзецъ; она «вся сокрылась въ небе-

1) Въ Кіевлянинѣ на 1840 годъ, изданномъ *М. Максимовичемъ*, помѣщены стихотворенія Красова: «Клара Моврай» (стр. 124—126; «посвящено Е. А. Карлгофъ»), «Извѣстіе» (стр. 202), «Метель» (стр. 229).

2) Уже въ 1835 г. былъ напечатанъ, безъ вѣдома Лермонтова, но съ подписью его имени, «Хаджи-Абрекъ» (въ Библ. для Чт.).

3) *Панаевъ*, Литер. воспом. и воспом. о Бѣлинскомъ, стр. 194, 249, 363.

сахъ». Когда она прощалась съ землей, стоя на скалѣ надъ океаномъ, ея тускнѣющій взоръ чего-то искалъ, «гдѣ солнца лучъ надъ бездной догоралъ». «Со стономъ и мольбою она повела туда прозрачною рукою»[1]).

Блаженъ въ юдоли слезъ, кому судьба, лаская,
Какъ лучшій жизни даръ — узрѣть ее дала.
Печальная, она въ красѣ
Какихъ-то дивныхъ сновъ царицею была;
И буря жизни, пролетая,
Эдема розу берегла....

(«Видѣніе» — Отеч. Зап. 1840 г., т. XI, стр. 49).

Въ послѣднія одиннадцать лѣтъ своей жизни Красовъ напечаталъ всего два стихотворенія: «Романсъ Печорина» и воззваніе къ палликарамъ, написанное въ началѣ Восточной войны, помѣченное 6 декабря 1853 г. и бывшее послѣднимъ изъ извѣстныхъ намъ поэтическихъ произведеній Красова. Имъ Красовъ закончилъ свое поприще, въ духѣ Байрона, котораго занимала идея освобожденія Греціи (Ч. Гарольдъ II, строфа 73), и А. С. Пушкина, написавшаго стихотвореніе: «Возстань, о Греція, возстань»... Кромѣ того, онъ помѣстилъ въ Отечественныхъ Запискахъ 1848 г. переводъ «Сна» Байрона, а въ Москвитянинѣ 1848 г. возраженіе С. М. Соловьеву по поводу статьи его о Димитріи Самозванцѣ. Наконецъ, онъ сообщилъ матеріалы для собранія пословицъ и поговорокъ Ѳ. И. Буслаеву[2]).

Съ 6 марта 1843 г. Красовъ вновь вступилъ въ государственную службу, именно поступилъ преподавателемъ русскаго языка и словесности въ Московскую 2-ю гимназію, въ каковой должности оставался до 29 августа того же года. Онъ оказался

1) Ср. цитованное стихотвореніе Пушкина, произнесенное будто-бы Красовымъ при защитѣ тезисовъ, въ отвѣтъ на вопросъ, что̀ такое изящное (см. выше, стр. 639).

2) Архивъ Калачова, II, 2, стр. 75.

плохимъ преподавателемъ»[1]). Потомъ онъ преподавалъ русскій языкъ въ 1-мъ Московскомъ Кадетскомъ Корпусѣ и наконецъ — съ декабря 1851 г. по іюль 1854 г., т. е. до своей смерти — былъ преподавателемъ во вновь открытомъ Московскомъ Александринскомъ Сиротскомъ Кадетскомъ Корпусѣ, что̀ нынѣ Александровское Военное Училище[2]).

Въ началѣ лѣта 1854 г. скончалась жена Красова, которую онъ пѣжно любилъ, а, вслѣдъ за женою, 6 недѣль спустя, умеръ и Красовъ, 44 лѣтъ, въ больницѣ, въ крайней бѣдности, оставивъ шестерымъ дѣтямъ лишь доброе имя.

---

1) См. «Историческую записку о 50-лѣтіи Московской 2-й гимназіи». Составилъ *С. Гулевичъ*. М. 1885, стр. 220. На стр. 322, въ воспоминаніяхъ В. М. Каченовскаго (1837—1843), воспитанника выпуска 1843 г., читаемъ: «въ низшихъ классахъ преподавалъ нѣкоторое время русскій языкъ довольно извѣстный въ свое время въ литературномъ мірѣ поэтъ Василій Ивановичъ Красовъ, оказавшійся очень неудачнымъ преподавателемъ».

2) Въ Русск. Стар. 1891, № 10, стр. 232, находимъ краткое воспоминаніе *Александра Бѣленикова* подъ заглавіемъ: «Василій Ивановичъ Красовъ». Упомянувъ объ открытіи занятій въ классахъ 7 декабря 1851 г., авторъ продолжаетъ: «Первый урокъ во второмъ приготовительномъ классѣ въ тотъ день былъ Василія Ивановича Красова. Спустя четверть часа послѣ начала урока входитъ въ классъ бывшій главный начальникъ штаба военно-учебныхъ заведеній, графъ Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ, который звалъ Красова какъ преподавателя въ 1-мъ Московскомъ Кадетскомъ Корпусѣ, и, взявъ въ руки мѣлъ, написалъ на классной доскѣ слѣдующее четверостишіе:

Ораторъ классовъ
Господинъ Красовъ
Учитъ, не устаетъ,
Намъ ума даетъ.

Въ 1853 г., передъ началомъ Восточной войны, Красовъ написалъ свое патріотическое стихотвореніе «Паликары». Преподаваніе свое онъ велъ не по учебникамъ, а самъ изустно продиктовалъ намъ всю русскую грамматику и синтаксисъ. Характеръ имѣлъ Василій Ивановичъ вспыльчивый и раздражительный, чему причиной была болѣзнь его, чахотка, которой онъ страдалъ и которая свела его въ могилу въ іюнѣ 1854 г. Не задолго до своей смерти онъ приходилъ въ Корпусъ въ тепломъ пальто, не смотря на сильный жаръ, и какъ-бы прощался съ нами».

Изъ представленнаго очерка жизни Красова видно, что поэтическая дѣятельность его была непродолжительна: рано начавшись, она рано и затихла, и прекращеніе ея предварило задолго раннюю кончину поэта, который, повидимому, добровольно обрекъ себя на молчаніе. Вѣроятно, оно находилось въ связи съ личною судьбою Красова и невзгодами жизни, такъ какъ поэзія Красова отличалась въ сильнѣйшей степени субъективностью. Вообще поэтическая дѣятельность Красова обусловлена въ огромной степени его характеромъ и тѣми вліяніями, какимъ онъ подпадалъ.

Въ началѣ то была восторженная натура, какихъ не мало выдвинуло то время, романтически относившаяся къ дѣйствительности. Въ ранней молодости Красовъ былъ «вѣтрогономъ», но и тогда обнаруживалось возвышенное его настроеніе. Ему нерѣдко чудились глубокія натуры въ личностяхъ самыхъ обыкновенныхъ. По словамъ Станкевича, Красовъ былъ «способенъ вѣрить всему чудесному». И впослѣдствіи онъ искалъ постоянно глубокихъ натуръ и открывалъ въ ученикахъ геніевъ и крупные таланты. Красовъ жилъ фантазіей и мечтой, и что горячность его не была притворной и искусственной, доказываетъ лучше всего симпатія къ нему такихъ людей, какъ Станкевичъ и Бѣлинскій. Послѣдній назвалъ Красова въ 1839 г. «любимымъ и уважаемымъ поэтомъ». Красовъ былъ надѣленъ отъ природы юношески-безпечнымъ, открытымъ характеромъ и чувствительностью. На немъ исполнились слова Станкевича: «въ нашъ вѣкъ фантазія такъ скоро обращается въ дѣйствительное чувство, что можетъ сдѣлаться дѣйствительнымъ несчастіемъ». Красовъ лелѣялъ, по словамъ Станкевича, «поэтическіе планы». Къ сожалѣнію, мы не знаемъ точно, что это были за планы и въ чемъ они не сбылись. Мы не знаемъ также, дѣйствительною или воображаемою борьбою былъ такъ рано утомленъ нашъ поэтъ.

Поэтическая индивидуальность Красова характерна для пониманія настроенія интеллигенціи того времени вообще.

Поэзія Красова, которую цѣнилъ такой критикъ, какъ Бѣлинскій, и которою восхищались многіе современники, отражаетъ

до извѣстной степени направленіе лиризма того времени и настроеніе, которымъ было проникнуто въ молодости поколѣніе 40-хъ годовъ.

Не за всѣми произведеніями Красова можетъ быть признано такое значеніе, и ихъ можно раздѣлить на два разряда.

Въ началѣ своей поэтической дѣятельности Красовъ былъ подъ вліяніемъ патріотическаго гиперболизма въ представленіи минувшихъ временъ родной земли. Быть можетъ, Красовъ обратился къ историческимъ сюжетамъ, руководясь мнѣніемъ, которое высказывали тогда и нѣкоторые изъ критиковъ, именно — что народность въ поэзіи можетъ состоять въ выборѣ темъ изъ отечественной исторіи. Въ нѣкоторыхъ опытахъ Красова замѣчается вліяніе риторизма, которымъ проникались юные писатели, исполнявшіеся патріотическихъ чувствъ Карамзина и писавшіе о битвѣ съ Мамаемъ, объ осадѣ Казани. Эти стихотворенія Красова очень напоминаютъ нѣкоторыя изъ юношескихъ стихотвореній Лермонтова [1]); очевидно, и тѣ и другія примыкали къ общему настроенію, носившемуся въ воздухѣ: воздѣйствія одного изъ этихъ поэтовъ на другого не могло быть.

Но вскорѣ тонъ элегіи сталъ преобладать, и Красовъ не разъ называлъ свои стихотворенія «элегіями». Его можно назвать поэтомъ элегической грусти [2]). Съ нимъ постоянно пребывалъ «спутникъ безотрадный, какъ тѣнь, незваная печаль». Изъ другихъ поэтовъ къ нему наближе Лермонтовъ. Подобно Лермонтову, который въ годы молодости любилъ бурныя картины, и Красовъ въ молодые годы

> Въ порывахъ стремительныхъ силъ
> . . . . смѣло сзывалъ на главу непогоды,
> Мятежныя бури любилъ! [3]).

---

1) Лермонтовъ въ 1829 г. началъ писать поэму «Олегъ»; въ 1830 г. мечталъ о написаніи драмы изъ времени татарской неволи, подъ заглавіемъ: «Мстиславъ Черный», въ которой хотѣлъ изобразить попытку освобожденія Руси (изд. *Висковатова*, IV, стр. 2—7).

2) Боденштедтъ заявляетъ, что Красовъ былъ веселый малый.

3) «Элегія» (Отеч. Зап., т. XII. — Стихотв., 104).

У Красова, какъ у Лермонтова, былъ свой «демонъ» — воображеніе. Красовъ рано началъ кутаться въ парядную печаль, какъ и Лермонтовъ, подпавъ общему вліянію — модѣ на разочарованіе; «байронизмъ и разочарованіе были въ то время въ сильномъ ходу», говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ одинъ изъ людей того времени [1]).

Есть много и частныхъ интересныхъ совпаденій въ творчествѣ обоихъ поэтовъ.

Подобно Лермонтову, Красовъ, хотѣвшій «любить людей, назвать ихъ братьями своими», не встрѣтилъ съ ихъ стороны отвѣта:

И не признали эти братья,
Не раздѣлили братскихъ слезъ! [2]).

У Красова, какъ и у Лермонтова,

.... надежды и волненья
Буря жизни унесла [3]),

и отъ погребенныхъ надеждъ остался только «сонъ сердечной бури», а отъ пламенныхъ волненій —

Лишь хладъ душевный [4]), ядъ сомнѣній,
И миръ безвѣстнаго труда....
И ни единыя надежды,
И ни единыя мечты!

Поэтъ писалъ это въ 1841 г. [5]).

Смѣется злобно жизнь надъ чувствомъ, надъ страстями,
Надъ клятвами безумцевъ молодыхъ,

писалъ поэтъ далѣе [6]). Но прошлое сохранило всю силу:

---

1) Русск. Обозр. 1890, № 8, стр. 728.
2) «Элегія» (Стихотв., 50—51).
3) «Стансы» къ Станкевичу (Стихотв., 146).
4) «Хладъ душевный» встрѣчаемъ и у Станкевича.
5) «Стансы» къ Дездемонѣ (Стихотв., 36).
6) «Послѣдняя элегія» (Отеч. Зап. 1843, т. XXXI; Стихотв., 164.

Есть образы въ душѣ, — и съ ними нѣтъ разлуки,
Свѣтила блѣдныя въ туманѣ бытія,
Святыя, милыя!... [1]).

Сравни слова Печорина, что прошедшее имѣетъ надъ нимъ необычайную власть...

Какъ и Лермонтову, Красову было скучно между людьми:

Я скученъ для людей, мнѣ скучно между ними!
Но — видитъ Богъ — я сердцемъ не злодѣй...
.....теперь же вновь люблю
Обитель тихую, безмолвную мою.
Тамъ зрѣютъ въ тишинѣ властительныя думы,
Кипятъ желанія, волнуются мечты,
И міръ души моей, то свѣтлый, то угрюмый,
Не возмущается дыханьемъ клеветы.
Но ты со мной, благое Провидѣнье! [2]).

Иногда поэтъ, подобно Лермонтовскому пророку, желалъ гордо хранить про себя свою скорбь, не обнаруживая ея передъ людьми:

....я нераздѣльно снесу мое горе, —
Пусть воетъ, пусть вырветъ житейское море
Мой парусъ послѣдній и топитъ ладью! [3]).

Поэтъ искалъ успокоенія въ уединеніи и утѣшенія въ природѣ, въ созерцаніи преимущественно вечерней и ночной природы. Онъ любилъ вечерній сумракъ и вечернюю звѣзду. Какъ мы уже говорили, воображеніе было «демономъ» его, какъ и Лермонтова [4]). Имъ обоимъ въ особенности нравилась природа вдали отъ городского шума.

---

1) «Элегія» (Библ. для Чт., т. XXIII. Стихотв., 34).

2) «Элегія» (Стихотв., 50—51; ср. Стихотв., 148).

3) «Элегія» (Стихотв., 104. Ср. стихотвореніе безъ заглавія, стр. 27—28; «Элегію», стр. 51; «Пѣсню», стр. 172. Ср. также переписку Станкевича, стр. 56).

4) Ср. стихотв. Лермонтова (по изд. *Висковатова* I, 342): «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю».

У Красова встрѣчаются даже тѣ же образы, какъ у Лермонтова. Сравни, напримѣръ, «пѣсню» о могучемъ и гордомъ дубѣ цвѣтущей долины у звонкихъ ключей, сраженномъ перуномъ и съ той поры уже не покрытомъ зеленой чалмой и глухо, но тяжко стонавшемъ, когда раздавался голосъ враждебной бури[1]), со стихотвореніемъ Лермонтова «Отвѣтъ»[2]).

Разочарованіе Красова не переходитъ однако въ полный скептицизмъ и отчаяніе, а также въ озлобленіе. Поэтъ сохранилъ гуманность и готовность всепрощенія:

Кто бъ ни былъ!... но послѣ предсмертнаго стона,
Да смолкнутъ проклятья и крикъ клеветы!....
Мой другъ, и на мрачной гробницѣ Нерона,
И тамъ находили заутра цвѣты! —
Прощенье всему, что сокрыто могилой![3]).

Поэтъ ограничивался какъ-будто рѣшимостью соблюдать стойкость:

....я нераздѣльно снесу мое горе,
Пусть воетъ, пусть вырветъ житейское море
Мой парусъ послѣдній и топитъ ладью![4]).

Поэтъ приносилъ благодареніе Небу за все[5]). Полный вѣры въ «гласъ вѣчный закона», онъ со слезой благословлялъ Творца за «прекрасный міръ», обращался къ Творцу съ любовью, хвалой и молитвой[6]). Молитва его была такова:

---

1) Отеч. Зап. 1840, т. XI. Стихотв., 100.

2) I, 43, и «пень»: III, 51—52. И у *Козлова* есть стихотвореніе «Дубъ» (Поли. собр. соч. II, 260); стихотвореніе Красова его напоминаетъ. См. еще стихотвореніе *Иличова* въ Денницѣ на 1831 г., стр. 51. Ср. извѣстную пѣсню «Среди долины ровныя». — Первое стихотвореніе *Тургенева*, напечатанное въ Современникѣ Плетнева въ 1838 г., носило заглавіе «Старый Дубъ».

3) Библ. для Чт. 1839, т. XXXV, стр. 11—13.

4) Отеч. Зап., т. XII.

5) Ср. въ перепискѣ Станкевича стр. 52 и 165.

6) «Молитва» (Отеч. Зап. 1839, т. VII, стр. 133. Стихотв., 72).

Небесъ Владычица! Услышь мое моленье!
Да загоритъ и мнѣ звѣзда преображенья,
Да духомъ скорбнымъ я возстану, укрѣплюсь,
Да предъ Тобою вновь и плачу, и молюсь!
Вдали отъ пристани, средь новыхъ треволненій,
Я сердце сохраню отъ ранъ и заблужденій.

Но при такой готовности поэта мужественно стоять, у него не находимъ положительныхъ опредѣленныхъ началъ, которыя бы внушали читателю пылъ въ борьбѣ за идеалы, что̀ даетъ поэзія Лермонтова.

Кромѣ вліянія послѣдняго, въ Красовѣ съ 1839 г. начинаетъ сказываться еще воздѣйствіе Кольцова. Съ послѣднимъ Красовъ могъ познакомиться черезъ земляка его Станкевича, который, будучи еще студентомъ, познакомился на своей родинѣ, въ Воронежской губерніи, съ Кольцовымъ, ввелъ его въ свой кружокъ и издалъ первыя его стихотворенія. Вліяніе Кольцова замѣтно въ «Пѣснѣ»:

Ужъ я съ вечера сидѣла... [2]).

Но Красовъ не дошелъ до высоты творчества въ народномъ духѣ Кольцова и Лермонтова....

Таково содержаніе лучшихъ стихотвореній Красова. Образы въ нихъ изящны; стихъ его нерѣдко музыкаленъ, хоть рѣчь не всегда точна. Лирика Красова обладаетъ значительными внутренними достоинствами. Она не отличается значительною оригинальностью, не проявляетъ пытливости, глубины и независимости мысли автора [3]); она не чужда недостатковъ того времени,

---

1) Ave Maria (Отеч. Зап. 1840, т. XI, стр. 150—151. Стихотв., 98).

2) Стихотв., 92—93.

3) Лишь изрѣдка въ ней можно открыть слѣды умственнаго движенія того времени — въ отдѣльныхъ фразахъ, какъ, напримѣръ, въ стихотвореніи «Къ***», въ словахъ:

Въ младой душѣ, кипящей страстью,
Сказалась тайна бытія.

когда стихотворцы, по словамъ Бѣлинскаго, «реторически налыгали на себя небывальщину»; но все таки въ ней сказывается симпатичная личность поэта; произведенія его отличаются пламеннымъ, хотя и не глубокимъ чувствомъ, по словамъ Бѣлинскаго.

Характеръ поэзіи Красова очерченъ довольно хорошо въ его собственныхъ словахъ о «звукахъ» его поэзіи, выстраданныхъ имъ:

Они уносятъ духъ — властительные звуки!
Въ нихъ упоеніе мучительныхъ страстей,
Въ нихъ голосъ плачущей разлуки,
Въ нихъ радость юности моей!
Взволнованное сердце замираетъ,
Но я тоски не властенъ утолить:
Душа безумная томится и желаетъ
И пить, и плакать, и любить!... [1]).

Въ этихъ словахъ опредѣляется источникъ поэзіи Красова въ невольныхъ стремленіяхъ благородной поэтической души.

Это—поэзія скорби и душевныхъ страданій въ виду несбывшихся надеждъ; она можетъ быть названа истиннымъ дѣтищемъ нашего вѣка [2]). Онъ занимаетъ не послѣднее мѣсто въ русской лирикѣ, и правъ былъ другъ нашего поэта, когда убѣждалъ его не отказаться отъ исполненія своихъ поэтическихъ плановъ. «Не открывай сердца своего червю знаменитыхъ, лучшихъ умовъ, писалъ Станкевичъ Красову въ 1835 г., вѣрь своему чувству и предавайся своей фантазіи. Дай ей прочную пищу въ наукѣ, сколько позволятъ тебѣ твои обстоятельства, но не заглушай въ себѣ божественныхъ призывовъ безплодными сомнѣніями. Пусть малъ и незамѣтенъ будетъ художническій талантъ твой, но эти пламенныя, искреннія бесѣды души съ самой собою

1) «Звуки» (Стихотв., 29).
2) Ср. въ книгѣ о Станкевичѣ, стр. 44.

не сохраняютъ ли ея энергіи, не спасаютъ ли ея сокровищъ отъ наптія жестокихъ житейскихъ смутъ и заботъ?»[1]). Намъ кажется, что мнѣніе о поэзіи Красова, выраженное въ этихъ строкахъ, можетъ быть принято и теперь, и что надежды Станкевича на Красова были нѣсколько оправданы. Читатель не можетъ не чувствовать симпатіи къ этой поэзіи; въ особенности же можетъ она нравиться людямъ переживающимъ и пережившимъ тѣ же утраты, людямъ, жизнь которыхъ рано омрачена невзгодами и которые рано разстались со свѣтлыми радостями молодости и съ ея гордыми надеждами.

Къ поэзіи Красова могутъ быть примѣнены слова Лермонтова въ стихотвореніи «Звуки», навѣянныя, очевидно, приведеннымъ только что стихотвореніемъ Красова съ тѣмъ же заглавіемъ[2]):

Есть рѣчи — значенье
Темно иль ничтожно;
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно.

Какъ полны ихъ звуки
Тоскою желанья;
Въ нихъ слезы разлуки,
Въ нихъ трепетъ свиданья . . . .

Надежды въ нихъ дышатъ,
И жизнь въ нихъ играетъ;
Ихъ многіе слышатъ,
Одинъ понимаетъ.

Поэзія Красова — поэзія для нѣжныхъ душъ, поэзія не столь мужественная, какъ поэзія Лермонтова[3]).

---

1) Тамъ же, стр. 146.

2) Стихотвореніе Красова было напечатано въ VIII т. Отечеств. Зап 1840 г., а стихотвореніе Лермонтова — въ № 1 Отеч. Зап. 1841 г.

3) У Красова преобладаетъ грусть, у Лермонтова — тоска и гнѣвъ.

Лермонтовъ не перестаетъ плѣнять, а Красова читаютъ немногіе, и немногіе знаютъ то или иное его произведеніе. Сравненіе Красова съ Лермонтовымъ, которые были современники и почти сверстники, освѣщаетъ какъ нельзя ярче всю мощь вдохновенія послѣдняго, и если мы остановились такъ обстоятельно на личности и поэзіи Красова, то — между прочимъ — для того, чтобы оттѣнить еще однимъ изъ многихъ примѣровъ, сколь важна мужественность характера и вдохновенія, наряду съ нѣжностью чувства, и настойчивость. Въ началѣ Красовъ былъ въ сравнительно-благопріятныхъ обстоятельствахъ: въ Москвѣ онъ очутился въ хорошемъ обществѣ, въ кружкѣ благородныхъ, живыхъ, увлекавшихся наукою и кипуче трудившихся товарищей; онъ имѣлъ друзей; онъ пользовался сочувствіемъ читателей. Начало службы также благопріятствовало. Словомъ, жизнь доставляла Красову не мало подходящаго матеріала. Но Красовъ не оправдалъ надеждъ. У него былъ «лиризмъ, эта чистая молитва души», по выраженію Гоголя, но онъ не былъ «обличителемъ неправды, нравственной дремоты». Красову недоставало ни мужества, ни глубины воспріятія. Самостоятельнаго содержанія въ его поэзіи и выраженія могучей индивидуальности нѣтъ.

Къ Красову можетъ быть примѣненъ тотъ приговоръ, который довольно давно уже былъ произнесенъ надъ лириками роднаго ему направленія въ статьѣ: «Лирическая поэзія послѣдователей Пушкина»[1]), хотя, конечно, несправедливо было бы распространить и на Красова положеніе, высказанное въ этой статьѣ: «всегдашній, несомнѣнный фактъ духовной праздности или нравственнаго ничтожества — безпрестанное обращеніе къ воспоминаніямъ». Мечта останется навсегда; она не умерла и въ наше время реализма; о мечтѣ мы можемъ сказать словами новѣйшаго поэта:

Никто твоихъ стремленій безграничныхъ
Остановить не въ силахъ никогда,

---

1) Московское Обозрѣніе, кн. II, М. 1859.

Ни сила зла, ни рѣчь друзей двуличныхъ,
Ни злость врага, ни горькая нужда....
Кто губитъ зломъ людей правдивыхъ взглядъ,
Тому твой міръ, какъ небо, недоступенъ;
А онъ такъ чистъ и такъ глубоко святъ.... [1]).

---

1) «Мечты» *А. Ѳ. Иванова-Классика.*

На могилу И. С. Тургенева [1]).

Въ настоящій моментъ Петербургъ встрѣчаетъ останки поэта, отнятаго у насъ смертью мѣсяцъ назадъ. Далекое разстояніе отдѣляетъ насъ отъ мѣста этого послѣдняго прощанія съ писателемъ, произведенія котораго столь многіе годы были нашимъ любимымъ чтеніемъ. Мы лишены возможности почтить поэта задушевнымъ прости и не услышимъ сегодня, что скажутъ надъ его гробомъ представители нашей литературы, науки и общества о заслугахъ Тургенева для блага родной земли, которой онъ не переставалъ служить до послѣднихъ дней своимъ искреннимъ и глубоко прочувствованнымъ словомъ. Но дальность разстоянія не устраняетъ нашего участія. Наши мысли были неразлучны все время съ прахомъ поэта; онѣ сопровождали его съ юга до могилы и, безъ сомнѣнія, и сегодня перенесутъ всѣхъ насъ къ ней въ ряды чтителей погребаемаго поэта.

Долженъ былъ помянуть оставившій насъ поэтъ и тамъ, гдѣ изучаются произведенія литературъ иностранныхъ. Тургéневъ не только нашъ національный поэтъ, онъ вмѣстѣ и общеевропейскій писатель: имъ не только гордится все славянство, его призналъ своимъ весь Западъ Европы, отведшій ему мѣсто въ ряду великихъ міровыхъ художниковъ. Вамъ извѣстно содержаніе блистательныхъ рѣчей Ренана и Абу, извѣстно сочувствіе къ литературной дѣятельности нашего поэта, выраженное Франціей. Нѣ-

---

1) Кіевлянинъ 1883 г., №№ 210, 212.

2) Произнесено — вмѣсто лекціи — 27 сентября 1883 г. въ университетѣ св. Владиміра и на Высшихъ Женскихъ Курсахъ.

мецкая литература не можетъ, конечно, забыть, что симпатіи Тургенева не принадлежали всецѣло нѣмцамъ, но и она не можетъ отказать ему въ признаніи его общеевропейскаго значенія. Тургеневъ занимаетъ по праву мѣсто въ ряду первостепенныхъ поэтовъ реальной школы, которая повсюду начала заступать мѣсто романтическаго реализма, начиная съ 40-хъ годовъ. Оставаясь вполнѣ народнымъ поэтомъ, Тургеневъ воспринималъ вмѣстѣ съ тѣмъ передовыя теченія европейской мысли, которая съ начала прошлаго царствованія уже имѣла широкій доступъ и къ намъ. Мы вполнѣ стали тогда участниками общеевропейскаго интеллектуальнаго движенія, наши вклады въ него стали замѣтнѣе для Запада, онъ началъ нами интересоваться болѣе прежняго и, хоть все еще не разстался со многими грубыми предразсудками и предубѣжденіями, но не можетъ уже отказать намъ въ уваженіи, по крайней мѣрѣ въ уваженіи къ нѣкоторымъ нашимъ талантамъ и ко многимъ произведеніямъ нашего искусства. Глубокій интересъ къ произведеніямъ Тургенева явился первымъ симптомомъ признанія вклада русской народности въ міровую литературу. Ни одинъ изъ нашихъ писателей не пользовался и не пользуется такимъ уваженіемъ за границею, какъ Тургеневъ.

Долго на Западѣ совсѣмъ не были знакомы съ нашей литературой. Съ конца прошлаго столѣтія въ Германіи начали выходить періодическія изданія, имѣвшія цѣлью знакомить нѣмцевъ съ русской жизнью и литературой; являлись и переводы, какъ нѣкоторыхъ нашихъ народныхъ пѣсней, такъ и произведеній новыхъ поэтовъ; изъ древней нашей литературы знали Нестора, да «Слово о полку Игоревѣ». Такой интересъ проявляли нѣмцы, стоявшіе впереди другихъ націй въ изученіи литературы всѣхъ странъ и народовъ. Въ другихъ земляхъ Запада нашей литературой интересовались еще меньше. Теперь не то: новѣйшія произведенія Тургенева читались въ послѣднее время всѣмъ образованнымъ свѣтомъ, нерѣдко раньше во французскомъ переводѣ, чѣмъ въ русскомъ оригиналѣ; имя его весьма популярно даже въ сѣверной Америкѣ. Всюду находятъ для себя родное въ произве-

деніяхъ Тургенева; въ нихъ чуютъ и истинно-поэтическую душу, и глубокое универсальное пониманіе жизни русской и европейской, вытекающее изъ глубочайшаго проникновенія въ движеніе той и другой.

Рѣдко о какомъ изъ нашихъ поэтовъ можно сказать это въ такой мѣрѣ, рѣдко кто изъ нихъ примирялъ въ такой мѣрѣ живую любовь къ народности, пониманіе характера народа и его ближайшей прошлой исторіи и передовыя стремленія, постепенно обновлявшіяся приливомъ западныхъ идей и возводившія взоры къ Западу. Это оттого, что Тургеневъ на родинѣ успѣлъ сразу найти надлежащую дорогу въ окружавшемъ его мракѣ и душной атмосферѣ, примкнулъ къ лучшимъ людямъ 40-хъ годовъ и въ то же время рано усвоилъ себѣ все лучшее, что находилъ на Западѣ. Онъ мечталъ уже въ юности о поѣздкѣ туда, будучи убѣжденъ, что источникъ настоящаго знанія находится за границей. Извѣстно двухлѣтнее пребываніе его въ Берлинѣ по окончаніи курса по филологическому факультету, извѣстно, какъ одновременно со Станкевичемъ, Грановскимъ, Фроловымъ, Бакунинымъ онъ увлекался тамъ въ особенности модною тогда философіею Гегеля, которая казалась въ то время свѣточемъ знанія и истины во мракѣ неправды, господствовавшей на Руси. Тургеневъ «бросился внизъ головою въ «Нѣмецкое море», долженствовавшее очистить и возродить, и когда наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ, очутился «западникомъ» и остался имъ навсегда» (Литературныя и житейскія воспоминанія). Извѣстно далѣе, какъ и потомъ Тургеневъ не прерывалъ связи съ Западомъ, гдѣ и окончилъ свои дни.

Обогащая родную литературу, Тургеневъ вливалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и освѣжавшія живительныя струи въ литературы Запада. Онъ знакомилъ его съ малоизвѣстными дотолѣ особенностями славянскаго генія, славянскаго творчества и славянской поэтической натуры. Онъ вводилъ новые элементы въ общеевропейскую культуру, и за нимъ пошли нѣкоторые крупные таланты. Назову даровитаго Захеръ-Мазоха, который можетъ быть названъ от-

части южно-русскимъ поэтомъ, хотя и пишетъ по-нѣмецки. Муза его развилась, какъ и муза Тургенева, подъ впечатлѣніями родной природы, далеко западавшими въ чуткую душу юноши. Его фантазію плѣняли народныя сказанія, слышанныя имъ отъ малороссіянки, «прекрасной какъ Рафаэлева Мадонна», и когда для него настала пора самостоятельнаго творчества, наставникомъ его явился Тургеневъ и отчасти Гоголь. Я не стану называть другихъ, подражавшихъ Тургеневу въ особомъ, свойственномъ ему видѣ творчества. Выражу только сожалѣніе, что «Отцы и Дѣти» вызвали и другого рода литературу на Западѣ, лишенную истинной художественности и выводящую постоянно неузнаваемыхъ въ такомъ видѣ русскихъ нигилистовъ.

Итакъ, многое соединяетъ Тургенева съ Западомъ. Главная же связь — въ проникновеніи въ лучшіе и высшіе общечеловѣческіе помыслы и въ томъ коренномъ настроеніи, которое сдѣлало понятнымъ русскому человѣку и весьма популярнымъ у насъ новѣйшее направленіе, извѣстное теперь подъ именемъ пессимизма.

Все это достаточно объясняетъ, почему Тургенева нельзя не помянуть сегодня въ той аудиторіи, которая отведена для изученія міровой литературы. Русское изученіе этой послѣдней должно съ гордостью занести на свои страницы имя нашего поэта, какъ представителя въ современной европейской литературѣ передоваго направленія творчества и высшаго реализма, того реализма, который любовно относится ко всѣмъ лучшимъ влеченіямъ человѣческаго ума, сердца и фантазіи и не изгоняетъ ни одного изъ нихъ, какъ рутину, или остатокъ отжившей сантиментальности.

Почтимъ же оставившаго насъ поэта такъ, какъ подобаетъ чтить великихъ художниковъ, полюбимъ его созданія такъ, какъ любилъ ихъ самъ, отпечатлѣемъ въ нашемъ представленьи тѣ образы, которые въ такомъ обиліи и такой яркости предстаютъ въ его поэзіи. Впрочемъ, нѣтъ надобности и призывать къ тому: всѣ мы съ дѣтства читаемъ Тургенева, мы съ живымъ интересомъ слѣдили за выходомъ всѣхъ его произведеній, и мно-

гихъ изъ насъ еще недавно тронула скорбная исторія Клары Милличъ. Тургеневъ намъ дорогъ и много пріятныхъ часовъ провели мы за чтеніемъ его произведеній, много освѣжающихъ думъ они вызывали въ насъ.

Въ виду всего этого я прихожу въ робость, рѣшаясь говорить о Тургеневѣ, въ особенности когда вспомню, что правильная оцѣнка дѣятельности его немыслима безъ глубокаго пониманія основныхъ вопросовъ нашей жизни, нерѣдко составляющихъ предметъ рѣзкаго несогласія, когда вспомню, далѣе, обширную критическую литературу, которая такъ обстоятельно и нерѣдко такъ мѣтко выясняла значеніе дѣятельности Тургенева. Его сразу постигъ и привѣтствовалъ нашъ тонкій цѣнитель художественности Бѣлинскій, о немъ писали, далѣе, такіе талантливые критики, какъ Добролюбовъ и Писаревъ. Еще недавно нѣсколько чтеній было посвящено Тургеневу О. Ѳ. Миллеромъ. Назову также Григорьева, Н. И. Соловьева, М. Антоновича и др. Вообще наша критика съ полнымъ вниманіемъ отнеслась къ произведеніямъ Тургенева. Скудная по отношенію къ русской литературѣ, иностранная критика также имѣетъ рядъ очерковъ и оцѣнокъ литературной дѣятельности нашего поэта, и нѣкоторые изъ нихъ вышли изъ подъ пера такихъ цѣнителей, какъ Брандесъ. А сколько явилось статей и отзывовъ о Тургеневѣ со дня его смерти! Мы успѣли уже ознакомиться съ цѣлымъ рядомъ различныхъ сужденій объ умершемъ поэтѣ.

Если я рѣшаюсь говорить о Тургеневѣ послѣ такой разносторонней и полной горячей признательности характеристики его произведеній, то — изъ той же признательности и потому, что произведенія его представляютъ постоянно новый интересъ, невольно влекущій къ нимъ. Знаю, что также увлекали и увлекаютъ они и васъ, что всѣхъ насъ соединяетъ общая любовь къ поэту и благодарная память о немъ, и въ этой только увѣренности я рѣшился прервать наши обычныя занятія и посвятить этотъ часъ памяти совершенно и на всегда оставляющаго насъ нынѣ поэта. Я позволилъ себѣ думать, что вы не посѣтуете за

то, что я вслѣдъ за другими повторю предъ вами очеркъ дѣятельности и міросозерцанія дорогого всѣмъ намъ поэта, и не осудите меня, если не найдете ничего новаго въ моемъ очеркѣ. Пусть надолго сохранитъ для васъ прелесть новизны самый предметъ.

Излишня, конечно, подробная характеристика всѣмъ извѣстныхъ произведеній Тургенева. Намъ хорошо памятенъ цѣлый рядъ нарисованныхъ въ нихъ образовъ. Всѣ они намъ близки и дороги: то русскіе люди нѣсколькихъ поколѣній. Всѣ они говорятъ нашему сердцу. Отъ нѣкоторыхъ мы отойдемъ съ болью въ сердцѣ и печалью, но поэтъ никогда не настроитъ насъ къ безучастности, къ презрѣнію, ненависти. Кисть его мягка, ею правитъ любящій духъ. Большинство Тургеневскихъ образовъ постоянно насъ влекутъ къ себѣ. Мы не видимъ уже въ жизни нѣкоторыхъ оригиналовъ этихъ образовъ, но тѣмъ не менѣе мы испытываемъ какую-то особенную прелесть уйти съ ними въ прошлое, мы вполнѣ раздѣляемъ ихъ горе и немногія свѣтлыя радости, мы живемъ съ ними тою жизнію, какою жили наши отцы. Другіе изъ образовъ намъ очень и очень хорошо знакомы. Мы ихъ часто встрѣчаемъ, а нѣкоторые изъ нихъ намъ особенно близки: разумѣю нѣкоторые изъ второй серіи произведеній Тургенева, начавшейся повѣстью «Наканунѣ». Нѣкоторымъ несимпатичны эти образы, но надо же стать на гуманную точку зрѣнія самого поэта и оцѣнить художественную ихъ правду. Нечего отрицать въ нихъ эту послѣднюю. Невозможно, конечно, гадать о будущемъ, но все-таки думается, что время сгладитъ нетерпимость. Иначе взглянутъ на эти образы тѣ, которые ихъ еще не оцѣнили. Со вниманіемъ приглядятся къ отпечатку того, что пережили тѣ люди, почувствуютъ болѣе участія къ выраженію скорби въ ихъ лицахъ и къ неизбѣжнымъ увлеченіямъ и преувеличеніямъ...

Да, въ произведеніяхъ Тургенева встаетъ удивительно-трогательная и увлекательная — даже въ скорби, которую порождаетъ — картина русской жизни за послѣднее полустолѣтіе и

даже болѣе: иногда Тургеневъ въ немногихъ и мѣткихъ чертахъ обрисовывалъ отцовъ и дѣдовъ выводимыхъ имъ личностей, и нѣкоторые портреты чрезвычайно наглядно знакомятъ насъ съ людьми конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Предъ нами генетическое развитіе характеровъ и идей, которое можетъ быть вполнѣ постигнуто лишь при цѣльномъ обзорѣ всѣхъ произведеній Тургенева. Какъ живыя, проходятъ предъ нами поколѣнія одно за другимъ, повѣдая намъ свои сомнѣнія, горести, чаянія, надежды, а иногда и безнадежность и отчаяніе. Со многихъ концовъ Руси собраны ея сыны въ этой картинѣ: есть и представители нашего юга, хотя въ небольшомъ сравнительно количествѣ; припомнимъ «Полтавскаго Демосѳена»—Михалевича. Какое разнообразіе оттѣнковъ русскаго народнаго характера! Какая послѣдовательность и единство направленія въ творчествѣ самого поэта!

Двѣ среды постоянно привлекали его вниманіе. Съ одной стороны, онъ горячо и постоянно одинаково любилъ русскій народъ, тотъ народъ, на котораго возлагали великія надежды славянофилы и который, дѣйствительно, чистъ душою, свѣжъ и заключаетъ въ себѣ неисчерпаемую сокровищницу задатковъ къ высшему моральному и умственному преуспѣянію, что бы ни говорить объ его невѣжествѣ, косности, малосознательности и т. п., народъ, который составляетъ основу здороваго и правильнаго развитія. Въ этомъ случаѣ Тургеневъ приближался къ славянофиламъ, хотя ему казалось, что онъ не раздѣлялъ ихъ мнѣній. Съ другой стороны, Тургеневъ со вниманіемъ слѣдилъ за настроеніемъ нашихъ передовыхъ людей, настроеніемъ въ большинствѣ случаевъ отрицательнымъ, сообразно съ характеромъ ихъ обстановки и нашей новѣйшей жизни. Тургеневъ былъ изобразителемъ не исключительно царства мертвыхъ душъ, но и душъ живыхъ, какъ бы ни были иной разъ мелки порывы этихъ людей, какъ бы ни были ограничены ихъ дарованія отъ природы, какъ бы ни были неправильны ихъ воззрѣнія. Тургеневъ рисовалъ образы людей, не мирившихся съ житейскою пошлостію,

встрѣчавшихся относительно часто, а не обособленными единицами, подобно Инсарову, и отводилъ имъ надлежащее мѣсто въ окружавшемъ ихъ обществѣ. Герои Тургенева не ходульные, а настоящіе люди, иной разъ съ большими дарованіями и силою характера, но не геніи, которые рѣдки, и нужно удивляться въ этомъ случаѣ художественному такту нашего поэта.

Я оставлю въ сторонѣ типы, заимствованные изъ чисто-народной среды, и напомню лишь о людяхъ, явившихся представителями прогрессивнаго движенія Россіи въ повѣстяхъ и разсказахъ Тургенева. Личности лжелиберальныя для насъ неинтересны.

Вотъ прежде всего люди 40-хъ годовъ. Межъ ними еще было нѣсколько романтиковъ, и вотъ что говорится при изображеніи одного изъ нихъ — Пасынкова: «Въ устахъ его слова: «добро», «истина», «жизнь», «наука», «любовь», какъ бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложнымъ звукомъ. Безъ напряженія, безъ усилія вступалъ онъ въ область идеала; его цѣломудренная душа во всякое время была готова предстать предъ «святынею красоты»; она ждала только привѣта, прикосновенія другой души... Пасынковъ былъ романтикъ, одинъ изъ послѣднихъ романтиковъ, съ которыми мнѣ случалось встрѣтиться. Романтики теперь, какъ ужъ извѣстно, почти вывелись, по крайней мѣрѣ между нынѣшними молодыми людьми ихъ нѣтъ. Тѣмъ хуже для нынѣшнихъ молодыхъ людей!» Большинство людей 40-хъ годовъ были уже свободны отъ романтическаго увлеченія стариной и фантастикой, они не преклонялись предъ рыцарствомъ, рыцарскія чувства въ нихъ смѣнились другими.

Они поддались другой сторонѣ романтики, подпали вліянію байронизма, которое сказывалось въ началѣ и въ Тургеневѣ. Фаталисты межъ ними нерѣдки; начинали вырабатываться праздные и пустые люди, которые со временемъ назовутъ себя лишними. Часто въ ряду ихъ встрѣчаются люди съ высшими интересами. Послѣднихъ увлекаетъ вмѣстѣ съ Шеллингомъ Гегель. Они зачитываются имъ и ведутъ продолжительные горячіе

разговоры. Образцомъ такихъ бесѣдъ является споръ Лаврецкаго съ Михалевичемъ. «Четверти часа не прошло, какъ уже загорѣлся между ними споръ, одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на который способны только русскіе люди. Съ оника, послѣ многолѣтней разлуки, проведенной въ двухъ различныхъ мірахъ, не понимая ясно ни чужихъ, ни даже собственныхъ мыслей, цѣпляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметахъ, самыхъ отвлеченныхъ—и спорили такъ, какъ будто дѣло шло о жизни и смерти обоихъ: голосили и вопили такъ, что всѣ люди всполошились въ домѣ»... «Религія, прогрессъ, человѣчность» постоянно помпались въ разговорахъ людей, знавшихъ высшіе интересы въ жизни.

Одни изъ свѣжихъ людей безсильны что-нибудь сдѣлать; они изнемогаютъ въ борьбѣ, и гибелью русскихъ людей являлось «томленіе скуки».

Но недюжинные Рудины производятъ движеніе въ окружающей ихъ средѣ, не даютъ ей уснуть. Затѣваются широкіе планы, ведутся толки о прогрессѣ.

Нѣкоторые изъ этихъ передовыхъ людей присматриваются къ крестьянину; они раздѣляютъ ученіе о народности; они ждутъ многаго отъ здоровой народной среды.

Толку однако отъ всего этого выходитъ мало. Знаменитый вопросъ: «Русь, Русь, куда ты несешься?» оставался безъ отвѣта. Трудно сказать, было ли ясное сознаніе, «въ чемъ собственно состояло дѣло». При всѣхъ своихъ благихъ намѣреніяхъ лучшіе люди не въ состояніи были ихъ осуществить, хотя бы и имѣли запасъ энергіи, и потому оказывались лишними въ этомъ мірѣ, столь несогласномъ съ ихъ идеалами.

Либеральные аристократы, съ высшими principes, носившіе въ себѣ идеи англійской знати, не имѣя много простора для общественной дѣятельности кромѣ чиновничьей службы, уходили въ мечты о личномъ счастьѣ. Не удавалось оно — и жизнь уже не имѣла для нихъ особой цѣны, хотя и получали они иной разъ, какъ Лаврецкій, «спартанское воспитаніе».

Лучшею повѣстью Тургенева этой поры, кажется, можно признать «Дворянское Гнѣздо».

Особенно привлекателенъ образъ Лизы, дышущій необычайной чистотой и свѣжестью чувства, хотя, быть можетъ, нѣкоторые найдутъ его нѣсколько блѣднымъ. Какъ ни далекъ характеръ Лизы отъ нашего времени, но все-таки нельзя не признать, что Лиза является весьма симпатичною представительницею средней женщины той поры, когда наша женщина еще не чуяла призыва къ новой жизни и къ новой дѣятельности, но проявляла все-таки высокія достоинства своей женственной природы, когда ей «и въ голову не приходило, что она патріотка, но ей было по душѣ съ русскими людьми». Лиза—наша провинціальная русская дѣвушка, со всѣми добрыми ея сторонами, дѣвушка той поры, когда провинція мало еще участвовала въ обмѣнѣ идей, сосредоточивавшемся преимущественно въ центрахъ, когда женщина еще воспитывалась и жила преданіями мало тронутой старины. Къ доносившемуся до нея новому вѣянію она относилась мягко, но стойко. «Не говорите объ этомъ легкомысленно», сказала Лиза Лаврецкому, когда тотъ нѣсколько насмѣшливо отнесся къ вѣрѣ ея, полной искренности. «Образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ».

До сихъ поръ мы были съ Тургеневымъ въ мірѣ барства, чиновничества и крестьянства.

Передовые люди первыхъ двухъ круговъ — люди слова, которые не имѣли силы или простора для дѣла, или же люди, либеральничавшіе для карьеры. Послѣдніе ушли нѣсколько впередъ по сравненію съ благонамѣренными, но не знавшими на дѣлѣ высшихъ принциповъ личностями, которыя были воспроизведены Гоголемъ.

Была близка перемѣна. Чувствовалось, что наступилъ канунъ иного времени. То, дѣйствительно, былъ канунъ многихъ важныхъ событій, начиная съ освобожденія крестьянъ. Смутно

носился идеалъ дѣятельности въ общеніи съ народомъ и для всенароднаго блага.

Представителемъ такого стремленія въ повѣсти «Наканунѣ» явился болгаринъ Инсаровъ. Новыхъ русскихъ дѣятелей на поприщѣ общественности не было и Тургеневъ вывелъ болгарина. Рѣчь его касалась «предметовъ высокихъ», освобожденія родины; она дышала страстною преданностью народному дѣлу, и чарующая сила ея пробудила высшіе порывы въ женщинѣ. Елена поддалась обаянію великаго дѣла, полюбила со всѣмъ пыломъ свѣжей души человѣка дѣла и пошла за нимъ. То было знаменіе поворота въ положеніи и стремленіяхъ русской интеллигентной женщины. Говоря о повѣсти «Наканунѣ», нельзя не указать еще на широту и прозорливость политической мысли Тургенева въ концѣ 50-хъ годовъ. Инсаровъ былъ предвѣстникомъ будущности Болгаріи, ея обновленія, которому суждено было совершиться 19 лѣтъ спустя, благодаря горячей симпатіи русскаго народа къ славянскому дѣлу, и одна изъ болгарскихъ газетъ, говоря о смерти Тургенева, весьма тепло отзывается о повѣсти «Наканунѣ». Въ послѣднее время мысль о всеславянскомъ призваніи Россіи, повидимому, уже не находила поборника въ Иванѣ Сергѣевичѣ, который называлъ себя «кореннымъ, неисправимымъ западникомъ».

Повѣсть эта была гранью, отдѣлившею второй періодъ литературной дѣятельности Тургенева, время дѣла отъ времени слова. Она вызвала у Добролюбова вопросъ: «когда же, наконецъ, наступитъ настоящій день?». Наступилъ онъ скоро, но открылся не весело, утромъ пасмурнымъ и холоднымъ; солнце пробивалось изъ-за тучъ, но не грѣло. Шла кипучая работа мысли и дѣла. Лишнихъ людей теперь мало. «Помнишь, пишетъ Нежданов къ своему пріятелю, была когда-то — давно тому назадъ — рѣчь о «лишнихъ» людяхъ, о Гамлетахъ? Представь: такіе «лишніе люди» попадаются теперь между крестьянами! Конечно, съ особымъ оттѣнкомъ...». Противъ старосвѣтскихъ помѣщиковъ, воспитанныхъ въ идеяхъ барства, изъ которыхъ иные дѣлали тѣ или

другія уступки новому духу времени, выступило молодое поколѣніе.

Не барская среда должна была поставить передовыхъ людей этого новаго времени. Представитель его Базаровъ—«лѣкарскій сынъ и дьячковскій внукъ», а «дѣдъ его землю пахалъ». По происхожденію (неизвѣстно — и не по воспитанію ли), слѣдовательно, онъ принадлежалъ отчасти къ той средѣ, изъ которой вышли Чернышевскій, Добролюбовъ, Щаповъ. Отецъ Бѣлинскаго также былъ лѣкарь, а дѣдъ — дьяконъ.

Время недѣятельнаго идеализма прошло; новое поколѣніе пришло къ нигилизму. И пошло лишь дальше по тому пути, по которому направлялось уже прежнее передовое поколѣніе, впадавшее иногда въ скептицизмъ и разочарованье[1]). Нигилизмъ практическій, который теперь уже не маскировался въ либеральныя фразы, изобразилъ Писемскій въ романѣ «Тысяча душъ». Герой этого романа Калиновичъ заботится о матеріальныхъ благахъ; стремясь принести пользу обществу, онъ дѣйствуетъ старымъ оружіемъ. Ярко отразилось то же направленіе и на провинціальныхъ барышняхъ.

Совсѣмъ иной нигилизмъ у Базарова. Онъ также человѣкъ энергическій, не желающій тратить время по напрасну, но реалистъ иного пошиба. У него на первомъ мѣстѣ не личная жизнь, не жизнь личнаго чувства, но *дѣло*. Неудачи любви не даютъ, по новому ученію, права на раскисаніе. Да и самая любовь понималась теперь иначе: ее старались объяснить реальными основами, хотя находили въ самихъ себѣ противорѣчіе такому взгляду, и Базаровъ «съ негодованіемъ открывалъ романтика въ самомъ себѣ». Иначе относились теперь и къ природѣ, не съ точки зрѣнія старой эстетики. Вновь было-ожившая любовь къ поэзіи Пушкина замерла; культъ прежней поэзіи исчезъ. Во всемъ имѣлась въ виду прямая польза. Люди новаго направленія питали презрѣніе къ фразѣ и блестящей внѣшности, ко всему напосному и къ

1) Вспомнимъ, что и славянофилъ Лавренкій «давно не обращался къ Богу».

высшему свѣтскому обществу «феодаловъ»: по словамъ Базарова, «въ большомъ свѣтѣ такихъ людей, какъ его мать, днемъ съ огнемъ не сыскать». Онъ былъ не прочь идти противъ безсознательныхъ народныхъ преданій. Толки о предстоявшей крестьянской реформѣ внушали ему мало довѣрія. Онъ не задавался широкими общественными цѣлями и выдвигалъ культъ положительной науки; любимыя его книги—по естествовѣдѣнію. Правила прежней морали и prіncір'ы не по части этихъ людей. Они критически относились ко всему и требовали для всего положительныхъ основъ.

Въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» Тургеневъ первый[1]) вскрылъ роковой и жгучій вопросъ, который не разъ уже болѣзненно отзывался въ нашемъ общественномъ организмѣ, основной историческій вопросъ, всякій разъ возникающій съ новою силой въ моменты, когда вслѣдствіе стѣсненія и замедленія правильнаго народнаго развитія въ немъ становятся возможны скачки, когда въ двухъ смежныхъ поколѣніяхъ обнаружатся рѣзкія различія. Это вопросъ не только нашей жизни; зналъ его и Западъ, и съ этой точки зрѣнія романъ «Отцы и Дѣти» пріобрѣтаетъ особое значеніе.

Тургеневъ затронулъ въ немъ самое больное мѣсто нашего времени. Вамъ, безъ сомнѣнія, уже не довелось быть свидѣтелями спора, который возгорѣлся тотчасъ по появленіи «Отцовъ и Дѣтей», но отзвуки его еще не умолкли. Въ Тургеневѣ многіе увидѣли *обличителя*, какимъ онъ никогда не былъ.

Это привело къ неправильному взгляду на «Отцы и Дѣти» и на послѣдующія произведенія Тургенева. Но подобный взглядъ опровергается какъ фактами, обнародованными самимъ Тургеневымъ въ 1868 г., такъ и романомъ «Новь», вышедшимъ въ 1878 г.

Въ Базаровѣ справедливо видятъ типъ переходнаго времени. Въ немъ было воспроизведено «едва народившееся, еще бродившее начало» («По поводу Отцовъ и Дѣтей»). Въ «Нови» видимъ

1) «Меня смущалъ слѣдующій фактъ: ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣчалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду». Слова Тургенева, «По поводу Отцовъ и Дѣтей».

дальнѣйшее развитіе тѣхъ тенденцій, которыми были проникнуты дѣти начала 60-хъ годовъ.

Теперь мы видимъ людей, примѣняющихъ принципы того времени къ политической дѣятельности. Не одобряя славянофильскаго ученія, они не думаютъ «лѣчиться народомъ — соприкосновеніемъ съ нимъ», они хотятъ сами дѣйствовать на народъ. Есть у нихъ и пособницы, одна изъ которыхъ подобна «римлянкѣ временъ Катона». Мы опять встрѣчаемъ прежнее истинно-художественное объективное отношеніе къ этимъ людямъ, чуждое злобы и горечи, въ какихъ нерѣдко готовы были заподозрить Тургенева. Напрасно говорятъ объ упадкѣ его таланта. Не столько темныя стороны оттѣнены въ этихъ людяхъ кружка «безымянной Руси», идущихъ «въ народъ», сколько ихъ *невольныя ошибки*.

Эти люди ошибаются и ошибка ихъ роднитъ ихъ съ поколѣніемъ начала 60-хъ годовъ; народъ не понимаетъ ихъ и скажетъ о нихъ то же, что сказалъ одинъ мужикъ про Базарова: «извѣстно — баринъ», или что говорили про Нежданова: одинъ «пріѣдя домой разсказывалъ, что ему на встрѣчу французъ попался, который кричалъ — непонятно таково, картаво». Другіе приняли Нежданова за начальника. И Неждановъ остался недоволенъ собой, какъ и Базаровъ, но отличается отъ послѣдняго тѣмъ, что извѣрился въ свое дѣло и въ свои силы. Онъ проситъ однако любимую дѣвушку вспоминать о немъ, «какъ о человѣкѣ тоже честномъ и хорошемъ». Паклинъ такъ отозвался о немъ: «Чудесный былъ человѣкъ! Только не въ свою колею попалъ! Онъ такой же былъ революціонеръ, какъ и я! Знаете, кто онъ собственно былъ? *Романтикъ реализма!*». Нѣкоторые изъ кружка Нежданова не разстались однако съ вѣрой въ свое дѣло и послѣ неудачъ, именно Маріанна и Соломинъ. Интересна личность послѣдняго въ характеристикѣ Паклина: «Соломинъ! Этотъ молодцомъ. Вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросилъ и лучшихъ людей съ собою увелъ... Теперь, говорятъ, свой заводъ имѣетъ — небольшой — гдѣ-то тамъ въ Перми, на какихъ-то

артельныхъ началахъ. Этотъ дѣла своего не оставитъ! Онъ продолбитъ!—Клювъ у него тонкій—да и крѣпкій зато. Онъ—молодецъ! А главное: онъ не внезапный исцѣлитель общественныхъ ранъ. Потому, вѣдь мы, русскіе, какой народъ? Мы все ждемъ: вотъ молъ придетъ что-нибудь, или кто-нибудь и разомъ насъ излѣчитъ, всѣ наши раны заживитъ, выдернетъ всѣ наши недуги, какъ больной зубъ. Кто будетъ этотъ чародѣй? Дарвинизмъ? Деревня? Архипъ Перепентьевъ? Заграничная война?—Что угодно! только, батюшка, рви зубъ!!—А Соломинъ—не такой; нѣтъ, онъ зубовъ не дергаетъ—онъ—молодецъ»!

Не забудемъ того, что лица въ «Нови», поставленныя рядомъ съ этими людьми, иногда отличаются совѣстью, на которой «петербургскій лакъ наведенъ», какъ, напр., тайный совѣтникъ и каммергеръ Сипягинъ, жена котораго «покровительствовала всѣмъ искусствамъ, давала музыкальные вечера и устраивала дешевыя кухни», или Калломѣйцевъ, который «считался однимъ изъ надежнѣйшихъ чиновниковъ своего министерства».

Ставятъ въ вину Тургеневу то, что онъ не нарисовалъ истинныхъ героевъ молодого поколѣнія. Говорятъ, что живя за границей, онъ утратилъ надлежащее пониманіе русской жизни, что талантъ его увядалъ. Но это едва ли справедливо. Легко ли поставить теперь идеалы, да и есть ли теперь цѣльность міровоззрѣнія, вошедшаго въ общее сознаніе? Есть ли всенародное единеніе въ идеалахъ? Мыслимо ли для людей, выдающихъ себя за носителей передовыхъ началъ, то единеніе съ народомъ, которое было возможно для Инсарова? Какъ 20 лѣтъ назадъ передовые баре жаловались на народную спячку, такъ теперь то же говоритъ въ «Нови» представитель современнаго кружка, стремящагося къ реформѣ народной жизни по его началамъ: припомнимъ стихотвореніе «Сонъ», написанное Неждановымъ. Въ припискѣ послѣдній говоритъ: «Да, нашъ народъ спитъ... Но, мнѣ сдается, если что его разбудитъ—это будетъ не то, что *мы* думаемъ»... Картина всеобщей спячки должна была рисоваться нетерпѣливымъ людямъ, которые напрасно ожидали отклика на ихъ при-

зывы. Романъ Тургенева ярко освѣщаетъ причины неудачи этихъ людей. Они требуютъ, чтобы народъ шелъ за ними, но заключаютъ ли ихъ убѣжденія ту ясность и народную правду, которымъ подчинится всенародный умъ? Основаны ли они на надлежащемъ знакомствѣ съ народомъ? Незыблемы ли эти убѣжденія? И не правъ ли въ этомъ случаѣ человѣкъ стараго времени, который «отстаивалъ молодость и самостоятельность Россіи», который «доказалъ невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ... не оправданныхъ знаніемъ родной земли»?..

Въ моменты отрицанія иногда не задаются установленіемъ прочныхъ положительныхъ вѣрованій, не созидаютъ прочныхъ основъ, которыя вырабатываются продолжительнымъ трудомъ, и такой моментъ былъ схваченъ въ развитіи дѣтей поколѣнія, къ которому принадлежалъ Базаровъ. Отрицаніе было рѣзко, потому что заботилось прежде всего о разчисткѣ почвы. Тургеневъ постигъ значеніе этого момента, его трагизмъ и всю силу борьбы. Онъ перенесъ роковой вопросъ въ литературу. Не дѣло художника давать прямое и положительное указаніе, какъ надо идти впередъ, хотя геніальные таланты, какъ Рабле, создаютъ иногда утопіи, могущія сохранять надолго значеніе путеводныхъ началъ. Тургеневъ не отличался такой широтой творчества. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ художникамъ, которые только закрѣпляютъ въ общественномъ сознаніи постановку великихъ вопросовъ жизни, ставятъ ихъ честно, глядятъ прямо въ глаза правдѣ и тѣмъ приносятъ великую пользу родной землѣ. Въ этомъ отношеніи Тургеневъ всегда стоялъ на уровнѣ призванія художника, можно сказать — до конца. Въ послѣднихъ крупныхъ произведеніяхъ его видимъ прекрасный образецъ соціальнаго романа. Нужно удивляться, какъ въ теченіе 40 съ лишнимъ лѣтъ онъ постоянно умѣлъ идти въ уровень съ истинными потребностями времени, нужно отдать справедливость его чуткости и способности переносить читателя въ тайники передовыхъ общественныхъ помысловъ. Пора оцѣнить его любовное отношеніе и къ героямъ времени, столь непохожее на то, когда впервые слагались убѣжденія Тур-

гепева. Можно пожалѣть, что онъ провелъ послѣдніе годы за границей, но можно также спросить: неужели для вѣрнаго пониманія и воспроизведенія извѣстныхъ явленій надо постоянно и непрерывно сидѣть на мѣстѣ? Не за границей ли были написаны и «Записки охотника»? И не видимъ ли мы и въ «Нови» характерную рѣчь, тонкое наблюденіе и ту мастерскую обрисовку личностей, которая составляла достоинство прежнихъ произведеній Тургенева? Вспомнимъ, напр., фигурку Паклина, который сочувствуетъ новымъ людямъ, но и портитъ имъ, благодаря ничтожеству своего характера, и который не пользуется сочувствіемъ ни той, ни другой стороны.

Я напомнилъ о содержаніи произведеній Тургенева, изображавшихъ ближайшую русскую дѣйствительность и передовыхъ ея людей и перечислилъ лишь главные характеры, въ нихъ выведенные, оставляя въ сторонѣ рядъ характеровъ менѣе энергическихъ и самостоятельныхъ, которые въ каждое время занимаютъ срединное положеніе, колеблясь между рѣшительнымъ слѣдованіемъ за новымъ вѣяніемъ и боязнью открыто отречься отъ рутины. Не касаюсь я и тѣхъ личностей, которыя оказываются эпигонами, какъ, напр., нѣкоторые баре въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Тургенева.

Я не буду останавливаться на недавней его новеллѣ «Пѣснь торжествующей любви», такъ мастерски воспроизведшей характеръ итальянскихъ новеллъ времени Возрожденія, не стану говорить о другихъ фантастическихъ произведеніяхъ, отличающихся удивительною пластикою, не послѣдую за поэтомъ и въ тѣ моменты, когда онъ высоко возносился надъ землею и глядѣлъ на царства міра, когда онъ лицомъ къ лицу становился съ вѣковѣчными загадками жизни, когда и въ немъ прорывался мистицизмъ, отъ котораго не отрѣшиться человѣку.

Все изложенное свидѣтельствуетъ о разносторонности таланта Тургенева и о богатыхъ родникахъ его поэзіи, которая реальна въ высшемъ значеніи этого слова: въ основѣ ея постоянно просвѣчиваетъ отношеніе къ высшимъ вопросамъ нашего существованія.

Это сообщаетъ особый, грустный характеръ поэзіи Тургенева, къ выясненію котораго и къ характеристикѣ общаго міросозерцанія Тургенева я теперь и обращаюсь.

Извѣстны постоянные сюжеты поэзіи: человѣкъ и отношеніе его къ природѣ.

Въ изображеніи человѣка Тургеневъ слѣдуетъ основному направленію поэтическаго настроенія новѣйшаго времени. Новѣйшая поэзія не знаетъ душевной гармоніи, которая сказывалась иногда въ извѣстные періоды развитія человѣчества. Въ современной поэзіи замѣчается болѣе чѣмъ въ какой-либо другой разорванность и безпокойство поэтической мысли, проявлявшееся уже въ романтикѣ (см. интересный этюдъ итальянскаго ученаго Графа «Dello spirito poetico de' tempi nostri»).

У Тургенева постоянно выступаетъ та неудовлетворенность, выносимая изъ созерцанія общественной жизни, которая издавна водворилась въ передовой нашей поэзіи; то же грустное настроеніе вызывало въ немъ и обращеніе къ природѣ.

Припомнимъ еще разъ, каковы главные герои Тургенева. Мы не встрѣтимъ въ нихъ покоя и самодовольства; они недовольны и свѣтомъ, и собою; часто они глубоко подавляются сознаніемъ своего безсилія или слабости, столь присущимъ русской природѣ; у нихъ не хватаетъ полноты энергіи и силы характера, и оказывается, какъ говоритъ Неждановъ, что «вся суть не въ убѣжденіяхъ, а въ характерѣ». Какъ бы ни была симпатична въ глазахъ автора та или иная личность, онъ всегда найдетъ и увидитъ въ ней и недостатки, и читатель не найдетъ успокоенія. Мы встрѣчаемся здѣсь съ высокимъ достоинствомъ Тургеневскаго творчества, съ такою особенностью, которая въ послѣдніе годы создала Тургеневу не мало враговъ у насъ. Разумѣемъ характеръ реализма Тургенева, высшую его правдивость, чуждую партіозности. У Тургенева нѣтъ подрумяниванія дѣйствительности; онъ былъ правдивъ и честенъ и не прилаживался къ господствовавшему тону. Ему нечего было заискивать. Широта гуманнаго отношенія къ людямъ обезпечивала Тургенева

отъ односторонности и ставила его постоянно на уровнѣ лучшихъ стремленій, въ какой бы партіи они ни сказывались. Встрѣтилъ Тургеневъ крайности въ людяхъ новаго направленія — онъ отмѣтилъ и ихъ, но обрисовалъ при этомъ, какъ правдивый художникъ. Создавая романъ «Отцы и Дѣти», Тургеневъ не думалъ, что его правдивое повѣствованіе будетъ принято, какъ натравливаніе, что слово нигилистъ обратятъ въ кличку съ такимъ значеніемъ, какого не придавалъ онъ самъ. Тургеневъ не отрицалъ честности въ новыхъ людяхъ, видѣлъ, что исходнымъ пунктомъ ихъ являлась любовь къ правдѣ, что въ томъ основномъ стремленіи они сходились съ прежними идеалистами; къ сожалѣнію, этого послѣдняго не хотѣли признать ни тѣ, ни другіе. А вѣдь лучшіе люди и того и другого поколѣнія равно любили родину! Тургеневъ былъ чуждъ предвзятыхъ идей, и вполнѣ можно повѣрить тому, что онъ написалъ «По поводу Отцовъ и Дѣтей», или тому, что онъ сообщилъ одному нѣмецкому критику 16 апрѣля 1879 г.: «Вы сами лучше меня понимаете, что писатель не облекаетъ въ образы никакихъ предвзятыхъ идей; все выростаетъ изъ души его, почти полусознательно. Если бы мнѣ понадобилось опредѣлить истинную основу своей дѣятельности, я бы сказалъ такъ: «Я писалъ потому, что меня угнетала потребность писать». Свой народъ, человѣческая жизнь, человѣческая физіогномія — вотъ опредѣленныя данныя; писатель дѣлаетъ изъ нихъ, что можетъ... и что онъ иначе не въ состояніи сдѣлать. Это весьма неопредѣленная теорія; для меня же она — единственная». Теорія эта можетъ наилучше соединить новѣйшее направленіе литературы съ тѣмъ, которое сказывалось въ лучшихъ произведеніяхъ нашей литературы прежняго времени, напр., у Пушкина. У Тургенева находимъ форму реализма, какую нелегко можно встрѣтить среди частыхъ искаженій ея. Онъ не «отправлялся отъ идей», онъ не «проводилъ идей». Онъ, по собственному его признанію, никогда не покушался «создавать образъ», если имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо. Нельзя назвать Тургенева писателемъ тенденціознымъ или же, наоборотъ, безцвѣт-

нымъ. Поэтъ рисуетъ образы, какъ «жизнь складывалась» и какъ ему подсказывало воспроизводившее ее творчество; ему нѣтъ дѣла до эффекта и впечатлѣній, какія произведутъ эти образы. Предъ мысленнымъ взоромъ поэта постоянно носятся опредѣленные и свѣтлые идеалы, но онъ не навязываетъ дѣйствительности своихъ завѣтныхъ думъ, онѣ могутъ быть только угадываемы. Иной разъ и больно было ему рисовать, но то выдастъ лишь легкая иронія.

Реализмъ Тургенева не лишенъ вѣры въ идеалы, но и не оптимистиченъ. Постоянный спутникъ его — грусть, та самая грусть, которая за душу хватаетъ въ нашей народной поэзіи. Основа этой грусти и здѣсь и тамъ одинакова; она коренится въ здравомъ взглядѣ на русскую жизнь и людей. Жизнь внушаетъ грустныя ноты, и Тургеневъ говорилъ то, что внушало ему глубокое знаніе жизни. Жизнь не весела, и поэтъ страдаетъ за людей, которыхъ изображаетъ.

Весьма любопытно, какъ онъ ставитъ вѣчную тему словесныхъ художественныхъ произведеній — любовь. Тургеневъ изобразилъ многіе виды любви, которую признавалъ великой силой жизни. «Горе сердцу, не любившему съ молоду!» говоритъ онъ въ «Наканунѣ». Повсюду однако встрѣчаемъ грустный колоритъ, будетъ ли то любовь первая, какъ въ повѣсти этого имени, изображаетъ ли поэтъ величайшую силу первой и послѣдней любви, какъ въ Лизѣ «Дворянскаго Гнѣзда», или любовь, которая сама не хочетъ себя признать, но все-таки сохраняетъ свою основу. Сила любви сказывается и въ тѣхъ, которые говорятъ, какъ Базаровъ: «любовь вѣдь это чувство напускное», и въ тѣхъ, которые соразмѣряютъ любовь съ чувствомъ гражданскаго долга, которые не желаютъ «ворковать голубками». «Любилъ ли я тебя любовью, писалъ Неждановъ въ предсмертномъ письмѣ къ Маріаннѣ, — не знаю, милый другъ; но знаю, что сильнѣе чувства я никогда не испытывалъ, и что мнѣ было бы еще страшнѣе умереть, если бъ я не уносилъ такого чувства съ собою въ могилу». Не признавать любви должны были въ силу

реакціи прежней манерности и приторности, но вмѣстѣ съ тѣмъ должно было получить патологическое направленіе и самое чувство, каковымъ оно и является не рѣдко у Тургенева. Подъ вліяніемъ новаго направленія являлись въ любви личности «чистыя и холодныя», а другія пускались въ водоворотъ эмансипаціи страсти. Эти послѣднія обрисованы какъ будто лучше, но такое впечатлѣніе объясняется лишь яркостію красокъ.

Печаленъ исходъ многихъ героевъ Тургенева, героевъ самыхъ симпатичныхъ. Рудинъ погибъ на парижскихъ баррикадахъ. Другіе рано сходятъ съ житейской арены, не успѣвъ что-нибудь сдѣлать существенное. Такъ, рано умираютъ Инсаровъ и Базаровъ; Неждановъ самъ покончилъ съ собой: онъ «не умѣлъ опроститься; оставалось вычеркнуть себя совсѣмъ»; и тяжкая грусть невольно охватываетъ читателя, та самая грусть, которую выноситъ онъ изъ чтенія печальной развязки жизни такихъ прекрасныхъ натуръ, какъ Лиза и Лаврецкій.

Нѣкоторое облегченіе получаетъ читатель, знакомясь съ симпатичными женскими образами повѣстей и романовъ Тургенева, высказывающими большую устойчивость. Въ первыхъ своихъ произведеніяхъ Тургеневъ изображалъ провинціальныхъ барышень стараго времени. Многія изъ нихъ были добры, но пусты. Были между ними и личности энергическія и энтузіастки, но онѣ пошлѣли подъ вліяніемъ обстановки. Изрѣдка могли устоять сильные характеры, женщины сильнаго чувства. Но постепенно коснулось обновленіе и женщины. Она приближалась къ своему назначенію. Она стала принимать въ общественной жизни то участіе, на которое имѣетъ полное право, принося въ то же время мужчинѣ нравственную поддержку въ своемъ горячемъ сочувствіи и вниманіи къ высшимъ интересамъ жизни. Тургеневъ отнесся благожелательно къ этому движенію. Новая женщина явилась у него въ Еленѣ повѣсти «Наканунѣ». Ее увлекли высшія цѣли, вдохновлявшія Инсарова, въ ней видно чувство горячее, какого не встрѣтимъ въ нѣкоторыхъ новѣйшихъ героиняхъ. Новая женщина не идетъ въ монастырь, какъ посту-

пила Лиза въ старое время, она отличается большей широтою воззрѣнія. Въ Маріаннѣ видимъ чрезвычайную силу воли. Нежданов, ради котораго и дѣла его она порвала связи со всѣмъ прошлымъ, называетъ Маріанну «хорошею, честною дѣвушкой» и заключаетъ свое предсмертное обращеніе къ ней словами: «Прощай, моя чистая, нетронутая!» Женщина имѣетъ теперь даже въ глазахъ нѣкоторыхъ преимущество передъ мужчиной, и въ «Нови» Соломинъ говоритъ Маріаннѣ: «Вы уже теперь, всѣ вы, русскія женщины, дѣльнѣе и выше насъ, мужчинъ». Интересно сопоставить съ этими словами и отзывами Нежданова о Маріаннѣ («Да, Маріанна молодецъ» и проч.) замѣчаніе О. Ѳ. Миллера о Базаровѣ: «Этотъ послѣдній еще не изъ тѣхъ людей, при существованіи которыхъ такая женщина, какъ Елена, не пропала бы для своего отечества. Стало быть, мы все еще живемъ наканунѣ ихъ появленія, и нашихъ передовыхъ женщинъ все еще не догнали наши мужчины» (Бесѣда 1871, № XII, стр. 267). По всей вѣроятности, во всѣхъ подобныхъ отзывахъ имѣется въ виду горячая и беззавѣтная преданность, какую способна обнаружить женщина, и та стойкость, какую она проявляетъ, отдавши разъ чему-нибудь свое искреннее сочувствіе. И дѣйствительно, Тургеневъ раскрылъ весьма обаятельно эти черты женщины, изобразилъ привлекательныя стороны женской натуры, какъ, съ другой стороны, ихъ крайность и демоническую силу (итальянка Джемма въ «Вешнихъ Водахъ»). Въ отношеніи къ женщинѣ онъ обнаружилъ достаточную глубину своего поэтическаго воззрѣнія и выдвинулъ ея новое общественное значеніе; но все это едва ли даетъ право на указанный выводъ нѣкоторыхъ относительно преимущества женщинъ у Тургенева. Роль вождя принадлежитъ и у него мужчинѣ, и тѣмъ труднѣе задачи послѣдняго. Елена и Маріанна привносятъ отъ себя въ пользу дѣла, которымъ увлекаются вслѣдъ за Инсаровымъ и Неждановымъ, только горячее сочувствіе, центромъ котораго является, хотя и отправляющееся отъ сочувствія высшимъ цѣлямъ, но все же личное чувство и высшее единеніе съ любимымъ человѣкомъ.

Если нѣкоторые изъ героевъ оказываются слабыми, то можно ли сказать то же о Базаровѣ, котораго одинъ нѣмецъ назвалъ «такимъ гордымъ образомъ, одареннымъ такою силою характера, такой полной независимостью ото всего мелкаго, пошлаго, вялаго и ложнаго» («Литературныя и житейскія воспоминанія» Тургенева)?

Въ виду всего этого излишне преувеличеніе и неумѣстно галантное преклоненіе предъ женщиной, выведенной у Тургенева. Достаточно признать высокія достоинства ея характера и ея благотворное воздѣйствіе на жизнь, когда представляется для того возможность и когда окружающая среда развиваетъ въ ней лучшіе задатки, не толкая ее на крайній путь, и умѣетъ надлежаще направить высокія достоинства ея природы.

Обращаюсь къ отношенію Тургенева къ природѣ.

Не буду повторять общихъ похвалъ, расточаемыхъ дивнымъ картинамъ степи, холмовъ и Полѣсья, утра, ночи и т. д. Картины эти отпечатлѣваются весьма сильно въ нашемъ воображеніи, и Тургенева можно признать однимъ изъ лучшихъ нашихъ пейзажныхъ художниковъ въ поэзіи. Это объясняется присущимъ ему чувствомъ красоты, которой, по его словамъ, не чуждается «и сама природа, въ непрерывной игрѣ своихъ возникающихъ, исчезающихъ формъ». Но дѣло не въ томъ. Для насъ интересно подмѣтить, каково было эстетическое отношеніе Тургенева къ природѣ, въ какое отношеніе ставила его поэтическая душа человѣка къ природѣ, важно то освѣщеніе, въ какомъ рисуется ландшафтъ. Характерно начало очерка «Полѣсье»: «Видъ огромнаго, весь небосклонъ обнимающаго бора, видъ Полѣсья напоминаетъ видъ моря. И впечатлѣнія имъ возбуждаются тѣ же; та же первобытная, нетронутая сила разстилается широко и державно передъ лицомъ зрителя. Изъ нѣдра вѣковыхъ лѣсовъ, съ безсмертнаго лона водъ поднимается тотъ же голосъ: «Мнѣ нѣтъ до тебя дѣла, говоритъ природа человѣку, — я царствую, а ты хлопочи о томъ, какъ бы не умереть». Но лѣсъ однообразнѣе и печальнѣе моря, особенно сосновый лѣсъ, постоянно одинаковый

и почти безшумный. Море грозитъ и ласкаетъ; оно играетъ всѣми красками, говоритъ всѣми голосами; оно отражаетъ небо, отъ котораго тоже вѣетъ вѣчностью, но вѣчностью какъ будто намъ не чужой... Непзмѣнный, мрачный боръ угрюмо молчитъ или воетъ глухо — и при видѣ его еще глубже и неотразимѣе проникаетъ въ сердцѣ людское сознаніе нашей ничтожности. Трудно человѣку, существу единаго дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взглядъ вѣчной Изиды; не однѣ дерзостныя надежды и мечтанья молодости стираются и гаснутъ въ немъ, охваченныя ледянымъ дыханіемъ стихіи; пѣтъ — вся душа его никнетъ и замираетъ; онъ чувствуетъ, что послѣдній изъ его братій можетъ исчезнуть съ лица земли — и ни одна игла не дрогнетъ на этихъ вѣтвяхъ; онъ чувствуетъ свое одиночество, свою слабость, свою случайность — и съ торопливымъ, тайнымъ испугомъ обращается онъ къ мелкимъ заботамъ и трудамъ жизни; ему легче въ этомъ мірѣ, имъ самимъ созданномъ, здѣсь онъ дома, здѣсь онъ смѣетъ еще вѣрить въ свое значеніе и въ свою силу». Мы видимъ у Тургенева въ высокой степени развитое эстетическое чувство природы, то самое, которое со времени Руссо и Шатобріана принесло западной поэзіи неисчерпаемое богатство образовъ и передалось отъ романтиковъ ихъ преемникамъ реалистамъ. Какъ извѣстно, болѣзненное настроеніе Руссо было превращено христіанскимъ настроеніемъ Шатобріана въ религіозную меланхолію. И Тургенева останавливала въ природѣ вѣчная загадка; но его прекрасное и сильное чувство не открывало въ ея обликѣ сокровенныхъ отношеній къ человѣку: безучастна она къ нему. Такое представленіе природы отлично отъ другого, въ которомъ ясно проглядываетъ смутное сознаніе общности, въ силу чего природа кажется какъ бы сочувствующею человѣку. Но природа все-таки говоритъ человѣку обо многомъ — въ особенности, когда человѣкъ сопоставитъ свое существованіе съ жизнью природы. Быстро можетъ окончиться жизнь молодая, нежданно для нея

самой, «молодая, горячая, блистательная жизнь». «О молодость, молодость! тебѣ нѣтъ ни до чего дѣла, ты какъ будто обладаешь всѣми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тѣшитъ, даже печаль тебѣ къ лицу, ты самоувѣренна и дерзка, ты говоришь: я одна живу — смотрите! а у самой дни бѣгутъ и исчезаютъ безъ слѣда и безъ счета, и все въ тебѣ исчезаетъ, какъ воскъ на солнцѣ, какъ снѣгъ»... («Первая Любовь»). Быстро можетъ быть положенъ конецъ всѣмъ замысламъ. — «Сила-то, сила», промолвилъ Базаровъ, предчувствуя смерть, «все еще тутъ, а надо умирать!» «И вѣдь тоже думалъ: обломаю дѣлъ много, не умру, куда! Задача есть, вѣдь я гигантъ! А теперь вся задача гиганта — какъ бы умереть прилично, хотя никому до этого дѣла нѣтъ»... И что же сталось съ надеждами Базарова? На «небольшомъ сельскомъ кладбищѣ, въ одномъ изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи» былъ похороненъ Базаровъ. До его могилы, не какъ до другихъ, «не касается человѣкъ», ея «не топчетъ животное: однѣ птицы садятся на нее и поютъ на зарѣ. Желѣзная ограда ее окружаетъ; двѣ молодыя елки посажены по обоимъ ея концамъ. Къ ней изъ недалекой деревушки часто приходятъ два уже дряхлые старичка — мужъ съ женою. Поддерживая другъ друга, идутъ они отяжелѣвшею походкой; приблизятся къ оградѣ, припадутъ и станутъ на колѣни, и долго, и горько плачутъ, и долго, и внимательно смотрятъ на нѣмой камень, подъ которымъ лежитъ ихъ сынъ; помѣняются короткимъ словомъ, пыль смахнутъ съ камня, да вѣтку елки поправятъ, и снова молятся, и не могутъ покинуть это мѣсто, откуда имъ какъ будто ближе до ихъ сына, до воспоминаній о немъ... Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи «равнодушной» природы; они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной». Не имѣю

чего прибавить къ приведеннымъ строкамъ: онѣ говорятъ сами за себя. Многіе ли такъ присматривались къ природѣ, научались у нея, какъ Тургеневъ, трезвому сознанію предѣловъ своей силы, многіе ли внимали ея чудному голосу примиренья и проникались не умиравшею любовью къ міру и человѣку? Многіе ли во всемъ этомъ почерпали высшее сознаніе своего назначенія?

Человѣческій міръ нерѣдко заставлялъ горько страдать любящее сердце Тургенева. И онъ поддавался по временамъ тяжелымъ впечатлѣніямъ жизни, но тотчасъ же мысль его переносила къ широкому пониманію жизни, къ выдѣленію въ маломъ и частномъ общаго. Припомнимъ, что испытывалъ Тургеневъ, поднявшись съ призракомъ 20 лѣтъ назадъ надъ землею. Интересна одна изъ главъ, относящихся къ Россіи и слѣдующая за описаніемъ «больнаго города» Петербурга: «Мы летѣли тише обыкновеннаго, и я имѣлъ возможность услѣдить глазами, какъ постепенно развертывалось передо мною, подобно свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Лѣса, кусты, поля, овраги, рѣки — изрѣдка деревни, церкви — и опять поля, и лѣса, и кусты, и овраги... Грустно стало мнѣ, и какъ-то равнодушно-скучно. И не потому стало мнѣ грустно и скучно, что пролеталъ я именно надъ Россіей. Нѣтъ! Сама земля, эта плоская поверхность, которая разстилалась подо мною, весь земной шаръ съ его населеніемъ, мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбѣ презрѣннаго праха; хрупкая, шероховатая кора, этотъ паростъ на огненной песчинкѣ нашей планеты, по которому проступила плѣсень, величаемая нами органическимъ, растительнымъ царствомъ; эти люди — мухи и, въ тысячу разъ ничтожнѣе мухъ, ихъ слѣпленныя изъ грязи жилища, крохотные слѣды ихъ мелкой однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ непзмѣняемымъ и непзбѣжнымъ, какъ это мнѣ вдругъ все опротивѣло! Сердце во мнѣ медленно перевернулось, и не захотѣлось мнѣ болѣе глазѣть на эти незначительныя картины, на эту пошлую выставку... Да, мнѣ стало скучно, хуже, чѣмъ скучно. Даже

жалости я не ощущалъ къ своимъ собратьямъ: всѣ чувства во мнѣ потонули въ одномъ, которое я назвать едва дерзаю: въ чувствѣ отвращенія, и сильнѣе всего и болѣе всего во мнѣ было отвращеніе — къ самому себѣ.

— Перестань, шепнула Эллисъ: — перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжелъ становишься.

— Ступай домой, отвѣчалъ я ей тѣмъ же голосомъ, какимъ я говаривалъ эти слова кучеру, выходя въ четвертомъ часу ночи отъ московскихъ пріятелей, съ которыми съ самаго обѣда толковалъ о будущности Россіи и значеніи общины».

Интересно было бы сопоставить нѣкоторыя картины «Призраковъ» со «Сномъ» Шевченка, который нѣсколько они напоминаютъ по поэтическому замыслу. Помнится, во время появленія «Призраковъ» наша критика отнеслась весьма неблагосклонно къ этому произведенію; она вообще осуждала туманность и фантастику, которыя такъ ненавистны были ей и въ устарѣвшей романтикѣ. Иначе относится къ «Призракамъ» иностранная критика. Впрочемъ, нѣкоторые и теперь еще находятъ въ «Призракахъ» данныя для обвиненій Тургенева, не постигая, что онъ не останавливался на одной картинѣ смерти, которою заключается это произведеніе. Скажутъ, что многое изъ нарисованнаго въ «Призракахъ» болѣзненный бредъ расходившейся фантазіи, но послушаемъ, что говорилъ не любящій расплываться въ фантастикѣ человѣкъ новаго времени Базаровъ въ то время, когда онъ еще былъ во цвѣтѣ здоровья: «Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ, и часть времени, которую мнѣ удается прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ». Несмотря на выступающее въ этихъ словахъ тяжелое сознаніе, гнетущее всякаго человѣка, Базаровъ до конца сохранилъ энергію и спокойствіе.

Впечатлѣнія людской суетни, при сопоставленіи которыхъ все могло показаться «дымомъ», даже — горячіе споры, крики и толки у «высоко и низко поставленныхъ, передовыхъ и от-

сталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей», всѣ эти впечатлѣнія отступали при болѣе внимательномъ отношеніи къ дѣйствительности, къ тому, что было въ ней здороваго и отрезвляющаго отъ «призраковъ» и ужасающихъ картинъ, рисуемыхъ воображеніемъ. Что засталъ въ Россіи Литвиновъ, вернувшійся изъ за границы? «Новое принималось плохо; старое всякую силу потеряло; неумѣлый сталкивался съ недобросовѣстнымъ; весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, и только одно великое слово «свобода» носилось, какъ Божій духъ надъ водами. Терпѣніе требовалось прежде всего и терпѣніе не страдательное, а дѣятельное, настойчивое...».

Тургеневъ вѣрилъ въ будущность русскаго народа. Вспомнимъ разсужденіе Тургенева о русскомъ языкѣ въ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ», гдѣ нашъ поэтъ говоритъ, что во дни сомнѣнья, во дни томящаго размышленья о судьбѣ родины русскій языкъ, языкъ великій, могучій, правдивый и свободный, является для него опорой. Не будь его — пришлось бы впасть въ сомнѣнье, но немыслимо, чтобы подобный языкъ былъ данъ народу безъ великаго призванія. Свои «литературныя и житейскія воспоминанія» Тургеневъ заключилъ слѣдующей просьбой къ молодымъ литераторамъ: «берегите нашъ языкъ, нашъ прекрасный русскій языкъ, этотъ кладъ, это достояніе, переданное намъ нашими предшественниками... Обращайтесь почтительно съ этимъ могущественнымъ орудіемъ»...

Тургеневъ страдалъ не менѣе лучшихъ людей родины, которыхъ изображалъ, но не терялъ вѣры въ нее. Сохранимъ ее и мы и будемъ вѣрить, подобно ему, въ силу великаго русскаго слова, столь чарующаго насъ въ собственныхъ произведеніяхъ Тургенева! Будемъ цѣнить въ его поэзіи всю ея возвышенную красоту и чтить его завѣты!

Памяти А. Н. Майкова [1]).

8 марта 1897 г. скончался почетный членъ Университета [2]) Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.

А. Н. Майковъ издавна, съ самаго начала своей дѣятельности, уже со временъ Бѣлинскаго, занималъ особое — почетное мѣсто въ пантеонѣ русскихъ поэтовъ и, можно думать, навсегда удержитъ его и пребудетъ въ памяти и сердцѣ цѣнителей истинной, не умирающей поэзіи; онъ явилъ своею жизнью и дѣятельностью возвышенно-поучительный и прекрасный образъ совершенствованія и богатой и плодотворной исторіи души (образъ, по собственному слову поэта, «расширенія внутренняго горизонта, укрѣпленія взгляда на жизненные вопросы, умственные, нравственные и политическіе, внутренней работы ума надъ впечатлѣніями и наблюденіями жизни, осмысленія пріобрѣтенныхъ и постоянно увеличивающихся знаній»).

Въ началѣ А. Н. Майковъ былъ представителемъ эллинизма въ нашей поэзіи, въ родѣ Андре Шенье, потомъ — какъ-бы ея Ламартиномъ, но — съ истинно-русской душой и съ истинно-русскими національными идеями, благодаря которымъ и сталъ вполнѣ оригинальнымъ поэтомъ. Въ этомъ отношеніи ростъ творчества А. Н. Майкова нѣсколько напоминаетъ развитіе генія Пушкина.

Въ младенчествѣ воображеніемъ Майкова владѣли «антики пыльные». Въ юности онъ хотѣлъ было, подобно отцу, посвятить

---

1) «Краткій отчетъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго университета св. Владиміра въ 1897 г., читанный на годичномъ актѣ университета 16 января 1898 г.». — Кіевлянинъ 1898 г., № 18.

2) Св. Владиміра.

себя живописи, и, ставъ поэтомъ 60 лѣтъ назадъ, онъ сразу выказалъ въ себѣ художника удивительной живописи и пластичности образовъ. Онъ началъ съ эстетически-свѣтлаго созерцанія и изображенія природы роднаго сѣвера, а также красотъ итальянской, въ духѣ древне-греческой антологіи, съ воспѣванія радости бытія и жизни среди природы и навѣваемыхъ ею тайныхъ думъ, когда съ поэтомъ замапчиво «бесѣдуетъ таинственность природы».

Майковъ заимствовалъ нѣкоторые сюжеты изъ «восточнаго міра», но на первыхъ порахъ его привлекали въ особенности красота и величіе античнаго прошлаго, въ которое поэтъ проникалъ силою своего творческаго таланта и которое открывало ему «цѣлый міръ видѣній». Затѣмъ Майковъ былъ пѣвцомъ древней и новой Эллады и въ особенности Италіи и ея прошлаго; передъ славою прежнихъ дней вѣчнаго Рима, который являлся послѣднимъ воплощеніемъ древняго культа разума, все теряется, все меркнетъ, и духъ поэта «въ сладостномъ восторгѣ трепеталъ». Вниманіе поэта остановилось потомъ преимущественно на смертяхъ людей древняго Рима: и въ борьбѣ со смертью «мощный духъ ихъ искалъ забвенья», достойнаго древняго римлянина.

Напрасно называютъ первую поэзію Майкова эпикурейскою; несправедливо сводить ее къ древнему эпикурейству. Даже на природу и ея «творческое дѣло» поэтъ смотрѣлъ иногда очами новаго человѣка.

На ряду съ подражаніями древнимъ Майковъ писалъ и чистоновыя элегіи пылкой души, мятежнымъ стремленіямъ которой ставитъ преграду «безвѣтріе».

Южная краса не наполняла всецѣло «суровый и угрюмый» духъ поэта. Онъ жаждалъ извѣдать

. . . . весь блескъ весенпихъ грозъ
И горечь слезъ, и сладость слезъ.

Онъ не хотѣлъ вступать въ союзъ позорный съ толпою развращенной; онъ

. . . . голосъ сердца своего
Чтилъ гласомъ Бога самого:
Любовь, и гордость, и отвага,
И независимость ума —
Моей души прямыя блага.

Писалъ поэтъ: «Подъ общій уровень ей подогнуться трудно было», и «рѣзвая мечта» манила поэта «въ пустыни Божьи изъ пустыни людной». Тамъ «на волѣ» онъ «одиночества не зналъ среди мечтаній».

Но живо занимала поэта и ближайшая ему русская современность; и онъ рисовалъ глубоко-интересныя и поучительныя картины ея и передавалъ печальныя «житейскія думы», возникавшія въ его душѣ при созерцаніи пустоты жизни свѣтскаго общества, въ томъ числѣ и свѣтскихъ «барышень», и при видѣ развращенности русскихъ баръ и безплодности грезъ и красивыхъ фразъ тогдашнихъ «утопистовъ» и «филантроповъ».

Поэтъ, чувствовавшій потребность возрожденія въ сороковыхъ и въ пятидесятыхъ годахъ, долго вращался въ либеральныхъ кругахъ и переводилъ даже Гейне. Однако въ концѣ Восточной войны и въ слѣдовавшее затѣмъ время быстрой ломки на Руси и чистаго отрицанья всей старины, Майковъ отвернулся постепенно отъ крайняго западничества и космополитизма.

Онъ привѣтствовалъ освобожденье крестьянъ прелестнымъ стихотвореніемъ, въ концѣ котораго говорилъ:

Воля, братцы, это только —
Первая ступень
Въ царство мысли, гдѣ сіяетъ
Вѣковѣчный день.

Но какъ всегда было въ жизни Майкова, онъ не льстилъ толпѣ, не слѣдовалъ модѣ, соблазняющему «духу вѣка» кричалъ: «прочь, ядовитая чума!» и обличалъ подпавшихъ ей. И часто онъ былъ поэтъ

. . . . съ душой, любовью полной,
Въ мірѣ всюду одинокъ.

Аполлонъ Николаевичъ иногда какъ-будто возвращался къ эллинскому созерцанію великаго πᾶν въ природѣ и по прежнему цѣнилъ все прекрасное въ жизни различныхъ странъ, гдѣ только находилъ его, какъ и прежде съ сочувствіемъ обращался къ «долинъ Альпійскихъ сыну»:

Ты любишь ближняго и гордъ своей свободой;
Ты все нашелъ, чего вѣками ждутъ народы.

Онъ по прежнему вникалъ въ измѣненія «духа вѣка» и въ великіе историческіе процессы. При этомъ особливо-долго и постоянно его интересовало столь глубоко-поучительное столкновеніе «двухъ міровъ», создавшихъ основы ново-европейской цивилизаціи: міра античнаго, умиравшаго равнодушно, либо съ сознаніемъ своей внутренней пустоты, и міра новаго, христіанскаго, съ его энтузіазмомъ вѣры во всепрощающаго и любящаго Бога и съ его чисто-духовными стремленіями. Этотъ новый міръ, возобладавшій надъ эллинизмомъ, увлекалъ все глубже и глубже Аполлона Николаевича своими рельефнѣйшими обнаруженіями на Западѣ и на Востокѣ, начиная съ пламенной проповѣди христіанъ и слѣдованія ей въ первые вѣка нашей эры и оканчивая толками нашего раскола. И изъ свободнаго, гордаго древняго грека и римлянина, не поднимавшагося надъ самоутвержденіемъ личности, нашъ поэтъ становился постепенно гностикомъ, сознающимъ свою связь съ великимъ цѣлымъ и себя лишь какъ часть этого цѣлаго; въ немъ начиналъ уже говорить «отъ узъ освобожденный духъ», и онъ сталъ лучше прозрѣвать

Сквозь всѣ преграды вещества
Во все духовное въ твореньѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ становился поэтомъ русскихъ народныхъ чувствъ, «завѣтовъ старины», національныхъ, между

прочимъ византійско-московскихъ и подвижническихъ, но также и Петровскихъ историческихъ преданій. И какъ горячѣе прежняго онъ возлюбилъ «бѣдную природу» тамъ, за горами, на полночь отъ Италіи, и «картины блѣдныя полуночнаго края», такъ со всею силою души полюбилъ онъ и родины

. . . . устои вѣковые,
На коихъ зиждется Россійская земля,

и ея минувшее «съ темными и свѣтлыми страницами». Опираясь на прошлое, онъ съ вѣрою и упованьемъ ожидалъ и славнаго будущаго для своей великой родины.

И всѣ ея просвѣщенные сыны замѣтили кончину этого истинно-образованнаго, гуманнаго и вмѣстѣ національнаго поэта.

Передъ глубокимъ историческимъ и философскимъ смысломъ поэзіи А. Н. Майкова, передъ ея широтою и разносторонностью, которыя теперь только да въ будущемъ могутъ быть безпристрастно оцѣнены во всей полнотѣ и значеніи, преклонились многіе люди различныхъ лагерей и, вѣроятно, еще многіе преклонятся впредь и воскликнутъ вмѣстѣ съ поэтомъ, говорившимъ у могилы Майкова: «миръ и слава тебѣ».

ЗАМѢЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА.

Стран. 628, строка 11 св.

Напечатано:	*Надо читать:*
Владиміръ Пассекъ.	Вадимъ Пассекъ.

Указатель важнѣйшихъ личныхъ собственныхъ именъ.

Цифры означаютъ страницы.

Ааронъ, первосвящ. 421.
Абу Эдмонъ, франц. писат. 655.
Авенаріусъ В. П. 602.
Авсѣенко В. Г. 637.
Аксаковъ К. С. 413, 516, 538, 626, 628.
Аксаковъ С. Т. 516, 526, 531, 565.
Александръ I, императ. 27, 28, 31, 56, 70, 137, 139, 166, 176—177, 203, 266, 277, 290, 339, 375, 629.
Алфьери, итальянск. писат. 7, 106, 340.
Алферовъ А. 520.
Анакреонъ. 332.
Андреевскій С. А. 428—429.
Анна Іоанновна, императрица. 53.
Анненковъ П. В. 145, 146, 148, 168, 214, 275, 314, 398, 545, 625.
Анненскій И. Ѳ. 428.
Антоновичъ М. А., критикъ. 659.
Апухтинъ А. Н. 22.
Арина Родіоновна, няня Пушкина. 243.
Аристофанъ. 551.
Аріосто. 104, 106, 113, 122, 201, 333, 451.
д'Арленкуръ, франц. писат. 278.
Арно, франц. писат. 274.
Арсеній Мацѣевичъ. 46.
Арсеньева, бабушка Лермонтова. 438.
Архангельскій А. С., проф. 143.
Атрефи, персидскій писат. 28.
Ауэрбахъ. 148, 264.
Байронъ. 25, 77, 80, 97, 102, 107, 108, 114, 120, 123, 125, 127, 149, 153, 181, 184—186, 202, 206, 207, 210, 213, 221—223, 247, 248, 255, 263—269, 273, 274, 287, 291, 294, 296, 299, 301, 306—329, 332—397, 401, 404, 405, 408, 426, 429, 431, 433, 434, 440, 445, 448, 455, 457—463, 470—472, 476, 478, 480—486, 491, 497, 501, 510, 537, 546, 547, 555, 634, 643; «Донъ-Жуанъ» 16, 122, 343, 344; «Чайльдъ-Гар.». 114, 116, 118, 349 сл.
Бакунинъ М. А. 642, 657.
Балланшъ. 296.
Бальзакъ. 520.
Баратынскій Е. А. 132, 337, 399, 629.
барды. 84.
Барри Корнуэлль, англ. писат. 107.
Батюшковъ К. Н. 106, 109, 183, 210, 213, 214, 298, 347, 439.
Бейль, франц. энциклоп. 11, 203, 246, 315, 392.
Бенедиктовъ В. Г. 641.
Бенкендорфъ, графъ А. Х. 139, 308, 336.
Бернарденъ-де-Сен-Пьеръ. 182, 233, 297.
Бернаръ Клодъ. 154.
Бёрне. 94, 206.
Бернетъ Е. (А. К. Жуковскій). 630, 641.
Бертенъ, франц. писат. 280.
Бестужевъ А. А. (Марлинскій). 342, 345, 393, 396, 397, 407, 409.
Бестужевъ-Рюминъ К. Н. 58.
Бецкій И. И. 24.
Бильбасовъ В. А. 1, 11, 15, 16, 25, 64.

Бирюковъ, цензоръ. 371.
Биша, франц. писат. 246, 392.
Богдановичъ И. Ѳ. 14, 198.
Боденштедтъ Фр. 123, 396, 429, 624, 634, 635, 646.
Боккаччіо. 127, 523, 560.
Болдаковъ П. М. 434.
Бонштетенъ. 298.
Борнъ, англ. писат. 175.
Боссюэтъ. 198.
Боткинъ В. П. 143, 640.
Боярдо. 451.
Брадке Е. Ф., попечитель Кіевск. учебн. округа. 637.
Брандесъ. 80, 659.
Брюнетьеръ. 75.
Буало. 106, 152, 196, 199, 200.
Бульверъ, лордъ. 274.
Буньянъ, англ. писат. 415.
Буслаевъ Ѳ. П. 643.
Бѣлениновъ А. 644.
Бѣлинскій В. Г. 50, 88, 140—147, 149, 150, 152, 189, 195, 280, 394, 425, 469, 515—517, 520—522, 530, 532, 573, 624, 626, 627, 630, 633, 635, 640, 642, 646, 650, 659, 666, 683.
Бюргеръ. 84, 112.
Бюффонъ. 152.
Вагнеръ, музык. композит. 153.
Валишевскій К. 30.
Вальтеръ-Скоттъ. 123, 152, 181, 270, 272—274, 341, 357, 378, 440, 483, 511, 562.
Васильчиковъ кн., генер.-адъют. импер. Александра I. 277.
Веддигенъ, нѣм. учен. 355.
Вейнбергъ П. И. 148.
Велесъ-де-Гевара, исп. писат. 455.
Веневитиновъ Д. В. 112, 284, 468.
Веселовскій Алексѣй Н. 69, 168, 330.
Вильонъ, франц. писат. 201.
Винкельманъ. 551, 555.
Виньи, графъ Альфредъ де- 173, 174, 182, 287, 288, 463—465, 470, 482, 483, 487, 491—493, 495, 499—501, 510—513.
Виппперъ Р. Г., проф. 11, 69.
Висковатовъ П. А. 429, 435, 443, 445, 447, 481—483, 489, 495, 496, 498, 505, 506, 513
Владыкинъ Ив. 28.
Вогюэ, графъ М. де- 97, 106, 122, 124, 127, 148, 523.
Волконская, кн. З. А. 333.
Волконскій, кн. С. Г. 374.
Вольтеръ. 5, 7, 10—17, 37, 63, 67, 104, 105, 169, 170, 200—204, 231, 245, 290, 292, 314, 315, 317, 321, 331, 350, 384, 391, 456, 474.
Вордсвортъ — см. Уордсуортъ.
Воронцовъ, кн. М. С. 134, 308.
Вульфъ А. Н., знакомый Пушкина. 160, 178, 378, 397.
Высоцкій, товарищъ Гоголя по Лицею. 520.
Вяземская кн., жена кн. П. А. В—го 373.
Вяземскій кн. А. А., ген.-прокур. 36.
Вяземскій кн. П. А. 2, 68, 69, 138, 156, 166, 176, 177, 212, 213, 219, 245, 247, 263, 277, 279, 287, 296, 308, 335, 336, 339, 340, 345, 347, 348, 351, 354, 360, 365, 368, 371, 373, 380, 401, 426.
Гаевскій В. П. 200, 202.
Гаймъ, нѣм. учен. 73.
Галаховъ А. Д. 19, 38, 43, 45, 58, 272, 314, 426, 455.
Гвиннеръ В., нѣм. учен. 495.
Гегель 657, 662.
Гейне 182, 206, 685.
Гельвецій. 245, 391.
Генрихъ IV, франц. 11, 33, 57.
Гердеръ 246, 392, 428.
Герценъ А. И. 117, 385, 413, 626.
Гесснеръ 454.
Гёте 76, 78, 80, 85, 93—95, 97, 101, 103, 107, 112, 114—117, 122, 123, 127, 148, 149, 153, 168, 173, 181, 182, 202, 206—210, 223, 239, 244, 249, 255, 257, 268, 291, 304, 306, 313, 314, 321, 326, 327, 330, 331, 341, 349, 380, 384, 386, 394, 397, 414, 415, 418, 435, 448, 456, 457, 465, 468—470, 478, 480, 481, 495, 504—509, 531, 547, 551, 562; «Вертеръ» 114—116; «Фаустъ» 40.
Геттнеръ, нѣм. учен. 118.
Гиббонъ 246, 391.

Гиляровъ А. Н. 494.
Гимаръ, франц. писат. 106, 295.
Гнѣдичъ Н. И. 335.
Гоббсъ, англ. филос. 175.
Гоголь Н. В. 100, 129, 140, 147, 165, 425, 515 сл., 536 сл., 564 сл. 653, 658; «Г. Кюхельг.» 550 сл., 595, 596, 601; «Вечера на хут.» 561, 562, 589, 590, 596; «М. Д.» 119, 262; «Т. Бул.» 562; «Ст. Пом.» 603; «И. Ѳ. Шп.» 561.
Головня В. А., племянникъ Гоголя 578, 582.
Головня О. В., сестра Гоголя 581, 582.
Гольбахъ, баронъ (д'Ольбахъ) 245, 391, 421.
Гольцевъ В. А. 9.
Гомеръ 520.
Гончарова Н. Н., невѣста Пушкина, 193.
Гончаровъ И. А. 141, 394, 446, 626.
Горацій 198, 246, 391, 425.
Готье Теофилъ. 174, 464.
Гофманъ, нѣм. писат. 84, 186.
Грабовскій, польскій писат. 119.
Грановскій Т. Н., проф. 630, 657.
Графъ, итал. учен. 672.
Грей, англ. писат. 232, 240.
Грекуръ, франц. писат. 104.
Гренэ де-ла, франц. писат. 481.
Грибоѣдовъ А. С. 9, 119, 120, 261, 294, 342, 366, 425, 547, 627.
Григоровичъ Д. В. 264.
Григорьевъ Аполл. 146, 426, 659.
Гриммъ, корреспонд. импер. Екатер. II. 11, 13, 15, 16.
Грисъ, нѣм. переводч. Кальдерона. 483.
Гротъ Я. К., акад. 30, 33, 34, 39, 40, 47, 50, 52, 62, 377.
Гюго Викт. 73, 76, 107, 182, 276, 296—297, 464—465.
Даламберъ 5, 14.
Дама, франц. выходецъ въ Россіи. 5.
Данилевскій А. С., товарищъ Гоголя. 579, 598, 599.
Данте 33, 106, 162, 190, 330, 361, 378, 437, 451, 462, 469, 520.
Дашкова, кн. Е. Р. 22, 63, 293.
декабристы. 138.
Делиль. 105, 125.
Дельвигъ, бар. А. А. 134, 370, 600, 629.
Державинъ Г. Р. 20—22, 25, 27, 29, 30, 258, 280, 439; «Фелица» 20, 21, 27, 29—55, 59, 61—66; «Записки» 34, 52, 54.
Дешанель Э. франц. учен. 75, 78, 189, 194.
Дидро. 5, 13—16, 203, 205, 246, 391, 421, 481.
Диккенсъ. 425.
Дмитріевъ И. И. 178, 198, 439.
Добролюбовъ Н. А. 426, 659, 665, 666.
Додэ Альфонсъ. 145.
Домбровскій В. Ѳ., проф. универс. св. Владиміра 638.
Дора, франц. писат. 295.
Достоевскій Ѳ. М. 146, 148, 165, 233, 237, 324, 524.
Друковцевъ С. В. 69.
Дубровинъ Н. Ѳ., акад. 9.
Дюма А. (отецъ). 273, 274.
Дюсисъ, франц. писат. 433.
Евгеній Булгарисъ, архіеп. 28.
Екатерина II, императр. 1 сл., 82, 137, 138, 176, 178, 180, 195, 258, 272, 277, 292; «Наказъ» 3, 49, 50, 61, 69; сказка о ц. Хлорѣ 16, 32—34, 39; «Антидотъ» 7, 8; инструкція Салтыкову 32; Зап. 24.
Елисеевъ Г. З. (Грицко). 19, 45, 49, 62.
Ефремовъ А. П. 626, 635.
Ефремовъ П. А. 398.
Жанлисъ мадамъ де- 106, 295.
Жанъ-Поль-Рихтеръ. 84, 287, 531.
Ждановъ И. Н., акад. 143.
Жильберъ, франц. писат. 215.
Жомини Г. В., генер. 391.
Жоржъ-Зандъ. 264, 425, 520.
Жуковскій В. А. 25, 71 сл., 83 сл., 109, 112, 138, 152, 155, 183, 213, 214, 240, 280, 307, 308, 340, 342, 343, 345, 370, 374, 399, 439, 483, 516, 520, 524—526, 537, 550, 563, 600, 619, 629, 630; «Камоэнсъ». 87, 91.
Заболотскій П. А., проф. 575—577.
Зайцевъ В. А. 145, 280, 425.
Захеръ-Мазохъ. 657.
Захаровъ И. С. 27.

Здзѣховскій М. 341.
Зола Эмиль. 73.
Ивановъ А. А., художн. 518, 579.
Ивановъ И. И., проф. 427, 428, 430, 434, 523.
Ивановъ-Классикъ А. Ѳ. 654.
Иконниковъ В. С., акад. 1, 69, 70, 623.
Ильчовъ, писат. 649.
Иммерманъ, нѣм. писат. 465, 466, 470, 508.
Іоасафъ преп. (Горленко). 415.
Іосифъ II австр. 5, 6.
Каверинъ П. П., знакомый Пушкина. 245, 393.
Казоттъ, франц. писат. 454, 463, 485.
Кальдеронъ. 108, 197, 470, 483.
Камоэнсъ. 314.
Кантемиръ кн. А. Д. 138, 199.
Кантъ. 122, 171, 530, 546.
Каппистъ В. В. 21, 65.
Каппистъ графъ П. А. 373.
Карамзинъ Н. М. 65, 138, 142, 143, 152, 176—178, 183, 213, 215, 258, 280, 343, 630, 646; «Похв. слово имп. Екатер. II». 2, 9, 27, 31, 32, 35, 41—48, 54—64, 66; «Записка о др. и н. Р.». 46, 56, 64, 67; оды 55.
Кардуччи, итал. писат. 118, 467.
Карелинъ В., переводч. «Донъ-Кихота» 424, 426.
Карлейль, истор. 59.
Карлгофъ А. К., пом. попечителя Кіевск. учебн. округа. 637.
Карлъ XII шведск. 405, 408.
Кастри Дж., итальянск. пис. 15, 16, 30, 61.
Катенинъ П. А. 196, 340.
Катковъ М. Н. 642.
Каченовскій В. М., проф. Харьк. унив. 644.
Каченовскій М. Т. 625.
Кернъ А. П. 191, 379.
Кирпичниковъ А. И., проф. 133, 202, 563, 567, 574.
Кирша Даниловъ. 113.
Кирѣевскій П. В. 113, 628.
Клопштокъ. 43, 449, 454, 463, 469, 510.
Ключевскій В. О., проф. 1, 429, 441.
Клюшниковъ И. И. (– о –). 628, 642.
Княжнинъ Я. Б. 20, 66.
Козловъ И. И. 283, 308, 324, 345, 439, 630, 649.
Кольриджъ. 66, 285, 286.
Кольцовъ А. В. 650.
Константинъ Павловичъ, вел. кн. 212.
Констанъ Бенжаменъ, франц. писат. 207, 208, 212, 247—255, 257, 263, 270, 291, 391, 434.
Контъ О. 171.
Корберонъ, франц. посолъ въ Петрогр. 6.
Корнель. 105, 196—198.
Корсаковъ Д. А., проф. 1.
Корфъ, бар. М. А. 278.
Косяровскій Пав. Петр., дядя Гоголя. 575, 576, 593.
Косяровскій Петръ Петр., дядя Гоголя. 576, 577, 588.
Коттенъ г-жа, франц. писат. 239, 274.
Котляревскій А. А., проф. 69.
Котляревскій Н. А., акад. 424, 427, 430, 449, 480, 481.
Коуперъ, англ. писат. 206.
Кохановская. 25.
Коцебу А., нѣм. писат. 592.
Кочубей, казненный при Петрѣ I. 402 407, 410.
Красовскій, цензоръ. 371.
Красовъ В. И. 413, 623 слѣд.
Крашевскій, пол. писат. 467.
Кребильонъ, франц. писат. 200, 231.
Кривцовъ Н. И., знакомый Пушкина. 202.
Крыловъ И. А. 198, 425, 439.
Крюднеръ баронесса, писат. 239, 294.
Кукольникъ Н. В. 544.
Кулишъ П. А. 565, 568, 569, 574, 575, 577, 582—584, 611.
Куперъ, англ. писат. 305.
Куракинъ кн. А. Б. 22.
Кюхельбекеръ В. К. 217, 314, 469, 629.
Лагарпъ. 104, 105, 295.
Ламартинъ. 181, 192, 276, 280, 304, 440, 467, 537, 683.
Ламеннэ, франц. писат. 170, 519.
Ланжеронъ гр., франц. выходецъ въ Россіи. 5, 67.
Лафайеттъ. 5.
Лафонтенъ, франц. писат. 104, 196—198.

Лафонтенъ, нѣм. писат. 232, 270.
Лебрэнъ, франц. писат. 280.
Лежэ Л., франц. ученый. 10.
Ленау. 206, 467.
Ленцъ, нѣм. писат. 15, 28—30, 61, 385.
Леопарди. 107, 206.
Лермонтовъ М. Ю. 126, 141, 192, 193, 226, 234, 305, 320, 326, 333, 411 сл., 481 сл., 497 сл., 524, 525, 536, 543, 547, 624—628, 634, 642, 646—649, 652, 653; «Дем.» 417, 435 сл., 463 сл., 513, 514; «Герой наш. вр.». 255.
Лессажъ. 449, 455, 456, 479, 480.
Лессингъ. 80, 435, 495.
Линь принцъ де- 5.
Линьонъ, франц. писат. 264.
Лобановъ М. Е. 295.
Локкъ. 175, 246, 391.
Ломоносовъ М. В. 7, 19, 54, 62, 152, 183, 439.
Лопе-де-Вега. 108.
Лукрецій. 246, 391.
Любичъ-Романовичъ, товарищъ Гоголя по Лицею. 570.
Людовикъ XIV. 57, 185, 196.
Людовикъ XV. 6, 183.
Мабли. 245, 391.
Мазепа, гетманъ. 402, 405—408, 410.
Майковъ Ап. Н. 399, 682 сл.
Майковъ Л. Н., акад. 405, 407.
Маколей. 59.
Максимовичъ М. А. 113, 401, 404, 516, 579, 607—611, 613, 629, 635—637.
Макферсонъ. 106.
Мальчевскій, пол. писат. 107.
Манзони, итальянскій писат. 246, 392.
Марло, англ. писат. 452, 470, 481.
Мармонтель. 106, 270, 295.
Маро Клеманъ, франц. писат. 219, 437.
Мартьяновъ П. К. 431, 496, 504.
Матѳей о., свящ., другъ Гоголя. 522.
Мейеръ Р. М., нѣм. учен. 564.
Мен-де-Бирон, франц. учен. 176.
Мережковскій Д. С. 144, 148, 149, 153, 233.
Мерзляковъ А. Ѳ. 625, 636, 649.
Мериме, 114, 125, 180.
Местръ гр. Жозефъ де- 170.
Мещерскій кн. Е. П., писат. 96—97.
Миллеръ О. Ѳ., проф. 659, 676.
Мильтонъ. 197, 307, 315, 448, 452—454, 456, 458, 460, 469, 480, 481, 491, 509, 512, 555.
Михайловскій Н. К. 424, 427.
Мицкевичъ. 107, 108, 117, 155, 179, 182, 285, 286, 309, 341, 359, 435, 484.
Мольеръ. 94, 107, 122, 185, 195, 197, 206, 294, 520, 544, 592.
Монтескье. 11, 32, 67.
Морозовъ П. О. 350, 383.
Морфилль, англ. писат. 113.
Моцартъ. 186.
Муравьевъ А. Н. 305.
Муръ Томасъ. 344, 440, 462—463, 484—492, 497, 555.
Мухановъ А. 295.
Мюссэ Альфредъ де- 106, 107, 187, 206, 276, 434, 445, 507—508.
Надеждинъ Н. И. 328, 625, 633, 635.
Наполеонъ I. 164, 176, 182, 183, 247, 293, 343, 377.
Нарышкинъ Л. А. 36.
Нащокина В. А. 346.
Неволинъ К. А., проф. 639.
Незеленовъ А. П., проф. 105, 123, 163, 286, 355, 359, 401.
Никаноръ, архіеп. Херс. 154.
Никитенко А. В., акад. 530.
Николаевъ Ю. (Говоруха-Отрокъ). 427.
Николай I. 136, 139, 161, 179, 339, 375.
Никольскій Б. В., проф. 265, 278.
Никольскій Вл. В. 148.
Ницше. 547.
Новиковъ Н. И. 18, 19, 46, 65.
Нодье Шарль. 212.
Оболенскій кн. Д. 517.
Овидій 276.
Овсянико-Куликовскій Д. Н., проф. 520.
Одоевскій кн. В. Ѳ. 138, 516.
Ольбахъ бар. д' — см. Гольбахъ.
Озеровъ В. А. 439.
Оленина А. А. 191.
Орда В., учитель Немировск. гимн. 637.
Орликъ, сподвижникъ Мазепы. 406, 407, 410.
Орловъ гр. Г. Г. 5, 36.

Осипова П. А. 366.
Оссіанъ. 80, 84, 106, 211.
Острогорскій А. Я. 427, 434.
Павелъ I, имп. 31, 137, 277.
Павлищева О. С., сестра Пушкина. 230, 264.
Павлищевъ Н. И. 326.
Павловъ М. Г., проф. 628.
Палладоклисъ, ново-греч. писат. 28.
Панаевъ И. И. 640—642.
Панинъ, гр. П. И. 63.
Парни. 104, 246, 280, 347, 391.
Паскаль. 196, 198, 523.
Пассекъ В. В. 628.
Пеллико Сильвіо. 199.
Перетятковичъ Г. П., проф. 1.
Перцовъ П. П. 148, 524.
Петрарка. 106, 118, 127, 151, 190, 191, 360, 361, 551.
Петровъ А. А., другъ Карамзина. 258.
Петровъ В. П. 19.
Петровъ Н. И., проф. 562.
Петровъ П. Я., проф. 628.
Петръ Великій. 7, 31, 35, 46, 57, 59, 132, 166, 399, 403—405, 409, 410, 686.
Петръ III. 17, 53.
Печоринъ, проф. Моск. унив. 508.
Писаревъ Д. И. 145, 150, 425, 524, 659.
Писемскій А. Ѳ. 666.
Платенъ, нѣм. писат. 206.
Платонъ. 206, 551.
Плетневъ П. А. 267, 579, 600.
Погодинъ М. П. 55, 60, 62, 520, 578, 586, 587, 604, 608, 613, 614, 617, 625, 629, 635, 636.
Полевой Н. А. 425.
Полежаевъ А. И. 425.
Поливановъ Л. И. 271, 312, 313, 355, 468.
Поль Альберъ, франц. учен. 75.
Понятовскій Станиславъ, король. 5.
Попе, англ. пис. 152.
Потемкинъ кн. Г. А. 5, 23, 36, 39.
Прадтъ. 270.
Прозоровъ, товарищъ Бѣлинскаго по унив. 627.
Прокоповичъ Н. Я., товарищъ Гоголя по Лицею. 579, 592, 617, 619.
Пугачевъ Емельянъ. 400.
Пульчи Луджи, итальянск. писат. 451.
Пушкинъ А. С. 72, 89, 92 сл., 97 сл., 131 сл., 419, 425, 433, 439, 467—473, 478, 479, 481, 485, 508, 509, 515, 516, 524, 525, 526, 536, 549, 555, 560, 563, 593, 600, 602, 627—630, 639, 642, 643, 673, 683; «Русл. и Людм.». 113, 114; «Кавк. Пл.». 128, 223—229, 244, 249, 257, 294, 300, 301, 349—360, 386, 394; «Бахч. Фонт.» 227—230, 349, 359—366, 562; «Бр. Р.» 358—359; «Цыг.» 128, 230—235, 244, 249, 301, 365—370, 386; «Полт.» 398—400; «Евг. Он.» 83, 90, 110, 114—119, 121, 124—126, 129, 178, 237—273, 316—327, 386—394, 547; «Гр. Нул.» 114; «Дом. въ Кол.» 129, 321; «Кап. Д.» 21, 272; «Бор. Год.» 266, 289; «Скуп. Рыц.» 195, 380; «Кам. Г.» 185—191, 194, 195; «Демонъ» 311—316, 322—325, 372—375, 467 сл., 472; «А. Шенье» 275—283; «Чернь» 283, 284; «Пророкъ» 284, 285, 287; «Росл.» 259; «Пѣсни зап. сл.» 114.
Пушкинъ В. Л. 177, 201.
Пушкинъ Л. С. 403.
Пыпинъ А. Н., акад. 74, 87, 146—149, 155, 572, 723.
Пятковскій А. П. 32.
Рабле. 670.
Радищевъ А. Н. 9, 25, 46, 63—64, 69, 178, 258, 266.
Раевская Ек. Н. 360.
Раевскій А. Н. 245, 313, 373.
Раевскій Н. Н. 262, 286, 377, 382, 402, 403.
Разинъ Стенька. 400.
Раичъ А., проф. 436.
Расинъ. 104, 105, 196—198.
Рейналь, франц. писат. 14.
Ренанъ. 655.
Репнинъ кн. Н. Г. 336.
Рескинъ, англ. писат. 533.
Ржевускій гр. Северинъ. 65.
Ризничъ г-жа 160, 191—192, 363.
Ричардсонъ. 103, 231, 238—239, 268, 270, 323.
Ришелье герцогъ, франц. выходецъ въ Россіи. 5.

Робертсонъ. 245, 391.
Розовъ А. В., проф. 8.
Ронсаръ. 201, 276.
Ростовцевъ гр. Я. И. 644.
Руссо Ж. Ж. 5, 14, 103, 104, 170—172, 175, 176, 182, 200—210, 223, 225, 230—236, 239, 241, 245, 246, 249, 264, 267—280, 287, 290, 297, 311, 321, 342, 349, 356, 365, 368, 380, 383, 391, 428, 434, 520, 523, 533, 678.
Рылѣевъ К. Ѳ. 62, 335, 336, 342, 378, 387, 401—404, 408.
Рѣдкинъ П. Г., проф. 587.
Рюльеръ, франц. писат. 6.
Свиньинъ П. П. 561.
Селинъ А. И., проф. 637.
Семевскій В. И. 9.
Сенанкуръ, франц. пис. 206—208, 257—258, 434.
Сенковскій О. И. (Брамбеусъ). 425, 640.
Сентъ-Бёвъ. 24, 98, 522, 523.
Сервантесъ. 108, 273, 523, 531.
Сильвенъ-Марешаль, франц. писат. 17.
Сиповскій В. В. 241, 258, 261, 269, 294, 308, 312, 313, 350.
Скабичевскій А. М. 426.
Скоттъ — см. Вальтеръ-Скоттъ.
Смирнова А. О. 148, 151, 165, 185, 196, 230, 264, 266, 272, 273, 276, 286—288, 292, 294, 304, 308, 321, 341, 509, 520, 579, 599.
Смитъ Адамъ. 245.
Соллогубъ гр. В. А. 530.
Соловьевъ Вл. С. 145, 149, 156, 395, 524.
Соловьевъ Н. П. 659.
Соловьевъ С. М. 643.
Соутей, англ. писат. 326.
Спасовичъ В. Д. 426, 430, 435, 484.
Сперанскій М. Н., проф. 569, 587.
Спенсеръ Гербертъ 59.
Срезневскій И. Е. 64.
Срезневскій И. И. 425, 607.
Сталь мадамъ де- 25, 239, 246, 260, 268, 269, 291—296, 321, 392.
Станкевичъ Н. В. 624, 626—635, 640, 645, 647, 649—651, 657.
Стендаль. 75, 494.
Стороженко Н. И., проф. 106, 107, 365, 426, 429, 434.
Строевъ С. М. 626.
Стурдза А. С. 529.
Суворинъ А. С. 496.
Суворовъ графъ А. В. 5.
Сумароковъ. 19.
Сумцовъ Н. Ѳ., проф. 348, 400, 567.
Тассо. 104, 106, 201, 448, 451, 452, 469.
Тепляковъ В. Г. 248.
Тикъ, нѣм. писат. 84, 465, 551, 555, 562.
Тимофѣевъ А. В. 630.
Тиссо. 246, 392.
Титъ, римскій импер. 33.
Тихонравовъ Н. С., акад. 19, 21, 515, 621.
Толстой гр. Л. Н. 129, 152, 160, 234, 268, 288, 533.
Толстой гр. Ѳ. И. 354, 368.
Томпсонъ, англ. писат. 84, 125, 232.
Третякъ, пол. учен. 315, 373.
трубадуры. 78, 86.
Трушковскій, племянникъ Гоголя. 618.
Тр-и-скій. 463.
Туманскій В. И. 190, 283.
Тургеневъ А. И. 138, 156, 157, 166, 176, 179, 213, 277, 298, 307, 314.
Тургеневъ И. С. 95, 123, 126, 145, 184, 189, 261, 517, 649, 655 сл.; «Дв. Гн.» 664; «О. и Д.» 261, 666, 667, 670, 673, 676, 677, 679, 681; «Новь» 667—676.
Тургеневъ Н. И. 110, 177—179.
Тьерри Ог. 297.
Тэнъ И. 325.
Тюркъ Г., нѣм. учен. 530.
Уильсонъ, англ. писат. 107.
Уландъ. 84, 112.
Уордсуортъ. 66, 181, 264, 265, 533.
Фагэ Э., франц. учен. 258, 409, 499.
Фаринелли А., итальянскій учен. 189.
Фаргагенъ, нѣм. крит. 327.
Фенелонъ. 198, 199.
Фихте. 80, 110.
Фишартъ, нѣм. писат. 452.
Флао мадамъ де- 301.
Флоберъ. 297.
Флоріанъ. 106, 295, 592.
Фондель, голл. писат. 449, 452, 469.
Фонтенель. 246, 391, 392.

Фосколо, итальянскій писат. 206.
Фоссъ, нѣм. писат. 552.
Фридрихъ II прусск. 3, 11, 15.
Фроловъ Н. Г. 657.
Хвостова Ек. Александр., урожд. Сушкова. 438, 440.
Хомяковъ А. С. 35, 62, 518.
Цертелевъ кн. Н. А. 113.
Циглеръ Т., нѣм. учен. 168.
Цицеронъ. 246, 391.
Чаадаевъ П. Я. 9, 96, 138, 314, 393.
Чаговецъ В. А. 519, 569, 581.
Чалый М. К. 636, 637, 639.
Чаусеръ. 523.
Чернышевскій Н. Г. 116, 144, 145, 425, 515, 666.
Чечулинъ Н. Д. 25.
Чистяковъ Н. Г. 627.
Чуйко В. В. 434.
Шамфоръ, франц. писат. 197, 246, 287, 350, 392.
Шан-гирей А. П., родственникъ Лермонтова. 438—441, 483, 484, 493.
Шаппъ-д'Отерошъ, аббатъ. 7, 8.
Шатобріанъ. 80, 97, 100, 106, 114, 170, 181, 182, 206—211, 223, 231—233, 249, 255, 256, 268, 269, 291, 296—307, 311, 321, 350, 353, 385, 434, 678.
Шевченко Т. Г. 266, 681.
Шевыревъ С. П. 284, 425, 520, 542, 625, 637.
Шейнъ П. В. 624.
Шекспиръ. 80, 90, 94, 107, 113, 122, 153, 162, 165, 184, 196, 197, 206, 207, 266, 333, 376, 378, 380, 381, 433, 434, 440, 520, 523, 531, 639.
Шелли. 107, 181, 306, 307.
Шеллингъ. 80, 176, 284, 377, 633, 662.
Шепрокъ В. П. 515, 519, 529, 564 сл.
Шенье Андрэ. 105, 181, 275—282, 287, 290, 377, 378, 683.
Шереметева Н. П. 518.
Шефтсбери. 58, 418.
Шиллеръ. 66, 78, 84, 94, 101, 110, 112, 116, 122, 123, 153, 206, 227, 235, 266, 307, 327, 356, 358, 386, 397, 417, 418, 422, 428, 434, 440, 456, 481, 519, 531, 533, 546, 551, 555, 592, 630.
Шиллингъ баронъ, соврем. Пушкина. 157.
Шлегель Вильг. 73, 76.
Шопенгауэръ. 258, 530.
Штольбергъ гр. Фр., нѣм. писат. 84.
Шуазель маркизъ де-, франц. мин. 6.
Шуваловъ гр., сотрудникъ имп. Екатерины II. 7, 39.
Щаповъ А. П. 522, 666.
Щебальскій П. К. 7, 58.
Щербатовъ, кн. М. М. 9, 15, 23—25, 42, 63, 67, 404.
Эвринидъ. 201.
энциклопедисты франц. 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 32, 43, 67, 169, 170, 201, 292.
Эшенбахъ Вольфрамъ фон-. 78.
Южаковъ С. Н. 194.
Юмъ. 245, 391, 520.
Юрьевъ С. А. 148, 169.
Языковъ Н. М. 629, 630.
Якушкинъ В. Е. 373, 580.
Ѳсодоръ архим. (Бухаревъ). 569.
Ѳеокритъ. 276.